Ким Стэнли

РОБИНСОН

ГОДЫ РИСА И СОЛИ

ПРЕМИЯ ЛОКУС

«Один из самых умных и актуальных романов в истории жанра... Из тех масштабных эпосов, которые большинству писателей удаются лишь раз в жизни».
Locus

fanzon

Годы риса и соли
Ким Стэнли Робинсон

Аннотация
Ким Стэнли Робинсон. Годы риса и соли
Книга первая. Познавший пустоту
1
2
3
4
5
6
7
8
Книга вторая. Хадж в сердце
1. Кукушка в деревне
2. Снова в бардо
3. Милость тигра
4. Акбар
5. Дорога в Мекку
6. Аль-Андалус
7. Караван дураков
8. Барака
9. Новая встреча в бардо
Книга третья. Океанские континенты

Книга четвёртая. Алхимик
Трансмутация
Милость хана
Последствия наказания
Аристотель ошибался
Бутылка без джинна
Хан заглядывает в пустоту
В ночи и на свету
Вмешательство медресе
Ларец мудрых мыслей
Конец алхимии
Скорость света
Испытания полёта
Подарки для хана
Сокровища в небе
Кто здесь посторонний
Зловредный воздух
Любовь, огромная, как мир
Богиня и закон
Неприятности с теориями, неприменимыми на практике
Новый металл, новая династия, новая вера
Дракон вгрызается в мир
Божественное оружие
Всё это было
Снова в бардо

Книга пятая. Уток и основа
Книга шестая. Вдова Кан
1. Дело об украденных душах
2. Воспоминание
3. Набегающие волны
4. Загробная жизнь
Книга седьмая. Эпоха великого прогресса
1. Падение Константинии
2. Траванкор
3. Золотая гора
4. Чёрные тучи
Книга восьмая. Война асур
Книга девятая. Нсара
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
Книга десятая. Первые годы
1. Всегда Китай
2. Эта квадратная сажень
3. Творя бирманскую историю
4. Красное яйцо

Аннотация

В четырнадцатом веке Черная Смерть уничтожила в Европе треть населения.

А что, если?.. Если эпидемия чумы уничтожила почти все население Европы? Как будет развиваться человечество?

Это альтернативная история, в которой мир изменился. История, которая тянется через века, в которой правящие династии и нации поднимаются и рушатся. История потерь и открытий. Это – годы риса и соли.

Вселенная, где Америку открывает китайский мореплаватель, промышленная революция начинается в Индии, главенствующие религии – ислам и буддизм, а реинкарнация реальна.

Мы увидим рабов и королей, солдат и ученых, философов и жрецов. От степей Азии до Нового Света – перед нами предстанет потрясающая история дивного нового мира.

Ким Стэнли Робинсон
Годы риса и соли

Kim Stanley Robinson
The Years of Rice and Salt

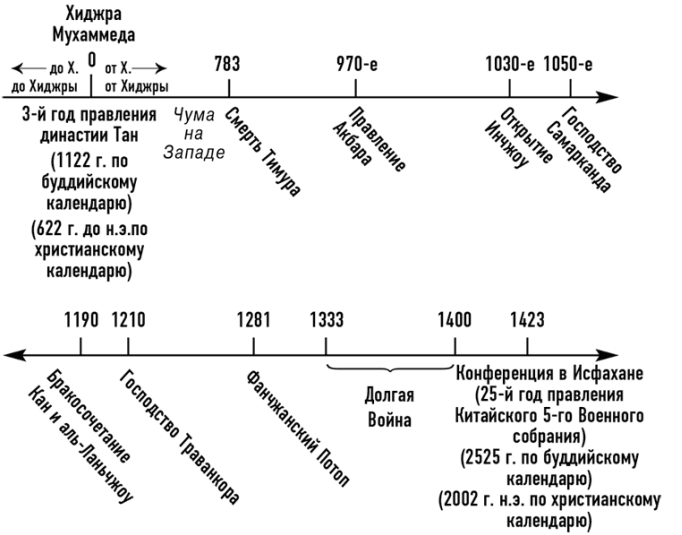
© Е. Шульга, перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

* * *

Трипитака: Обезьяна, далеко ли ещё до небесных чертогов Амитабхи, будды Западного рая?

Сунь Укун: Можно выйти в путь ещё ребёнком и не останавливаться до самой старости, а потом снова вернуться в начало и повторить этот путь ещё хоть тысячу раз, и всё равно не добраться до заветного места. И лишь когда усердием воли ты узришь во всём сущем природу Будды, когда умом возвратишься к первозданному роднику своей памяти, тогда-то ты и достигнешь его священной горы.

«Путешествие на Запад».



N.B. Исламский и китайский календари — лунные. Христианский и буддийский — солнечные.

Книга первая. Познавший пустоту



1

О новом странствии на запад, где Болд и Псин находят землю опустевшей; Тимур серчает, а глава приходит к грозовому заключению.

Обезьяна никогда не умирает. Она вечно возвращается, чтобы прийти на помощь в минуту опасности так же, как приходила на помощь Трипитаке во время первого многотрудного путешествия из Китая на Запад за священными буддийскими сутрами.

Теперь она приняла облик низкорослого монгола по имени Болд Бардаш, всадника в армии Хромого Тимура. Отцом Болда был тибетский торговец солью, а матерью — монгольская корчемница и шаманка, и вышло так, что наш герой начал своё странствие ещё до появления на свет, да так и продолжал скитаться из конца в край да с края в конец, с гор да на реки, из пустынь да в степи, испещряя своими следами средоточие мира. Наш рассказ застанет его уже стариком: с квадратным лицом, кривым носом, седыми косичками и четырьмя колючками на подбородке

вместо бороды. Болд знал, это будет последний поход Тимура, и гадал, что ожидает его самого.

Как-то раз на склоне дня несколько всадников, отправленных вперёд войска с дозором, выехали из-за тёмных гор. Тишина настораживала Болда. Впрочем не тишина как таковая — леса полнились шорохами, неслышными в степи, впереди текла широкая река, разбрызгивая рёв по ветру в кронах деревьев… Только чего-то недоставало. Может, птичьего гомона или какого другого звука, вылетевшего у Болда из памяти. Всадники подгоняли коней, животные пофыркивали. Некстати испортилась погода: лошади длинными хвостами отмахивались от рыжины в самой верхушке неба, поднимался ветер, сырел воздух; с запада подбиралась буря. Под широким степным небом они заметили бы её раньше. Здесь, в горном лесу, небо просматривалось хуже, ветры дули переменчивые, но приметы были налицо.

Скакали лугами, мимо шеренг несжатых посевов.

Под своей тяжестью гнулся ячмень.

На яблонях висли пересохшие яблоки,

Чёрные – валялись на земле.

Не сохранила следов – ни повозки, ни

человека –

Дорожная пыль. Солнце село,

На небо вышел щербатый овал луны.

Сова кружит над полем. Подуло:

Мир на ветру начинает казаться бескрайним.

Тревожны лошади – и Обезьяна.

Всадники доскакали до безлюдного моста и переправились. Только копыта клацали по дереву. Они очутились среди деревянных изб с соломенными крышами. Ни одного костра, ни одной зажжённой лампы. Тронулись дальше. Из-за деревьев проглядывали ещё избы, а людей всё не было. Земля была темна и пустынна.

Псин поторопил дозорных. Ещё избы торчали по обе стороны от дороги, которая расходилась вширь и, совершив поворот, выводила из гор на равнину. Перед ними чернел опустевший город. Не видно света, не слышно разговоров — только ветер потирает ветви деревьев над чёрной простынёй речного русла. Город пустовал.

Известно, что мы перерождаемся многократно. Заполняем тела, как пузыри воздухом, и, когда пузырь лопается, растворяемся в бардо и там скитаемся, пока нас не вдохнёт в новую жизнь

и мы не вернёмся на землю. Это знание не раз служило утешением Болду, когда по окончании очередного сражения он слонялся по полю боя, усыпанному изувеченными телами, словно пустой скорлупой.

Но странно было очутиться в городе, в котором не было войны, и обнаружить, что все давно мертвы. Давным-давно трупы иссохли, под сумеречной луной сверкают обнажённые кости, обглоданные волками и воронами. Болд проговорил про себя сутру сердца: «Форма есть пустота, и пустота есть форма. Уходя, уходя за пределы, уходя за пределы пределов, возрадуйся пробуждению!»

На окраине города лошади встали. Только шипение и клёкот реки нарушали неподвижную тишину. Прищур луны освещал каменную кладку посреди многочисленных деревянных изб — высокую каменную постройку в кругу каменных построек помельче.

Псин отдал приказ: закрыть лица покрывалами, не спешиваться, ни к чему не прикасаться самим и следить, чтобы лошади касались только земли своими копытами. Не спеша пошли они узкими улицами мимо деревянных домов в два, а то и три этажа, привалившихся друг к дружке,

как на китайских улочках. Лошади были недовольны, но не смели упрямиться.

Они вышли к мощёной площади неподалёку от реки и остановились у высокого здания из камня. Его размеры были огромны. Много горожан пришло сюда умирать. Не иначе как местный ламаистский монастырь, только под открытым небом в отсутствие крыши (стройка не была доведена до конца). Точно лишь в свои последние дни эти люди открыли для себя религию, но слишком поздно — это место стало им кладбищем. «Уходя, уходя за пределы, уходя за пределы пределов». Ничто не шелохнулось, и Болду пришло в голову, что они могли ошибиться и пройти не свой перевал в горах, а тот, который завёл их на другой запад, в саму страну мёртвых. И на мгновение в его памяти мелькнуло краткой вспышкой воспоминание из прежней жизни: поселение, намного меньше этого, стёртое с лица земли лихорадкой, которая выкосила всех стремительно, разом отправив в бардо. Долгие часы, проведённые в ожидании смерти. Вот почему Болду часто казалось, что он узнавал встречных ему людей. Их существование было связано одной судьбой.

— Чума, — сказал Псин. — Надо уходить.

Он посмотрел на Болда. Его глаза блестели, а

лицо было решительным. Он походил на каменного воина из императорской гробницы.

Болд содрогнулся.

— Хотел бы я знать, зачем они остались, — сказал он.

— Может быть, им некуда было идти.

Несколько лет назад чума вспыхнула в Индии. Монголов болезнь обходила стороной, только изредка поражая младенцев. Но подвержены ей были тюрки с индусами, а в войске Тимура, разумеется, встречались все: персы, тюрки, монголы, тибетцы, индусы, таджики, арабы, грузины. Чума могла убить каждого. Чума могла убить всех. Если это и впрямь чума истребила город — нельзя было знать наверняка.

— Вернёмся и обо всём расскажем, — решил Псин.

Остальные закивали, радуясь, что не им принимать такое решение. Тимур поручил им четыре дня скакать на запад и объехать с дозором Мадьярскую равнину и земли за её пределами. Он не любил, когда ездоки возвращались, не выполнив приказа, даже если отряд состоял из его каучинов. Но Псин будет готов к ответу.

Поскакали обратно в лунном свете, ненадолго встав на привал, только когда утомились лоша-

ди. На рассвете продолжили путь, вернулись через широкий проход в горах, который прежние ездоки прозвали Моравскими Воротами. Мимо хижин, из труб которых не поднимался дым. Подстегнули лошадей, и те пустились рысью и скакали весь день до изнеможения.

Когда спустились с протяжного восточного склона горы обратно в степь, огромная туча как стеной перекрыла западную половину неба.

Словно Кали набросила чёрное одеяло,

Богиня Смерти гонит их из своих владений.

Плотное чёрное брюхо в бугристых рубцах,

Чёрные вьются спирали кабаньих хвостов и крюков рыболовных.

Мрачно знамение, даже кони склоняют головы.

Люди не в силах смотреть друг другу в глаза.

Они подступили к обширному лагерю Тимура, когда чёрная грозовая туча покрыла остаток дня и стало темно, как ночью. Волоски на загривке Болда встали дыбом. С неба сорвалось несколько

крупных капель дождя, загремел гром, словно гигантская железная колесница покатилась по небу с запада на восток. Всадники пригнулись в седлах и поддали лошадям пятками. Никто не горел желанием возвращаться в такую погоду да с такими вестями. Тимур увидит в этом знак, так же, как и они. Он всегда говорил, что своим успехом обязан асуре[1], который являлся ему и давал наставления. Однажды Болд даже видел воочию, как Тимур вёл беседу с незримой сущностью, после чего рассказывал людям, о чём они думали и что с ними станет. Эта чернильная туча не могла быть ничем иным, только знаком: на западе — зло. Что-то скверное там творилось (возможно, даже пострашнее чумы), и Тимуру придётся отказаться от планов завоевать мадьяр и франков, потому что сама богиня черепов успела опередить его. Не верилось, что он будет готов смириться с таким изменением планов, однако же вокруг бушевала гроза, каковой никто никогда не видывал, а мадьяры были мертвы.

От больших лагерных костров, где готовилась еда, восходил дым, будто здесь совершались жертвоприношения. Стоял привычный, но

---

[1] Примечания: 1

В буддизме и индуизме божества низкого ранга (*прим. ред.*).

подзабытый запах — пахло домом, покинутым навсегда. Псин окинул взглядом собравшихся.

— Привал, — скомандовал он, чтобы всё обдумать. — Болд.

Болда пронзил страх.

— Подойди.

Болд сглотнул и кивнул. Он не был храбрецом, зато его отличала стойкость, присущая каучинам, старейшим воинам Тимура. Псин и Болд оба понимали, что вторглись на непознанную территорию и впереди ждёт страшное, чему предначертано неумолимо сбыться, — кармическая петля, из которой не выпутаться.

Как и Болду, Псину наверняка припомнился случай из их юности, когда они попали в плен к таёжным охотникам на севере от реки Камы. Сговорившись, они вдвоём спланировали фантастически удачный побег, зарезали главаря охотников и, перескочив через костёр, скрылись в ночи.

Проехав караульные посты, они поскакали через весь лагерь к шатру хана. На северо-западе вспышки молнии бередили чёрное небо. Ни один, ни другой не видели такой грозы за свою долгую жизнь. У Болда на руках вздыбились редкие волоски, как щетинки на свиной шкуре, и воздух

наполнился треском: преты, голодные духи, слетелись поглядеть на выход Тимура. Сколько же душ он погубил!

Всадники спешились и встали. Из шатра показались стражники, развели в стороны шторы, закрывающие проход, и, натянув тетиву на луках, заняли боевые позиции. В горле у Болда пересохло так, что невозможно стало глотать; ему казалось, что синий свет исходит изнутри большой юрты хана.

Тимур появился, высоко восседая на носилках, которые слуги взвалили себе на плечи. Он был бледен и весь вспотел, в глазах виднелись одни белки. Он поглядел на Псина.

— Зачем вы вернулись?

— Мадьяр настигла чума, хан. Они все мертвы.

Тимур не сводил глаз со своего нелюбимого генерала.

— Зачем вы вернулись?

— Доложить тебе, хан.

Голос Псина был твёрд, он бесстрашно глядел в свирепые глаза Тимура. Но хан был рассержен. Болд сглотнул. Всё сейчас было не так, как в день побега от охотников, — нельзя было надеяться на повторение подвига. Вот только мысль, что это им под силу, никуда не делась.

На глазах у Болда что-то в Тимуре оборвалось: асура заговорил через него, и, похоже, слишком дорогой для хана ценой. Или не асура, а нафс — животное начало, сидящее внутри него. Он просипел:

— Им так легко не отделаться! Они поплатятся, сколько бы ни пытались убежать, — он слабо взмахнул рукой. — Возвращайтесь к своему взводу.

Потом спокойным тоном он обратился к стражникам:

— Отведите этих двоих обратно и убейте — их, их солдат и их лошадей. Разведите костёр и сожгите всё дотла. Затем выедем на восток, будем скакать два дня и разобьём лагерь там.

Он занёс руку.

Мир раскололся.

Между ними разорвалась молния. Болд оглох и осел на землю. Сконфуженно оглядевшись, он увидел, что и остальных распластало по земле, а шатёр хана полыхал огнём. Тимуровы носилки опрокинулись, слуги попятились в стороны, а сам хан, припав на колено, схватился за грудь. К нему подоспел кто-то из подданных. В гущу людей снова ударило молнией.

Ослеплённый, Болд заставил себя встать на

ноги и бросился бежать. Он оглянулся и сквозь пульсирующую зелёную пелену перед глазами увидел, как чёрный Тимуров нафс выпорхнул у того изо рта и растворился в ночи. И нафс, и асура покинули Тамерлана, Железного Хромца. Опустошённое туловище рухнуло наземь, и на него пролился дождь. В темноте Болд побежал на запад. Нам неизвестно, куда побежал Псин и как сложилась его судьба, а вот что приключилось с Болдом, вы узнаете в следующей главе.

2

О том, как по стране голодных духов блуждает обезьяна, одинокая, как облако.

Болд бежал на запад всю ночь, иногда переходя на шаг. Под проливным дождём он продирался через заросли, поднимался на крутые склоны холмов, встречавшихся на пути, где его не достал бы никакой всадник. Никто бы не полез из кожи вон в погоне за возможным переносчиком чумы, но меткий выстрел мог поразить и на большом расстоянии. Болд решил уйти из этого мира, будто его здесь и не было. Если бы не эта неслыханная гроза, погибнуть бы ему и устремиться к новому витку существования — этот путь он сейчас и держал. «Уходя, уходя за пределы, уходя за пределы пределов…».

Он шёл весь следующий день и следующую ночь. Рассвет второго дня застал Болда, когда он вновь миновал Моравские Ворота: он понимал, что никто не посмеет последовать за ним сюда. Очутившись на Мадьярской равнине, он двинулся на юг, в леса. В росистом утреннем свете он

заметил поваленное дерево и, скользнув под оголённое корневище, проспал остаток дня укромно и в сухости.

Ночью дождь перестал, и на третье утро Болд высунулся наружу, изнемогая от голода. Не теряя времени даром, он нашёл и нарвал дикого лука, поел, а затем отправился на поиски более плотной пищи. Возможно, в погребах опустевших деревень ещё висело вяленое мясо, а в амбарах сохранилось зерно. Там он надеялся найти лук и стрелы. Как Болд ни опасался приближаться к вымершим посёлкам, он не видел лучшего способа раздобыть пищи, а перед голодом меркли все остальные тревоги.

Болд спал плохо, мучаясь газами и тяжестью в животе из-за съеденного лука. Он вышел в путь на рассвете и берегом широкой реки двинулся на юг. Деревни и сёла пустовали. Если на глаза и попадались люди, то валяющиеся на земле, мёртвые. Жуткое зрелище, но им было уже не помочь. Болд как будто и сам влачил посмертное существование, уподобляясь голодным духам. Перебиваясь одним подножным кормом, без имени и без товарищей он начал замыкаться в себе, как бывало в особенно трудных степных походах, всё больше и больше уподобляясь зверю. Его мысли

съёживались, как улитка, которой коснулись пальцем. Подолгу он не мог думать ни о чём, кроме сутры сердца. «Форма есть пустота, и пустота есть форма». Не просто так он был назван Сунь Укуном, Познавшим Пустоту, в своей прежней инкарнации. Обезьяной в вакууме.

Он дошёл до деревни, с виду нетронутой, обошёл околицу. В пустой конюшне нашлись лук без тетивы и колчан стрел, которые были сработаны топорно и криво. Что-то мелькнуло на лугу, и на свист Болда примчалась мелкая чёрная кобылица. Он приманил лошадь луковицей и легко приучил её держать себя в седле.

Верхом он переправился по каменному мосту на другой берег и не спеша поскакал на юг по бугристому долу, то с горы, то в гору, то в гору, то с горы. Деревни пустовали и здесь. Что из запасов не сгнило, то разворовали звери, но теперь хоть кобылье молоко и кровь подпитывали силы Болда, и вопрос провизии стоял не так остро.

Здесь была осень, и Болд начал жить подобно медведям — питаясь ягодами, мёдом и мясом кроликов, подстреленных из кривого лука. Похоже, смастерил его ребёнок — у Болда не укладывалось в голове, чтобы такое было делом рук взрослого человека. Обыкновенная ветка — тополиная,

скорее всего, слегка обструганная, но безнадёжно кривая и мягкая, как гирлянда молитвенных флажков, без ложбинки для стрел и зарубок под тетиву. Прежний лук Болда состоял из наслоений рога, клёна и жильного клея, обтянутых синей кожей, с тугой и звонкой тетивой, и стрелял он так мощно, что пронзал броню с расстояния больше ли[2]. Он остался далеко, за пределами пределов, утрачен вместе с прочими скудными пожитками. Теперь, стреляя палками из ветки, он промахивался, качал головой и не знал, стоит ли искать упавшую стрелу. Немудрено, что все здесь вымерли.

В крохотной, в пять хижин всего, деревушке, возле брода через речку, Болд заглянул в дом старейшины. Там, в запертом чулане, он нашёл сухие рыбные котлеты, сдобренные непонятными на вкус пряностями, от которых крутило в животе. Однако, подкрепившись незнакомой пищей, Болд воспрянул духом. В конюшне нашёл сёдельные сумки и набил их сушёными продуктами. Поскакал дальше, с проснувшимся интересом разглядывая пейзаж вокруг.

Белоствольные деревья держат почер-

---

[2] Примечания: 2
Мера длины, равная примерно 0,5 км (*прим. пер.*).

невшие ветви.

В горах зелены сосны и кипарисы.

Красная птица и синяя птица сидят

Бок о бок на одном дереве. Нет ничего невозможного.

Лишь к прежней жизни невозможно вернуться. На Тимура Болд не держал зла — на его месте он поступил бы так же. Чума есть чума, к ней нельзя относиться легкомысленно. А нынче зараза разбушевалась как никогда прежде, раз выкосила целый регион. У монголов она губила лишь малышей, да изредка взрослый мог переболеть. Как от крыс и мышей избавлялись, не задумываясь, так и младенцев, едва тех бросало в жар, а кожа покрывалась бубонами, матери уносили к реке — не выживут, так помрут. Больше всех доставалось индийским городам — там, говорят, помирали толпами. Но никогда не бывало, как сейчас. А может, что другое сгубило всех этих людей.

Странствие по опустевшей земле.

Стелются облака, луна холодна и бледна.

Зябко смотреть на небо цвета инея.

Пронзительный ветер. Внезапный

страх.

Сотни деревьев воют в редком лесу:

Одинокая обезьяна кричит на голом холме.

Но страх омыл его и сошёл, как потоки дождя, и в мыслях стало пусто, как повсюду на земле. Всё было неподвижно. «Ушло, ушло, ушло за пределы пределов».

Поначалу он верил, что вскоре пересечёт чумной регион и снова встретит людей. Но, перевалив через чёрные щербатые вершины горной гряды, он увидел простёршийся внизу большой город, доселе невиданных размеров — крыши его занимали всю пойму. Покинут. Ни дыма, ни шума, ни шолоха. В центре города, подставленный небу, стоял превысокий каменный храм без кровли. При виде этой картины страх вновь нахлынул на него, и Болд ускакал в лес, подальше от стольких человеческих жизней, унесённых вместе с пожухшей листвой.

Он примерно себе представлял, конечно, где сейчас находится. К югу отсюда лежали османские владения турок на Балканах. С турками можно будет говорить, снова начнётся жизнь — вдали от империи Тимура. Там что-нибудь

подвернётся, он встанет на ноги.

И он продвигался на юг. Но по пути находил одни скелеты. Всё больше и больше его терзал голод. Подгоняя свою кобылицу, он часто думал о её крови.

Пока однажды ночью в подлунной темени внезапно не раздался вой и на них с необузданным рыком не набросились волки. Болд едва успел перерезать лошадиную привязь и взобраться на дерево. Почти все волки погнались за кобылой, но некоторые остались и, тяжело сопя, расселись под деревом. Болд устроился поудобнее и приготовился ждать. Когда пошёл дождь, волки убрели прочь. На рассвете Болд проснулся в десятый раз и спустился. Он пошёл вниз по течению реки и наткнулся на труп кобылы, от которой остались только шкура, хрящи да рассыпанные вокруг кости. Сумок нигде не было.

Он продолжил путь пешком.

Однажды, не в силах больше стоять на ногах, он залёг у реки в засаде и подстрелил оленя одной из куцых тоненьких стрел, развёл костер, наелся досыта, уплетая поджаренную добычу большими кусками. Он заснул подальше от останков, надеясь ещё вернуться. Волки не умели лазить по деревьям, зато медведи умели. Он увидел лиси-

цу, и у него отлегло от сердца — плутовка была нафсом его жены, ещё давным-давно. Поутру пригрело солнце. Оленя, судя по всему, утащил медведь, но свежее мясо в желудке придало Болду сил, и он двинулся дальше.

Несколько дней он шёл на юг, по мере сил держась возвышенностей, шёл по безлюдным и безлесным холмам, земля у него под ногами заиндевела в камень и запеклась белым от сурового солнечного света. На рассветах он взглядом искал лисицу в долинах, пил воду из ручьёв, рыскал в поисках объедков по вымершим селениям. Находить пропитание становилось всё труднее, и был момент, когда ему пришлось жевать кожаные ремни упряжи — старая монгольская хитрость, вынесенная из многотрудных степных походов. Но ему казалось, что раньше от этого было больше толку, да и просторные зелёные поля преодолевать было проще, чем эти измученные белым солнцем холмы.

В конце одного дня, когда Болд давно свыкся с одиноким образом жизни, снуя по свету, как та самая обезьяна, он вошёл в небольшой перелесок, собираясь развести костёр, но, к своему удивлению, обнаружил уже горящий очаг, который ворошил живой человек.

Человек был невысоким, как Болд, с красно-рыжей, как листья клёнов, шевелюрой, косматой бородой такого же цвета и кожей бледной и рябой, как собачья шкура. Болд было решил, что человек болен, и думал держаться подальше. Но глаза у того были голубы и прозрачны — и он сам был напуган не меньше и настороженно ждал подвоха. Так безмолвно они и глазели друг на друга с противоположных концов небольшой поляны посреди леска.

Человек указал на костёр. Болд кивнул и опасливо вышел на просеку.

Человек жарил две рыбины. Болд вынул из-под полы тушу кролика, убитого этим утром, и освежевал его с помощью своего ножа. Человек голодными глазами следил за его действиями и кивал, узнавая знакомые движения. Он перевернул рыбу другой стороной и расчистил в золе место для кролика. Болд нанизал тушу на палку и сунул в огонь.

Когда мясо зажарилось, они молча поужинали, сидя на брёвнах по разные стороны костра. Оба вглядывались в языки пламени, лишь изредка косясь друг на друга, робея после долгого времени, проведённого в одиночестве. Каждый из них теперь смутно представлял, что может сказать

другому человеку.

Наконец человек заговорил. Сперва ломано, но постепенно удлиняя фразы. То и дело он произносил слова, казавшиеся Болду знакомыми, и особенно знакомыми были его движения вокруг костра, но как Болд ни пытался, ему не удалось понять ничего из этого рассказа.

Болд и сам хотел сказать несколько простых фраз, но слова показались ему чужеродными во рту, как мелкая галька. Человек внимательно слушал, в свете костра его голубые глаза искрились на грязной бледной коже худощавого лица, но он не узнал ни монгольской речи, ни тибетской, ни китайской, ни турецкой, ни арабской, ни чагатайской, как не узнал ни одного из приветствий на многих других языках, которые выучил Болд за годы странствий по степи.

Под конец монолога Болда лицо человека перекосило, и он разрыдался. Он вытер насухо глаза, оставляя на щеках широкие грязные разводы, встал перед Болдом и что-то сказал, активно жестикулируя. Он ткнул пальцем в Болда, точно сердясь на него, а потом отошёл назад, присел на бревно и стал изображать, как показалось Болду, греблю на лодке. Он грёб против движения, как рыбаки в Каспийском море. Жестами он изобра-

жал рыбалку: вот он ловит рыбу, разделывает её, жарит, кормит рыбой маленьких детей. Жестами он взывал к жизни всех тех, кого раньше кормил — детей, жену и всех домочадцев.

Потом он поднял лицо на охваченный огнём хворост, пролёгший между ними, и снова заплакал. Он задрал грубую рубаху, покрывающую тело, и указал на свои плечи и подмышки, стиснув кулак. Болд кивнул, чувствуя, что его начинает мутить, пока человек, улегшись на землю и по-собачьи заскулив, изображал болезнь и смерть всех своих деток. Потом — жены, потом — остальных. Все умерли, кроме этого человека, который кружил теперь вокруг огня, указывая на листья, усыпавшие землю, и произнося какие-то слова — наверное, имена. Теперь Болду всё стало ясно как день.

Тогда человек сжёг свою деревню и уплыл, изображая всё абсолютно отчётливыми жестами. Он долго грёб на своём бревне — так долго, что Болд решил, что тот забыл о рассказе, — но вдруг резко остановился и упал на спину. Он выбрался и огляделся по сторонам в поддельном недоумении. Он пошёл. С дюжину раз он обогнул костёр, как будто бы поедая траву и палки, воя волком, прячась под бревно, потом снова походил и даже

погрёб. Без конца он повторял одно и то же:

— Сме, сме, сме, сме, — крича на перечёркнутые ветками звёзды, дребезжащие у них над головами.

Болд кивнул. Эта часть истории была ему знакома. Человек застонал, глухо зарычал по-звериному, взрыл палкой землю. У него были красные, как у самого настоящего ночного волка, глаза. Болд поел ещё кроличьего мяса и протянул палку мужчине, который выхватил её и с жадностью впился в мясо. Вдвоём сидели они и смотрели на огонь. Болд чувствовал себя и в одиночестве — и нет. Он поглядел на человека, который съел обе свои рыбины и начинал клевать носом. Он вздрогнул, пробормотал что-то, устроился на земле, обнимая телом кострище, и уснул. С тревожным чувством Болд пошевелил хворост, устроился на другой стороне очага и тоже попытался уснуть. Когда он проснулся, огонь потух, а человека не было. Наступило промозглое утро, вымоченное в росе. Следы человека пересекали поляну и спускались к широкой излучине реки, где и обрывались. Нельзя было знать, куда направился человек оттуда.

Шли дни, Болд продолжал двигаться на юг. Долгими часами в мыслях у него гулял ветер, и

он только поглядывал вокруг себя в поисках еды да на небо, наблюдая за погодой, бормоча себе под нос одни и те же слова. Познавший Пустоту. Однажды он вошёл в деревню, построенную вокруг родника.

Вокруг – разрушенные старые храмы,
Персты колонн указывают в небеса,
Царит необъятное безмолвие.
Чем же прогневали своих богов
Все эти люди? И как отнесутся они
К одинокой душе, блуждающей здесь,
Когда конец света уже свершился?
Но рассыпались мраморные барабанные палочки.
Одинокая птица щебечет в пустынном небе.

Он не стал испытывать судьбу, заглядывая внутрь, и потому обошёл храмы кругом, напевая под нос: «Ом мани падме хум, ом мани падме хум, хуммм», — вдруг отчётливо осознав, что стал часто разговаривать сам с собой и петь, даже не замечая этого, как можно не замечать давнего приятеля, который постоянно талдычет об одном и том же.

Он продолжал продвигаться на юго-восток, хотя уже забыл, почему идёт именно туда. Переворачивал вверх дном придорожные дома в поисках еды. Шёл безлюдными дорогами. Здесь были древние земли. Узловатые оливковые деревья, почерневшие и отяжелевшие под весом несъедобных плодов, насмехались над ним. Усилий одного человека всегда мало, чтобы насытиться исключительно за их счёт, — всегда. Голод снедал Болда, и он уже не мог думать ни о чём, кроме еды, и так продолжалось каждый день. Он проходил мраморные храмы, мародёрствовал на виллах, которые миновал. Однажды он нашёл большой глиняный кувшин оливкового масла, и остался, и провёл там четыре дня, пока не выпил его до дна. Дальше земля стала щедрее к охотнику. Не раз и не два он видел лисицу. Меткие выстрелы из детского лука помогли забыть о голоде. Ночь от ночи он разводил костры всё ярче и не раз задавался вопросом о том, что же стало со случайно встреченным незнакомцем. Может, после встречи с Болдом он осознал, что ему суждено оставаться одному, кто бы ни встретился ему на пути и что бы с ним ни приключилось, и поэтому покончил с собой и воссоединился со своим джати? Или просто поскользнулся, когда наклонился

напиться? Или переплыл на другой берег, чтобы Болд не нашёл его? Болд не знал, но снова и снова его мысли возвращались к той встрече, особенно вспоминая ту ясность, с которой он понимал рассказ человека.

Равнины бежали на юго-восток. Мысленно очертя линию своего пути, Болд обнаружил, что слишком мало помнит из последних недель, чтобы точно представлять своё местоположение относительно Моравских Ворот или каганата Золотой Орды. С Чёрного моря на запад они скакали дней десять, так? Нет, это было всё равно что пытаться вспомнить прежнюю жизнь.

Однако можно было предположить, что он приближался к Византийской империи, подступая к Константинополю с северо-запада. Опустив плечи, Болд сидел у ночного костра и гадал, встретит ли его Константинополь таким же опустевшим. Гадал, вымерла ли только Монголия, или людей не осталось нигде в мире? Ветерок прошелестел в кустах голосами призраков, и Болд забылся тяжёлым сном, просыпаясь в течение ночи, чтобы взглянуть на звёзды и подбросить хвороста в огонь. Ему было холодно.

Когда он проснулся вновь, у костра, напротив него, стоял призрак Тимура, и языки пламени

плясали на его внушающем трепет лице. Его глаза были черны, как обсидиан, и Болд увидел горящие в них звёзды.

— Значит, решил убежать, — мрачно протянул Тимур.

— Да, — прошелестел Болд.

— Что же ты? Не хочешь снова отправиться на охоту?

Эти слова он когда-то уже говорил Болду. Под конец он так ослаб, что его приходилось таскать на носилках, но Тимуру никогда не пришла бы в голову мысль остановиться. В свою последнюю зиму он выбирал, отправиться ли по весне с походом на восток, против Китая, или на запад, против франков. Он тогда закатил пир горой и тщательно взвешивал аргументы в пользу каждого варианта. В какой-то момент его взгляд упал на Болда, и что-то в лице того заставило хана рявкнуть своим мощным голосом:

— Что же ты, Болд? Не хочешь снова отправиться на охоту?

Прежний Болд ответил:

— Всегда рад, великий хан. Я был с тобой, когда мы брали Фергану, Хорасан, Систан, Хорезм и Могулистан. Не откажусь и повторить.

Тимур расхохотался своим злым смехом.

— Но куда пойти на этот раз, Болд? Куда?

Болд был не дурак и в ответ пожал плечами.

— Мне без разницы, великий хан. Почему бы не бросить жребий?

Этим он заслужил ещё один раскат хохота, тёплую зимовку с ночёвками на конюшне и добрую лошадь в походе. Они вышли на запад весной 784 года.

Теперь же призрак Тимура, осязаемый, как и человек из плоти и крови, сидел напротив костра и прожигал Болда неодобрительным взглядом.

— Я бросил жребий, Болд, как ты и советовал. Вот только монета упала не той стороной.

— Может, в Китае сложилось бы ещё хуже, — предположил Болд.

Тимур недобро посмеялся.

— Куда уж хуже? Меня убило молнией! Это ваша вина, Болд. Твоя и Псина. Вы принесли с собой проклятие запада. Вам не стоило возвращаться. А мне стоило пойти на Китай.

— Может, и так.

Болд не знал, как вести себя с ним. Иногда рассерженным духам требовалось дать отпор, но не реже их нужно было и успокоить. Но эти чернильно-чёрные глаза, горящие звёздным светом…

Ни с того ни с сего Тимур поперхнулся. Он

поднёс ко рту ладонь и отхаркнул на неё что-то красное. Поразглядывал это, а потом протянул руку и показал Болду красное яйцо.

— Это твоё, — сказал он и бросил Болду через огонь.

Болд изогнулся, чтобы поймать яйцо, и проснулся. Он застонал. Призрак Тимура точно был неспокоен. Блуждая между мирами, он навещал своих старых воинов, как самая обычная прета[3]… Зрелище в известном смысле жалкое, но Болд не мог стряхнуть с себя страх. Дух Тимура был силён вне зависимости от того, в каком царстве обитал. В любой момент его рука могла протянуться в этот мир и ухватить Болда за пятку.

Весь день Болд тащился на юг, в тумане воспоминаний почти не видя земли, по которой ступал. Последний визит хана в конюшню к Болду прошёл трудно, так как Тимур уже не мог ездить верхом. Он посмотрел на мускулистую вороную кобылу, как на женщину, огладив ей бок, и сказал Болду:

— Первый украденный мной конь выглядел в

---

[3] Примечания: 3

Дух усопшего в ведийской традиции, оставшегося жить среди людей до момента совершения кем-то из живущих ритуала для его воссоединения с духами умерших в небесном царстве; если вовремя не провести ритуал, дух может стать демоном (*прим. ред.*).

точности так же. Моя жизнь началась с бедности и тягот. Бог невзлюбил меня. Но я думал, он хотя бы позволит мне держаться в седле до самого конца.

И упёрся в Болда своим бдительным взглядом, таким же, как во сне, когда один глаз кажется чуть выше и круглее другого. Только при жизни его глаза были карими.

Голод вынуждал Болда охотиться. Изголодавшемуся призраку Тимура можно было не беспокоиться о пропитании, зато Болд беспокоился, и ещё как. Вся дичь водилась на юге, в равнинах. Однажды, высоко на горном склоне, он увидел бронзовеющую вдали воду. Не то крупное озеро, не то море. Истоптанные дороги помогли ему преодолеть очередной перевал, и он спустился в очередной город.

И снова никого в живых. Всё вокруг было беззвучно и недвижимо. Болд бродил по пустым улицам среди пустых домов, ощущая холодные ладони прет, гладившие его по хребту.

На центральном холме города виднелось скопище храмов, как белеющие на солнце обглоданные кости. Узрев это, Болд понял, что попал в столицу вымершей земли. Он прошёл от окраин, застроенных домиками из грубого камня, к столичным

храмам из гладкого белого мрамора. Никто не выжил. Белая пелена затянула ему взор, и, превозмогая её, он поволок ноги по запылённым улочкам и поднялся на вершину холма, чтобы выплакаться здешним богам.

На священном плато три храма поменьше со всех сторон подпирали главный, самый большой храм, величественное прямоугольное сооружение с двойными рядами полированных колонн, со всех четырёх сторон державших блестящую на солнце крышу из мраморных изразцов. Под стрехой были вырезаны фигуры: они сражались, маршировали, летали, указывали что-то на огромной каменной таблице, изображавшей отсутствующих людей и их богов. Болд посидел на мраморном пеньке, остатке давно рухнувшей колонны, разглядывая каменный рельеф в попытке изучить этот утраченный мир.

Через некоторое время он встал, вошёл в храм и стал вслух возносить молитву. Этот храм не был похож на большие каменные северные храмы: у дальней стены не было места для общего сбора, внутри не лежали скелеты. Всё указывало на то, что место пустовало много лет. Летучие мыши свисали со стропил, а темноту разбавляли лучи солнечного света, проникающие сквозь прорехи

в кровле. В дальней части храма был — похоже, поспешно — возведён алтарь. Там в чаше масла одиноко горел фитиль. Последний молебен, теплящийся даже после смерти.

Болду нечего было принести в подношение. Вокруг молчал великий мраморный храм.

— Уходя, уходя за пределы, уходя за пределы пределов, возрадуемся пробуждению!

Гулким эхом отозвались его слова.

Шатаясь, Болд вышел наружу, под свирепое полуденное солнце, и увидел, как с юга ему подмигнуло море. Он направился туда. Здесь его ничто не держало: умерли люди, умерли и их боги.

Узкий залив пролёг между холмами. Гавань в конце залива пустовала, если не считать лодок, которые или качались на волнах, или лежали, опрокинутые, неподалёку на галечной полоске берега. Болд не стал туда соваться — что он понимал в лодках? Он видел озёра Иссык-Куль и Цинхай, Аральское, Каспийское и Чёрное моря, но в жизни никогда не управлял судном, разве что по реке сплавлялся на барже. Он не горел желанием учиться сейчас.

Не видно странников из далёких зе-

мель.

Не видно кораблей, причаливших на ночь.

Неподвижна мёртвая гавань.

У берега он зачерпнул ладонями воды, чтобы напиться, и выплюнул — вода оказалась солёной, как в Чёрном море или в реках на Таримской впадине. Непривычно было видеть столько воды, пропадающей зря. Он как-то слышал рассказы об океане, окружающем землю. Может, он дошёл до западного или южного края света. А может, за этим морем, на юге, жили арабы. Он не знал. И впервые за всё время странствий его посетило чувство, что он понятия не имеет, где оказался.

Он спал на тёплом прибрежном песке, чистым усердием воли не позволяя Тимуру вторгнуться в сновидение, и ему снилась степь, когда в него вдруг вцепились сильные руки, перекатили на живот и связали за спиной ноги и руки. Рывком Болда подняли.

Мужской голос произнёс:

— Кто это тут у нас?

Или что-то в этом роде. Человек говорил по-турецки. Болд не узнавал многих слов, но это точно было турецкое наречие, и ему обычно

удавалось уловить общий смысл сказанного. Окружившие его люди были воинами или, возможно, пиратами, с огромными натруженными руками, золотыми кольцами в ушах и в грязных хлопковых одеждах. При виде них Болд зарыдал, растянув рот в наивной улыбке, — он чувствовал, как растягивается кожа на его лице и щиплет глаза. Они пристально за ним наблюдали.

— Сумасшедший, — предположил один.

Болд в ответ замотал головой.

— Я… не видел людей, — ответил он на улусско-турецком. Язык распух у него во рту, ведь, несмотря на беседы с самим собой и с богами, Болд слишком отвык от разговоров с людьми. — Я думал, все мертвы.

Он махнул рукой на северо-запад.

Его не поняли.

— Убьём его, — предложил один, так же безапелляционно, как Тимур.

— Все христиане мертвы, — заметил другой.

— Убьём, и дело с концом. Лодки и без того переполнены.

— Лучше возьмём с собой, — предложил кто-то. — Работорговцы его бы купили. Он же тощий, лодки на дно не утащит.

Или что-то в этом роде. Болда поволокли по

берегу. Ему пришлось прибавить шаг, чтобы верёвка не выворачивала его спиной вперёд, и от таких усилий голова пошла кругом. Силы были на исходе. От мужчин разило чесноком, и от запаха, даже такого гадкого, он испытал неимоверный голод. Впрочем, если Болда надумали продать работорговцам, его обязательно покормят. Слюна потекла изо рта так обильно, что он стал походить на шелудивого пса, а он всё продолжал плакать и хлюпать носом, не имея возможности даже вытереть его завязанными за спиной руками.

— У него пена ртом идёт, как у лошади.

— Он болен.

— Не болен он. Тащите его. Не медли, — последнее было сказано уже Болду. — Тебе нечего бояться. Мы отведём тебя туда, где даже рабы живут лучше, чем вы, варвары.

Потом его втолкнули на борт пришвартованной к берегу лодки; размашистыми рывками лодку вытянули обратно на воду, и она неистово заколыхалась. Болд тут же припал боком к деревянному борту.

— Сюда, раб. Садись на этот мот верёвки!

Болд сел и стал наблюдать за их работой. Неважно, что произойдёт с ним дальше, — всё было

лучше пустой земли. Уже глядя на то, как люди движутся, слушая их разговоры, он весь насыщался. Он будто снова видел, как бегут в степи лошади. Жадными глазами Болд проследил, как они подняли вверх по мачте парус, лодка накренилась набок, и Болд бросился к противоположному борту. Они прыснули со смеху, а Болд смущённо улыбнулся, тыча пальцем в большой треугольник.

— Чтобы нам опрокинуться, нужен ветер покрепче этого бриза.

— Да убережёт нас Аллах от такого.

— Да убережёт нас Аллах.

Мусульмане.

— Да убережёт нас Аллах, — подхватил Болд с учтивостью. И добавил по-арабски: — Во имя бога, милостивого и милосердного.

За годы службы в Тимуровом войске он научился вести себя как мусульманин в окружении мусульман. Будда не обращает внимания на слова, сказанные из вежливости. Вежливость не спасёт его от участи раба, но, если повезёт, поможет посытнее набить брюхо. Мужчины устремили на него любопытные взгляды. Мимо проплывала земля. Болду развязали руки и угостили сушёной бараниной и чёрствым хлебом.

Он старался по сто раз пережёвывать каждый кусочек. Знакомые вкусы вызывали в памяти воспоминания о прошлой жизни. Он проглотил угощение и напился чистой воды из протянутой ему кружки.

— Хвала Аллаху. Благодарю вас, во имя бога, милостивого и милосердного.

Из узкого залива они вышли в широкое море. С наступлением темноты швартовались у крутых берегов и устраивались на ночлег. Болд сворачивался калачиком под мотом верёвки. А просыпаясь среди ночи, не сразу понимал, где находится.

По утрам плыли дальше, всё на юг и на юг, пока однажды не вышли из узкого пролива в открытое море. Волны тут были высокими, а качка напоминала езду верхом на верблюде. Болд указал на запад. Мужчины сказали какое-то слово, но он не понял.

— Там все мертвы, — пояснили они.

Солнце село, а они всё плыли по открытому морю. Впервые они не останавливались на ночь, и Болд, просыпаясь иногда, видел, как они неизменно несли вахту, глядя на звёзды и не разговаривая друг с другом. Так они плыли три дня, пока суша не скрылась из виду, и Болд не знал, сколько ещё

это будет продолжаться. На четвёртое же утро южное небо побелело, а затем побурело.

Облака подобны тем, что дуют с Гоби.

Небо затянуто песком и крупицами пыли – земля!

Равнинная плоскость. И море, и небо

Окрашены в бурый.

И только тогда становится видно башню,

За башней – каменный мол, за молом – гавань.

Один моряк с радостью в голосе наконец назвал землю:

— Александрия!

Болд слышал про такое место, но ничего не знал о нём. Не знаем и мы. Но прочитав следующую главу, вы получите ответы на свои вопросы.

3

О том, как наш герой в Египте попадает в рабство; а в Зинджи сталкивается с вездесущими китайцами.

Похитители причалили, встали на якорь, привязав к верёвке булыжник, надёжно связали Болда и оставили одного, набросив сверху покрывало, а сами сошли на берег.

Все лодки швартовались здесь, на берегу, рядом с широким, загороженным молом деревянным причалом, куда приходили уже большие корабли. Вернулись похитители уже изрядно выпившими. Они о чём-то спорили. Болду развязали путы на ногах, оставив руки связанными, и, не сказав больше ни слова, выволокли из лодки и повели по широкому городскому взморью. Побережье запомнилось Болду пыльным, солёным и заветренным, к тому же пропахшим под палящим солнцем тухлой рыбой, которая и впрямь валялась тут на каждом шагу. На пристани против длинного строения громоздились тюки, ящики, высокие глиняные кувшины и рулоны ткани, оплетённые сетками, дальше открывался рыб-

ный рынок, при виде которого у Болда потекли слюнки, а в животе всё стянуло узлом.

После они оказались на невольничьем рынке. В центре небольшой площади возвышался помост, смахивающий на трибуну, с которой читал свои учения далай-лама. Первых троих невольников продали быстро. Особое внимание толпы, не скупившейся на комментарии, привлекали выставленные на продажу женщины. Они были раздеты догола, если не считать верёвок и цепей, сковывавших их движения. Так и стояли невольники, бессильные и согбенные. У большинства кожа была чёрного цвета, у некоторых — коричневого. Торги, похоже, близились к закрытию, и покупатели разбирали последних рабов. Перед Болдом изможденную девочку лет десяти сбыли на руки тучному негру в грязном шёлковом одеянии. Переговоры велись на каком-то из диалектов арабского языка. За маленькую невольницу расплатились мелкими золотыми монетами, названия которых Болду не доводилось слышать прежде. Он помог своим похитителям стянуть с себя старую, до хруста заиндевевшую одежду.

— Можно обойтись без цепей, — попытался сказать он по-арабски, но его не стали слушать и

заковали в кандалы.

Он поднялся на помост, и его обдало тяжёлым спёкшимся воздухом. Болд чуял, что от него смердит, а окинув себя взглядом, он понял, что за долгое время странствий по пустынной земле отощал, как та самая маленькая невольница. Зато теперь его кости обтягивали сплошные мускулы. Он расправил плечи, глядя на солнце, и пока продолжались торги, повторял про себя строки лазуритовой сутры, которые гласили: «Злые духи, недобрые духи, что бродят по земле: прочь изыдите! Будда не признаёт рабства!»

— Говорит он по-арабски? — спросил кто-то.

Один из похитителей вытолкнул Болда вперёд, и тот сам ответил:

— Во имя бога, милостивого и милосердного, я говорю по-арабски, а также по-тюркски, по-монгольски, по-улусски, по-тибетски и по-китайски, — и Болд по памяти затянул первую суру Корана, пока его не дёрнули за цепь, что он расценил как приказ умолкнуть.

Очень хотелось пить.

Его купил низкорослый, поджарый араб за двадцать незнакомых монет. Похитители остались довольны. Болд спустился с помоста, и ему вернули одежду, его похлопали по спине и удалились.

Он было хотел натянуть свой засаленный халат, но новый хозяин остановил его, протянув обрез чистой хлопчатой ткани.

— Накинь лучше это. А обноски оставь здесь.

Болд опустил удивлённый взгляд на последнее, что оставалось от его прошлой жизни. Жалкое, казалось бы, тряпьё — но какой путь проделан в этом тряпье. Он вытащил из складок платья свой амулет, оставив припрятанный в рукаве нож, но вмешался хозяин и выбросил амулет вместе с одеждой.

— Идём. Я знаю рынок в Зинджи, где такого варвара можно продать втрое дороже, чем я заплатил за тебя здесь. А покамест поможешь мне собраться в дорогу. Ты меня понял? Поможешь мне — себе же сослужишь службу, и я буду тебя хорошо кормить.

— Я понял.

— То-то же. А о побеге даже не помышляй. Александрия — прекрасный город. Мамлюки правят здесь железной рукой, строже, чем при шариате. И они не прощают беглых рабов. Они прибыли сюда с севера Чёрного моря осиротевшими. Их родители встретили смерть от рук варваров, вроде тебя.

Болд и сам перебил немало воинов Золотой

Орды, потому лишь молча кивнул. Хозяин продолжил:

— Арабы научили мамлюков служить Аллаху, и теперь они не просто мусульмане, — он даже присвистнул на этих словах. — Их взрастили, чтобы править Египтом независимо от чужого влияния — быть верными одному только шариату. Тот, кто перейдёт им дорогу, пожалеет об этом.

Болд снова кивнул.

— Я понял.

Переход через Синай был похож на кочевье по пустыням его родной страны, только на этот раз Болд вместе с рабами плёлся в хвосте верблюжьего каравана, глотая пыль, поднявшуюся от их копыт. Они оказались здесь в разгар хаджа[4]. Верблюды и люди истоптали тропу, пересекающую пустыню, и теперь она выделялась широкой гладкой пыльной лентой среди каменистых дюн. Слева их миновали странники, небольшими группами шедшие на север. Болд никогда не видел столько верблюдов.

Караван-сараи были ветхими и пыльными. Хо-

[4] Примечания: 4

Паломничество, связанное с обязательным посещением Мекки и её окрестностей каждым мусульманином (*прим. ред.*).

зяин никогда не освобождал своих невольников от связывавших их верёвок — так они и спали по ночам, кольцом, вповалку на земле. Ночи были непривычно тёплыми и почти искупали собой дневную жару. Их господина звали Зейк. Он щедро поил и сытно кормил рабов по вечерам и на рассвете. Болд отмечал, что господин обращался с ними, примерно как с собственными верблюдами: заботился о своём товаре, как и положено купцу. Болд такой подход одобрял и всеми силами старался поддерживать шеренгу измождённых рабов в тонусе: когда никто не выбивается из строя, переносить поход намного легче. Однажды ночью Болд поднял глаза к небу и увидел, как сверху на него смотрит Стрелец. Тогда вспомнились ему долгие одинокие ночи на опустевшей земле.

Дух Тимура,

Последний уцелевший рыболов,

Пустые каменные храмы, подставленные небу,

Голодные дни, куцая лошадёнка,

Кривой лук и худые стрелы,

Красная птица и синяя птица бок о бок.

Они вышли к берегу Красного моря и поднялись на корабль, раза в три или четыре превосходящий лодку, что доставила Болда в Александрию. «Дау», или «самбук», — так называли его в народе. Ветер дул постоянно с запада, иногда сильно, и корабль, прижимаясь к западному берегу и раздувая на ветру свой большой треугольный парус, двигался на восток. Шли полным ходом. Зейк давал невольникам всё больше и больше пищи, откармливая их на продажу. Болд с аппетитом уминал добавочные порции риса с огурцами, примечая, что язвы на ногах начинали потихоньку заживать. Впервые за долгое время голод не мучил его беспрестанно, и ему казалось, будто некий туман рассеялся, или спала дрёма, и он, Болд, постепенно пробуждается ото сна. И пусть теперь он был рабом, он не останется им навсегда. Что-нибудь непременно произойдёт.

Снявшись с якоря в Массауа, засушливом и буром портовом поселении, служившем перевалочным пунктом для паломников, они поплыли на восток, пересекая Красное море, обогнули пологий красный мыс, за которым заканчивалась Аравия, и достигли Адана — большого приморского оазиса. Болд никогда не видел такого огромного порта, как в этом богатом городе,

где зелёные пальмы покачивались над черепичными крышами, росли цитрусовые деревья и повсюду виднелись бесчисленные минареты. Однако Зейк не высадил невольников на берег и не разгрузил товары — проведя день на берегу, он вернулся и покачал головой.

— В Момбасу, — сказал он капитану корабля и заплатил ему сверху.

Снова поплыли на юг: через пролив, обогнули мыс Рас-Хафун, а затем — вдоль побережья Зинджи, уходя в такие дали, где Болд никогда прежде и не бывал. К полудню солнце стояло прямо над головой и жарило нещадно, и так дни напролёт, день за днём, без единого облачка в небе. Воздух обжигал, как будто мир стал одной большой печкой. Побережье виднелось либо мертвенно-коричневым, либо ярко-зелёным, не зная полутонов. Они останавливались в Могадишо, Ламу и Малинди, процветающих арабских торговых портах, но Зейк сходил на сушу ненадолго и скоро возвращался.

Они зашли в гавань Момбасы, самую большую из встретившихся им на пути, и там их взорам предстала флотилия исполинских кораблей — они казались Болду немыслимыми, до того были огромными. Каждый размером с небольшое по-

селение, с шеренгой мачт вдоль центра палубы. Таких диковинных кораблей он насчитал здесь около десяти, а между ними стояли пришвартованными ещё двадцать кораблей, поменьше.

— Славно, — сказал Зейк, обращаясь к капитану самбука. — Китайцы уже здесь.

Китайцы! Болд и помыслить не мог, что у китайцев такой огромный флот. Впрочем, ничего удивительного. Пагоды, Великая стена — китайцы любили строить с размахом.

Флот походил на архипелаг. Все на борту самбука, притихнув и оробев, разглядывали гигантские, точно морские божества, корабли. Китайские суда длиной превосходили самые большие дау в дюжину раз, а на одном из них Болд насчитал целых девять мачт. Зейк посмотрел на него и кивнул.

— Смотри, смотри. Бог даст, скоро станут твоим новым домом.

Капитан самбука, подставляя бризу паруса, подвел его к берегу. Вся береговая линия была утыкана шлюпками приезжих, и после непродолжительного обсуждения с Зейком капитан поставил судно на якорь в южной части гавани. Зейк и его слуга закатали подолы, перешагнули через борт самбука и ступили в воду, после чего

помогли всей связке невольников выбраться на сушу. Зелёная вода была тёплой, как кровь, почти горячей.

Болд заметил китайцев, даже здесь облачённых в традиционные красные войлочные халаты, слишком тёплые для местного климата. Они бродили по рынку, трогали товары на прилавках, шептались между собой и торговались, общаясь с купцами при помощи переводчика. Зейк, знакомый с переводчиком, подошёл к нему, расшаркался в приветствии и стал расспрашивать о том, как идёт торговля с китайскими гостями. Переводчик познакомил его с китайцами, которые вели себя по обыкновению обходительно, и даже дружелюбно. Болда немного потряхивало, то ли от духоты и голода, то ли всё-таки от того, что он снова, спустя столько лет и обойдя полмира, встретил на своём пути китайцев. Китайцев, которые по-прежнему преследовали свои корыстные интересы.

Зейк со слугой повели рабов по рынку. Среди буйства запахов, красок и звуков люди, чёрные как смоль, с белыми и жёлтыми глазами и зубами, сверкающими на фоне кожи, зазывно предлагали товары и договаривались о ценах. Болд шёл следом.

Мимо жёлтых и зелёных фруктов,

Мимо кофе, риса, сушёной рыбы,

Мимо вороха цветного хлопка

В крапинку и в бело-синюю полоску;

Мимо шёлка из Китая и ковров из Мекки;

Мимо коричневых орехов, мимо медных ваз

С бусами и разноцветными камнями,

Мимо шариков дурманящего опия;

Мимо жемчугов, и меди, сердолика, ртути;

Мимо тюрбанов, шалей и мечей, кинжалов;

Мимо слоновой кости, рога носорога,

Мимо сандалового дерева и амбры,

Мимо драгоценных слитков и ожерелий из монет,

Мимо белых, алых тканей и фарфора –

Всех прелестей мирских, что есть под этим солнцем.

А дальше — ещё невольничий рынок, снова на отдельной площади рядом с главным рынком, с

помостом в центре, который так похож на трибуну далай-ламы, когда не занят рабами.

Местные, заглянувшие на торги, столпились не в круг, а с одной стороны помоста. Преимущественно это были арабы, облачённые в синие суконные халаты и башмаки из красной кожи. Над рынком возвышалась мечеть с минаретом, за которой начинались ряды четырёх- и даже пятиэтажных зданий. Гвалт стоял неимоверный, но Зейк, оглядевшись, покачал головой.

— Дождёмся личной аудиенции, — решил он.

Он накормил рабов ячменными лепёшками и отвёл их к высокому зданию рядом с мечетью. Потом явились китайцы со своим переводчиком, и все вместе они перешли в тенистый внутренний дворик, густо засаженный зелёными широколиственными растениями вокруг журчащего фонтана. Во дворик выходила комната, где на стенах висели полки, красиво уставленные разнообразными чашами и статуэтками. Среди китайских пиал из белого фарфора, расписанного синими, золотыми и медными красками, Болд узнал самаркандскую керамику и расписные фигурки из Персии.

— Изящная работа, — похвалил Зейк.

После чего перешли к делу. Китайцы осмотрели

рабов Зейка. Перебросились парой слов с переводчиком, с которым Зейк посовещался наедине, покивали. Болд даже вспотел, несмотря на холод. Их продавали китайцам партией.

Один китаец прошёлся вдоль связки рабов. Он смерил Болда взглядом.

— Как ты сюда попал? — спросил он по-китайски.

Болд сглотнул, махнул рукой на север.

— Я был купец, — его китайский оставлял желать лучшего. — Золотая Орда схватила меня и привезла в Анатолию, потом в Александрию, потом сюда.

Китаец покивал и двинулся дальше. Вскоре китайские моряки в штанах и коротких рубахах увели рабов обратно на берег. Там уже ждали несколько таких же невольничьих групп. Их раздели, омыли чистой водой, намылили, и снова окатили водой. Им выдали новую одежду из простого хлопка, посадили в лодки и погребли к борту одного из исполинских кораблей. Следуя за тощим чернокожим мальчишкой-невольником, Болд поднялся по лесенке в деревянной корабельной стене, ровно на сорок одну ступеньку вверх. Всех рабов загнали под палубу, собрав в одной каюте в задней части корабля. Мы не хо-

тим рассказывать, что случилось дальше, но если мы этого не сделаем, рассказ наш не будет иметь смысла, так что придётся перейти к новой главе. А случилось вот что.

4

В которой после жуткого деяния появляется частица Будды; а моряки флотилии взывают к милосердию Тяньфэй.

Корабль был так огромен, что не качался на волнах. Болд словно попал на остров, а не плыл по морю. Их держали в помещении с низкими потолками, которое протянулось в ширину от одного корабельного борта до другого. Решётки с обеих сторон пропускали воздух и какой-никакой тусклый свет. Под одной из них было проделано отверстие, выходящее на воду и служившее отхожим местом.

Тощий негритёнок глянул вниз, словно прикидывая, сумеет ли пролезть в такую дыру. Он говорил по-арабски лучше, чем Болд, хоть это был и не его родной язык, но говорил странно, с гортанным акцентом, которого Болд никогда раньше не слышал.

— С номи бращаются ког с грязью.

Глядя в отверстие, он рассказал, что сам родом с холмов за саванной. Он просунул в дыру одну ногу, потом другую — не пролезть.

Но заскрежетал дверной замок, мальчишка втащил ноги обратно и диким зверьком отскочил в сторону. Вошли трое и выстроили невольников перед собой. Корабельные боцманы, догадался Болд. Проверяют груз. Один из них внимательно осмотрел мальчишку. Кивнул остальным, и те поставили на пол деревянные миски с рисом и большое бамбуковое ведро с водой, после чего удалились.

Так продолжалось два дня. Негритёнок, звали которого Киу, большую часть времени проводил, глядя через бортовое отверстие на водную гладь или просто в никуда. А на третий день их вывели на палубу и приказали грузить товары. Груз затаскивали на борт верёвками, пропущенными через шкивы на мачтах, а затем заносили в открытые трюмы. Командовал погрузкой вахтенный офицер — обычно эта обязанность выпадала большому лунолицему Хану. Болд как-то выяснил, что грузовой трюм внутри был разделён перегородками на девять отсеков, и каждый в несколько раз превышал размерами самые большие дау Красного моря. Рабы, уже бывавшие на кораблях прежде, рассказали, что благодаря этому большой корабль сложнее пустить ко дну: если течь возникала в одном отсеке, достаточно

было опустошить его, а позднее или залатать пробоину, или так и оставить затопленным, потому как другие удерживали корабль на плаву. Так ты будто одновременно находился на девяти связанных вместе кораблях.

Как-то утром палуба у них над головами задрожала от топота моряков, и все ощутили, как два увесистых каменных якоря поднимают на борт. Распустились огромные паруса, по одному на каждой мачте. Корабль стал медленно и вальяжно покачиваться на воде, слегка кренясь вбок.

Судно оказалось настоящим плавучим городом. Сотни людей обитали на нём. Перетаскивая из трюма в трюм тюки и ящики, Болд насчитал пятьсот человек, а их здесь, без сомнения, было куда больше. В голове не укладывалось, как столько людей помещалось на борту одного корабля. Рабы сошлись во мнении, что это вполне в духе китайцев. Те даже не замечали такой многолюдности, для них подобное было в порядке вещей и ничем не отличалось от любого, какой ни возьми, китайского города.

На их корабле плыл сам адмирал внушительной флотилии, Чжэн Хэ, великан с приплюснутым

лицом из западного Китая. Хуэй[5], поговаривали втихаря некоторые невольники. Именно из-за адмирала на верхней палубе постоянно толпились офицеры, сановники, священники и чиновники всех рангов. А в трюмах всю грязную работу выполняли чернокожие мужчины, зинджи и малайцы.

Той ночью в трюм, где содержали рабов, зашли четверо. В их числе — Хуа Мань, первый помощник Чжэна. Они остановились перед Киу и рывком поставили его на ноги. Хуа ударил его дубинкой по голове, остальные сорвали халат и широко развели ему ноги. Бёдра и талию ему туго перевязали бинтами, придерживая полубессознательного мальчишку, чтобы тот не рухнул на пол. Тогда Хуа вынул из складок рукава короткий изогнутый нож. Он схватил мальчика за член, вытащил орган наружу и одним уверенным взмахом отсёк его вместе с яйцами под самое основание. Мальчишка заскулил, а Хуа зажал кровоточащую рану и набросил на неё кожаный ремень. Он наклонился и ввёл в рану тонкую металлическую пробку, после чего туго затянул ремень и закрепил концы. Он подошёл к отхоже-

---

[5] Примечания: 5

Народ Китая, исповедующий одну из четырёх разновидностей ислама, а именно — ханафитский (*прим. ред.*).

му окошку и вышвырнул гениталии мальчика в открытое море. Затем взял у одного из своих подручных рулон смоченной бумаги и приложил к собственноручно нанесённой ране, в то время как остальные бросились её перевязывать. Когда с процедурой было покончено, двое из них закинули руки мальчика себе на плечи и увели его.

Вернулись они много позже, когда караул, должно быть, уже сменился; уложили его на пол. Похоже, они так и таскали его на себе всё это время.

— Питья ему не давать, — распорядился Хуа, глядя на всполошённых рабов. — Он умрёт, если будет пить или есть в ближайшие три дня.

Мальчик всю ночь стонал. Невольники неосознанно переместились в дальний угол помещения. Им было слишком страшно обсуждать что-либо вслух. Болд, который в своё время оскопил немало лошадей, подошёл и сел рядом с Киу. Мальчишке было на вид лет десять или двенадцать от роду. Что-то в его сером лице влекло Болда, и тот не смог его бросить. Все три дня мальчишка хныкал, моля о глотке воды, но Болд не давал ни капли.

Вечером третьего дня вернулись евнухи.

— Ну, поглядим, выживет он или умрёт, — ска-

зал Хуа.

Они подняли его на ноги, размотали бинты и резким движением вынули пробку из раны. Киу вскрикнул и завыл, когда в фарфоровый ночной горшок, который придерживал перед ним второй евнух, хлынула упругая струя мочи.

— Отлично, — Хуа обратился к рабам, не смевшим проронить и слова. — Подмывайте его почаще. Пусть не забывает: пока рана не заживёт, чтобы облегчиться, пробку нужно вынимать и сразу возвращать на место.

Они ушли и заперли за собой дверь.

Тогда абиссинские рабы обратились к мальчику:

— Подмывайся, и всё быстро заживёт. Моча тоже очищает рану, так что ничего страшного, если… если ты, значит, обмочишься на ходу.

— Повезло, что не всем нам так досталось.

— Мало ли, что ждёт дальше.

— Взрослых не тронут. Слишком многие умирают. Только дети могут перенести такую травму.

На следующее утро Болд отвёл Киу к отхожему месту и помог снять бинты, чтобы тот вытащил пробку и поссал. Затем Болд вернул пробку на место, показывая, как правильно вставлять её, стараясь избегать резких движений, но маль-

чишка всё равно заскулил.

— Пробка нужна обязательно, иначе проход срастётся и ты умрёшь.

Мальчонка лёг прямо на ткань своей рубахи. Его лихорадило. Остальные старались не смотреть на кошмарную рану, но не замечать её тоже было трудно.

— Как они могли так поступить? — сокрушался один по-арабски, пока мальчик спал.

— Так ведь они сами евнухи, — отозвался абиссинец. — Хуа — евнух. И сам адмирал евнух.

— Казалось бы, как никто должны понимать…

— Они понимают, потому и делают так. Они нас всех ненавидят. Они повинуются китайскому императору, а всех остальных ненавидят. Вот увидите, всё так и есть, — раб взмахом руки обвёл корабль. — Они нас всех ещё оскопят. Это конец.

— Вы, христиане, вечно так говорите, но конец пришёл одним вам.

— Бог забрал нас первыми, чтобы избавить нас от мучений. Придёт и ваш черёд.

— Я боюсь не бога, а адмирала Чжэн Хэ, евнуха Трёх Сокровищ. Они с императором Юнлэ были друзьями детства, но император велел кастрировать его, когда им обоим было по тринадцать лет. Представляете? И теперь евнухи поступают так

со всеми пленными юношами.

В последующие дни Киу всё больше лихорадило, он редко приходил в сознание. Болд сидел рядом и вкладывал ему в губы смоченные влагой тряпки, твердя про себя сутры. Лет тридцать прошло с тех пор, как он в последний раз видел своего сына, — тому тогда было столько же примерно лет. Посеревшие губы мальчика обветрились, смуглая кожа потускнела и на ощупь казалась сухой и раскалённой. Болд по опыту знал, что от такой горячки обычно умирали, и фактически они лишь оттягивали неизбежное. Лучше всего было бы позволить бедному бесполому существу угаснуть, но Болд всё же продолжал поить больного. Он вспомнил, как во время погрузки мальчонка осматривал корабль напряжённым и ищущим взглядом. Теперь же его тело лежало на полу, напоминая жалкую африканскую девочку, умирающую от неведомой женской инфекции.

Но лихорадка миновала. Киу ел со всё возрастающим аппетитом. Постепенно он приходил в норму, однако уже не был таким разговорчивым, как прежде. И глаза у него стали не те: он смотрел на окружающих как-то по-птичьи, словно не до конца доверяя всему, что видит. Болд понял, что мальчишка покинул своё тело, попал в бардо и

вернулся уже другим. Новым. Прежний чернокожий мальчик был мёртв, а этот начинал новую жизнь.

— Как твоё имя теперь? — спросил Болд.

— Киу, — ответил тот, даже не удивившись, будто не помнил, что они уже были знакомы.

— Добро пожаловать в эту жизнь, Киу.

Путешествовать по открытому океану было непривычно. Над головой пролетало небо, а казалось, что они стоят на месте. Болд пытался прикинуть, за какое время флот проходит то же расстояние, какое ездовая лошадь за день, гадая, кто в итоге быстрее, корабль или лошадь, но ни к чему не пришёл. Оставалось только наблюдать за погодой и ждать. Двадцать три дня спустя флот приплыл в Каликут[6]. Город оказался намного больше любого из портовых городов Зинджи, не уступая самой Александрии, если не превосходя её.

Тучные башни с зубчатыми стенами
Утопают в буйстве зелени.
Жизнь бьёт в небо фонтаном так близко к солнцу.

---

[6] Примечания: 6
Город в южной части Индии (*прим. ред.*).

Вокруг каменного центра –

Постройки из дерева разбавляют зелёный массив

Влево, вправо, вдоль всего побережья,

До самого гор подножья простёрся город,

Насколько хватает глаз, до самых склонов холмов,

Подпирающих его.

Несмотря на внушительные размеры города, жизнь встала, когда приплыли китайцы. Болд, Киу и эфиопы сквозь решётки смотрели на гудящую толпу, на людей в красочных одеждах, восторженно размахивающих руками.

— Эти китайцы завоюют весь мир.

— Тогда монголы завоюют Китай, — сказал Болд.

Он обратил внимание на Киу, который наблюдал за толпой зевак на берегу. Он глядел с выражением прет, не погребённых после смерти. Такое выражение носят старые маски демонов в тибетской религии бон, такое выражение принимал и отец Болда, когда приходил в ярость: этот взгляд проникал прямо в душу, он говорил: «Я забираю тебя с собой, и тебе меня не остановить,

даже и не пытайся». Болд оторопел, увидев это выражение в глазах простого ребёнка.

Их снарядили носить грузы: одних — спускать в шлюпки, а других — поднимать со шлюпок на корабль. Но продавать рабов никто не собирался. Они всего только раз спустились на сушу — когда понадобилось разобрать кипу сукна на отрезы и снести их в длинные челноки, предназначенные для переправы товаров с берега на корабли-сокровищницы.

Пока они работали, самого Чжэн Хэ доставили к берегу на личной барже. Она была расписана красками и позолотой, инкрустирована драгоценными камнями и фарфоровыми мозаиками, а на носу громоздилась статуя из чистого золота. Адмирал спустился по трапу с баржи, разодетый, в золотых одеяниях, украшенных красно-синей вышивкой. Слуги раскатали на берегу ковровую дорожку, чтобы адмирал ступал только по ней, но он ею не воспользовался, а направился к невольникам — наблюдать за погрузкой товаров. Человек этот был поистине огромен: высокий, широкоплечий, с глубокой, как грузовое судно, осадкой. У него оказалось широкое, совсем не ханьское лицо, а сам он был евнухом — в точности как и рассказывали абиссинцы. Болд

наблюдал за ним исподтишка, пока не заметил Киу, который, позабыв о работе, застыл и уставился прямо на адмирала, устремив на него такой взгляд, каким ястреб выслеживает мышь. Болд схватил мальчишку и потащил работать.

— Идём, Киу. Мы с тобой скованы одной цепью. Не стой столбом, а не то я собью тебя с ног и поволоку по земле. Не хочу наживать себе проблем — одной Таре ведомо, что будет с рабом, попавшим в немилость к такому человеку.

Отчалив из Каликута, мы поплыли на юг. В Ланке невольники не покидали корабля, а вот солдаты сошли на берег, да и пропали на несколько дней. Болд, понаблюдав за поведением оставшихся членов экипажа, пришёл к выводу, что солдаты отправились в разведку. Шли дни, офицеры на корабле всё больше нервничали, а Болд старался не терять бдительности. Он понятия не имел, что произойдёт, если Чжэн Хэ не вернётся, но сильно сомневался, что корабль уплывёт без своего адмирала. И в самом деле, корабельные артиллеристы уже вовсю корпели над боеприпасами, когда адмиральская баржа, сопровождаемая другими лодками, вышла из внутренней гавани Ланки. С триумфальным кличем солдаты поднялись на борт. Они поведали о

засаде, которая поджидала их на суше, и о том, как им удалось отбиться от неприятеля, взяв в плен самого зачинщика этой засады, узурпатора, предательским образом свергнувшего здешнего короля, и самого законного правителя заодно. Впрочем, в этой истории чувствовалась некоторая путаница относительно того, кто есть кто и зачем понадобилось пленить законного короля. Но удивительнее всего было то, что в распоряжении короля оказалась священная реликвия острова — зуб Будды, называемый Далада. Чжэн поднял над головой миниатюрную золотую святыню, демонстрируя трофей всем на борту. Похоже, это был верхний клык. И экипаж, и пассажиры, и рабы — все как один загудели, благоговея. Их неистовые крики долго не умолкали.

— Это настоящее сокровище, — объяснил Болд Киу, когда рёв стих.

Он сложил ладони и принялся читать Лакаватара-сутру — сутру явления на Ланке. Ценность этого сокровища была столь велика, что Болд не мог не содрогнуться. Не приходилось сомневаться, что именно страх стал причиной такой бурной реакции всего экипажа. Будда благословил Ланку — он всегда благоволил этой земле, где проросла ветвь священного дерева Бодхи, мине-

ральные слёзы которого и по сей день льются со склонов священной горы в центре острова — той самой, чья вершина припечатана подошвой Адама. Забирать Даладу из этих священных земель, со своего законного места, было непростительным прегрешением. Оскорбления, нанесённого этим поступком, никто не мог отрицать.

Пока плыли на восток, по кораблю поползли слухи, что Далада подтверждала право свергнутого короля на трон, и, когда император Юнлэ разберётся в этом деле, сокровище будет возвращено на Ланку. Услышав такие новости, рабы успокоились.

— Стало быть, китайский император будет решать, кому править островом? — спросил Киу.

Болд кивнул. Император Юнлэ сам взошёл на трон в результате кровавого переворота, так что оставалось гадать, кого из двух претендентов он предпочтёт. А пока Далада оставалась у них на борту.

— Это хорошо, — сказал он Киу, ещё немного поразмыслив. — Во всяком случае, в плавании с нами не приключится никакого несчастья.

Так оно и оказалось. Чёрные шквалистые ветры неслись прямо на них, но необъяснимым образом тут же улетучивались, даже не задев флота. Гро-

мадные драконьи хвосты вспенивали волны на всех горизонтах, заставляя широкие моря ходить ходуном, а они безмятежно плыли меж штормов при полном штиле. Даже Малаккский пролив они миновали без помех со стороны Палембанга, да и севернее оного не встретили орд ни тямских пиратов, ни японских вокоу. Но, как верно заметил Киу, ни один пират в здравом уме и не бросил бы вызов столь могущественному флоту, даже без всякого зуба Будды.

Позже, когда доплыли до Южно-Китайского моря, стали поговаривать, будто ночью кто-то видел Даладу парившим вокруг корабля, словно огонёк свечи.

— Почём знать, может это и был огонёк свечи? — сказал Киу.

А назавтра заалело рассветное небо. Чёрные тучи с юга застелили горизонт, напоминая Болду о грозе, убившей Тимура.

Хлынул проливной дождь, подул ветер, побеливший море. Болд в полутёмной каюте не находил себе места. Он подумал, что в море буря ещё страшнее, чем на суше. Корабельный астролог кричал о том, что гигантский подводный дракон рассвирепел и обрушил на них высокие волны. Болд присоединился к рабам, которые вцепились

в решётки и выглядывали в маленькие оконца в надежде разглядеть хребет, лапу или морду зверя, да только шапки пены над белой водой затянули собой всю поверхность. В пене Болду привиделся краешек тёмно-зелёного хвоста.

Воет ветер в девяти голых мачтах,

Величественный корабль кренится,

Качаясь на волнах, и маленькие кораблики

Бутылочными пробками болтаются на воде,

То и дело скрываясь из виду.

В минуты бури только и можно что крепко держаться!

Болд и Киу жмутся к стене, сквозь рёв

Прислушиваясь к крикам над головами

И к топоту матросов, что из последних сил

Пытаются сладить с парусами

И крепче привязывают румпель.

Они слышат страх в голосах китайцев,

Слышат его в топоте наверху,

Даже сидя в трюмах, промокнув от

штормовых брызг.

На высоком юте солдаты вместе с астрологами проводили обряд, взывая к милости богов. Слышно было, как сам Чжэн Хэ обращается к Тяньфэй, китайской богине, покровительнице мореходов.

— Пусть тёмные водяные драконы скроются на глубине и не потревожат нас более! Смиренно, почтительно и трепетно мы приносим в подношение этот кувшин вина, единожды и снова проливаем мы пред тобой это дивное, благоухающее вино! Пусть попутный ветер подует в наши паруса и морские глади будут спокойны, пусть всевидящие и всеслышащие воины ветров и времён года, успокоители волн и едоки бурь, бессмертные небом рождённые духи, бог года и покровительница нашего корабля, Небесная Супруга, великолепная, божественная, чудотворная, отзывчивая, таинственная Тяньфэй придут нам на помощь!

Взглянув вверх сквозь щели в мокрой палубе Болд узрел мореходов, которые всем составом внимательно наблюдали за обрядом и, разинув рты, кричали поперёк рёва ветра. Охранник прикрикнул и на них:

— Молитесь Тяньфэй, молитесь Небесной Супруге, единственной подруге морехода! Молитесь

о её заступничестве! Все вы! Ещё несколько таких порывов ветра, и весь корабль разнесёт в щепки!

— Да поможет нам Тяньфэй, — взмолился Болд и прижал Киу к себе, намекая, чтобы тот последовал его примеру.

Мальчик ничего не ответил. Он лишь указал на передние мачты, которые виднелись сквозь решётки трюма. Болд поднял глаза и увидел алые проблески, заплясавшие в мачтах; огоньки, похожие на китайские фонарики, смастерённые без бумаги и без свечей, загорелись на самой верхушке и выше, освещая потоки дождя и даже чёрные днища туч, шелушившихся у них над головами. Неземная красота этого зрелища погасила их страх: Болд и остальные покинули пределы кошмарного царства. Зрелище это было слишком странным и восхитительным, чтобы беспокоиться теперь о жизни или смерти. Все ликовали, во всю глотку выкрикивая слова молитвы. Из танцующего алого света показалась Тяньфэй. Её фигура ярко воссияла над ними, и ветер внезапно стих. Успокоилось море вокруг. Тяньфэй растаяла, красным светом растеклась по такелажу и растворилась в воздухе. Благодарные голоса мореходов теперь были хорошо слышны за шумом ветра. Волны продолжали накатывать

и пениться белыми гребнями, но уже далеко-далеко от флотилии, на полпути к горизонту.

— Тяньфэй! — воскликнул Болд хором с остальными. — Тяньфэй!

Чжэн Хэ, встав у кормы, поднял обе руки к моросящим небесам и крикнул:

— Тяньфэй! Тяньфэй нас спасла!

Все заголосили, вторя его словам. Они преисполнились радостью так же, как воздух преисполнился красным божественным светом. Позже снова поднялся ветер, но они уже не боялись.

Как прошла остальная часть путешествия, не имеет значения. Ничего примечательного не приключилось, все благополучно добрались до места назначения. А что произошло после, вы можете узнать, прочитав следующую главу.

5

В которой Болд и Киу встречают своё джати в ресторане Ханчжоу; а многомесячная идиллия рушится в один миг.

Побитый штормами, спасённый Тяньфэй флот кораблей-сокровищниц вошёл в широкое речное устье. На берегу, за высоким молом, виднелись крыши необъятного города. Даже крошечные фрагменты его, видимые с корабля, казались больше всех городов, знакомых Болду, вместе взятых. Все базары Центральной Азии, все индийские города, разрушенные Тимуром, заброшенные города Франкистана, приморские города Зинджи, Каликут — все уместились бы на трети, если на четверти этой земли, испещрённой лесом… нет, степью крыш, степью, простирающейся до самых дальних гор, видимых на западе.

Невольники молча стояли на палубе корабля, окружённые ликующими китайцами. «Благодарим тебя, о Тяньфэй, Небесная Супруга», — кричали они. «Ханчжоу, о, моя родина, уж и не думал я, что снова увижу тебя!», «Дом мой, жена моя, новогодние торжества!», «Нам повезло, как же

нам повезло проделать такой путь, пересечь весь свет и вернуться домой!» — и так далее.

Корабли сбросили за борт огромные якорные камни. Там, где река Фучунцзян впадала в море, течение было бурным, и без якоря даже самый большой корабль могло отнести далеко на мель, а то и в открытое море. Потом началась разгрузка. Это было грандиозное предприятие. Однажды, поедая рис в перерыве между вахтами у подъёмника, Болд вдруг сообразил, что в целом городе не нашлось ни лошадей, ни верблюдов, ни буйволов, ни мулов, ни ослов — никакая скотина не помогала невольникам ни в этой, ни в другой работе. Одни только рабы, выстроившись в нескончаемые тысячеголовые цепочки, сгружали товары и провизию, а помои и нечистоты выливали в канал, и казалось, будто весь город был телом царственного великана, возлежавшего на земле, которого сообща кормили и очищали от испражнений его верные подданные.

В разгрузочных трудах прошло немало дней. Болд и Киу успели лишь краем глаза увидеть гавань и сам город, когда сопровождали баржи, сплавлявшиеся к складам в южной долине, где сотни лет назад находился императорский дворец. Теперь же на территории бывшего дворца

обитали дворяне, высокопоставленные чиновники и евнухи. Оттуда к северу протянулась стена, опоясавшая старый город, густо-густо застроенный деревянными домами в пять, шесть и даже семь этажей. Старые здания нависали над каналами, с балконов свешивались сохнущие на солнце простыни, а крыши поросли травой.

Болд и Киу глазели на всё это с воды, пока разгружали баржи. У Киу снова прорезался тот птичий взгляд — какой-то и не изумлённый, и не восторженный, и не испуганный.

— Много их, — сообщил он наконец.

Он постоянно спрашивал у Болда, как по-китайски называются те или иные вещи, и Болд, думая над ответами, сам выучил немало новых слов.

Когда с разгрузкой было покончено, рабов с корабля Болда собрали вместе, отправили на Холм Феникса, называемый здесь «холмом чужеземцев», и продали местному коммерсанту по имени Сэнь. Обошлось на этот раз без невольничьего рынка, без торгов, без лишнего шума. Они так и не узнали, за какую сумму их продали, да и кто, собственно, был их владельцем во время путешествия по морю. Возможно, сам Чжэн Хэ.

Болда и Киу, скованных вместе по лодыжкам одними цепями, по узким людным улочкам при-

вели к дому на берегу озера, примыкавшего к западной границе старого города. На первом этаже располагался ресторан. Шёл четырнадцатый день первой луны нового года — об этом сообщил им Сэнь. Начинался праздник фонарей, поэтому схватывать приходилось на лету, ведь ресторан был любим публикой.

Столы, не умещаясь в ресторане,

Занимают озёрную набережную,

От посетителей нет отбоя день напролёт.

Озеро усеяно точками лодок,

А в них – фонари всех цветов и оттенков:

Стеклянные, расписные, резные,

Из белого и жёлтого нефрита,

Нагретый свечами воздух кружит их, как карусель.

Бумажные фонарики вспыхивают и сгорают.

Люди несут их к берегу отовсюду,

Фонари освещают озеро. И даже на другом берегу

Яблоку негде упасть. И к вечеру

И озеро, и весь город мерцают
В полумраке праздничных сумерек.
Отдельные мгновения негаданной, неописуемой красоты.

Старшая жена Сэня, И-Ли, заправляла кухней строго: Болд и Киу моргнуть не успели, как уже носили с барж, швартующихся у берегов канала за рестораном, мешки с рисом, сгружали отходы на мусорные баржи, драили столы, вытирали пыль и мели полы. Они трудились в поте лица, наводя порядок не только в ресторане, но ещё и на верхних этажах, в личных покоях семьи. Крутиться приходилось как белкам в колесе, зато их постоянно окружали женщины: кухарки в белых халатах с бумажными бабочками в волосах, и тысячи незнакомок, прогуливающихся при радужном свете фонариков. Даже Киу млел от таких красот, и ароматов, и напитков, допиваемых из чужих полупустых чашек. Они пили пунши из личи, мёда и имбиря, соки из папайи и груши, зелёный и чёрный чай. А ещё у Сэня подавали рисовое вино пятнадцати сортов — с донышек стаканов они перепробовали их все. И лишь простой воды они избегали, ибо были предупреждены, что та опасна для их здоровья.

А уж что до пищи, которая доставалась им также в виде объедков с чужих столов… О, и словами не описать. По утрам им накладывали полные миски риса с добавлением почек и прочего ливера, а уж после они самостоятельно подъедали то, что оставляли после себя посетители ресторана. Болд уплетал всё, что попадалось на глаза, дивясь разнообразию. В праздничные дни Сэнь с И-Ли готовили всё, что предлагалось у них в меню, и потому Болду посчастливилось отведать мяса косули, оленины, крольчатины, куропаток и перепелов, тушённых в рисовом вине моллюсков, гуся, начинённого абрикосами, суп из семян лотоса, суп из красных перцев с мидиями, рыбу со сливами, суфле и оладьи, пельмени, пироги и кукурузные лепёшки. Яства на любой вкус; не было тут разве что говядины и молочных продуктов, ведь, как ни странно, китайцы не разводили домашний скот. Зато Сэнь рассказал, что тут выращивали восемнадцать сортов сои, девять сортов риса, одиннадцать — абрикоса, восемь — груши. Каждый день пир закатывали горой.

Когда дни праздников миновали, оказалось, что И-Ли любила иногда отрываться от хлопот на кухне и посещать другие городские рестораны, изучая их ассортимент. По возвращении она

говорила Сэню и кухаркам, что им, например, нужно приготовить сладкий соевый суп, какой она нашла на универсальном рынке, или свинину, запечённую в золе, как делают во Дворце долголетия и милосердия.

Она стала брать с собой Болда в утренние походы на скотобойню, расположенную в самом центре старого города. Там она выбирала свиные рёбрышки и ливер для рабов. Здесь Болд узнал, почему городскую воду пить ни в коем случае нельзя: отбросы и кровь после бойни смывались в огромный канал, который выходил прямиком к реке, однако приливы и отливы зачастую проталкивали воду по каналу вверх, тем самым распространяя её по всей городской системе водоснабжения.

Однажды, возвращаясь вместе с И-Ли со скотобойни и толкая перед собой полную тачку свинины, Болд остановился, чтобы пропустить компанию из девяти нетрезвых женщин в белом, и вдруг со всей ясностью осознал, что очутился в другом мире. Вернувшись в ресторан, он так и сказал Киу:

— Мы переродились, и сами того не заметили.

— Ты, может, и переродился. Смотришь на всё, как младенец.

— Нет, мы оба! Только оглянись! Это… — но он не мог подобрать слов.

— Они богаты, — заметил Киу, глядя по сторонам.

И они вернулись к работе.

Берег озера был особенным местом. Даже когда праздники, которые случались здесь чуть ли не ежемесячно, заканчивались, озеро оставалось одним из самых любимых мест горожан Ханчжоу. Каждую неделю, не занятую популярными праздниками, в ресторане устраивали частные торжества, и вечера неизменно заканчивались гуляньями большего или меньшего размаха. И хотя это значило, что работы по обслуживанию и уборке ресторана всегда было невпроворот, еды и питья, которые можно утащить со столов или из кухни, также всегда было вдоволь, и Болд с Киу отъедались всласть. Они быстро набрали вес, а Киу вытянулся в росте, начиная возвышаться над китайцами.

Вскоре стало казаться, что они никогда не жили другой жизнью. Задолго до рассвета били в гулкие деревянные барабаны в виде рыб, и синоптики громогласно объявляли с пожарных каланчей: «Сегодня дождь! Сегодня облачно!» Болд, Киу и ещё около двадцати рабов просыпались, их вы-

пускали из комнаты, и большинство спускались к служебному каналу, соединявшему город с окраиной, встречать рисовые баржи. Рабы, обслуживавшие баржи, вставали ещё раньше — их работа начиналась в полночь за много ли от дома. Всем скопом рабы взваливали тучные мешки на тачки и катили переулками к дому Сэня.

Они метут ресторан,

Разжигают огонь в печи,

Расставляют столы, моют миски и палочки,

Режут, готовят еду,

Несут еду и припасы на прогулочные лодки Сэня,

А затем наступает рассвет,

И на берег озера к завтраку

Начинают стягиваться посетители.

Рабы помогают поварам, принимают заказы,

Убирают посуду – делают всё, что потребуют,

Растворяясь в размеренных трудах.

Обычно самая тяжёлая работа по ресторану

доставалась им как новоприбывшим рабам. Но даже самая тяжёлая работа здесь была не слишком тяжёлой, не говоря уж о нескончаемом изобилии пищи. Болд считал, что им сказочно повезло попасть сюда, где они получили возможность не только сытно набить брюхо, но и глубже изучить местный диалект и обычаи китайцев. Киу делал вид, что всё это ему неинтересно, и мог даже притворяться, что не понимает обращённых к нему китайских слов, но Болд видел, что на самом-то деле юноша всё впитывает, как губка посудомойки, наблюдая за всем исподтишка; казалось, он ничего вокруг себя не замечает, но он замечал. Таков был Киу. Он уже говорил по-китайски лучше Болда.

На восьмой день четвёртой луны отмечали ещё один большой праздник, который был посвящён божеству, покровительствовавшему многим гильдиям города. Гильдии организовали шествие по широкой имперской дороге, которая разделяла старый город на северную и южную части, после чего двинулись к Западному озеру, где состязались в скорости на лодках-драконах и гуляли по набережной, развлекая себя иными, более традиционными способами. Гости облачились в костюмы и маски каждый своей

гильдии, вооружились идентичными зонтиками, флажками и букетами и шагали стройным маршем, восклицая: «Десять тысяч лет! Десять тысяч лет!» — как повелось с тех самых пор, когда императоры еще жили в Ханчжоу и лично слышали их громогласные пожелания долголетия. А под конец парада, рассредоточившись по всему берегу озера, они любовались хороводом сотни маленьких евнухов, что было особой традицией в этот день. Киу смотрел почти прямо на детей.

В тот же день его и Болда поставили работать на одной из прогулочных лодок Сэня на воде, которые использовали как дополнительные залы ресторана.

— Сегодня для наших пассажиров мы закатим невероятный пир, — воскликнул Сэнь, когда они поднялись на борт. — Мы подадим Восемь угощений: печень дракона, мозги феникса, лапы медведя, губы обезьяны, зародыш кролика, хвост карпа, жареную скопу и кумыс.

Болд улыбнулся, оттого что кумыс — по сути, просто перебродившее кобылье молоко — входил в число Восьми угощений. Он практически вырос на кумысе.

— Кое-что из этого достать проще, чем остальное, — сказал он, а Сэнь рассмеялся и подтолкнул

его вглубь лодки.

Они выгребли на середину озера.

— Почему же твои губы ещё на месте? — спросил Киу у Сэня, когда тот был вне зоны слышимости.

Болд рассмеялся.

— Восемь угощений, — повторил он. — И чего только не придумают!

— Числа они действительно любят, — согласился Киу. — Три Чистых, Четыре Императора, Девять Светил…

— Двадцать восемь созвездий…

— Двенадцать ветвей хорара, Пять старейшин пяти областей…

— Пятьдесят звёздных Духов.

— Десять смертных грехов.

— Шесть плохих рецептов.

Киу хихикнул.

— Им нравятся не цифры, а списки. Списки всего, что есть в их жизни.

На озере Болд и Киу впервые увидели вблизи великолепное убранство драконьих лодок, украшенных цветами, перьями, разноцветными флажками и вертушками. На каждой лодке музыканты играли как заведённые, заглушая барабанами и рожками всех остальных, а пи-

кинеры стояли на носу и тянули свои дреколья к соседним лодкам, пытаясь сбить пассажиров в воду.

Среди этой радостной суматохи внимание отдыхающих привлекли крики совсем иного толка. Все повернули головы на шум и заметили пожар. Игры мгновенно были забыты, и лодки устремились прямиком к берегу, в пять рядов набившись к причалам. Люди в спешке бежали прямо по лодкам: кто-то на пожар, кто-то — к себе домой. Болд и Киу, выбежав к ресторану, впервые увидали пожарную бригаду. Они были в каждом районе города, и даже оборудование было у каждой бригады своё. Пожарные следили за сигнальными флажками со сторожевых башен по всему городу, поливали водой крыши домов там, где возникала угроза пожара, и засыпали разлетающиеся угольки. Весь Ханчжоу был построен из древесины и бамбука, почти все кварталы города в то или иное время горели, и пожарные дело своё знали. Болд и Киу бросились за Сэнем к горящему кварталу: пожар разгорелся к северу от ресторана и с подветренной стороны, так что им тоже угрожала опасность.

Там тысячи мужчин и женщин выстроились в цепочки и передавали друг другу вёдра, черпая

воду из ближайших каналов. Вёдра поднимали наверх, в задымлённые здания, и выливали на пламя. Также вокруг сновало немало людей, вооружённых дубинками, пиками и даже арбалетами. Они вытаскивали из граничащих с пожарищем переулков людей и набрасывались на них с расспросами. Вдруг одного из них избили в кровь, прямо там, возле пожара. Мародёр, сказал кто-то. Вскоре прибудут солдаты, и мародёров будут ловить и убивать на месте, подвергнув прилюдным пыткам, если времени хватит.

Болд теперь и сам видел, что, несмотря на риск, в горящих зданиях мелькают фигуры без вёдер. Борьба с мародёрами шла не менее напряжённо, чем борьба с огнём! Киу тоже всё видел, передавая по цепочке деревянные и бамбуковые вёдра с водой, открыто наблюдая за происходящим.

Проходили дни, каждый хлопотнее предыдущего. Киу по-прежнему ходил точно немой, с низко опущенной головой, как какое-нибудь вьючное животное или живая кухонная метла, неспособная выучить ни слова по-китайски (так, во всяком случае, считали все в ресторане), как какой-то недочеловек. Впрочем, так китайцы относились ко всем чёрным рабам в городе.

Болд проводил всё больше времени в услуже-

нии у И-Ли. Ей понравилось брать его с собой во время выходов в город, и он еле поспевал за ней, с тачкой лавируя в толпе. Она всегда куда-то торопилась в вечном поиске новых блюд. Казалось, ей не терпится попробовать всю еду на свете. Болд понимал, что ресторан своим успехом обязан именно её рвению. Её супруг Сэнь был скорее помехой, чем подмогой: он не умел пользоваться счётами и многое забывал (в первую очередь — свои долги), а к тому же нередко лупил своих рабов и наёмных работниц.

Поэтому Болд с радостью сопровождал И-Ли. Они ходили к матушке Сун за Банковские Ворота отведывали её белого соевого супа. Они наблюдали, как Вэй-Большой-Нож на Кошачьем мосту готовит отварную свинину, а Чоу в Пятом напротив Пятиколонного павильона печёт медовые оладьи. Вернувшись на ресторанную кухню, И-Ли пыталась воспроизвести эти блюда в точности, сердито качая головой. Иногда она удалялась в свою комнату, чтобы подумать, несколько раз вызывала Болда к себе и отправляла его на поиски какой-нибудь диковинной специи или ингредиента, который, по её мнению, был необходим в приготовлении.

Прикроватная тумбочка в её комнате была

завалена флаконами с косметикой, украшениями, ароматическими мешочками, зеркалами и маленькими шкатулками из лакированного дерева, нефрита, золота и серебра. Видимо, всё это дарил ей Сэнь. Болд разглядывал их, пока она сидела и думала.

Баночка белой пудры,

Нетронутой, глянцевой сверху.

Жирные румяна ярко-розового цвета

Для щёк в тёмно-красных трещинах.

Коробка розовых лепестков бальзамина,

Толчёных, с квасцами для покраски ногтей,

Которыми часто рисуются женщины в ресторане.

Ногти И-Ли обкусаны под корень.

Косметика стоит неиспользованной,

Украшения лежат неношеными, их никогда не надевали,

В зеркала никто не смотрится. Взгляд вовне.

Как-то раз она вымазала ладони розовым баль-

замином, в другой — всех собак и кошек на кухне. Просто посмотреть, что из этого выйдет, если Болд правильно всё рассудил.

Зато ей была интересна жизнь города. Выходя на прогулку, она больше половины времени проводила за разговорами, расспросами. Однажды пришла домой обеспокоенной:

— Болд, говорят, северяне ходят в рестораны, где едят человеческую плоть. «Двуногая баранина», слышал ты о таком? У стариков, женщин, молодых девушек и детей — у всех есть свои названия? Неужто там действительно живут такие чудовища?

— Сомневаюсь, — ответил Болд. — Я такого никогда не встречал.

Но это не до конца её успокоило. Ей во сне часто являлись голодные призраки, откуда-то же они должны были появиться. И призраки иногда жаловались ей на то, что их тела были съедены. Казалось вполне логичным, что они могут являться в рестораны в поисках какого-нибудь возмездия. Болд кивнул; ему это тоже казалось вполне логичным, хотя сложно было поверить, что в многотысячном городе прижились каннибалы, когда вокруг было столько другой еды.

Ресторан процветал, и И-Ли уговорила Сэня

расширить помещение. В стенах прорезали окна и вставили в них квадратные решётки, под которыми крепилась промасленная бумага, пропускавшая солнечный свет, ослепительно яркий или сияюще мягкий — в зависимости от часа и погоды. Она убрала всю фасадную стену, открыв из ресторана вид на набережную у озера, и вымостила нижний этаж глазурованным кирпичом. Летом она жгла горшочки с травами, борясь с комарами, от которых не было спасения. Она установила несколько настенных алтарей, посвящённых различным божествам: духам места, духам животных, демонам, голодным призракам и даже, по скромной просьбе Болда, один из алтарей посвятила Небесной Супруге Тяньфэй, хотя и подозревала, что это было всего лишь ещё одно прозвище Тары, которую и так очень почитали во всех уголках этого дома. Если Тара разозлится, сказала она, это будет на совести Болда.

Однажды она вернулась домой и стала рассказывать о людях, которые умерли и вскоре вернулись к жизни: вероятно, из-за халатности небесных писцов, записавших неправильные имена. Болд улыбнулся: китайцы считали, что мёртвые подчиняются такой же сложной бюрократической системе, какую они создали здесь,

на земле.

— Они вернулись и поведали своим живым родственникам такие вещи, которые впоследствии сбылись, чего умиравшие никак не могли знать заранее!

— Чудеса, — сказал Болд.

— Чудеса случаются каждый день, — ответила И-Ли.

Мироздание в её представлении было населенно духами, джиннами, демонами, призраками — потусторонними существами на любой вкус. Ей никогда не объясняли, что такое бардо, и поэтому она ничего не знала про шесть уровней реальности, из которых состоял космос. И Болд подозревал, что научить её ему не под силу. Поэтому она продолжала верить в своих призраков и демонов. Злых духов отваживали различными практиками, которые были им неприятны: фейерверки, барабаны и гонги — всё это помогало отогнать их прочь. Ещё можно было поколотить их палками или пожечь полыни — сычуаньский обычай, который практиковала И-Ли. Ещё она покупала магические письмена на миниатюрных бумажках или в серебряных цилиндрах и ставила в каждом дверном проёме белые нефритовые плитки — тёмные демоны не любили их свет. А

поскольку ресторан и его обитатели процветали, она не сомневалась, что всё делает правильно.

Сопровождая её несколько раз в неделю, Болд многое узнал о Ханчжоу. Так он узнал, что лучшие носорожьи шкуры продаются у Цзяна, найти которого можно, спустившись от служебного канала к маленькому озеру Чэньгу; самые лучшие тюрбаны — у Кана в Восьмом, на улице Потёртой монеты, или у Яна в Третьем, спустившись по каналу за Тремя мостами. Самый большой выбор книг был на книжном развале под кронами деревьев возле летнего домика в Апельсиновых рощах. Плетёные клетки для птиц и сверчков можно было найти в Проволочном переулке, гребни из слоновой кости — у Фэя, красочные веера — у Угольного моста. И-Ли нравилось знать все места в городе, хотя покупала она только подарки для друзей и своей свекрови. Очень любознательная женщина. Болд никак не мог за ней угнаться. Однажды, идя по улице и пересказывая ему истории, она остановилась, посмотрела на него с удивлением и выдала:

— Я хочу знать всё!

А Киу всё это время тайно наблюдал. И вот однажды ночью, во время прилива месяца восьмой луны, когда река Фучунцзян взметала высокие

волны и в городе было полно приезжих, когда ещё не наступил час бить в барабаны под голоса синоптиков, Болда разбудило лёгкое потягивание за ухо, после чего чья-то ладонь плотно прижалась к его рту.

Это был Киу. В руке он держал ключ от их комнаты.

— Я украл ключ.

Болд отнял руку Киу от своего рта.

— Что ты удумал? — прошептал он.

— Идём, — сказал Киу, используя фразу на арабском, которой понукают упирающегося верблюда. — Мы устроим побег.

— Что? Я тебя не понимаю.

— Побег, говорю.

— Но куда же мы пойдём?

— Подальше из этого города. На север, в Нанкин.

— Но мы так хорошо устроились!

— Вот ещё, ничего подобного. Мы здесь не останемся. Я уже убил Сэня.

— Как?!

— Тсс. Нужно успеть разжечь огонь и смыться отсюда до побудки.

Болд, потрясённый, вскочил на ноги и зашептал:

— Почему, почему, почему? У нас всё шло так хорошо, ты должен был сначала спросить меня, хочу ли я в этом участвовать!

— Я хочу сбежать, — сказал Киу, — и для этого мне нужен ты. Мне нужен хозяин, чтобы добраться до места.

— До какого места?

Но Болд уже следовал за Киу по безмолвному дому, уверенно ступая даже в полной темноте, так хорошо он успел узнать этот дом — первый, в котором ему доводилось жить. И ему здесь нравилось. Киу привёл его на кухню, взял ветку, торчавшую из тлеющего очага — должно быть, положил её туда, перед тем как разбудить Болда, потому что просмоленный конец её теперь пылал.

— Мы поедем на север, в столицу, — бросил Киу через плечо, выводя Болда на улицу. — Я хочу убить императора.

— Что?!

— Об этом позже, — бросил Киу и поднёс пылающий факел к охапке камыша с восковыми шариками, которые заблаговременно сложил в углу у стены.

Когда она загорелась, Киу бросился наружу, и Болд пошёл за ним в ужасе. Киу поджёг ещё

одну охапку хвороста у соседнего дома, а затем бросил головню у третьего дома, и Болд всё это время не отставал от него ни на шаг, слишком ошеломлённый, чтобы осознать ситуацию. Он бы остановил юношу, если бы не тот факт, что Сэнь был уже мёртв. Киу и Болда ждала только смерть, и поджог квартала, пожалуй, был их единственным шансом на спасение, так как ожоги на трупе скроют следы убийства. Кто-то может даже предположить, что некоторые рабы сгорели дотла, не выбравшись из своей комнаты.

— Надеюсь, они все сгорят, — сказал Киу, вторя его мысли.

Мы не меньше вашего шокированы подобным развитием событий и не представляем, что происходило дальше, но об этом нам поведает следующая глава.

6

В которой наши герои спасаются бегством через Великий канал; а в Нанкине просят помощи у евнуха Трёх Сокровищ.

Они бежали на север тёмными переулками, петляющими параллельно служебному каналу. Позади уже забили тревогу: кричали люди, звонили пожарные колокола, свежий рассветный ветер дул с Западного озера.

— Ты взял деньги? — догадался спросить Болд.

— Много лент, — ответил Киу.

Под мышкой он нёс полную сумку.

Уходить нужно было как можно дальше и как можно быстрее. С чернокожим Киу сложно долго оставаться незамеченным. Как ни крути, ему придётся продолжить играть роль раба-евнуха, а его хозяином, соответственно, выступит сам Болд. На него лягут и все переговоры — вот почему Киу взял его с собой. Вот почему не убил вместе с остальными домочадцами.

— А как же И-Ли? Её ты тоже убил?

— Нет. В её комнате есть окно. Она будет в порядке.

Болд не был в этом уверен: вдовам всегда приходилось нелегко. Того и гляди, окажется на улице, как Вэй-Большой-Нож, и будет готовить на жаровне еду для прохожих. Хотя, возможно, она и из этого извлечёт максимум пользы.

Там, где много рабов, негры отнюдь не редкость. Канальные лодки передвигали по сельской местности зачастую именно их руками: чернокожие невольники либо вращали лебёдки вручную, как мулы или верблюды, либо тянули канаты. Возможно, они с Киу могли бы взяться за такую работу и залечь на дно? Болд тоже мог бы притвориться рабом… Нет, рабу нужен хозяин, который будет нести за него ответ. Но если исподтишка вклиниться в хвост связки… Болд поверить не мог, что помышляет о том, как присоединиться к бурлакам на канале, когда он мог бы вытирать столы в ресторане! От злости на Киу он даже зашипел.

Но он был нужен Киу. Болд мог бросить юношу, и тогда у него было бы гораздо больше шансов затеряться в толпе купцов, буддийских монахов и попрошаек на дорогах Китая. Даже хвалёная китайская бюрократия с их ямэнями и районными чиновниками не могла уследить за всеми бедняками, скитающимися по холмам на отшибе

городов. А в обществе чернокожего ребёнка он выделялся, как цирковой клоун с обезьянкой.

Но он не собирался бросать Киу, вовсе нет, поэтому он просто зашипел. Они продолжали путь, выбравшись наконец из старого города. Киу время от времени тянул Болда за руку, подгоняя его по-арабски.

— Сам знаешь, что именно об этом ты мечтал всё это время, ведь ты великий монгольский воин, сам рассказывал, степной варвар, которого боятся все народы; ты только притворялся, что не против услужения на чужой кухне, просто ты умеешь не думать, не видеть, но это не более чем притворство, ты всегда всё понимал и просто делал вид, что не понимаешь, но всё это время хотел убежать.

Болд изумился, что кто-то мог истолковать его характер настолько неверно.

По окраинам Ханчжоу росло намного больше зелени, чем в центральном, старом квартале: каждая усадьба была засажена деревьями, а то и целыми тутовыми рощами. Позади пожарные колокола будили город: день начинался с паники. Оказавшись на небольшом взгорке, они оглянулись и, в щели между стенами, увидели, как полыхает озёрный берег. Пожар, подстёгива-

емый крепким западным ветром, быстро охватил весь квартал, вспыхнув, как маленькие восковые шарики, которые Киу подбросил в хворост. Болд задумался, не специально ли Киу дождался ветреной ночи, чтобы совершить побег. Мысль заставила его похолодеть. Он знал, что мальчик смышлён, но такого хладнокровия не подозревал в нём никогда, несмотря на взгляд преты, то и дело мелькающий в его глазах, напоминая Болду Тимура своей напряжённой сосредоточенностью и животным характером. Это его нафс выглядывал наружу, не иначе. Каждый человек в своём естестве был един со своим нафсом, и Болд для себя решил, что Киу был соколом, в капюшоне и на привязи. Нафсом Тимура был орёл, пикирующий с высоты и готовый разорвать мир на части.

То есть он видел знаки, он мог догадаться. К тому же замкнутое поведение Киу давало понять, что мыслями он пребывал где-то совсем в ином месте с тех самых пор, как его кастрировали. Конечно, такое не могло обойтись без последствий. Прежний мальчик исчез, оставив нафса налаживать контакт с совершенно новым человеком.

Они поспешно пересекли северную супрефектуру Ханчжоу и вышли за ворота последней городской стены. Дорога здесь поднималась

высоко в гору, к холмам Су Тун-по, откуда они снова увидели озеро, пламя вокруг которого уже не бросалось в глаза на рассвете. Пожар теперь клубился чёрным дымом, наверняка уносившим искры на восток, перекидывая пламя дальше.

— Много людей погибнет в этом пожаре! — воскликнул Болд.

— Они китайцы, — ответил Киу. — Их место займут другие.

Упорно пробираясь на север, параллельно западному берегу Великого канала, они в очередной раз подивились, до чего же перенаселён Китай. Целая страна рисовых полей и деревень кормила великий город на побережье. Фермеры уходили на работы при первом свете утренней зари…

Посев риса начинается в затопленных полях,

Фермер сгибается в три погибели,

Шагает за водяным буйволом. Странно видеть

Промокшую от дождей чёрную нищету,

Крошечные фермы, на отшибе захудалые деревушки

После красочного великолепия Ханчжоу.

— Не понимаю, почему они не переедут в город, — сказал Киу. — Я бы переехал.

— Они об этом не думают, — ответил Болд, изумляясь Киу, который всегда ожидал, что другие люди должны мыслить так же, как он. — Кроме того, здесь живут их семьи.

Великий канал виднелся сквозь деревья, растущие вдоль его берегов, в двух или трёх ли к востоку. Там возвышались насыпи из земли и брёвен, говоря о ремонте или работах по благоустройству. Болд и Киу держались на расстоянии, стараясь избежать встречи с солдатами и префектами, которые могли патрулировать канал в этот злополучный день.

— Хочешь воды? — спросил Киу. — Как думаешь, мы можем здесь напиться?

Он был осмотрителен. Болд, конечно, понимал, что бдительность им необходима. На берегах Великого канала на Киу, возможно, не взглянули бы дважды, но у Болда не было при себе документов, которые местные блюстители порядка вполне могли попросить его предъявить. Так что держаться Великого канала постоянно не вышло бы, как не вышло бы и держаться вдали от него.

Оставалось подбираться к каналу наскоками, смотря по ситуации. Возможно, идти придётся по темноте, что затормозит их путешествие и сделает его ещё опаснее. С другой стороны, едва ли каждого из проходящих и переплывающих через канал в этом огромном потоке людей станут проверять на наличие документов — не факт, что эти люди вообще имели их при себе.

И они смешались с толпой и двинулись по дороге вдоль канала, Киу тащил свой узелок и цепи, подносил воду Болду и делал вид, что не понимает ничего, кроме элементарных приказов. Он пугающе правдоподобно изображал дурачка. Одни рабы тащили баржи, другие крутили лебёдки, поднимая и опуская шлюзовые ворота, через равные промежутки времени прерывающие течение воды в канале. Мужчины часто шли парами: хозяин и слуга или хозяин и раб. Болд всячески распоряжался Киу, но из-за волнения не мог получать от этого удовольствия. Кто знает, каких неприятностей ждать от Киу на севере. Болд не понимал собственных ощущений, мысли менялись с каждой минутой. Он всё ещё не мог поверить, что Киу вынудил его совершить побег. Он снова зашипел: он получил безграничную власть над юношей, и всё-таки боялся его.

На новой небольшой мощёной площадке, рядом с клетками из новой неотёсанной древесины, офицер из местного ямэня и его подчинённый останавливали каждого четвёртого или пятого. И вдруг они махнули Болду, и тот повернул к ним вместе с Киу, охваченный внезапным отчаянием. Его попросили предъявить документы. Офицера сопровождал чиновник в мантии, превосходящий его по рангу, — префект с нашивкой, изображающей парных ястребов-перепелятников. Символика с рангами префектов считывалась легко: самый низкий ранг изображал перепелов, клюющих землю, а самый высокий — журавлей, парящих в облаках. По всему выходило, что фигура была довольно высокопоставленная — возможно, он разыскивал поджигателя из Ханчжоу. Болд не знал, что сказать, его тело напряглось, готовое сорваться на бег, когда Киу залез в свою сумку и передал Болду стопку бумаг, перевязанных шёлковой лентой. Болд развязал ленту и вручил свёрток офицеру, недоумевая, что там могло быть написано. Он знал тибетский на уровне молитвы «ом мани падме хум», слова которой были вырезаны на каждом камне в Гималаях, но в остальном не мог похвастаться грамотностью, а китайская письменность, где

каждая черта отличалась от остальных, напоминала ему следы куриных лапок.

Служащий ямэня и префект-перепелятник прочитали два верхних листа, затем вернули бумаги Болду, который перевязал их и отдал Киу, не глядя на мальчика.

— Осторожнее в Нанкине, — сказал перепелятник. — На холмах к югу от него водятся разбойники.

— Мы будем держаться канала, — обещал Болд.

Когда они скрылись из виду проверяющих, Болд впервые ударил Киу.

— Что это было? Почему ты не рассказал мне о бумагах? Откуда мне знать, что говорить людям?

— Я боялся, что ты заберёшь их и уйдёшь от меня.

— В каком смысле? Если там сказано, что у меня есть чёрный раб, мне нужен чёрный раб, не так ли? Или там сказано другое?

— Там сказано, что ты торговец лошадьми из флота адмирала Чжэн Хэ, направляешься в Нанкин для заключения сделки. И что я твой раб.

— Откуда они у тебя?

— Мне помог лодочник с рисовой фермы, который занимается поддельными бумагами.

— То есть он знает о наших планах?

Киу не ответил, и Болд подумал, что лодочник, может быть, уже мёртв. Казалось, этот мальчишка готов на всё. Раздобыть ключ, подделать бумаги, заготовить горючие шарики… Если наступит час, когда он решит, что ему не нужен Болд, то однажды утром Болд будет лежать с перерезанным горлом. Нет, один он будет в большей безопасности.

Он понуро размышлял об этом, пока они шли мимо барж, подтягиваемых бурлаками на канатах. Болд мог бы бросить мальчика на произвол судьбы — он снова угодит в рабство, его казнят или быстрой смертью как беглеца, или долгой и мучительной как поджигателя и убийцу — и затем отправиться на северо-запад, к Великой стене и простиравшимся за ней степям, домой.

По тому, как Киу избегал его взгляда и плёлся позади, становилось понятно, что он примерно представляет ход его мыслей. И в течение пары дней после инцидента Болд отдавал Киу приказы таким резким тоном, что мальчик вздрагивал от каждого слова.

Но Болд его не бросил, и Киу не перерезал ему горло. Рассудив хорошенько, Болд вынужден был признать, что его карма связана с кармой мальчика. Он каким-то образом стал её частью.

Возможно, он оказался в это время и в этом месте, чтобы помочь юноше.

— Послушай меня, — сказал однажды Болд, когда они шли по улице. — Нельзя просто прийти в столицу и убить императора. Это невозможно. И потом, зачем тебе это?

Угрюмый, сгорбленный Киу наконец ответил по-арабски:

— Чтобы низложить их.

И снова он использовал термин, который использовали ездоки на верблюдах.

— Что-что?

— Остановить их.

— Но, убив императора (даже если бы тебе это удалось), этого всё равно не добиться. На его место просто посадят нового, и всё продолжится так же, как раньше. Такова жизнь.

Долго шли молча, а потом он ответил:

— И они не станут ссориться из-за того, кто станет новым императором?

— Ты о престолонаследовании? Иногда такое случается. В зависимости от того, кто стоит в очереди на престол. Не знаю, как с этим обстоит сейчас. Нынешний император, Юнлэ, узурпатор. Он отнял престол у своего не то племянника, не то дяди. Но обычно преимущество на стороне

старшего сына, если император сам не назначит другого преемника. Династия в любом случае продолжается. Проблем обычно не возникает.

— Но ведь могут возникнуть?

— Могут, а могут и не возникнуть. А они между тем бессонными ночами будут изобретать для тебя новые способы пыток. То, что с тобой сделали на корабле, даже близко с этим не сравнится. На императоров династии Мин работают лучшие палачи в мире, это всем известно.

Прошли ещё немного.

— У них всё лучшее в мире, — пожаловался мальчик. — Лучшие реки, лучшие города, лучшие корабли, лучшие армии. Они приплывают за семь морей, и где бы они ни оказались, люди кланяются им в ноги. Они видят зуб Будды — и забирают его себе. Они сажают на трон короля, который будет служить им, и плывут дальше, и поступают так везде, где ни оказываются. Они завоюют весь мир, оскопят всех мальчиков, и все дети будут их, и весь мир станет принадлежать китайцам.

— Может, и так, — согласился Болд. — Это вполне возможно. Всё-таки их ужасно много. И корабли-сокровищницы впечатляют, нечего сказать. Но корабли не заплывут в самое сердце

мира, в степи, откуда я родом. И народ там гораздо суровее, чем китайцы. И прежде они уже побеждали китайцев. Так что всё ещё образуется. Главное, пойми: что бы ни случилось, ты ничего не сможешь с этим поделать.

— Это мы ещё увидим в Нанкине.

Сущее безумие. Мальчишка не ведал, что говорил. Но в его взгляде снова появилось то самое выражение — нечеловеческое, животное, как будто он смотрел на мир глазами своего нафса. От этого взгляда холодок пробегал по нервным окончаниям Болда у самой первой чакры, под яичками. Помимо хищного нафса, с которым Киу родился, было что-то пугающее в силе ненависти евнуха, что-то безличное и зловещее. Болд не сомневался, что тот нёс в себе некую силу, рождённый от африканской колдуньи или шамана, тулку, похищенный из джунглей, удвоивший свою силу полученным увечьем, который теперь собирался мстить. Мстить китайцам! Несмотря на твёрдое убеждение, что это сущее безумие, Болду было любопытно посмотреть, что из этого выйдет.

Нанкин оказался даже громаднее Ханчжоу. Болд мог бы и перестать постоянно изумляться. Город был родиной великой флотилии кораб-

лей-сокровищниц, и в устье реки Янцзы здесь выстроили целый судостроительный город. Его верфи состояли из семи огромных сухих доков, расположенных перпендикулярно реке за высокими плотинами, шлюзы которых охраняли стражники, чтобы не допустить диверсии. Тысячи плотников, корабельных и парусных мастеров жили в комнатах за доками, а приезжие рабочие и моряки всегда могли найти свободную гостиницу в этом городе мастеров, получившем название Лунцзян. Вечерние разговоры на постоялых дворах главным образом сводились к флоту сокровищниц и самому Чжэн Хэ, который в настоящее время был занят строительством храма в честь Тяньфэй и параллельно подготовкой очередной грандиозной экспедиции на запад.

Болду и Киу не составило труда влиться в их число, представившись мелким купцом в сопровождении раба, и они сняли две койки в гостинице «Южное море». Здесь по вечерам они узнавали новости о строительстве новой столицы в Пейпине — проект, который поглощал всё внимание императора Юнлэ и немалую часть казны. Пекин был провинциальной северной заставой на протяжении всей истории, за исключением периода правления монгольских династий, и

служил главным опорным пунктом Чжу Ди до того, как он узурпировал Драконий трон и стал императором Юнлэ; теперь Юнлэ хотел отблагодарить город, снова сделав его столицей империи и изменив его название с Пейпина («северный мир») на Пекин («северная столица). Сотни тысяч рабочих были посланы из Нанкина на север, чтобы отстроить огромный дворец (судя по всему, и весь город планировалось превратить в подобие дворца). Дворец Внутреннего Величия, как его называли, запретный для всех, кроме императора, его наложниц и евнухов. За пределами этой неприкосновенной земли должен был появиться большой императорский город, построенный с нуля.

Поговаривали, что строительством были недовольны конфуцианские чиновники, которые управляли страной от имени императора. Новая столица вместе с флотом кораблей-сокровищниц требовала невероятных затрат, и властям приходилась не по душе такая расточительность императора, ибо это высасывало из страны её богатства. Или они никогда не видели, как сокровища загружают на корабли, или не верили, что эти сокровища равноценны потраченному на их приобретение. Они верили в слова Конфуция

о том, что богатство империи должно основываться на земле, на углублённом земледелии и ассимиляции пограничных народов в соответствии с духом традиций. Все эти нововведения, кораблестроение и путешествия казались им проявлением крепнущей власти императорских евнухов, которых они ненавидели, потому как видели в них соперников в борьбе за влияние на императора. Постояльцы моряцких гостиниц в основном поддерживали евнухов, так как моряки были преданы мореплаванию, флоту и Чжэн Хэ, а также другим евнухам-адмиралам. Но чиновники были другого мнения.

Болд видел, как внимательно вникал в разговор Киу и даже задавал дополнительные вопросы, чтобы разобраться. Проведя в Нанкине всего несколько дней, он сумел вынюхать все сплетни, которые обошли Болда стороной. Так, императора сбросила лошадь, подаренная ему эмиссарами Тимуридов, которая некогда принадлежала самому Тимуру (Болд гадал, какая именно это лошадь; странно было думать, что животное оказалось таким долгожителем, хотя, поразмыслив, он понял, что со смерти Тимура прошло менее двух лет). Затем в новый дворец в Пекине ударила молния и сожгла его дотла. Император издал эдикт, в

котором брал вину за небесную кару на себя, чем вызвал смятение в народе и навлёк на себя немало критики. После этих событий некоторые чиновники стали открыто выступать против огромных трат на новую столицу и содержание флота, истощающих казну, в то время как голод и восстания на юге страны требовали помощи императора. Император Юнлэ вскоре устал от их недовольства, и один из самых громких критиков был изгнан из Китая, а остальные сосланы в провинции.

— Так что плохи дела, — изрёк один из матросов, уже изрядно хвативший лишнего. — Но хуже всего то, что императору шестьдесят. Тут уж ничем не поможешь, даже когда ты император. Возможно, всё даже хуже, когда ты император.

Все покивали.

— Плохо дело, плохо.

— Он не сможет сдержать конфликт между евнухами и чиновниками.

— Того и гляди, начнётся гражданская война.

— В Пекин, — сказал Киу Болду.

Но, прежде чем покинуть город, Киу настоял, чтобы они поднялись к дому Чжэн Хэ. Это был асимметричный особняк с парадной дверью, вырезанной в форме кормы одного из кораблей-

сокровищниц. Комнаты в доме (семьдесят две, по словам моряков) своим убранством навевали мысли о различных мусульманских странах, а в садах, разбитых во внутреннем дворе, улавливалось сходство с провинцией Юньнань.

Болд ныл всю дорогу, пока они поднимались на вершину холма.

— Он ни за что не примет нищего торговца и его раба. Его слуги вышвырнут нас за дверь, это просто смешно!

Всё вышло так, как и предсказывал Болд. Привратник смерил их взглядом и велел убираться восвояси.

— Хорошо, — сказал Киу. — Тогда пойдём в храм Тяньфэй.

Храм представлял собой грандиозный комплекс зданий, построенный Чжэн Хэ в честь Небесной Супруги и в благодарность за чудесное спасение во время шторма.

Жемчужина храма –
Восьмиугольная пагода девяти этажей,
Облицованная белым фарфором,
Обожжённым персидским кобальтом
Из заморских странствий.

Все этажи построены с равным количеством плиток,

Чтобы сделать приятно Тяньфэй.

Вот плитки мельчают в размере,

Сужаются этажи, сходясь на изящной вершине,

Что возвышается над кронами деревьев.

Славное подношение и посвящение

Богине высшего милосердия.

Там, посреди стройки, беседуя с людьми, которые выглядели не лучше Болда и Киу, стоял сам Чжэн Хэ. Когда они подошли, адмирал взглянул на Киу и прервался, чтобы поговорить с ним. Болд покачал головой, воочию лицезрея силу Киу.

Киу объяснил, что они были на его корабле во время прошлого плавания, и Чжэн кивнул.

— Твоё лицо показалось мне знакомым.

Однако когда Киу сказал, что они хотят служить императору в Пекине, он нахмурился.

— Чжу Ди собирается на запад, в военный поход. Верхом, с его-то ревматизмом, — он вздохнул. — Пора ему уяснить, что наш способ завоевания самый лучший. Корабли прибывают в порт, мы начинаем вести торговлю, сажаем на правящую

должность человека, который, в случае чего, встанет на нашу сторону, и пусть себе живут. Нужна торговля. Нужен прикормленный человек в управлении. Целых шестнадцать стран платят нашему императору дань исключительно благодаря нашему флоту. Шестнадцать!

— Сложно направить корабли в Монголию, — сказал Киу, пугая Болда.

Но Чжэн Хэ рассмеялся.

— Да, суховата великая земля и высоковата. Нужно убедить императора забыть о монголах и обратить внимание на море.

— Мы тоже этого хотим, — горячо сказал Киу. — В Пекине мы будем отстаивать эту позицию при каждом удобном случае. Вы представите нас евнухам, служащим во дворце? Я могу присоединиться к ним, а мой хозяин отлично справится с лошадьми в императорской конюшне.

Чжэн развеселился.

— Это ничего не изменит. Но по старой памяти я тебе помогу и пожелаю удачи.

Он покачал головой и написал им записку, взмахивая кисточкой, как миниатюрной метлой. Что случилось с ним потом, хорошо известно: в наказание от императора он получил пост военного коменданта на суше, посвящал дни

строительству девятиэтажной фарфоровой пагоды в честь Тяньфэй. Мы полагаем, что он тосковал по своим заморским плаваниям, но не можем знать наверняка. Зато мы знаем, что случилось с Болдом и Киу, и расскажем вам об этом в следующей главе.

7

В которой будет новая столица, новый император, и заговорам положен конец; один мальчик против Китая: вы догадаетесь, кто победит.

В Пекине было, во всех смыслах слова, сыро: холодный и мокрый ветер, доски на зданиях ещё не потемнели и сочились соком. Повсюду витали запахи смолы, распаханной земли и мокрого цемента. Здесь тоже было многолюдно, хотя и не так, как в Ханчжоу и Нанкине, и Болд с Киу могли почувствовать себя космополитичными и просвещёнными, как будто вся эта гигантская стройка была ниже их достоинства. Здесь многие грешили подобным пренебрежением.

Они направились к лечебнице евнухов, упомянутой в записке Чжэн Хэ; она располагалась чуть поодаль от ворот Меридиан, южного входа в Запретный город. Киу предоставил записку от адмирала, и их с Болдом пропустили внутрь, к главному евнуху лечебницы.

— Рекомендация Чжэна позволит вам далеко продвинуться во дворце, — сказал евнух, — даже

если у самого Чжэна возникнут неприятности с имперскими чиновниками. Я близко знаком с дворцовым церемониймейстером, Ву Ханем, и представлю вас ему. Он старый друг Чжэна, и ему нужны евнухи в Павильоне Литературной глубины для переписи копий. Впрочем, нет, вы же не обучены грамоте, не так ли? Что ж, Ву также назначает евнухов-жрецов, которые должны заботиться о духовном благополучии наложниц.

— Мой хозяин — лама, — сказал Киу, указывая на Болда. — Он обучил меня всем премудростям бардо.

Евнух смерил Болда скептическим взглядом.

— В общем, как бы то ни было, протекция Чжэна поможет вам устроиться. Он очень хорошо вас рекомендовал. А тебе, конечно, понадобятся твои пао.

— Пао? — переспросил Киу. — Моё хозяйство?

— Ну, ты понимаешь, — евнух указал на пах Киу. — Доказательство твоего статуса необходимо иметь при себе даже после того как я проведу осмотр и выпишу справку. И потом — что, пожалуй, самое главное, — когда тебя будут хоронить, их положат тебе на грудь, чтобы провести богов. В конце концов, ты же не хочешь вернуться сюда самкой мула, — он с любопытством оглядел

Киу. — Ты их не сохранил?

Киу покачал головой.

— Ну, так у нас этого добра навалом, выбирай из тех, что остались от умерших пациентов. После бальзамирования негра от китайца и не отличишь!

Доктор рассмеялся и повёл их по коридору.

Он сказал, что его зовут Цзян. Он был бывшим моряком из Фукианя и недоумевал, с чего бы абсолютно здоровому юноше покидать побережье ради такого места, как Пекин.

— Ты так чёрен, что на тебя будут смотреть, как на цилиня, которого флот привёз в подарок императору из последнего плавания. Пятнистый единорог с длинной шеей, кажется, тоже из Зинджи. Видел его?

— Флот большой, — ответил Киу.

— Понимаю. Ву и прочие дворцовые евнухи любят экзотику вроде тебя и цилиня, император тоже, так что волноваться не о чем. Веди себя тихо и не влезай ни в какие заговоры, и всё будет хорошо.

В здании склада было прохладно. Они вошли в помещение, заставленное запечатанными фарфоровыми и стеклянными банками, и подобрали Киу чёрный пенис, чтобы взять его с собой. Стар-

ший евнух лично его осмотрел, убедившись, что он именно тот, за кого себя выдаёт, затем выписал ему справку прямо на рекомендательном письме Чжэна и шлёпнул по бумаге печатью с красными чернилами.

— Некоторые пытаются врать о том, что они евнухи, но когда они попадаются, им без лишних разговоров отрывают яйца, и врать больше не приходится. Я заметил, что тебе не вставили перо после кастрации. Перо нужно, чтобы проход не зарастал, а уже в перо вставляется пробка. Так гораздо удобнее. Они должны были сделать так, когда тебя резали.

— Я вроде обхожусь, — сказал Киу.

Он поднёс стеклянную банку к свету и внимательно посмотрел на свои новые пао. Болд вздрогнул и первым вышел из жуткого места.

Пока всё решалось во дворце, Киу выделили койку в общежитии, а Болду предложили палату в мужском корпусе лечебницы.

— Временно, разумеется. Если только вы не пожелаете присоединиться к нам в главном здании. У нас много возможностей для карьерного роста…

— Нет, спасибо, — вежливо ответил Болд.

Но он видел, как часто приходили в лечебницу

мужчины с просьбами об операции, отчаянно нуждаясь в работе. Страну мучил голод, и недостатка в желающих не было, некоторым даже приходилось отказывать. Как и во всём Китае, здесь действовала строгая бюрократическая система — на благо дворца трудилось, ни много ни мало, несколько тысяч евнухов. Лечебница была лишь одним из её винтиков.

Так они остались в Пекине. Дела шли до того хорошо, что Болд подумал, вдруг Киу, который больше не нуждался в Болде так, как во время их путешествия на север, теперь оставит его, переедет в Запретный город и исчезнет из его жизни. Эта мысль, как ни странно, его опечалила.

Но Киу, получив назначение к наложницам Чжу Гаочжи, старшего законного сына императора и назначенного престолонаследника, попросил Болда пойти с ним и устроиться к наследнику на должность конюха.

— Мне всё ещё нужна твоя помощь, — сказал он просто, в тот момент слишком напоминая мальчика, который давным-давно поднялся на борт их корабля-сокровищницы.

— Я попробую, — согласился Болд.

Киу сумел уговорить старшего конюха Чжу Гаочжи пойти им навстречу и принять Болда,

и Болд вошёл в конюшню, продемонстрировал свои навыки работы на больших красивых скакунах и получил работу. Монголам в конюшне не было равных — совсем как евнухам во дворце.

Болд решил, что работа ему досталась лёгкая. Наследник был праздным человеком, верхом ездил редко, и конюхам приходилось самим выгуливать скакунов на дорожках и в новых парках на территории дворца. Лошади были большими, белоснежными, но медлительными и невынослиⷡми. Теперь Болд понимал, почему китайцы никогда не пройдут на север от своей Великой стены и не захватят монголов, несмотря на несметное своё число. Монголы жили лошадьми и питались тоже ими: делали одежду и жилища из войлока и шерсти, пили лошадиное молоко и кровь, ели их, когда возникала необходимость. Лошади были жизнью монгольского народа, а эти увальни годны разве что вертеть жернова с закрытыми шорами, до того они были вялыми и ленивыми.

Выяснилось, что Чжу Гаочжи много времени проводил в Нанкине, где прошло его детство, навещая свою мать, императрицу Сюй. Так что по прошествии времени Болду и Киу пришлось неоднократно переезжать между двумя столи-

цами или на барже по Великому каналу, или верхом вдоль него. Чжу Гаочжи предпочитал Пекину Нанкин, и климатом и культурой, что и неудивительно. Поздними вечерами, напившись вдоволь рисового вина, он объявлял своим приближённым, что перенесёт столицу обратно в Нанкин в самый день смерти своего отца. После этого странно было видеть, какой колоссальный труд вкладывается в строительство Пекина, когда они возвращались.

Но всё чаще и чаще они оставались в Нанкине. Киу работал в гареме наследника и большую часть времени проводил на территории наложниц. Он никогда не рассказывал Болду о том, чем там занимался, лишь только один раз заявился на конюшню поздно вечером немного хмельным. Это была чуть ли не единственная их встреча за долгое время, и Болд с нетерпением ждал этих ночных визитов, даже несмотря на то, что они заставляли его нервничать.

В тот раз Киу обмолвился, что его главной задачей в эти дни стал поиск мужей для тех наложниц, которые достигли тридцатилетнего возраста, ни разу так и не вступив в отношения с императором. Чжу Ди сбыл их на руки своему сыну, приказав выдать замуж.

— Хочешь жениться? — спросил Киу лукаво. — На тридцатилетней девственнице, обученной всем премудростям?

— Нет, спасибо, — неловко ответил Болд.

У него уже были отношения со служанкой в Нанкине, и предложение Киу вызвало в нём странные чувства, хотя он и подозревал, что Киу шутит.

Обычно, когда Киу ночами заявлялся в конюшню, он пребывал в глубокой задумчивости. Он не слышал ничего, что говорил ему Болд, и отвечал странно, словно отвечал на какие-то другие вопросы. Болд слышал, что юный евнух пользовался большой популярностью, знал каждую собаку во дворце и заслужил благосклонность церемониймейстера Ву. Но что происходило в покоях наложниц долгими зимними пекинскими ночами, он понятия не имел. Часто Киу появлялся на конюшне, пропахнув вином и духами, иногда мочой, а однажды даже рвотой. В такие моменты Болду вспоминалась расхожая поговорка «вонять, как евнух», оставляя тяжёлое послевкусие. Он замечал, как люди потешались над семенящей походкой евнуха, когда тот, сутулясь, перебирал ногами, выворачивая носки стоп наружу, то ли из-за физиологической особенности, то ли из-за

принятого у них обычая, Болд не знал. Их называли воронами за фальцет — но как их только ни называли за спиной. И все сходились на том, что евнухи, когда жирели, а потом иссыхали в свойственной им манере, становились похожими на сгорбленных старух.

Однако Киу был ещё молод и хорош собой, а во время своих ночных визитов, когда он заваливался к Болду пьяным и взъерошенным, он казался весьма довольным собой.

— Сообщи, если тебе вдруг захочется женщин, — сказал он. — У нас их больше, чем нужно.

Во время одного из визитов наследника в Пекин, Болд мельком увидел императора и наследника вместе, когда выводил идеально ухоженных лошадей к воротам Небесной Чистоты, чтобы отец и сын могли прогуляться верхом по паркам императорского сада. Вот только император, судя по всему, хотел выехать за дворцовую территорию и ускакать куда-нибудь за город, к северу от Пекина, и переночевать в шатре, а наследник не воспылал энтузиазмом к этому предложению, равно как и сопровождавшие императора чиновники. В итоге император сдался и согласился на обычную дневную прогулку, но у реки, за пределами имперского города.

Когда седлали лошадей, он воскликнул, обращаясь к своему сыну:

— Тебе нужно понять, что наказание должно соответствовать преступлению! Люди должны чувствовать справедливость твоего решения! Когда Совет наказаний рекомендовал приговорить Сюй Пэй-и к мучительной смерти, всех его родственников мужского пола старше шестнадцати лет казнить, а родственников женского пола и детей заключить в рабство, я был милосерден! Я смягчил приговор, всего лишь обезглавив его и пощадив всех родственников. Поэтому теперь говорят: «Император знает меру, он понимающий».

— Точно, — сухо согласился наследник.

Император бросил на него быстрый взгляд, и они ускакали.

Когда они вернулись в конце дня, император всё ещё поучал своего сына, ещё более недовольным, чем с утра, голосом.

— Нельзя править страной, если ты не знаешь ничего, кроме дворцовой жизни! Народу нужно, чтобы император понимал их, чтобы он ездил верхом и стрелял хорошо, как Небесный Посланник! С чего ты взял, что твои подчинённые будут тебя слушаться, если сочтут тебя изнеженным?

Они будут говорить тебе, что повинуются, а за глаза станут насмехаться над тобой и делать всё, что им заблагорассудится.

— Точно, — сказал наследник, глядя в другую сторону.

Император просверлил его взглядом.

— Слезай с лошади, — сказал он мрачно.

Наследник вздохнул и спешился. Болд перехватил поводья и успокоил лошадь опытной рукой, уводя её к императорскому скакуну, и был готов, когда император соскочил с лошади и взревел:

— Повинуйся!

Наследник рухнул на колени в низком поклоне.

— Ты думаешь, чиновники позаботятся о тебе, — кричал император, — но это не так! Твоя мать ошибается в этом, как во всём остальном! Они преследуют собственные цели и отвернутся от тебя, когда возникнет хоть малейшая проблема. Тебе нужны собственные люди.

— Или евнухи, — буркнул наследник в гравий.

Император Юнлэ грозно посмотрел на него.

— Да. Мои евнухи знают, что их положение прежде всего зависит от моей доброй воли. Кроме меня их никто не поддержит. Потому и я могу рассчитывать, что они всегда поддержат меня.

Коленопреклонённый старший сын не ответил императору. Болд, стоявший к ним спиной почти вне предела слышимости, рискнул обернуться. Император, тяжело качая головой, уходил прочь, оставив сына стоять на коленях.

— Возможно, ты поставил не на ту лошадь, — сказал Болд Киу, когда увидел его в следующий раз, во время очередного ночного визита Киу в конюшню, которые в последнее время становились всё реже. — Император сейчас всё время проводит со своим вторым сыном. Они ездят верхом, охотятся, шутят. Как-то раз на охоте застрелили триста оленей, которых мы для них окружили. В то время как наследника приходится вытаскивать на улицу из-под палки, а за территорию дворца он отказывается и ногой ступать. Император постоянно кричит на него, а наследник чуть ли не смеётся ему в лицо. Дерзит ему, как только осмеливается. И император всё понимает. Не удивлюсь, если он переназначит наследника.

— Он не может, — ответил Киу. — Он хочет, но не может.

— Почему нет?

— Старший — сын императрицы. Второй — сын куртизанки. К тому же куртизанки низкого ранга.

— Но разве император не волен поступать так, как захочет?

— Не всегда. Правило действует только до тех пор, пока все подчиняются закону. Если закон нарушить, это может привести к гражданской войне и свержению династии.

Болд видел такое в войнах чингизидов за царствование, не утихавших много поколений. И сейчас ходили разговоры о том, что сыновья Тимура воюют друг с другом с самой его смерти, а ханская империя поделена на четыре части, безо всякой надежды на будущее воссоединение.

Но Болд также знал, что сильный правитель всегда может выйти сухим из воды.

— Ты нахватался от императрицы, наследника и их приближённых. Но всё не так просто. Люди пишут законы, и люди же их переписывают. Или вовсе не обращают на них внимания. И если у них есть власть, то так тому и быть.

Киу обдумывал его слова молча.

— Сейчас много говорят о том, как страдают провинции. В Хунане голод, на побережьях процветает пиратство, юг загибается от болезней. Чиновники недовольны. Они считают, что великий флот привёз беду вместо сокровищ, растратив кучу казённых денег. Они не понимают

преимуществ торговли, не верят в неё. Не верят в новую столицу. Они твердят императрице и наследнику, что те должны помочь народу, восстановить земледелие в стране и перестать тратить деньги на помпезные проекты.

Болд кивнул.

— Я в этом не сомневаюсь.

— Но император упорствует. Он поступает так, как ему угодно, заручившись поддержкой армии и своих евнухов. Евнухи — за внешнюю торговлю, так как видят, что та приносит им богатство. И новая столица им нравится, и всё остальное. Так ведь?

Болд снова кивнул.

— Похоже, что так.

— Чиновники ненавидят евнухов.

Болд взглянул на него.

— Ты говоришь по собственному опыту?

— Да. Хотя императорских евнухов они ненавидят сильнее.

— Это естественно. Тот, кто подобрался так близко к власти, внушает страх всем остальным.

И снова Киу обдумал его слова. В последнее время Болду казалось, что юноша счастлив. Впрочем, он думал так и в Ханчжоу. И потому лёгкая улыбка Киу всегда заставляла его нервничать.

Вскоре после этого разговора, когда они были в Пекине, разразилась страшная буря.

Жёлтая пыль пачкает первые капли грязью;
Молния бронзовой иглой
Небо с землёй сшивает.
Видно даже сквозь закрытые веки.
Час спустя приходит дурное известие:
Горят императорские дворцы.
Пожаром сердце Запретного города
Охвачено, точно политое смолой.
Пламя лижет мокрые облака,
Столп дыма сливается с тучами,
Косой дождь испаряется в воздухе, заменяясь пеплом.

Мечась между перепуганными лошадьми, бегая с вёдрами воды, Болд всё высматривал Киу и наконец на рассвете, когда тушить пожар уже перестали, ибо это было бесполезно, заметил его среди эвакуированных императорских наложниц. Все приближённые наследника имели жутко обеспокоенный вид, а вот Киу, напротив, показался Болду воодушевлённым. В его глазах

были видны одни белки, как у шамана после успешного путешествия в мир духов. Болд понял, что это он устроил пожар, совсем как в Ханчжоу, на этот раз воспользовавшись молнией как прикрытием.

В следующий раз, когда Киу заглянул в конюшню за полночь, Болд почти боялся заговорить с ним.

И всё же он спросил:

— Это ты устроил пожар? — шёпотом, по-арабски, хотя они и были одни на улице у конюшни и никто их не подслушивал.

Киу в ответ просто посмотрел на него. «Да», — говорил этот взгляд, сам Киу молчал.

Наконец он произнёс невозмутимо:

— Волнующая была ночь, не правда ли? Я спас книжный шкаф из павильона и даже несколько наложниц. Красные мундиры были ужасно благодарны за спасение своих документов.

Он продолжал говорить о красоте огня, о панике женщин, о гневе, а впоследствии и страхе императора, который принял пожар за знак небесного неодобрения, тяжелейшее дурное предзнаменование, когда-либо поражавшее его. Но Болд не мог уследить за ходом разговора, так как его мысли переполняли образы медленной и

мучительной смерти. Поджечь мёртвого торговца из Ханчжоу — это одно, но императора всего Китая! Хозяина Драконьего трона! Он снова увидел проблески этого существа, сидящего внутри юноши, его чёрный нафс, расправивший крылья внутри, и почувствовал, что расстояние между ними стало непреодолимо огромным.

— Тише ты! — резко оборвал он Киу по-арабски. — Дурак. Тебя ведь убьют, и меня с тобой заодно.

Киу нехорошо улыбнулся.

— Тогда вперёд, к лучшей жизни, не так ли? Не этому ли ты меня учил? Зачем мне бояться смерти?

У Болда не было ответа.

После этого они виделись ещё реже, чем прежде. Проходили дни, праздники, сменялись времена года. Киу вырос. Когда Болд замечал его, то видел высокого, стройного чернокожего евнуха, красивого и напомаженного, семенящего куда-то с блеском в глазах, и даже — один раз — с тем самым хищным взглядом, которым он смотрел на окружающих. Обвешанный драгоценными камнями, располневший, надушенный, облачённый в лучшие шелка, он был фаворитом императрицы и наследника, хоть те и презирали евнухов

императора. Но Киу был их любимцем, а, возможно, и шпионом в императорском гареме. Болд боялся за него не меньше, чем его самого. Ходили слухи, что юноша сеял раздор среди наложниц императора и наследника (их пересказывали даже конюхи, которые ничего не могли знать из первых уст). Он нёс себя с такой дерзостью, что не мог не нажить врагов. Кто-нибудь наверняка строил заговоры против него. И он наверняка знал обо всём этом, наверняка нарочно этого добивался. Он смеялся всем в лицо, чтобы его возненавидели ещё больше. Казалось, это было ему в радость. Но у императора длинные руки. И если он решит наказать кого-то, то не остановится, пока не дойдёт до конца.

И потому, когда весть о двух повесившихся наложницах прогневила императора, который потребовал провести дознание, и клубок заговоров начал стремительно распутываться, по дворцу, подобно чуме, пополз страх. Круг виновных раздавался всё шире и шире, пока три тысячи наложниц и евнухов не оказались замешаны в скандале. Болд ожидал, что не ровён час, как он услышит о пытках и мучительной смерти своего юного друга, возможно даже из уст стражников, пришедших казнить и его.

Но этого не произошло. Киу находился под надёжным покровительством, словно колдун наложил на него защитное заклинание, и это было очевидно буквально всем. Император собственноручно казнил сорок наложниц, яростными взмахами меча разрубая их пополам или лишая головы — одним ударом или пронзая их снова и снова, пока ступени восстановленного после пожара зала Великой Гармонии не окрасились их кровью. А Киу, невредимый, стоял чуть в стороне. Одна наложница, стоя обнажённой перед собравшимися, даже обратила в его сторону свой бессловесный крик, а затем прокляла императора, глядя ему прямо в лицо:

— Ты сам виноват, ты слишком стар, твой ян пропал, даже евнухи делают это лучше тебя!

А потом — вжик, и её голова покатилась в лужу крови, как принесённая в жертву. Столько загубленной красоты! И всё же никто не прикасался к Киу; император не смел взглянуть на него, и чёрный юноша наблюдал за происходившим с блеском в глазах, наслаждаясь хаосом и тем, как презирают его за это чиновники. Придворным некуда было податься, они буквально ели друг друга поедом. И всё же ни у кого из них не хватило смелости донести на странного чёрного евнуха.

Последняя встреча Болда и Киу произошла накануне похода на запад против татар под предводительством Аргутая, в котором Болд сопровождал императора. Гиблая затея: татары были стремительны, а император нездоров. Ничего путного из этого не вышло бы. Наступит зима, и они вернутся всего через несколько месяцев. Поэтому Болд удивился, когда Киу зашёл в конюшню попрощаться.

Он словно видел перед собой незнакомца. Но тот вдруг схватил Болда за руку, ласково и серьёзно, как принц, обращающийся к доверенному старому слуге.

— Тебе никогда не хочется вернуться домой? — спросил он.

— Домой, — повторил Болд.

— Разве твоя семья не там?

— Я не знаю. Много лет прошло. Они наверняка считают меня погибшим. Они могут быть где угодно.

— Не «где угодно». Ты мог бы их найти.

— Возможно, — он с любопытством посмотрел на Киу. — А почему ты спрашиваешь?

Киу сначала не ответил. Он всё сжимал руку Болда.

— Ты слышал историю о евнухе Чао Као, кото-

рый стал причиной падения династии Цин? — спросил он наконец.

— Нет. Не может быть, чтобы ты всё ещё помышлял об этом.

Киу улыбнулся.

— Нет.

Он вынул из рукава маленькую резную фигурку из чёрного железного дерева — половинку тигра, с полосками, вырезанными на гладкой поверхности. На срезе посередине фигурки был паз — опознавательный знак, подобный тем, которыми чиновники удостоверяют свою личность в переписке со столицей из провинции.

— Возьми это с собой в поход. Вторую половину я оставлю себе. На удачу. Мы ещё встретимся.

Болд, испугавшись, взял амулет. Тот показался ему похожим на нафс Киу, но, конечно же, нафс нельзя было просто передать другому человеку.

— Мы непременно встретимся вновь. Хотя бы в будущих жизнях, как ты мне всегда говорил. Молитвы за умерших подскажут им, как вести себя в бардо, верно?

— Верно.

— Мне пора.

И, поцеловав Болда в щёку, Киу скрылся в ночи.

Поход по завоеванию татар, как и ожидалось, с треском провалился, и одной дождливой ночью император Юнлэ скончался. Болд не смыкал глаз до самого рассвета, раздувая мехами огонь, в котором офицеры плавили все имевшиеся у них оловянные кружки, чтобы сделать гроб и отвезти тело императора обратно в Пекин. Всю обратную дорогу не прекращая шёл дождь — небо проливало слёзы. Только когда они добрались до Пекина, офицеры оповестили народ о случившемся.

Тело императора пролежало в гробу, в настоящем гробу, сто дней. В течение этого времени запрещалось играть на музыкальных инструментах, справлять свадьбы и проводить религиозные церемонии, и всем храмам страны было приказано отзвонить в колокола тридцать тысяч раз.

На похоронах Болд присоединился к десятитысячной императорской свите.

Шествие к гробнице императора в шестидесяти ли

На северо-западе Пекина. Три дня петляющей дороги –

Отвадить духов, что ходят только прямыми линиями.

Погребальный комплекс вырыт под

землёй,

Заполненный лучшими нарядами покойного императора,

Вдоль туннеля длиной в три ли,

Каменные слуги выстроились в ожидании приказа.

Сколько жизней они так простоят?

Шестнадцать наложниц повешены

И погребены вокруг его саркофага.

В день, когда наследник занял Драконий трон, его первый указ огласили повсюду на территориях Внутреннего и Внешнего Величия. Подходя к концу эдикта, дворцовый чтец возвестил всем собравшимся перед залом Великой Гармонии:

— Все плавания флота сокровищ отныне прекращаются. Кораблям, пришвартованным в Ханчжоу, приказано вернуться в Нанкин, а товары, на них имеющиеся, должны быть переданы на хранение в департамент внутренних дел. Официальным лицам, пребывающим за границей в деловых командировках, предписано немедленно вернуться в столицу. Всем членам экипажа — отбыть домой. Строительство и эксплуатация кораблей-сокровищниц будут немедленно приостановлены. Все официальные

закупки для выезда за границу также должны быть прекращены, и все, занятые в закупках, должны вернуться в столицу.

Когда чтец закончил, заговорил новый император, который только что провозгласил себя императором Хунси.

— Мы были слишком расточительны в последнее время. Столица возвращается в Нанкин, а Пекин будет назначен вспомогательной столицей. Мы больше не собираемся тратить имперские ресурсы впустую. Народ страдает. Для спасения людей от нищеты требуется такое же рвение, как при спасении от пожара или утопления. Промедления недопустимы.

Болд увидел Киу на противоположной стороне большого двора, его маленькую чёрную фигурку с горящими глазами. Новый император повернулся, чтобы окинуть взглядом свиту своего покойного отца, многие её представители были евнухами.

— В течение многих лет вы, евнухи, наживались за счёт Китая. Император Юнлэ думал, что вы на его стороне. Но это не так. Вы предали весь Китай.

Киу подал голос прежде, чем товарищи успели остановить его.

— Ваше императорское высочество, это чиновники предают Китай! Они хотят стать регентами при вас и сделать из вас вечного ребёнка-императора!

Тут группа чиновников с рёвом бросилась на Киу и других евнухов, на ходу вынимая ножи из своих рукавов. Евнухи пытались сопротивляться или бежать, но многих убили на месте. В Киу ножи вонзили тысячу раз.

Император Хунси наблюдал. Когда всё закончилось, он сказал:

— Возьмите трупы и вывесьте их за воротами Меридиан. Пусть евнухи видят, что их ожидает.

Позже Болд сидел в конюшне, зажав в руке полуфигурку тигра. Во время резни евнухов он всё думал, что его тоже непременно убьют, и стыдился того, как сильно овладела им эта мысль. Но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Возможно, никто даже не помнил о его знакомстве с Киу.

Он знал, что пора уходить, но не знал куда. Если отправиться в Нанкин и помогать в сожжении флота сокровищ, а также всех доков и складов, то, несомненно, он продолжит начинания своего юного друга. Впрочем, эта работа будет сделана и без его участия.

Болд вспомнил их последний разговор. Пора возвращаться домой, начинать новую жизнь.

Но в дверях появилась стража. Мы знаем, что случилось дальше, вы тоже это знаете, поэтому давайте перейдём к следующей главе.

8

В которой, оказавшись в бардо, Болд объясняет истинную природу реальности; джати воссоединяется и попадает обратно в мир.

В момент своей смерти Киу увидел чистый белый свет. Он был повсюду, омывал собой пустоту, и он, Киу, был частью этого света и изливался в пустоту.

Примерно вечность спустя он подумал: «Вот к чему мы стремимся», — и выпал из небытия, когда к нему пришло осознание самого себя. Его неуёмные мысли продолжали свой бурный бег даже после смерти. Удивительно, но так и было. Может, он просто ещё не умер. Но его тело, разрубленное на куски, лежало на песках Запретного города.

Он услышал голос Болда, прямо там, в своих мыслях. Болд молился за него.

Киу, мальчик мой, славный мальчик,
Пришло твоё время искать свой путь.
Эта жизнь закончилась. Ты теперь

Стоишь лицом к лицу с чистым светом.

Это я уже прошёл, подумал Киу. А что будет дальше? Но Болд не мог знать, на каком этапе пути сейчас находится Киу. В этом отношении от молитвы было мало толку.

Скоро ты познаешь реальность
В её чистом виде. Всё есть ничто.
Ты будешь подобен ясному небу,
Пустому и чистому. Твой разум
Уподобится прозрачной воде.

И это я уже прошёл, подумал Киу. Переходи к следующей части!

— Силой разума сосредоточься на своём разуме. Не спи в это ответственное время. Твоя душа должна покинуть тело бодрствующей и выйти через отверстие Брахмы.

Мёртвые не спят, раздражённо подумал Киу. И душа моя давно покинула тело.

Его проводник сильно отставал, но с Болдом так было всегда. Придётся Киу самому искать свой путь. Пустота по-прежнему обволакивала единственную нить его мыслей. Он иногда видел это место во снах, которые видел при жизни.

Он моргнул или уснул, а потом оказался в огромном зале суда. Помост судьи находился на широком плато, как на острове в море облаков. Судьёй было огромное чернолицее божество, восседавшее на помосте, свесив свой тучный живот. Вместо волос огонь дико пылал на его голове. За его спиной стоял чернокожий мужчина и держал крышу пагоды, которая словно вторила крыше дворца в Пекине. Над ней парил маленький сидящий Будда, излучая спокойствие. Слева и справа от него расположились мирные божества с дарами в руках. Но всё это было слишком далеко и не для него. Праведные мёртвые взбирались к богам по длинным небесным дорогам. На плато вокруг помоста менее удачливых мертвецов кромсали на куски демоны, такие же чёрные, как Владыка смерти, но меньшие в размерах и более проворные. Под плато демоны продолжали истязать несчастные души. Царила суета, и Киу был недоволен.

Это мой суд, и он похож на бойню поутру! Как мне сосредоточиться?

Существо, похожее на обезьяну, приблизилось к нему и подняло руку:

— Твой суд, — произнесло оно низким голосом.

Молитва Болда зазвучала у него в голове, и Киу

понял, что Болд и обезьяна как-то связаны.

— Помни, что любые твои страдания сейчас — это результат твоей собственной кармы, — говорил Болд. — Это всё твоё, и ничьё больше. Моли о пощаде. Появятся маленький белый бог и маленький чёрный демон и отсчитают белые и чёрные камешки в знак твоих добрых и злых дел.

Так оно и случилось. Белый божок был бледен, как яйцо, чёрный — тёмен, как оникс. Выхватывая белые и чёрные камни из огромных груд, они разложили их на отдельные кучки, которые, к удивлению Киу, оказались примерно одинакового размера. Он не помнил, чтобы совершал добрые дела.

— Ты испытаешь страх, ужас, трепет.

Ни за что! Эти молитвы предназначались для других мёртвых, для таких, как Болд.

— Ты захочешь солгать о том, что не совершал никаких дурных деяний.

Я не буду говорить таких глупостей.

Затем Владыка смерти, восседавший на троне, внезапно обратил внимание на Киу, и тот невольно вздрогнул.

— Принесите мне зеркало кармы, — сказал бог, жутко ухмыляясь.

Вместо глаз у него были горящие угли.

— Не бойся, — подбодрил его голос Болда внутри. — Не лги и не бойся Владыки смерти. Тело, в котором ты сейчас находишься, всего лишь плод твоего разума. В бардо нельзя умереть, даже если тебя порубят на куски.

Спасибо, с тревогой подумал Киу. Утешил так утешил.

— Наступает момент страшного суда. Держись крепко и думай о хорошем. Помни, всё, что сейчас происходит, — лишь твои галлюцинации, но то, что произойдёт дальше, всецело зависит от твоих мыслей в эту минуту. В единственный момент времени всё может измениться. Не отвлекайся, когда загорятся шесть огней. Относись ко всем с состраданием. Бесстрашно смотри на Владыку смерти.

Чёрный бог отточенным движением поднял зеркало, и Киу увидел в отражении своё собственное лицо, тёмное, как у самого бога. Он увидел, что лицо — это его обнажённая душа, и что так всегда, и что его лицо было таким же тёмным и страшным, как у Владыки смерти. Вот и момент истины! И ему нужно было сосредоточиться на нём, как постоянно напоминал Болд. Но древние пляски, вопли и лязг вокруг никак не стихали, всевозможные наказания и поощрение вер-

шились единовременно, и Киу, вопреки всему, чувствовал раздражение.

— Почему зло чёрное, а добро белое? — дерзко спросил он у Владыки смерти. — Я всегда воспринимал это иначе. И если это моё собственное мышление, то почему здесь так? Почему мой Владыка смерти не тучный арабский работорговец, как было бы в моей родной деревне? Почему ваши помощники не львы и леопарды?

Но теперь он видел, что Владыка смерти был арабским работорговцем, — отпечатанный на чёрном лбу бога смерти, миниатюрный араб смотрел на Киу и махал ему рукой. Тот самый, что пленил его и увёз на побережье. А сквозь вопли мучеников слышался рык львов и леопардов, жадно пожиравших внутренности ещё живых жертв.

Всего лишь мои мысли, напомнил себе Киу, чувствуя, как к горлу подступает страх. Царство смерти было похоже на сновидение, но более осязаемое — более осязаемое даже, чем явь его только что завершённой жизни. Всё было втройне собой, вплоть до того, что листья на круглых декоративных кустах (в керамических горшках!) висели грузно, как из нефрита, в то время как нефритовый трон бога пульсировал твёрдостью,

далеко превосходящей твёрдость камня. Из всех миров бардо был одним из наиболее реальных.

Белое арабское лицо на чёрном лбу засмеялось и пискнуло:

— Приговорён!

И огромный чёрный лик Владыки смерти прогремел:

— Приговорён к преисподней!

Он накинул верёвку на шею Киу и стащил его с помоста. Он отсёк Киу голову, вырвал сердце, вынул внутренности, выпил его кровь, обглодал кости; и всё же Киу не умер. Его тело разрубили на куски, но оно ожило. И всё началось сначала. Нестерпимая нескончаемая боль. Пытка реальностью. Как жизнь — предельная реальность, так и смерть — предельная.

Идеи, посеянные в сознании ребёнка, могут, как семена, прорасти, чтобы всецело овладеть его жизнью.

Мольба: я не делал зла.

Агония расслоилась на страдание, сожаление, угрызения совести; тошноту при мысли о своих прошлых жизнях и о том, сколь малому они его научили. В этот жуткий час он ощущал их все, не вспоминая ничего конкретного. Но он прожил их. О, как бы выбраться поскорее из бесконечно-

го колеса огня и слёз! Тоска и горе, которые он испытывал сейчас, казались хуже боли от расчленения. Всё осязаемое отпало, и вспышки яркого света заполнили его мысли, и через этот свет судный зал виделся не то вуалью, не то картиной, написанной в воздухе.

Но здесь, наверху, был Болд, которого судили. Болд, трусливая обезьяна, единственный человек в жизни Киу после попадания в рабство, который хоть что-то для него значил. Киу хотел позвать его на помощь, но осёкся, так как не хотел отвлекать друга в тот единственный момент из всей бесконечной череды моментов, когда ему ни в коем случае нельзя было отвлекаться. И всё-таки что-то, видимо, вырвалось из Киу, какой-то внутренний стон, страдальческая мысль или крик о помощи, потому что стая диких четырёхруких демонов потащила Киу вниз, прочь, подальше от страшного суда Болда.

Тогда он действительно оказался в аду, и боль телесная была наименьшей из его тягот, поверхностной, как комариные укусы, не идущей ни в какое сравнение с глубочайшей, как океан, болью потери. Тоска одиночества! Яркие всполохи цвета мандаринов, лайма, ртути — каждый оттенок ядовитее предыдущего — прожигали его

сознание ещё более горькой болью. Я заблудился в бардо, спаси меня, спаси!

И тогда рядом с ним оказался Болд.

Они стояли в своих прежних телах, глядя друг на друга. Свет стал прозрачнее, уже не резал глаз; единственный луч надежды пронзил бездонное отчаяние Киу, как одинокий бумажный фонарь, замеченный на другом берегу Западного озера. Ты нашёл меня, сказал Киу.

Да.

Просто чудо, что ты нашёл меня здесь.

Нет. Мы всегда встречаемся в бардо. Наши пути будут пересекаться до тех пор, пока шесть миров вращаются в этом космическом цикле. Мы — часть одного кармического джати.

А это ещё что такое?

Джати — кластер, семья, деревня. У него много названий. Мы явились в космос все вместе. Новые души рождаются из пустоты, но нечасто, особенно в этот момент цикла, ибо мы находимся в Кали-юга, Эре Разрушения. И когда рождаются новые души, они подобны семенам одуванчика, которые уносятся прочь на ветрах дхармы. Все мы — семена тех, кем могли бы стать. Но молодые семена путешествуют вместе и никогда не разлетаются далеко друг от друга, вот к чему я

клоню. Мы уже прошли вместе много жизней. Наше джати всегда было крепко связано после схода лавины. Судьба связала нас вместе. Мы поднимаемся и падаем вместе.

Но я не помню других жизней. И я не помню никого из прошлой жизни, кроме тебя. Я узнал только тебя! Где же остальные?

Меня ты тоже не узнал. Мы нашли тебя. Ты уже много реинкарнаций пытаешься отдалиться от джати, всё глубже погружаясь в себя одного, во всё более низкие локи. Существует шесть локов: это миры, обители перерождения и иллюзий. Небеса, мир дэвов; затем мир асур, этих гигантов раздора; мир людей; мир животных; мир прет, голодных призраков, и преисподняя. Мы перемещаемся между ними по мере того, как меняется наша карма, жизнь за жизнью.

Сколько же нас в этом джати?

Не знаю. Дюжина, полдюжины. Границы джати размыты. Некоторые уходят и долгое-долгое время не возвращаются. Тогда, в Тибете, мы были деревней. К нам заезжали гости, торговцы. С каждым разом их всё меньше. Люди теряются, отдаляются. Так же, как пытаешься сделать ты. В минуты отчаяния.

От одного только звука этого слова оно, от-

чаяние, охватило Киу. Фигура Болда стала прозрачной.

Болд, помоги! Что мне делать?

Думай о хорошем. Слушай меня, Киу, слушай… Мы — это наши мысли. Здесь и сейчас, и после, и во всех мирах. Ибо мысли реальны, они прародители наших поступков — как хороших, так и дурных. Но как посеешь, так и пожнёшь.

Я буду думать о хорошем, я попытаюсь, но что мне делать? Что мне искать?

Следуй за светом. Каждому миру присущ собственный цвет. Белый принадлежит дэвам, зелёный — асурам, жёлтый — людям, синий — животным, красный — призракам, дымный — преисподней. Твоё тело примет цвет того мира, в который ты возвратишься.

Но мы жёлтые, воскликнул Киу, глядя на свою руку. И Болд тоже был жёлтым, как цветок.

Значит, у нас есть ещё одна попытка. Мы будем пытаться снова и снова, жизнь за жизнью, пока не достигнем мудрости Будды и наконец не освободимся. Некоторые после того решают вернуться в человеческий мир, чтобы помочь другим на их пути к освобождению. Они называются бодхисаттвами. Ты мог бы стать одним из них, Киу. Я вижу это в тебе. А теперь послушай

меня. Скоро тебе нужно будет бежать. Тебя будут преследовать разные твари — прячься. В доме, в пещере, в джунглях, в цветке лотоса. Это всё утробы. Ты захочешь остаться в своём укрытии, чтобы избежать ужасов бардо. Но это путь преты, и ты станешь призраком. Ты должен появиться снова, чтобы получить хоть какую-то надежду. Выбери дверь в свою утробу, не испытывая ни притяжения, ни отторжения. Первые впечатления бывают обманчивы. Решай сам, куда тебе идти. Следуй за сердцем. И попробуй сперва помочь другим духам, как будто ты уже бодхисаттва.

Я не умею!

Учись. Будь внимателен и учись. Обязательно сделай так, иначе потеряешь джати навсегда.

Тут на них выскочили огромные львы с гривами, слипшимися от крови, и злобно зарычали. Болд бросился в одну сторону, Киу — в другую. Киу бежал и бежал, а лев всё дышал ему в спину. Юркнув между двумя деревьями, Киу оказался на тропинке. Лев пробежал мимо и потерял его.

На востоке Киу увидел озеро с чёрно-белыми лебедями, на западе — с лошадьми по колено в воде; на юге — россыпь пагод; на севере — озеро с замком посередине. Он направился на юг, к пагодам, смутно предчувствуя, что на них пал

и выбор Болда; догадываясь также, что Болд и остальное джати уже там, дожидаются его в одном из храмов.

Он добрался до пагод и долго бродил среди них, заглядывая в двери храмов, где его взору представали страшные картины: кто-то сражался, кто-то убегал от гиеноголовых стражей и надзирателей. Адская деревня, где каждое возможное развитие событий оборачивалось кошмаром или катастрофой; родина Смерти.

Много времени провёл он в страшных поисках, когда наконец увидел за воротами храма своё джати, свою семью, Болда и остальных. Сэня, И-Ли, свою мать Дем, Чжэн Хэ — их он узнал сразу. Ну конечно же, подумал он. Они были наги и перепачканы кровью, но тем не менее готовились облачиться в доспехи. Но тут залаяли гиены, и Киу бросился наутёк сквозь сырой жёлтый утренний свет, за деревья, в густую, высокую слоновую траву. Гиены рыскали в её зарослях, и он зарылся в острые листья, найдя своё спасение в островке растущей особняком травы.

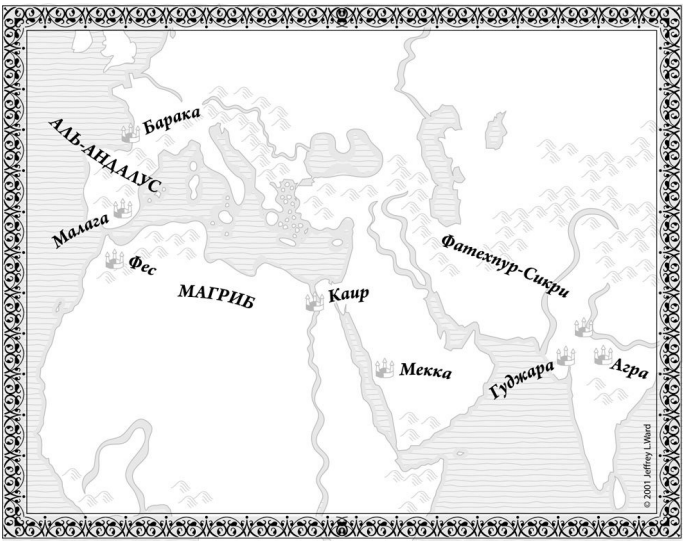
Он прятался долго, пока не ушли гиены и не стих зов джати — его искали, умоляя держаться вместе. Он провёл там целую ночь, испуганно слушая, как кого-то убивали и поедали. Но он сам,

когда вновь наступило утро, был цел и невредим. Он решил выбираться, но обнаружил, что проход закрыт. Острая трава выросла, её длинные стебли, как лезвия мечей, смыкались вокруг него, сдавливая со всех сторон, и больно резали, не прекращая расти. Ах, так это и есть материнская утроба, догадался он. Я выбрал её бездумно, не послушав советов Болда, разлучённый со своей семьёй, идя на поводу у страха и случая. Хуже выбора и быть не могло.

И всё же остаться здесь означало стать голодным призраком. Придётся покориться. Придётся родиться заново. Он застонал от этой мысли, проклиная себя за глупость. Постарайся хотя бы в следующий раз проявить чуть больше присутствия духа, подумал он, чуть больше смелости! Это будет нелегко, ведь бардо — страшное место. Но сейчас, когда уже слишком поздно, он решил, что должен постараться. В следующий раз!

И он снова вернулся в мир людей. А что происходило с ним и его спутниками в следующей жизни, уже совсем другая история. «Уходя, уходя за пределы, уходя за пределы пределов, возрадуйтесь пробуждению!»

Книга вторая. Хадж в сердце



1. Кукушка в деревне

Иногда бывает так, что возникает путаница и перерождающаяся душа попадает в уже занятую утробу. Тогда две души оказываются в одном ребёнке и начинают соперничать. Мать может почувствовать это в том, как младенец мечется по утробе, сражаясь с самим собой. Затем души появляются на свет и, потрясённые такой встряской, на время успокаиваются, сосредоточившись на том, чтобы научиться дышать и всячески взаимодействовать с этим миром. Но потом борьба двух душ за обладание телом возобновляется. Так возникают колики.

Дети, страдающие коликами, вопят как резаные, корчатся от боли и бьются в мучительной агонии по много бессонных часов. И тут нечему удивляться, когда внутри две души схлестнулись в схватке, а потому в течение первых недель жизни младенец будет постоянно плакать, терзаемый противоборством. И его страдания ничем не облегчить. Долго такое состояние длиться не может: оно слишком изнурительно для маленького организма. В большинстве случаев душа-кукушка изгоняет первую душу, и тогда те-

ло наконец успокаивается. Лишь иногда первой душе удаётся изгнать кукушку и возвратиться на своё законное место. А ещё бывает в редких случаях, что ни одной из душ не хватает сил изгнать другую и колики просто затихают, вот только ребёнок вырастает человеком расщеплённым — нерешительным, вечно сомневающимся, ненадёжным, склонным к безумию.

Кокила родилась в полночь. Повитуха приняла её и объявила:

— Девочка… бедняжка.

Мать, Чанита, прижала кроху к груди и сказала:

— Мы будем любить тебя, несмотря ни на что.

Ей была неделя от роду, когда начались колики. Девочка выплёвывала молоко и безутешно рыдала по ночам. Очень быстро Чанита забыла, какой счастливой была новорожденная дочка, этакой безмятежной личинкой, сосущей материнскую грудь, и как она восхищённо икала, взирая на мир. Но одолеваемая коликами малышка плакала, голосила, стонала и металась. На неё было больно смотреть. Чанита ничего не могла поделать, кроме как обхватить дочь руками под животом, скрученным болезненной судорогой, и прижать к бедру, свесив её вниз лицом. Отчего-то

эта поза успокаивала Кокилу — возможно, уже тем, каких усилий стоило держать голову ровно. Но помогало это не всегда и ненадолго. Потом корчи и плач начинались по новой, постепенно сводя Чаниту с ума. Ей ещё нужно было кормить мужа, Раджита, и двух старших дочерей. Родив трёх девочек подряд, она и так попала к Раджиту в немилость, так ещё и ребёнок был невыносим. Чанита пробовала спать с дочкой на женской половине, но женщины, хотя и сочувствовали ей, не переносили шума во время менструаций. Им нравилось проводить время вне дома, но детям там было не место. И Чаните приходилось спать с Кокилой под стенами их семейного дома, где они вдвоём проваливались в беспокойный сон, прерываемый приступами плача.

Так продолжалось пару месяцев, а потом прошло. Но после болезни что-то во взгляде девочки изменилось. Даи Инсеф, которая принимала роды, смерила пульс, осмотрела радужки глаз девочки и мочу и заявила, что, действительно, новая душа поселилась в её теле, но это не страшно, ведь такое случается со многими младенцами и нередко оказывается к лучшему, так как обычно в коликах победу одерживает более сильная душа.

Но после всех этих пыток Чанита стала с на-

стороженностью присматриваться к Кокиле, и с младенческих лет та отвечала ей каким-то тёмным, диким взглядом, взирая на мир словно бы с недоумением, где она оказалась и что здесь делает. Девочка росла, не находя себе места, часто злилась, хотя умела с лёгкостью манипулировать людьми, была скорой на ласку и на истерики и отличалась невероятной красотой. Вдобавок она была сильной, ловкой и к пяти годам пользы приносила больше, чем вреда. К тому времени Чанита родила ещё двоих, в том числе младшего, сына, ставшего светом их жизни, слава Ганеше и Карттикее, и работы по дому стало столько, что мать не могла не ценить самостоятельность и быстрый ум Кокилы.

Жизнь семьи закрутилась вокруг младшего сына, Джахана. Уделяя всё внимание Раджиту и ребёнку, за которым, понятно, нужен был глаз да глаз, Чанита почти не замечала смышлёную не по годам Кокилу, сосредоточенную на своих детских заботах.

Несколько лет девочка была предоставлена собственным мыслям. Инсеф часто говорила, что детство — лучшее время в жизни женщины, потому что тогда она ещё в определённой степени независима от мужчин, а главная её

забота — помогать по дому и немного работать в поле. Но даи была стара и цинично относилась к любви и браку, на своём и на чужих примерах повидав, как скверно они зачастую оборачиваются. Кокила не собиралась прислушиваться к её советам. По правде говоря, она вообще редко кого слушала. Она на всех смотрела испуганным, настороженным взглядом, каким смотрят на тебя звери, случайно встреченные в лесу, и почти не разговаривала. А ежедневные хлопоты ей как будто даже нравились. Работая рядом с отцом, она была молчалива и наблюдательна, деревенские дети её не интересовали, за исключением только одной девочки, которую однажды утром нашли на женской половине. Инсеф взяла сиротку на воспитание, надеясь взрастить из неё знахарку, даи, себе на смену. Инсеф назвала её Бихари. Кокила часто приходила за ней к хижине даи и водила с собой, пока выполняла утренние дела по хозяйству. Разговаривала она с ней не больше, чем с другими детьми, но всё ей показывала и рассказывала. Уже то, что Кокила вообще брала девочку с собой, удивляло Чаниту. В конце концов, в найдёныше не было ничего особенного — обычная девочка, не лучше и не хуже остальных. Очередная загадка Кокилы.

За несколько месяцев до сезона дождей работы прибавилось, и всем, не исключая Кокилу, пришлось несколько недель подряд трудиться в поте лица. Просыпаться на рассвете и разводить огонь. Идти по продрогшей деревне, пока воздух ещё не набрался пыли. Забирать Бихари у маленькой хижины даи в лесу. Спускаться вниз по течению к отхожей земле, умываться, возвращаться в деревню за кувшинами. Оттуда вверх по течению, мимо бассейнов для стирки, где уже собирались женщины, к колодцу. Наполнять и таскать обратно тяжёлые кувшины, иногда останавливаясь, чтобы отдохнуть. Потом идти в лес за дровами. Это занимало почти всё утро. После этого Кокила отправлялась в поле к западу от деревни, где располагались угодья её отца и его братьев, сеять пшеницу и ячмень. Нужно было успеть засеять поле за несколько недель, чтобы зерно вызрело за долгий урожайный месяц. На этой неделе посев шёл слабо, зёрна были мелкими, но Кокила сыпала их во вспаханную землю, не раздумывая, а потом, по полудни, садилась вместе с другими деревенским женщинами и девушками и толкла зерно с водой в кашицу, из которой потом пекла лепёшки чапати. Потом она шла к корове. От ритмичных движений пальца в прямой кишке

корова опорожнялась, и навоз проливался прямо в подставленные тёплые ладони Кокилы. Смешав навоз с соломой для просушки, она выкладывала получившиеся лепёшки на стену из камня и торфа, огораживавшую отцовское поле. После этого брала несколько сухих лепёшек навоза, сложенных у дома, одну клала на огонь и шла к ручью, мыть руки и стирать одежду: четыре сари, дхоти, шали. А потом она возвращалась в дом, где в угасающем свете дня всё было позолочено жарой и пылью, и готовила чапати и далбхат на маленькой глиняной плите рядом с очагом в главной комнате.

Вскоре после наступления темноты возвращался домой Раджит, и Чанита с дочками окружали его заботой, а он, наевшись далбхатом и чапати, устраивался отдыхать и рассказывал Чаните, как прошёл его день, если только день прошёл не слишком плохо — тогда он ничего не рассказывал. Но чаще всего он говорил о своих успехах в сделках с землёй и скотом. Семьи в их деревне иногда закладывали окраинные пастбища для покупки новых животных, или наоборот, и промышляли перепродажей телят, козлят и прав на пользование пастбищами — этим и занимался её отец, имея дело в основном с деревнями Йе-

лапер и Сивапур. Кроме того он вечно хлопотал о замужестве для своих дочерей, что удавалось ему плохо, так как девочек было слишком много, но, когда мог, он откладывал приданое и выдавал их замуж без колебаний. Но и выбора у него не было.

Так подходил к концу вечер, и они укладывались спать на тюфяках, расстеленных у огня для тепла, если было холодно, и для защиты от комаров, если было тепло. Проходила ещё одна ночь.

Однажды вечером, после ужина, за несколько дней до того, как Дурга-пуджа ознаменует окончание сбора урожая, отец сказал матери, что он пришёл к соглашению с потенциальным женихом для Кокилы, которая была следующей на очереди, с юношей из Дхарвара, рыночной деревушки сразу за Сивапуром. Будущий муж был лингаят, как семья самого Раджита, как большинство жителей Йелапера, и третьим сыном старосты Дхарвара. Однако, разругавшись с отцом, он не мог просить у Раджита большого приданого. Кокила предположила, что в родном Дхарваре он теперь не мог найти себе невесту, но всё равно почувствовала волнение. Чанита обрадовалась и сказала, что поглядит на жениха во время Дурга-пуджи.

Повседневная жизнь протекала от одного праздника к другому, и каждый имел свою особенную природу, окрашивая предпраздничные дни в свои цвета. Так, праздник колесницы, посвящённый Кришне, проходит в сезон дождей, и его яркие краски и общее приподнятое настроение контрастируют с низкими серыми небесами. Мальчишки трубят в рожки из пальмовых листьев, как будто стараясь отогнать дождь силой своих лёгких. Все непременно сошли бы с ума от шума, если бы от силы дуновения рожки не превращались снова в пальмовые листья. Позже, в конце сезона дождей, проходит праздник качелей Кришны, и на праздничной ярмарке тесно среди прилавков, торгующих всякими ненужными вещами, вроде ситар, и барабанов, и шелков, и расшитых шапок, и стульев, столов и комодов. Праздник Ид выпадает на разные дни года, что, каким-то образом, очень очеловечивает это событие, освобождая его от земли и от земных богов, и все мусульмане во время него съезжаются в Сивапур смотреть на парад слонов.

А там уже Дурга-пуджа знаменует сбор урожая, самое ожидаемое событие года, почитающее богиню-мать и её труды.

И вот в первый день праздника женщины со-

брались и замешали в миске кашицу из киновари для бинди, выпили немного огненного чанга, приготовленного даи, накрасились, а затем разбежались, смеясь, и провожали мусульманских барабанщиков на церемонии открытия, крича: «За победу матери Дурги!» Раскосая статуя богини, вылепленная из глины и украшенная разноцветной пробкой и позолотой, самую малость смахивала на тибетку. Вокруг неё расположились точно так же одетые статуи Лакшми и Сарасвати и её сыновей Ганеши и Картикеи. К жертвенному столбу перед статуями поочерёдно привязали двух козлов, а затем отрубили животным головы. Их окровавленные морды остались лежать на песке и смотреть за происходящим.

Жертвоприношение буйвола было обставлено с ещё большей важностью: из Бхадрапура прибыл жрец с большим ятаганом, заточенным специально для этого случая. Это был важный момент, потому что если клинок не пронзал толстую шею буйвола насквозь, это означало, что богиня недовольна и отказывается от подношения. Мальчишки всё утро растирали шею животного топлёным маслом, чтобы размягчить шкуру.

В этом году тяжёлый удар жреца достиг цели, и участники праздника закричали и обступили

тело буйвола, чтобы налепить шариков из крови и пыли и потом, визжа, бросаться ими друг в друга.

Час или два спустя настроение кардинально изменилось. Кто-то из стариков затянул песню:

— Мир полон страданий, его бремя неподъёмно.

Женщины подхватили песню, ибо никто не должен слышать, как мужчина говорит такое о Великой Матери. В этой песне даже женщины притворялись ранеными демонами:

— Кто та, что бредёт полями Смерти, та, что сражается и налетает, как Смерть? Мать не погубит своего ребёнка, свою плоть и радость творения, но мы видим Убийцу, что смотрит по сторонам…

Позже, когда наступила ночь, женщины отправились домой, оделись в свои лучшие сари, потом вернулись и встали в две шеренги, а мужчины кричали им:

— Слава великой богине!

Заиграла музыка, безудержная и беззаботная, все пустились в пляс, и вели разговоры вокруг костра, и выглядели красивыми и опасными в своих освещённых огнём нарядах.

А потом прибыли дхарварцы, и танцоры просто потеряли голову. Отец Кокилы взял её за руку

и представил родителям жениха. Видимо, ради этой формальности конфликт отца с сыном решено было замять. Старосту Дхарвара Кокила видела и раньше, его звали Шастри; а с матерью встречалась впервые, так как муж заставлял ту соблюдать пурду[7], хотя и не был особенно богат.

Мать окинула Кокилу острым, но приветливым взглядом. Её лицо в жаркую ночь покрылось каплями пота, и бинди меж бровей подтекла. Достойная, пожалуй, выйдет свекровь. Затем к Кокиле подвели Гопала, третьего сына Шастри. Кокила сдержанно кивнула, глядя на него исподлобья и не понимая собственных чувств. Это был юноша с тонким лицом и пронзительным взглядом. Похоже, он нервничал, но она не могла сказать наверняка. Она была выше него ростом, но это ещё могло измениться.

Не обменявшись ни словом, они разошлись по своим компаниям. Один нервный взгляд, и после этого она не видела его ещё три года. Но Кокила знала, что им суждено пожениться, и это было

---

[7] Примечания: 7

В переводе с перс. яз. «штора» или «занавес»; морально-этический кодекс, основанный на исламских законах, соблюдение которого обязательно для женщин в некоторых странах, таких как Афганистан, Пакистан, часть Индии (*прим. ред.*).

хорошо, так как её дела теперь были улажены и отец мог перестать беспокоиться и относиться к ней без раздражения.

Со временем из женских сплетен она узнала немного больше о семье, в которую собиралась вступить. Шастри был нелюбим односельчанами. Последним проявлением его самодурства стало изгнание дхарварского кузнеца за то, что он посетил брата в горах, не испросив разрешения старосты. Он не созвал панчаят, чтобы вынести это решение на их суд. Он вообще никогда не созывал панчаят, с тех самых пор, как должность старосты перешла к нему по наследству от покойного отца несколько лет назад. Люди ворчали, мол, он и его старший сын правят Дхарваром так, словно они какие-нибудь заминдары![8]

Кокила не слишком беспокоилась по этому поводу и проводила всё свободное время с Бихари, пока та изучала травы, из которых даи готовила лекарства. И теперь, когда они собирали хворост в лесу, Бихари также смотрела по сторонам в поисках растений, которые можно

[8] Примечания: 8

В государствах средневековой Индии — феодальные наследственные держатели земли. В XVII–XVIII веках так называли наследственных откупщиков налогов, в особенности в Бенгалии, Бихаре и Центральной Индии (*прим. ред.*).

собрать и принести домой: паслён на солнечных опушках, ваточник во влажной тени, клещевина в корневищах деревьев саал, и так далее. По возвращении в хижину Кокила помогала растирать высушенные растения или готовить их иным образом, добавляя к ним масло или алкоголь. В основном травы использовались Инсеф в акушерстве: для стимуляции схваток, расслабления матки, уменьшения боли, раскрытия шейки матки, замедления кровотечения и тому подобного. В её запасах были десятки растений и частей тел животных, и даи хотела, чтобы всё это они успели изучить.

— Я стара, — говорила она. — Мне тридцать шесть, а в тридцать моя мать уже умерла. Её обучила ремеслу мать, а мою бабушку — даи из дравидийской деревни на юге, где имена и даже имущество наследовались по женской линии. Она-то и научила мою бабушку всем премудростям дравидов, и знание это передавалось от одной даи к другой от времен самой Сарасвати, богини познания, так что науку эту нельзя забывать, вы должны запомнить всё сами и рассказать своим дочерям, чтобы роды у несчастных женщин проходили настолько легко, насколько возможно, и как можно больше рожениц остава-

лось в живых.

Про Инсеф говорили, что у неё в голове сороконожка (так обычно отзывались о чудаках, но многие матери действительно искали сороконожек в ушах детей, когда те полежат головой на траве, и промывали им уши маслом, потому что сороконожки терпеть не могут масла), и она иногда так тараторила, что никто не мог за ней угнаться, без умолку, как трещотка, бурчала что-то себе под нос. Но Кокиле нравилось её слушать.

Инсеф потребовалось совсем немного времени, чтобы убедить Бихари в важности этих вещей. Та росла подвижной и ласковой девушкой, зоркой в лесу, с хорошей памятью на растения, всегда улыбалась людям и поддерживала их добрым словом. Она была, пожалуй, даже слишком обаятельна и хороша собой, потому что в год, когда Кокиле предстояло выйти замуж за Гопала, Сардул, его брат и старший сын Шастри, будущий зять Кокилы, один из тех членов семьи мужа, который вскоре получил бы право указывать ей, что делать, одарил Бихари заинтересованным взглядом, и после того не сводил с неё глаз, что бы она ни делала. Ничем хорошим это кончиться не могло, поскольку Бихари была, возможно, непри-

касаемой и, следовательно, не могла выходить замуж, и Инсеф делала всё возможное, чтобы оградить её от мужского внимания. Но праздники объединяли одиноких мужчин и женщин, да и в повседневной жизни молодые люди нет-нет да и пересекались взглядами. И Бихари льстило его внимание, хотя она и понимала, что свадьбы ей не видать. Но ей нравилась сама мысль о нормальной жизни, как бы даи ни умоляла её одуматься.

Настал день, когда Кокила вышла замуж за Гопала и переехала в Дхарван. Её свекровь оказалась замкнутой и раздражительной женщиной, да и сам Гопал был не подарок. Издёрганный, молчаливый, затюканный родителями, так и не помирившийся с отцом, он сначала пытался понукать Кокилой так же, как родители понукали им, но слишком робко, оробев ещё больше после того как она несколько раз огрызнулась в ответ. Он привык к такому обращению, и довольно быстро командовать стала она. Муж ей не нравился, и она с нетерпением ждала возможности навестить Бихари и даи в лесу. Только второй сын старосты, Притви, казался ей мужчиной, достойным уважения. Каждый день он уходил спозаранку и старался общаться со своей семьёй

как можно меньше, держась тихо и отстранённо.

Дорога между двумя деревнями была шумной и многолюдной — Кокила никогда этого не замечала, пока это не коснулось её лично, но она справлялась. Она стала тайно принимать средство, приготовленное даи, чтобы не зачать. Ей было четырнадцать лет, но она хотела подождать.

Вскоре всё пошло наперекосяк. Из-за страшных отёков в суставах даи не могла двигаться, и Бихари пришлось взять на себя её работу. В Дхарваре её стали видеть гораздо чаще. Шастри и Сардул между тем решили подложить односельчанам свинью и заработать денег, условившись с заминдаром[9] о повышении налогового сбора так, чтобы основной куш отходил заминдару, а излишек доставался Шастри. По сути, они сговорились перевести Дхарвар на мусульманскую форму фермерского налога, пойдя против индуистского закона. Индуистский закон, который был религиозным предписанием и потому считался священным, разрешал взимать в качестве подати не более одной шестой части урожая, в то время как мусульмане могли притязать на всё, оставляя

[9] Примечания: 9

В Делийском султанате и Империи Великих Моголов — правитель вассального княжества (*прим. ред.*).

крестьянам лишь столько, сколько позволяла милость заминдара. На практике разница зачастую была не так велика, но мусульманские льготы варьировались в зависимости от урожая и обстоятельств, и тут-то Шастри и Сардул приходили заминдару на выручку, вычисляя, что ещё можно забрать у жителей деревни, не заморив их голодом. Ночью Кокила лежала в постели с Гопалом и через открытую дверь слышала, как Шастри и Сардул обсуждают возможные варианты.

— Пшеница и ячмень — две пятых с естественным поливом и три десятых с водочерпательным колесом.

— Неплохо. Потом финики, виноградники, кормовые культуры и сады, одна треть.

— А как же четверть с яровых?

В конце концов, чтобы облегчить процесс, заминдар назначил Сардула на должность канунго, налогового инспектора деревни, а ведь он и без того был ужасным человеком. И по-прежнему заглядывался на Бихари. В ночь праздника колесницы он увёл её в лес. Впоследствии Кокила поняла из её рассказа, что Бихари не слишком возражала против этого и теперь с удовольствием делилась подробностями:

— Я лежала в грязи на спине, дождь хлестал

меня по лицу, и он слизывал с моих щёк капли дождя, приговаривая: «Я люблю тебя, я люблю тебя».

— Но он не женится на тебе, — заметила обеспокоенная Кокила. — И его братьям не понравится, если они узнают обо всём этом.

— Они не узнают. У нас была такая страсть, Кокила, ты даже не представляешь.

Она знала, что Гопал не произвёл на Кокилу впечатления.

— Да, да. Но у тебя могут быть проблемы. Стоит ли это нескольких минут страсти?

— Ещё как, ещё как. Поверь мне.

Какое-то время она была счастлива и напевала старые песни о любви, особенно ту, которую они когда-то пели вместе, совсем старинную.

Мне нравится спать с разными людьми,

Часто.

Лучше всего, когда мой муж уезжает в дальние страны,

Далеко отсюда.

А ночью на улице ветер, и дождь идёт,

И никого.

Но Бихари забеременела, несмотря на снадобья Инсеф. Девушка старалась скрывать это ото всех, но из-за здоровья даи ей пришлось принимать роды, и она пошла, и её положение заметили, и люди вспомнили всё, что видели и слышали, и объявили, что Сардул её обрюхатил. Потом рожала жена Притви, и Бихари пришла принимать роды, а ребёнок, мальчик, умер через несколько минут после появления на свет, и Шастри отвел Бихари в сторону и ударил по лицу, назвав ведьмой и шлюхой.

Об этом Кокила услышала от жены Притви, когда пришла к ней домой. Она сказала, что роды прошли быстрее, чем можно было ожидать, и выразила сомнение, что Бихари сделала что-то плохое. Кокила побежала к хижине даи и обнаружила, что старуха, скрючившись между ног Бихари, усердно пыхтит, пытаясь вытащить ребёнка.

— Выкидыш, — бросила она Кокиле.

И Кокила заняла её место и делала всё, что велела ей даи, позабыв о собственной семье. Только когда наступила ночь, она опомнилась и воскликнула:

— Мне пора идти!

И Бихари прошептала:

— Иди. Всё будет хорошо.

Кокила помчалась через лес домой, в Дхарвар, где свекровь влепила ей пощёчину, возможно только для того, чтобы опередить Гопала, который ударил её по руке и запретил возвращаться в лес и в Сивапур. Смешно, учитывая реалии их жизни. Она почти спросила: «Откуда же мне носить тебе воду?» — но прикусила губу и потёрла руку, метая взглядом молнии, пока не решила, что они и так достаточно напуганы, и если напугать их сильнее, они только изобьют её. Тогда она уставилась в пол, как Кали, и прибралась после их импровизированного ужина, убогого в её отсутствие. Они даже поесть без неё оказались неспособны. Эту ярость она запомнит навсегда.

На следующее утро перед рассветом она вышла на улицу с кувшинами для воды и помчалась по мокрому серому лесу, разметавшему свою листву повсюду, от земли до высоких крон над головой. Она прибежала к хижине даи, перепуганная и запыхавшаяся.

Бихари была мертва, ребёнок был мёртв, даже старуха распласталась на своём тюфяке, задыхаясь от изнеможения, с таким видом, словно тоже могла в любую минуту умереть и покинуть этот мир.

— Они ушли час назад, — сказала она. — Ребёнок должен был выжить, я не знаю, что случилось. Бихари потеряла слишком много крови. Я пыталась остановить кровотечение, но не смогла дотянуться.

— Научи меня делать яд.

— Что?

— Научи меня, как приготовить действенный яд. Ты ведь знаешь, как. Научи меня самому сильному из известных тебе ядов, прямо сейчас.

Старуха отвернулась к стене и зарыдала. Кокила грубо развернула её к себе лицом и крикнула:

— Научи!

Старуха оглянулась на два тела, накрытые расстеленным сари, но больше бояться было некого. Кокила угрожающе занесла над ней руку, но остановилась.

— Пожалуйста, — взмолилась она. — Мне нужно.

— Это опасно.

— Не так опасно, как пырнуть Шастри ножом.

— Нет.

— Я заколю его, если ты меня не научишь, и меня сожгут на костре.

— Тебя и так сожгут на костре, если ты его отравишь.

— Никто не узнает.

— Нет, они подумают на меня.

— Всем известно, что ты не можешь ходить.

— Это ничего не меняет. Значит, они подумают на тебя.

— Я всё сделаю по-умному, поверь мне. Я буду у родителей.

— Это тебя не спасёт. В любом случае обвинят нас. Сардул не лучше Шастри, если не хуже.

— Научи.

Старуха долгое время смотрела ей в лицо. Затем перевернулась на другой бок и открыла корзинку для шитья. Она показала Кокиле маленькую сушёную травку и какие-то ягоды.

— Это водяной болиголов. Это семена клещевины. Измельчи листья болиголова в кашицу, а семена добавь непосредственно перед употреблением. У травы горький вкус, но понадобится немного. Одна щепотка на тарелку острого блюда убьёт и не почувствуется на вкус. Но предупреждаю заранее: симптомы отравления не похожи на обычное несварение.

И Кокила наблюдала и вынашивала свой план. Шастри и Сардул продолжали работать на заминдара, каждый месяц наживая себе новых врагов. Ходили слухи, что Сардул изнасиловал в лесу ещё

одну девушку, в ночь Гаури, женского праздника, когда поклоняются глиняным изображениям Шивы и Парвати.

За это время Кокила успела изучить их распорядок в мельчайших деталях. Шастри и Сардул неспешно завтракали, затем Шастри выслушивал просителей в павильоне между своим домом и колодцем, в то время как Сардул рядом с домом решал финансовые вопросы. В полдень, когда солнце стояло высоко, они ложились отдыхать или принимали гостей на веранде, выходящей окнами на север, в лес. А пополудни обыкновенно полдничали, развалившись на кушетках, как маленькие заминдары, и уходили с Гопалом или парой помощников на рынок, где «занимались делами», пока не садилось солнце. В деревню возвращались в сумерках, пьяными или пьющими, нетвёрдой походкой направляясь к дому, где их ждал ужин. Заведённый порядок не менялся никогда, как и всё в деревне.

Так Кокила обдумывала свои действия и, уходя в лес по дрова, высматривала водяной болиголов и клещевину. Они росли в самых влажных уголках леса, почти превратившихся в болото, где в дебрях скрывались всевозможные опасные существа, от комаров до тигров. Но в полдень все

вредители отдыхали; в жаркие месяцы всё живое, казалось, дремало в полуденные часы, даже растения свешивали головки. В вялой тишине сонно жужжали насекомые, и два ядовитых растения светились в тусклом свете, как маленькие зелёные фонарики. Помолившись Кали, она сорвала их, уколовшись до крови, раскрыла стручок клещевины, чтобы извлечь семена, сложила их в пояс своего сари и спрятала на ночь в лесу возле отхожего места. Это было за день до Дурга-пуджи. В ту ночь она почти не спала, лишь ненадолго проваливаясь в дрёму. Во сне к ней приходила Бихари и просила не грустить.

— Дурное случается в каждой жизни, — сказала Бихари. — Не нужно злиться.

Она говорила что-то ещё, но Кокила, проснувшись, не смогла ничего вспомнить, пошла к своему тайнику, достала оттуда травы и камнем яростно растёрла в тыкве листья болиголова, а затем отбросила камень и тыкву в заросли папоротника. Держа кашицу в листке на ладони, она отправилась в дом Шастри и дождалась, когда мужчины лягут спать после обеда — казалось, этот день никогда не закончится, — потом положила в кашицу маленькие зёрнышки и намазала небольшим её количеством булки, испечённые

к полднику Шастри и Сардула. Затем она ушла из дома и бросилась бежать через лес. Сердце её колотилось быстрее, чем у оленя, — она вся напоминала оленя в эту минуту, когда бежала, охваченная трепетом от содеянного, и угодила в незаметный олений силок, поставленный здесь каким-то бхадрапурцем. К тому времени, как он нашел её, она едва успела прийти в себя и забилась в верёвках. На её пальцах остались следы отравы. Когда он доставил её в Дхарвар, Шастри и Сардул были мертвы, новым старостой деревни стал Притви, Кокилу провозгласили ведьмой и отравительницей и убили на месте.

2. Снова в бардо

В бардо Кокила и Бихари сидели рядом на чёрном полу мироздания, ожидая своей очереди на суд.

— Ты не понимаешь, — сказала Бихари, она же и Болд, и Бел, и Боронди, и многие, многие другие воплощения, вплоть до первоначального рождения на заре этой Кали-юги, Эры Разрушения, четвёртой из четырёх эпох, в которую она новорожденной душой вынырнула из пустоты.

Извержение бытия из небытия, чудо, необъяснимое законами природы и явно указывающее на существование некоего высшего царства, царства даже более высшего, чем мир богов, которые теперь сидели на помосте и смотрели на них сверху вниз. Царство, в которое все они интуитивно стремились вернуться.

Бихари продолжала:

— Дхарма не приемлет обмана. Ты должна пройти этот путь шаг за шагом, делая всё посильное в каждой данной тебе ситуации. Нельзя запрыгнуть прямиком в рай.

— Да чихала я на это, — сказала Кокила с грубым жестом в сторону богов.

Она пребывала в таком бешенстве, что чуть не исходила пеной. Но ей было страшно тоже, она рыдала и утирала нос тыльной стороной ладони.

— Будь я проклята, если соглашусь участвовать в этом отвратительном деле.

— И будешь! И будешь проклята! Вот почему мы тебя теряем. Вот почему ты никогда не узнаешь своё джати, когда находишься в земном мире, вот почему продолжаешь причинять вред своей собственной семье. Мы поднимаемся и падаем вместе.

— Не понимаю, зачем.

Сейчас судили Шастри, который стоял на коленях, молитвенно сложив руки.

— Надеюсь, он угодит в преисподнюю! — крикнула Кокила чёрному богу. — В самый дальний, самый гнусный уголок ада!

Бихари покачала головой.

— Шаг за шагом, как я и говорю. Маленькие ступени ведут вверх и вниз. А после того, что ты сделала, судить, скорее всего, будут тебя.

— Я поступила справедливо! — воскликнула Кокила с яростной горечью. — Я взяла правосудие в свои руки, потому что отвернулись все остальные! И сделала бы это снова, — она повернулась к чёрному богу и прикрикнула на него: — Право-

судия, чёрт тебя побери!

— Тсс! — вмешалась Бихари. — Дождись своей очереди. Ты же не хочешь вернуться в виде животного.

Кокила метнула в неё взгляд.

— Мы уже животные, не забывай об этом.

Она хлопнула Бихари по руке, и её ладонь прошла прямо сквозь Бихари, что несколько ослабило произведённый эффект. Всё-таки они находились в царстве душ, от этого никуда нельзя было деться.

— Забудь этих богов, — прорычала она. — Нам нужна справедливость! Я устрою революцию прямо в бардо, если будет необходимо!

— Всё по порядку, — отвечала Бихари. — Шаг за шагом. Сначала попытайся просто узнать своё джати и позаботиться о нём. А потом всё остальное.

3. Милость тигра

Тигрица Киа двигалась по слоновой траве, сытая, с нагретой под лучами солнца шерстью. Трава окружала её со всех сторон зелёной стеной. Над головой на ветру колыхались верхушки стеблей, перечёркивая синеву неба. Трава росла гигантскими пучками, и её стебли, расходясь от центра, верхушками клонились к земле. Заросли были густыми, но она пробиралась вперёд, находя узкие щели у основания пучков, переступая через упавшие стебли. Наконец она вышла к краю зарослей, окаймлявших паркоподобный майдан, который ежегодно выжигали, чтобы на земле ничего не росло. Здесь паслись в большом количестве аксисы[10] и другие олени, дикие свиньи и антилопы, такие как нильгау.

Этим утром там щипала траву одинокая самка вапити. Киа могла имитировать голос этого оленя и во время течки делала это просто так, без повода, но теперь она выжидала. Олениха что-то почувствовала и ускакала, но на поляну вышел молодой гаур, бычок тёмно-каштанового

---

[10] Примечания: 10

Рыжевато-золотистый олень с мелкими белыми пятнами (*прим. ред.*).

цвета в белых носочках. Когда он подошёл ближе, Киа подняла левую лапу, вытянула хвост и слегка качнулась вперёд и назад, ловя равновесие. Затем она вскинула хвост и пересекла парк за несколько двадцатифутовых прыжков, всё время рыча. Она атаковала гаура, сбила его, вцепилась зубами в горло и не отпускала, пока он не умер.

Она поела.

Ба-лу-а!

Знакомый шакал, изгнанный из стаи, который теперь таскался за ней хвостом, показал свою уродливую морду с дальнего конца майдана и снова залаял. Она рыкнула на него, чтобы он уходил, и шакал снова нырнул в траву.

Насытившись, она встала и побрела вниз по склону. Шакал вместе с воронами доедят, что осталось от гаура.

Она спустилась к реке, петлявшей по этим землям. Широкое мелководье было усеяно островками, покрытыми зеленью саровых деревьев и шишама, как миниатюрные джунгли. На некоторых из них в спутанных зарослях кустарника и лиан, под тамарисками, нависающими над тёплым песком у берегов ручья, тигрица свила свои гнёзда. Ступая по гальке, тигрица остановилась у кромки воды и утолила жажду. Она вошла в реку

и постояла, ощущая, как течение реки омывает её мех. Вода была чистая и нагретая солнцем. На песке у ручья виднелись следы разных животных, а трава сохранила их запахи: вапити и оленька, шакала и гиены, носорога и гаура, свиньи и ящера. Целая деревня, и никого поблизости. Она перебралась вброд на один из своих островов и улеглась в смятую траву, в тень. Спать. В этом году детёнышей не было, и ещё пару дней можно было не охотиться: Киа широко зевнула в своей постели. Она заснула в тишине, которая в джунглях расходится от тигров волнами.

Кие снилось, что она была смуглой деревенской девочкой. Она дёрнула хвостом, снова ощутив жар костра, совокупление лицом к лицу, удары камней, забивающих ведьму. Она зарычала во сне, обнажая крупные клыки. Страх разбудил её, и она пошевелилась, пытаясь снова заснуть и увидеть другой сон.

Шум выдернул её обратно в реальность. Птицы и обезьяны говорили о прибытии людей с запада. Наверное, они шли к броду ниже по течению, которым пользовались все. Киа вскочила и, умчавшись с острова по воде, юркнула в заросли слоновой травы у изгиба ручья. Люди могли быть опасны, особенно в группах. По отдельности

они были совершенно беспомощны — главное, улучить удачный момент и напасть сзади, но группами они погубили немало тигров, загоняя их в ловушки и засады, а потом снимая с них шкуру и обезглавливая. Однажды она видела, как тигр шёл по бревну к куску мяса, поскользнулся на сомнительном участке и упал на пики, спрятанные под листьями. Это подстроили люди.

Но сегодня не было слышно ни барабанов, ни криков, ни звона колоколов. Да и час слишком поздний для человеческой охоты. Скорее всего, это были путешественники. Киа незаметно скользнула сквозь слоновую траву, пробуя воздух ухом и носом, и направилась к длинной прогалине, откуда был хороший вид на брод.

Она устроилась в травяном островке и стала наблюдать, как они проходят мимо. Она лежала, полуприкрыв глаза.

Со своего укромного места она видела, что у брода путешественников поджидали ещё какие-то люди, рассредоточившиеся в зарослях саловых деревьев[11].

В тот момент, когда она заметила это, колон-

---

[11] Примечания: 11

То же что шорея (в переводе с лат. яз. «крепкий», «сильный») — род деревьев, богатых каучуком; его масло обладает лечебными свойствами (*прим. ред.*).

на людей как раз достигла брода, и те, другие, с криками повыскакивали из укрытий и начали стрельбу. Похоже, шла большая охота. Киа устроилась поудобнее и пригляделась, прижав уши. Однажды она уже становилась свидетельницей подобной сцены, и количество убитых показалось ей огромным. Именно тогда она впервые попробовала человеческое мясо — тем летом ей приходилось выкармливать близнецов. Да, всё же именно человек был самым опасным зверем в джунглях, не считая разве что слона. Человек убивал без смысла и цели, как иногда убивал шакал-изгой. Чем бы ни закончилась сегодняшняя охота, после них здесь останется много мяса. Киа присела на задние лапы и больше слушала, чем смотрела. Крики, вопли, рёв, горн, предсмертные хрипы — звуки, похожие на те, которыми обычно заканчивается её охота, только умноженные во сто крат.

Наконец стихло. Охотники удалились. Когда прошло достаточно времени и в джунглях воцарилась привычная тишина, Киа встала на лапы и огляделась. В воздухе пахло кровью, и у неё потекли слюнки. Мёртвые тела лежали по оба берега реки, зацепившись за коряги у ручья или повалившись в воду на отмели. Осторожно про-

бираясь между ними, тигрица оттащила одного крупного человека в тенистое место и немного поела. Но она была не голодна. Её насторожил какой-то звук, и она быстро ретировалась в тень. Шерсть на загривке стояла дыбом, пока она выискивала источник звука — треснувшую ветку. Шаги, в той стороне. Ага. Человек. Уцелевший.

Киа расслабилась. Уже насытившись, она из чистого любопытства подошла к человеку. Он заметил её и шарахнулся, испугав её; это была непроизвольная реакция с его стороны. Он стоял и таращился на неё, как иногда смотрят раненые животные, смирившись со своей участью; только человек ещё и закатил немного глаза, как бы вопрошая: «Ну, что ещё сегодня пойдёт не так?» — или, возможно: «Этого только не хватало». Его лицо в этот момент напомнило ей лица девушек, за которыми она наблюдала в лесу, когда они собирали дрова, и тигрица замерла. Охотники, напавшие на спутников человека, ещё оставались на тропе, ведущей к ближайшей деревне. Скоро они поймают и убьют его.

Он же ждал, что его убьёт тигрица. Люди такие самоуверенные, считают, что разгадали все загадки мира и стали его единственными повелителями. С их обезьяньим количеством и этими

стрелами, они зачастую оказывались правы. Именно поэтому Киа убивала их, когда могла. Обед из них выходил, по правде говоря, весьма посредственный, но это никогда не являлось для неё помехой — многие тигры умирали, так и не добравшись до вкусного мяса дикобраза. Однако люди имели странный привкус. Учитывая, чем они питались, в этом не было ничего удивительного.

Меньше всего человек ожидал, что тигрица придёт ему на помощь. Поэтому она тихонько подошла к нему. У того зуб на зуб не попадал от страха. Первый шок миновал, но он оставался стоять на месте. Мордой тигрица подняла его ладонь и положила её себе на голову, между ушами. Она замерла в ожидании, пока он погладил её по шёрстке, затем сделала шаг вперёд, он погладил её между лопаток, и она встала рядом с ним, устремив взор в том же направлении, что и он. Затем она пошла, очень медленно, скоростью своего шага намекая, что ему нужно идти за ней. Он так и сделал, с каждым шагом продолжая поглаживать её по спине.

Она повела его через саловый лес. Блики солнечного света пробивались к ним через листву. Внезапно послышался шум, грохот и голоса с

тропы, протоптанной внизу, среди деревьев, и в её мех вцепились его пальцы. Она остановилась и прислушалась. Это были голоса охотников. Она зарычала, хрипло закашлялась и коротко взревела.

Внизу стало мертвецки тихо. Без слаженного барабанного боя ни один человек не сможет найти её здесь. Ветер донёс звуки их торопливого бегства.

Теперь путь был свободен. Рука человека продолжала сжимать мех между её лопатками. Она повернула голову и уткнулась носом ему в плечо, и он отпустил её. Сейчас он боялся других людей больше, чем её, и это было правильно. Он был беспомощен, как новорождённый детёныш, но соображал быстро. Мать Кии когда-то так же брала её за шкирку, кусая ту же складку кожи между лопатками, и даже с тем же нажимом, как будто и он когда-то был тигрицей-матерью и инстинктивно знал, как себя с ней вести.

Она не спеша довела человека до следующего брода, переправила на другой берег и двинулась одной из оленьих троп. Вапити были крупнее людей, поэтому найти тропу было несложно. Она привела его к одному из известных ей входов в глубокий овраг, оставшийся от пересохшей в

этом регионе реки, каменистый, узкий и такой отвесный, что на дно его можно было попасть только через несколько лазов. Одним из них она и провела человека на дно оврага, затем вниз по течению и к деревне, где люди пахли так же, как он. Ему приходилось идти быстро, чтобы не отставать, но она не замедлила шага. Дно оврага было абсолютно сухим, не считая нескольких редких луж, до того долго стояла жара. Родниковая вода капала с поросших папоротником камней. Пока они осторожно пробирались среди камней, она задумалась и как будто вспомнила хижину на краю деревни. Она спешила туда, и пахло там почти как от него. Она провела его через густую рощу финиковых пальм, выросших на дне оврага, через ещё более густые заросли бамбука. Зелёная листва джамана[12] покрывала склоны оврага, вперемешку с колючими кустарниками, усыпанными ядовито-оранжевыми плодами.

Прореха в благоухающих зарослях вела из оврага наружу. Она принюхалась: недавно здесь был самец тигра и пометил выход как свой. Она зарычала, и человек снова вцепился в мех на её загривке и не отпускал, пока они преодолевали

[12] Примечания: 12
Фруктовый куст (*прим. ред.*).

последний выступ.

Вернувшись к лесистым холмам, растущим по берегам оврага, она повела его вверх по склону, тычась в него плечом: он хотел обойти гору стороной или направиться сразу к деревне, а не идти в гору и в обход. Но она несколько раз подтолкнула его в нужную сторону, и он сдался и последовал за ней без сопротивления. Теперь ему нужно было избегать ещё и другого тигра, но он этого не знал.

Она провела его через руины старой крепости на холме, заросшие бамбуком, — люди избегали этого места, и она несколько зимовок подряд устраивала там логово. Она родила своих детёнышей здесь, рядом с человеческой деревней и среди человеческих руин, чтобы обезопасить их от самцов тигров. Человек узнал руины и успокоился. Они продолжили путь к задней околице деревни.

С его скоростью, путь был долгим. Тело человека обмякло во всех суставах, и она подумала, как тяжело ему ходить на двух ногах. Ни минуты покоя, когда ты вечно ищешь равновесие, начинаешь падать и одёргиваешь себя, дрожа мокрым и слепым новорожденным тигрёнком, и вся жизнь как вечная переправа по бревну

через ручей.

Но они добрались до околицы, где колыхалось в полуденном свете ячменное поле, и остановились у края слоновой травы под саловыми деревьями. Поле было испахано бороздами, которые люди, эти сообразительные обезьяны, поливали водой, крадучись по жизни на цыпочках в вечном поиске равновесия.

Завидев поле, измученный человек поднял голову и огляделся. Теперь уже он вёл тигрицу в обход поля, и Киа, следуя за ним, подошла к деревне ближе, чем осмелилась бы в иной ситуации, хотя дневной контраст солнца и тени обеспечивал ей хорошую маскировку, делая почти невидимой для окружающих, просто случайной рябью в пейзаже, если двигаться быстро. Но она подстраивалась под его слабеющий шаг. Это требовало определённой смелости, но тигры бывали смелыми и тигры бывали робкими — и она была одной из самых смелых.

Наконец она остановилась. Там, под фикусовым деревом, стояла хижина. Человек указал на неё тигрице. Она принюхалась: сомнений нет, это был его дом. Он шепнул что-то на своём языке, в последний раз сжал её в объятиях в знак благодарности, а затем, пошатываясь, побрёл по

ячменному полю, чуть не валясь с ног от усталости. Когда он достиг двери, изнутри донеслись крики, и женщина с двумя детьми бросились обнимать его. Но тут, к изумлению тигрицы, навстречу ему грозно шагнул мужчина и несколько раз сильно ударил его по спине.

Тигрица устроилась поудобнее и стала наблюдать.

Мужчина отказался впустить путника в хижину. Женщина и дети вынесли ему еду во двор. В конце концов он свернулся за дверью калачиком, прямо на земле, и заснул.

В последующие дни он оставался в немилости у старика, хотя и питался в доме и работал на близлежащих полях. Киа наблюдала и примечала, из чего состоит его жизнь, какой бы странной она ни казалась. Он как будто забыл о ней или боялся рисковать, отправляясь на её поиски. Или, возможно, не подозревал, что она всё ещё рядом.

Поэтому она удивилась, когда однажды вечером он вышел на улицу, держа перед собой ощипанную и приготовленную птичью тушу, и даже, кажется, очищенную от костей! Он подошёл к ней вплотную и приветствовал её очень тихо и почтительно, протягивая подношение. Он был робок, напуган; он не знал, что, когда её усы

опущены, она совершенно спокойна. Предложенное угощение пахло горячим птичьим соком и ещё какой-то смесью ароматов: мускатным орехом, лавандой. Она осторожно попробовала мясо на зуб и остудила, пробуя языком горячий сок. Странное мясо, такое пахучее. Она прожевала его, тихонько урча, и проглотила. Он попрощался и ушёл, вернувшись в хижину.

После этого она стала приходить время от времени в час, когда восходящее солнце начинало прорезывать горизонт, а молодой человек уходил на работу. Вскоре он стал выносить ей небольшие гостинцы: обрезки или лакомые кусочки, совсем не похожие на ту птицу, но вкуснее, неприготовленные. Каким-то образом он догадался. Он по-прежнему спал на улице у хижины, и однажды холодной ночью она подобралась к нему и уснула, свернувшись вокруг него калачиком, пока рассвет не окрасил небо в серый цвет. Обезьяны на деревьях пришли в недоумение.

А потом старик избил его снова, да так сильно, что у него пошла кровь ухом. Киа удалилась в свою крепость на холме, рыча и оставляя длинные царапины в земле. Огромное дерево махуа роняло груды цветов, и она съела несколько мясистых, пьянящих лепестков. Она вернулась

на окраину деревни, тщательно принюхалась в поисках старика и нашла его на хорошо проторенной дороге, ведущей к соседней деревне на западе. Там он встретился с другими мужчинами, и они долго разговаривали, пили забродившие напитки и хмелели. Он смеялся, как её шакал-изгой.

Когда он возвращался домой, она сбила его с ног и убила, прокусив шею. Она съела часть его внутренностей, снова ощущая странные вкусы; люди ели такие диковинные вещи, что в конце концов сами приобретали диковинный вкус, насыщенный и многогранный. Этот вкус мало отличался от первого подношения ее друга. Вкус, к которому нужно было привыкнуть. И возможно, она привыкла.

Но к ним уже мчались другие люди, и она убежала, услышав позади себя их крики, сперва испуганные, затем негодующие, но с оттенком торжества или радости, которую часто можно услышать от обезьян, передающих плохие вести: какая бы ни приключилась беда, она приключилась не с ними.

Никому не было дела до этого старика, он ушёл из жизни одиноким, как самец тигр, и даже его домочадцы не будут о нём горевать. Люди опла-

кивали не его смерть, они боялись тигра-людоеда. Тигры, пристрастившиеся к человеческой плоти, несли опасность; обычно это были матери, которые испытывали сложность в выкармливании детёнышей, или престарелые самцы, сломавшие свои клыки, — такие тигры наверняка продолжат убивать. Стало быть, сейчас начнётся кампания по её уничтожению. Но она не сожалела об убийстве. Напротив, она скакала между деревьями и тенями, как молодая тигрица, вышедшая порезвиться, облизываясь и рыча. Киа, королева джунглей!

Но когда в следующий раз она пришла навестить молодого человека, тот вынес ей кусок козлятины, а затем нежно потрепал по носу и заговорил, очень серьёзно. Он предупреждал её о чем-то и тревожился, что смысл этого предупреждения ускользнёт от неё. Так и получилось. В следующий раз, когда она подошла, он закричал, чтобы она уходила, и даже начал бросать в неё камни, но было уже поздно: она зацепила трос, соединённый с подпружиненными луками. Отравленные стрелы пронзили её, и она умерла.

4. Акбар

Когда тело тигрицы несли в деревню, за лапы привязав к шесту из крепкого бамбука, который подрагивал на плечах у четверых мужчин, пыхтевших и тужившихся под её весом, Бистами понял: Бог всюду. И Бог, пусть все его девяносто девять имён процветают и западают в наши души, не хотел этой смерти. Стоя на пороге хижины старшего брата, Бистами кричал сквозь слёзы:

— Она была мне сестрой, она была мне тёткой, она спасла меня от индуистских повстанцев, не нужно было убивать её, она защищала нас!

Конечно же, никто его не услышал. Нас никто и никогда не понимает.

И возможно, всё было к лучшему, потому как сомнений в том, что тигрица убила его брата, не оставалось. Но он десять раз отдал бы жизнь брата за свою тигрицу.

Сам того не желая, он потащился следом за процессией в центр деревни. Все пили ракши, а барабанщики выбегали на улицу и радостно стучали в свои барабаны.

— Киа-Киа-Киа-Киа, оставь нас и больше не возвращайся!

Шёл праздник тигра, и остаток дня, а может быть, и весь следующий день, будет посвящён спонтанному торжеству. Усы Кии сожгут, чтобы убедиться, что её душа не перейдёт к убийце в следующем мире. Тигровые усы ядовиты: если один ус растолочь и втереть в мясо тигра, можно убить человека, а если вложить целый ус в нежный бамбуковый побег, у того, кто его съест, образуются цисты, что тоже приведёт к смерти, но более медленной. Так, во всяком случае, говаривали. Китайцы-ипохондрики верили в медицинские свойства почти всего на свете, включая все части тела тигра. Скорее всего, большую часть туши Кии сохранят и увезут на север торговцы, а шкура отойдёт заминдару.

Бистами с жалким видом сидел на земле на окраине деревни. Выговориться было некому. Он сделал всё, что мог, чтобы предупредить тигрицу, но безрезультатно. Он обращался к ней не как к Кие, а как к госпоже — Тридцатой госпоже, как называли тигров жители деревни в джунглях, чтобы не обидеть. Он делал ей подарки и убедился, что отметины на её лбу не складывались в букву «S», знак того, что зверь был оборотнем и в момент смерти навсегда примет человеческий облик. Этого не случилось, впрочем, и буквы «S»

на её лбу не было — её отметины скорее походили на расправленное в полёте птичье крыло. Он смотрел ей прямо в глаза, как и полагается делать при нечаянных встречах с тиграми; он сохранял спокойствие, и она спасла его от смерти. Да, все эти истории о тиграх-помощниках, которые ему доводилось слышать — о тигре, который вывел к дому двух заблудившихся детей, и о тигре, поцеловавшем спящего охотника в щёку, — меркли по сравнению с его собственной, хотя благодаря им он оказался готов к их встрече. Она стала ему сестрой, и теперь он сходил с ума от горя.

Деревенские жители начали расчленять её тело. Бистами ушёл из деревни, не в силах смотреть. Его суровый старший брат был мёртв; другие родственники, как и брат, порицали его за интерес к суфизму. «Высокое смотрит на высокое, и потому они видят друг друга издалека». Но мудрецы были слишком далеко от него, и он не видел вообще ничего. Он вспомнил, что сказал ему его суфийский учитель Тустари, когда он покидал Аллахабад: «Храни хадж в своём сердце и приходи в Мекку, как будет на то воля Аллаха. Долго ли, коротко ли, но никогда не сходи со своего тариката, пути к просветлению».

Он собрал свои скудные пожитки в заплечную

сумку. Смерть тигрицы теперь показалась Бистами судьбой, знамением: принять подарок от Бога и использовать его в своих деяниях, ни о чём не жалея. «Пришло время сказать спасибо Богу, спасибо Кие, моей сестре, и навсегда покинуть родную деревню».

Бистами отправился в Агру и там на последние деньги купил платье суфийского странника. Он попросил убежища в суфийской ложе, длинном старом здании в самом южном районе старой столицы, и омылся в их бассейне, очистив себя изнутри и снаружи.

Затем он покинул город и отправился в Фатехпур-Сикри, новую столицу империи Акбара. Он заметил, что не достроенный ещё город своими очертаниями повторяет в камне огромные шатровые лагеря могольских армий, вплоть до мраморных колонн, обособленных от стен, подобно колышкам шатра. В городе было то ли пыльно, то ли грязно, и белый камень уже пошёл пятнами. Деревья росли низко, сады стояли молодые и голые. Длинная стена императорского дворца выходила на широкую аллею, разделявшую город на север и юг. Аллея вела к большой мраморной мечети и дарге, о которой Бистами слышал в Агре: мавзолею суфийского святого шейха Салима

Чишти. Под конец своей долгой жизни Чишти был наставником молодого Акбара, и теперь память о нём оставалась крепчайшей нитью, связывавшей Акбара с исламом. И ещё, этот Чишти в юности путешествовал по Ирану и учился у шаха Исмаила, у которого, в свою очередь, учился Тустари, наставник самого Бистами.

И вот Бистами подошёл к большому белому мавзолею Чишти, ступая задом наперёд и читая отрывки из Корана.

— Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Будьте терпимы к тем, кто выстаивает молитву рассветную и закатную, чтобы узреть лик его; не отводите от них взгляда в поисках нарядной жизни; не слушайте тех, чьё сердце забыло помнить о нас, тех, кто не знает меры и следует собственным похотям.

У входа он простёрся ниц в направлении Мекки, произнёс утреннюю молитву, а затем вошёл во внутренний двор мавзолея и отдал дань уважения Чишти. Другие посетители были заняты тем же, и, почтив память мудреца, он остался побеседовать с некоторыми из них. Он рассказывал им о своём путешествии в Иран, умалчивая об остановках, сделанных по пути. В конце концов он рассказал свою историю одному из придвор-

ных улемов Акбара, подчёркивая косвенное знакомство своего наставника с Чишти, после чего вернулся к молитвам. Он стал приходить к мавзолею каждый день и взял за правило молиться, совершать обряды очищения, а потом отвечать на вопросы паломников, говоривших только по-персидски, а также беседовать с многочисленными посетителями святыни. Это в итоге привело к тому, что однажды он говорил с внуком самого Чишти, и, как впоследствии рассказали Бистами, тот хорошо отозвался о нём Акбару. Он ел только раз в день в суфийской ложе, и ему хватало. Он был голоден, но полон надежд.

Однажды утром, с первыми лучами солнца, когда он уже молился во дворе мавзолея, в святилище вошёл сам император Акбар, взял обычную метлу и стал прибирать двор. Стояло зябкое утро, ночной холод ещё витал в воздухе, и всё же Бистами вспотел, когда Акбар закончил свой обряд, но тут пришёл внук Чишти и позвал Бистами присоединиться к ним, когда тот дочитает молитву, чтобы представить его императору.

— Почту за честь, — ответил он и продолжил молиться, бездумно бормоча, в то время как в его голове крутились мысли о том, что он может сказать императору; и он задумался, сколько же

ему медлить, прежде чем подойти к нему, чтобы показать, что молитва идёт прежде всего.

В мавзолее было ещё относительно пусто и прохладно, солнце только вставало над горизонтом. Когда оно окончательно взошло над деревьями, Бистами поднялся, подошёл к императору и внуку Чишти и низко поклонился. Последовали приветствия, поклоны, а затем он уступил почтительной просьбе рассказать свою историю внимательному юноше в императорском платье, который не отрывал немигающего взгляда от его лица, — он смотрел Бистами прямо в глаза. Учёба в Иране у Тустари, паломничество в Кум, возвращение домой, год преподавания Корана в Гуджарате, поездка в гости к семье, облава индуистских мятежников, спасение тигром — к концу своей повести Бистами уже сам видел, что понравился императору.

— Мы приветствуем тебя, — сказал Акбар.

Весь Фатехпур-Сикри строился для демонстрации его набожности, а также для того, чтобы взывать к набожности других. И он воочию убедился в набожности Бистами, проявившейся во всех формах благочестия, и когда они продолжили свой разговор, а мавзолей начал заполняться посетителями, Бистами сумел повернуть разго-

вор к одному известному хадису, который попал в Иран через Чишти, так что иснад, его история происхождения, непосредственно увязывал его образование и образование императора.

— Я услышал эту мудрость от Тустари, который слышал её от шаха Исмаила, учителя шейха Чишти, а тот слышал её от Бахр ибн Каниза аль-Сакки, которому её поведал Усман ибн Садж, слышавший от Саида ибн Джубаира, да почтит Аллах его имя: «Равно приветствуй всех мусульман, включая детей и подростков. И входящий в класс пусть не позволит сидящему вставать в знак почтения, ибо за этим лежит верная смерть души».

Акбар нахмурился, пытаясь понять, о чём речь. Бистами пришло в голову, что эти слова могут быть истолкованы в том смысле, что именно он воздержался и не просил к себе поклонения со стороны другого. В холодном утреннем воздухе его прошиб пот.

Акбар повернулся к одному из своих слуг, незаметно стоявшему у мраморной стены гробницы.

— Забери этого человека с собой, когда мы будем возвращаться во дворец.

За молитвой пролетел ещё один час. Пока Бистами молился, Акбар говорил с подданными. Он был спокоен, но становился всё более немно-

гословным по мере того, как утро близилось к полудню, а очередь просителей перед ним росла и никак не кончалась, и наконец император приказал всем разойтись и возвращаться позже. После этого он направился вместе со свитой и Бистами к своему дворцу, минуя новые городские стройки.

Город строился в форме большого квадрата, как и всякий военный лагерь великих моголов — или, как справедливо заметил Бистами его конвоир, в форме самой империи, которая образовала собой четырёхугольник, укреплённый четырьмя городами: Лахор, Агра, Аллахабад и Аджмер. Все они были большими по сравнению с новой столицей, и особенно конвоир Бистами полюбил Агру, где был занят в строительстве великого императорского форта, теперь подошедшем к концу.

— Зданий там — более пятисот, — сказал он, как, верно, всегда говорил, рассказывая о форте.

Он считал, что Акбар основал Фатехпур-Сикри, потому что форт Агры был уже почти достроен, а император любил браться за масштабные проекты.

— Этот человек — строитель, он весь мир перестроит, прежде чем остановится, я в этом уверен. Ислам никогда не знал такого служителя, как он.

— Должно быть, ты прав, — сказал Бистами, поглядывая на идущее вокруг строительство, на белые здания, что поднимались из коконов строительных лесов, утопающих в море чёрной грязи. — Хвала Господу.

Конвоир, звали которого Хусейн Али, посмотрел на Бистами с подозрением. Но набожные паломники встречались здесь на каждом шагу. Следуя за императором, он провёл Бистами в ворота нового дворца. За его внешней стеной были разбиты сады, да такие, что казалось, они стояли здесь годами: большие сосны возвышались над кустами жасмина, на клумбах, куда ни глянь, росли цветы. Сам дворец был меньше мечети и меньше мавзолея Чишти, но изящен в деталях. Белый мраморный шатёр, широкий и приземистый, с чередой прохладных залов, окружал центральный двор и сад с фонтанами. Одно крыло, в задней части двора, представляло собой длинную галерею, увешанную картинами. На них были изображены сцены охоты под бирюзовым небом: собаки, олени и львы, ожившие на полотне, охотники с луками и кремнёвыми ружьями на привале. Напротив полотен протянулись анфилады комнат с белыми стенами, уже достроенные, но пустые. Одну из них выделили

Бистами для ночлега.

К ужину в тот вечер закатили настоящее пиршество. Стол нарядно накрыли в длинном зале, выходящем в центральный двор. По ходу разговора Бистами понял, что так всегда проходили вечерние трапезы во дворце. Он ел жареных перепелов, йогурт с огурцом, мелко нарезанное карри и много-много блюд, названий которых не узнал.

Так начались для него сказочные дни, когда он чувствовал себя Манджушри из сказки, упавшим вверх тормашками в страну молока и мёда. Пища преобладала в его мыслях и в его распорядке. Однажды к нему в покои явилась группа чернокожих рабов, одетых лучше, чем он сам, которые взялись за него со знанием дела и быстро подняли до своего уровня, и даже выше, нарядив в дивное белое платье, красивое, но тяжёлое. После этого его снова пригласили к императору.

Эта аудиенция в окружении зорких советников, генералов и императорских слуг всех мастей сильно отличалась от утренней встречи у мавзолея, когда два молодых человека дышали утренним воздухом, наблюдая восход солнца и воспевая славу Аллаху, и говорили друг с другом глаза в глаза. Однако, даже при всём этом параде, на него смотрело то же любопытное и серьёзное

лицо человека, которому было интересно услышать, что он хотел сказать. Сосредоточившись на этом лице, Бистами заставил себя расслабиться.

Император сказал:

— Мы приглашаем тебя остаться у нас и делиться с нами своим знанием закона. В благодарность за твою мудрость и вынесение суждений по некоторым делам и вопросам, которые будут поставлены перед тобой, ты получишь должность заминдара в поместьях покойного шаха Музафара, да почтит Аллах его имя.

— Хвала Аллаху, — пробормотал Бистами, опуская глаза. — Я буду молить его о помощи в выполнении этой задачи к вашему полному удовлетворению.

Даже не отрывая взгляда от земли, лишь иногда возвращаясь глазами к лицу императора, Бистами чувствовал, что члены императорской свиты остались недовольны этим решением. Но позже те, кто казался особенно недовольными, подходили к нему, знакомились, говорили ласково, водили по дворцу, самым тактичным образом расспрашивая о его прошлом и родословной, и рассказывали о поместье, которым он должен будет управлять. Как оказалось, непосредственно этой работой занимались помощники на местах,

а он получал главным образом титул и источник дохода. Взамен он обязался снаряжать и предоставлять императорской армии сотню солдат, когда это требуется, обучать своих подопечных всему, что знал о Коране, и судить гражданские споры, возникавшие среди них.

— Бывают споры, которые могут разрешить только улемы, — сказал советник императора Раджа Тодор Мал. — На императоре лежит огромная ответственность. Империи до сих пор грозит опасность со стороны её врагов. Дед Акбара Бабур пришёл сюда из Пенджаба и основал мусульманское королевство всего сорок лет назад, и неверные продолжают нападать на нас с юга и востока. Каждый год приходится затевать несколько военных походов, чтобы отбросить неприятеля назад. Да, в теории, все верующие в империи находятся под опекой императора, но на практике его обязанности не оставляют на это времени.

— Конечно.

— Между тем не существует иной формы правосудия для решения споров между людьми. Поскольку закон основан на Коране, логично переложить это бремя на кади, улемов и других мудрецов, вроде тебя.

— Конечно.

В последующие недели Бистами действительно судействовал в решении споров между подданными, которых приводили к нему рабы императора. Двое мужчин претендовали на одну и ту же землю; Бистами спросил, где жили их отцы и отцы их отцов, и выяснил, что семья одного из них жила в этом регионе дольше, чем семья другого. Рассуждая подобным образом, он и выносил свои решения.

Портные изготовили ему много новой одежды; ему предоставили новый дом и полную свиту слуг и рабов, дали сундук в сто тысяч золотых и серебряных монет. И всё, что от него требовалось в ответ, — просто обратиться к Корану, вспомнить изученные им хадисы (каковых было немного, а значимых среди них — ещё меньше) и вынести решение, которое обычно было очевидно для всех. А когда оно бывало не так очевидно, он старался рассудить дело по справедливости и удалялся в мечеть, где молился, одолеваемый тревогой, а затем посещал императора и вечернюю трапезу. Он продолжал ежедневно на рассвете посещать мавзолей Чишти в одиночестве, где снова встречался с императором в той же неформальной обстановке, что и при знакомстве, примерно

раз или два в месяц — достаточно, чтобы занятой император помнил о его существовании. Он всегда заранее готовил историю, которую расскажет Акбару при встрече, когда его спросят, чем он был занят; каждый раз он выбирал рассказ с поучительной моралью для императора — о нём самом, о Бистами или об империи и мире. Почтительный и назидательный урок был наименьшим, чем он мог отплатить Акбару за неслыханную щедрость, проявленную к нему.

Как-то раз он поведал историю из восемнадцатой суры, где говорилось о городе, жители которого отвернулись от Бога. Тогда Бог отвёл их в пещеру, где они должны были провести одну ночь; но когда они проснулись и вышли, то обнаружили, что прошло триста девять лет.

— Так же и твой труд, о могучий Акбар, забрасывает нас далеко в будущее.

На другое утро он рассказал императору историю Эль-Хадира, знаменитого визиря Зу-ль-Карнайна, который, по слухам, пил из источника жизни, благодаря чему он всё ещё жив и будет жить до Судного дня, и который являлся, одетый в зелёные одежды, к мусульманам, попавшим в беду, чтобы помочь им.

— Так же и твои труды, о великий Акбар, про-

должатся бессмертно, в течение многих лет помогая мусульманам в трудную минуту.

Император, похоже, ценил эти холодные, росистые разговоры. Он несколько раз брал Бистами с собой на охоту, и Бистами вместе со своей свитой располагался в большом белом шатре и проводил жаркие дни верхом на лошадях, мчавшихся по джунглям за лающими собаками и загонщиками, или, что было больше по душе Бистами, восседал в слоновьем седле и наблюдал, как большие соколы снимаются с запястья Акбара и парят высоко в небе, чтобы пикировать оттуда под жутким углом на зайца или птицу. Акбар сосредотачивал своё внимание на человеке точно так же, как это делали соколы.

Акбар любил своих соколов, как родных, и всегда проводил дни охоты в прекрасном расположении духа. Он подзывал к себе Бистами, чтобы произнести слова молитвы над прекрасными птицами, которые равнодушно взирали на горизонт. Затем их подбрасывали в воздух, и они мощно хлопали крыльями, стремительно поднимаясь на охотничью высоту, широко расправляя перья больших крыльев. Когда соколы уже уверенно кружили над головами, выпускали голубей. Птицы пытались укрыться в деревьях

и кустах, хлопая крыльями на пределе своих возможностей, но чаще всего им не удавалось избежать нападения соколов. Хищные птицы складывали их изломанные тела к ногам императорских слуг, после чего летели обратно к руке Акбара, где их встречали таким же твёрдым, как их собственный, взглядом и кормили кусочками сырой баранины.

Шёл один из таких безмятежных дней, когда охоту прервали плохие вести с юга. Прибыл гонец, сообщивший, что поход Адам-хана против султана Малвы, Баз-Бахадура, увенчался успехом, но армия хана перебила всех пленных мужчин, женщин и детей города, включая многих мусульманских богословов и даже некоторых сеидов, то есть прямых потомков Пророка.

Светлая кожа на лице и шее Акбара побагровела, оставив нетронутой только бородавку на левой стороне лица, похожую на белую изюминку, въевшуюся в кожу.

— Довольно, — обратился он к своему соколу, а затем принялся отдавать приказы, сбыв птицу на руки сокольничему и забыв об охоте. — Он до сих пор считает меня ребёнком.

Он сел на коня и ускакал во весь опор, оставив свиту и взяв с собой только Пир-Мухаммед-хана,

своего самого доверенного генерала. Позже Бистами узнал, что Акбар лично освободил Адам-хана от командования.

Целый месяц мавзолей Чишти был в распоряжении Бистами. И вот однажды утром он застал там императора с мрачным выражением лица. Адам-хана на посту вакиля, главного министра, сменил Зейн.

— Это приведёт его в ярость, но так нужно, — сказал Акбар. — Придётся посадить его под домашний арест.

Бистами кивнул и продолжил подметать холодный сухой пол внутреннего зала. Мысль о том, что Адам-хан находится под постоянной охраной, что обычно являлось прелюдией к казни, вызывала беспокойство. У Адам-хана было много друзей в Агре. Он может отважиться и на мятеж, и император, конечно, прекрасно это понимал.

И в самом деле, два дня спустя Бистами стоял с краю свиты Акбара во время дневного приёма у императора и испугался, но не удивился, когда во дворце появился Адам-хан, с топотом поднялся по лестнице, с оружием, в крови, и начал кричать, что не далее как час тому назад убил Зейна в его собственной зале для аудиенций за то, что тот занял место, принадлежавшее по праву ему.

Услышав это, Акбар снова побагровел и наотмашь ударил хана по голове своей чашей для питья. Он схватил его за грудки и потащил через залу. Малейшее сопротивление повело бы за собой мгновенную смерть от рук императорской гвардии, стоявшей по обе стороны от них с мечами наготове, поэтому Адам-хан позволил выволочь себя на балкон, откуда Акбар и вышвырнул его в пустоту, перебросив через перила. Затем Акбар, раскрасневшись ещё больше прежнего, кинулся вниз по лестнице, подбежал к полубессознательному хану, схватил его за волосы и опять потащил наверх, прямо в доспехах, и по ковру выволок обратно на балкон, откуда снова перекинул через перила. Адам-хан ударился о площадку внизу с глухим тяжёлым стуком.

Да, он действительно был убит. Император удалился в свои личные покои.

На следующее утро Бистами мёл мавзолей с таким усердием, что всё его тело звенело от напряжения.

Появился Акбар, и сердце Бистами заколотилось в груди. Акбар казался спокойным, разве что мысли его витали далеко отсюда. Усыпальница была для него местом, где он всегда мог на время обрести умиротворение. Но внешняя безмятеж-

ность шла вразрез с агрессивными движениями, которыми он подметал пол, уже чисто выметенный Бистами. «Он император, — внезапно подумалось Бистами, — он волен поступать так, как пожелает».

Но будучи мусульманским императором он подчинялся Богу и шариату. Всемогущий и вместе с тем всепокорный, два в одном. Неудивительно, что он казался задумчивым и даже рассеянным, подметая храм на рассвете. Трудно было представить, что он способен потерять голову от гнева, как слон во время муста, и швырнуть человека на верную смерть. В нём залегли бездны ярости.

Восстание предположительно мусульманских подданных щедро зачерпнуло из этой бездны. Пришло сообщение о новом восстании в Пенджабе, для подавления которого туда направили армию. Мирных жителей региона, и даже тех, кто сражался за повстанцев, пощадили. Но их предводителей, около сорока человек, доставили в Агру и там поместили в круг боевых слонов, к бивням которых были привязаны длинные клинки, наподобие гигантских мечей. Слонов натравили на предателей, и те кричали, пока их резали и топтали слоны, которые, обезумев от крови, подбрасывали их тела высоко в воздух.

Бистами и не подозревал, что слонов можно довести до такой жажды крови. Акбар смотрел на всё свысока, восседая на троне в седле самого большого из слонов. Тот стоял неподвижно при виде такого зрелища, и вместе с императором наблюдал за резнёй.

Несколько дней спустя император пришёл к мавзолею на рассвете, и Бистами показалось странным подметать вместе с ним тенистый двор усыпальницы. Он усердно работал метлой, стараясь не встречаться взглядом с Акбаром.

Наконец ему пришлось отреагировать на присутствие государя: Акбар уже открыто смотрел на него.

— Ты выглядишь обеспокоенным, — сказал Акбар.

— Нет, о могучий Акбар, ничего подобного.

— Ты не одобряешь казнь предателей ислама?

— Вовсе нет; конечно… конечно, одобряю.

Акбар вперил в него взгляд, каким смотрели обычно его соколы.

— Разве Ибн Хальдун не говорил, что халиф должен слушать Аллаха так же, как самый смиренный раб? Разве не говорил, что халиф обязан подчиняться мусульманским законам? И разве мусульманский закон не запрещает пытки плен-

ных? Разве не об этом говорит Хальдун?

— Хальдун был историком, — ответил Бистами.

Акбар рассмеялся.

— А как же хадис, рассказанный Абу Тайбой, которому рассказал Мурра ибн Хамдан, а тому Суфьян Аль-Таври, а тому Али ибн Абу Талиб, в котором сказано, что Посланник, да благословит Аллах навеки имя его, говорил: «Не пытайте рабов?» А как же строки Корана, которые повелевают правителю подражать Аллаху и проявлять сострадание и милосердие к заключённым? Разве я не нарушил дух этих заповедей, о мудрый суфийский паломник?

Бистами разглядывал каменную плитку двора.

— Может, и так, о великий Акбар. Тебе одному известно.

Акбар внимательно посмотрел на него.

— Покинь мавзолей Чишти, — приказал он.

Бистами поспешно вышел за ворота.

В следующий раз Бистами увидел Акбара во дворце, куда ему приказано было явиться; оказалось, за объяснениями, почему, как холодно выразился император, «твои друзья из Гуджарата восстают против меня?».

— Я уехал из Ахмадабада именно потому, что

там царил раздор, — с тревогой ответил Бистами. — Между мирз всегда было неспокойно. Султан Музаффар-шах Третий не мог больше сдерживать ситуацию. Тебе это всё известно. Именно поэтому ты взял Гуджарат под своё крыло.

Акбар кивнул, словно вспоминая тот поход.

— Но теперь Хусейн Мирза вернулся с Декана, и многие представители гуджаратской знати присоединились к нему в восстании. Если разнесётся слух, что мне так легко можно бросить вызов, кто знает, что за этим последует?

— Конечно, Гуджарат должен быть отбит, — неуверенно сказал Бистами; возможно, как и в прошлый раз, это были именно те слова, которых Акбар не хотел слышать.

Что ожидалось от Бистами, ему было неясно; он был придворным чиновником, кади, но прежде все его советы носили религиозный или юридический характер. Теперь же, когда его прежнее место жительства было охвачено мятежом, он оказался между молотом и наковальней — крайне незавидное положение, когда Акбар сердится.

— Может, уже слишком поздно, — сказал Акбар. — До побережья два месяца пути.

— Разве? — спросил Бистами. — Мне одному

хватило десяти дней на это путешествие. Если ты возьмёшь только свои лучшие сотни, навьючив одних верблюдиц, у тебя будет шанс застать мятежников врасплох.

Акбар наградил его своим ястребиным взглядом. Он подозвал Раджу Тодор Мала, и вскоре всё было устроено, как предлагал Бистами. Кавалерия из трёх тысяч солдат под предводительством Акбара, в сопровождении Бистами, взятого в поход в приказном порядке, покрыла расстояние между Агрой и Ахмадабадом за одиннадцать долгих пыльных дней, и армия, полная сил и осмелевшая благодаря стремительному маршу, разбила многотысячное гнездо мятежников — пятнадцать тысяч, по подсчётам одного генерала, большинство из которых были убиты в сражении.

Бистами провёл этот день верхом на верблюде, на линии основных атак армии, стараясь не терять Акбара из виду, а когда потерпел в этом неудачу — перетаскивая раненых в тень. Даже без огромных осадных орудий армии Акбара, на поле битвы стоял чудовищный шум, в котором смешались крики людей и верблюдов. Пыль, стоявшая столбом в горячем воздухе, пахла кровью.

Ближе к вечеру, изнемогая от жажды, Бистами

спустился к реке. Там уже собрались десятки раненых и умирающих, окрашивая реку в красный цвет. Даже вверх по течению, с самого краю толпы, невозможно было сделать глоток, который не имел бы привкуса крови.

Затем прибыл Раджа Тодор Мал с группой солдат, которые мечами казнили мирз и афганцев, возглавивших восстание. Один из мирз заметил Бистами и закричал:

— Бистами, спаси меня! Спаси!

В следующее мгновение он был обезглавлен, и кровь из вскрытой шеи хлынула на берег. Бистами отвернулся. Раджа Тодор Мал смотрел ему вслед.

Акбар, очевидно, узнал об этом, потому что во время неспешного возвращения в Фатехпур-Сикри, несмотря на триумф похода и явно приподнятое настроение самого императора, он не пригласил Бистами к себе. И это несмотря на то, что молниеносное нападение на мятежников было идеей Бистами. Или, возможно, отчасти именно из-за этого. Радже Тодор Малу и его последователям едва ли это понравилось.

Это настораживало, и даже грандиозное празднование по случаю победы, встретившее их по возвращении в Фатехпур-Сикри всего через со-

рок три дня после отъезда, не вселяло в Бистами надежду. Напротив, его больше и больше охватывало беспокойство, так как дни шли, а Акбар у мавзолея Чишти всё не показывался.

Но однажды утром появились трое стражников. Им было поручено охранять Бистами у мавзолея и в его собственном доме. Они сообщили Бистами, что никуда, кроме этих двух мест, ему ходить не дозволяется. Его помещали под домашний арест.

Это была обычная практика накануне допроса и казни предателей. По глазам стражников Бистами видел, что этот раз не станет исключением: они смотрели на него, как на покойника. Он не мог поверить, что Акбар отвернулся от него: это никак не укладывалось у него в голове. Страх рос с каждым днём. Он всё время вспоминал тело обезглавленного мирзы, истекающего кровью, и каждый раз в эти моменты кровь в его собственном теле начинала бежать по жилам быстрее, словно нащупывая выходы, желая поскорее вырваться наружу бурлящим красным фонтаном.

В один из таких полных страха дней он отправился к мавзолею и решил там остаться. Он приказал одному из своих слуг каждый день на закате приносить ему пищу и, отужинав за воротами усыпальницы, спал на циновке в углу

двора. Несколько дней он постился, как в Рамадан, и чередовал чтения из Корана с чтениями из «Маснави» поэта Руми и других суфийских текстов на фарси. В глубине души он надеялся и верил, что хотя бы один из стражников говорит по-персидски, чтобы изливающиеся из него слова Руми, или Мевляны, великого поэта и голоса суфиев, были кому-то понятны.

— «Вот чудесные знамения, которых ты ждёшь, — говорил он громко. — Как ты плачешь всю ночь и встаёшь на рассвете с мольбой; как темнеет твой день в отсутствие того, о чём молишь; как тонка твоя шея, словно веретено; как ты отдаёшь всё и остаёшься ни с чем; как ты жертвуешь имуществом, сном, здоровьем, головой; как ты часто горишь в огне, подобно алойному дереву, и подаёшься навстречу клинку, как дырявый шлем. Когда беспомощность становится привычкой, знамения таковы. Ты мечешься взад и вперёд, прислушиваясь к необычному, вглядываясь в лица путников. Почему ты смотришь на меня как на сумасшедшего? Я потерял друга. Пожалуйста, простите меня. Поиски не подведут. Придёт всадник и крепко прижмёт тебя. Ты упадёшь в обморок и будешь что-то бормотать. Непосвящённые скажут, что ты притворяешься.

Откуда им знать? Вода омывает выброшенную на берег рыбу».

— «Благословен тот разум, чьё сердце слышит зов, доносящийся с небес: «Иди сюда». Осквернённое ухо не услышит звука, только достойные получат сладость. Не оскверняй глаз свой человеческими уродствами, ибо приближается владыка вечной жизни; и если глаз твой осквернён, вымой его слезами, ибо со слезами приходит исцеление. Караван с сахаром прибыл из Египта; звук шагов и колокольный звон приближаются. Молчи, ибо завершит эту оду слово нашего царя».

Спустя множество таких дней Бистами начал повторять Коран суру за сурой, часто возвращаясь к самой первой суре, открывающей Книгу, Аль-Фатихе, целительнице, которую стражники не могли не узнать:

— Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, Владыке Судного дня! Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Наставь нас на правильный путь, путь Твоих рабов, которым Ты оказал Свою милость, но не веди нас путём тех, которые вызвали Твой гнев и сбились с пути.

Эту великую вступительную молитву, столь соответствующую его положению, Бистами по-

вторял сотни раз на дню. Иногда он читал только один стих, «Довольно нам Аллаха, нет защитника, кроме Него», однажды повторив его тридцать три тысячи раз подряд. Затем он перешёл на другой: «Аллах милостив, будь покорен Аллаху, Аллах милостив, будь покорен Аллаху», — и твердил так до тех пор, пока во рту не пересохло, голос не сел, а мышцы лица не свело судорогой от усталости.

Все эти дни он продолжал подметать двор, а затем и все комнаты святилища, одну за другой; наполнял маслом лампы, подрезал фитили и снова подметал, поглядывая на небо, которое менялось с каждым днём, и повторял одно и то же снова и снова, чувствуя пронизывающий ветер, наблюдая, как листья деревьев вокруг мавзолея излучают свой полупрозрачный свет. Арабский язык — знание, но фарси — сладость. На закате он ужинал и чувствовал вкус пищи как никогда раньше. Но поститься стало легко — возможно, потому что наступила зима и дни укоротились. Страх сковывал его по-прежнему часто, заставляя кровь пульсировать, как под давлением, и он молился вслух каждую минуту бодрствования, наверняка сводя с ума охранников своим бубнёжем.

В конце концов весь мир сжался до мавзолея,

и он начал забывать и то, что происходило с ним раньше, и то, что, скорее всего, продолжало происходить в мире за пределами мавзолея. Он забыл обо всём. Его ум прояснился: и правда, всё в мире стало как будто слегка прозрачным. Он смотрел на листья и видел их изнутри, а иногда и насквозь, как будто те были сделаны из стекла; то же самое происходило с белым мрамором и алебастром мавзолея, которые в сумерках светились, как живые; и с его собственной плотью. «Всё тленно, кроме лика Аллаха. К Нему мы возвратимся». Эти слова из Корана были включены в прекраснейшее стихотворение Мевляны о перевоплощении:

Я умер камнем и вернулся растением,

Умер растением и вернулся животным,

Умер животным и вернулся человеком.

Чего мне бояться? Что я терял, умирая?

И я снова умру человеком,

Чтобы к ангелам воспарить. Но даже ангелов

Я должен отринуть: «Всё тленно, кроме лика Аллаха».

И когда принесу в жертву свою ангельскую душу,

Я стану тем, что разуму неподвластно.

О, пусть меня не станет! Ибо небытие

Обещает нотами органа: «К Нему мы возвратимся».

Он повторял это стихотворение тысячи раз, шёпотом, боясь, вдруг стражники доложат Акбару, что он готовится к смерти.

Проходили дни, недели. Он совсем оголодал и стал слишком остро ощущать сперва вкусы и запахи, а затем воздух и свет. Он чувствовал ночи, которые продолжали быть жаркими и влажными, как спеленавшие его одеяла, и когда наступал короткий холодный рассвет, он ходил кругами, метя полы и молясь, глядя в небо над лиственными деревьями, становившимися всё светлее и светлее; и вот однажды, на рассвете, всё вокруг превратилось в свет.

— О, это ты, это Ты, ты не можешь быть ничем иным как Тобой!

Снова и снова восклицал он, обращаясь к миру света, и даже слова были осколками света, вырывавшимися из его рта. Мавзолей превратился

в сущность чистого белого света, сияющего в прохладном зелёном свете деревьев, деревьев из зелёного света, и фонтан выбрасывал струи воды из света в освещённый воздух, и стены двора были из кирпичей света, и всё было светло и дрожало от переизбытка света. Он видел сквозь землю и сквозь время, за Хайберский проход, сложенный из плит жёлтого света, до самого своего рождения в десятый день месяца мухаррама, в день, когда погиб, защищая веру, имам Хосейн, единственный живущий внук Мухаммеда, — и он увидел, что это неважно, убьёт его Акбар или нет: он будет жить, потому что он жил много раз прежде и не собирался умирать, когда закончится эта жизнь. «Чего мне бояться? Что я терял, умирая?» Он был творением света, как и всё в этом мире, и когда-то он родился деревенской девушкой, а в другой раз степным всадником, в третий — слугой двенадцатого имама, который знал, как и почему исчез имам и когда он вернётся, чтобы спасти мир. Зная это, ему нечего было бояться. «Чего мне бояться? О, это ты, это Ты, довольно Аллаха, и нет защитника, кроме Аллаха, милостивого, милосердного!» Аллах отправил Мухаммеда в исру, путешествие к свету, — туда же отправится вскоре и Бистами, к мираджу,

вознесению, где всё станет светом, совершенно прозрачным и невидимым.

Уразумев это, Бистами поглядел сквозь прозрачные стены, деревья и землю на Акбара в прозрачном дворце на другом конце города, облачённого в свет, точно ангел, — он, конечно, и был больше ангелом, чем человеком, и его ангельский дух Бистами знал в прошлых жизнях и будет знать в будущих, пока все они не соберутся в одном месте и голос Аллаха не огласит мироздание.

Только светлый Акбар повернул голову и посмотрел сквозь светлое пространство, разделяющее их, и Бистами увидел, что глаза его были чёрными, как оникс, шарами, и он сказал Бистами: «Мы никогда прежде не встречались; я не тот, кого ты ищешь. Тот, кого ты ищешь, находится в другом месте».

Бистами отпрянул и повалился в угол между двумя стенами.

Когда он пришёл в себя, всё ещё пребывая в красочном стеклянном мире, Акбар стоял перед ним во плоти, подметая двор метлой Бистами.

— Господин, — сказал Бистами и заплакал. — Мевляна.

Акбар остановился над ним и посмотрел на

него сверху вниз.

После паузы он положил руку ему на голову.

— Ты слуга Господа, — произнёс он.

— Да, Мевляна.

— «Теперь Бог милостив к нам», — процитировал Акбар по-арабски. — «Ибо тем, кто боится Бога и терпит страдания, Аллах воздаёт за их праведные дела».

Это были стихи из двенадцатой суры: рассказ об Иосифе и его братьях. Бистами, приободрённый, всё ещё видя сквозь границы вещей, включая Акбара, и его руку, и лицо — творение света, пронизывающего жизни днями, зачитал из конца следующей суры, «Гром»:

— «Их предшественники замышляли козни; но все козни известны Аллаху: Он ведает дела каждого».

Акбар кивнул, глядя на усыпальницу Чишти и думая о своём.

— «Не вини себя теперь», — проговорил он слова, которые произнёс Иосиф, прощая своих братьев. — «Господь простит тебя, ибо Он — самый милосердный из всех, кто когда-либо проявлял милосердие».

— Да, Мевляна. Бог источник всего, он милосерден и сострадателен, такова Его суть. О, это Он,

это Он, это Он…

С трудом он остановился.

— Да, — Акбар снова посмотрел на него сверху вниз. — Так вот, что бы ни случилось в Гуджарате, я не желаю больше об этом слышать. Я не верю, что ты имеешь отношение к восстанию. Прекрати рыдать. Но Абуль Фазл и шейх Абдул Наби верят, а они одни из моих главных советников. Как правило, я им доверяю. Я предан им, как и они мне. Так что я могу закрыть глаза на этот вопрос и велеть им оставить тебя в покое, но даже если я так сделаю, твоя жизнь здесь уже не будет такой беспечной, как раньше. Ты всё понимаешь.

— Да, господин.

— Поэтому я собираюсь отправить тебя…

— Нет, господин!

— Молчи. Я отправляю тебя в хадж.

У Бистами отвисла челюсть. После стольких дней бесконечных монологов его челюсть обмякла, как сломанная калитка. Белый свет заполнил всё вокруг, и на минуту он потерял сознание.

Затем краски вернулись, и он снова начал слышать:

— … Ты поедешь в Сурат и поплывёшь на моём корабле паломников, «Илахи», через Аравийское

море в Джидду. В Мекку и Медину направлено щедрое пожертвование, и я назначил визиря на роль мир-хаджа. К паломникам присоединятся моя тётка Бульбадан Бегам и моя жена Салима. Я бы и сам хотел поехать, но Абуль Фазл настаивает, что я нужен здесь.

Бистами кивнул.

— Ты незаменим, господин.

Акбар внимательно посмотрел на него.

— В отличие от тебя.

Он убрал руку с головы Бистами.

— Мир-хаджу не помешает ещё один кади. К тому же я хочу основать постоянную школу Тимуридов в Мекке. Ты можешь помочь в этом.

— Но… не вернуться?

— Нет, если ты ценишь нынешнюю жизнь.

Бистами уставился в землю, его прошиб озноб.

— Ну же, — сказал император. — Такого набожного учёного, как ты, должна осчастливить жизнь в Мекке.

— Да, господин. Конечно.

Но он захлебнулся этими словами. Акбар засмеялся.

— Всё лучше, чем лишиться головы, согласись! И потом, кто знает? Жизнь долгая. Возможно, когда-нибудь ты ещё вернёшься.

Они оба знали, что это маловероятно. Жизнь была коротка.

— Как на то будет воля Аллаха, — пробормотал Бистами, оглядываясь по сторонам.

Двор, усыпальница, деревья, которые он знал как свои пять пальцев, каждый камень, каждую ветку, каждый листок… жизнь, заполнившая сто лет за последний месяц, — всему приходил конец. Всё, что он так хорошо знал, отбирали у него, включая этого удивительного, ненаглядного юношу. Странно думать, что каждая истинная жизнь длится всего несколько лет, что один человек проживает несколько жизней в одном теле. Он сказал:

— Бог велик. Мы больше никогда не встретимся.

5. Дорога в Мекку

Из порта Джидды до самой Мекки тянулись караваны паломников, от горизонта до горизонта, непрерывным потоком через всю Аравию, и даже казалось, что через весь мир. В скалистых пологих долинах вокруг Мекки теснились шатры, на закате в ясное небо поднимался пропитанный бараньим жиром дым костров от еды. Холодные ночи, тёплые дни, никогда ни единого облачка в белёсо-голубом небе, и тысячи паломников, переполненных энтузиазмом на подступах к заключительному этапу хаджа. Весь город участвовал в едином радостном обряде, все в толпе были одеты в белое, разбавленное зелёными тюрбанами сеидов, которые претендовали на прямое родство с Пророком (довольно большая семья, если судить по тюрбанам), и все читали стихи из Корана, следуя за впередиидущими, которые следовали за своими предшественниками, а те — за своими, и так далее, на девять веков назад.

На пути в Аравию Бистами постился основательнее, чем когда-либо в своей жизни, чем даже в мавзолее. И сейчас он плыл по каменным улицам Мекки, лёгкий как пёрышко, глядя на

пальмы, нежно отирающие небо своими колышущимися зелёными листьями, и чувствовал себя до того воздушным в Божьей милости, что иногда казалось, будто он смотрит на верхушки пальм сверху вниз или заглядывает за угол Каабы, и ему приходилось на время уставиться себе под ноги, чтобы восстановить равновесие и ощущение себя, хотя, когда он так делал, ноги его начинали казаться далёкими созданиями, которые двигались сами по себе, сначала одна, потом другая, и опять, и снова. «О, это ты, это Ты…»

Он отделился от представителей Фатехпур-Сикри, видя в семье Акбара неприятное напоминание о потере господина. С ними только и слышно было, что Акбар то и Акбар сё, его жена Салима (вторая жена, не императрица) тосковала, упиваясь собственной тоской, а тётка только поощряла её… Нет. Женщины в любом случае совершали паломничество отдельно, но и с мужчинами из могольской свиты было почти так же тяжело. Визирь, союзник Абуль Фазла, относился к Бистами с подозрением и пренебрежением, почти презрительно. В могольской школе для Бистами не нашлось бы места, даже если проект действительно воплотится в жизнь, и дело не ограничится посольскими пожертвованиями

беднякам и городской казне, к чему всё, похоже, и шло. В любом случае, ясно было одно: Бистами там будут не рады.

Но в те благословенные моменты будущее не имело значения, потому что ни прошлого, ни будущего не существовало в мире. Это больше всего и поражало Бистами, уже тогда, когда они плыли по линии веры, одни из миллиона одетых в белое хаджи, паломников со всего Дар-аль-Ислама, от Магриба до Минданао, от Сибири до Сейшельских островов: то, что в этот момент все они были вместе и небо и город под ним сияли от их присутствия не прозрачным светом, как у мавзолея Чишти, а красочным, вместившим все цвета мира. Все люди в мире были едины.

Такая святость расходилась от Каабы кругами. Бистами двинулся вместе с очередью человечества в наисвятейшую мечеть и прошёл мимо большого гладкого чёрного валуна, чернее эбена и гагата, чёрного, как ночное беззвёздное небо, как дыра в реальности, принявшая форму камня. Он чувствовал, как его тело и душа бьются в такт с очередью, с миром. Прикосновение к чёрному камню было подобно прикосновению к плоти. Тот словно вращался вокруг него. Ему вспомнились чёрные глаза Акбара из сна, и он отмахнулся

от видения, понимая, что собственные мысли отвлекают его, памятуя о запрете Аллаха на образы. Камень был всем сущим, самый простой камень, чёрная реальность, воплощённая Богом в твердь. Он стоял в очереди и чувствовал, как духи идущих впереди людей покидают площадь, поднимаясь ввысь, словно по лестнице в небеса.

Разошлись; вернулись в лагерь хлебнуть супа и кофе на закате, впервые за день. Тихий прохладный вечер под звёздами. Всё в умиротворении. Изнутри омыто чистотой. Глядя на эти лица, Бистами думал: «О, почему мы не живём так всё время? Какие важные дела уводят нас от этого момента?» Освещённые огнём лица, звёздная ночь над головой, отголоски песни или тихого смеха, и покой, покой: никто не хотел засыпать и заканчивать это мгновение и просыпаться на следующий день снова в чувственном мире.

Семья Акбара и хадж отбыли вместе с караваном и теперь возвращались в Джидду. Бистами пошёл провожать их на окраину города; жена и тётка Акбара попрощались с ним, помахав рукой со спины верблюда. Остальные уже были мыслями в долгом путешествии в Фатехпур-Сикри.

После этого Бистами остался один в Мекке, городе чужаков. Караван за караваном уезжали

паломники. Это было мрачное, тяжёлое зрелище: сотни караванов, тысячи людей, счастливых, но опустошённых, уже упаковавших свои белые одежды, которые вдруг показались пыльными, замаранными у подола коричневой грязью. Уезжало так много людей, что казалось, они бегут из города перед надвигающейся катастрофой, что, возможно, и случалось раз или два во время войн, голода или чумы.

Но через пару недель взору открылась обычная Мекка: побелённый пыльный городок с несколькими тысячами жителей. Многие из них были священнослужителями, учёными, суфиями, кади, улемами или инакомыслящими беженцами того или иного сорта, просящими пристанища в святом городе. Но купцы и торговцы преобладали. После хаджа народ выглядел изнеможённым, обессиленным и как будто даже опустошённым, и люди были склонны прятаться в своих домах с глухими стенами, предоставив оставшимся в городе чужакам самим заботиться о себе в течение этих первых месяцев. Оставшимся в Мекке улемам и учёным могло показаться, что они разбили стоянку в пустом сердце ислама, наполняя его своими молитвами и кострами, на которых готовили себе пищу на окраине вечереющего

города, угощая проходящих мимо кочевников. По ночам многие пели песни.

Персидскоязычная группа была большой и собиралась в ночи вокруг костров в хитте на восточной окраине города, где по склонам холмов спускались каналы. Поэтому они стали первыми, кто испытал на себе потоп, обрушившийся на город после бурь на севере, которые они слышали, но которых не видели. Стена грязной чёрной воды хлынула по каналам и заполнила улицы, подхватывая пальмовые стволы и валуны, как орудия, и унося их в верхнюю часть города. После этого затопило всё, и даже Кааба стояла в воде, доходящей до серебряного кольца, которое сдерживало её подъём.

Бистами с превеликим удовольствием бросился помогать выкачивать воду, а затем чистить город. После света, увиденного в мавзолее Чишти, и наивысшего религиозного переживания хаджа он чувствовал, что другие откровения в области мистического его не ждут. Теперь он жил последствиями этих событий и чувствовал себя другим человеком; но сейчас ему хотелось только читать персидские стихи в недолгий час утренней прохлады, а днём работать на улице под низким горячим зимним солнцем. Посколь-

ку город был разрушен и стоял по пояс в грязи, работу предстояло проделать большую. Молись, читай, работай, ешь, молись, спи — так проходил хороший день. И день сменялся другим в этом приятном круговороте.

Затем, когда зима подходила к концу, он начал учиться в суфийском медресе, основанном учёными из Магриба, и узнал, что западный край становился сейчас всё более могущественным, простираясь на север до Аль-Андалуса и Фиранджи, а на юг до Сахеля. Там Бистами и другие ученики читали и обсуждали не только Руми и Шамса, но и таких философов, как Ибн Сина и Ибн Рушд, а также древнегреческого Аристотеля и историка Ибн Хальдуна. Магрибцы в медресе были заинтересованы не столько в оспаривании доктрин, сколько в обмене знаниями об окружающем мире; они знали множество историй о повторной оккупации Аль-Андалуса и Фиранджи, а также о потерянной Франкской цивилизации. Они относились к Бистами дружелюбно, не имея о нём никакого однозначного мнения; они воспринимали его как перса, и поэтому с ними было гораздо приятнее находиться, чем с моголами в посольстве Тимуридов, где к нему относились в лучшем случае сдержанно. Если для Бистами

изгнание в Мекку стало наказанием из-за отлучения от Акбара, то другие командированные в Мекку моголы наверняка задавались вопросом, были ли они также в немилости, а не в почёте за свои религиозные деяния. Встречи с Бистами служили напоминанием об этом, и потому его избегали, как прокажённого. И он всё больше и больше времени проводил в магрибском медресе и в персидскоязычной хитте, расположенной теперь чуть выше в горах, над каналами к востоку от города.

Год в Мекке всегда вращался вокруг хаджа точно так же, как исламский мир вращался вокруг Мекки. Шли месяцы, начались всеобщие приготовления, и с приближением Рамадана ничто в мире не имело значения, кроме предстоящего хаджа. Немало усилий направлялось на то, чтобы просто накормить толпы, стекающиеся в город. Здесь, в этом отдалённом уголке почти безжизненного пустынного полуострова (хотя к югу от них были богатые Аден и Йемен), развернули целую программу, поразительную по своим масштабам и эффективности, чтобы совершить этот невероятный подвиг. Проходя мимо пастбищ, где собирались на выпас овцы и козы, и размышляя над своими чтениями из Ибн

Хальдуна, Бистами подумал, что эта программа развивалась вместе с развитием самого хаджа. Что, должно быть, произошло стремительно: ислам, как он теперь понимал, вышел за пределы Аравии в первом столетии после хиджры. Аль-Андалус был исламизирован к 100-му году, дальние пределы островов пряностей — к 200-му году; весь известный мир узнал о новой религии всего лишь через два столетия после того как Пророк услышал Слово Божье и распространил его среди жителей этой маленькой срединной страны. С тех пор с каждым годом сюда приходит всё больше и больше людей.

Однажды он и ещё несколько молодых учёных, читая молитвы, отправились в Медину пешком, чтобы снова увидеть первую мечеть Мухаммеда. Мимо бесконечных загонов с овцами и козами, мимо сыроварен, амбаров, финиковых рощ; затем оказались в предместье Медины, сонном, когда паломники не оживляли его во время хаджа, песчаном, обветшалом маленьком поселении. В тени толстых древних пальм пряталась небольшая побелённая мечеть, отполированная, как жемчужина. Здесь проповедовал во время своего изгнания Пророк, и здесь он записал большую

часть аятов[13] Корана от Аллаха.

Бистами бродил по саду этого святого места, пытаясь представить, как это было. Чтение Хальдуна заставило его понять: всё это действительно было. Сначала Пророк стоял среди этих деревьев и проповедовал под открытым небом. Позже он проповедовал уже опираясь на пальму, и кто-то из его последователей предложил ему стул. Он согласился только на низкую табуретку, чтобы ни у кого не возникало мысли, будто он требует каких-то привилегий для себя. Пророк был человеком, идеальным во всём, включая собственную скромность. Он согласился построить мечеть, где преподавал, но в течение многих лет отказывался покрывать её крышей: Мухаммед заявил, что у верующих есть более важное дело, которое нужно выполнить в первую очередь. И они вернулись в Мекку, и Пророк лично возглавил двадцать шесть военных кампаний, джихад. И как быстро распространилось после этого слово! Хальдун приписывал эту быстроту готовности людей вступить на новый этап развития цивилизации и воплощённой истине Корана.

Бистами, обеспокоенный чем-то неопределён-

---

[13] Примечания: 13

Мельчайшая структурная единица Корана, обычно понимается как «стих»; в переводе с араб. яз. «знак», «знамение», «чудо» (*прим. ред.*).

ным, задумался над таким объяснением. В Индии цивилизации рождались и умирали, рождались и умирали. Ислам в том числе покорил и Индию. Но древние верования индийцев выстояли даже при моголах, и сам ислам изменился, постоянно взаимодействуя с ними. Это стало понятно Бистами, когда он изучал чистую религию в медресе. Хотя и сам суфизм, пожалуй, был чем-то большим, нежели возвращением к неприкосновенному первоисточнику. Шагом вперёд, или, если можно так сказать, видоизменением, даже совершенствованием. Попыткой миновать улемов. В общем, переменами. Казалось, это невозможно предотвратить. Всё менялось. Как сказал суфий Джуннаид в медресе, Слово Божье снизошло на человека, как дождь на землю, и в результате получилась не чистая вода, а грязь. После страшного зимнего наводнения это сравнение звучало особенно наглядно и тревожно. Ислам, распространяясь по всему миру, был подобен грязевым брызгам, смешавшим Бога и человека; это не имело ничего общего с его откровением в мавзолее Чишти или во время хаджа, когда казалось, что Кааба вращается вокруг него. Но даже его воспоминания об этих событиях изменились. Всё в мире изменилось.

В том числе Медина и Мекка, население которых быстро росло по мере приближения хаджа, и пастухи стекались в город со своими стадами, а торговцы со своими товарами: одеждой, дорожным снаряжением для замены сломанных или утерянных элементов, религиозными текстами, памятными сувенирами и тому подобным. В последний месяц подготовки начали прибывать первые паломники: длинные вереницы верблюдов несли грязных с дороги, счастливых путников, чьи лица светились чувством, которое Бистами помнил с прошлого года — года, пролетевшего так незаметно, хотя его личный хадж уже казался чем-то очень далёким в необъятной пропасти сознания. Он не мог вызвать в себе то, что видел на их лицах. На этот раз он был не паломником, а местным жителем, и начал разделять недовольство некоторых горожан из-за того, что их мирная деревня, похожая на большое медресе, разрастается, как волдырь, словно огромная семья энергичных родственников всем скопом свалилась им на голову. Подобный образ мыслей удручал его, и Бистами виновато принялся молиться, поститься и помогать людям, особенно переутомлённым и больным: он вёл их в хитты, фины, караван-сараи и на постоялые дворы,

с головой погружаясь в рутину, чтобы глубже прочувствовать дух хаджа. Но даже ежедневно видя перед собой восторг на лицах паломников, он лишь убеждался в очередной раз, что далёк от этого. В их лицах сиял Бог. Словно окна в глубокий внутренний мир, за которыми Бистами ясно видел их обнажённую душу.

И он надеялся, что радость, с которой он приветствовал паломников со двора Акбара, отражалась на его лице. Но ни сам Акбар, ни ближайшие его родственники не пришли, а из тех, кто пришёл, никто не был рад оказаться здесь или увидеть Бистами. Новости из дома были тревожными. Акбар подверг сомнению своих улемов. Он принимал индуистских раджей и сочувственно выслушивал их заботы. Он даже начал открыто поклоняться Солнцу, четыре раза в день падая ниц перед священным огнём, отказываясь от мяса, алкоголя и половых сношений. Таковы были индуистские обычаи, и каждое воскресенье он посвящал в обряд двенадцать своих эмиров. Неофиты во время этой церемонии простирались ниц, опуская голову прямо на ноги Акбара, что называлось саджда; припадать же к ногам человека считалось богохульным для мусульман. И Акбар отказался финансировать большое палом-

ничество — более того, его пришлось уговаривать послать на хадж хоть кого-нибудь. В итоге он выбрал шейха Абдула Наби и Малауна Абдуллу, изгнав их таким образом из города, как и Бистами годом ранее. Иными словами, всё указывало на то, что он отходил от веры. Акбар — и отходил от ислама!

И, как откровенно сказал Бистами Абдул Наби, многие при дворе винили его, Бистами, в этой перемене в Акбаре. Хотя Абдул Наби заверил его, что так просто было удобнее для всех.

— Безопасно обвинять того, кто находится далеко, пойми. Но теперь все знают, что тебя послали в Мекку с целью перевоспитания. Ты всё твердил о своём свете, вот тебя и отослали, а теперь Акбар поклоняется Солнцу, как зороастриец или какой-нибудь древний язычник.

— Значит, мне нельзя возвращаться, — сказал Бистами.

Абдул Наби отрицательно покачал головой.

— Не только это, но тебе небезопасно и оставаться здесь, не то улемы обвинят тебя в ереси, придут и заберут тебя в суд. Или даже судят прямо на месте.

— Ты говоришь, я должен уехать отсюда?

Абдул Наби медленно и вдумчиво кивнул.

— Наверняка ты найдёшь для себя место поинтереснее, чем Мекка. Такой кади, как ты, может хорошо устроиться в любом месте, где правят мусульмане. Во время хаджа, конечно, ничего не случится, но когда он закончится…

Бистами кивнул и поблагодарил шейха за честность.

Он понял, что и сам предпочитает уйти. Он не хотел оставаться в Мекке. Он хотел вернуться к Акбару, к безвременью в мавзолее Чишти, и жить в этом пространстве вечно; но если это невозможно, ему придётся начать свой тарикат[14] заново и пуститься в странствие в поисках настоящей жизни. Он вспомнил, что случилось с Шамсом, другом Руми, когда ученики Руми устали от этого его увлечения. Шамс исчез, и никто его больше не видел, и некоторые говорили, что его сбросили в реку, привязав к нему камни.

Если в Фатехпур-Сикри думали, что Акбар нашёл в Бистами своего Шамса, то Бистами казалось ровно наоборот. Несмотря на то, что они много времени проводили вместе (даже больше, чем казалось объяснимым) и никто не знал, что происходило между ними на этих встречах, и как

---

[14] Примечания: 14

Путь духовного совершенствования в исламе; праведный путь; следование тому, к чему призывает Коран (*прим. ред.*).

часто именно Акбар, а не Бистами, учил своего учителя. Учителю всегда нужно учиться больше других, думал Бистами, иначе общение не принесёт реальных плодов.

Остаток хаджа прошёл странно. Толпы казались гигантскими, нечеловеческими, одержимыми — мор, пожирающий сотни овец ежедневно, и все улемы, как пастухи, заправляли этим каннибализмом. Конечно, говорить о подобном вслух было нельзя, и оставалось только повторять отдельные фразы, которые так глубоко въелись в его душу: «О, это ты, это Ты, ты не можешь быть никем, кроме как Тобой, Аллах милосердный, милостивый. Чего мне бояться? Бог приводит всё в действие». Было очевидно, что он должен продолжать свой тарикат, пока не найдёт что-то ещё. После хаджа полагалось двигаться дальше.

Магрибские учёные оказались самыми приветливыми из его знакомых: они проявляли образцовую суфийскую гостеприимность, а также любознательный взгляд на мир. Он, пожалуй, мог бы вернуться в Исфахан, но что-то тянуло его на Запад. После откровения, полученного в царстве света, он не хотел возвращаться в пышные иранские сады. В Коране слово, обозначающее Рай, и все слова Мухаммеда, описывающие Рай,

происходили от персидских слов, в то время как слово, обозначающее Ад, в тех же самых сурах, произошло из иврита, языка пустыни. Это был знак. Бистами не хотел Рая. Он хотел чего-то, чему не знал определения, человеческого вызова неизвестной природы. Если допустить, что человек был смесью материального и божественного и что божественная душа продолжала жить, должна же была быть какая-то цель в этом путешествии сквозь дни, какое-то движение к высшим сферам бытия, чтобы хальдунскую циклическую модель развития династий, с бесконечными переходами от юношеского задора к летаргической тучной старости, можно было исправить добавлением разума к человеческим деяниям. Таким образом, в круговороте, являющемся на самом деле восходящей спиралью, признаётся и становится целью идея, согласно которой начало следующей молодой династии возникает на более высоком уровне, чем в прошлый раз. Этому он хотел научить, этому он хотел научиться. На Западе, следуя за солнцем, он найдёт это, и всё станет хорошо.

6. Аль-Андалус

Всюду, где бы он ни очутился, любой новый город казался ему новым центром мироздания. Когда он был молод, Исфахан казался столицей всего мира; затем Гуджарат, затем Агра и Фатехпур-Сикри; затем Мекка и чёрный камень Авраама, истинное сердце всего сущего. Теперь же он думал, что апогей метрополии, невероятно древний, пыльный и огромный, — Каир. По многолюдным улицам, сопровождаемые верной свитой, прохаживались мамлюки, властные мужчины в шлемах с перьями, уверенные в своём господстве над Каиром, Египтом и большей частью Леванта. Замечая их, Бистами обычно на время увязывался следом, как поступали и многие другие; так он обнаружил, что мамлюки одновременно и напоминали ему Акбара своей помпезностью, и поразительным образом отличались от остальных, образуя своё собственное джати, рождавшееся заново в каждом поколении. Ничто не могло быть менее имперским, династии не было вовсе — и всё же их власть над населением ощущалась даже сильнее, чем власть династических правителей. Возможно,

всё, что говорил Хальдун о династическом цикле, аннулировалось этой новой системой государственного управления, которой в его время не существовало. Всё так изменилось, что даже величайший историк не мог оставить последнего слова за собой.

Так что дни, проведённые в великом старом городе, увлекли его. Но магрибским учёным не терпелось продолжить своё долгое путешествие домой, и Бистами помог им снарядить караван и, когда они были готовы, присоединился к ним, продолжая двигаться на запад по дороге в Фес.

Этот отрезок тариката привёл их в первую очередь на север, в Александрию. Они поставили верблюдов в караван-сарай и спустились к морю, чтобы взглянуть на историческую гавань с её длинным изогнутым причалом на фоне бледной воды Средиземного моря. Бистами глядел на море, когда на него накатило чувство, которое иногда посещало его, — что он уже видел это место раньше. Он выждал, пока оно пройдёт, и последовал за остальными.

По вечерам, когда караван пересекал Ливийскую пустыню, у костров велись разговоры о мамлюках и Сулеймане Великолепном, недавно

скончавшемся Османском императоре. То самое побережье, вдоль которого они сейчас шли, тоже входило в число его завоеваний, хотя никто не мог знать этого наверняка — можно было только судить по особому пиетету, с которым относились к османским чиновникам в городах и караван-сараях, которые они проезжали. Их никогда не беспокоили и не взимали плату за проезд. Бистами пришёл к выводу, что суфийский мир, помимо всего прочего, являлся убежищем от мирской власти. В каждом уголке земли правили султаны и императоры, Сулейманы, Акбары и мамлюки — все мусульмане, да, и всё же приземлённые, могущественные, переменчивые и опасные. Большинство из этих династий пребывало, по хальдунской оценке, на этапе позднего упадка. И отдельно от них существовали суфии. По вечерам Бистами наблюдал за своими товарищами-учёными, которые собирались вокруг костра, задумавшись о постулате доктрины или сомнительного иснада хадиса и его трактовке, ведя дискуссии с преувеличенной дотошностью, с шутками и прибаутками, пока густой горячий кофе с серьёзной торжественностью разливали в маленькие глазурованные глиняные чашки, и все глаза сверкали от света костра и приятного

спора. И он думал: вот мусульмане, которые делают ислам хорошим. Они, а не солдаты, завоевали мир. Армии были бы бессильны без Слова Божия. Земные, но не могущественные, набожные, но не педантичные (во всяком случае, большинство из них) люди, заинтересованные в прямых отношениях с Богом, без вмешательства какого-либо человеческого авторитета; в отношениях с Богом и братстве среди людей.

Однажды вечером разговор зашёл об Аль-Андалусе, и Бистами прислушивался с особым интересом.

— Странно, наверное, возвращаться в такую безлюдную страну.

— Рыбаки и зотты, падальщики, уже давно обосновались на побережье. Зотты и армяне продвинулись и вглубь суши.

— Боюсь, это опасно. Чума может вернуться.

— Пока никто не заразился.

— Хальдун говорит, что чума — следствие перенаселения, — сказал Ибн Эзра, главный среди них знаток Хальдуна. — В «Мукаддиме», в сорок девятом параграфе главы о династиях, он пишет, что чума возникает из-за загрязнения воздуха, вызванного перенаселением, гниением и злокачественными испарениями, возникающими

оттого, что слишком много человек живёт в тесном соседстве. Лёгкие поражаются, и таким образом передаётся болезнь. Он не без иронии подмечает, что всё это происходит от раннего расцвета династии, когда хорошее управление, доброта, безопасность и посильное налогообложение ведут к росту популяции, а следовательно и к эпидемии. Он говорит: «Так, наука ясно даёт понять, что пустые пространства и территории для отходов, перемежающиеся между заселёнными районами, просто необходимы. Это позволяет воздуху циркулировать и препятствует загрязнениям и гниению, воздействующим на воздух после контакта с живыми существами, и оздоравливает воздух». Если он прав, хм… Фиранджа пустует уже давно, и возможно, уже снова пригодна для жизни. Чума никому не угрожает, пока регион снова не будет густо заселён. Но до этого ещё очень долго.

— Это был Божий суд, — сказал другой учёный. — Христиан истребил Аллах за то, что они преследовали мусульман и евреев.

— Но Аль-Андалус во время чумы принадлежал мусульманам, — заметил Ибн Эзра. — Гранада была мусульманской, весь юг Иберии тоже. Но и они вымерли. Как и мусульмане на Балканах; во

всяком случае, так говорит аль-Газзави в истории греков. Похоже, всё дело в территориальных условиях. Фиранджу, возможно, подкосило перенаселение, если верить Хальдуну; а возможно, сырость в многочисленных долинах, рождавшая дурной воздух. Никто не знает.

— Христианство умерло. Они следовали Писанию, но карали за исповедание ислама. Веками они воевали с исламом и пытали каждого пленного мусульманина до смерти. И Аллах покончил с ними.

— Но Аль-Андалус тоже погиб, — повторил Ибн Эзра. — А христиане были и в Магрибе, и в Эфиопии, и в Армении — и они выжили. В этих местах, в горах, всё ещё доживают небольшие поселения христиан, — он покачал головой. — Не думаю, что мы разберёмся, что же произошло. Аллах судья.

— Именно это я и говорю.

— Значит, Аль-Андалус теперь снова заселён людьми, — сказал Бистами.

— Да.

— А суфии там есть?

— Конечно. Суфии есть везде. Я слышал, что в Аль-Андалусе они были первыми. Они продвигаются на север, в ещё безлюдные земли, с именем

Аллаха, осваивая их и изгоняя прошлое. Они демонстрируют, что путь безопасен. В своё время Аль-Андалус был огромным садом. Хорошая там земля и стоит пустая.

Бистами посмотрел на дно глиняной чашки, чувствуя искры, зажжённые в нём этими двумя словами. Хорошо и пусто, пусто и хорошо. Именно так он чувствовал себя в Мекке.

Бистами казалось, что он брошен на произвол судьбы: бродячий суфийский дервиш, лишённый дома, пребывающий в вечном поиске. Его тарикат. Он старался содержать себя в чистоте, насколько позволяла пыль и пески Магриба, памятуя слова Мухаммеда о святости (человек достигает её, умыв руки и лицо и не принимая в пищу чеснока). Он много постился, замечая, что легчает в воздухе, а его зрение меняется с каждым днём, от хрустальной ясности на рассвете до мутно-жёлтой дымки в полдень, к полупрозрачности заката, когда сияние золота и бронзы окружало ореолами деревья, скалы и горизонт. Города Магриба, маленькие и аккуратные, часто располагаясь на склонах холмов, были засажены пальмами и экзотическими деревьями, которые превращали каждый город и каждую крышу в сад. Дома, квадратные побелённые бло-

ки в гнёздах пальм, с верандами на крышах и внутренними садиками, прохладные и зелёные, омывались фонтанами. Города строились там, где из горных склонов сочилась вода, и самые большие источники оказались в самом большом городе: Фес — конечный пункт их каравана.

В Фесе Бистами остановился в суфийской ложе, а затем они с Ибн Эзрой отправились на верблюде на север, в Сеуту, и заплатили за переправу на корабле в Малагу. Корабли здесь были округлее, чем в Персидском море, с ярко выраженными высокими килями, небольшими парусами и штурвалами прямо под ними. Переход через узкий пролив на западной оконечности Средиземного моря проходил сурово. Они не теряли Аль-Андалус из виду с того момента, как покинули Сеуту, однако сильные течения, врывающиеся в Средиземное море, в сочетании со штормовыми порывами западного ветра, постоянно подбрасывали их судно на волнах.

Берег Аль-Андалуса оказался скалистым, и над одной из впадин возвышалась огромная скалистая гора. За ней берег гнулся к северу, и, подставив маленькие паруса морскому бризу, они поплыли к Малаге. Далеко в глубине острова виднелась белая горная гряда. Бистами, находясь

под впечатлением от перехода через море, вспомнил горные виды Загроса в Исфахане, и внезапно его сердце сжало тоской по почти позабытому дому. Но здесь и сейчас, раскачиваясь на бурных волнах океана этой новой жизни, он собирался ступить на новую землю.

В Аль-Андалусе всё было садом: лес зелёных деревьев покрывал склоны холмов, снежные шапки — горы на севере, а на прибрежных равнинах раскинулись огромные поля зерновых и рощи круглых зелёных деревьев с круглыми оранжевыми плодами, замечательными на вкус. Небо каждый день рассветало ясно-голубым, и по небу катилось тёплое солнце, сохраняя прохладу в тени.

Малага была прекрасным маленьким городом, со скромным каменным фортом и большой древней мечетью, заполнившей собой центр города. Широкие тенистые улицы лучами расходились от мечети, которую сейчас реставрировали, к холмам, со склонов которых открывался вид на синее Средиземное море, простирающееся до костлявых и сухих гор Магриба, что поднимались над водой с юга. Аль-Андалус!

Бистами и Ибн Эзра нашли себе жилище, похожее на персидский рибат, в одной деревне

на окраине города, зажатой между полями и апельсиновыми рощами. Суфии выращивали там апельсины и виноград. По утрам Бистами помогал им в работе. Большую часть времени проводили на пшеничном поле, тянувшемся на запад. С апельсинами было легче.

— Ветви мы подрезаем, чтобы плоды не доставали до земли, — объяснила Бистами и Ибн Эзре однажды утром Зея, работница из рибата. — Сами посмотрите. Я по-разному пробовала их прореживать, чтобы проследить, что произойдёт с плодами, но деревья, если их не трогать, развивают форму оливы, и если не позволять ветвям касаться земли, то плоды не подцепят оттуда никакой гнили. Имейте в виду, что апельсины довольно восприимчивы к болезням. Плоды заражаются зелёной или чёрной плесенью, листья становятся ломкими, белыми или коричневыми. Кора покрывается коркой оранжевых или белых грибов. Божьи коровки помогают, окуривать деревья тоже полезно, что мы и делаем, чтобы спасти их во время морозов.

— Здесь бывают такие холода?

— Иногда в конце зимы, да. Здесь, знаете ли, не рай.

— Мне казалось, именно так и есть.

Из дома донёсся зов муэдзина, и они достали молитвенные коврики и преклонили колени на юго-восток, в направлении, к которому Бистами до сих пор не привык. Потом Зея подвела их к каменной печке, в которой горел огонь, и сварила им по чашке кофе.

— Не похоже на новую землю, — заметил Бистами, с удовольствием сделав глоток.

— На протяжении многих веков это была мусульманская земля. Омейяды правили здесь со II века, пока не пришли христиане и не захватили эту область, и чума не убила их.

— Верующие люди, — пробормотал Бистами.

— Да, но испорченные. Жестоко распоряжающиеся и свободными людьми, и рабами. И вечно воюющие между собой. Тогда царил хаос.

— Как в Аравии до Пророка.

— Да, именно так, хотя у христиан и была идея единого Бога. Что странно, они были полны противоречий. Они даже самого Бога пытались разделить на три части. Поэтому ислам превозмог. Но затем, спустя несколько столетий, жизнь здесь стала настолько беспечной, что даже мусульмане испортились. Омейяды потерпели крах, и никакая крепкая династия не пришла им на смену. Эмираты (тайфы) насчитывали более

тридцати государств, и они постоянно воевали между собой. Затем в V веке вторглись Альморавиды из Африки, а уже в шестом — Альмохады из Марокко вытеснили Альморавидов и сделали столицей Севилью. Христиане тем временем продолжали сражаться на севере, в Каталонии и за горами в Наварре и Фиранджe, а когда вернулись, отвоевали большую часть Аль-Андалуса обратно. Но им так и не удалось заполучить самый юг, королевство Насридов, включая Малагу и Гранаду. Эти земли оставались мусульманскими до самого конца.

— И они тоже погибли, — сказал Бистами.

— Да. Все погибли.

— Я не понимаю. Говорят, это Аллах наказал неверных за гонения мусульман, но если это так, зачем ему убивать мусульман?

Ибн Эзра уверенно помотал головой.

— Не Аллах убил христиан. Люди ошибаются.

— Даже если и нет, он позволил этому случиться. Он не защитил их. Однако Аллах всемогущ. Вот я чего не понимаю.

Ибн Эзра пожал плечами.

— Это очередной наглядный пример проблемы смерти и зла в мире. Наш мир не Рай, и Аллах, сотворив нас, дал нам свободу воли. Этот мир дан

нам, чтобы мы могли доказать свою преданность Богу или же свою греховность. Это очевидно, потому как главное не то, что Аллах могущественен, — главное, что он добр. Он не способен творить зло — и всё же зло существует в мире, из чего следует, что мы творим это зло сами. Поэтому наши судьбы не высечены в камне и не предопределены Аллахом. Мы должны строить их сами. Но иногда мы создаём зло — из страха, жадности или лени. Мы несём за это ответ.

— А чума? — подала голос Зея.

— В том вина не наша и не Аллаха. Оглянитесь: все живые существа едят друг друга, и часто меньшее съедает большее. Династия заканчивается, и маленькие воины поедают её. Так, например, плесень поедает упавший апельсин. Плесень похожа на миллион крохотных грибов. Я могу показать вам в увеличительное стекло, у меня с собой. И взгляните на этот апельсин, кроваво-красный апельсин, с тёмной мякотью. Вы их, верно, скрещивали, чтобы получить такой сорт?

Зея кивнула.

— Есть гибриды, наподобие мулов. Но растения можно скрещивать друг с другом снова и снова, пока не вырастет новый апельсин. Именно так нас и создал Аллах. Оба родителя смешивают своё

естество в потомстве. Все черты, как мне кажется, взяты от них, хотя глазу видны только некоторые. Другие же, оставшись незримыми, передаются следующему поколению. И вот, скажем, какая-нибудь плесень, развившись в их хлебе или даже в их воде, скрестилась с другой плесенью и родила какой-то новый организм, оказавшийся ядом. Он стал разрастаться и, будучи сильнее родителей, вытеснил их. И погибли люди. Возможно, он разносился по воздуху, как пыльца по весне, а возможно, селился внутри людей и отравлял их в течение долгих недель, прежде чем убить, и передавался вместе с их дыханием или через касания. И такой это оказался яд, что в конце концов уничтожил всю свою пищу и затем вымер сам из-за её недостатка.

Бистами уставился на куски кроваво-красного апельсина, которые лежали у него в руке, чувствуя лёгкую тошноту. Красная мякоть была похожа на дольки красной смерти.

Зея, глядя на него, посмеялась.

— Ну что же ты, ешь! Святым духом жив не будешь! Всё это случилось более ста лет назад, и люди давно уж вернулись и живут, не испытывая никаких проблем. Наша земля чиста от чумы, как и любая другая. Я живу здесь с рождения. Так что

доедай апельсин.

Бистами так и сделал, размышляя.

— Иными словами, всё это было случайным.

— Да, — ответил Ибн Эзра. — Думаю, так.

— Мне казалось, Аллах не должен допускать такого.

— Всем живым существам дана свобода в этом мире. И потом, возможно, что это случилось не на пустом месте. Коран учит нас жить в чистоте, и не исключено, что христиане игнорировали это правило на свой страх и риск. Они ели свиней, держали собак, пили вино…

— Ну, лично мы не считаем, что проблемой было вино, — усмехнулась Зея.

Ибн Эзра улыбнулся.

— Но если они жили в собственных нечистотах, среди кожевенных цехов и руин, ели свинину и касались собак, убивали и истязали друг друга, как варвары с востока, насиловали мальчиков и вывешивали мёртвые тела врагов у своих ворот, а они всё это делали, возможно, они сами и навлекли на себя чуму; понимаете, к чему я клоню? Они создали условия, которые их погубили.

— Но разве они так уж отличались от остальных? — спросил Бистами, думая о толпах и грязи в Каире и Агре.

Ибн Эзра пожал плечами.

— Они были жестокими.

— Более жестокими, чем Хромой Тимур?

— Не знаю.

— Разве они разоряли города и предавали мечу каждого жителя?

— Не знаю.

— Это делали монголы, а они стали мусульманами. Тимур был мусульманином.

— Значит, они изменили своим привычкам. Я не знаю. Но христиане были палачами. Может, это сыграло свою роль, а может и нет. Всем живым существам дана свобода. Во всяком случае, теперь их нет, а мы остались.

— И здравствуем, по большому счёту, — добавила Зея. — Разве что дети могут подхватить лихорадку и умереть. Но, в конечном счёте, все умирают. Но пока мы живы, жизнь у нас хороша.

Когда урожай апельсинов и винограда был собран, дни стали короче. Такого холода Бистами не чувствовал с той поры, как жил в Исфахане. И всё же в это самое время года, холодными зимними ночами, незадолго до самого короткого дня в году, цвели апельсиновые деревья: маленькие белые цветочки на зелёных круглых деревьях

благоухали, и аромат напоминал их вкус, но был более насыщенным и очень сладким, почти приторным.

В этом дурманящем воздухе явилась кавалерия, возглавляя длинный караван верблюдов и мулов, а за ними, к вечеру, пешком явились рабы.

Кто-то сказал, что это султан Кармоны, города близ Севильи, — некто Моджи Дарья и его спутники. Султан был младшим сыном нового халифа; у него возникли разногласия со старшими братьями в Севилье и Аль-Маджрити, вследствие которых он покинул город вместе со своими слугами с намерением перейти через Пиренеи на север и основать там новый город. Его отец и старшие братья правили в Кордове, Севилье и Толедо, и он планировал вывести свой караван через Аль-Андалус и вверх по Средиземноморскому побережью, древним маршрутом в Валенсию, а затем вглубь страны в Сарагосу, где, по его словам, находился мост через реку Эбро.

В начале этой «хиджры сердца», как называл их странствие султан, с ним в путь вышли более дюжины единомышленников из знати и из народа. И когда пёстрая толпа заполнила двор рибата, стало ясно, что вместе с семьями молодых севильских дворян, слугами, друзьями и иждивенцами к

ним присоединилось ещё много последователей из деревень и ферм, попадавшихся в сельской местности на пути от Севильи до Малаги. Суфийские дервиши, армянские торговцы, турки, евреи, зотты, берберы — кого тут только не было; их скопление напоминало торговый караван или какой-то фантастический хадж, где в Мекку направлялись только самые неподходящие люди — все те, кто никогда не станет хаджи[15]. Были здесь и пара карликов на пони, и группа одноруких и безруких бывших преступников, и музыканты, и двое мужчин, одетых как женщины; в этом караване нашлось место всем.

Султан широко развёл руки в стороны.

— Они называют нас «караваном дураков», как «корабль дураков». Мы переправимся через горы к земле благодати и будем дураками рядом с Богом. Бог наставит нас на путь.

Среди них появилась его султанша верхом на лошади. Она спешилась, не обращая внимания на огромного слугу, который стоял рядом, чтобы помочь ей, и присоединилась к султану, которого приветствовали Зея и другие жители рибата.

— Моя жена, султанша Катима, родом из Аль-

---

[15] Примечания: 15

В переводе с араб. яз. «паломник» (*прим. ред.*).

Маджрити.

Кастильская женщина, невысокая и стройная, стояла с непокрытой головой, юбки её платья для верховой езды были оторочены золотом, которое волочилось по пыли, длинные чёрные волосы были гладкой волной зачёсаны со лба назад и удерживались ниткой жемчуга. У неё было тонкое лицо с бледно-голубыми глазами, из-за которых её взгляд казался странным. Она улыбнулась Бистами, когда их представили друг другу, а потом с улыбкой оглядела водяные мельницы и апельсиновые рощи. Её увлекали мелочи, которых не замечал больше никто. Мужчины бросились всячески угождать султану, чтобы только оставаться рядом и иметь возможность находиться и в её присутствии. Бистами и сам поступил так же. Она посмотрела на него и сказала какой-то пустяк, голосом, похожим на турецкий гобой, гнусавый и низкий, и Бистами, услышав его, вспомнил, что сказало ему видение Акбара во время его откровения на свету: «Тот, кого ты ищешь, находится в другом месте».

Ибн Эзра низко поклонился, когда его представили.

— Я суфийский паломник, султанша, и скромный ученик мира. Я намереваюсь совершить

хадж, но мне близка идея вашей хиджры, я и сам хотел бы увидеть Фиранджу. Я изучаю древности.

— Христианские? — поинтересовалась султанша, пристально глядя на него.

— Да; но также и римлян, которые жили до христиан, во времена до жизни Пророка. Возможно, я совершу свой хадж на обратном пути.

— Мы рады всем, кто сам желает присоединиться к нам, — сказала она.

Бистами откашлялся, и Ибн Эзра ненавязчиво вывел его вперёд.

— А это мой юный друг Бистами, суфийский учёный из Синда, который уже совершал хадж и теперь продолжает свои искания на Западе.

Султанша Катима впервые пристально посмотрела на него и застыла, как громом поражённая. Её густые чёрные брови сосредоточенно насупились над светлыми глазами, и Бистами вдруг увидел в этом символ птичьего крыла, пересекавший лоб его тигрицы, из-за чего та всегда выглядела слегка удивлённой или озадаченной, как происходило сейчас и с этой женщиной.

— Рада встрече с тобой, Бистами. Нам не терпится набраться мудрости у знатоков Корана.

Позже в тот день она послала к нему раба с

приглашением присоединиться к ней для личной беседы в саду, отведённом для неё на время её пребывания в рибате. И Бистами пошёл, беспомощно одёргивая на себе одежду, безнадёжно грязную.

Дело было на закате. На западном небе среди чёрных кипарисовых силуэтов сияли облака. Цветы лимонных деревьев дарили свой аромат, и, увидев её одиноко стоящей у журчащего фонтана, Бистами почувствовал, словно пришёл куда-то, где уже бывал раньше, вот только здесь всё было наизнанку. Не похоже в деталях, но, на удивление, до странности, до ужаса знакомо, совсем как то чувство, которое ненадолго охватило его в Александрии. Она не была похожа ни на Акбара, ни даже на тигрицу. Но это случалось с ним раньше. Он слышал собственное дыхание.

Она заметила его, стоящего под арабесковыми арками у входа в сад, и поманила к себе, улыбнувшись.

— Надеюсь, ты не будешь возражать, что я без вуали. Я никогда её не ношу. В Коране ничего не говорится о вуалях, за исключением предписания покрывать грудь, что и так очевидно. А что касается лица, то жена Мухаммеда Хадиджа никогда не носила вуали, как и другие жёны Пророка

после смерти Хадижи. Пока она была жива, он хранил верность ей одной. И если бы не её смерть, он никогда бы не женился на другой женщине, он сам говорит об этом. И если она не носила вуаль, я тоже не чувствую в этом необходимости. Вуали вошли в обиход, когда их стали носить багдадские халифы, чтобы отделиться от общей массы и от кадаритов, которые могли оказаться среди них. Это стало символом власти, находящейся в опасности, символом страха. Женщины, конечно, опасны для мужчин, но не настолько, чтобы было необходимо скрывать лица. Ведь когда мы видим лица, мы отчётливее понимаем, что все равны перед Богом. Между нами и Богом нет вуали, не этого ли добился каждый мусульманин, подчинившись его воле?

— Да, — согласился Бистами, всё ещё потрясённый охватившим его чувством повторения.

Даже очертания облаков с запада показались ему знакомыми в этот момент.

— И я сомневаюсь, что где-либо в Коране даётся дозволение на то, чтобы муж бил свою жену, не так ли? Единственное подобное предположение можно сделать в суре 4:34: «Тех же, непокорных и непослушных, которые проявляют упрямство и неповиновение, сначала вразумляйте и уве-

щевайте хорошими и убедительными словами, затем отлучите их от своего ложа, — вот было бы ужасно, — а если это не поможет, тогда слегка ударяйте их, не унижая их». Сказано: «дараба», а не «дарраба», что на самом деле означает «ударять». «Дараба» значит «подтолкнуть», или даже «огладить пёрышком», как в поэме, или поддразнить во время занятия любовью: дараба, дараба. Мухаммед очень ясно дал это понять.

Потрясённый, Бистами через силу кивнул. Он мог чувствовать, что его лицо сейчас выражает удивление.

Она заметила это и улыбнулась.

— Вот что говорит мне Коран, — сказала она. — Сура 2:223 говорит: «Ваши жёны — нива для вас, так обращайтесь с ними, как со своей нивой». Улемы цитируют эти слова так, словно они означают, что с женщиной можно обращаться, как с грязью под ногами, но эти священнослужители, влезающие непрошеными заступниками между нами и Богом, никогда не возделывали землю, а земледельцы читают Коран правильно и понимают, что их жёны — это их пища, их питьё, их работа, постель, на которой они лежат по ночам, сама земля под их ногами! Да, конечно, относись к своей жене, как к земле под ногами! Благодари

Бога за то, что он дал нам священный Коран и всю его мудрость.

— Я благодарен, — сказал Бистами.

Она посмотрела на него и громко рассмеялась.

— Ты считаешь меня слишком прямолинейной.

— Вовсе нет.

— О, но я и правда прямолинейна, поверь мне. Даже очень. Но разве ты не согласен с моей трактовкой священного Корана? Я не внемлю его букве, как хорошая жена внемлет каждому движению мужа?

— Уверен, что так и есть, султанша. Моё мнение, что Коран… всегда говорит о всеобщем равенстве перед Богом. Не исключая мужчин и женщин. Во всём есть свои иерархии, но члены любой иерархии имеют равный статус перед Богом, и это единственный статус, который действительно имеет значение. Так, стоящие высоко и низко в положении здесь, на земле, должны иметь уважение друг к другу как собратья по вере. Братья и сёстры по вере, не важно, халифы вы или рабы. И таковы все правила Корана, касающиеся отношения друг к другу. Умеренность, даже во власти императора над самым низким рабом или врагом, взятым в плен.

— В священной книге христиан слишком мало правил, — ответила она невпопад, следуя ходу собственных мыслей.

— Я этого не знал. Вы читали?

— Власть императора над рабом, как ты и сказал. Даже для этого есть правило. И всё же никто не предпочтёт быть рабом, все хотят быть императором. И улемы переиначивали Коран своими хадисами, постоянно передёргивая его в пользу тех, кто находился у власти, пока послание Мухаммеда, изложенное ясно и просто, полученное напрямую от Бога, не вывернули наизнанку и добрые мусульманские женщины вновь не стали рабынями или того хуже. Чуть больше, чем скот, чуть меньше, чем люди. Жена по отношению к мужу теперь изображалась как раб по отношению к императору, а не как женское начало к мужскому, сила к силе, равная к равному.

Она раскраснелась лицом, и он видел её алеющие щёки даже в слабом предвечернем свете. Её глаза были такими бледными, что казались маленькими озерцами на фоне сумеречного неба. Когда слуги принесли факелы, её румянец стал ещё ярче, а бледные глаза заблестели, и пламя факелов плясало в этих зеркалах её души. Там плескалось столько гнева, горячего гнева, но Би-

стами никогда прежде не видал такой красоты. Он залюбовался ею, пытаясь запечатлеть этот момент в памяти: «Ты никогда этого не забудешь, никогда этого не забудешь!»

После некоторого молчания Бистами сообразил, что, если он ничего сейчас не скажет, разговор может на этом закончиться.

— Суфии, — начал он, — часто говорят об обращении к Богу напрямую. Это вопрос озарения; у меня был… Я сам испытал подобное, в момент крайнего отчаяния. По ощущению это было подобно тому, будто ты весь наполняешься светом, а душа входит в состояние бараки, божественной благодати. И этого состояния способны достичь все, в равной степени.

— Но разве суфии имеют в виду женщин, когда говорят «все»?

Он задумался. Суфии были мужчинами, это так. Они сплачивались в братства, они путешествовали поодиночке и останавливались в рибатах или завиях — жилищах, где не было ни женщин, ни женских покоев; если суфии женились, то они оставались суфиями, а их жёны становились жёнами суфиев.

— Всё зависит от того, где находиться, — ответил он, выждав паузу, — и какому суфийскому

наставнику следовать.

Она посмотрела на него с полуулыбкой, и он понял, что, сам того не сознавая, сделал ход в этой игре, целью которой было оставаться с ней рядом.

— Но суфийским наставником не может стать женщина, — сказала она.

— Нет: иногда они проводят молебны.

— А женщине нельзя проводить молебны.

— Никогда не слышал о подобном, — ответил Бистами, не отходя от шока.

— Так же, как мужчине нельзя родить.

— Да.

Накатило облегчение.

— Но мужчины не способны родить, — заметила она. — В то время как женщины запросто могут провести молебен. В гареме я занимаюсь этим ежедневно.

Бистами не знал, что сказать. Мысль всё ещё казалась ему странной.

— И матери всегда обучают своих детей молитве.

— Да, это так.

— Тебе известно, что до Мухаммеда арабы поклонялись богиням?

— Идолам.

— Но у них была идея. Женщины — это силы в царстве души.

— Да.

— И как вверху, так и внизу. Это верно во всём.

И вдруг она шагнула к нему и накрыла ладонью его обнажённую руку.

— Да, — сказал он.

— В нашем путешествии на север нам понадобятся знатоки Корана, которые помогут снять с Корана эти паутины, скрывающие его истинный смысл, и научат нас, как достичь озарения. Ты согласен? Ты пойдёшь с нами?

— Да.

7. Караван дураков

Султан Моджи Дарья был почти так же красив и любезен, как и его жена, и с не меньшим увлечением говорил о своих идеях, постоянно возвращаясь к излюбленной теме конвивенции. Ибн Эзра объяснил Бистами, что это движение сейчас набирает популярность среди молодых аль-андалусских дворян, желающих воссоздать Золотой век Омейядского халифата VI века, когда мусульманские правители не притесняли христиан и иудеев и бок о бок с ними взрастили прекрасную цивилизацию, каковой был Аль-Андалус в период до инквизиции и чумы.

Когда караван во всём своём разнузданном великолепии покинул Малагу, Ибн Эзра рассказал Бистами больше об этом периоде, который Хальдун описал кратко, а учёные Мекки и Каира опустили вовсе. Особенно благотворно сложилась судьба для андалузских евреев, переводивших на арабский язык многочисленные древнегреческие тексты с собственными комментариями, а также проводивших оригинальные исследования в области медицины и астрономии. Так мусульманские богословы из Андалузии,

наиболее важными из которых были Ибн Сина и Ибн Рашд, получили возможность использовать достижения греческой науки о логике, опираясь главным образом на Аристотеля, для обстоятельной защиты исламских догматов. Ибн Эзра рассыпался им в похвалах за труды.

— Даст Бог, и я посильным мне образом постараюсь продолжить эту традицию в отношении природы и руин древности.

Они заново освоились с давно знакомыми всем ритмами каравана. Рассвет: разжигать костры, варить кофе, кормить верблюдов. Собирать вещи, вьючить верблюдов, подгонять их в путь. Их колонна растянулась более чем на лигу[16], и отдельные группы пилигримов отставали, догоняли, вставали на привал, трогались с места; а чаще медленно шли в ногу со всеми. День: разбить лагерь или заехать в караван-сарай, хотя чем дальше на север, тем реже они встречали что-то, кроме заброшенных развалин, и даже дорога почти исчезла, заросшая зрелыми уже деревьями с толстыми, как бочки, стволами.

Они пересекали красивую местность, про-

[16] Примечания: 16

Общее название ряда единиц измерения расстояния; сухопутная лига равна трём милям или 4827 м, морская же лига равна, соответственно, трём морским милям, или 5556 м (*прим. пер.*).

шитую горными хребтами, перемежёванными высокими, широкими плато. Там Бистами казалось, что они попали в высшее пространство, где закаты отбрасывали длинные тени на огромный, тёмный, подветренный мир. Однажды, когда последний луч закатного солнца спрятался за тёмные опускающиеся облака, Бистами услышал, как где-то в лагере музыкант играет на турецком гобое, высекая в воздухе долгий заунывный мотив, который всё лился и лился, словно пело само сумеречное плато или плакала его душа. Султанша стояла на краю лагеря, прислушивалась вместе с ним и провожала взглядом закатное солнце, по-ястребиному повернув свою прекрасную голову. Солнце падало за горизонт со скоростью самого времени. Не было нужды говорить в этом певучем мире, таком огромном, перепутанном узлами; понять его было не под силу ни одному человеческому разуму, и даже музыка касалась его только краешком, но и эту малость они не сознавали, а только чувствовали. Вселенское целое было выше их понимания.

И всё же, и всё же иногда, как в этот момент, на закате, на ветру, мы улавливаем шестым чувством, о существовании которого не подозреваем, проблески этого большего мира: огромные фор-

мы космического значения, ощущение святости в измерениях, лежащих за пределами чувств, мыслей и даже восприятия, — наш видимый мир освещается изнутри, доверху переполняясь реальностью.

Султанша пошевелилась. В небе цвета индиго сияли звёзды. Она подошла к одному из костров. Она избрала его своим кади, понял Бистами, чтобы оставить себе как можно больше места для собственных идей. Такая община, как их, нуждалась в суфийском учителе, а не в обычном богослове. Люди говорили, что раньше она была прилежной девочкой и три года назад мучилась припадками. Теперь она изменилась.

Что ж, всё прояснится, когда придёт время. А пока — султанша, звук гобоя, бескрайнее плато. Такие моменты случаются лишь однажды. Сила этого чувства поразила его так же сильно, как и чувство узнавания, посетившее в саду рибата.

Как андалузские плато легли высоко под солнцем, андалузские реки текли глубоко в ущельях, подобно магрибским вади, но никогда не иссякающим. Реки были длинными, и пересечь их было непросто. В прошлом город Сарагоса вырос благодаря большому каменному мосту, который перекинулся через одну из самых больших здеш-

них рек, Эбро. Теперь город стоял практически заброшенным, и только несколько коммивояжёров, купцов и пастухов собирались в каменных домиках вокруг моста, которые выглядели так, словно сам мост построил их во сне. Остальной город исчез — зарос соснами и кустарником.

Но мост остался. Он был сделан из тёсаного камня и массивных квадратных брусьев, вытертых до такого состояния, что казались отполированными, хотя они и сходились на стыках так плотно, что в щель не пролезла бы ни монета, ни даже ноготь. Опоры моста с обоих берегов представляли собой приземистые тяжёлые каменные башни, которые, как сказал Ибн Эзра, были возведены прямо в породе. Он с большим интересом их разглядывал, когда застопорившийся караван перешёл через мост и разбивал стоянку на другой стороне. Бистами посмотрел на его рисунок.

— Красиво, не правда ли? Своего рода уравнение. Семь полукруглых арок, с самой большой посередине, где течение наиболее глубокое. Все римские мосты, которые я видел, идеально подогнаны под место. Почти всегда в них использованы полукруглые арки, которые добавляют прочности, хотя арку и нельзя перекинуть на большое расстояние, поэтому их нужно много.

И непременно бут — вот эти квадратные камни. Они ложатся ровно друг на друга, и их уже нипочём не сдвинуть с места. В этом нет никакой хитрости. Мы и сами могли бы до такого додуматься, если бы потратили время и силы. Единственная существенная проблема — это защита опор от паводков. Я видел немало опор, сработанных на совесть, с железными наконечниками на сваях, вколоченных в дно реки. Но если что-то идёт не так, опоры страдают первыми. Когда строители спешат и компенсируют это большим количеством камня, они запруживают реку и увеличивают этим воздействие потока на камень.

— Там, откуда я родом, мосты постоянно смывает, — сказал Бистами. — И люди просто строят на их месте новые.

— Да, но так гораздо аккуратнее. Любопытно, сохранились ли их записи в бумажном виде. Я не видел ни одной их книги. Оставшиеся здесь библиотеки ужасны: сплошная бухгалтерская отчётность, изредка разбавленная эротикой. Если и было что-то ещё, всё пустили на розжиг костров. Ну, хотя бы камни расскажут свою историю. Смотри, они так хорошо вытесаны, что не было нужды покрывать их извёсткой. А желез-

ные колышки, которые торчат наружу, вероятно, использовались для крепления лесов.

— Моголы в Синде хорошо строят, — заметил Бистами, вспоминая безупречные соединения в мавзолее Чишти. — Храмы и крепости в основном. Мосты у них чаще всего из бамбука, уложенного на груды камней.

Ибн Эзра кивнул.

— Такое много у кого. Впрочем, возможно, эта река разливается не так сильно. Местность-то, похоже, засушливая.

Вечером Ибн Эзра показал им небольшой макет подъёмников, которые, вероятно, использовали римляне для перемещения огромных камней: треноги, верёвки. Султан и султанша стали его главными зрителями, но и многие другие наблюдали, то попадая в круг факельного света, то пропадая из него. Они задавали Ибн Эзре вопросы, высказывали своё мнение; они остались, когда начальник кавалерии султана, Шариф Джалиль, вошёл в круг с двумя всадниками, под руки державшими третьего, которого обвиняли в воровстве, и, по-видимому, не в первый раз. Когда султан обсуждал происшествие с Шарифом, Бистами понял из разговора, что у обвиняемого была сомнительная репутация — по причинам

им известным, но оставленным невысказанными. Возможно, из-за его увлечения юношами. Дурное предчувствие, сродни страху, сковало Бистами, вызывая в памяти сцены из Фатехпур-Сикри: строгий шариат требовал отрубать ворам руки, а содомия, постыдный порок христианских крестоносцев, каралась смертной казнью.

Но Моджи Дарья просто подошёл к мужчине и дёрнул его к себе за ухо, словно отчитывал ребёнка.

— С нами ты ни в чём не нуждаешься. Ты присоединился к нам в Малаге, и от тебя требовалось только честно трудиться, чтобы оставаться частью нашего города.

Султанша кивнула.

— Если бы мы захотели, то могли бы с полным правом наказать тебя за это, и тебе бы это совсем не понравилось. Иди, спроси у наших безруких страдальцев, если не веришь мне! А то мы могли бы просто бросить тебя здесь одного, и посмотрим, как бы ты нашёл общий язык с местными жителями. Зотты не приемлют подобного поведения ни от кого, кроме себя. Они бы от тебя быстро избавились. Даю слово, именно это и случится, если Шариф приведёт тебя ко мне снова. Ты будешь отлучён от своей семьи. Поверь мне, — он

многозначительно посмотрел на жену, — ты об этом пожалеешь.

Мужчина прорычал что-то в знак послушания (Бистами видел, что он пьян), и его уволокли прочь. Султан велел Ибн Эзре продолжить свою лекцию о римских мостах.

Позже Бистами присоединился к султанше в большом королевском шатре, отмечая общую открытость их двора.

— Никаких вуалей, — отрезала Катима. — Ни изаров, ни хиджабов, ни покрывал, прячущих халифа от народа. Хиджаб стал первым шагом на пути к деспотизму халифата. Мухаммед никогда не был таким, никогда. Он построил первую мечеть и сделал её местом сбора для товарищей. Каждый имел туда доступ, каждый мог высказать своё мнение. Так могло бы оставаться и по сей день, и мечети были бы… совсем иными, чем теперь. И женщины, и мужчины имели бы слово. Так хотел Мухаммед, и кто мы такие, чтобы менять его начинания? Зачем следовать примеру тех, кто возводил преграды, кто превратился в тиранов? Мухаммед хотел, чтобы в мечети главенствовало чувство общности, а возглавлял молитву не более чем хакам, арбитр. Этот титул он любил больше всех остальных и в особенности

гордился им, ты знал это?

— Да.

— Но когда он ушёл на небеса, Муавия основал халифат и поставил стражу в мечетях, чтобы обезопасить себя, и с тех пор там правит тирания. Ислам перешёл от покорности к повиновению, и женщинам запретили посещать мечети и наказали покинуть своё законное место. Ислам превратился в карикатуру!

Она раскраснелась и вся дрожала от еле сдерживаемых эмоций. Бистами никогда не видел такого пыла и такой красоты в одном лице; он не мог думать ни о чём, точнее, мысли переполняли его сразу на нескольких уровнях, и, сосредотачиваясь на одном потоке сознания, он тонул в остальных, теряя покой и желая прекратить барахтаться в этом русле, желая просто, чтобы все потоки сознания накатили на него одновременно.

— Да, — сказал он.

Она отошла к следующему костру, легко присела на корточки в ворохе юбок, среди безруких и одноруких мужчин. Они бодро с ней поздоровались и протянули одну из своих чарок, и она сделала большой глоток, затем отставила её и сказала:

— Что ж, садитесь, пришло время. Вы снова становитесь похожи на крыс.

Они выдвинули табурет, и она села, а один из мужчин опустился перед ней на колени, повернувшись к ней широкой спиной. Она взяла протянутый гребень и флакон с маслом и начала расчёсывать длинные спутанные волосы мужчины. Разношёрстная публика их корабля дураков с довольным видом расположилась вокруг неё.

К северу от Эбро караван перестал расти в размерах. Города на старой дороге на север встречались гораздо реже, и были они совсем небольшими, населённые недавними переселенцами из Магриба, берберами, которые приплыли сюда из Алжира и даже Туниса. Они выращивали ячмень и огурцы, пасли овец и коз в длинных плодородных долинах, окаймлённых скалистыми хребтами, недалеко от Средиземного моря. Каталония — так называлась эта земля, славная земля, густо заросшая лесами на склонах холмов. Оставив королевства тайфы на юге, люди жили здесь в довольстве; они не чувствовали потребности следовать за изгнанным суфийским султаном и его пёстрым караваном, через Пиренеи и в дикую глушь Фиранджи. К тому же, как отметил Ибн Эзра, караван не располагал беско-

нечными запасами еды для содержания новых иждивенцев, не говоря уже о золоте или деньгах, на которые можно было бы докупать продукты в деревнях, мимо которых они проезжали.

Так они держались старой дороги, пока в начале длинной сужающейся долины не очутились на широком, засушливом, каменистом плато, которое вело к лесистым склонам горной гряды, образованном каменной породой более тёмной, чем Гималайские горы. Старая дорога вилась по самой ровной части наклонного плато, вдоль галечного русла почти обезвоженного ручья. Чуть дальше дорога повторяла контур расселины в холмах, пролёгшей прямо над руслом этого маленького ручейка, и поднималась в горы, которые, набирая высоту, становились всё более каменистыми. Теперь, разбивая стоянку на ночь, они никого не встречали и укладывались на ночлег в палатках или под звёздами, спали под свист ветра в деревьях, под плеск ручьёв и и поскрипывание лошадиной упряжи. Наконец дорога завилась среди скал: плоская лента, ведущая через скалистый перевал, затем через горный луг среди вершин, потом вверх через другой узкий перевал, окружённый гранитными бойницами, и наконец вниз. По сравнению с Хайберским

проходом путь оказался не таким уж тяжёлым, решил Бистами, но многие в караване тряслись от страха.

На другой стороне перевала старую дорогу периодически преграждали каменные оползни, и она превращалась в обычную пешеходную тропу, вынуждая пробираться мимо камней, залёгших под острыми углами. Преодолеть их было нелегко, и султанша часто слезала с лошади и шла пешком, ведя за собой своих женщин и пресекая на корню жалобы и нерасторопность. Когда она сердилась, то бывала особенно остра на язык и не скупилась на язвительные комментарии.

Каждый вечер, когда они останавливались на привал, Ибн Эзра осматривал дорогу и оползни, мимо которых они проезжали, делая зарисовки виднеющейся каменной дорожной кладки и сточных канав.

— Типичная римская работа, — сказал он однажды вечером у костра, когда они ели жареную баранину. — Они оплели этими дорогами всю землю вокруг Средиземного моря. Не удивлюсь, если этот маршрут был их основным при переходе через Пиренеи. Впрочем, это слишком далеко на западе. Мы скорее выйдем к западному океану, чем к Средиземному морю. Однако возможно,

этот проход самый лёгкий. Дорога такая большая; трудно поверить, что этот путь — не главный.

— Может быть, они все большие, — предположила султанша.

— Возможно. Они использовали такие повозки, которые потом нашли люди, поэтому им требовались более широкие дороги, чем наши. Верблюдам-то, ясное дело, дорога вообще не нужна. Или это всё-таки и есть их главная дорога. Возможно, та самая, по которой Ганнибал шёл на Рим с карфагенской армией и их слонами! Я видел руины их страны к северу от Туниса. Карфаген был очень большим городом. Но Ганнибал проиграл, и Карфаген проиграл; римляне разорили город, засыпали поля солью, и Магриб высох. Нет больше Карфагена.

— Значит, по этой дороге могли ходить слоны, — сказала султанша.

Султан посмотрел на тропу вниз и покачал головой в изумлении. Они оба радовались новым знаниям.

Спустившись с гор, они попали в холодные страны. Полуденное солнце едва-едва освещало вершины Пиренеев. Земля была плоской и серой, часто подёрнутой туманом. Океан лежал на Западе, серый, холодный и неистовый от высокого

прибоя.

Караван подошёл к реке, которая изливалась в это западное море, окружённое руинами древнего города. По обе стороны недавно возведенного деревянного моста стояли скромные домики рыбаков.

— Только взгляните, насколько римляне были мастеровитее нас, — сказал Ибн Эзра, но всё равно отправился взглянуть на новую работу.

Он вернулся.

— Судя по всему, раньше этот город назывался Байонна. Вон там есть табличка, на уцелевшей башне моста. Судя по картам, к северу отсюда есть ещё один город, более крупный, под названием Бордо. На самом берегу.

Султан покачал головой.

— Мы уже зашли достаточно далеко. Этот подойдёт. За горами, но всё же лишь в умеренном удалении от Аль-Андалуса. Именно так, как я и хотел. Мы поселимся здесь.

Султанша Катима кивнула, и караван начал долгий процесс обустройства.

8. Барака

Строились, как правило, поднимаясь вверх по течению от развалин древнего города, выкапывая камни и балки, пока от прежних зданий не осталось практически ничего. Не тронули только храм, построенный наподобие огромного каменного амбара, лишённого всяких идолов и изображений. Сооружение в виде грубого приземистого параллелепипеда нельзя было назвать красивым по сравнению с мечетями цивилизованного мира, но оно было большим и располагалось на возвышенности, с которой открывался вид на излучину реки. Поэтому, обсудив это со всеми членами каравана, они решили сделать из храма свою главную, или пятничную, мечеть.

Преобразования начали безотлагательно. Этот проект взял на себя Бистами, он много времени проводил с Ибн Эзрой, описывая то, что ему запомнилось: о мавзолее Чишти и других великих строениях империи Акбара, рассматривая рисунки Ибн Эзры, выискивая, что можно сделать, чтобы уподобить древний храм мечети. В итоге они приняли решение снять со старого здания

крышу, которая и так уже во многих местах прохудилась, а стены сохранить как внутренние подпорки для круглой или, скорее, овальной мечети с куполом. Султанша хотела, чтобы молитвенный дворик выходил на большую городскую площадь, как бы демонстрируя, что в их версии ислама двери мечети открыты для каждого, и Бистами делал всё возможное, чтобы угодить ей, хотя все указывало на то, что дворик будет заливать частый для этого региона дождь, а зимой его завалит снег. Ничто не имело значения: место поклонения протянется от мечети к площади, а затем от площади по всему городу, и заодно и по всему миру.

Ибн Эзра увлечённо разрабатывал строительные леса, тачки, тележки, подпорки, балки, цементный раствор и тому подобное. По звёздам и тем немногим картам, что у них имелись, он определил направление на Мекку, куда, помимо обычных указательных знаков, должна будет смотреть и сама мечеть. Город стягивался к большой мечети, сметая на своём пути старые здания и используя их в строительстве новых, по мере расселения людей всё ближе и ближе. Редкие армяне и зотты, жившие среди руин до их прибытия, либо присоединялись к общине, либо

уходили на север.

— Нужно оставить место возле мечети для медресе, — сказал Ибн Эзра, — пока город не занял весь этот район.

Султану Моджи понравилась эта идея, и он приказал тем, кто поселился рядом с мечетью во время работы над ней, переехать. Некоторые рабочие стали возражать против этого, а потом и вовсе отказались работать. На общем собрании султан вышел из себя и пригрозил недовольным изгнанием из города, хотя на деле в его подчинении находилась лишь немногочисленная личная стража, едва достаточная, по мнению Бистами, для охраны даже самого султана. Бистами вспомнил огромную кавалерию Акбара, солдат мамлюков — ничем подобным султан не располагал, и даже теперь, столкнувшись с десятком-другим обиженных непокорных, ничего не мог с ними поделать. Открытость каравана вызывало ощущение опасности.

Но султанша Катима подъехала на своей арабской кобылице, спешилась и подошла к султану. Она положила руку ему на плечо и сказала что-то, предназначенное ему одному. Он встрепенулся, быстро соображая. Султанша бросила на несговорчивых поселенцев такой свирепый взгляд,

что Бистами содрогнулся: ни за что на свете не пожелал бы он увидеть её такой ещё раз. Баламуты и впрямь побледнели и пристыженно опустили глаза.

Она сказала:

— Мухаммед сказал нам, что через учение Бог возлагает величайшую надежду на человечество. Мечеть — сердце знания, дом Корана. И медресе — продолжение мечети. Так должно быть в любой мусульманской общине, которая хочет всесторонне познать Бога. И так будет и здесь. Вне всяких сомнений.

И она увела мужа, во дворец по другую сторону старого городского моста. Среди ночи султанские стражники вернулись с обнажёнными мечами и пиками, готовые поднять поселенцев с постелей и прогнать, но их уже не было.

Услышав эту новость, Ибн Эзра кивнул с облегчением.

— В будущем придётся всё планировать хорошо заранее, чтобы избежать подобных сцен, — тихо поделился он с Бистами. — Этот инцидент в некоторой степени, наверное, упрочил репутацию султанши, но дорогой ценой.

Бистами не хотел об этом думать.

— Главное, теперь наши мечеть и медресе бу-

дут стоять бок о бок.

— Это две стороны одной медали, как и сказала султанша. Особенно если включить в программу медресе изучение чувственного познания мира. А я на это надеюсь. Нельзя допустить, чтобы такое место разменивалось на простые коленопреклонения. Бог послал нас в этот мир, чтобы познать его! Это высшая форма преданности Богу, как сказал Ибн Сина.

Этот небольшой кризис вскоре был позабыт, и новый город, названный султаном Баракой — по слову, означавшему «благодать», о котором говорил ему Бистами, — принял форму, которая сейчас казалась им единственно возможной и верной. Руины старого города исчезли за улицами и площадями нового, его садами и мастерскими; архитектурой и планом город напоминал Малагу и другие прибрежные города Андалусии, только с высокими стенами и маленькими окнами, потому что зимы здесь стояли холодные, а осенью и весной с океана дул сырой ветер. Дворец султана был единственным в городе зданием, таким же открытым и светлым, как средиземноморские дома; он напоминал горожанам об их корнях и демонстрировал, что султан выше банальных погодных условий. За мостом напротив дворца

площади были маленькими, а улицы и переулки узкими, так что медина — или касба, городской центр — разрослась, как и в любом другом магрибском или арабском городе, в настоящий лабиринт зданий, в основном трёхэтажных, верхние окна которых смотрели друг на друга через переулки настолько узкие, что можно было, как говорилось, передавать соль из окон в окна.

Когда в первый раз выпал снег, все выбежали на площадь перед большой мечетью, напялив на себя почти всё, что у них имелось из одежды. Разожгли большой костёр, муэдзин огласил час молитвы, все помолились, и дворцовые музыканты синими губами и замёрзшими пальцами играли музыку, а люди танцевали вокруг костра на суфийский манер. Хоровод дервишей в снегу! Все смеялись, глядя на это, и чувствовали, что они принесли ислам на новую землю, в новый климат. Они создавали новый мир! В девственных лесах к северу от города было предостаточно дров, всегда в изобилии была рыба и птица — они не замёрзнут, не оголодают. Зимой город продолжит жить, укрытый тонким одеялом влажного тающего снега, как высоко в горах; длинная река впадала в серый океан, он с неуёмной яростью накатывал на берег, тут же поглощая падавшие в

волны снежинки. Эта страна принадлежала им.

Как-то раз, весной, прибыл новый караван с чужеземцами и их пожитками; все они услышали о новом городе Бараке и захотели переехать туда. Ещё один караван дураков, прибывший из армянских и зоттских поселений в Португалии и Кастилии, чьи преступные наклонности были очевидны из-за большого числа безруких людей, музыкантов, кукольников и гадалок.

— Я удивлён, что им удалось перебраться через горы, — сказал Ибн Эзре Бистами.

— Видимо, тяжёлые условия сделали их изобретательными. Аль-Андалус — опасное место для таких, как они. Брат султана — очень жесток в роли халифа, насколько мне известно, почти Альмохад в своей строгости вероисповедания. Он насаждает такую строгую форму ислама, какой ещё не видывал этот мир, даже во времена Пророка. Нет, в этом караване идут беглецы, какими и мы были.

— Убежище, — сказал Бистами. — Место, где тебе всегда предоставят защиту. Для христиан убежищами часто становились их церкви или королевский двор. Как некоторые суфийские рибаты в Персии. Это очень хорошо. Хорошо, что к нам приходят люди, когда в других местах закон

становится слишком суров.

И им позволили остаться. Некоторые из них были отступниками или еретиками, и Бистами дискутировал с ними прямо в мечети, пытаясь создать атмосферу, в которой подобные вопросы могли бы обсуждаться свободно и безбоязненно (да, опасность существовала, но она осталась далеко за Пиренеями), но также не допуская богохульственных высказываний в адрес Бога или Мухаммеда. Не имело значения, кто был перед ним, суннит или шиит, араб или андалусец, турок или зотт, мужчина или женщина, — значение имели только вера и Коран.

Бистами с интересом подмечал, что поддерживать это религиозное равновесие становилось тем легче, чем дольше он над этим работал, как будто он упражнялся в материальной эквилибристике, стоя на высокой изгороди или стене. Бросить вызов халифу? Смотрите, что говорит об этом Коран. Забудьте хадисы, которыми обросла священная книга, как ржавчиной (они слишком часто искажали её), — тянитесь к источнику. Послания могут показаться вам неоднозначными, и часто так и бывало, но книга приходила к Мухаммеду в течение многих лет, и самые важные понятия нередко в ней повторялись, каждый раз

привнося что-то новое. Они прочтут все соответствующие отрывки и обсудят различия.

— Когда я учился в Мекке, истинные богословы говорили…

Большего авторитета Бистами не мог себе приписать, он мог только ссылаться на то, что слышал от по-настоящему знающих богословов. Да, так передавались и хадисы, но с другим содержанием: он учил не доверять хадису, но только Корану.

— Я говорил с султаншей…

Это был ещё один его излюбленный ход. Он действительно советовался с ней почти по любому поводу и непременно во всех вопросах, касающихся женщин или воспитания детей; в делах семейных он тоже полагался на её суждения, которым за первые годы научился доверять безоговорочно. Она знала Коран вдоль и поперёк, выучила наизусть все суры, помогавшие ей бороться с проблемами иерархии, и всегда покровительствовала слабым. И прежде всего она пленяла взоры и сердца каждого, где бы ни оказалась, и в мечети в особенности. Никто больше не оспаривал её право присутствовать там, а иногда даже вести молебны. Казалось противоестественным запрещать такому созданию,

исполненному божественной благодати, посещать место поклонения в городе под названием Барака. Как сказала она сама:

— Разве не Бог меня создал? Не он дал мне ум и душу столь же великие, как у любого мужчины? Разве дети мужчин рождаются не от женщин? Неужели вы откажете вашей матери в месте на небесах? И может ли обрести небеса тот, кто не допущен к Богу на этой земле?

Те, кто отвечал на эти вопросы отрицательно, надолго в Бараке не задерживались. К северу, выше по течению располагались другие города, основанные армянами и зоттами, которые не разделяли мусульманского рвения. Со временем разъехалось изрядное число подданных султана. И тем не менее толпы у большой мечети росли. Люди строили новые мечети на раздвигающихся окраинах города, обычные районные мечети, но пятничная мечеть всегда оставалась местом, где собирался весь город, и горожане заполняли прилегающую к ней площадь и территорию медресе в дни религиозных праздников и Рамадана, а также в первый день снега, когда на площади разжигали зимний костёр. Тогда Барака была одной семьей, а султанша Катима — их матерью и сестрой.

Медресе росло так же стремительно, как и город, если не быстрее. По весне, когда сходил снег с горных дорог, прибывали новые караваны во главе с провожатыми-горцами. И всегда в караване находились те, кто приехал, чтобы учиться в медресе, которое прославилось исследованиями Ибн Эзры о растительном и животном мире, о римлянах, о строительной технике и о звёздах. Приезжая из Аль-Андалуса, иногда привозили с собой недавно найденные книги Ибн Рашда, Маймонида или новые арабские переводы древних греков, и обязательно — желание делиться собственным знанием и узнавать больше. Новая конвивенция обрела своё сердце в медресе Бараки, и земля полнилась слухами.

И вот в один скверный день, на исходе 6-го года бараканской хиджры, султан Моджи Дарья тяжело заболел. За последние месяцы он сильно располнел, и Ибн Эзра пытался лечить его, посадив на строгую диету из зерна и молока, что как будто положительно сказалось на цвете его лица и энергии; но однажды ночью ему стало плохо. Ибн Эзра разбудил спящего Бистами:

— Идём. Султан слишком болен, и ему нужно прочесть молитву.

Из уст Ибн Эзры это звучало как приговор,

так как он не был большим любителем молитв. Бистами поспешил за ним, и вместе они встретились с королевской семьёй в их крыле большого дворца. Султанша Катима побелела как полотно, и Бистами поразился, отметив, как огорчило её его появление. Она не имела ничего против него лично, но сразу поняла, почему Ибн Эзра привёл его в такой час, и, прикусив губу, отвернулась, пряча тёкшие по щекам слёзы.

В их опочивальне султан метался по кровати, не произнося ни слова, лишь тяжело, придушенно хрипя. Его лицо было тёмно-красного цвета.

— Его отравили? — шёпотом спросил Бистами у Ибн Эзры.

— Я так не думаю. Дегустатор здоров, — ответил он, указывая на большую кошку, которая спала, свернувшись калачиком на своей лежанке в углу. — Если только кто-нибудь не уколол его отравленной иглой. Но я не вижу никаких признаков.

Бистами сел рядом с беспокойным султаном и взял его горячую руку. Прежде чем он успел вымолвить хоть слово, султан слабо застонал и изогнул спину дугой. Он перестал дышать. Ибн Эзра схватил его за руки, скрестил их у него на груди и сильно надавил, сам кряхтя от усилий. Но

всё было напрасно: султан умер, его тело застыло в последнем спазме. Султанша, рыда навзрыд, ворвалась в комнату, пытаясь привести его в чувство, взывая к нему, к Богу, умоляя Ибн Эзру не останавливаться. Мужчинам потребовалось некоторое время, чтобы убедить её, что всё это напрасно: султан был мёртв.

Похоронные традиции в исламе берут начало из древних времён. Мужчины и женщины на время прощания собираются отдельно друг от друга и встречаются только потом, во время непродолжительного погребения.

Но это, конечно же, были похороны первого султана Бараки, и султанша сама повела всё городское население на площадь большой мечети, куда велела вынести тело султана для прощания. Бистами оставалось только идти вместе с толпой и произносить знакомые слова молитвы, как и во время всякого общего молебна. И почему нет? Некоторые слова богослужения имели смысл, только обращённые ко всем членам общины; и вдруг, глядя на непокрытые, убитые горем лица всех горожан Бараки, он понял, что традиции ошибались, что неправильно и даже жестоко разделять общину в тот момент, когда люди должны смотреть друг на друга как на единое целое. Нико-

гда ещё так сильно он не проникался настолько неортодоксальной мыслью — до этого он просто соглашался с идеями султанши из инстинктивной аксиомы, что она всегда права. Потрясённый этой внезапной переменой в образе мыслей и видом тела любимого султана, лежащего в гробу на помосте, он напомнил всем, что на всякую жизнь солнце светит лишь некоторое количество часов. Он произнёс слова этой спонтанной проповеди хриплым, надрывным голосом, который даже ему самому показался каким-то чужим; он чувствовал то же самое, что и в те бесконечные дни, оставшиеся в далёком прошлом, когда читал Коран под нависшими тучами гнева Акбара. Эта ассоциация оказалась последней каплей, и он заплакал, не в силах продолжать. Плакали все на площади, многие голосили и били себя в грудь в самоуничижении, что немножко унимало боль.

Весь город последовал за кортежем с султаншей Катимой во главе на гнедом коне. Толпа выла от горя, как волны на каменном берегу. Султана опустили в могилу с видом на величественный серый океан, и после этого много месяцев носили чёрное и посыпали голову пеплом.

Почему-то год траура так и не закончился. Дело было не только в смерти правителя, дело было

в том, что султанша продолжала править самостоятельно.

Теперь и Бистами, и все остальные согласились бы, что султанша Катима всегда была истинным лидером, а султан — её благосклонным и возлюбленным супругом. В этом не оставалось никаких сомнений. Но теперь, когда султанша Бараки Катима входила в мечеть и читала слова пятничной молитвы, Бистами становилось снова не по себе, и он видел, что горожанам тоже неловко. Катима уже не раз выходила к ним с проповедями, но теперь все ощущали отсутствие ангела-покровителя в образе кроткого султана за рекой.

Это беспокойство передалось и Катиме, и речи её стали напористее и жалобнее.

— Богу угодно, чтобы в браке муж относился к жене и жена к мужу как равные. Что может муж, то может и жена! Во времена разлада перед первым годом, во времена, ставшие точкой отсчёта, мужчины обращались с женщинами, как с домашней скотиной. Бог, говоря своё слово через Мухаммеда, ясно дал понять, что женская душа равна мужской и к ним следует относиться как к равным. Богом женщинам дано много прав: право наследования, право развода, право выбора, право распоряжаться своими детьми — женщинам

дана жизнь, слышите? Перед первой хиджрой, перед 1-м годом, посреди царившего межплеменного хаоса, убийств и воровства, среди общества обезьян Бог сказал Мухаммеду изменить это. Он сказал: «Да, ты можешь брать в жены нескольких женщин, если захочешь, если ты сможешь сделать это, избежав раздоров». И следующий же стих гласит: «Но раздоров избежать нельзя!» Что же это, как не запрет на многожёнство, изложенный в двух частях, в форме загадки или урока для мужчин, которые не подумали бы об этом сами?

Но теперь стало совершенно ясно, что она пытается изменить порядок вещей в мире, в исламе. Конечно, они все пытались, всё это время, но втайне, не сознаваясь в этом никому, даже самим себе. Они оказались лицом к лицу со своим единственным правителем, женщиной, — но в исламе не было цариц. Для них не существовало подходящего хадиса.

Бистами, страстно желая помочь, сочинял собственные хадисы, либо снабжая их правдоподобными, но ложными иснадами и приписывая древним суфийским мыслителям, выдуманным из воздуха, либо приписывая их султану, Моджи Дарье, или какому-нибудь известному ему старому персидскому суфию, либо оставлял

без авторства, как мудрость, слишком распространённую, чтобы в нём нуждаться. Султанша делала то же самое, как ему казалось, следуя его примеру, но чаще всего находила опору в самом Коране, многократно возвращаясь к сурам, которые подкрепляли её точку зрения.

Но все знали, как заведено в Аль-Андалусе, Магрибе, Мекке и по всему Дар аль-Исламу, от западного до восточного океана (которые, как теперь утверждал Ибн Эзра, были двумя берегами одного и того же океана, охватывавшего большую часть Земли, а Земля, на самом деле, представляла собой шар, более чем наполовину покрытый водой). Женщины не читали проповеди. Когда это делала султанша, это было шокирующим, и шокирующим втройне после смерти султана. Все говорили о том, что султанше, если она хотела и дальше идти по этой стезе, нужно было повторно выйти замуж.

Но она не выражала ни малейшей заинтересованности в браке. Она носила чёрное траурное платье, держалась особняком от других горожан и не поддерживала дипломатических связей ни с кем из Аль-Андалуса. Единственный мужчина, с которым она проводила больше всего времени наедине, не считая Моджи Дарьи, был сам

Бистами; и когда он понял, почему некоторые горожане косились на него, намекая на то, что он мог бы жениться на султанше и избавить их от затруднительного положения, у него закружилась голова, его чуть не стошнило. Он так сильно любил её, что не мог вообразить себя женатым на ней. Это была не та любовь. Он думал, что и она не может себе такого представить, поэтому не было и речи о том, чтобы опробовать эту идею, одновременно привлекательную и пугающую, и потому болезненную до крайности. Однажды она беседовала с Ибн Эзрой в присутствии Бистами, расспрашивая о его предположениях насчёт океана, простёршегося перед ними.

— Ты хочешь сказать, это тот же самый океан, который видели молуккцы и суматранцы на другом конце света? Как такое возможно?

— Мир — это сфера, в этом не может быть сомнений, — сказал Ибн Эзра. — Он круглый, как луна или как солнце. Это шар. Мы добрались до западного конца суши, а на другой стороне земного шара находится восточный конец суши. Этот океан покрывает весь остальной мир, вот так.

— Значит, мы можем доплыть до Суматры?

— Теоретически, да. Я пытался рассчитать размеры Земли, используя вычисления древних

греков, Брахмагупты из Южной Индии и мои собственные исследования неба. И хотя я не могу быть уверен, но думаю, что Земля составляет около десяти тысяч лиг в обхвате. Брахмагупта называл число в пять тысяч йоганд, что, как я понимаю, примерно равно этому расстоянию. А размеры суши, от Марокко до Молуккских островов, составляют около пяти тысяч лиг. Таким образом океан, который мы видим сейчас перед собой, покрывает полмира, пять тысяч лиг или больше. Ни один корабль не сможет преодолеть такое расстояние.

— И ты уверен, что Земля настолько большая?

Ибн Эзра неопределённо махнул рукой.

— Не уверен, султанша. Но полагаю, что это похоже на правду.

— А острова? Не может же океан пустовать на протяжении пяти тысяч лиг! Наверняка в нём есть острова!

— Наверняка, султанша. Во всяком случае, это немаловероятно. Андалусские рыбаки рассказывали, что иногда их прибивало к островам, когда штормы или течения уносили их на запад, но они не описывают, как далеко и в каком именно направлении.

На лице султанши мелькнуло обнадёженное

выражение.

— Тогда мы могли бы уплыть и найти те самые острова, или другие, похожие на них.

Ибн Эзра снова махнул рукой.

— Что? — спросила она резко. — Ты сомневаешься, что сможешь построить корабль, который выдержит морское путешествие?

— Это возможно, султанша. Но обеспечить его всем необходимым для такого долгого плавания… Мы ведь не знаем, как долго оно продлится.

— Что ж, — протянула она мрачно, — возможно, нам придётся это выяснить. Теперь, когда султан мёртв и мне некого взять в мужья… — и она метнула в Бистами один-единственный взгляд, — … нас пожелают захватить коварные андалусцы.

Этот взгляд резанул Бистами, как ножом по сердцу. Всю ночь он проворочался, снова и снова вспоминая тот короткий момент. Но что он мог поделать? Как помочь в этой ситуации? Он всю ночь не сомкнул глаз.

Потому что муж знал бы, как помочь ей. Из Бараки ушла гармония, и слух об этом, видимо, распространился по Пиренеям, ибо ранней весной следующего года, когда вода в реках стояла ещё высоко, а горы, защищавшие их с юга, белели зубцами, по тропе с холмов спустились всад-

ники, едва обогнав холодную весеннюю бурю, подходившую с океана. Всадники шли длинной колонной под развевающимися флагами Толедо и Гранады, вооружённые мечами и пиками, сверкающими на солнце. Они въехали на площадь перед мечетью в центре города, красочного под низко нависшими облаками, и опустили пики так, что все они указывали вперёд. Их предводителем был один из старших братьев султана, Саид Дарья, и он привстал в серебряных стременах, возвышаясь над собравшимися горожанами, и заявил:

— Именем халифа Аль-Андалуса, мы заявляем свои права на этот город, чтобы избавить его от вероотступничества и от ведьмы, которая приворожила моего брата и убила его в собственной постели.

Горожане, прибывавшие с каждой секундой, непонимающе смотрели на всадников. Кто-то побагровел и поджал губы, кто-то обрадовался, большинство были растеряны и угрюмы. Кое-кто из изгоев с первого «каравана дураков» уже поднимал с земли булыжники.

Бистами наблюдал это с улицы, ведущей к реке, и что-то в этой картине подействовало на него, как удар под дых: эти указующие пики и арбале-

ты напомнили ему ловушку на тигра в Индии. А сами всадники были похожи на ба-мари, кланы профессиональных убийц тигров, которые ездили по стране, избавляясь от назойливых тигров за плату. Он уже видел их раньше! И не только с тигрицей, но и до этого, в какой-то другой раз, который он с большим трудом вспомнил: какая-то засада на Катиму, смертельная ловушка, мужчины, режущие её ножами, когда она была высокой и чернокожей, — о, всё это уже случалось раньше!

В панике он помчался через мост ко дворцу. Султанша Катима уже собиралась садиться верхом на коня, чтобы сразиться с захватчиками, но он бросился между ней и конём; в бешенстве она попыталась обогнуть его, но он обхватил её за талию, тонкую, как у девочки, что потрясло их обоих, и воскликнул:

— Нет, нет, нет, нет! Нет, султанша, заклинаю вас, заклинаю, не ходите туда! Вас убьют, это ловушка! Я видел! Вас убьют!

— Мне нужно идти, — сказала она, раскрасневшись. — Я нужна людям…

— Нет! Вы нужны им живой! Давайте уйдём, и они последуют за нами! А они последуют! Оставим город этим людям, здания ничего не значат,

мы пойдём на север, и ваши люди последуют за нами! Послушайте же меня! — и он крепко схватил её за плечи и не отпускал, заглядывая в глаза. — Я уже видел, чем это заканчивается. Мне снизошло озарение. Нужно спасаться бегством, или же нас убьют.

За рекой раздавались крики. Андалсские всадники не привыкли к сопротивлению со стороны населения без солдат и без кавалерии — и они носились по улицам за толпами горожан, которые бросали в них камни и убегали. Многие баракийцы обезумели от гнева: однорукие наверняка будут готовы сложить головы, защищая её, и захватчикам придётся не так легко, как они думали. Снег кружился в тёмном воздухе, гонимый ветром из серых облаков, плывущих низко над головой, а в городе уже начались пожары: горел район вокруг большой мечети.

— Ну же, султанша, не будем терять времени! Я видел, как это случается, они не пощадят, они уже близко, около дворца, мы должны немедленно уходить! Такое случалось раньше! Мы построим новый город на севере, и часть ваших людей уйдёт с нами, мы соберём караван и начнём всё сначала, и тогда сможем защитить себя!

— Чёрт с тобой! — крикнула вдруг султанша

Катима, обводя взглядом горящий город. Налетел порыв ветра и принёс едва различимые крики из города. — Проклятье! Будь они прокляты! Тогда седлайте лошадей, слышите, все вы! Нам придётся мчаться во весь опор.

9. Новая встреча в бардо

И когда много лет спустя они вновь собрались в бардо, уже совершив путешествие на север и основав там город Нсара в устье реки Лавийя, и отстояв его против андалусских султанов тайфы, которые попытались напасть на них несколько лет спустя, заложив начало морской державы, рыбача по всему морю и ведя торговлю даже за морями, Бистами был всем доволен. Они с Катимой так и не поженились, никогда больше не затрагивая эту тему, но в течение многих лет он был главным улемом Нсары и помогал отстаивать религиозную правомерность такого неслыханного доселе явления: женщины во главе исламского государства. И вместе с Катимой они работали над этим проектом почти каждый день этих своих жизней.

— Я узнал тебя! — напомнил он Катиме. — В середине жизни, сквозь завесу забвения, когда это было нужно, я увидел тебя, и ты… ты тоже что-то во мне увидела. Ты знала, что произошло нечто из высшей реальности! Мы делаем успехи.

Катима не ответила. Они сидели на каменных плитах во дворе какого-то места, очень похожего

на мавзолей Чишти в Фатехпур-Сикри, за исключением того, что двор был значительно больше. Люди стояли в очереди, чтобы войти в мавзолей и предстать перед судом. Они выглядели как хаджи в очереди к Каабе. Изнутри до Бистами доносился голос Мухаммеда, одних поощряющий, других увещевающий.

— Попробуй ещё раз, — услышал он голос, похожий на голос Мухаммеда, обращённый к кому-то.

Всё было тихо и приглушённо. Оставался час до восхода солнца, прохладный и влажный воздух полнился далёким пением птиц. Сидя рядом с ней, Бистами теперь совершенно ясно видел, что Катима совсем не похожа на Акбара. Акбар наверняка был послан в низшее царство и теперь рыскал по джунглям в поисках пищи, как Катима в своё прежнее существование, когда была тигрицей-убийцей, каким-то чудом подружившейся с Бистами. Сначала она спасла его от индуистских мятежников, а затем забрала из рибата в Аль-Андалусе.

— Ты тоже узнала меня, — сказал он. — И мы оба знали Ибн Эзру, — который в этот момент осматривал стены внутреннего двора, ведя ногтем по линии стыка между двумя камнями,

восхищаясь каменной кладкой в бардо.

— Это большой успех, — повторил Бистами. — Наконец-то мы чего-то добились!

Катима бросила на него полный сомнений взгляд.

— И это ты называешь успехом? То, что нас загнали в дыру на самом краю света?

— Какая разница, где? Мы узнали друг друга, тебя не убили…

— Прелестно.

— Но так и есть! Я видел время, я прикоснулся к вечности. Мы создали место, где люди смогли полюбить добро. Шаг за шагом, жизнь за жизнью; и в конце концов мы останемся здесь навсегда, в этом белом свете.

Катима сделала жест рукой: ее шурин, Саид Дарья, входил в судилище.

— Посмотри на него. Жалкое создание, и всё же не брошен в ад, и даже не превращён в червя или шакала, как того заслуживает. Он вернётся в мир людей и снова посеет хаос. И ведь он тоже часть нашего джати, ты узнал его? Ты знал, что он часть нашей дружной семейки, как Ибн Эзра?

Ибн Эзра сел рядом с ними. Очередь продвинулась вперёд, и они вместе с ней.

— Стены твёрдые, — сообщил он. — И доволь-

но хорошо сложены. Не думаю, что нам удастся сбежать.

— Сбежать! — вскричал Бистами. — Это Божий суд! От него никому не сбежать!

Катима и Ибн Эзра переглянулись. Ибн Эзра сказал:

— Моё мнение таково, что любой положительный сдвиг в укладе нашего существования должен быть антропогенным.

— Что? — воскликнул Бистами.

— Всё зависит от нас самих. И никто нам не поможет.

— Я и не говорю этого. Хотя Бог всегда помогает, если обратиться к Нему. Но всё действительно зависит от нас, я твержу это с самого начала, мы стараемся, как можем, и мы делаем успехи.

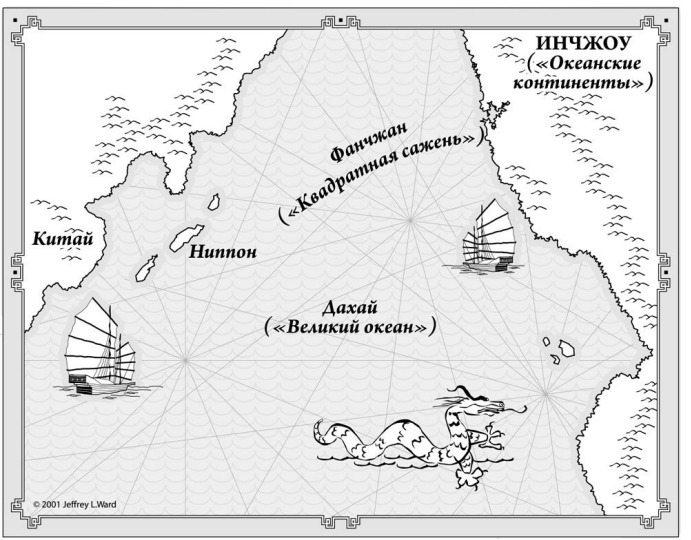
Катиму это не убедило.

— Посмотрим, — сказала она. — Время покажет. А я пока воздержусь от умозаключений, — она повернулась к белой усыпальнице, по-королевски выпрямилась и добавила, скривив губы, как тигрица: — И никто меня не осудит.

Жестом она отмахнулась от мавзолея.

— Здесь всё не важно. Важно то, что происходит в мире.

Книга третья. Океанские континенты



На 35-м году правления император Ваньли обратил свой лихорадочный и вечно недовольный взгляд на Ниппон[17]. Десять лет назад ниппон-

[17] Примечания: 17
Распространённое в Европе название Японии (*прим. ред.*).

ский генерал Тоётоми Хидэёси имел неосторожность попытаться завоевать Китай, и когда корейцы отказали ему в переходе, ниппонская армия вторглась в Корею в качестве первого шага на своём пути. Великой китайской армии потребовалось три года, чтобы прогнать захватчиков с Корейского полуострова, и двадцать шесть миллионов унций серебра, которых это стоило императору Ваньли, нанесли государственной казне ощутимый урон, от которого она так и не оправилась. Император вознамерился отомстить за это неспровоцированное (если не считать двух безуспешных посягательств на Ниппон, предпринятых ханом Хубилаем) нападение и на корню пресечь риск возникновения подобных проблем из-за Ниппона в будущем, подчинив его китайскому сюзеренитету. Хидэёси умер, и Токугава Иэясу, глава нового сёгуната Токугава, успешно объединил под своим предводительством все Ниппонские острова, после чего закрыл въезд в Ниппон иноземцам. Ниппонцам было запрещено покидать страну, а тем, кто всё-таки покинул, — возвращаться. Строительство мореходных судов также прекратилось, хотя Ваньли в своих киноварных меморандумах с недовольством отмечал, что это не остановило орды ниппонских пира-

тов от нападений на протяжённую береговую линию Китая посредством более мелких судов. Попытки Иэясу оградиться от внешнего мира казались китайскому императору проявлением слабости, и в то же время страна-крепость, родина нации воителей, практически прилежащая к побережью Срединного государства, не давала ему покоя. Ваньли доставляла удовольствие мысль о возвращении этого бастарда китайской культуры на своё законное место под властью Драконьего трона, в компанию к Корее, Аннаму, Тибету, Минданао и Островам пряностей[18].

Его советники не пришли в восторг от затеи. Во-первых, казна была истощена. Во-вторых, положение династии Мин пошатнулось в результате предыдущих потрясений эпохи правления Ваньли — не только войны за Корею, но и изнуряющей междоусобицы из-за престолонаследования, лишь номинально решённой Ваньли в пользу старшего сына и изгнания младшего в провинции; всё могло перевернуться с ног на голову уже через неделю. И вокруг этой чрезвычайно взрывоопасной ситуации, подобной закипающей гражданской войне, сгущались склоки и козни

[18] Примечания: 18
Молуккские острова, индонезийская группа островов (*прим. ред.*).

придворных завистников: императрицы-матери, императрицы, высших государственных чинов, евнухов и генералов. Что-то в сочетании ума Ваньли и его нерешительности, постоянного недовольства и непредсказуемых вспышках мстительной ярости к старости Ваньли превратило его двор в потрёпанный и обессилевший клубок интриг. Его советникам, особенно генералам и главам казначейства, покорение Ниппона даже теоретически не виделось возможным.

Император, что было в его духе, настоял на том, чтобы это было сделано.

Старшие генералы выступили с альтернативным планом, который, как они надеялись, удовлетворит императора. Они предложили китайским дипломатам заключить договор с одним из мелких ниппонских сёгунов, тодзама-дайме, которые не пользовались благосклонностью Иэясу, поскольку присоединились к нему только после его военной победы при Сэкигахаре[19]. Договор предусматривал, что сёгун впустит китайцев в один из своих портов и на постоянной основе откроет его для торговли с Китаем. Затем китайский флот высадится там с многочислен-

[19] Примечания: 19

Битва 21 октября 1600 года между двумя группами вассалов покойного Тоётоми Хидэёси (*прим. ред.*).

ным подкреплением и, по существу, сделает порт китайским, защищённым силами китайского же флота, который намного вырос за время правления Ваньли в постоянной борьбе с пиратами. Большинство пиратов были ниппонцами, и в этом присутствовала определённая справедливость, не говоря о возможности открыть торговлю с Ниппоном. После этого порт мог исполнять роль центра подготовки к постепенному завоеванию Ниппона, задуманному как поэтапное, а не единовременное завоевание. Такой план был им по карману.

Ваньли поворчал по поводу убогого, приблизительного, евнухоподобного исполнения его желаний своими советниками, но терпеливые объяснения самых доверенных советников тех лет в конце концов убедили его, и он одобрил план. Был заключён тайный договор с местным феодалом, Омурой Сумитадой, который принял китайцев и позволил им начать торговлю в маленькой рыбацкой деревушке с отличной гаванью под названием Нагасаки. Снаряжение экспедиции, которая планировала прибыть в Ниппон с превосходящими силами, велось на восстановленных верфях Лунцзяна, близ Нанкина, также на побережье Кантона. Большие новые

корабли флота-оккупанта, заполненные достаточным количеством припасов, чтобы десант мог выдержать длительную осаду, впервые встретились у берегов Тайваня, и никто в Ниппоне, за исключением Омуры и его советников, ни о чём не догадывался.

По прямому приказу Ваньли флот был отдан под командование адмирала Кеима из Аннама. Этот адмирал уже командовал императорским флотом во время покорения Тайваня несколько лет тому назад, но китайский чиновничий аппарат и сами военные продолжали считать его чужаком, который достиг своего мастерства в подавлении пиратов лишь благодаря тому, что большую часть своей юности провёл на пиратском корабле, разоряя берега Фуцзяня. Императору Ваньли это было безразлично, и он даже счёл это очком в пользу Кеима: ему требовался человек, способный добиваться результатов, и тем лучше, если такой человек появился извне военного аппарата и его многочисленных связей при дворе и в провинциях.

Флот отправился в путь в 38-м году правления Ваньли, в третий день первого месяца. Весенние ветры дули с северо-запада, не стихая в течение восьми дней, и флот занял позицию в водах Ку-

росио, крупного океанского течения, «чёрного течения», у южных берегов Ниппонских островов, которое разливается, как река, на ширину в сотню ли.

Всё шло по плану, и они держались намеченного курса, но потом ветер стих. Ничто не шевелилось. Не было видно птиц, и бумажные паруса кораблей безвольно обвисли, их поперечные планки на мачтах продолжали тихонько постукивать только из-за ряби Куросио, которое несло их на север и восток мимо главных Ниппонских островов, мимо Хоккайдо, до самого бескрайнего Дахая, Великого океана. Невидимое, но мощное «чёрное течение» рассекало надвое безбрежное синее пространство, безжалостно устрёмленное на восток.

Адмирал Кеим приказал всем капитанам Восьми больших кораблей и Восемнадцати малых грести к кораблю-флагману, где стали держать совет. Среди них собрались самые опытные моряки Тайваня, Аннама, Фуцзяня и Кантона, и их лица были тяжело обеспокоенными: дрейфовать на волнах Куросио было рискованно. Кто не слышал историй о джонках, упокоившихся в этих водах, или потерявших паруса в шквалах, или о тех, кому пришлось срубить мачты, чтобы не

опрокинуться, и кто пропадал после этого долгие годы (в одной байке на девять лет, в другой на тридцать), после чего течения приносили их джонки обратно с юго-востока, бесцветные и пустые, со скелетами вместо экипажа. Выслушав эти рассказы, а также свидетельства очевидца, доктора адмиральского корабля И-Чиня, со слов которого следовало, что в юности он благополучно совершил плавание вокруг Дахая, когда его рыболовецкую джонку вывел из строя тайфун, все решили сойтись на том, что, вероятно, существует большое круговое течение, огибающее весь огромный океан, и, если они, конечно, смогут продержаться достаточно долго, течение вынесет их обратно к дому.

Никто из них не согласился бы на этот план добровольно, но в тот момент у них не было другого выхода. Капитаны сидели в адмиральской каюте на корабле-флагмане и с трагическим видом смотрели друг на друга. Многие китайцы здесь знали легенду о Сюй Фу, адмирале древней ханьской династии, который отплыл со своим флотом в поисках новых земель, чтобы обосноваться на другом берегу Дахая, — и больше о нём никогда не слышали. Не менее хорошо они знали и историю о двух попытках хана Хубилая завоевать Ниппон,

чьи планы нарушили налетевшие не в сезон тайфуны, внушив ниппонцам уверенность, что некий божественный ветер защищает их родные острова от чужеземного вторжения. И как тут поспоришь? Слишком было похоже на то, что этот божественный ветер решил выполнить свою работу, в шутку или в виде иронического парадокса проявив себя как божественный штиль, пока они плыли по Куросио, разгромив их наступление не менее эффектно, чем любой тайфун. Да и штиль стоял абсолютный, сверхъестественный, словно по волшебству подгадав момент. Быть может, они действительно вмешались в дела богов, но в таком случае оставалось только вверить судьбу собственным богам и надеяться, что всё образуется.

Адмирала Кеима не устраивал подобный образ мыслей.

— Довольно, — мрачно сказал он, подводя конец совещанию.

Он не верил в благоволение морских богов и не интересовался старыми легендами, за исключением тех случаев, когда они оказывались полезны. Они попали в плен Куросио. Располагая некоторыми знаниями о течениях Дахая (что к северу от экватора они устремлялись на во-

сток, а к югу от экватора — на запад), они также знали, что господствующие ветры склонны следовать за течениями. Доктор И-Чинь успешно совершил полный оборот вокруг океана, и его захваченная врасплох команда корабля питалась рыбой и водорослями, пила дождевую воду и останавливалась на островах, мимо которых проплывала, чтобы запастись провизией. Это вселяло надежду. И поскольку воздух оставался пугающе неподвижным, кроме надежды у них не оставалось ничего. Других вариантов попросту не было: корабли мёртвым грузом стояли на воде, слишком тяжёлые, чтобы совладать с ней вёслами. По правде говоря, им оставалось только смириться со сложившимся положением и искать из него выход.

Поэтому адмирал Кеим приказал большинству матросов взойти на борта Восемнадцати малых кораблей и половине из них грести на север, а половине на юг, с расчётом на то, что им удастся выйти из «чёрного течения» под углом и вернуться домой, когда подует ветер, чтобы сообщить императору о случившемся. Восемь больших кораблей, укомплектованных наименьшими экипажами, которые смогут управлять ими, и таким большим количеством припасов, какое

только умещалось в трюмах, остались пережидать путешествие по течению вокруг океана. Если малые корабли благополучно доплывут до Китая, они предупредят императора ожидать возвращения восьмерки в более поздний срок и с юго-восточного направления.

Через пару дней малые корабли исчезли за горизонтом, а Восемь больших кораблей продолжили дрейфовать, связанные канатами, в полном штиле на территории, не изученной картографами, на неизведанный восток. Больше они ничего не могли сделать.

Тридцать дней прошло без малейшего ветерка. День ото дня течение уносило их всё дальше на восток.

Никто из них никогда не видел ничего подобного. Адмирал Кеим, однако, пресекал все разговоры о божественном промысле, напоминая, что за последние годы погода изменилась: холода стали сильнее, озёра, которые никогда раньше не замерзали, теперь покрывались льдом, а ураганные ветры и даже иногда смерчи могли не утихать неделями. Что-то неладное творилось на небесах, погода была лишь частью этого.

Когда ветер наконец вернулся, он крепко дул с запада, проталкивая их ещё дальше в океан.

Они развернулись на юг, под небольшим углом против преобладающего ветра, но осторожно, стараясь остаться в пределах предполагаемого кругового течения, которое быстрее всего обведёт их вокруг океана и вернёт обратно домой. В середине круга, по слухам, находилась зона вечного штиля — возможно, ровно посередине Дахая, где было недалеко от экватора, и, опять же, возможно, в равном удалении от его восточных и западных берегов (никто не мог знать этого наверняка). Штилевая полоса, от которой не спастись никакой джонке. Им придётся отплыть порядочно на восток, чтобы обойти её, затем плыть на юг, а затем, ниже экватора, снова на запад.

Островов они не видели. Иногда прилетали морские птицы, моряки подстреливали их и съедали — на удачу. Днём и ночью они рыбачили неводами, ловили парусами летучих рыб, рвали пучки водорослей, которые попадались всё реже и реже, а когда шёл дождь, наполняли водой бочки, устанавливая в них воронки, похожие на перевёрнутые зонтики. Они редко испытывали жажду и никогда не голодали.

Но земли по-прежнему не было видно. Путешествие продолжалось день за днём, неделя за

неделей, месяц за месяцем. Канаты и такелаж истончались. Паруса стали прозрачными. Даже кожа людей начала просвечивать.

Матросы роптали. Они больше не одобряли план обогнуть Мировой океан, следуя круговым течениям, но пути назад не было, как и сказал им Кеим. И они справились со своим недовольством так же, как справлялись со штормами. Никто не хотел перечить адмиралу Кеиму.

Они пережидали небесные бури и чувствовали, как бури подводные раскачивают корабли. Прошло так много дней, что жизнь перед путешествием как будто отдалилась и потеряла чёткость очертаний: Ниппон, Тайвань и даже Китай стали казаться грёзами о былом существовании. Мореплавание стало им целым миром (водным миром с синим блюдом волн под перевёрнутой чашей голубого неба), и не было ничего больше. Они даже перестали искать взглядом землю. Найти водоросли казалось таким же чудом, как когда-то найти остров. Дождь ждали всегда, поскольку редкие периоды голода и жажды на горьком опыте научили, что они всецело зависят от пресной воды. Её собирали преимущественно во время дождя, несмотря на небольшие перегонные кубы, которые смастерил И-Чинь для очистки солёной

воды, что давало им несколько вёдер в день.

Всё свелось к стихийному существованию. Вода — океан, воздух — небо, земля — их корабли, огонь — солнце и их мысли. Огни гасли. Иногда Кеим просыпался, жил, смотрел, как солнце снова садится за горизонт, и понимал, что за весь день он ни разу ни о чем не задумался. А он был адмиралом.

Как-то раз они миновали выгоревшие на солнце обломки большой джонки, обвитые водорослями, едва держащиеся на плаву и в белых крапинках птичьего помёта. В другой раз на востоке, у самого горизонта, они увидели морского змея, который, возможно, указывал им путь.

Быть может, огонь их разума погас окончательно и осталось одно солнце — пылать над головой в безоблачные дни. Но что-то должно было остаться, какая-то серая, почти прогоревшая зола, потому что, когда однажды в конце дня из-за горизонта на востоке показалась земля, они закричали так, словно только об этом и думали всё это время, каждую секунду из ста шестидесяти дней их нежданного путешествия. Зелёные склоны гор круто срывались в море и, по-видимому, пустовали. Это не имело значения: это была земля. Какой-то очень большой остров.

На следующее утро земля всё ещё была впереди них. Берег!

Очень крутой, но берег; настолько крутой, что они не могли найти ни одного приемлемого места для высадки: ни бухт, ни устьев рек, хоть сколько-нибудь малых, — только огромная стена зелёных гор, влажно поднимающихся из моря.

Кеим повелел им двигаться на юг, уже начиная думать о возвращении в Китай. Наконец-то ветер был на их стороне и течение тоже. Весь этот день и весь следующий они плыли на юг, не видя ни одной гавани. А потом, когда однажды утром рассеялся лёгкий туман, они увидели, что обогнули мыс, заслонявший песчаный южный пляж; а ещё дальше к югу, между гор, бросалась в глаза брешь, которую нельзя было пропустить. Залив. С северной стороны этого величественного входа в пролив пенился поток белой воды, но за ним виднелась чистая водная гладь, и прилив сам подталкивал их вперёд.

И вот они вошли в бухту, подобной которой не встречали никогда за всё время своих странствий. Какое-то внутреннее море с тремя или четырьмя скалистыми островами, со всех сторон окружённое горами и топями, окаймляющими большую часть его берегов. Горы были каме-

нистые, но по большей части покрытые лесом, топи — лаймово-зелёные, пожелтевшие от осенних красок. Дивная земля — и пустая!

Они повернули на север и бросили якорь в мелкой бухте, защищённой холмистым хребтом, спускавшимся в воду. Затем кто-то заметил столбик дыма, поднимавшегося в вечерний воздух.

— Люди, — сказал И-Чинь. — Но не думаю, что это западная оконечность мусульманских земель. Для этого мы плыли недостаточно долго, если верить Синь-Хо. Мы должны быть очень далеко оттуда.

— Возможно, течение было сильнее, чем мы думали.

— Возможно. Когда опустится ночь, я уточню наше расстояние до экватора.

— Хорошо.

Расстояние до Китая сослужило бы им большую службу, но такие расчёты были им неподвластны. В течение долгого дрейфа навигация была невозможна, и, несмотря на постоянные попытки И-Чиня строить догадки, Кеим опасался, что они не могут знать этого расстояния с точностью до тысячи ли.

Насчёт расстояния же до экватора, И-Чинь, смерив в ту ночь звёзды, сообщил, что находят-

ся они примерно на той же широте, что и Эдо или Пекин — точнее, чуть повыше Эдо и чуть пониже Пекина. И-Чинь задумчиво постучал по астролябии.

— Мы примерно на таком же расстоянии от экватора, что и хуэйские страны на дальнем западе, в Фулане, где все люди погибли. Если карте Синь-Хо можно доверять. Знаете Фулань? Там ещё гавань под названием Лиссабон. Но здесь не чувствуется ци Фуланя. Я сомневаюсь, что это он. Полагаю, мы наткнулись на остров.

— Какой большой остров!

— Действительно, большой, — И-Чинь вздохнул. — Если б только мы могли выяснить его удалённость от Китая.

Это было предметом его вечного недовольства, вылившегося в одержимость часовым делом; точные часы позволили бы рассчитать расстояние от Пекина, взяв за основу звёздное время в Китае из астрономического альманаха и сравнив его со звёздным временем здесь. Говорили, что у императора во дворце имелись часы, которые точно показывали время, но на корабле таких не было. Кеим оставил ворчащего доктора в одиночестве.

На следующее утро, по пробуждении, они увидели группу местных жителей: мужчин, женщин

и детей, одетых в кожаные юбки, ожерелья из ракушек, с перьями на головах. Они стояли на пляже и смотрели на них. Судя по всему, у них не имелось ни тканей, ни металла, кроме небольших кусочков чеканного золота, меди и серебра. Наконечники стрел и копий были сделаны из осколков обсидиана, корзины сплетены из тростника и сосновых иголок. На берегу, на уровне высоты прилива, громоздились большие груды ракушек, и путешественники видели дым от огня, разведённого внутри плетёных лачуг — скромных сарайчиков наподобие тех, где бедные китайские фермеры держали свиней зимой.

Моряки рассмеялись и стали переговариваться при виде таких людей. Отчасти они испытывали облегчение, отчасти интерес, но бояться их было невозможно.

Кеим не был так уверен.

— Они похожи на тайваньских дикарей, — сказал он. — Мы несколько раз серьёзно пострадали от них, когда охотились на пиратов в горах. Мы должны быть осторожны.

— Такие племена встречаются и на некоторых Островах пряностей, — сказал И-Чинь. — Я видел. Но даже они носят больше одежды, чем эти.

— Я не вижу ни домов из кирпича или дерева,

ни железа, и значит, оружия тоже нет…

— Да и полей, если уж на то пошло. Наверное, они питаются одними моллюсками, — он указал на большие груды ракушек, — и рыбой. И, возможно, промышляют ещё охотой и собирательством. У них ничего нет.

— Тогда и нам не на что рассчитывать.

— Да.

Моряки закричали местным с корабля:

— Здравствуйте! Здравствуйте!

Кеим велел им замолчать. Они с И-Чинем сели в одну из маленьких шлюпок, которые были припасены на большом корабле, и четыре гребца отвезли их на берег.

Выплыв на мелководье, Кеим встал со своего места и приветствовал местных жителей, подняв руки ладонями вперёд, как приветствуют обычно дикарей на Островах пряностей. Местные не понимали его слов, но жесты ясно говорили о мирных намерениях, и это они поняли. Некоторое время спустя он сошёл на берег, уверенный в мирном приёме, но предупредив матросов, чтобы те держали кремневые ружья и арбалеты под сиденьями наготове, на всякий случай.

На берегу его со всех сторон окружили любопытные люди, что-то лепечущие на своём языке.

Слегка растерявшись от вида голых женских грудей, он поздоровался с вышедшим вперёд мужчиной, чей сложный и красочный головной убор с большой степенью вероятности выдавал в нём вождя. На Кеиме был шёлковый шейный платок, выгоревший и изъеденный солью, с изображением птицы феникс. Он развязал платок и отдал мужчине, развернув так, чтобы тот мог рассмотреть рисунок. Но мужчина заинтересовался шёлковой тканью больше, чем картинкой на ней.

— Надо было взять с собой больше шёлка, — сказал Кеим И-Чиню.

И-Чинь покачал головой.

— Мы вторгались в Ниппон. Попробуем узнать, как на их языке называются эти вещи.

И-Чинь поочерёдно указывал на корзины, копья, платья, головные уборы, ракушки; повторял за ними, быстро записывая их ответы на своей грифельной дощечке.

— Хорошо, хорошо. Рады, рады встретить вас. Император Китая и его покорные подданные приветствуют вас.

Мысль об императоре вызвала у Кеима улыбку. Что скажет Ваньли, Небесный Посланник, об этих несчастных собирателях ракушек?

— Нужно обучить кого-нибудь из них китайскому языку, — сказал И-Чинь. — Желательно, мальчишку: они схватывают быстрее.

— Или девочку.

— Давайте не будем про это, — сказал И-Чинь. — Нам придётся провести здесь некоторое время, пока мы будем чинить корабли и пополнять запасы. Мы же не хотим, чтобы эти люди озлобились на нас.

Кеим жестами передал их намерения вождю. Остаться на время, разбить лагерь на берегу, есть и пить, чинить корабли, возвращаться домой, на запад, туда, где заходит солнце. Не сразу, но почти всё из этого они, похоже, поняли. В свою очередь от них он узнал, что они едят жёлуди и тыкву, рыбу и моллюсков, птиц и более крупных животных (судя по всему, имелись в виду олени). Охотились они в горах. Еды было много, и они были рады поделиться с китайцами. Им понравился шёлк Кеима, и они бы с радостью обменяли его на крепкие корзины и еду. Узорчатое золото добывалось в горах к востоку отсюда, за дельтой большой реки, руслом которой они вошли в залив, почти прямо на восток; они указали на промежуток между гор, где текла река, примерно похожий на промежуток, ведущий к океану.

Поскольку информация об их земле явно заинтересовала И-Чиня, они сообщили ему подробности более затейливым способом: хотя они и не знали ни бумаги, ни чернил, ни письма, ни рисунка, за исключением орнаментов на корзинах, у них были своеобразные карты на песке на пляже. Вождь и несколько других представительных местных присели на корточки и принялись скрупулёзно лепить из мокрого песка. Сначала разгладили участок, изображающий залив, а затем стали оживлённо спорить об истинной форме горы между ними и океаном, которая называлась Тамалпи (гора, судя по их жестовым объяснениям, была спящей девой и, по-видимому, богиней, хотя сложно было сказать с уверенностью). Они использовали траву, чтобы изобразить широкую долину в ложбинке между гор, ограждающих залив с востока, и наполнили водой русла дельты и двух рек, одна из которых орошала северную, а другая — южную стороны широкой долины. К востоку от этой большой долины предгорья вырастали в горы гораздо большего размера, чем прибрежный хребет, и покрытые снежными шапками (обозначенными одуванчиковым пухом), с одним или двумя большими озёрами в их кольце.

Всё это они размечали под бесконечные споры о деталях, заботливо вычерчивая ногтями складочки, раскладывая травинки или сосновые лапки; и всё ради карты, которую смоет ближайшим приливом. Но к моменту, когда они закончили, китайцы понимали, что золото добывают в предгорьях, а соль — с берегов залива, обсидиан с севера и из-за высоких гор, где добывают также и бирюзу, и так далее. И всё это не понимая ни слова на языке друг друга, — простые вещи, описания вещей исключительно жестами и песчаной моделью их земли.

В последующие дни, однако, они узнали местные названия многих повседневных вещей и явлений; И-Чинь всё подробно записывал, составляя словарь, и начал учить китайскому одну из местных девочек, лет шести, дочку вождя, которая делала хорошие успехи. Постоянно чирикающую на своём родном языке девочку китайские моряки прозвали Бабочкой, как за манеру поведения, так и за шутку о том, что, возможно, в этот момент они ей просто-напросто снились. Она увлечённо и очень напористо объясняла И-Чиню, что к чему; и гораздо быстрее, чем мог предположить Кеим, она стала говорить по-китайски так же бегло, как и на родном языке, иногда смешивая

их вместе, но чаще всего приберегая китайский для разговоров с И-Чинем, как будто этот язык был его собственным, а сам он — каким-нибудь безнадёжным дурачком, вечно сочиняющим ненастоящие слова, что не могло быть дальше от истины. Её старшие видели в И-Чине чудаковатого чужака, который ощупывал их пульсы и животы, заглядывал им в зубы, просил изучить их мочу (от чего они отказались), и так далее. У них самих имелся своего рода врач, который проводил ритуальные омовения в незамысловатой паровой бане. Этот пожилой человек с жидкими дикими глазами был не таким доктором, как И-Чинь, но И-Чинь весьма заинтересовался его гербарием и объяснениями, насколько И-Чинь мог их разобрать, используя всё более сложный язык жестов и приобретённый навык Бабочки говорить по-китайски. Местные жители называли себя «мивоки», и так же назывался их язык. Само слово означало «люди», или что-то подобное. Из их карт прекрасно следовало, что их деревня пользуется той частью реки, которая как раз впадает в залив. Другие мивоки жили близ соседних речных бассейнов полуострова, между заливом и океаном; в других частях земли народ назывался по-своему и контролировал собственную терри-

торию, хотя мивоки могли бесконечно спорить между собой, кто, что и как. Они объяснили китайцам, что большой пролив, ведущий к океану, возник в результате землетрясения, и до того, как катаклизм впустил океан, залив был пресной водой. Это казалось И-Чиню и Кеиму маловероятным, но однажды утром, когда они спали на берегу, их разбудила сильная тряска; землетрясение не утихало в течение многих ударов сердца, дважды возвращалось в то утро, и с тех пор они начали сомневаться в происхождении пролива.

Им обоим нравилось слушать речь мивоков, но только И-Чинь интересовался тем, как женщины делают съедобными горькие жёлуди, собранные с криволистных дубов, смалывая и высолаживая порошок желудей в ванночках из листьев и песка, создавая что-то вроде муки; И-Чинь считал это очень изобретательным. Желудевая мука и лососина, как свежая, так и вяленая, составляли основу их рациона, которой они делились с китайцами бесплатно. Ещё они ели мясо оленей какой-то гигантской породы, крольчатину и всевозможных водоплавающих птиц. И действительно, когда на них мягко опустилась осень и прошли месяцы, китайцы начали понимать: продовольствия в этих местах было столько, что

не было никакой необходимости вести сельское хозяйство, которое практиковалось в Китае. Но, несмотря на это, народу здесь обитало совсем немного. Это была лишь одна из загадок острова.

Охотились мивоки в горах и уходили на целый день, снаряжаясь большими группами, к которым разрешалось присоединиться Кеиму и его людям. Луками мивоки пользовались хлипкими, но хватало и этого. Кеим приказал своим матросам оставить арбалеты и ружья спрятанными на кораблях, а пушки просто оставили на виду, но не объяснили, и никто из местных жителей не спросил о них.

Во время одной из таких охотничьих вылазок Кеим и И-Чинь следовали за вождём Та-Ма и небольшой группой мивоков вдоль ручья, протекавшего через их деревню, вверх по горным склонам к высокому лугу, с которого открывался вид на океан с западной стороны. На востоке виднелась бухта, а за ней тянулись зелёные холмы.

Луг у ручья был болотистым, а повыше — поросшим травой, с дубами и другими деревьями, поднимающимися высоко в небо. В низине луга разлилось озеро, на поверхности которого тесно жались друг к другу гуси белым покрывалом живых птиц, которые гудели наперебой, словно

жаловались, чем-то расстроенные. Но потом стая взмыла в воздух, закружилась, то дробясь на мелкие стайки, то снова собираясь вместе, низко пролетела над охотниками, кто-то — пронзительно крича, кто-то — молча, сосредоточившись на полёте, характерно поскрипывая мерно взмахивающими крыльями и оглашая воздух. Тысячи и тысячи птиц.

Мужчины стояли и смотрели на это зрелище горящими глазами. Когда все гуси улетели, они увидели причину их бегства: стадо гигантских оленей пришло к озеру на водопой. Олени стояли, развесив свои огромные рога. Через озеро они наблюдали за людьми, бдительно, но не страшась.

На мгновение всё замерло.

В конце концов большой олень отступил. Мир снова ожил.

— Разумные существа, — сказал И-Чинь, который всё это время бормотал свои буддийские сутры.

Обычно Кеим пропускал мимо ушей подобную чепуху, но в тот день, когда охота продолжалась и они поднялись в горы, где увидели огромные количества мирно сосуществовавших бобров, перепелов, кроликов, лис, чаек, ворон, оленей, медведя с двумя медвежатами, стройного длин-

нохвостого серого зверя на охоте, похожего на лису, скрещенную с белкой, и так далее, и так далее, — целую страну, которая принадлежала одним зверям, соседствующим под безмолвным голубым небом в полной гармонии, на земле, плодоносящей самой по себе, где люди лишь малая её часть, — Кеим почувствовал себя странно. Он понял, что принимал Китай за единственную реальность. Тайвань, Минданао и другие знакомые ему острова казались ему незначительными лоскутами земли, её объедками; Китай же казался целым миром. А Китай означал людей. Построенный, возделанный, по гектарам разделённый на земельные участки, Китай являлся всецело человеческим миром, и Кеиму никогда не приходило в голову, что когда-то на его месте мог существовать иной мир, мир природы, отличный от сегодняшнего. Но сейчас он собственными глазами видел невозделанную землю, полную всевозможных животных, и земля эта, очевидно, была гораздо больше Тайваня, больше Китая, больше мира, известного ему прежде.

— Где же мы оказались? — спросил он И-Чиня.

И-Чинь ответил:

— Мы нашли источник персикового потока.

Наступила зима, но даже теперь дни стояли

тёплые, а ночи холодные. Мивоки снабдили китайцев накидками из шкур морских выдр, сшитых кожаными нитками, и никакой шёлк не ощущался таким приятным для тела, а меха были так же роскошны, как одежды Нефритового Императора. Во время грозы лили ливни, и небо затягивалось тучами, но в остальное время погода стояла ясная и солнечная. Они находились на одной широте с Пекином, по словам И-Чиня, но в Китае в это время года должно было быть холодно и ветрено, поэтому моряки часто обсуждали здешний климат. Кеим едва мог поверить местным жителям, когда те говорили, что тут каждую зиму так.

В день зимнего солнцестояния, солнечный и тёплый, как и все остальные дни, мивоки пригласили Кеима и И-Чиня в своё святилище, маленькую круглую хижину, наподобие карликовой пагоды, где пол был утоплен в землю и весь покрыт дёрном, а крыша поддерживалась стволами деревьев, разветвляющимися в гнездо из веток. Они словно очутились в пещере, только свет костра и дымное солнце пробивались сквозь дымоход в крыше, освещая тусклый интерьер. Мужчины нацепили церемониальные головные уборы из перьев и обвешались ожерельями из

ракушек, которые блестели в свете костра. Под мерный барабанный ритм они пустились танцевать вокруг костра, сменяя друг друга, как ночь сменяет день, пока заворожённому Кеиму не начало казаться, что они никогда не остановятся. Он изо всех сил старался держать глаза открытыми, чувствуя важность этого события для людей, что выглядели сейчас как животные, которыми они питались. Всё же этот день знаменовал возвращение солнца. Но бороться со сном было непросто. И наконец он тяжело поднялся на ноги и присоединился к хороводу юных танцоров, и они расступились, освобождая ему место, пока он дрыгался, переступая с ноги на ногу, как во время качки. Он танцевал и танцевал, пока ему не захотелось свалиться в углу и выйти наружу только на рассвете, когда небо уже полностью осветилось, а солнце вот-вот готово было вырваться из-за холмов, заграждающих залив. Молодые незамужние девушки отвели довольных и уставших танцовщиков и барабанщиков в парилку, и в своём заворожённом состоянии Кеим обратил внимание на то, как прекрасны эти женщины, как они невероятно сильны и не уступают в крепости мускулов мужчинам, с голыми стопами и ясными, непокорёнными глазами: казалось, они

искренне смеялись над усталыми мужчинами, когда провожали их в баню и помогали снимать головные уборы и наряды, отпуская как будто даже непристойные комментарии в адрес Кеима, хотя, возможно, ему это просто показалось, исходя из собственного желания. Но пережжённый воздух, стекающий с него пот, резкое неловкое погружение в ручей, стряхнувшее с него остатки сна в утреннем свете, — всё это только усиливало его ощущение женской прелести, превосходящее всё, что припоминалось ему в Китае, где моряков всегда уводили из ресторанов милые хрустальные девицы. Удивление, вожделение и речной озноб боролись с усталостью, пока он не заснул на пляже под солнцем.

Он уже вернулся на борт своего корабля, когда к нему подошёл И-Чинь, плотно поджавший губы.

— Один из местных умер прошлой ночью. Меня привели посмотреть. Это оспа.

— Что? Ты уверен?

И-Чинь серьёзно кивнул с таким мрачным видом, какого Кеим никогда у него не видел.

Кеим пошатнулся.

— Придётся нам оставаться на кораблях.

— Придётся отплывать, — сказал И-Чинь. — Подозреваю, что болезнь завезли мы.

— Но как? Никто из нас не болел оспой за всё время пути.

— Ни у кого из местных нет шрамов от оспы. Я полагаю, они с ней не сталкивались. А некоторые из нас переболели оспой в детстве, как можно заметить. У Ли и Пэна осталось немало оспин, и Пэн спал с одной из местных женщин, а как раз её ребёнок сегодня умер. Сама женщина тоже больна.

— Нет…

— Да. Увы. Вы же знаете, что происходит с дикарями, когда они оказываются подвержены незнакомой болезни. Я видел это в Аочжоу. Чаще всего они умирают. Выживших останется несоизмеримо мало, и возможно, останется ещё меньше, если они случайно заразят не переболевших, я не знаю. В любом случае дело плохо.

Они слышали, как весело визжит Бабочка, играющая на палубе с матросами. Кеим указал наверх.

— А как же она?

— Думаю, мы можем взять её с собой. Если вернём её на берег, она, вероятно, умрёт вместе с остальными.

— А если она останется с нами, может всё равно заразиться и умереть.

— Всё так. Но я буду рядом и попытаюсь её вылечить.

Кеим нахмурился.

— Провизии и воды у нас достаточно, — решил он наконец. — Сообщи всем. Мы отплывём на юг и займём позицию для весеннего возвращения в Китай.

Перед отъездом Кеим усадил Бабочку в лодку и погрёб с ней к деревенскому берегу, останавливаясь подальше от пляжа. Отец Бабочки их заметил, выбежал к ним и, стоя по колено в слабо плещущихся волнах, сказал что-то срывающимся голосом. Кеим увидел на нём волдыри оспы. Кеим взмахнул вёслами, отгребая подальше.

— Что он сказал? — спросил он у девочки.

— Сказал, что люди болеют. И умирают.

Кеим сглотнул.

— Скажи ему, что это мы завезли болезнь.

Она посмотрела на него непонимающим взглядом.

— Объясни ему, что это мы привезли с собой болезнь. Не нарочно. Можешь сказать ему это? Скажи.

Она сидела на дне лодки и дрожала.

Внезапно разозлившись, Кеим крикнул вождю мивоков:

— Это мы привезли с собой болезнь! Случайно!

Та-Ма только уставился на него.

— Бабочка, пожалуйста, скажи ему что-нибудь. Хоть что-нибудь.

Она вскинула голову и что-то крикнула. Та Ма сделал два шага вперёд, погрузившись в воду по пояс. Кеим выругался и отплыл ещё на пару гребков. Он злился, но злиться было не на кого.

— Мы должны уехать! — закричал он. — Мы уезжаем! Скажи ему это, — яростно прикрикнул он на Бабочку. — Скажи!

Она обратилась к Та-Ма, с надрывом в голосе.

Кеим приподнялся в лодке, раскачивая её. Он указал на свои шею и лицо, затем на Та-Ма. Он изобразил жестами мучения, рвоту, смерть. Указал на деревню и взмахнул рукой, словно стирая её изображение с дощечки. Указал на Та-Ма и жестом изобразил, что тот должен уйти, что все они должны уйти, разойтись в разные стороны. Но не в другие деревни, а в горы. Он указал на себя, на девочку, съёжившуюся в лодке. Изобразил жестами, как гребёт и уплывает прочь. Он указал на девочку, изображая её счастливой, весёлой, растущей, всё это время крепко стискивая зубы.

Та Ма, казалось, не понимал ни единого слова из этой шарады. С озадаченным видом он что-то

сказал.

— Что он сказал?

— Спросил, что нам делать.

Кеим снова махнул рукой в сторону гор, изображая, что им нужно рассредоточиться.

— Уходите! — громко сказал он. — Скажи ему, пусть уходят отсюда! Пусть разбегаются, кто куда!

С несчастным видом она сказала что-то своему отцу. Та-Ма что-то ответил.

— Что он сказал, Бабочка? Ты можешь перевести?

— Он попрощался.

Мужчины переглянулись. Бабочка испуганно переводила взгляд с одного на другого.

— Разойдитесь подальше друг от друга на пару месяцев! — сказал Кеим, понимая, что это бесполезно, но всё равно продолжал: — Оставьте больных и разбегайтесь. После этого можете встретиться, и болезнь больше не поразит вас. Уходите. Мы возьмём Бабочку и позаботимся о ней. Мы поселим её на корабле с теми, кто никогда не болел оспой. Мы позаботимся о ней. Вперёд!

Он сдался.

— Передай ему мои слова, — попросил он Ба-

бочку.

Но она только всхлипывала и плакала на дне лодки. Кеим выгреб обратно к кораблю, и они уплыли прочь, прочь из большого залива, к югу от берегов.

Первые три дня после отплытия Бабочка постоянно плакала, потом жадно ела, а после этого стала говорить исключительно по-китайски. Каждый раз, глядя на неё, Кеим чувствовал укол в сердце, гадая, правильно ли они поступили, забрав её с острова. И-Чинь напомнил ему, что она, скорее всего, умерла бы, оставь они её там. Но Кеим сомневался, что даже это было достаточным оправданием. А её стремительная адаптация к новой жизни только усиливала его беспокойство. Все ли они были такими по своей природе? Живучими и забывчивыми? Способными влиться в любую предложенную жизнь? Ему было странно наблюдать это воочию.

К Кеиму подошёл один из офицеров.

— Пэна нет ни на одном из кораблей. Мы думаем, он уплыл на берег и остался с ними.

Бабочка тоже заболела; И-Чинь запер её в передней части корабля-флагмана, в проветриваемом закутке под бушпритом и над золотой статуей

Тяньфэй, украшавшей нос корабля. Много часов он провёл рядом с девочкой, выхаживая её на протяжении всех шести этапов болезни: от жара и скачущего пульса большого ян к меньшему ян и яркому ян, для которых характерны попеременные озноб и лихорадка, вплоть до самого высшего инь. Он каждый час проверял её пульс и другие жизненные показатели, вскрывал волдыри, мазал её лекарствами из своих мешочков, в основном микстурой под названием «Подарок Оспяного Бога», которая содержала измельчённый рог носорога, снежных червей из Тибета, толчёный нефрит и жемчуг; а когда она надолго застряла на стадии малого инь и ей, казалось, уже грозила смерть, доктор добавлял в микстуру мизерные дозы мышьяка. Болезнь развивалась не так, как обычная оспа, но моряки тем не менее приносили соответствующие жертвы богу оспы, раскуривая благовония и сжигая бумажные деньги над алтарём, возведённым на всех восьми кораблях.

Позже И-Чинь сказал, что, по его мнению, ключом к её выздоровлению стало пребывание в открытом море. Её тельце, лежащее в постели, колыхалось на широких волнах, и он заметил, как её дыхание и сердцебиение синхронизировались

с качкой: четыре вдоха и шесть ударов сердца на волну, в дрожащем ритме её пульса, снова и снова. Такое слияние со стихиями пошло ей на пользу, солёный воздух наполнил её лёгкие ци, и язвы сошли с её языка; он даже поил её океанской водой из маленькой ложечки и пресной водой, лишь недавно набранной из родника у неё на родине, столько, сколько в неё влезало. И вот она пошла на поправку, и болезнь ушла, оставив на память о себе лишь еле заметные оспины на спине и шее.

Всё это время они плыли на юг вдоль побережья этого нового острова и с каждым днём всё больше удивлялись тому, что так и не достигли его южной оконечности. Один из мысов выглядел так, словно за ним-то и должен кончиться остров, но, обогнув его, они увидели, как берег поворачивает в очередной раз на юг, протянувшись за какими-то обожжёнными пустыми островами. Ещё дальше к югу они увидели деревни вдоль берегов, и теперь они уже знали достаточно, чтобы опознать парилки. Кеим не подпускал корабли близко к берегам, но позволил приблизиться одному каноэ и попросил Бабочку поговорить с ними, но они не поняли её, а она их. Кеим пантомимой обозначил болезни и опасность, и

местные быстро убрались восвояси.

Они поплыли против течения с юга, но оно было мягким, а с запада всё время дул ветер. Рыбалка здесь шла отлично, погода стояла приятная. День сменял день в круге бессменного однообразия. Земля снова ушла на восток, затем снова на юг, почти до самого экватора, минуя огромный архипелаг низких островов, где было удобно вставать на якорь и водились большие морские птицы с синими лапами.

Наконец они добрались до круто вздымающейся береговой линии, где вдалеке виднелись огромные снежные вулканы, похожие на Фудзи, только вдвое, если не больше, превышающие его по высоте, ярко выделявшиеся на фоне неба за крутым прибрежным хребтом, который был высок и сам по себе. Эти масштабы отбили у всех последние попытки думать об этом месте как об острове.

— Ты уверен, что это не Африка? — спросил Кеим у И-Чиня.

И-Чинь не был уверен.

— Не исключено. Возможно, люди, которых мы оставили на севере, — единственные выжившие фуланчи, доведённые до первобытного состояния. Возможно, это западный край света и мы

плыли мимо прохода в их срединное море ночью или не заметили его в тумане. Но я так не думаю.

— Тогда где же мы?

И-Чинь на длинных полосах карты показал Кеиму, где они, по его мнению, находились: к востоку от крайних обозначений, где карта была совершенно пуста. Но сначала он ткнул в крайнюю западную полосу.

— Взгляните: Фулань и Африка с западного края выглядят примерно так. Мусульманские картографы единодушны в этом вопросе. А по расчётам Синь-Хо, весь мир составляет около семидесяти пяти тысяч ли в обхвате. Если он прав, мы проплыли по Дахаю только половину того расстояния, которое разделяет нас с Африкой и Фуланем, если не меньше.

— Тогда, возможно, он ошибался. Возможно, суша занимает большую часть земного шара, чем он думал. Или сам земной шар меньше.

— Но его результаты точны. Я повторил его измерения во время нашего путешествия на Молуккские острова, сравнил геометрию и убедился, что он был прав.

— Но посмотри! — воскликнул Кеим, указывая на гористую местность впереди. — Если это не Африка, то что же?

— Остров, надо полагать. Большой остров глубоко в Дахае, куда ещё никто никогда не заплывал. Другой мир, похожий на уже известный, только восточный, а не западный.

— Остров, куда ещё никто никогда не заплывал? О котором никто даже слыхом не слыхивал? — Кеим не мог в это поверить.

— А что? — возразил И-Чинь, упрямо настаивая на своей идее. — Разве кто-то до нас плавал сюда и возвращался, чтобы рассказать об этом?

Кеиму пришлось согласиться.

— Но и мы пока не вернулись.

— Нет. И нет никаких гарантий, что сможем вернуться. Быть может, Сюй Фу добрался сюда и хотел вернуться, но потерпел неудачу. Быть может, на этом самом берегу мы найдём его потомков.

— Быть может.

Приблизившись к огромной земле, они увидели на побережье город. Не слишком большой по сравнению с городами на родине, но весьма внушительный по сравнению с крохотными деревушками на севере. Город был по большей части землистого цвета, но несколько гигантских построек в самом городе и за его чертой были покрыты сверкающими пластинами чеканного

золота. Это были не мивоки!

Они осторожно подплыли к берегу и, чувствуя тревогу, зарядили и нацелили корабельные пушки. И изумились, увидев на берегу брошенные примитивные лодки, рыбацкие каноэ, подобные тем, что иногда видели на Молуккских островах, в основном двухвёсельные, сделанные из связанного тростника. Не было видно ни пушек, ни парусов, ни верфей, ни доков, за исключением одного бревенчатого пирса, который словно держался на плаву, заякоренный поодаль от берега. Великолепные здания с золотыми крышами на суше странно сочетались с этой морской нищетой.

— Должно быть, изначально это было внутреннее королевство, — сказал И-Чинь.

— И к счастью для нас, если судить по этим зданиям.

— Полагаю, если бы не падение династии Хань, именно так сегодня выглядело бы побережье Китая.

Странная мысль. Но даже простое упоминание Китая приносило утешение. Затем они указывали на отдельные черты города, приговаривая: «Как в Чаме», или «Так строят на Ланке», и так далее; и хотя это по-прежнему казалось им странным,

они не сомневались, ещё до того, как разглядели на пляже глазеющих на них людей, что увидят в городе именно людей, а не обезьян или птиц.

Хотя они не возлагали особых надежд на то, что Бабочку тут поймут, они всё же взяли её с собой на берег, загрузившись в самую большую шлюпку. Они спрятали под сиденьями кремнёвые ружья и арбалеты, а Кеим стоял на носу, сообщая им мирные жесты, которые успокоили мивоков. Затем он попросил Бабочку приветливо поздороваться с ними на её языке, что она и сделала высоким, чистым, звонким голосом. Толпа наблюдала за ними с пляжа, и некоторые из людей в головных уборах говорили с ними, но это был не язык Бабочки, и никто из прибывших такого никогда не слышал.

Хитрые головные уборы, украшавшие головы части этой толпы, показались Кеиму смутно воинственными, и он велел матросам отгрести чуть дальше, на глубину, высматривая луки, копья или любое другое оружие. Что-то во взгляде этих людей говорило о возможном нападении.

Ничего подобного не произошло. Более того, когда они приплыли на следующий день, на пляже их встретила целая делегация мужчин в клетчатых туниках и перьевых головных уборах.

Кеим опасливо приказал высаживаться, но не терять бдительности.

Всё прошло хорошо. Помогло общение жестами и взаимный обмен несколькими базовыми словами на языках друг друга, хотя местные жители, казалось, приняли Бабочку за их вожака, или, вернее, талисман, или жрицу — сложно было сказать; очевидно, что они отнеслись к ней с почтением. Общался с ними — а точнее, жестикулировал — в основном пожилой мужчина в головном уборе с бахромой, свисающей со лба на глаза, и кокардой, торчавшей высоко над перьями. Общение сохраняло дружелюбный тон и было исполнено любопытства и доброжелательности. Им предложили лепёшки из какой-то плотной, сытной муки и необычные крупные клубни, которые можно было приготовить и съесть, слабое кислое пиво, кроме которого местные жители ничего и не пили. Также им вручили стопку тончайших покрывал, тёплых и очень мягких, сотканных из шерсти овец, которые выглядели как помесь шерсти овцы и верблюда, хотя на самом деле явно были из шерсти совершенно другого зверя, неизвестного путешественникам.

В конце концов Кеим почувствовал себя достаточно комфортно, чтобы принять приглашение

покинуть пляж и посетить местного не то царя, не то императора в огромном дворце с золотой крышей или в храме на вершине холма за городом. Убедило его в конечном счёте золото, понял Кеим, готовясь к походу, но всё ещё чувствуя тревогу. Он зарядил короткое кремнёвое ружьё, убрал его в заплечную сумку, спрятанную под накидкой, и оставил И-Чиню указания отправляться за ним только в том случае, если он не вернётся. И они ушли — Кеим, Бабочка и дюжина самых рослых матросов с адмиральского корабля в сопровождении толпы местных мужчин в клетчатых туниках.

Они шли тропой мимо полей и домов. Женщины, работавшие в полях, носили младенцев, привязанных к доскам на своей спине, и на ходу пряли шерсть. Они за верёвки подвешивали прялки к деревьям, добиваясь необходимого натяжения, и пряли исключительно клетчатые узоры, чаще чёрно-коричневые, иногда чёрно-красные. Их поля состояли из вспаханных насыпей прямоугольной формы, начинавшихся от болот у реки. Вероятно, в этих насыпях выращивали клубни. Поля были затоплены водой, как рисовые, но иначе. Всё было похоже, но иначе. Золото здесь использовали повсеместно, как же-

лезо в Китае, а вот железа не было видно совсем.

Дворец над городом был огромным, даже больше, чем Запретный город в Пекине, с множеством прямоугольных зданий, расположенных по схеме, напоминающей прямоугольный орнамент. Такие же орнаменты были и на одеждах горожан. Каменные постаменты перед дворцом были вырезаны в виде необычных фигур, каких-то помесей птиц и животных, окрашенных во все цвета, так что Кеиму было даже страшно смотреть на них. Интересно, живут ли странные существа, изображённые на них, в глубине этой страны, или это их версии дракона и феникса? Он увидел много меди и кое-где бронзу и латунь, но в основном всё было из золота. Стражники, рядами стоявшие вокруг дворца, держали длинные копья с золотыми наконечниками, их щиты тоже были покрыты золотом; красиво, но не очень практично. Наверное, их врагам тоже было незнакомо железо.

Во дворце их провели в огромную залу, одна стена которой отсутствовала, открывая вид на внутренний двор, а три другие покрывала золотая филигрань. Кеима вместе с Бабочкой и другими китайцами пригласили устраиваться на покрывалах, расстеленных вокруг.

В залу вошёл их император. Все поклонились

и расселись на земле. Император устроился на клетчатом покрывале рядом с гостями и сказал что-то учтивым тоном. Это был человек лет сорока и белозубый, он был хорош собой — с широким лбом, высокими рельефными скулами, ясными карими глазами, острым подбородком и сильным ястребиным носом. На нём была корона из золота, украшенная маленькими золотыми головами, подвешенными в прорезях, как головы пиратов у ворот Ханчжоу.

Это укрепило тревожное чувство внутри Кеима, и он придвинул ружьё под накидкой, украдкой оглядываясь по сторонам. Поводов для беспокойства не было. Да, там присутствовали грозные на вид мужчины, императорские воины, готовые броситься на него, если безопасности императора что-то будет угрожать, но это и всё, и это казалось разумной мерой предосторожности при встрече с чужаками.

Вошёл жрец в мантии из кобальтово-синих птичьих перьев и провёл церемонию для императора, после чего весь день они пировали, объедаясь мясом, на вкус похожим на баранину, овощами и овощными пюре, которые Кеим раньше не пробовал. Пили почти одно только слабое пиво, за исключением крепкого, огненно-

го бренди. В итоге Кеим почувствовал опьянение и заметил, что его люди едва держатся на ногах. Бабочке еда не понравилась на вкус, и потому она почти не ела и не пила. Выйдя во двор, мужчины танцевали под барабаны и тростниковые дудочки, звучали напевы, очень уж похожие на корейские, отчего Кеим вздрогнул: ему пришло в голову, что предки этих людей могли попасть сюда из Кореи много веков назад, подхваченные Куросио. Возможно, несколько пропавших кораблей населили всю эту землю, основав здесь свои династии; их музыка и впрямь звучала как эхо прошлого века. Кеим решил поговорить об этом с И-Чинем, когда вернётся на корабль.

На закате Кеим выразил желание вернуться к своим кораблям. Император посмотрел на него, подал знак жрецу в мантии и встал. Все тоже встали и поклонились. Император вышел.

После его ухода Кеим встал, взял Бабочку за руку и попытался увести её тем же путём, каким они пришли (хотя он сомневался, что запомнил дорогу), но стражники преградили им путь, скрестив перед ними копья с золотыми наконечниками и приняв позы столь же церемониальные, как и их танцы.

Кеим изобразил неудовольствие, что оказалось

совсем легко, и жестами объяснил, что Бабочка будет расстроена и сердита, если не сможет вернуться на корабль. Но стражники не сдвинулись с места.

Что ж, приплыли. Кеим проклинал себя за то, что покинул пляж с такими подозрительными людьми. Он нащупал оружие под накидкой. У него будет всего один выстрел. Оставалось надеяться, что И-Чинь придёт с подмогой. Хорошо, что он уговорил доктора остаться, потому как понимал, что И-Чинь лучше всех справится с организацией спасательной операции.

Пленники провели ночь, свернувшись рядышком на покрывале, окружённые бдящими стражниками; стражники не спали, а только жевали маленькие листочки, которые доставали из заплечных сумок, спрятанных под клетчатыми туниками. Они не смыкали блестящих глаз. Кеим обнимал Бабочку, и она жалась к нему, как кошка. Было холодно. Кеим сказал остальным лечь вокруг, всем вместе, защищая её хотя бы своей близостью, или, по крайней мере, теплом своих тел.

На рассвете вернулся император, разодевшись, как большой павлин, или птица феникс, в сопровождении женщин с золотыми чашами на

груди, причудливым образом напоминавшими формой настоящие груди с рубиновыми сосками. Вид женщин вселил в Кеима наивную надежду, что с ними всё будет в порядке. Следом за ними вошли верховный жрец в мантии и неизвестный в клетчатой маске, чей головной убор украшали крошечные золотые черепа. Здешнее воплощение бога смерти, в этом не могло быть сомнений. Он явился сюда, чтобы казнить их, подумал Кеим, и осознание этого заставило его встрепенуться и воспринимать окружающее с особой остротой; всё золото белым покрывалом блестело на солнце, пространство, по которому их вели, приобрело дополнительную глубину и плотность, и клетчатые люди казались такими же твёрдыми и яркими, как ярмарочные демоны.

Их вывели в туманный рассвет, занимавшийся горизонтальной полосой, и повели на восток, вверх по склону горы. Весь день они шли наверх, и весь следующий день, пока Кеим не начал задыхаться от подъёма, изредка оглядываясь из-за гряды и глядя вниз, на море, которое казалось оттуда синей массой, совершенно плоской и очень далёкой. Он никогда не думал, что можно подняться так высоко над океаном, он чувствовал себя птицей. И всё же впереди, на востоке, ждали

ещё более высокие горы, а некоторые гребни хребта были грузными белыми вулканами, как гигантские горы Фудзи.

Они направлялись к горам. Их хорошо кормили и поили чаем, горьким, как квасцы; а позже, во время музыкального обряда, угостили маленькими чайными листьями в маленьких же мешочках — это были те же рваные зелёные листья, которые жевали в первую ночь их охранники. Листья тоже оказались горькими на вкус, но вскоре рот и горло от них онемели, и тогда Кеим почувствовал себя лучше. Листья бодрили не хуже чая или кофе. Он сказал Бабочке и своим матросам тоже жевать листья. Сила, тонко заструившаяся по его нервам, дала достаточно энергии ци, чтобы задуматься о побеге.

Казалось маловероятным, что И-Чинь сможет пересечь весь землисто-золотой город и повторить их путь, но Кеим не прекращал в это верить с какой-то яростной надеждой, которую чувствовал всякий раз, как смотрел на лицо Бабочки, ещё не тронутое сомнениями и страхом; происходящее казалось ей просто очередным этапом путешествия, которое и до того складывалось очень необычно. Нынешние впечатления даже увлекали её своими птичьими цветами, золотом

и высокими горами. Казалось, высота, на которую они поднялись, не оказывала на неё никакого воздействия.

Кеим начал понимать, что облака, теперь часто проплывавние под ними, существовали в воздухе более холодном и менее насыщенном, чем живительный солёный бульон, которым они дышали на поверхности моря. Однажды он уловил дуновение этого морского воздуха — или, возможно, только запах соли, ещё остававшейся в его волосах, — и теперь жаждал его, как пищи. Он изголодался по воздуху! Он содрогнулся, представив, как высоко они поднялись.

И они всё ещё не пришли. Они поднялись на гребень, покрытый снегом. Тропа была утоптана до глянцевого плотного белого вещества. Им выдали мягкие сапоги на деревянной подошве с мехом внутри, тяжёлые туники и покрывала с прорезями для головы и рук, всё в скрупулёзном орнаменте из шашечек, с маленькими рисунками в каждом квадратике. Покрывало, которое вручили Бабочке, оказалось таким длинным, что казалось, будто она облачена в рясу буддийского монаха, оно было сшито из такой дорогой ткани, что Кеим внезапно испугался. С ними путешествовал ещё один ребёнок, мальчик, как

показалось Кеиму, хотя он не был в этом уверен, и этот ребёнок тоже был одет во всё самое лучшее, как облачённый в мантию жрец.

Вышли к месту привала, где в снегу лежало несколько плоских камней. В углублении этой платформы они развели большой костёр, а вокруг установили несколько юрт. Похитители устроились на покрывалах и поели, после чего было выпито много чашек ритуального горячего чая, пива и бренди; затем они провели церемонию в честь заходящего солнца, которое скрылось в облаках, летящих над океаном. Они поднялись уже высоко над облаками, но огромный вулкан на востоке пронзал небо цвета индиго, и его снежные склоны светились ярко-розовым в первые послезакатные моменты.

Ночь была промозглой. И снова Кеим обнимал Бабочку, просыпаясь от страха всякий раз, когда она шевелилась. Время от времени у девочки как будто останавливалось дыхание, но через несколько секунд она делала новый вдох.

На рассвете их разбудили, и Кеим был благодарен за горячий чай и плотный завтрак, которым их накормили; затем им дали пожевать ещё зелёных листьев, хотя последнее было преподнесено богом-палачом.

Они начали подниматься по склону вулкана, когда тот ещё выглядел серым снежным склоном под белым рассветным небом. Океан на западе был скрыт облаками, но когда они рассеялись, огромная синяя плоскость лежала далеко-далеко внизу и казалась Кеиму родной деревней или детством.

По мере подъёма похолодало, и идти стало трудно. Снег под ногами был хрустким, и ледяные осколки его звенели и сверкали. Он был невероятно ярким, но всё остальное казалось слишком тёмным: иссиня-чёрное небо, вереница тусклых людей. Глаза Кеима слезились, и слёзы замерзали на его лице и в тонких седых бакенбардах. Он шёл, осторожно переставляя ноги по следам, оставленным идущими впереди стражниками, и неуклюже протягивал руку назад, чтобы держать Бабочку и вести её за собой.

Наконец, когда он уже давно забыл смотреть вверх, не ожидая, что когда-нибудь хоть что-нибудь изменится, снежный покров сошёл. Показались голые чёрные скалы, торчащие слева и справа, и особенно впереди, где выше уже ничего не осталось.

Действительно, они достигли пика: широкая беспорядочная россыпь камней, похожая на рас-

куроченную и заледеневшую грязь, смешанную со льдом и снегом. На самой высокой точке горного хребта торчало несколько шестов, на которых развевались тряпичные ленты и флаги, как в тибетских горах. Возможно, они были тибетцами.

Жрец в плаще, бог-палач и стражники собрались у подножия этих камней. Детей подвели к священнику, пока стражники силой удерживали Кеима. Он отступил назад, словно сдаваясь, сунул руки под одежду, как будто они замёрзли, что соответствовало правде, и нащупал холодную, как лёд, рукоятку ружья. Он взвёл курок и вытащил оружие из-под своей накидки — теперь оно было укрыто только одним покрывалом.

Детям дали ещё горячего чая, который они охотно выпили. Жрец и его приспешники пели, обратив взоры на солнце, стуча в барабаны, ритм которых болезненной пульсацией отдавался за полуслепыми глазами Кеима. У него жутко болела голова, и всё вокруг напоминало тени реальных вещей.

Внизу, по снежному склону, быстро поднимались фигуры. Они были завёрнуты в покрывала местного производства, но Кеиму они показались похожими на И-Чиня и его команду. Гораздо ниже них по склону в погоню бросилась ещё одна

группа людей.

Сердце Кеима и до того выскакивало из груди, теперь же оно забилось, как бой обрядовых барабанов. Бог-палач вынул золотой нож из деревянных ножен изящной работы и перерезал мальчику горло. Он слил кровь в золотую чашу, и на солнце от неё пошёл пар. Под звуки барабанов, труб и молитву тело завернули в саван из мягкой клетчатой ткани и бережно опустили на вершину, в расщелину между двумя большими камнями.

Палач и жрец в мантии повернулись к Бабочке, которая беспомощно вырывалась из чужих рук. Кеим вытащил ружьё из-под покрывала, проверил кремень и обеими руками навёл оружие на бога-палача. Он что-то выкрикнул и затаил дыхание. Стражники двинулись на него, и палач посмотрел в его сторону. Кеим нажал на спусковой крючок, и ружьё выстрелило, выпустив клуб дыма, отбросив Кеима на два шага назад. Бог-палач отлетел и заскользил по снегу, обильно истекая кровью из горла. Золотой нож выпал из его разжавшейся ладони.

Наблюдатели ошеломлённо уставились на бога-палача; они не поняли, что произошло.

Кеим продолжал держать их на прицеле, пока

рылся в поясной сумке в поисках заряда, поршня, дроби и пыжа. Прямо у них на глазах он перезарядил пистолет и пару раз резко прикрикнул, что заставило их подпрыгнуть.

Одни опустились на колени, другие попятились. Он видел, как И-Чинь и матросы карабкаются по снегу, преодолевая последний склон. Жрец сказал что-то ещё, и Кеим, старательно прицелившись, выстрелил.

Снова послышался хлопок, оглушительный, как раскат грома в ушах, и струя белого дыма вырвалась наружу. Жрец отлетел назад, словно от удара гигантским невидимым кулаком, упал навзничь и скорчился на снегу в мантии, залитой кровью.

Кеим шагнул сквозь дым к Бабочке. Он вырвал её из рук похитителей, которые дрожали, словно парализованные страхом. Он взял её на руки и понёс вниз по тропе. Она была в полубессознательном состоянии: вероятно, в чай подмешали какой-то наркотик.

Он подошёл к И-Чиню, который, пыхтя, вёл за собой матросов, вооружённых кремнёвыми ружьями, пистолетами и мушкетами.

— Возвращаемся на корабли, — приказал Кеим. — Стреляйте в любого, кто встанет на пути.

Спускаться с горы оказалось несравненно легче, чем подниматься, но именно в лёгкости спуска и заключалась опасность, потому что они всё ещё страдали от головокружения, еле видели перед собой и так устали, что то и дело поскальзывались; чем становилось теплее, тем сильнее размякал снег у них под ногами. Кеим нёс Бабочку на руках и не видел, куда ступает, и потому часто, иногда опасно, поскальзывался. Но двое из его людей шли рядом, когда это было возможно, подхватывая его под локти, если он оступался; и, несмотря ни на что, все спускались довольно быстро.

Толпы людей собирались каждый раз, когда они проходили мимо очередного горного поселения, и тогда Кеим передавал Бабочку мужчинам, чтобы держать пистолет в высоко поднятой руке, у всех на виду. Если толпа пыталась им помешать, он стрелял в человека с самым большим головным убором. Грохот выстрела, казалось, пугал зевак даже больше, чем внезапное падение и кровавая смерть их жрецов и вождей, и Кеим решил, что в здешней политической системе императорские воины, вероятно, часто казнили местных предводителей за те или иные проступки.

Во всяком случае, люди, которые встречались

им на пути, главным образом бывали ошеломлены шумом, производимым китайцами. Раскат грома — и мгновенная смерть, как при ударе молнии, что, должно быть, случалось достаточно часто в открытых горах, чтобы дать им представление о том, что сумели подчинить себе китайцы. Молния в трубке.

В итоге Кеим передал Бабочку своим людям и тяжело зашагал вниз по тропе во главе цепочки, перезаряжая ружьё и стреляя в каждого, кто оказывался достаточно близко для выстрела, чувствуя, как в нём клокочет странное воодушевление от ужасной власти над этими примитивными невеждами, которые впадали в транс при одном только виде оружия. Он был их богом-палачом во плоти, и он шёл сквозь них, как сквозь марионеток, подрезая их нитки.

Ближе к вечеру он приказал своей команде остановиться, захватить еду из ближайшей деревни и поужинать, после чего они продолжали спуск, пока не наступила ночь. Они укрылись в каком-то большом амбаре с каменными стенами и деревянной крышей, под самые стропила набитом тканями, зерном и золотом. Его люди надорвались бы, если б вынесли столько золота на своих спинах, поэтому Кеим велел каждому

брать с собой не больше одного предмета в руки: либо одну драгоценность, либо один слиток.

— Когда-нибудь мы вернёмся сюда, — пообещал он, — и станем богаче императора.

Он забрал с собой золотую статуэтку в виде мотылька.

Несмотря на усталость, ему не хотелось ложиться, и даже остановиться на месте было трудно. Погрузившись ненадолго в кошмарный сон, сидя рядом с Бабочкой в полудрёме, он разбудил всех ещё до рассвета, и они снова двинулись вниз по склону, зарядив ружья и приготовившись пустить их в ход.

Когда они спустились к берегу, стало ясно, что за ночь их обогнали гонцы и предупредили местных жителей о побоище на вершине. Группа воинственных мужчин оцепила перекрёсток прямо над огромным прибрежным городом. Крича и стуча в барабаны, они потрясали дубинками, щитами, копьями и пиками. Они явно превосходили приближавшихся китайцев в числе — против пятидесяти человек, которых привёл И-Чинь, стояли четыреста или пятьсот местных воинов.

— Рассредоточьтесь, — приказал Кеим своим людям. — Идите на них маршем, прямо по дороге, и пойте «Снова пьян на Великом канале».

Наставьте на них все свои ружья; когда я дам команду, вы остановитесь и возьмёте их вожаков на прицел — цельтесь в тех, у кого больше перьев на голове. Стреляйте из всех орудий, когда я скажу «пли», затем перезаряжайте. Делайте это как можно быстрее, но не стреляйте, пока не услышите моей команды. А потом стреляйте и снова перезаряжайте.

И они строем прошли по дороге, затянув во всю глотку старую застольную песню, после чего остановились и дали залп, и эффект, который произвели их кремнёвые ружья, был сравним с пушечной канонадой: люди попадали с ног и истекали кровью, а выжившие бежали в панике.

Потребовался всего один залп, чтобы прибрежный город покорился им. Они могли сжечь его дотла, разорить, но Кеим вёл их по улицам, не задерживаясь, продолжая горланить песню, пока они не оказались на берегу среди китайских десантных шлюпок, в безопасности. Им даже не пришлось стрелять во второй раз.

Кеим подошёл к И-Чиню и пожал ему руку.

— Я благодарен тебе, — сказал он официально при всех. — Ты спас нас. Они бы принесли Бабочку в жертву, как ягнёнка, а остальных перебили бы, как мух.

Кеим резонно предположил, что местные жители вскоре оправятся от шока, нанесённого им выстрелами, после чего станут опасны своим количеством. Уже сейчас толпы людей собирались на безопасном расстоянии, внимательно наблюдая за чужаками. Поэтому, посадив Бабочку и большую часть команды на корабли, Кеим посоветовался с И-Чинем и провиантмейстером корабля, чтобы выяснить, чего ещё им не хватает для обратного плавания через Дахай. Затем он в последний раз высадил большой вооружённый отряд на берег, и, после того как корабельные пушки открыли огонь по городу, вместе с отрядом направился прямо ко дворцу императора, снова напевая и маршируя в такт барабанам. Во дворце они обежали вокруг стены и перехватили жрецов и женщин, пытавшихся бежать через ворота с противоположной стороны; одного жреца Кеим застрелил, остальных связали его люди.

После этого он встал перед жрецами и жестами изложил свои требования. В голове до сих пор болезненно пульсировало, он пребывал в странном возбуждении, вызванном убийствами, и оказалось удивительно легко передать одной только пантомимой довольно непростой список требований. Он указал на себя и своих людей,

потом на запад и одной рукой изобразил парус, уплывающий под ветром другой руки. Он взял в руки кусочки еды и мешочки с чайными листьями, обозначая, что им это потребуется. Он изобразил, что всё это нужно доставить на берег. Он подошёл к вожаку среди заложников и сделал вид, что развязывает его и машет рукой на прощание. Если товар не прибудет… Он поочередно направил оружие на каждого заложника. Но если их требования выполнят, китайцы всех отпустят и уплывут.

Он разыграл каждое действие поэтапно, глядя заложникам в глаза и лишь изредка подавая голос, так как считал, что это только отвлечёт их от смысла. Затем он приказал своим людям освободить всех пленных женщин и нескольких мужчин, не носивших головных уборов, и отослал их с чёткими указаниями касательно желаемых товаров. По их глазам он понял, что они прекрасно понимают, что от них требуется.

После этого он вывел заложников на берег, и они стали ждать. Ближе к вечеру того же дня на одной из главных улиц города появились люди, тащившие за спинами мешки на верёвках, которыми были перехвачены их лбы. Они сложили мешки на берег, поклонились и отступили, не

поворачиваясь спиной к китайцам. Вяленое мясо, хлебные лепёшки, мелкие зелёные листья, золотые диски и украшения (хотя Кеим не просил об этом), покрывала и мягкая ткань в рулонах. Глядя на всё это добро, разложенное на берегу, Кеим почувствовал себя сборщиком податей, жестоким и бескомпромиссным, но вместе с тем испытал и облегчение. Его власть здесь была зыбкой и как будто зачарованной, он не понимал её и не мог контролировать. Но в первую очередь он чувствовал успокоение: теперь у них было всё необходимое, чтобы вернуться домой.

Он сам развязал заложников и жестом разрешил им уходить. Каждому из них он вручил по ружейной дроби, зажав шарики их непослушными пальцами.

— Однажды мы вернёмся, — сказал он им. — Если не мы, то люди ещё страшнее нас.

У него мелькнула мысль, что и эти люди могут подхватить оспу, как мивоки, ведь его матросы спали во дворце на покрывалах местных жителей.

Нельзя было знать наверняка. Местные попятились прочь, кто-то вцепившись в шарики, кто-то роняя их. Их женщины стояли на безопасном удалении, довольные тем, что Кеим сдержал

обещание и их мужчины снова свободны. Кеим скомандовал своим матросам садиться в лодки. Они выгребли к кораблям и отчалили от большого горного острова.

После пережитого плавание по Великому океану казалось им знакомым и очень мирным. Дни шли своим чередом. Они следовали за солнцем на запад, всегда на запад. Погода почти всё время стояла жаркая и солнечная. Затем в течение месяца каждый день облака сгущались и проливались во второй половине дня серыми грозовыми ливнями, которые быстро высыхали. После этого ветер всегда дул с юго-востока, облегчая им путь. Воспоминания о великом острове, оставшемся позади, стали казаться сном или мифами о царстве асур, которые слышал каждый из них. Если бы не присутствие Бабочки, они могли бы усомниться в том, что действительно испытали это.

Бабочка резвилась на корабле-флагмане. Она лазила по такелажу, как маленькая обезьянка. На борту были сотни мужчин, но присутствие одной маленькой девочки изменило всё: их плавание было благословенно. Остальные корабли держались поближе к флагману в надежде увидеть её или быть осчастливленными редким визитом. Большинство моряков верили, что она была

воплощением богини Тяньфэй, которая плыла с ними ради их же безопасности, и именно поэтому обратный путь протекал намного легче. Погода была благосклоннее, воздух теплее, рыбные косяки обильнее. Трижды они проходили мимо небольших необитаемых коралловых островов и собирали там кокосовые орехи и пальмовые сердцевины, а один раз даже воду. А главное, как казалось Кеиму, они направлялись на запад, домой, в известный им мир. Это так разительно отличалось от первого путешествия, что казалось странным называть эти вещи одним словом. Всего лишь направление — а какое огромное оно имело значение! Но под утренним солнцем плыть было тяжело, тяжело уплыть прочь от мира.

Так они и плыли день за днём. Солнце вставало на корме и клонилось к носу, увлекая их за собой. Даже солнце помогало им, возможно, слишком усердствуя: шёл седьмой месяц пути, и стояла адская жара, а потом почти целый месяц не было ветра. Они молились Тяньфэй, старательно не глядя на Бабочку во время молитвы.

Девочка играла на корабле, не обращая внимания на их косые взгляды. Она уже довольно бегло говорила по-китайски и научила И-Чиня всему, что помнила по-мивокски. Каждое слово

И-Чинь выписал в словарь, который, как он считал, мог бы пригодиться в будущих экспедициях на новый остров. Он как-то поделился с Кеимом наблюдением, которое показалось ему интересным: обычно он просто выбирал иероглиф или комбинацию иероглифов, которые звучанием больше всего походили на произносимое мивокское слово, и записывал максимально подробное его толкование, в зависимости от источника информации; но теперь, при взгляде на эти позвучные иероглифы, невозможно было не подставлять под них и их китайские толкования, так что весь язык мивоков стал очередным набором омонимов, которые дополнят собой и без того длинный список, уже существовавший в китайском языке. Метафорическая связка во многих китайских литературных или религиозных символах происходила исключительно благодаря таким омонимичным совпадениям: так, один иероглиф обозначал, что рождение камня (ши) произошло в десятый день месяца (ши); а в изображениях цапли и лотоса (лу, лянь) через омонимы стало иметься в виду пожелание: «Пусть тропа (лу) ведёт вас только наверх (лянь)»; в изображении обезьяны на спине другой обезьяны можно было считать подобным

образом примерно следующее: «Пусть тебя чтят как главного из поколения в поколение». И теперь для И-Чиня слова мивоков, означающие «возвращение домой», выглядели как «у» и «я», пять уток, а слова, означающие «плыть» — как Пэн Цзу, герой народных легенд, проживший на свете восемьсот лет. Поэтому он напевал что-то вроде: «Пять уток плывут домой, они управятся всего за восемьсот лет», или: «Прыгну в море и стану Пэн Цзу», — и Бабочка верещала от смеха. А сходства в морских терминах этих двух языков заронили в душу И-Чиня подозрение, что восточная экспедиция Сюй Фу всё-таки добралась до океанского континента Инчжоу и подарила ему несколько — если не больше — китайских слов; если, конечно, сами мивоки не были потомками китайской команды.

Кое-кто уже начал поговаривать о возвращении на новую землю, особенно в южное золотое царство, чтобы покорить дикарей с помощью оружия и привезти золото в настоящий мир. Они не говорили: «Это сделаем мы», что, конечно, было дурной приметой, а скорее рассуждали о том, что кто-то сделает это за них. Остальные слушали на расстоянии, пряча глаза, зная: если Тяньфэй позволит им добраться до дома, ничто на свете

не заставит их пересечь Великий океан снова.

Затем они встали в мёртвый штиль в том уголке океана, где не было ни дождя, ни облаков, ни ветра, ни течений. Словно проклятие пало на них — возможно, как раз из-за пустых разговоров о возвращении за золотом. Они начали обгорать на солнце. В воде плавали акулы, так что моряки не могли искупаться и охладиться, но они растянули парус между двух кораблей и слегка утопили его в воде, после чего смогли окунаться в бассейн с тёплой водой примерно по грудь глубиной. Кеим разрешил Бабочке надеть сорочку и тоже прыгнуть в воду. Отказать ей в прихоти значило бы повергнуть в шок и разозлить команду. Оказалось, что плавает она ловко, как выдра. Мужчины обращались с ней, как с богиней, и она смеялась, глядя, как они по-мальчишески резвятся. Было приятно заниматься чем-то новым, но парус не выдержал сырости и веса и постепенно разошёлся по швам, так что искупались они только раз.

Они впадали в меланхолию. Сначала у них кончится вода, а затем и еда. Возможно, слабые течения продолжали нести их на запад, но И-Чинь не питал на это больших надежд.

— Скорее всего, мы попали в центр великого

кругового течения, как в центр водоворота.

Он рекомендовал плыть на юг, когда это возможно, чтобы поймать и ветры, и течения, и Кеим послушал его совета, но ветра не было. Всё слишком напоминало первый месяц их путешествия, только без Куросио. И снова они обсудили, что нужно спускать лодки и грести на кораблях, но огромные джонки были слишком велики, чтобы сдвинуть их с места на одних только вёслах, и И-Чинь счёл чересчур опасным раздирать кожу на ладонях моряков, когда они и так сильно обезвожены. Не оставалось ничего, кроме как очищать перегонные кубы, греть их на солнце целыми днями и тщательно нормировать оставшуюся в бочках воду. И ни за что не позволять Бабочке испытывать жажду, как бы она ни настаивала на том, что ей не нужно больше остальных. Они бы отдали ей последнюю флягу во флоте.

Дошло до того, что И-Чинь предложил морякам сохранять свою тёмно-жёлтую мочу и смешивать её с остатками воды, когда с юга пришли чёрные тучи и стало ясно, что вместо недостатка воды их проблемой очень скоро станет её избыток. Налетел сильный ветер, над головами заклубились тучи, вода обрушилась на них стеной, и над бочками установили воронки, наполнив их

почти мгновенно. Теперь нужно было пережить шторм. Только самые большие джонки, как у адмирала, были достаточно высоки и подвижны, чтобы выдерживать такой натиск в течение долгого времени; и даже Восемь больших кораблей, пересохших за время мёртвого штиля, теперь разбухали под ливнем, канаты лопались, и ломались штыри, удерживающие их на месте, так что шторм превратился в непрерывную, суматошную борьбу промокших до нитки людей с течами и ломающимися рангоутами, шестами и канатами.

Тем временем волны становились всё больше, пока наконец корабли не начали подниматься и опускаться, словно передвигаясь по огромным дымным холмам, перекатываясь с юга на север в неспешном, но неумолимом и даже величественном темпе. Они вскинули нос флагманского корабля и покрыли палубу белым месивом пены, после чего их взорам на мгновение открылся хаос от горизонта до горизонта; они заметили ещё два или три корабля, раскачивавшихся в разных ритмах и уносимых прочь в водяную мглу. По большей части они ничего не могли поделать и потому отсиживались в каютах, промокшие и встревоженные, не слыша друг друга за рёвом

ветра и волн.

В самый разгар шторма они вошли в «рыбий глаз», то странное и зловещее затишье, где волны беспорядочно расплёскивались во все стороны, сталкиваясь друг с другом и выбрасывая в тёмный воздух густые всплески белой воды, пока вокруг них низкие чёрные тучи закрывали горизонт. Стало быть, тайфун; никто не удивился. Как и в символе инь-ян, в центре урагана были точки затишья. Скоро он вернётся с противоположной стороны.

Поэтому они в спешке взялись за починку неполадок, веря, как это всегда бывает, что, пройдя половину пути, они должны дойти до его конца. Кеим вглядывался в темноту, на ближайший к ним корабль, попавший в бедственное положение. Мужчины столпились у парапета, томительно глядя на Бабочку, а некоторые даже звали её. Наверняка они думали, что беда приключилась с ними из-за того, что они не взяли её с собой на борт. Капитан прокричал Кеиму, что, когда шторм грянет снова, им, возможно, придётся срубить мачты, чтобы не опрокинуться: пусть остальные, если придётся, найдут их после окончания шторма.

Но когда тайфун обрушился с другой стороны,

дела на флагмане тоже пошли плохо. Бабочку под неуклюжим углом отшвырнуло волной в стену, и после этого страх моряков стал практически осязаем. Они потеряли из виду другие корабли. Ветер снова кромсал в пену огромные волны, и их гребни обрушивались на корабль, словно намеренно взявшись потопить его. Штурвал отломился от оси, и хотя они пробовали достать штурвал с помощью реи, после этого они фактически стали огромной деревяшкой, которую било о борт каждой волной. Пока матросы пытались восстановить штурвал и спасти корабль — некоторых смыло за борт, или они утонули, запутавшись в канатах, — И-Чинь осматривал Бабочку. Он прокричал Кеиму, что девочка сломала руку и, кажется, несколько рёбер. Кеим заметил, что ей трудно дышать. Он продолжил бороться с управлением, и наконец они перебросили через борт морской якорь, который быстро развернул носовую часть корабля по направлению ветра. Это ненадолго выручило их, но даже по носу волны били ощутимо, и морякам пришлось приложить все усилия, чтобы не сорвало люки и трюмы не залило водой. И всё это время мужчины сходили с ума от страха за Бабочку и гневно кричали, что о ней надо было лучше заботиться, что ничего

подобного не должно было с ней случиться и что это непростительно. Кеим знал, что это его вина.

Когда выдалась свободная минутка, он сел рядом с ней в самой высокой каюте на задней палубе и жалобно посмотрел на И-Чиня, который не мог его обнадёжить. Она кашляла пенистой кровью, очень красного цвета, и И-Чинь время от времени высасывал жидкость трубкой, которую вставил ей в рот.

— Ребро пробило лёгкое, — объяснил он коротко, не сводя с девочки глаз.

Она оставалась в сознании, глядя на них широко распахнутыми глазами. Ей было больно, но она хранила спокойствие. Она только спросила:

— Что со мной?

После того как И-Чинь прочистил ей горло от очередного кровавого сгустка, он повторил то, что сказал Кеиму. Она дышала как собака, часто и мелко.

Кеим вернулся в водный хаос, царивший на палубе. Ветер и волны были как прежде, а возможно, даже слегка ослабли. Нужно было решить массу больших и не очень проблем, и он брался за них с яростью, бормоча себе под нос или крича на богов, но это не имело значения: на палубе ничего не было слышно, если только не кричали

тебе прямо в уши.

— Тяньфэй, не покидай нас, умоляю тебя! Отпусти нас домой. Дай нам вернуться, чтобы мы могли рассказать императору о своей находке. Сохрани девочке жизнь.

Бурю они пережили, но на следующий день Бабочка умерла.

Только три корабля нашли друг друга и встретились вновь на тихой глади моря. Тело Бабочки зашили в мужское платье и вплели в него два золотых диска из горной империи, после чего опустили за борт; оно тихо скользнуло в волны. Все плакали, даже И-Чинь, а Кеим едва мог вымолвить слова погребальной молитвы. Кому было молиться? Казалось невероятным, что после всего, через что они прошли, обычный шторм мог убить морскую богиню, — но вот она тонет в волнах, принесённая в жертву морю, точно так же, как мальчик-островитянин, принесённый в жертву вулкану. Солнце или морское дно, не всё ли равно?

— Она умерла, чтобы спасти нас, — сказал он мужчинам сдержанно. — Она отдала свою оболочку богу бурь, чтобы он оставил нас в покое. Теперь мы должны чтить её память. Мы обязаны вернуться домой.

И вот они, как могли, починили корабль и выдержали ещё один месяц засухи. Это был самый долгий месяц в их плавании, во всей их жизни. Всё ломалось на кораблях, ломалось в их телах. Еды и воды не хватало. Язвы выступили на языках и на коже. У них почти не оставалось ци, и у них даже не было аппетита доедать то, что осталось.

Мысли Кеима покинули его. Он обнаружил, что, когда мыслей не остаётся, вещи делаются сами по себе. Чтобы делать, не нужно думать.

В один день он решил: слишком большой парус поднять невозможно. В другой день: «Больше, чем достаточно, — это слишком. Слишком много — значит меньше. Поэтому наименьшее — это наибольшее». Наконец он понял, что имели в виду даосы.

Иди, куда ведёт дорога. Вдыхай и выдыхай. Двигайся вместе с волнами. Море не знает корабля, корабль не знает моря. Плавание происходит само по себе. Равновесие в равновесии. Садись, не думая.

Море и небо слились воедино. В сплошную синеву. Ничего не делалось — делать было нечего. Плавание просто продолжалось.

И когда они обошли кругом Великий океан, это случилось само по себе.

Кто-то поднял голову и заметил остров. Оказалось, что это Минданао и за остальным архипелагом показался Тайвань и знакомые берега Внутреннего моря.

Три уцелевших больших корабля вернулись в Нанкин почти через двадцать месяцев после отплытия, удивив всех горожан, которые считали, что они присоединились к Сюй Фу на дне моря. И они, конечно же, были счастливы вернуться домой и изобиловали рассказами об удивительном гигантском острове на востоке.

Но всякий раз, когда Кеим встречался взглядом с кем-нибудь из своих попутчиков, он видел в их глазах боль. Он видел также, что они винят его в смерти Бабочки. Поэтому он был счастлив покинуть Нанкин и вместе с группой официальных лиц отправиться вверх по Великому каналу, в Пекин. Он знал, что моряки разбредутся по всему побережью, пойдут своими дорогами, чтобы не видеть друг друга и не вспоминать; только по прошествии лет захотят они встретиться, чтобы напомнить себе о боли, когда та станет такой далёкой и незаметной, что они захотят её вернуть, просто чтобы снова почувствовать, что действительно прошли через это, что в их жизни всё это было.

Но сейчас некуда было деться от чувства, что они потерпели неудачу. Поэтому, когда Кеима ввели в Запретный город, чтобы он предстал перед императором Ваньли выслушать похвалу важных столичных чиновников, Кеим принял заинтересованную и милостивую благодарность самого императора, сказав лишь одно:

— Когда пересекаешь Великий океан, это не заслуга человека.

Император Ваньли кивнул, повертев в руках сначала золотой слиток, один из тех, что они привезли с собой, а затем большого мотылька из чеканного золота, чьи крылышки и усики изумительно тонкой работы были очерчены с исключительным мастерством. Кеим уставился на Небесного Посланника, пытаясь заглянуть под кожу императору, увидеть Нефритового Императора внутри него. Кеим сказал:

— Эта далёкая страна затерялась во времени, её улицы вымощены золотом, золотом покрыты крыши её дворцов. Вы могли бы завоевать её за месяц, править ей во всей её необъятности и привезти в Китай все её несметные сокровища, нескончаемые леса и меха, бирюзу и золото, больше золота, чем есть во всём мире; но величайшее сокровище этой страны уже утрачено.

Снежные вершины возвышаются над тёмной землей. Первый ослепительный луч солнечного света затапливает всё вокруг. Он мог сделать это тогда (всё было так ярко), он мог в тот самый миг погрузиться в чистейшую белизну и никогда не возвращаться, навсегда раствориться. Освободиться, освободиться. Нужно было многое повидать, чтобы так сильно желать освобождения.

Но этот миг миновал, и он очутился на чёрном полу судилища бардо, на его китайской стороне, в кошмарном лабиринте пронумерованных уровней, и юридических палат, и бюрократов, потрясающих списками душ, подлежащих возвращению под надзор старательных палачей. Над этой адской бюрократией возвышался помост высотой с Тибет, где расположился весь зверинец демонических божков, разрубающих осуждённые души и изгоняющих их ошмётки или в ад, или в новую жизнь в царстве прет или зверей. Мрачное свечение, гигантский помост, похожий на пологий склон горы, возвышающийся над ним, галлюцинаторно-цветастые божки ревут и пляшут, сверкая мечами в чёрном воздухе; шёл страшный суд, дело нечеловеческих рук, не счёт соринок в чужом глазу, но истинный

суд, вершимый высшими силами, создателями мироздания. Кто, в конце концов, сделал людей такими слабыми, трусливыми и жестокими, какими они так часто оказывались? Так что здесь возникало определённое ощущение свершённого рока, краплёных костей, кармы, мстящей за все маленькие удовольствия и красоты, которые несчастные смертные существа сумели слепить из грязи своего существования. Ты жил смело и шёл наперекор всему? Возвращайся собакой! Упорствовал, несмотря ни на что? Возвращайся мулом, возвращайся червём. Так всё устроено.

Так размышлял Кеим, шагая сквозь туманы, всё более распаляясь, пока продирался сквозь бюрократов, отбиваясь от них их собственными грифельными дощечками, их списками и счётами, пока не увидел Кали и её придворных, стоящих полукругом вокруг Бабочки, насмехаясь над ней, осуждая её, как будто этой бедной неприхотливой душе было за что отвечать перед этими богами-мясниками и эонами сотворённого ими зла — зла, просочившегося в самое сердце космоса, который они и создали!

Кеим взревел в приступе немой ярости, бросился вперёд, выхватил меч из одной из шести рук богини смерти и одним взмахом отрубил их

все с одной стороны; лезвие было очень острым. Кровоточащие руки разлетелись по полу, сначала заметавшись; а затем, к невыразимому ужасу Кеима, все они вцепились в половицы и поползли, по-крабьи шевеля пальцами. Хуже того, из ран, всё ещё обильно кровоточащих, вырастали новые плечи. Кеим с криком сбросил обрубки с помоста, затем повернулся и разрубил Кали пополам, не обращая внимания на других собратьев из своего джати, которые стояли там с Бабочкой, прыгая и крича на него: «О нет, Кеим, не делай этого, ты не понимаешь, так нельзя, ты должен следовать протоколу». Даже И-Чинь, крича громче всех, перекрывая голоса остальных, молил: «Мы можем хотя бы направить свои усилия на подпорки помоста или флаконы забвения, на что-то более техническое, не так бесцеремонно!» Тем временем торс Кали на кулаках полз по полу; её ноги и бёдра шатались, продолжая стоять, и недостающие половинки росли из разрубленных частей, как рога улитки. И вот уже две Кали надвигались на него, обнажив мечи в дюжине рук.

Он соскочил с помоста и с грохотом приземлился на голые доски космоса. Его собратья упали рядом, вскрикнув от боли при ударе.

— Из-за тебя у нас будут неприятности, — за-

ныл Сэнь.

— Так ничего не получится, — сообщила ему Бабочка, когда они вместе, задыхаясь, побежали в тумане. — Я видела многих, кто пытался. В припадке гнева они набрасываются на страшных богов и рубят их на куски, вполне заслуженно, и всё же боги возвращаются, умножаясь в других людях. Кармический закон вселенной, мой друг. Как постоянство инь и ян, как гравитация. Мы живём во вселенной, которой правит много законов, но умножение насилия насилием является одним из основных.

— Я в это не верю, — сказал Кеим и остановился, отбиваясь от двух преследующих их Кали.

Он замахнулся и обезглавил очередную Кали. Тут же выросла новая голова, вздуваясь над фонтаном, хлещущим из горла чёрного тела, и её новый белозубый рот смеялся над ним, и её кроваво-красные глаза сверкали. Он понял, что нажил себе неприятностей, понял, что она разрубит его на куски. За то, что он воспротивился этим жестоким, несправедливым, бессмысленным, чудовищным божествам, его разрубят на куски и вернут в мир в виде мула, обезьяны или увечного дряхлого брюзги…

Книга четвёртая. Алхимик



Трансмутация

И вот случилось так, что, когда красный труд великого алхимика близился к своей кульминации (преумножению вещества и проекции софического гидролита на фермент, образующий эликсир, иными словами, к превращению неблагородных металлов в золото), зять алхимика, Бахрам аль-Бухара, врезаясь в людей, носился по самаркандскому базару, спеша выполнить последние поручения тестя и не реагируя на окрики многочисленных приятелей и кредиторов.

— Нет времени, — отвечал он им, — мне нельзя задерживаться!

— А долги задерживать, значит, можно! — заметил Дивенди, чей кофейный лоток был втиснут в проулок за мастерской Иванга.

— Есть такое, — согласился Бахрам, но выпить кофе остановился. — Вечно опаздываю, зато никогда не скучаю.

— Загонял тебя Калид.

— Вчера так и вовсе, буквально. Большой пеликан треснул во время погружения, и весь состав пролился рядом со мной — смесь кипрского купороса с нашатырным спиртом!

— Это опасно?

— О, Боже! Ткань штанов разъело в тех местах, куда угодили брызги, а дымило-то как! Пришлось удирать со всех ног, чтобы с жизнью не расстаться!

— Как обычно.

— Вот уж правда. Я чуть сердце не выкашлял, и глаза всю ночь слезились. Я как будто твоего кофе напился.

— Для тебя я всегда завариваю на спитом.

— Я знаю, — ответил он, последним глотком осушая чашку зернистого напитка. — Ты завтра придёшь?

— Смотреть на то, как свинец превращается в золото? Непременно.

В мастерской Иванга центральное место занимала кирпичная печь. Знакомое шипение и запах ревущего огня, звон молотка, горящее расплавленное стекло, Иванг, внимательно вращающий прут. Бахрам приветствовал стеклодува и ювелира со словами:

— Калиду нужно ещё волка.

— Калиду всегда нужно больше волка, — отозвался Иванг, продолжая вращать шар горячего стекла. Высокий и плечистый, с широким лицом, он был тибетцем по происхождению, но давно

жил в Самарканде и являлся одним из ближайших сподвижников Калида. — С деньгами на этот раз?

— Разумеется, нет. Просил записать это на его счёт.

Иванг поджал губы.

— Слишком много счетов у него в последнее время.

— Всё будет оплачено послезавтра. Он закончил семьсот семьдесят седьмую перегонку.

Иванг отложил работу и подошёл к стене, заставленной коробками. Протянул Бахраму небольшой кожаный кошель, тяжёлый от веса мелких свинцовых бусин.

— Золото растёт в земле, — сказал он. — Сам Ар-Рази не смог бы вырастить его в горниле.

— Калид бы с этим поспорил. Да и Ар-Рази жил давным-давно. Он не мог добиться температур, которые доступны нам сейчас.

— Пусть так, — Иванг был настроен скептически. — Передай ему, чтобы был осторожен.

— Чтобы не обжечься?

— Чтобы хан его не обжёг.

— Ты придёшь посмотреть?

Иванг неохотно кивнул.

Наступил день демонстрации, и великий Ка-

лид Али Абу аль-Самарканди нервничал; Бахрам вполне понимал, почему. Если хан Сайед Абдул-Азиз, правитель Бухарского ханства, человек невероятно богатый и влиятельный, решит оказать поддержку начинаниям Калида, всё будет хорошо; но такого человека было опасно разочаровывать. Даже его ближайший советник, министр финансов Надир Диванбеги, всеми правдами и неправдами старался не огорчать его. Вот недавно, например, по приказу Надира построили новый караван-сарай в восточной части Бухары, и хана пригласили на церемонию его открытия, а он, будучи человеком по своей природе не самым внимательным, поздравил их с открытием прекрасного медресе; вместо того, чтобы поправить его, Надир приказал переоборудовать комплекс в медресе. Вот каким человеком был хан Сайед Абдул-Азиз, и именно ему Калид собирался продемонстрировать свой эликсир. Этого хватило, чтобы у Бахрама скрутило живот и участился пульс, и хотя голос Калида звучал, как всегда, резко, нетерпеливо и уверенно, Бахрам заметил, что его лицо необычайно бледное.

Но он много лет работал над проекцией и изучил все алхимические тексты, которые смог найти, и даже книги, приобретённые Бахрамом

в караван-сарае у индуистов, включая «Книгу об окончании поиска» Джилдаки, «Книгу весов» Джабира, «Тайну тайн», когда-то считавшуюся утерянной, и китайский «Справочник для проникающих в реальность»; и обширные мастерские Калида были оборудованы для того, чтобы производить необходимое количество перегонок при высоких температурах и с сохранением хорошей чистоты, все семьсот семьдесят семь раз. Две недели назад он объявил, что его последние эксперименты принесли плоды, и теперь всё было готово к публичной демонстрации, на которой, разумеется, должно было присутствовать правящее лицо, без чего демонстрация не имела бы значения.

И Бахрам бегал, сломя голову, по комплексу зданий, где жил Калид, на северной окраине Самарканда, раскинувшегося вдоль берегов реки Зеравшан, которая снабжала энергией литейные цеха и многочисленные мастерские города. Стены вокруг этого комплекса были обложены громадными кучами угля, ждущими сожжения, а внутри располагалось несколько зданий, сгруппированных на некотором отдалении вокруг центральной рабочей зоны, дворика, где повсюду стояли чаны и выцветшие соляные ванны.

Несколько зловонных запахов сливались в общий резкий запах, столь характерный для дома Калида. Помимо всего прочего, он был главным металлургом и поставщиком пороха в ханстве, и эти практические направления давали ему возможность заниматься алхимией, которая была его главной страстью.

Бахрам лавировал среди завалов, проверяя, чтобы демонстрационная зона была готова. Длинные столы в мастерских с открытыми стенами ломились от аккуратно расставленного оборудования; стены были увешаны ровными рядами инструментов. Главный атанор[20] ревел от жара.

Но Калида нигде не было. Рабочие его не видели, Эсмерина (жена Бахрама и дочь Калида) тоже. Дом, расположенный в дальней части комплекса, казался пустым, и никто не откликался на голос Бахрама. Он начал сомневаться, уж не сбежал ли Калид от страха.

Но потом Калид объявился, выйдя из библиотеки, расположенной рядом с его кабинетом, единственной комнатой в комплексе, где дверь запиралась на замок.

— Вот ты где, — выдохнул Бахрам. — Хватит,

---

[20] Примечания: 20
Печь алхимика (*прим. ред.*).

отец, Ар-Рази и Мария Еврейка тебе сейчас не помогут. Пришло время показать всему миру проекцию, как она есть.

Калид, не ожидавший его здесь увидеть, сдержанно кивнул.

— Я заканчивал с приготовлениями, — сказал он.

Он повёл Бахрама в печной сарай, где мехи, приводимые в действие водяным колесом на реке, качали воздух в ревущие очаги.

Хан со своей свитой прибыл довольно поздно, когда день уже близился к концу. Под топот копыт прискакали двадцать всадников, сверкая пышным убранством, а за ними караван верблюдов в пятьдесят голов, взмыленных от галопа. Хан соскочил со своего белого коня и пересёк двор в сопровождении Надира Диванбеги и нескольких придворных чиновников, следовавших за ним по пятам.

Калид попытался торжественно поприветствовать хана, преподнеся в дар одну из самых дорогих ему алхимических книг, но Сайед Адбул-Азиз перебил его.

— Показывай, — приказал хан, взяв книгу, не глядя.

Калид поклонился.

— Я использовал дистиллятор, который называется «пеликан». Исходное вещество представлено в основном кальцинированным свинцом с незначительной примесью ртути. Они были проецированы в процессе длительной дистилляции и повторной перегонки, пока пеликан не пропустил всё вещество семьсот семьдесят семь раз. К этому моменту дух льва — или, выражаясь более обывательскими терминами, золото — конденсируется при максимальном нагреве атанора. Теперь мы наливаем волка в этот сосуд, помещаем его в атанор и ждём час, помешивая в течение этого времени семь раз.

— Показывай.

Подробности явно уже наскучили хану.

Без лишних слов Калид повёл их в печной сарай, где его помощники отворили тяжёлую прочную дверцу атанора, и Калид, выждав, пока гости пощупают и со всех сторон осмотрят керамическую чашу, взялся за щипцы и влил в чашу серый дистиллят, после чего поместил поднос в атанор и задвинул в точку наивысшего жара. Воздух над печью задрожал; мулла Сайеда Абдул-Азиза взялся читать молитву, а Калид неотрывно следил за секундной стрелкой своих самых точных часов. Каждые пять минут он делал знак

рабочим, которые открывали дверцу и вынимали поднос, и Калид своим ковшом перемешивал жидкий металл, теперь светящийся оранжевым, семь раз по семь круговых движений, а затем поднос снова погружался в жар огня. В последние минуты процедуры стало так тихо, что слышно было потрескивание древесного угля во дворе. Вспотевшие наблюдатели, среди которых были и знакомые горожане, следили, как тикают секунды последней минуты часа в молчании, подобном суфиям в безмолвном трансе или, подумал Бахрам с нехорошим предчувствием, ястребам, высматривающим жертву на земле с неба.

Наконец Калид кивнул рабочим, самолично большими щипцами снял чашу с подноса и отнёс её на стол во дворе, расчищенный специально для этой демонстрации.

— Теперь сливаем шлак, великий хан, — он вылил расплавленный свинец из чаши в каменную лохань на столе. — И на дне мы увидим… ах…

Он улыбнулся, вытер лоб рукавом и кивнул на чашу.

— Даже расплавленное, оно слепит глаза.

На дне чаши плескалась жидкость тёмно-красного цвета. С помощью лопатки Калид осторожно

снял остатки шлака, и на дне чаши обнаружилась остывающая масса жидкого золота.

— Пока оно не затвердело, можем вылить его в форму для слитка, — сказал Калид с тихим удовлетворением. — Кажется, здесь будет около десяти унций. Одна седьмая всего сырья, как и предполагалось.

Лицо Сайеда Абдул-Азиза сияло, как золото. Он повернулся к своему секретарю Надиру Диванбеги, который внимательно разглядывал керамическую чашу.

Не меняясь в лице, Надир жестом подозвал одного из стражников хана. Остальные, стоя позади бригады алхимика, шевельнулись. Наконечники их пик всё ещё смотрели вверх, но стражники вытянулись по стойке смирно.

— Конфискуйте инструменты, — приказал Надир старшему стражнику.

Три солдата помогли ему собрать всё оборудование, задействованное в процедуре, включая даже великого пеликана. Когда всё было собрано, Надир подошёл к одному из стражников и взял ковш, которым Калид помешивал жидкие металлы. Внезапным движением он ударил ковшом по столу. Ковш зазвенел, как колокольчик. Секретарь посмотрел на Сайеда Абдул-Азиза, ко-

торый озадаченно смотрел на него в ответ. Надир кивнул одному из копейщиков, затем положил ковш на стол.

— Пили.

Пика тяжело опустилась на ковш, и тот раскололся прямо под рукояткой. Надир взял ручку и черпак и осмотрел их. Потом показал их хану.

— Вот, взгляните: основание полое. Золото было в трубке внутри рукоятки, и во время помешиваний жар расплавил золото, и оно вытекло в свинец в чаше. И по мере того, как он продолжал мешать, металл переместился на дно чаши.

Бахрам перевёл на Калида потрясённый взгляд и понял, что это правда. Лицо его тестя стало белее мела, и он перестал обливаться потом. Живой мертвец.

Хан бессловесно взревел, а потом набросился на Калида и ударил его книгой, которую ему подарили. Он колотил его книгой, и Калид не сопротивлялся.

— Вяжите его! — закричал Сайед Абдул-Азиз своим солдатам.

Схватив Калида под руки, они поволокли его по пыльной земле, не позволяя подняться на ноги, и забросили на спину верблюду. Через минуту они покинули двор, оставив после себя в воздухе дым,

пыль и отзвуки криков.

Милость хана

Никто не надеялся, что после такого позора Калида пощадят. Его жена Федва уже погрузилась в траур, Эсмерина тоже была безутешна. Вся работа на его дворе встала. Бахрам не находил себе места в странной тишине опустевших мастерских, в ожидании новостей и разрешения забрать тело Калида. Он вдруг понял, что недостаточно разбирается в ремесле, чтобы хорошо управлять производством.

Наконец они дождались: им было велено явиться на казнь. Иванг отправился в Бухару вместе с Бахрамом, где они посетили столичный дворец. Иванг был опечален и вместе с тем сердит.

— Нужно было попросить у меня, если ему не хватало средств. Я бы помог.

Бахрам немного удивился, услышав это, так как захудалая лавчонка Иванга на базаре не казалась особенно процветающей, но он ничего не сказал. Несмотря ни на что, он любил своего тестя и испытывал сейчас такое беспросветное горе, которое оставляло мало места для размышлений о финансовом положении Иванга. Надвигающаяся жестокая смерть близкого ему человека, отца

его жены (а она будет горевать много месяцев, если не лет), человека, столь полного жизни, эта мысль не позволяла думать ни о чём другом, и его мутило от страшного ожидания.

На следующий день они добрались до Бухары, подрагивающей в летнем зное, в россыпи коричневых и песчаных оттенков, увенчанных тёмно-синими и бирюзовыми куполами мечетей. Иванг указал на один из минаретов.

— Башня смерти, — сказал он. — Скорее всего, его сбросят оттуда.

К горлу подступила тошнота. Они вошли в восточные ворота города и направились во дворец. Там Иванг объяснил, по какому они вопросу. Бахрам испугался, что их тоже сейчас схватят и казнят как сообщников. Раньше такое не приходило ему в голову, и он дрожал как осиновый лист, когда их ввели в помещение, выходившее во дворцовый сад.

Вскоре прибыл Надир Диванбеги. Он взглянул на них своим обычным пристальным взглядом: невысокий элегантный мужчина, с чёрной бородкой клинышком и бледно-голубыми глазами, тоже сеид, и очень богатый.

— Говорят, ты такой же великий алхимик, как и Калид, — внезапно обратился Надир к Ивангу. —

И ты веришь в философский камень, в проекцию и в так называемые красные труды? Возможно ли превратить неблагородные металлы в золото?

Иванг кашлянул.

— Трудно сказать, эфенди. Я не могу этого сделать, и адепты, которые утверждали, что им это удавалось, в своих текстах никогда не давали точных указаний. Таких, которые мне могли бы пригодиться.

— Пригодиться, — повторил Надир. — Хочу подчеркнуть это слово. Такие люди, как ты и Калид, обладают знаниями, которые могли бы пригодиться нашему хану. В практическом применении — например, изготовлении пороха, который менее непредсказуем в своей силе. Или для более крепкой металлургии, или более эффективной медицины. Это может дать нам реальные преимущества в мире. Тратить такие возможности на мошенничество… Естественно, хан гневается.

Иванг кивнул, опустив глаза.

— Я долго говорил с ним на эту тему и припомнил ему все заслуги Калида как оружейника и алхимика. Его прошлые успехи в оружейном деле. Сколько раз он оказывал хану помощь. И наш мудрый хан решил проявить милосердие,

достойное самого Мухаммеда.

Иванг поднял глаза.

— Ему сохранят жизнь, если он пообещает работать над реальными вещами для ханства.

— Не сомневаюсь, что он согласится на это, — сказал Иванг. — Это великая милость.

— Да. Правую руку ему, конечно, отрубят за воровство, как того требует закон. Но, принимая во внимание дерзость его преступления, это ещё очень лёгкое наказание, как он сам признаёт.

Наказание было приведено в исполнение тем же днём, в пятницу, после базарного часа и перед молитвой, на центральной площади Бухары, рядом с большим бассейном. Поглазеть собралась большая толпа зевак. Люди приободрились, когда стражники вывели из дворца Калида, одетого в белые одежды, как во время празднования Рамадана. Многие бухарцы выкрикивали оскорбления в адрес Калида, как за воровство, так и за его самаркандские корни.

Он преклонил колени перед Сайедом Абдул-Азизом, который возвестил милость Аллаха, и себя самого, и Надира Диванбеги за то, что заступился за негодяя с просьбой сохранить ему жизнь за такое гнусное мошенничество. Калида за руку, издали похожую на тощую и когтистую птичью

лапу, привязали к колодке, после чего один из солдат занёс над головой большой топор и опустил его на запястье Калида. Кисть Калида упала с колодки, и на песок брызнула кровь. Толпа загудела. Калид завалился на бок, и один солдат, пока двое других придерживали его, засмолил рану горячей смолой из горшка на жаровне, при помощи короткой палки нанося чёрную жижу на обрубок культи.

Бахрам и Иванг повезли его обратно в Самарканд, уложили в воловью повозку, сооружённую Ивангом для перевозки тяжёлых грузов из стекла и металла, которыми нельзя было навьючить верблюда. Повозку страшно трясло на дороге, которая представляла собой широкую пыльную колею между двумя городами, протоптанную вековыми переходами верблюжьих караванов. Большие деревянные колёса подпрыгивали на каждом ухабе и на каждом бугре, и Калид стонал с воза, в полубессознательном состоянии и тяжело дыша, вцепившись левой рукой в обескровленное, обожжённое правое запястье. Иванг заставил его проглотить опиумную настойку, и если бы не эти стоны, могло бы показаться, что Калид мирно спит.

Бахрам смотрел на культю с тошнотой и лю-

бопытством. Увидев, что Калид левой рукой сжимает запястье, он сказал Ивангу:

— Ему придётся есть левой рукой. И всё делать левой рукой. Он навсегда останется нечистым.

— Такая чистота не имеет значения.

Им пришлось заночевать на обочине дороги, потому что ночь застала их в пути. Бахрам сидел рядом с Калидом и пытался хотя бы немного покормить его супом Иванга.

— Давай, отец. Ну же. Съешь что-нибудь, и тебе полегчает. А когда тебе полегчает, всё образуется.

Но Калид только стонал и ворочался с боку на бок. В темноте, под раскинувшейся сетью звёзд, Бахраму казалось, что от жизни их не осталось камня на камне.

Последствия наказания

Но когда Калид пришёл в себя, оказалось, что сам он всё видит иначе. Он хвалился своим поведением во время наказания перед Бахрамом и Ивангом:

— Я не проронил ни слова, ведь ещё в тюрьме испытывал себя на прочность, проверяя, как долго могу задерживать дыхание, не потеряв сознания, и поэтому, когда понял, что момент близок, я просто задержал дыхание и так хорошо подгадал время, что как раз был на грани обморока, когда произошёл удар. Я даже ничего не почувствовал. Я даже не помню ничего.

— Мы помним, — сказал Иванг, нахмурившись.

— Но происходило это со мной, — резко сказал Калид.

— Хорошо. Можешь снова воспользоваться этим методом, когда тебе будут рубить голову. Можешь ещё и нас научить, когда нас прикажут сбросить с Башни смерти.

Калид уставился на него.

— Вижу, ты сердишься на меня, — протянул он язвительно и обиженно.

— Из-за тебя мы все могли погибнуть, — сказал Иванг. — Сайед Абдул отдал бы такой приказ без долгих колебаний. Если бы не Надир Диванбеги, всё могло бы так и случиться. Тебе стоило обговорить всё со мной. И с Бахрамом, и со мной. Мы бы тебе помогли.

— Как ты вообще оказался в таком положении? — спросил Бахрам, осмелев после упрёков Иванга. — Мастерские приносят достаточно денег.

Калид вздохнул и провёл культёй по лысеющей голове. Он встал, подошёл к закрытому шкафу, отпер его и достал оттуда книгу и коробку.

— Это пришло из индуистского караван-сарая два года назад, — сказал он, показывая им старые книжные страницы. — Это манускрипт Марии Еврейки, великой алхимистки. Очень древний. Её формула проекции показалась мне весьма убедительной. Мне нужны были только правильные печи, много серы и много ртути. Поэтому я выложил целое состояние за эту книгу и за подготовку оборудования. А когда я оказался в долгу перед армянами, всё закрутилось, как снежный ком. Теперь мне требовалось золото, чтобы расплатиться за золото.

Он недовольно пожал плечами.

— Нужно было так и сказать, — повторил Иванг, листая древнюю книгу.

— Всегда обращайся ко мне, когда нужно торговаться с кем-то в караван-сарае, — добавил Бахрам. — Они знают, что тебе нужны сами книги, тогда как я бестолковый, и потому со мной они торгуются без азарта.

Калид нахмурился.

Иванг постучал пальцем по книге.

— Это просто освежённый Аристотель. А у Аристотеля ничему дельному не научишься. Я читал багдадские и севильские переводы его трудов, и мне кажется, что ошибается он чаще, чем говорит истину.

— Что ты имеешь в виду? — негодующе воскликнул Калид.

Даже Бахрам знал, что Аристотель был мудрейшим из древних и первейшим авторитетом для всех алхимиков.

— А где он не ошибается? — отмахнулся Иванг. — Да от распоследнего сельского врача из Китая больше пользы, чем от Аристотеля. Он считал, что сердце мыслит, и не знал, что оно качает кровь; он понятия не имел о селезёнке и меридианах, и он никогда даже не упоминал о пульсе или языке. Ему хорошо удавались вскрытия жи-

вотных, но он никогда не проводил вскрытия человека, насколько я могу судить. Пойдём со мной на базар в любую пятницу, и я покажу тебе пять вещей, в которых он заблуждался.

Калид нахмурился.

— Ты читал «Гармонию Аристотеля и Платона» Аль-Фараби?

— Да, но такой гармонии достичь невозможно. Аль-Фараби предпринял эту попытку лишь потому, что не знал «Биологии» Аристотеля. Если бы он был знаком с этой работой, то понял бы, что для Аристотеля всё существует в материальном мире. Все четыре стихии у него пытаются достичь своих уровней, и когда это у них получается, происходит наш мир. Вполне очевидно, что всё не так просто.

Он взмахнул рукой в солнечном пыльном воздухе и лязге мастерской Калида, обводя ею сами мастерские, станки, водяные колёса, приводящие в действие большие плавильные печи, шум и движение.

— Платоники это понимали. Они знали, что всё связано математикой, что всё происходит в числах. Их следовало бы называть пифагорейцами. В этом смысле они так же, как буддисты, воспринимают мир живым организмом. Что так и есть в

действительности. Величайшее живое существо среди живых существ. А для Аристотеля и Ибн Рушда мир больше похож на сломанные часы.

Калид проворчал что-то в ответ, но находился не в том положении, чтобы спорить. Его философию от него оторвали вместе с рукой.

Он частенько испытывал боль, курил гашиш и пил опиумные настои Иванга, которые притупляли боль, но вместе с тем и его ум, что, в свою очередь, притупляло уже его дух. Он не мог вмешаться и научить ребят правильному обращению с механизмами; он не мог никому пожать руку, не мог есть вместе с остальными, оставшись лишь при своей нечистой руке; он был постоянно нечист. Это — часть его наказания.

Осознание этого и крах всех его философских и алхимических изысканий в конце концов доконали его, и он погрузился в меланхолию. Он выходил из спальни поздно утром и бродил по мастерским, наблюдая за кипящей деятельностью, как призрак самого себя. Всё продолжало происходить почти так же, как и раньше. Большие мельницы вращались в русле реки, приводя в движение толчеи для руды и мехи плавильных печей. Бригады рабочих прибывали сразу после утренней молитвы, ставили отметки на листоч-

ках, на которых вёлся учёт рабочего времени, а затем разбредались по территории двора, чтобы лопатить соль, просеивать селитру или выполнять любую другую работу из сотни видов работ, которые требовались на производстве Калида, под присмотром группы старых ремесленников, помогавших Калиду в организации процесса.

Но всё это узнавалось, выполнялось, становилось рутиной и больше ничего для Калида не значило. Бесцельно слоняясь по двору или сидя в своём кабинете в окружении книг, как сорока в гнезде со сломанным крылом, он мог часами смотреть в пустоту или листать манускрипты Ар-Рази, Джалдуки и Джами, глядя неизвестно на что. Он водил пальцем по разным диковинкам, которые раньше так его завораживали: осколок коралла, рог единорога, древние индийские монеты в виде вставленных друг в друга многоугольников из слоновой кости и рога, кубок из рога носорога, украшенный золотыми листьями, окаменелые раковины, бедренная кость тигра, золотая статуя тигра, смеющийся Будда из какого-то неизвестного чёрного материала, ниппонские нэцкэ, вилки и распятия из исчезнувшей цивилизации Франгистана — всё, что раньше доставляло ему безграничную радость и

что он мог часами обсуждать в своём кабинете, утомляя своих постоянных гостей, теперь только раздражало его. Он сидел среди своих сокровищ и больше не «охотился», как называл это про себя Бахрам, находя сходства, выстраивая догадки и предположения. Бахрам раньше не понимал, насколько это важно для Калида.

По мере того как мысли Калида становились всё мрачнее, Бахрам отправился в суфийский рибат на площади Регистан и спросил об этом Али, суфийского учителя, возглавляющего это место.

— Мевляна, его наказание оказалось хуже, чем он думал вначале. Он стал другим человеком.

— Его душа осталась прежней, — отвечал Али. — Ты просто видишь его с новой стороны. В каждом человеке есть тайное ядро, которое даже Джибрил не может познать, пытаясь сделать это. Слушай меня внимательно. Интеллект происходит от чувств, которые ограничены и происходят от тела. Соответственно интеллект также ограничен и никогда не сможет по-настоящему познать реальность, которая бесконечна и вечна. Калид хотел познать реальность через интеллект, но так нельзя. Видишь ли, интеллект не обладает характером и при первых признаках угрозы зарывается в нору. Но любовь божественна. Она

исходит из царства бесконечного и вверяется сердцу как божественный дар. Любви неведом расчёт. «Бог любит тебя» — единственно возможная мысль! И ты должен вселить любовь в сердце своего тестя. Любовь — жемчужина в раковине устрицы, живущей в океане, а интеллект живёт на берегу и не умеет плавать. Достань устрицу и пришей жемчужину на рукав так, чтобы все увидели. Это приведёт мужество к интеллекту. Любовь — это царица, которая должна спасти своего трусливого раба. Ты понимаешь меня?

— Кажется, да.

— Будь искренен и открыт. Твоя любовь должна гореть ярко, как вспышка молнии! Чтобы он своим внутренним сознанием смог увидеть твою любовь и стремительно вырваться из собственного плена. Ступай и почувствуй любовь, изливающуюся от тебя к нему.

Бахрам пробовал следовать этому совету. Проснувшись в своей постели с Эсмериной, он почувствовал, как в нём расцветает любовь к жене и её прекрасному телу, телу дочери изувеченного старика, к которому он относился со всей сердечностью. Переполняясь любовью, он обходил мастерские или шёл в город, чувствуя свежесть весеннего воздуха на своей коже, и

деревья вокруг бассейнов пыльно мерцали, как огромные ожившие драгоценные камни, и ярко-белые облака подчёркивали сочную синеву неба, отражённую на земле в бирюзовых и кобальтовых изразцовых куполах мечетей. Прекрасный город, прекрасное утро в самом центре мира, и базар, как обычно, полон шума и красок, где все человеческие взаимоотношения видны сразу, как на ладони, но всё это бессмысленно, как муравейник, если не наполнено любовью. Каждый был занят своим делом из любви к людям в своей жизни, и так было день за днём — так, по крайней мере, казалось Бахраму по утрам, когда он брал на себя всё больше и больше прежних обязанностей Калида на производстве, — и по ночам, когда его обнимала Эсмерина.

Но он никак не мог передать Калиду свои опасения. Старик принимал в штыки любое проявление возвышенных чувств, тем более любви, и раздражался в ответ на любую ласку, не только со стороны Бахрама, но и его жены Федвы, и Эсмерины, и детей Бахрама и Эсмерины, Фази и Лейлы, и кого угодно ещё. Солнечными днями их окружала суета мастерских с их шумом и вонью, ковка металлов и изготовление пороха проходили по всем правилам, которые внедрил Калид,

как некий масштабный лязгающий танец, и Бахрам обводил всё это взмахом руки и говорил:

— Любовь наполняет всё до краёв!

А Калид рычал:

— Молчи! Не будь дураком!

Однажды он выбежал из своего кабинета, одной рукой держа две старые книги по алхимии, и швырнул их в зев пылающего атанора.

— Полная чепуха, — ответил он раздосадованно, когда Бахрам закричал ему остановиться. — Не мешай, я всё сожгу.

— Но почему? — воскликнул Бахрам. — Это твои книги! Почему, почему, почему?

Калид взял в руку комок крошащейся киновари и потряс им перед Бахрамом.

— Почему? Я скажу тебе, почему! Взгляни-ка на это! Все великие алхимики, от Джабира до Ар-Рази и Ибн Сины, сходятся во мнении, что все металлы — суть различные комбинации серы и ртути. Иванг говорит, даже китайские и индуистские алхимики согласны с этим мнением. Но когда мы соединяем серу и ртуть, даже очищенные от всех посторонних примесей, вот что мы получаем на деле: киноварь! И что это значит? Алхимики, которые описывают эту проблему (а их, замечу, крайне мало), уточняют, что, говоря о

сере и ртути, на самом деле они не имеют в виду вещества, которые мы обычно называем серой и ртутью, а скорее чистые элементали сухости и влажности, которые подобны сере и ртути, но более эфемерны. Что ж! — он швырнул кусок киновари через весь двор, в реку. — Какой от этого прок? Зачем их так называть? Зачем верить тому, что они говорят? — он махнул культёй на кабинет и свою алхимическую мастерскую, а также на приборы, разбросанные снаружи. — Это всё груда хлама. Мы ничего не знаем. Они писали, сами не ведая, о чём.

— Ладно, отец, пусть так, только не сжигай книги! В них может оказаться что-то полезное, если внимательно читать. Кроме того, они обошлись нам недёшево.

Калид только фыркнул и смачно плюнул.

В следующий раз, когда Бахрам оказался в городе, он рассказал Ивангу об этом инциденте.

— Он сжёг много книг. Я не сумел отговорить его. Я хочу, чтобы он увидел, как любовь наполняет всё вокруг, но он не видит.

Плечистый тибетец выдохнул воздух губами, как верблюд.

— С Калидом такой подход не сработает, — сказал он. — Легко любить, когда ты молод и здоров.

А Калид стар и однорук. Он лишился опоры, его инь и ян перемешались. Любви здесь места нет.

Иванг не был суфием. Бахрам вздохнул.

— Тогда я не знаю, что и делать. Помоги мне, Иванг. Он сожжёт все свои книги и уничтожит всё оборудование, и кто знает, что с ним станется тогда.

Иванг проворчал что-то нечленораздельное.

— Что?

— Я подумаю, что можно сделать. Дай мне время.

— Времени у нас в обрез. В следующий раз он перебьёт все приборы.

Аристотель ошибался

Уже на следующий день Калид приказал подмастерьям кузнеца вынести всё, что находилось в алхимических мастерских, во двор и уничтожить. Чёрным и диким взглядом он смотрел, как в солнечном свете разлетается с приборов пыль. Сосуды для песка, сосуды для воды, духовые печи, перегонные кубы, колбы, фляги, дистилляторы с двойными и даже тройными горлышками — всё стояло в облаке старой пыли. Самый большой гальванический дистиллятор в последний раз использовался для перегонки розовой воды, и, увидев его, Калид фыркнул.

— Это единственное, что у нас получилось. Столько приспособлений — и мы научились делать розовую воду.

Ступки и пестики, пузырьки, склянки, тазы и мензурки, стеклянные кристаллизаторы, графины, тигели, свечи, масляные лампы, жаровни, лопатки, щипцы, ковши, ножницы, молотки, алудели, воронки, разнообразные линзы, фильтры из волос, ткани и льна — наконец, на солнце было вынесено всё. Калид сделал жест, как бы отмахиваясь.

— Сожгите это, а то, что не горит, разбейте и бросьте в реку.

Но в этот момент появился Иванг, неся с собой небольшой прибор из стекла и серебра. Увидев такую картину, Калид нахмурился.

— Кое-что из этого ты мог бы, по крайней мере, продать, — упрекнул он Калида. — Разве ты все долги погасил?

— Всё равно, — ответил Калид. — Я не стану продавать ложь.

— Приборы не лгут, — возразил Иванг. — Они могут сослужить тебе хорошую службу.

Калид смерил его мрачным взглядом. Иванг решил сменить тему и обратил внимание Калида на устройство, которое принёс с собой.

— Я принёс тебе игрушку, которая начисто опровергает всего Аристотеля.

Калид с удивлением осмотрел предмет. Два железных шарика крепились к каркасу, который показался Бахраму похожим на молоточек водяного колеса в миниатюре.

— Вес воды, наливаемой сюда, приводит в движение рычаг, а две дверцы работают как одна и открываются одновременно. Одна створка не может открыться, пока закрыта вторая, понимаешь?

— Конечно.

— Казалось бы, просто, но вспомни слова Аристотеля о том, что тяжёлые объекты падают быстрее, чем лёгкие, потому как у них сильнее тяга соединиться с землёй. Однако смотри. Вот два железных шарика, большой и маленький, тяжёлый и лёгкий. Положи их на дверцы, при помощи ватерпаса установи устройство на высоком заборе, чтобы падать было дольше. Минарет подошёл бы лучше, Башня смерти ещё лучше, но даже с забора всё должно получиться.

Всё сделали так, как он предложил. Калид не спеша взобрался по лестнице, чтобы осмотреть установленное устройство.

— А теперь налей воды в воронку и смотри.

Вода наполняла резервуар, пока дверцы внезапно не распахнулись. Шары упали вниз. Они коснулись земли одновременно.

— Хм, — Калид спустился вниз по лестнице, чтобы поднять шары и повторил эксперимент, после того как взвесил их на ладони, а потом ещё раз — на точных весах.

— Убедился? — спросил Иванг. — То же самое можно проделать с шарами разного или одинакового размера, без разницы. Всё падает с одинаковой скоростью, за исключением лёгких

и плоских предметов, таких как пёрышко, что просто парит в воздухе.

Калид попробовал ещё раз.

— Вот и весь твой хвалёный Аристотель, — бросил Иванг.

— Тем не менее, — ответил Калид, осмотрев шары, а затем поднимая их над головой в ладони левой руки. — Он мог ошибиться в этом и оказаться прав во всём остальном.

— Разумеется. Но если хочешь знать моё мнение, все его теории должны быть подвергнуты испытанию и, кстати, сопоставлены со словами Синь-Хо, Ар-Рази и индусов. Чтобы мы могли воочию убедиться, что правда, а что ложь.

Калид закивал головой.

— Не скрою, у меня возникли некоторые вопросы.

Иванг махнул рукой на алхимическое оборудование, вынесенное во двор.

— То же касается и твоих приборов: сперва испытай их, проверь, что может быть полезно, а что нет.

Калид нахмурился. Иванг снова переключился на падающие шары. Мужчины стали сбрасывать с устройства различные предметы, продолжая разговор.

— Но что-то же заставляет их падать, — сказал Калид. — Заставляет, притягивает, влечёт — что бы это ни было.

— Разумеется, — ответил Иванг. — Всё на свете имеет свою причину. Притяжение должно быть вызвано каким-то фактором, действующим по определённым законам. Но каким может быть этот фактор?..

— Но так можно сказать про что угодно, — проворчал Калид. — Мы ничего не знаем, вот и вся история. Мы живём во тьме.

— Слишком много взаимозависимостей, — заметил Иванг.

Калид кивнул, взвешивая на ладони резную деревяшку.

— Но я так устал.

— Мы будем пробовать. Делать что-то одно, получать что-то другое. Как в причинно-следственной цепочке. Это можно описать как логическую последовательность, даже как математическую операцию. В каком-то смысле, так проявляется реальность. Не слишком заботясь о том, чтобы объяснить нам, в чём её сила.

— Быть может, сила — в любви, — предположил Бахрам. — Та же влекущая сила, что влечёт людей к людям, распространяется на всю приро-

ду в целом.

— Это объяснило бы, почему мужской член встает, удаляясь от земли, — с улыбкой отозвался Иванг.

Бахрам рассмеялся, но Калид сказал:

— Шутники. То, о чём говорю я, совершенно не похоже на любовь. Это физическая сила, такая же неизменная, как положение звёзд в небе.

— Суфии говорят, что любовь и есть сила, всё наполняющая и всё приводящая в движении.

— Суфии, — презрительно фыркнул Калид, — последние люди на Земле, к чьим воззрениям я прислушаюсь, если захочу знать, как устроен мир. Они вздыхают о любви, пьют вино и слагают небылицы. Ха! До суфиев ислам являлся интеллектуальной дисциплиной, изучающей мир таким, каков он есть, у нас были Ибн Сина, Ибн Рушд, Ибн Хальдун и многие другие, но потом пришли суфии, и с тех пор не появилось ни одного мусульманского философа или учёного, который бы хоть на йоту приблизил нас к истинному пониманию вещей.

— Они и приблизили, — возразил Бахрам. — Они объяснили значение любви в мире.

— Ах да, любовь, всё есть любовь, Бог есть любовь. Но если всё есть любовь и все едины с

Аллахом, зачем же они так беспробудно пьют?

Иванг рассмеялся.

— На самом деле это не так, — сказал Бахрам.

— Ещё как! Славные братья-суфии набиваются в залы своего славного братства в поисках приятного времяпрепровождения, в то время как медресе пустеют, и ханы не выделяют им денег, и вот результат: в 1020 году мы с вами спорим об идеях древних франгейцев, не имея ни малейшего представления, почему что-то происходит так, а не иначе. Мы ничего не знаем! Ничего!

— Мы начнём с малого, — предложил Иванг.

— Мы не можем начать с малого! Всё связано воедино!

— Тогда мы обособим одну совокупность явлений, которые сможем наблюдать и контролировать, после чего изучим каждое из них, и постараемся постичь их природу. А дальше будем отталкиваться от результатов. Вот, например, это падение — самое элементарное действие. Если мы сможем постичь движение, мы сможем изучить и его проявление в других вещах.

Калид задумался. Он наконец остановился, перестав сбрасывать вещи с устройства.

— Пойдёмте со мной, — сказал Иванг. — Я покажу вам одну вещь, которая вызывает у меня

любопытство.

Они последовали за ним в мастерскую с большими плавильными печами.

— Посмотрите, как вы сегодня добиваетесь таких раскалённых температур. Ваша водопроводная система приводит меха в движение быстрее, чем самая большая толпа рабочих, и огонь, соответственно, разгорается намного жарче. Но Аристотель полагает, что огонь заключён в древесине и высвобождается нагреванием. Допустим, но почему огонь горит жарче тогда, когда получает больше воздуха? Почему ветром так разгоняет лесные пожары? Значит ли это, что огню необходим воздух? Можем ли мы это выяснить наверняка? Если мы построим камеру, из которой меха будут выкачивать воздух, а не наоборот, станет ли от этого огонь гореть меньше?

— Выкачать воздух из камеры? — переспросил Калид.

— Да. Установить клапан, который выпускает воздух, но не пропускает обратно. Откачать весь имеющийся воздух и не позволять новому набраться в камеру.

— Интересно! Но что останется в камере?

Иванг пожал плечами.

— Понятия не имею. Пустота? Может, сгусток

изначальной пустоты? Об этом нужно спросить лам или ваших суфиев. Или Аристотеля. Или сделай камеру стеклянной и загляни внутрь.

— Так и сделаю, — согласился Калид.

— А движение изучить легче всего, — добавил Иванг. — Здесь можно бесконечно экспериментировать. Можно засечь скорость притяжения вещей к Земле. Можно пронаблюдать, одинакова ли она в горах и в долинах. Вещи при падении набирают скорость — видимо, и это тоже можно измерить. Вероятно, даже свет можно измерить. Во всяком случае, углы преломления — величина постоянная, их я уже замерял.

Калид согласно кивал головой.

— Первым делом обратить действие мехов, чтобы опустошить камеру. Но нет, конечно, там не может образоваться истинной пустоты. Небытие невозможно в этом мире. Скорее всего, в камере что-то останется, что-то более разреженное, чем обычный воздух.

— И снова Аристотель, — вставил Иванг. — «Природа не терпит пустоты». Но что, если это не так? Не попробуем — не узнаем.

Калид кивнул. Если бы у него было две руки, он бы уже потирал их друг о друга.

Втроём они направились к водопроводу. Канал

приносил с реки мощный поток воды, мокро блестя в утреннем свете. Вода вращала колесо мельницы, приводя в движение оси с тяжёлыми молотками и кувалдами и наконец сменяющие друг друга меха, которые разогревали печи. Здесь было шумно от плеска воды, ударов по камню, рёва огня, опалённого воздуха; все стихии неистовствовали в трансмутации, причиняя боль ушам и оставляя в воздухе запах гари. Калид некоторое время просто стоял, наблюдая за водопроводом. Это была его гордость: именно он сумел соединить все ремёсла в этой огромной сочленённой машине, которая оказалась намного мощнее, чем люди и лошади. Бахрам решил, что они стали самыми могущественными людьми во всей мировой истории благодаря находчивости Калида, но Калид только отмахнулся от него. Он просто хотел понять, как оно работало.

Вместе с остальными он вернулся в мастерскую.

— Нам понадобится стеклодув, а также мои кожевники и металлурги, — постановил Калид. — Клапан, о котором ты говоришь, наверное, можно изготовить из овечьих кишок.

— Думаю, нужно что-то прочнее, — сказал Иванг. — Какая-то металлическая заслонка,

вставленная в кожаную прокладку откачиванием воздуха.

— Да.

Бутылка без джинна

Калид занял своих мастеровых делом, а Иванг взялся за выдувание стекла, и через несколько недель у них появился механизм, состоящий из двух частей: стеклянного шара из толстого стекла, из которого предстояло выкачать воздух, и мощного насоса для откачки. То и дело случались аварии, утечки, выходили из строя клапаны, но старые механики мануфактуры Калида отличались находчивостью, и в сражениях с неисправностями в итоге увидели свет пять похожих, одинаково тяжёлых версий устройства. Массивный насос был идеально подогнан под новые поршни, трубки и клапаны; стеклянные сферы представляли собой толстостенные сосуды с ещё более толстыми горлышками и шишковатыми выступами на внутренней поверхности, чтобы подвешивать на них предметы и наблюдать, как они себя поведут после удаления воздуха. Когда решили проблему утечки, пришлось соорудить небольшой реечный механизм, чтобы силы, приложенной к насосу, оказалось достаточно для удаления последних остатков воздуха из сферы. Иванг посоветовал не добиваться такой абсолют-

ной пустоты, которая в конечном счёте засосёт сам насос, и мануфактуру, и, возможно, весь мир, как джинн, возвращающийся в заточение; каменное лицо Иванга, как всегда, не позволяло делать выводы о том, шутит он или говорит серьёзно.

Когда механизмы работали достаточно надёжно (хотя иногда ненароком стекло всё равно трескалось или клапан ломался), они установили один в деревянную раму, и Калид начал серию экспериментов: помещал предметы в стеклянные сферы, откачивал воздух и наблюдал, что из этого выйдет. О философской стороне всех вопросов касательно природы того, что остаётся внутри сферы после выкачивания воздуха, он говорить отказывался.

— Для начала просто посмотрим, что произойдёт, — говорил он, — что останется.

На столе рядом с аппаратом лежали толстые тетради с чистыми страницами, и он или его помощники подробнейше описывали в них каждый эксперимент, засекая время по лучшим часам Калида.

После нескольких недель изучения возможностей аппарата и практических экспериментов он попросил Иванга и Бахрама организовать небольшое собрание, пригласив нескольких кади

и учителей из всех медресе Регистана, и особенно математиков и астрономов из медресе Шердор, которые уже давно вели дискуссии о представлениях древних греков и классического халифата о физической реальности. В назначенный день, когда гости собрались в мастерской без стен рядом с кабинетом Калида, он представил им аппарат, описал принципы его работы и указал на будильник, который, как все и без того видели, подвесил на выступ внутри стеклянной сферы, так что часы легонько покачивались на конце короткой шёлковой ленты. Калид двадцать раз нажал на поршень реечного механизма, усиленно налегая на свою единственную руку. Он объяснил, что будильник заведён на шесть часов пополудни, как раз когда отзвучат вечерние молитвы на самом северном минарете Самарканда.

— Чтобы удостовериться, что будильник действительно прозвенит, — сказал Калид, — мы вынули молоточек наружу, чтобы вы сами увидели, как он ударяет по колокольчику. И после того как мы увидим первые результаты, мало-помалу я начну впускать воздух обратно в сферу, так что вы сами всё услышите.

Калид говорил скупо и прямо. Бахрам понимал, что он хочет дистанцироваться от напыщенного,

колдовского образа, который принимал во время своих алхимических превращений. Он не делал громких заявлений, не произносил заклинаний. Ни он сам, ни все остальные не забыли о крахе его последней демонстрации — о его обмане. Он просто указал на часы, время на которых неуклонно приближалось к шести.

Тут часы начали раскручиваться на ленте, и молоточек заметался туда-сюда между двумя маленькими латунными колокольчиками. Всё было видно, но из-за стекла не доносилось ни звука. Калид сказал:

— Вы подумаете, что стекло не пропускает звук само по себе, но когда воздух снова впустят в сферу, вы увидите, что это не так. Но сначала я вам предлагаю приложить ухо к стеклу, чтобы вы сами могли убедиться, что звука нет вообще.

Все по очереди так и сделали. Затем Калид отвинтил кран, открывая клапан, вмонтированный в боковую стенку сферы, и вместе с коротким пронзительным шипением воздуха послышался глухой треск будильника, который становился всё громче, пока не сравнился с громкостью будильника, расположенного в соседней комнате.

— Судя по всему, мы не слышим звука, когда нет воздуха, по которому он мог бы передавать-

ся, — разъяснил Калид.

Гости из медресе охотно бросились осматривать аппарат, обсуждать его применение в различных испытаниях и строить догадки о том, что же остаётся в шаре, когда из него выкачивают воздух, и остаётся ли вообще что-нибудь. Калид по-прежнему категорически отказывался говорить на эту тему, переводя разговор к тому, что его демонстрация позволяет строить предположения о природе звука и его перемещения.

— Эхо тоже по-своему проливает свет на этот вопрос, — сказал один из кади. И у него, и у всех приглашённых наблюдателей глаза горели от удовольствия и любопытства. — Что-то воздействует на воздух, толкая его, и этот толчок перемещается по воздуху, как волны по воде, рождая звук. Звук отражается от препятствий, как волны отскакивают от стен, разбиваясь о них. Чтобы преодолеть промежуточное пространство, волне требуется время, и таким образом возникает эхо.

Бахрам сказал:

— Выйдя на утёс, откуда хорошо разносится эхо, можно попробовать рассчитать скорость звука.

— Скорость звука! — воскликнул Иванг. — Какая мысль!

— Превосходная идея, Бахрам, — похвалил Калид и удостоверился, что его секретарь протоколирует каждое их действие и слово.

Он отвинтил кран до конца, снял его, и все услышали громкий звон будильника, после чего сунул руку в сосуд, чтобы выключить его. Странно, что до этого молоточек стучал так тихо. Он потёр голову правым запястьем.

— Интересно, — протянул он, — сможем ли мы определить скорость и для света, используя тот же принцип?

— Но какое эхо у света? — спросил Бахрам.

— Скажем, если направить луч света на удалённое зеркало… Фонарь, с которого сдёрнули завесу, удалённое зеркало, часы, показывающие предельно точное время, а лучше — отмеряющие начало и конец…

Иванг покачал головой.

— Зеркало должно быть установлено очень далеко, чтобы секундомер успел определить интервал, но издалека не видна будет вспышка фонаря, если только не расположить зеркало под определённым наклоном.

— Рядом с зеркалом можно поставить человека, — предложил Бахрам. — Когда человек на дальнем холме увидит свет первого фонаря, пусть

откроет свой фонарь, и мы зафиксируем момент появления второго луча света рядом с первым человеком.

— Очень хорошо, — единогласно поддержали сразу несколько человек.

— Всё равно можно не успеть, — добавил Иванг.

— Это мы и выясним, — ответил Калид, не унывая. — Эксперимент прояснит все вопросы.

На этих его словах Эсмерина и Федва вкатили поднос со льдом и «демонстрацией мороженого», как окрестил это Иванг, и толпа налетела на угощение, оживлённо переговариваясь, а Иванг стал рассказывать о разреженном воздухе на вершинах Гималаев, где даже звуки казались редкими, и так далее, и тому подобное.

Хан заглядывает в пустоту

Так Иванг вывел Калида из его чёрной меланхолии, и Бахрам согласился с тем, как мудро Иванг решил эту проблему. Теперь каждый день Калид просыпался и сразу спешил взяться за дела. Заниматься делами мануфактуры поручили Бахраму и Федве, в каждой мастерской назначили старшего из самых опытных рабочих, и Калид отвечал рассеянно и равнодушно, если к нему обращались с производственными вопросами. Всё свободное время он посвящал разработке, планированию, проведению и протоколированию новых экспериментов с откачивающим насосом, а затем и с другими аппаратами и феноменами. Они подходили к высокой западной городской стене на рассвете, когда всё было тихо, и засекали время между звуком стукающих друг о друга деревянных брусков и их отражённым эхом, замеряя расстояние от стены с бечёвкой длиной в треть ли. Иванг произвёл расчёты и вскоре объявил, что скорость звука составляет около двух тысяч ли в час, — все восхитились такой скоростью.

— Примерно в пятьдесят раз быстрее самой быстрой лошади, — сказал Калид, довольно раз-

глядывая записи Иванга.

— А всё же свет будет намного быстрее, — предсказал Иванг.

— Скоро узнаем.

Тем временем Иванг бился над своими расчётами.

— Остаётся вопрос, замедляется ли звук по мере движения. Или ускоряется, если уж на то пошло. Но, скорее всего, он должен замедляться, если не оставаться неизменным, потому что воздух оказывает сопротивление.

— Чем дальше, тем звук становится тише, — заметил Бахрам. — Может, он затихает, вместо того чтобы замедляться.

— Но почему? — спросил Калид, и они с Ивангом погрузились в обсуждение звука, движения, причины и следствия и действия на расстоянии.

Бахрам сразу потерялся, так как был далёк от философии, да и Калиду не нравился метафизический аспект дискуссии, и он подытожил её словами, которые постоянно говорил в последние дни:

— Проведём испытание.

Иванг был солидарен. Ломая голову над вычислениями, он сказал:

— Нам нужны формулы, которые будут рабо-

тать не только с постоянными скоростями, но и со скоростью изменения скорости. Интересно, что об этом думали индусы?

Он всегда считал индийских математиков самыми передовыми, на голову опережавшими китайцев. Калид давным-давно предоставил ему доступ ко всем книгам по математике в своей библиотеке, и Иванг проводил там по много часов, читая, решая непонятные уравнения и рисуя на грифельных досках мелом.

Весть об их вакуумном насосе распространилась, и они часто встречались в медресе с заинтересованными лицами — обычно с учителями математики и естественной философии. Эти встречи нередко носили полемический характер, но все старались придерживаться подчёркнутой официальности, характерной для богословских дебатов.

Тем временем в индусском караван-сарае продолжали останавливаться книготорговцы, и они приглашали Бахрама посмотреть старые свитки, книги в кожаных и деревянных переплётах или короба с несшитыми листами ходи.

— Даю слово, Однорукому Старцу будет интересно, что говорил Брахмагупта о размерах Земли, — уверяли они с ухмылочками, зная, что

Бахрам не может судить сам.

— В этой книге собрана мудрость сотен поколений буддийских монахов, убитых моголами.

— А в этой — все сведения о потерянном Франгистане, об Архимеде и Евклиде.

Бахрам перелистывал страницы, как будто что-то понимал в этом, выбирая книги в основном по их объёму и возрасту, а также по часто мелькающим цифрам, особенно индусским и тибетским галочкам, расшифровать которые мог только Иванг. И если ему казалось, что книга заинтересует Калида и Иванга, он торговался с твёрдостью, оправданной только его невежеством:

— Да она даже не на арабском, не на хинди, не на фарси и не на санскрите, я вообще не узнаю этот алфавит! Как прикажете Калиду в этом разбираться?

— О, эта книга с Декана, любой буддист может её прочитать, и твой Иванг будет очень доволен!

Или:

— Это алфавит сикхов, их последний гуру придумал для них алфавит, очень похожий на санскрит, а сам язык — это вариация панджаби, — и так далее.

Бахрам возвращался домой с находками, переживая, что потратил кучу денег на пыльные,

непонятные ему фолианты; Калид с Ивангом пролистывали книги и либо набрасывались на них, как стервятники, поздравляя Бахрама с хорошим выбором и выгодной ценой, либо Калид проклинал его за глупость, а Иванг смотрел на него и изумлялся тому, как можно было не опознать траванкорский гроссбух, полный накладных на доставку (это как раз и был деканский том, который мог прочитать любой буддист).

Но их изобретение привлекало к себе и нежелательное внимание. Однажды утром у ворот появился Надир Диванбеги в сопровождении нескольких стражников хана. Слуга Калида, Пахтакор, провёл их через двор, и Калид, старательно проявляя невозмутимость и гостеприимство, приказал подать кофе в кабинет.

Надир старался вести себя дружелюбно, но скоро перешёл к делу.

— Я убедил хана сохранить тебе жизнь, потому что ты великий учёный, философ и алхимик, достояние ханства и жемчужина великого Самарканда.

Калид кивнул, чувствуя себя не в своей тарелке, и опустил глаза в чашку с кофе. Он на секунду поднял палец, как бы говоря: «довольно», и прошелестел в ответ:

— Я благодарен вам, эфенди.

— Так вот. Теперь, когда до нас дошли слухи о твоей деятельности и чудесных открытиях, мне очевидно, что я не ошибся, отстаивая твою жизнь.

Калид поднял на него взгляд, проверяя, не издеваются ли над ним, и Надир выставил ладонь в знак своей искренности. Калид снова опустил глаза.

— Но я пришёл напомнить о том, что эти увлекательные эксперименты происходят в опасном мире. Ханство находится на перекрёстке всех торговых дорог мира, со всех сторон нас окружают враги. Хан беспокоится за безопасность своих подданных, однако до нас доходят вести о пушках, которые способны снести стены наших городов за неделю или меньше. Хан желает, чтобы ты нашёл для него решение этой проблемы. Он не сомневается, что ты с радостью поделишься с нами плодами своих трудов и поможешь ему защитить наше ханство.

— Все мои открытия принадлежат хану, — серьёзно сказал Калид. — Каждый мой вздох принадлежит хану.

Надир кивнул, соглашаясь с этим.

— Однако ты не пригласил его на демонстра-

цию своего насоса, который создаёт пустоту в воздухе.

— Я не думал, что ему интересны такие пустяки.

— Хану интересно всё.

По лицу Надира нельзя было понять, шутит он или нет.

— Мы с радостью проведём для него демонстрацию вакуумного насоса.

— Хорошо. Мы будем весьма признательны. Но не забывай, что он ждёт конкретной помощи в пушечном деле и вопросе обороны.

Калид кивнул.

— Его желание будет исполнено, эфенди.

Когда Надир ушёл, Калид недовольно заворчал:

— Всё ему интересно! Как он может говорить такое всерьёз!

Тем не менее он отправил слугу к хану с официальным приглашением взглянуть на его новый аппарат. И в ожидании этого визита вся мануфактура взялась за работу над новым экспериментальным насосом, который, как надеялся Калид, произведёт впечатление на хана.

К приезду Сайеда Абдул-Азиза и его свиты изготовили сосуд для пустоты, на этот раз состав-

ленный из двух полусфер, точно подогнанных друг к другу по краям тонкой промасленной прокладки из кожи, вложенной между ними перед откачиванием воздуха, и тонких стальных скоб для каждого полушария, к которым привязывались верёвки.

Сайед Абдул сидел на подушках и внимательно рассматривал сферу. Калид объяснял:

— Когда мы удалим весь воздух, две половины шара останутся сцеплены друг с другом с невероятной прочностью.

Он сложил из половинок сферу и разобрал её; снова сложил, ввинтил насос в полусферу, в которой было проделано специальное отверстие, и жестом велел Пахтакору качать насос десять раз. Затем он вручил устройство хану и предложил тому попробовать разъединить две половинки шара.

Ничего не получалось. Хан начинал скучать. Калид вынес устройство на середину двора, где уже ждали две лошадиные тройки. К буксировочным шлеям каждой упряжки прикрепили по полусфере, и лошадей развели в разные стороны, пока шар не повис между ними в воздухе. Лошадей поставили, повернув мордами в противоположные стороны, и тогда конюхи щёлкнули кнутами, и

лошади в обеих упряжках зафыркали, напряглись и зацокали копытами, пытаясь сдвинуться с места; они уклонялись вбок, переступали с копыта на копыто, вырывались, а шар всё это время болтался на дрожащих от натяжения верёвках. Разорвать шар на части не получалось; робкие попытки лошадей заканчивались неудачей, и животные только спотыкались и топтались на месте.

Хан с интересом наблюдал за лошадьми, но на шар, казалось, внимания не обращал. После нескольких минут пыхтения, Калид остановил лошадей, снял аппарат с верёвок и поднёс его хану, Надиру и их свите. Когда он отвинтил запорный кран и воздух с шипением вернулся в шар, две половинки разошлись легко, как дольки апельсина. Калид снял помятую кожаную прокладку.

— Дело в том, — сказал он, — что именно сила воздуха, или, скорее, тяга пустоты, так крепко держала половинки вместе.

Хан встал, собираясь уходить, и его слуги поднялись вместе с ним. Казалось, он вот-вот заснёт от скуки.

— И что мне с того? — сказал он. — Я хочу разнести врагов на куски, а не удерживать их вместе.

Махнув рукой, он ушёл.

В ночи и на свету

Безразличие хана обеспокоило Бахрама. Полное отсутствие интереса к аппарату, который восхищал учёных медресе! Вместо этого — лишь приказ изобрести новое оружие или оборонительное сооружение, которое не пришло в голову ни одному оружейнику за всю предыдущую историю мира. Слишком легко представить, какое наказание они могут понести, если потерпят неудачу. Отсутствующая рука Калида коварно напоминала о себе своей собственной пустотой. Калид разглядывал верх обрубка своего запястья и приговаривал:

— Когда-нибудь я весь стану таким.

Сейчас он просто осматривал территорию мануфактуры.

— Скажи Пахтакору, пусть возьмёт у Надира новые пушки для изучения. По три каждого веса, а также порох и дробь.

— У нас есть порох.

— Разумеется, — испепеляющий взгляд. — Я хочу проверить, не отличается ли их порох от нашего.

В последующие дни он обошёл все старые зда-

ния мануфактуры, которые строили он и его старые металлурги, когда только начинали изготавливать оружие и порох для хана. В те дни, ещё до того как они, следуя китайской системе, подвели водяное колесо к своим очагам, сделав первые плавильные печи, приводимые в действие течением реки, что освободило бригады молодых рабочих для других занятий, всё было маленьким и примитивным, железо — более хрупким, а всё, что они делали, — грубее, неказистее. Об этом напоминали и сами здания. Теперь же лопасти водяных мельниц шумели всей речной мощью, вливаясь в меха и ревя, как сам огонь. В химикатных ямах выпаривались на солнце лимоны и лаймы, а рабочие упаковывали коробки, водили здесь верблюдов и таскали по двору горы угля. Калид, глядя на это, покачал головой и сделал необычный жест, вроде как взмахнув и ударив в воздух фантомной рукой.

— Нам нужны более точные часы. Мы добьёмся успеха только в том случае, если сможем найти способ идеального измерения времени.

Услышав это, Иванг выпятил губы.

— Нам нужно более точное понимание.

— Да, да, конечно. С этим не поспоришь в нашем-то проклятом мире. Но никакая вековая

мудрость не даст нам ответ на вопрос, сколько времени требуется, чтобы порох воспламенил заряд.

Когда наступал вечер, на большом производстве воцарялась тишина, которую нарушал лишь плеск воды в мельнице на канале. После того как рабочие умывались, ужинали и читали свои последние молитвы за день, они отправлялись в свои комнаты, расположенные со стороны реки, и засыпали. А те рабочие, что жили в городе, расходились по домам.

Бахрам заваливался на постель рядом с Эсмериной, в соседней комнате спали их дети, Фази и Лейла. Почти каждую ночь, стоило лишь голове коснуться шёлковой подушки, он проваливался в сон. Благословенный сон.

Но нередко они с Эсмериной просыпались где-то после полуночи и лежали так, часто дыша, касаясь друг друга, разговаривая шёпотом, чаще мало и ни о чём, но иногда подолгу и на такие глубокие темы, каких никогда не затрагивали раньше; и если они хотели заняться любовью, то теперь, когда появились дети, отнимавшие всё внимание Эсмерины, они могли сделать это лишь в благословенной прохладе и тишине этих полуночных часов.

Потом Бахрам мог встать и пройтись по территории производства, перепроверяя при свете луны, всё ли в порядке, и тогда он чувствовал, как течёт по его венам любовь; иногда на таких прогулках он видел свет в кабинете Калида и, проходя мимо, заставал его склонившимся над книгой или строчившим что-то левой рукой за письменным столом, или на кушетке, когда они тихо беседовали с Ивангом, держа кальянные мундштуки, окутанные сладким запахом гашиша. Если Иванг был с Калидом и они не спали, Бахрам мог присоединиться к ним на некоторое время, пока не начинал клевать носом, а затем снова возвращался к Эсмерине. Калид и Иванг могли беседовать о природе движения или зрения, иногда поднимая увеличительное стекло Иванга, чтобы посмотреть сквозь него, не отрываясь от разговора. Калид придерживался мнения, что глаз получает уменьшенные изображения или отпечатки вещей, которые передаются ему по воздуху. Он нашёл многих философов древности, от Китая до Франгистана, которые считали так же, называя уменьшенные изображения «эйдосами», или «симулякрами», или «видом», или «образом», или «идолом», или «фантазмом», или «формой», или «мыслью», или «пламенем»,

или «подобием объекта», или «тенью философов» (название, которое вызвало у Иванга улыбку). Лично он полагал, что глаз посылает проекции флюидов, быстрых, как сам свет, которые возвращаются к глазу подобно эху, и приносят контуры объектов и их истинные цвета.

Бахрам всегда настаивал на том, что ни одно из этих объяснений не является исчерпывающим. Зрение не может быть объяснено оптикой, говорил он; зрение — вопрос душевный. Мужчины выслушивали его, а потом Калид качал головой.

— Может, оптики и недостаточно, чтобы объяснить всё в полной мере, но она необходима, чтобы с чего-то начать. Оптика — это лишь часть феномена, которую можно испытать и описать математически, если нам хватит на это ума.

Прибыли ханские пушки, и Калид ежедневно по несколько часов проводил на утёсе за излучиной реки, стреляя из них вместе со стариком Джалилем и Пахтакором; но большую часть времени он думал об оптике и предлагал Ивангу разные эксперименты. Иванг вернулся в свою мастерскую, где выдувал толстые стеклянные шары с огранёнными боковинами, вогнутые и выпуклые зеркала и большие, идеально отполированные треугольные стержни, которые чуть ли

не почитал как божества. Вместе с Калидом они проводили полуденные часы в кабинете старика за закрытыми дверями, проделав в южной стене кабинета маленькое отверстие, пропускавшее тонкий луч света. Они помещали призму перед отверстием, и настоящая радуга начинала мерцать на стенах или на специальном экране, который они установили. Иванг сказал, что в радуге семь цветов, Калид — шесть, так как выделенный Ивангом синий и голубой он назвал двумя оттенками одного цвета. Они бесконечно спорили обо всём, что видели, по крайней мере поначалу. Иванг рисовал схемы с их расположением, скрупулёзно отмечая углы, под которыми преломлялась каждая полоса цвета, проходя через призму. Они подносили к отверстию стеклянные шарики и гадали, почему в них свет не дробится на цвета так, как в призме, когда все видели, как небо, полное крошечных прозрачных шаров, то есть дождевых капель, в лучах низкого предвечернего солнца рождало высокую радугу, повисающую после ливня к востоку от Самарканда. Много раз, когда над городом проходили чёрные бури, Бахрам выходил на улицу с двумя немолодыми мужчинами, которые наблюдали за поистине восхитительными радугами, часто

двойными, когда более светлая радуга перекидывалась над более яркой, а изредка даже с третьей, самой бледной, поверх первых двух. В итоге Иванг вывел закон преломления света, заверив Калида, что он распространяется на все цвета.

— Первичная радуга создаётся преломлением, когда свет проникает в каплю, отражаясь внутренне на задней поверхности и выходя вторым преломлением наружу из капли. Вторичная же создается светом, отражённым внутри капель дважды или трижды. А теперь, внимание: каждый цвет имеет свой уникальный показатель преломления, и потому перемещение внутри капли отделяет каждый цвет от всех остальных, причём они всегда предстают перед глазом в единой последовательности, но во вторичной радуге — в обратном порядке, потому что дополнительное отражение переворачивает их вверх ногами, как на моём рисунке, видите?

— Выходит, если бы капли дождя были кристаллической формы, радуги бы не было.

— Да, именно. Был бы снег. При одном лишь отражении небо сверкало бы исключительно белым светом, будто заполненное зеркалами. Иногда в метель такое случается. Но круглая форма дождевых капель предполагает стабильную

градацию угла отражения от нуля до девяноста градусов, что позволяет видеть разные лучи наблюдателю, если тот находится под углом от сорока до сорока двух градусов по отношению к солнечному свету. Вторая радуга появляется при угле наблюдения между пятьюдесятью с половиной и пятьюдесятью четырьмя с половиной градусами. Эти цифры мы получили путём геометрических вычислений, после чего провели замер сами, используя замечательную небесную подзорную трубу, которую Бахрам раздобыл в китайском караван-сарае, и наблюдения подтвердили, насколько позволила твёрдость руки, точность математического предсказания!

— Ну да, ну да, — сказал Калид, — но это порочный логический круг. Ты выявил углы падения, наблюдая за призмой, а затем получил им подтверждение, снова-таки наблюдая за небом.

— Но в первом случае это цветные зайчики на стене, а во втором — радуга в небе!

— Как вверху, так и внизу.

Это был излюбленный афоризм алхимиков, и потому в возражении Калида зазвучали мрачные ноты.

Солнце закрылось облаком с запада, и радуга побледнела. Однако старики, поглощённые спо-

ром, ничего не заметили. Один Бахрам любовался разноцветным коромыслом, перекинувшимся через небо, — подарок Аллаха, знаменующий, что он больше никогда не потопит мир. Мужчины тыкали пальцами то в меловую дощечку Иванга, то в подзорную трубу Калида.

— Она прячется, — сказал Бахрам, и они вскинули на него головы, слегка раздражённые тем, что их отвлекают.

Пока радуга горела ярко, небо под ней было заметно светлее, чем небо над ней; теперь же внутри и снаружи оно стало одинаково сизого цвета.

Радуга покинула мир, и они пошлёпали по двору обратно в дом. Калид продолжал возбуждённо говорить и изучать цифры на дощечке Иванга, то и дело угождая при этом в лужи.

— Так… так… что же. Должен признать, доказательство выглядит не менее логичным, чем у Евклида. Два преломления, два или три отражения, дождь и солнце, наблюдатель — и вот оно! Радуга!

— И сам свет, делимый на гамму цветов, — размышлял Иванг, — вместе исходящих от солнца. Ведь оно такое яркое! И когда свет натыкается на какое бы то ни было препятствие, он отскакивает

от него и попадает в глаз, если глаз есть на его пути, и какая-то часть гаммы… хм, как же это работает… Не окажется ли, что все поверхности в мире округлены по-своему, если присмотреться к ним достаточно близко?..

— Удивительно, что вещи не меняют свой цвет, когда мы передвигаемся, — заметил Бахрам, и его спутники замолчали, а потом Калид рассмеялся.

— Ещё одна загадка! Да хранит нас Аллах! Они будут множиться вечно, пока мы не воссоединимся с Богом.

Эта мысль доставила ему неизмеримое удовольствие.

Он обустроил в доме тёмную комнату, заколотив досками и завесив шторами окна, пока там не стало намного темнее, чем у него в кабинете. В восточной стене проделали закрывающиеся ставнями просветы, которые пропускали слабые солнечные лучи, и по утрам он вместе со своими помощниками проводил много времени в этой комнате, снуя туда-сюда и ставя разнообразные опыты. Оставшись доволен результатами одного такого опыта, он пригласил учёных из медресе Шердор засвидетельствовать результаты, ибо его выводы решительно опровергали утверждение Ибн Рушда о том, что белый свет неразделим, а в

цвета, производимые призмой, его окрашивает само стекло. Калид на это возражал, что в таком случае свет, дважды преломлённый, и цвет менял бы дважды. Для проверки этой гипотезы, помощники Калида впустили солнечный свет в проём в стене, и на экране в центре комнаты отобразились красочные лучи из первой призмы. Калид открыл отверстие в экране, такое маленькое, что пропускало лишь красный сегмент миниатюрной радуги в плотно занавешенный шкаф, где его тотчас поймала вторая призма, направленная на экран, заранее установленный внутри шкафа.

— Итак, если излом луча сам по себе вызывает изменение цвета, то и красный луч, несомненно, должен измениться при втором преломлении. Однако взгляните: он остался красным. Все цвета остаются неизменными, когда их пропускают через вторую призму.

Он не спеша смещал отверстие от цвета к цвету для наглядной демонстрации. Его гости столпились вокруг шкафа, внимательно изучая результат.

— Что из этого следует? — спросил один.

— В этом вопросе я рассчитываю на вашу помощь — или же задайте его Ивангу, сам я не философ — однако я, думаю, это доказывает, что

изменение цвета вызвано не преломлением как таковым. Я думаю, солнечный свет — белый свет, если хотите, или общий свет, или просто свет — состоит из отдельных цветов, перемещающихся вместе.

Наблюдатели закивали. Калид приказал отпереть комнату, и они, щурясь на солнце, отправились пить кофе с пирожными.

— Это очень интересно, — сказал Захар, один из старших математиков Шердора. — Проливает, так сказать, свет на многое. Но что, как вы думаете, это говорит нам о природе света? Что такое свет?

Калид пожал плечами.

— Одному Богу ведомо, а людям — нет. Я только знаю, что нам удалось, так сказать, прояснить отчасти поведение света. И это поведение имеет геометрический аспект. Оно, судя по всему, подчиняется числам. Как и многое другое в этом мире. Аллах любит математику, как ты сам неоднократно говорил, Захар. Что же до вещества, из которого состоит свет, — вот где загадка! Он движется быстро, но неизвестно, насколько быстро; неплохо было бы выяснить. Свет жарок, что мы знаем по солнцу, и он распространяется в пустоте, если и существует в этом мире такая вещь, как

пустота, тогда как звук — нет. Возможно, правы индусы, и существует стихия, помимо земли, огня, воздуха и воды, — эфир, столь эфемерный, что не виден глазу, — который наполняет вселенную до краёв и является проводником движения. Возможно, это маленькие тельца, отскакивающие от любой поверхности, как от зеркала, но более опосредованно. И в зависимости от того, куда он попадает, глаз видит отражение определённого цвета. Как знать, — он пожал плечами. — Загадка.

Вмешательство медресе

Опыты с радугой вызвали немало дискуссий и споров среди медресе, и Калид за этот период научился никогда не выносить излишне категоричных суждений и не лезть на территорию богословов, говоря о воле Аллаха или любом другом аспекте природы реальности. Он только повторял: «Аллах дал нам разум, чтобы мы могли постичь величие его дел», или: «Мир подчинён законам математики. Аллах любит числа, и комаров по весне, и красоту».

Учёные уходили заинтригованные или раздражённые, но, во всяком случае, охваченные философским брожением. Медресе и на площади Регистан, и в других уголках города, и даже в старой обсерватории Улугбека гудели от новой моды на демонстрации различных физических явлений, и мастерская Калида не единственная располагала необходимым оборудованием, чтобы соорудить новые, ещё более сложные аппараты и устройства. Так, математики из медресе Шердор вызвали всеобщий интерес диковинной ртутной шкалой, крайне простой в изготовлении: в чашу с ртутью вертикально помещали узкую

трубку ртути, запечатанную сверху, но не снизу. Ртуть в трубке падала на некоторое расстояние, создавая ещё одну загадочную пустоту в верхней части трубки, но нижняя часть трубки оставалась заполненной столбиком ртути. Шердорские математики утверждали, что вес мирового воздуха давит на ртуть в чаше, не позволяя ртути из цилиндра вытечь в чашу полностью. Другие же придерживались мнения, что дело в нежелании пустоты в верхней части трубки увеличиваться. Следуя совету Иванга, они принесли устройство на вершину Снежной горы Зеравшанского хребта, и все увидели, как уровень ртути в трубке упал — по той, вероятно, причине, что там, на высоте двух или трёх тысяч ладоней над городом, воздух давил с меньшей силой. Это подкрепило прежние утверждения Калида о том, что воздух давит на них, и опровергло слова Аристотеля, Аль-Фараби и других аристотелевых арабов, которые говорили, что четыре стихии предпочитают находиться на своих местах на высоте и на земле. Это заявление Калид открыто высмеивал, по крайней мере за закрытыми дверями.

— Как будто камни или ветер могут выбирать, где им быть, как это делает человек. Всё это не более чем пустая риторика. «Объекты падают,

потому что стремятся упасть», как будто у них могут быть стремления. Объекты падают, потому что падают, вот что на самом деле это значит. И хорошо, и пусть, никто не знает, почему что-то падает, уж точно не я, это великая загадка. Все кажущиеся явления выглядят загадкой на расстоянии. Но нужно для начала это озвучить, нужно назвать загадку загадкой и исходить из этого, проводить опыты, наблюдать, а затем только решать, приблизило ли нас это к разгадке, как или почему.

Суфийские учёные по-прежнему норовили экстраполировать результаты любого эксперимента на природу космоса в целом, тогда как математические умы завораживали сами числа, обнажаемая геометрия мира. Эти и другие методы сливались в бурную деятельность, состоявшую из опытов и дебатов, уединённой работы с математическими формулами на грифельных досках и ремесленного производства новых и усовершенствованных устройств. В иные дни Бахраму казалось, что исследованиями заполнился весь Самарканд: дом Калида, другие дома, медресе, рибаты, базары, кофейни, караван-сараи, откуда купцы развозили новости по всему миру… В этом была красота.

Ларец мудрых мыслей

За западной стеной города, где древний Шёлковый путь вёл к Бухаре, армяне тихо сидели в своём маленьком караван-сарае, приютившемся рядом с большим и шумным индийским. Армяне в сумерках готовили ужин на жаровнях. Женщины с непокрытыми головами и дерзкими глазами разговаривали между собой на своём языке. Армяне были хорошими купцами, оставаясь при этом затворниками. Они привозили только самые дорогие товары и, казалось, знали всё обо всём на свете. Из всех торговых народов они были самыми богатыми и влиятельными. В отличие от евреев, несториан и зоттов, у них была родина, небольшая страна на Кавказе, куда многие из них регулярно возвращались, и большинство исповедовало ислам, что давало им огромное преимущество в дар аль-исламе, то есть во всём мире, за исключением Китая и Индии ниже Деканского плоскогорья. Слухи о том, что они только притворялись мусульманами и втайне исповедовали христианство, Бахраму казались злопыхательствами завистливых конкурентов — скорее всего, подлых зоттов, давным-давно

изгнанных из Индии (в Египет, как говорили некоторые), а теперь безродно скитавшихся по свету, которым не нравилось привилегированное положение армян, торговавших самыми лучшими вещами на самых прибыльных рынках.

Бахрам бродил среди их костров и фонарей, останавливаясь то поболтать, то выпить вина со своими знакомыми, пока какой-то старик не указал ему на книготорговца Мантуни, ещё более дряхлого, сморщенного и сгорбленного старичка в очках, из-за которых его глаза казались размером с лимон. Он говорил по-тюркски мало и с сильным акцентом, и Бахрам перешёл на фарси, за что Мантуни благодарно склонил перед ним голову. Старик показал ему деревянный ящик на земле, битком набитый книгами, которые он раздобыл для Калида во Франгистане.

— Унесёшь? — с сомнением спросил он Бахрама.

— Конечно, — сказал Бахрам, но заботило его другое: — Сколько это будет стоить?

— О нет, всё уже оплачено. Калид дал мне деньги вперёд, иначе я не смог бы позволить себе купить всё это. Эти книги куплены на барахолке в Дамаске и принадлежали древнему роду алхимиков, который закончился на отшельнике, не

оставившем после себя потомства. Вот, смотри, «Трактат о приспособлениях и печах» Зосимы, изданный всего два года назад, это тебе. Остальное, видишь, я разложил в хронологическом порядке по дате написания: вот «Сумма совершенства» Джабира, вот его «Десять книг о ректификации», а вот «Секрет творения».

Огромный фолиант был обтянут овчинным переплётом.

— Написано греком по имени Аполлоний. Одна из глав — легендарная «Изумрудная скрижаль», — он бережно постучал по обложке. — Только она одна стоит вдвое больше, чем я заплатил за всё собрание, но они об этом не знали. Оригинал «Изумрудной скрижали» нашла Сара, жена Авраама, в пещере близ Хеврона, некоторое время спустя после Великого Потопа. Изумрудную дощечку с текстом скрижали Сара нашла зажатой в руках мумифицированного трупа Гермеса Трисмегиста, отца всей алхимии. Надписи были сделаны финикийскими буквами. Хотя, признаюсь, читал я и другие рассказы — о том, что скрижаль впервые обнаружил Александр Великий. Как бы то ни было, вот она, в арабском переводе времен Багдадского халифата.

— Ясно, — сказал Бахрам.

Он сомневался, что Калиду до сих пор это интересно.

— Здесь вы также найдёте «Полные жизнеописания бессмертных», довольно тонкий том, если задуматься, и «Ларец мудрых мыслей», и ещё книгу одного франгейца, Бартоломея Английского «О свойствах вещей», а также «Эпистолу солнца к полумесяцу», и «Книгу ядов», вероятно, небесполезную, и «Великое сокровище», и «Грамоту о трёх подобиях» на китайском языке…

— Иванг умеет читать по-китайски, — сказал Бахрам. — Спасибо.

Он попытался поднять ящик. Тот был словно полон камней, и Бахрам пошатнулся.

— Уверен, что сможешь доставить его в город в целости и сохранности?

— Всё будет в порядке. Я отнесу книги к Калиду, у Иванга там есть своя комната, где он работает. Ещё раз спасибо. Думаю, Иванг к вам ещё заглянет, чтобы обсудить книги, да и Калид, возможно, тоже. Как долго вы пробудете в Самарканде?

— Ещё месяц, не больше.

— Они точно захотят побеседовать с вами.

И Бахрам пошёл, балансируя с ящиком на голове. Время от времени он делал остановки, чтобы дать отдых голове и подкрепиться вином. Домой

он вернулся поздно, и голова у него шла кругом, но в кабинете Калида горели лампы, и Бахрам, обнаружив старика за чтением, с торжествующим видом водрузил перед ним ящик.

— Ещё книги, — сказал он и рухнул в кресло.

Конец алхимии

Поглядев на захмелевшего Бахрама, Калид покачал головой и принялся рыться в ящике, насвистывая и бубня себе под нос.

— Ничего нового, — заявил он в какой-то момент. Затем вытащил одну книгу и открыл. — Ага! — воскликнул он. — Франгийский текст, переведённый с латыни на арабский Ибн Раби из Нсары. Оригинал написан Бартоломеем Английским веке где-то в VI. Ну-ка, посмотрим, что он тут пишет, гм, гм… — он стал водить указательным пальцем левой руки по строчкам, быстро перескакивая глазами со страницы на страницу. — Что?! Это же Ибн Сина!.. И это тоже! — он поднял взгляд на Бахрама. — Главы по алхимии заимствованы напрямую из Ибн Сины!

Он стал читать дальше и вдруг невесело рассмеялся.

— Ты только послушай! «Жидкое серебро, — так он называет ртуть, — обладает великим благородством и силой, и потому выдерживает всякий вес, даже если на металл весом в два фунта водрузить камень весом в сто фунтов».

— Что?

— Слышал ты когда-нибудь подобную ересь? Если уж взялся говорить о мерах веса, потрудился бы для начала разобраться в вопросе.

Он продолжал читать.

— Ага, — сказал он через некоторое время. — Здесь он прямо цитирует Ибн Сину. «Стекло среди камней, как говорит Авиценна, что глупец среди людей, ибо принимает любые цвета и краски». Сказано человеком-зеркалом… Ха! Гляди-ка, вот история, которая могла случиться с нашим Сайедом Абдул-Азизом. «Давным-давно жил да был человек, который научился делать стекло податливым, таким, что его можно было гнуть и ковать молотком, изготовил сосуд из такого стекла, принёс его императору Тиберию и бросил оземь, но оно не разбилось, а изогнулось и смялось. Тогда он взял и исправил его своим молотком… — нужно заказать такое стекло у Иванга! — … Тогда император приказал немедленно отрубить голову умельцу, чтобы никто не проведал о таком диве. Ибо золото станет тогда не лучше глины, а всякие другие металлы потеряют свою ценность, ибо если стеклянный сосуд нельзя разбить, то цена его много выше, чем сосуда из золота». Странная логика; наверное, в его время стекло считалось редкостью, — Калид

встал, потянулся, вздохнул. — Тибериев, с другой стороны, всегда будет полным-полно.

Он быстро пролистывал остальные книги и большую часть из них бросал обратно в коробку. Он проштудировал «Изумрудную скрижаль», изучив её страницу за страницей, обращаясь за помощью сперва к Ивангу, а позже и к некоторым математикам Шердора, чтобы опытным путём проверить все мало-мальски конкретные тезисы, ставя эксперименты в мастерских или во внешнем мире. В итоге пришли к таким выводам, что сведения в тексте представлены в основном ложные, а истинные же оказались самыми банальными наблюдениями, давно известными в металлургии и естественной природе.

Бахрам думал, что это разочарует Калида, но оказалось, что после всех событий он остался доволен такими результатами, и как будто даже успокоился. Бахрам вдруг понял: Калид пришёл бы в смятение, если бы что-то магическое произошло на самом деле, это потрясло бы и разочаровало его, ибо лишило бы стройности и смысла тот самый порядок, который, как теперь полагал Калид, существует в природе. Поэтому он с мрачным удовлетворением наблюдал, как проваливаются испытания, после чего поста-

вил старую книгу с мудрыми мыслями Гермеса Трисмегиста высоко на полку к её собратьям и с тех пор о них не вспоминал. С тех пор он обращался только к своим тетрадям, заполняя чистые страницы сразу после экспериментов и позже, долгими ночами, они лежали раскрытые повсюду: на столах и на полу его кабинета. Одной холодной ночью, когда Бахрам вышел прогуляться во двор, он заглянул в кабинет к Калиду; найдя старика спящим на кушетке, накрыл его одеялом, погасил почти все лампы и при свете той, что осталась гореть, заглянул в толстые тетради, открытые на полу. Леворукий почерк Калида был острым до неразборчивости, как одному ему понятный шифр, но маленькие зарисовки показались Бахраму довольно точными, хотя и схематичными: поперечное сечение глазного яблока, телега, лучи света, летящие пушечные ядра, птичьи крылья, механизмы, длинные списки разновидностей дамасской стали, внутренности атанора, термометры, альтиметры, часовые механизмы всех сортов, маленькие фигурки, сражающиеся на мечах или повисшие на гигантских спиралях, как липовые серёжки, жуткие лица чудовищ, тигры в покое и в прыжке, рычащие с тетрадных полей.

Слишком замёрзший, чтобы листать дальше, Бахрам посмотрел на спящего старика, своего тестя, в чьей голове всегда было тесно мыслям. Необычные люди окружают нас в этой жизни. На заплетающихся ногах он вернулся в постель и прильнул к теплу Эсмерины.

Скорость света

Многочисленные опыты Калида со светом в призме вернули к вопросу о скорости его перемещения, и, несмотря на участившиеся визиты Надира и его слуг, Калид мог говорить только об экспериментах по определению этой скорости. Наконец всё было готово для испытаний: они разделятся на две группы, вооружившись фонарями, а группа Калида ещё и самым точным секундомером, который теперь останавливался мгновенным нажатием рычага, блокирующего движение стрелок. Предварительные опыты показали, что при полной темноте ночи свет самых больших фонарей было видно с вершины холма Афрасиаб до Шамианского хребта, через всю речную долину, примерно на десять ли по прямой. Использование небольших костров, закрываемых и открываемых коврами, увеличило бы дальность видимости, но Калид решил обойтись без них.

И вот в полночь следующего новолуния они вышли в путь: Бахрам с Калидом, Пахтакором и несколькими другими слугами на холм Афрасиаб; Иванг, Джалиль и ещё несколько слуг — на

Шамианский хребет. Фонари были оборудованы створками, которые распахивались в хорошо смазанных желобках одновременно с включением секундомера, и это была максимально приближенная к синхронности конструкция, какую им удалось придумать. Команда Калида откроет фонарь и запустит часы; когда команда Иванга увидит свет, они откроют свой фонарь, а когда команда Калида увидит свет их фонаря, они остановят часы. Схема предельно простая.

До холма идти было далеко, через старый восточный мост, по тропе через руины древнего городища Афрасиаб, смутно видневшиеся в свете звёзд. В сухом ночном воздухе разносились лёгкие ароматы вербены, розмарина и мяты. Как и всегда перед опытами, Калид пребывал в хорошем настроении. Он заметил, как Пахтакор и слуги по очереди прикладываются к бурдюку с вином, и сказал:

— Присосались сильнее, чем наш вакуумный насос! Смотрите, а не то дососётесь до буддийской пустоты, и всех нас затянет в этот бурдюк.

На плоской безлесой вершине холма они остановились и ждали, когда группа Иванга достигнет Шамианского хребта, чернеющего на фоне звёзд. За вершиной Афрасиабского холма, если смот-

реть с Шамианы, проступали горы Джизакского хребта, так что Иванг не увидит никаких сбивающих с толку звёзд над его вершиной, а лишь чернильный массив пустого Джизака.

Они заранее оставили флажки на вершине, повёрнутые в нужном направлении, а теперь Калид нетерпеливо покряхтел и сказал:

— Проверим, на месте ли они.

Бахрам повернулся к Шамианскому хребту, откинул дверцу фонарного короба и помахал им из стороны в сторону. В следующую секунду они увидели отчётливый жёлтый отблеск фонаря Иванга, возникший под чёрным контуром хребта.

— Отлично, — сказал Калид. — Теперь закрывай.

Бахрам поднял створку, и фонарь Иванга тоже погас.

Бахрам стоял слева от Калида. Часы и фонарь были установлены на раздвижном столике и скреплены вместе одним каркасом, который отпирал створку фонаря и запускал секундомер одним движением. Указательный палец Калида лежал на рычажке, который останавливал часы.

— Давай, — обронил Калид, и Бахрам с заполошно колотящимся сердцем щёлкнул язычком

замочка, и в тот же миг на Шамианском хребте зажёгся фонарь Иванга.

Калид изумлённо выругался и остановил часы.

— Аллах милосердный! — воскликнул он. — Я не был готов. Давайте повторим.

Они условились о двадцати пробах, так что Бахрам просто кивнул, пока Калид проверял часы, подсвечивая себе вторым фонарём, прикрытым заслонками, и диктовал Пахтакору конечное время: два удара с третью.

Они попробовали ещё раз, и снова свет на холме Иванга зажёгся в тот же момент, когда Бахрам открыл фонарь. Когда Калид свыкся со скоростью сообщения, пробы стали проходить в мгновение ока. Бахраму казалось, что он открывает фонари на обратной стороне долины; он был впечатлён быстротой Иванга, не говоря уже о быстроте света. Однажды он даже притворился, что открывает створку, легонько толкнув её и замерев, чтобы проверить, не читает ли тибетец его мысли.

— Что ж, — сказал Калид после двадцатой пробы, — хорошо, что мы остановились на двадцати попытках, не то мы бы достигли такого мастерства, что видели бы их фонарь ещё до того, как открывали свой.

Все засмеялись. Во время самих испытаний

Калид только огрызался, зато теперь казался довольным, и все вздохнули с облегчением. Они спустились с холма и пошли по городищу, громко разговаривая между собой и потягивая вино из бурдюка, и даже Калид, который пил теперь очень редко, хотя когда-то алкоголь был одной из его главных радостей в жизни, составил им компанию. Дома они проверяли себя на быстроту реакции и знали, что в большинстве проб засекали себя с той же скоростью, если не быстрее.

— Если отбросить первый результат и рассчитать среднее из остальных, то выйдет примерная скорость самого процесса.

— Наверное, свет движется мгновенно, — предположил Бахрам.

— Мгновенное движение? Бесконечная скорость? Сомневаюсь, что Иванг согласится с таким мнением, уж точно не по результатам одного только этого эксперимента.

— А ты сам что думаешь?

— Я-то? Думаю, нам нужно находиться дальше друг от друга. Но мы доказали, что свет скор, в этом не остаётся никаких сомнений.

Они миновали разрушенный и опустевший Афрасиаб и пошли к мосту по главной дороге древнего городища с севера на юг. Слуги приба-

вили шаг, оставив Калида и Бахрама позади.

Калид мимо нот мычал себе какой-то мотивчик, и Бахрам, слушая его и вспоминая исписанные страницы стариковских тетрадок, спросил:

— С чего это ты такой счастливый в последнее время, отец?

Калид удивлённо посмотрел на него.

— Я? Вовсе я не счастливый.

— Неправда!

Калид рассмеялся.

— Бахрам, Бахрам, святая ты простота.

Вдруг он затряс обрубком правой руки под носом у Бахрама.

— Взгляни на это, мальчик мой. Взгляни! Как я могу быть счастлив, когда у меня есть это? Никак! Это мой позор, это моя глупость и жадность, вот они, чтобы все видели и не забывали ни на один день. Аллах мудр даже в своих наказаниях. Я навеки обесчещен в этой жизни и никогда не смогу отмыться от позора. Ни поесть в чистоте, ни помыться в чистоте, ни погладить Федву на ночь по волосам. С той жизнью покончено. И всё из-за страха и из-за гордыни. Конечно, мне стыдно, и, конечно, я зол: на Надира, на хана, на себя, на Аллаха, да, и даже на него! На всех вас! Я никогда не перестану злиться, никогда!

— О, — потрясённо протянул Бахрам.

Некоторое время они молча шли мимо залитых звёздным светом руин.

Калид вздохнул.

— Но послушай, сынок… Теперь-то, что мне остаётся? Мне всего пятьдесят, у меня ещё есть немного времени до того, как Аллах заберёт меня, и я должен чем-то заполнить это время. И у меня, несмотря ни на что, есть гордость. Не говоря уже о том, что с меня не сводят глаз. Я был заметной фигурой, и людям понравилось наблюдать за моим падением, ещё как понравилось, вот они и продолжают наблюдать! Так какой же историей мне порадовать их в следующий раз? Потому что только этим мы и являемся для других людей, мальчик мой, мы — их сплетни. И вся цивилизация — это гигантская мельница, перемалывающая сплетни. Вот и я: могу остаться историей о человеке, который высоко взлетел да больно упал, и дух его был сломлен, и он, как шелудивый пёс, уполз в свою нору, подыхать поскорее. Или я могу стать историей о человеке, который высоко взлетел, больно упал, но потом поднялся, несломленный, и пошёл в другом направлении. Который не оглядывался назад и не позволял толпе развлекаться за его счёт. И

именно эту историю они все у меня проглотят. И пусть подавятся, если хотят получить от меня что-то иное. Я — тигр, мальчик мой, я, верно, был тигром в прошлом существовании, я вижу это во снах — как крадусь по джунглям и охочусь. Теперь мой тигр запряжён в мою колесницу, и мы трогаемся с места! — он махнул левой рукой на простиравшийся впереди город. — Запомни, сынок: ты должен научиться запрягать своего тигра в свою колесницу.

Бахрам кивнул.

— Проводить эксперименты.

— Да! Да! — Калид остановился и поднял руку, указывая на россыпь звёзд. — И это самое лучшее, самое удивительное, ведь всё это так безумно интересно! Не просто способ скоротать время или уйти от реальности, — он снова потряс культёй. — Это единственное, что по-настоящему имеет значение! Ну, то есть, зачем мы здесь, мальчик мой? Зачем?

— Чтобы творить любовь.

— Ну ладно, допустим. Но как лучше всего любить этот мир, который дал нам Аллах? Люби мир, изучая его! Вот он, в гармонии с самим собой, каждый рассвет его прекрасен, а мы берём и втаптываем его в грязь, придумывая себе ха-

нов, халифаты и тому подобное. Нелепица. Но если ты хочешь постичь природу вещей, если ты смотришь на мир и спрашиваешь: почему происходит то-то и то-то, почему падают вниз предметы, почему солнце встаёт по утрам, и светит нам, и греет воздух, и наполняет листья зеленью — как всё это происходит, по каким законам Аллах создал этот прекрасный мир?.. Тогда всё преображается. Бог видит, что ты ценишь его творение. Но даже если нет, и даже если ты так никогда и не найдёшь ответов на свои вопросы, даже если на них невозможно ответить, ты всё равно можешь попытаться.

— И многому научиться, — добавил Бахрам.

— Не совсем. Вовсе нет. Но бок о бок с таким математиком, как Иванг, у нас есть шанс решить хотя бы несколько простейших проблем или сделать первые шаги в их решении, чтобы проложить путь другим. Вот где истинный Божий промысел, Бахрам. Бог дал нам этот мир не для того, чтобы мы паслись в нём и жевали пищу, как верблюды. Сам Мухаммед сказал: «Ищите знания, даже если для этого придётся отправиться в Китай!» А мы с помощью Иванга перенесли Китай к нам. И всё стало ещё более интересным.

— Выходит, ты счастлив. Как я и сказал.

— Счастлив и зол. Счастливо зол. Всё сразу и одновременно. Это жизнь, мальчик мой. Ты пытаешься насытиться ею, пока не лопнешь и Аллах не приберёт тебя к рукам и не отправит твою душу в следующую жизнь. И всё продолжаешь насыщаться.

На окраине города запел первый петух. В восточном небе стали гаснуть звёзды. Слуги уже успели добраться до дома Калида и открыли им ворота, но Калид остановился снаружи среди высоких куч угля и огляделся с видимым удовлетворением.

— А вот и Иванг, — сказал он тихо.

Рослый тибетец подошёл к ним, по-медвежьи сутулясь, выбитый из сил, но с улыбкой на лице.

— Ну? — спросил он.

— Слишком быстро для замера, — сознался Калид.

Иванг застонал.

Калид протянул ему бурдюк, и Иванг сделал большой глоток.

— Свет, — фыркнул он. — Что тут поделать?

Восточное небо наливалось загадочным не то веществом, не то сутью. Иванг пошатывался из стороны в сторону, как медведь, двигающийся под музыку, и Бахрам никогда не видел его таким

счастливым. Оба старика остались довольны ночными трудами. У Иванга в группе всю ночь что-то шло наперекосяк: они пили вино, теряли, валились в канавы, пели песни, принимали посторонние огоньки за фонарь Калида, а позже, в ходе самих проб, не имели ни малейшего представления о том, какие результаты фиксируют на холме Афрасиаб, и это казалось им забавным. Они веселились.

Но не эти приключения были причиной хорошего настроения Иванга, а скорее какой-то особый ход собственных мыслей, который ввёл его в «состояние», как называли это суфии, и он бормотал что-то на своём языке, рокотавшем глубоко в его груди. Слуги затянули песню о восходе солнца.

Он сказал Калиду и Бахраму:

— Спускаясь с хребта, я засыпал прямо на ходу, и мысли о нашем эксперименте послали мне видение. Я думал о свете вашего фонаря, мигающем в темноте долины, и мне пришло в голову, что, если бы я мог видеть все мгновения единовременно, но каждое отдельно и обособленно, пока мир плывёт под звёздами, где каждое чуть отличается от предыдущего… если бы я мог перемещаться в пространстве через мгновения, словно через

комнаты, я мог бы составить карту путешествия самого мира. Каждый шаг вниз по склону виделся бы мне как бы отдельным миром, кусочком бесконечности, возникшим из мира этого шага. И так я шагал бы от мира к миру, шаг за шагом, не видя в темноте земли под ногами, и мне казалось бы, что если бы было такое число, которое указывало бы место каждого шага, весь хребет предстал бы перед глазами нарисованной линией от одного шага к следующему. Наши слепые ноги в темноте повинуются инстинкту, так же и мы слепы к реальности как таковой, но мы тем не менее можем охватить целое отдельными прикосновениями. Тогда мы могли бы сказать: здесь — это, а там — то, полагаясь на то, что между шагами не встретилось ни валунов, ни выбоин, и таким образом форма всего хребта станет нам понятна. С каждым шагом я переступал из мира в мир.

Он посмотрел на Калида.

— Ты понимаешь, о чём я?

— Возможно, — отвечал Калид. — Ты предлагаешь математически построить график движения.

— Да, и так же движения внутри движения, изменения в скорости, которые должны постоянно происходить в нашем мире, где есть сопротивле-

ние и подмога.

— Сопротивление воздуха, — смакуя, протянул Калид. — Мы живём на дне воздушного океана. Он имеет вес, как показала ртутная чаша. Он давит на нас. Он приносит к нам лучи солнца.

— Которые согревают нас, — добавил Бахрам.

Солнце выступило из-за далёких гор на востоке, и Бахрам сказал:

— Хвала Аллаху и благодарность за это славное солнце, знак его бесконечной любви в этом мире.

— А теперь, — сказал Калид, широко зевая, — спать.

Испытания полёта

Однако их бурная деятельность закономерно привела к очередному визиту Надира Диванбеги. На этот раз Бахрам ходил по базару с мешком, закинутым за плечо, покупая дыни, апельсины, кур и бечёвку, когда перед ним внезапно появился Надир со своей личной охраной. Такое событие Бахрам никак не мог списать на совпадение.

— Какая встреча, Бахрам. Слышал, ты сильно занят в последнее время.

— Как всегда, эфенди, — ответил Бахрам, пригнув голову.

Телохранители Надира, облачённые в доспехи и вооружённые длинноствольными мушкетами, не сводили с него соколиных взглядов.

— И эти увлекательные занятия, несомненно, включают в себя работу на благо хана Сайеда Абдул-Азиза и славы Самарканда?

— Конечно, эфенди.

— Расскажи подробнее, — попросил Надир. — Перечисли всё, что делается для хана, и расскажи, как продвигается каждое из этих дел.

Бахрам испуганно сглотнул. Понятно, что Надир подловил его здесь, потому что полагал, что

из Бахрама он вытрясет больше, чем из Калида или Иванга, тем более в таком людном месте, где Бахрам будет слишком растерян, чтобы увильнуть от разговора.

Поэтому он нахмурился и постарался принять серьёзный, но глупый вид, что в настоящий момент не составило для него большого труда.

— То, что они делают, моей голове не понять, эфенди. Но кажется, работают они над чем-то вроде оружия и обороны.

Надир кивнул, и Бахрам кивнул на дынные прилавки, у которых они стояли.

— Можно?

— Пожалуйста, — ответил Надир, направляясь за ним.

Бахрам подошёл к блюдам с медовой и мускусной дыней и начал накладывать их на весы. Ох, и хорошую же цену он за них выручит, делая покупки в компании Надира Диванбеги и его телохранителей!

— В оружии, — сочинял Бахрам на ходу, указывая хмурому продавцу на красные дыни, — мы работаем над укреплением металла пушечных стволов, чтобы они стали легче и прочнее. Ещё мы проводили опытные полёты пушечных ядер, запуская их в различных условиях, на различном

порохе и из различных пушек, а потом записывали результаты и изучали, чтобы всегда можно было точно определить, куда угодит выстрел.

— Это было бы действительно полезно, — сказал Надир. — У них получилось?

— Они работают над этим, эфенди.

— А оборона?

— Укрепление стен, — коротко ответил Бахрам.

Калид пришёл бы в бешенство, узнай он обо всех обещаниях, которыми так опрометчиво разбрасывался Бахрам, но Бахрам не знал, как ещё выпутаться из такой щекотливой ситуации, и потому старался делать описания как можно более расплывчатыми и надеяться на лучшее.

— Понятно, — сказал Надир. — Прошу, окажи мне любезность, проведите одну из ваших хвалёных демонстраций, чтобы удовлетворить любопытство двора, — он поймал взгляд Бахрама, давая понять, что это не праздное предложение. — И поскорее.

— Конечно, эфенди.

— Что-нибудь, что удержит внимание хана. Что-то интересное.

— Конечно.

Надир подал своим людям знак пальцем, и они

пошли дальше по базару, оставляя суету толпе позади себя.

Бахрам тяжело вздохнул и вытер лоб.

— Эй, там, — строго одёрнул он продавца, который исподтишка снимал с весов дыню.

— Так нечестно, — сказал продавец.

— Согласен, но уговор есть уговор.

Продавец не стал этого отрицать и даже ухмыльнулся себе в усы, когда Бахрам снова вздохнул.

Бахрам вернулся домой и пересказал разговор с Надиром Калиду, который, услышав об этом, разворчался, как и предполагал Бахрам. Калид закончил ужин в молчании, пронзая куски крольчатины маленькой серебряной вилкой, которую держал в левой руке. Он отложил вилку, вытер лицо салфеткой и тяжело поднялся.

— Пойдём ко мне в кабинет. Расскажешь, что конкретно ты ему наговорил.

Бахрам постарался передать разговор во всех подробностях, пока Калид вращал в руках кожаный глобус, на котором пытался нарисовать карту мира. Большую часть шара он оставил незаполненной, отвергая заявления китайских картографов о золотых островах, которые плавали в океане к востоку от Ниппона, распо-

ложенные по-разному на каждой карте. Когда Бахрам закончил, он вздохнул.

— Ты молодец, — похвалил он. — Ты не пообещал ничего конкретного, и в том, что ты говорил, есть свой резон. Мы можем заняться этими проблемами, и они даже могут пролить свет на некоторые вопросы, на которые мы давно хотели ответить.

— Новые эксперименты, — понял Бахрам.

— Да, — Калид просиял при этой мысли.

В следующие недели деятельная суета на мануфактуре приняла новый оборот. Калид вытащил во двор все пушки, полученные от Надира, и дни заполнились звуками залпов. Калид, Иванг, Бахрам и мастера-пороховщики уходили на равнину к западу от города и палили там по большим мишеням, после чего тащили ядра обратно, так как выстрелы очень редко поражали цель.

Калид заворчал, потянув за трос и возвращая пушку на исходную позицию.

— Как бы нам закрепить пушку на земле, — проговорил он. — Может, при помощи крепких канатов и толстых клиньев… Возможно, тогда ядра будут лететь дальше.

— Можно попробовать.

И каких только испытаний они не проводили!

Под вечер в ушах у них звенело от залпов, и Калид придумал затыкать их ватой, чтобы хоть немного поберечь слух.

Иванг всё больше и больше увлекался полётом пушечных ядер. С Калидом они обсуждали математические формулы и диаграммы, которых Бахрам не понимал. Бахраму казалось, что они начали забывать о конечной цели испытаний и воспринимали пушки исключительно как механизмы для опытов с движением, скоростью и изменением скорости.

А потом явился Надир с новостями. Хан и его свита намеревались приехать с визитом на следующий день, чтобы посмотреть на их прогресс и открытия.

Калид провёл ночь без сна в своём кабинете, составляя списки демонстраций, которые они могли бы провести. В полдень следующего дня все собрались на залитой солнцем равнине у реки Зеравшан. Для хана разбили большой шатёр, где он и устроился, чтобы наблюдать оттуда за событиями.

Хан лежал, развалившись, на кушетке, покрытой шелками, зачерпывал ложечкой мороженое и уделял больше внимания молодой куртизанке, чем испытаниям. Но Надир стоял рядом с пушка-

ми и внимательно наблюдал за происходящим, после каждого залпа вынимая из ушей вату, чтобы задать очередной вопрос.

— С укреплениями, — ответил ему Калид в какой-то момент, — уже давным-давно разобрались франгейцы, ещё до того, как вымерли. Пушечное ядро ломает любое твёрдое препятствие.

Он велел помощникам дать залп в стену из каменных кирпичей, которую они сложили и зацементировали прямо на месте. Ядро эффектно пробило мишень, и хан со свитой захлопали в ладоши, даром что и Самарканд, и Бухару окружали стены именно из такого песчаника, как только что упавшая мишень.

— А теперь, — сказал Калид, — посмотрите, что произойдёт, когда ядро того же размера, выпущенное из той же пушки, заряженной тем же зарядом, поразит следующую мишень.

Следующей мишенью был земляной курган, который насыпали в поте лица бывшие рабочие Калида. Дали залп, едкий дым рассеялся; земляная насыпь осталась нетронутой, не считая едва заметной вмятины посередине.

— Пушечное ядро бессильно. Оно погружается в дёрн и там застревает. Целая сотня пушечных ядер не причинит такой стене ни малейшего

вреда. Они просто станут его частью.

Хан услышал это и остался недоволен.

— Предлагаешь насыпать груду земли вокруг Самарканда? Невозможно! Это испортит вид! Остальные ханы и эмиры поднимут нас на смех. Мы не муравьи в муравейнике!

Калид повернулся к Надиру с учтивым, ничего не выражающим лицом.

— Дальше, — сказал Надир.

— Пожалуйста. Как вы помните, мы установили, что ядро не может преодолевать те расстояния, которые позволяет пушечный залп, по прямой линии. Ядра перемещаются по воздуху беспорядочно и могут уклоняться от курса в любом направлении, что регулярно и происходит.

— Но не может же воздух оказывать существенное сопротивление железу, — Надир взмахнул рукой, как бы иллюстрируя свои слова.

— Да, сопротивление невелико, но учтите, что ядро преодолевает в воздухе более двух ли. Представьте, что воздух — это что-то вроде разжиженной воды. Он, безусловно, оказывает своё воздействие. Легче всего это заметить на примере лёгких деревянных шаров аналогичного размера, брошенных вручную, чтобы можно было воочию пронаблюдать за их движением. Мы бросим их

против ветра, и вы сами увидите, как шары мотает по воздуху.

Бахрам и Пахтакор бросили лёгкие деревянные шары в воздух, и они взметнулись на ветру, как летучие мыши.

— Что за чушь! — воскликнул хан. — Пушечные ядра гораздо тяжелее, они прорежут ветер, как нож масло!

Калид кивнул.

— Истинно так, великий хан. Мы используем деревянные шары только для наглядной демонстрации эффекта, производимого на любой предмет, будь он хоть из свинца.

— Или из золота, — пошутил Сайед Абдул-Азиз.

— Или из золота. Сейчас ядра заносит лишь самую малость, но чем больше дальность залпа, тем ощутимее отклонение от курса. Поэтому мы никогда не знаем наверняка, куда угодит ядро.

— Что правда, то правда, — сказал Надир.

Калид махнул левой рукой, на мгновение забыв о культе.

— Мы нашли способ значительно уменьшить этот эффект. Смотрите, как полетят деревянные шары, если бросить их с подкруткой.

Бахрам и Пахтакор запустили шары из бальзамического дерева в воздух, слегка выкрутив

пальцы перед самым броском, чтобы придать им вращение. И хотя некоторые из этих шаров изгибались в полёте дугой, они летели дальше и быстрее, чем шары, брошенные просто с ладони. Бахрам попал по стрелковой мишени пять раз из пяти, чем остался ужасно доволен.

— Вращение стабилизирует их полёт по воздуху, — объяснил Калид. — Ветер, конечно, продолжает оказывать своё сопротивление. Этого никак не избежать. Но они больше не совершают непредсказуемых рывков, когда их подхватывает порывом. Оперение на конце стрелы придаёт ей вращение с тем же эффектом.

— Ты предлагаешь оперить пушечные ядра? — расхохотался хан.

— Не совсем, ваше высочество, но, в сущности, да. Мы хотим добиться такого же вращения, но иным путём. Добиться этой цели мы пытались двумя способами. Первый состоял в том, чтобы вырезать канавки в ядрах. Но в результате сильно сократилась дальность залпа. Второй же способ заключается в том, чтобы делать канавки внутри самой пушки, в виде длинной спирали, не больше одного оборота вдоль всей длины ствола. Благодаря этому ядро вылетит из пушки с подкруткой.

Калид приказал своим людям вытащить пушку

поменьше. Пушка выстрелила, и стоявшие рядом помощники проследили траекторию ядра и отметили место его падения красным флажком. Оно залетело дальше, чем ядро большой пушки, хотя и ненамного.

— Это влияет не столько на расстояние, сколько на точность залпа, — пояснил Калид. — Ядра теперь будут лететь строго по прямой линии. Мы составляем таблицу, которая позволит выбирать порох, по типу и весу соответствующий ядрам разного веса, чтобы с помощью одних и тех же пушек всегда направлять ядра ровно туда, куда нужно нам.

— Любопытно, — сказал Надир.

Хан Сайед Абдул-Азиз подозвал секретаря к себе.

— Мы возвращаемся во дворец, — оповестил он и увёл свою свиту к лошадям.

— Но не слишком интересно, — обратился Надир к Калиду. — Пробуйте дальше.

Подарки для хана

— Может, мне изготовить хану новые булатные доспехи?.. — рассуждал Калид позже. — Что-то красивое.

Иванг ухмыльнулся.

— Ты умеешь ковать булат?

— Разумеется. Это же дамасская сталь. Ничего сверхъестественного. В тигель закладывается губчатое железо, вутц, предварительно выкованное в железную пластину, вместе с древесиной, зола которой примешивается к стали, и добавляется вода. Часть тиглей помещают в печь, после чего вливают расплавленное содержимое в расплавленный чугун при температуре чуть более низкой, чем нужно для полного слияния двух элементов. В результате на стали образуются вытравленные разводы того или иного минерального сульфата. Узоры и оттенки варьируются в зависимости от того, какой сульфат был использован, какой вутц и при каких температурах проходила выплавка. Вот этот орнамент, — он потянулся наверх и достал толстый изогнутый кинжал с рукояткой из слоновой кости, на лезвии которого красовался густой узор из белых и

тёмно-серых штрихов, — называется «Лестница Мухаммеда». Персидская работа, предположительно из кузницы алхимика Джундишапура. Говорят, в этом клинке есть алхимия, — он задумался и пожал плечами.

— И ты думаешь, хан…

— Если систематически варьировать состав вутца, структуру сырья, температуры, составы для травления, нам наверняка удастся найти и какие-то новые узоры. Мне нравились завихрения, которые получались при высоком содержании древесины в стали.

Повисло молчание. Калид был не рад, это понимали все.

— Относись к этому как к серии опытов, — предложил Бахрам.

— Это понятно, — раздражённо ответил Калид. — Но в этом случае мы действуем, не понимая самой природы вещей. Слишком много исходных материалов, субстанций и действий, и всё это разом. Полагаю, что-то здесь происходит на уровне, чересчур малом для человеческого глаза. Трещины, которые образуются после отливки, напоминают кристаллы в разломе. И за этим любопытно наблюдать, но невозможно понять, почему так, или предсказать поведение

стали заранее. В этом и заключается полезность всякого эксперимента. Он даёт нам конкретный результат. Отвечает на вопрос.

— Тогда мы поставим перед собой такие вопросы, на которые сможет ответить сталеварение, — сказал Бахрам.

Калид, всё ещё недовольный, кивнул. Но он бросил взгляд на Иванга, желая узнать его мысли на этот счёт.

Иванг счёл это хорошей идеей в теории, но на практике оказалось не так-то просто определиться с задачей, которую они могли перед собой поставить. Они знали, до каких температур раскалять печь, знали, какую руду, древесину и сколько воды добавлять, как долго смешивать, какую прочность им это даст. Все задачи, касающиеся практической стороны вопроса, давно были решены, ещё с тех пор, как дамасскую сталь начали делать в Дамаске. Более фундаментальные вопросы о природе процесса, на которые ещё предстояло ответить, оказалось трудно сформулировать. Бахрам и сам старался изо всех сил, но ничего не приходило в голову. А ведь Бахраму всегда приходили в голову самые замечательные идеи — по крайней мере, так ему говорили.

Пока Калид бился над этой проблемой, Иванг

с головой погрузился в математические труды, забывая даже про стеклодувное и серебряное дело, которое он практически переложил на плечи своих новых учеников, рослых и худощавых тибетских юношей, свалившихся некоторое время назад ему как снег на голову. Он штудировал индуистские книги и старые тибетские свитки, делая пометки мелом на грифельных досках, а затем копируя их на бумагу, как хранил и все свои записи: чернильные диаграммы, вязи из цифр на хинди, символы и буквы на китайском, тибетском и санскрите (его личный алфавит для личного языка, как казалось Бахраму). Безнадёжная затея, о которой было страшно долго задумываться, поскольку от бумаги, казалось, исходила осязаемая сила, какое-то волшебство — или, возможно, просто безумие. Чужие мысли, вписанные в многоугольники чисел и идеограмм; лавка Иванга стала казаться Бахраму пещерой тёмного колдуна, ощупывающего кромки реальности…

Иванг в итоге сам стряхнул с себя эту паутину. Выйдя из дома Калида на солнце, он сел рядом с Калидом, Захаром и Тази из Шердора, и Бахрама, заслонявшего их от солнца, и, заглядывая им через плечо, изложил математику движения, которую называл «скоростью скорости».

— Всё находится в движении, — объяснял он. — Вот что такое карма. Земля вращается вокруг Солнца, Солнце путешествует сквозь звёзды, и звёзды тоже путешествуют. Но для науки, для чистоты эксперимента, мы допустим, что существует царство неподвижности. Возможно, вот такая неподвижная пустота содержит в себе вселенную, но не суть: нас сейчас интересуют чисто математические области измерения, которые можно обозначить вертикалями и горизонталями, вот так, или длиной, шириной и высотой, если брать три измерения реального мира. Но для простоты начнём с двух. Так вот, любой движущийся объект — скажем, пушечное ядро — имеет свои величины в пределах этих двух измерений. Как высоко, как низко, насколько влево и насколько вправо. Можно поместить его сюда, как на карту. Опять же, горизонтальным измерением можно отмечать время полёта, а вертикальным — движение в заданном направлении. Так мы получим кривые линии, обозначающие перемещение объектов в воздухе. А линии, проведённые по касательной к кривой, укажут на скорость скорости. Так можно измерить всё что угодно, составить карту этих измерений, как будто бы переходя из комнаты в

комнату. Каждая комната имеет различный объём, как колбы, в зависимости от того, насколько они широки и высоки. То есть, как далеко и за какой отрезок времени. Количество движения, понимаете? Бушель движения, драхма.

— Полёт пушечного ядра можно описать досконально, — заметил Калид.

— Да. Легче, чем во многих других случаях, потому что ядро следует по одной линии. Да, изогнутой линии, но это не полёт орла или, скажем, ежедневный маршрут обычного человека. Математически это было бы… — Иванг ушёл в себя, встрепенулся и вернулся к ним. — О чём я говорил?

— О пушечных ядрах.

— Ах, да. Их движение легко измерить.

— То есть, если знать скорость, с которой ядро покидает пушку, и угол её наклона…

— Именно. Можно довольно точно предсказать, где оно приземлится.

— Нужно рассказать об этом Надиру при частном разговоре.

Калид собрал все таблицы для расчёта пушечного огня с искусно выведенными кривыми, описывающими траекторию ядра, взял небольшую книжечку с вычислениями Иванга, заполненную

его аккуратным почерком, и сложил всё это в резную шкатулку из железного дерева[21], богато инкрустированную серебром, бирюзой и ляпис-лазурью. Шкатулку доставили в ханаку Бухары вместе с восхитительной дамасской кирасой для хана. На стальном прямоугольнике в центре нагрудного панциря красовались размашистые росчерки из белой и серой стали, вперемешку с железными крапинками, едва заметно вытравленными после обработки серной кислотой и другими едкими веществами. Этот узор Калид называл «Зеравшанскими водоворотами», и действительно, узор напоминал стоячий водоворот, возникающий у основания Дагбитского моста всякий раз, когда река разливалась высоко. Кованых изделий красивее этого Бахрам не видел в своей жизни, и он решил, что из кирасы и драгоценной шкатулки, наполненной Иванговыми формулами, выйдут впечатляющие подарки для Сайеда Абдул-Азиза.

Они с Калидом нарядились в самое лучшее, готовясь к аудиенции, и Иванг присоединился к ним, одетый в бордовую мантию и остроконечный колпак тибетского монаха — более того,

[21] Примечания: 21

Одна культура из группы с тяжёлой и твёрдой древесиной, которая обычно тонет в воде (*прим. ред.*).

ламы высочайшего ранга. Дарители выглядели не менее презентабельно, чем их дары, думал Бахрам; но когда на площади Регистан Бахрам ступил под огромную золочёную арку медресе Тилля-Кари, он немного сдулся. А в окружении знати показался себе блёклым, чуть ли не оборванцем, как будто они были детьми, заигравшимися в дворян, и попросту деревенщинами.

Однако хан пришёл в восторг от кирасы и высоко оценил мастерство Калида, и даже надел доспех поверх своего наряда, да так и оставил. Шкатулкой он тоже залюбовался, передав её содержимое Надиру.

Через несколько минут их отпустили, и Надир повёл их в сад Тилля-Кари. Он изучил диаграммы и признал, что они действительно представляют интерес; он хотел разобраться в них подробнее, однако оружейники доложили хану, что вырезание желобов внутри пушечных стволов привело к тому, что одна из пушек взорвалась во время залпа, а остальные потеряли в дальности. Теперь Надир хотел, чтобы Калид заглянул к оружейникам и решил с ними этот вопрос.

Калид невозмутимо кивнул, хотя Бахрам увидел задумчивость в его глазах: снова его оторвут от того, чем он хотел заниматься. Надир этого не

заметил, хотя не сводил с лица Калида внимательного взгляда. Он продолжил, бодро сообщая, как высоко хан ценит великую мудрость и мастерство Калида и как сильно будут обязаны ему подданные ханства и всего дар аль-ислама, если его труд, что теперь казалось весьма вероятным, поможет им предотвратить дальнейшие посягательства китайцев на их империю, которые якобы уже подбирались к её западной границе. Калид вежливо кивнул, и их отпустили восвояси.

Возвращаясь обратно по речной дороге, Калид сердился.

— Эта поездка ничего не дала.

— Это пока неизвестно, — возразил Иванг, и Бахрам кивнул.

— Известно. Хан такой… — он вздохнул. — А Надир явно считает нас своими слугами.

— Все мы слуги хана, — напомнил ему Иванг.

Это заставило Калида замолчать.

Возвращаясь в Самарканд, они проходили мимо руин древнего Афрасиаба.

— Вот бы нам снова согдийского царя, — сказал Бахрам.

Калид покачал головой.

— Это руины Марканды, а не согдийских царей.

Марканда стояла здесь до Афрасиаба. Александр Македонский назвал её прекраснейшим городом, что он когда-либо завоёвывал.

— И что с ним стало теперь, — сказал Бахрам.

Пыль на древнем фундаменте, сломанные стены…

Иванг сказал:

— Когда-нибудь и Самарканд таким станет.

— И что же теперь, неважно, что мы у Надира на побегушках? — вспылил Калид.

— Во всяком случае, и это тоже пройдёт, — сказал Иванг.

Сокровища в небе

Надир требовал, чтобы Калид уделял ему всё больше и больше времени, и Калиду это начинало действовать на нервы. Однажды он отправился к Диванбеги с предложением по постройке комплексной системы сточных труб, проведённых под Бухарой и Самаркандом, чтобы сливать воду из множества стоячих водоёмов, которыми изобиловали эти два города, и в особенности Бухара. Это могло бы предотвратить загрязнение воды, снизить количество комаров в городах и восприимчивость к болезням, в том числе к чуме, которая, по сообщениям индуистских караванов, лютовала в некоторых регионах Синда. Калид предложил изолировать путешественников за чертой города всякий раз, когда такое будет случаться, и задерживать караваны, прибывающие из заражённых регионов, пока их здоровье не подтвердится. Очищение в ожидании, аналогичное духовному очищению во время Рамадана.

Но Надир отмахнулся от всех этих предложений. Система подземных труб, которыми пользовались ещё персы до нашествия монголов, теперь стоила слишком дорого. От Калида жда-

ли военной помощи, а не медицинской. Надир сомневался, что тот сколько-нибудь понимает в медицине.

Поэтому Калид вернулся на мануфактуру и согнал всех рабочих корпеть над ханскими пушками, превращая каждый аспект их устройства в публичные демонстрации, бросив попытки разобраться в первопричинах, как он их называл, лишь иногда случайно узнавая что-то новое о движении. Он работал с Ивангом над прочностью металла, использовал его расчёты для изучения полёта ядра и разными способами пытался заставить пушечные ядра вращаться в полёте, но чтобы без взрывов.

Всё это делалось неохотно и с дурным настроением; и только ближе к вечеру, вздремнув и подкрепившись йогуртом, или к ночи, раскурив кальян, он приходил в себя и хватался за исследования мыльных пузырей и призм, воздушных насосов и ртутных чаш.

— Если можно измерить вес воздуха, значит можно измерить и тепло, вплоть до температур, далеко превосходящих те, которые мы различаем по своим волдырям и охам.

Надир ежемесячно посылал к нему своих людей за последними новостями об исследованиях,

а время от времени появлялся сам, без предупреждения, погружая мастерские в хаос, как муравейник, облитый водой. Калид был неизменно вежлив, но потом горько жаловался Бахраму на постоянные требования новостей, особенно он жаловался потому, что новостей было мало.

— Я уж думал, что избавился от лунного проклятия, когда у Федвы наступила менопауза, — ворчал он.

По иронии судьбы, эти нежеланные визиты лишили его союзников в медресе, поскольку все считали его фаворитом казначея, а он не мог рисковать и объяснять всем реальное положение дел. Поэтому на базаре и в мечети в него летели холодные взгляды и обидные слова, а многие и отчаянно лебезили. Он раздражался, иногда даже впадал в приступы праведной ярости.

— Получи хоть немного власти, и ты увидишь, как ужасны люди.

Чтобы не дать ему снова погрязнуть в чёрной меланхолии, Бахрам выискивал в караван-сараях вещи, которые могли бы ему приглянуться, особенно часто посещая индусов и армян, но и китайцев тоже, и возвращался с книгами, компасами, часами или занятной раздвижной астролябией, на которой орбиты шести планет

были вписаны в многоугольники, каждый из которых отличался от соседнего на одну грань, так что Меркурий вращался внутри десятиугольника, Венера — внутри девятиугольника, в который едва помещался десятиугольник, Земля — внутри восьмиугольника снаружи девятиугольника, и так далее, вплоть до Сатурна, кружившего в большом квадрате. Вещица поразила Калида настолько, что по ночам он стал вести дискуссии с Ивангом и Захаром о расположении планет вокруг Солнца.

Новоприобретённый интерес к астрономии быстро вытеснил все остальные и перерос в главную страсть Калида, после того как Иванг принёс ему любопытное устройство, которое соорудил в своей мастерской: длинную, полую серебряную трубу со стеклянными линзами на обоих концах. Когда ты глядел в трубу, вещи казались ближе, чем были на самом деле, а их детали — более отчётливыми.

— Как это работает? — спросил Калид, посмотрев в трубу.

От изумления его лицо приняло забавное и искреннее выражение, напомнив кукольное. Бахраму было радостно видеть его таким.

— Как призма? — неуверенно предположил

Иванг.

Калид покачал головой.

— То, что предметы кажутся больше и ближе, это понятно, но почему мы видим всё в таких деталях! Как такое возможно?

— Детали, должно быть, всегда на свету, — сказал Иванг. — Но глаз слишком слаб и различает только малую их часть. Я и сам удивлён, признаюсь, но посудите сами, большинство людей с возрастом начинают хуже видеть, особенно вблизи. И я не стал исключением. Я изготовил свой первый комплект линз, по одной для каждого глаза, чтобы вставить в оправу и сделать себе очки. И пока я собирал эту конструкцию, я посмотрел через две линзы, сложенные друг за другом, — он усмехнулся, изображая свои действия. — Честно говоря, мне хотелось убедиться, что вы оба увидите то же, что и я. Я не мог поверить своим глазам.

Калид снова взглянул в трубу.

И они стали смотреть на всё вокруг. Далёкие горные хребты, парящие птицы, идущие издалека караваны. Надиру показали это стекло, и он сразу оценил его военный потенциал. Он отнёс одну трубу, инкрустированную гранатами, к хану, и позже им сообщили, что хан остался дово-

лен. Давление ханства на Калида от этого, увы, не уменьшилось, напротив, Надир упомянул мимоходом, что хан с нетерпением ждёт следующих удивительных открытий из мастерских Калида, тем более что среди китайцев сейчас царил разлад. И кто знает, чем это могло закончиться.

— Это никогда не кончится, — с горечью подытожил Калид, когда Надир ушёл. — Это петля, которая с каждым нашим движением затягивается всё туже.

— Скармливай ему свои открытия по кусочкам, — предложил Иванг. — Пусть кажется, что их больше, чем есть на самом деле.

Калид последовал его совету и выиграл себе немного времени, продолжая работать над всевозможными приспособлениями, которые могли бы помочь войскам хана в сражении. Своему главному интересу, первопричинам всего, Калид предавался главным образом по ночам, когда они наводили подзорную трубу на звёзды, а позже и на Луну, оказавшуюся скалистым, каменистым и пустынным миром в бесчисленных кратерах, словно некая сверхдержава обстреляла её из пушек. А в одну памятную ночь они посмотрели в подзорную трубу на Юпитер, и Калид воскликнул:

— Клянусь Богом, и это тоже отдельный мир! Перехваченный обручем по широте… а это, взгляните, эти три звезды рядом с ним, они ярче всех остальных звёзд. Могут ли это быть луны Юпитера?

Могли. Они быстро вращались вокруг Юпитера, и быстрее всех те, что были к Юпитеру ближе, точно так же, как планеты вокруг Солнца. Вскоре Калид и Иванг увидели четвёртый спутник и зарисовали все четыре орбиты, чтобы показывать будущим наблюдателям, подготавливая их тем самым к невероятному зрелищу. Они сделали из этого книгу и преподнесли хану ещё один подарок — подарок, бесполезный для ведения войны, но они назвали луны Юпитера в честь четырёх главных жён хана, и это ему, несомненно, понравилось. Говорили, что он сказал на это: «Сокровища в небе! Мои сокровища!»

Кто здесь посторонний

Некоторые городские коалиции их недолюбливали. Когда Бахрам шагал по Регистану, он замечал, как его провожают взгляды, как с его появлением смолкают люди или начинаются разговоры; он понимал, что считается членом клики, или коалиции, каким бы безобидным ни было его поведение. Он был роднёй Калиду, который союзничал с Ивангом и Захаром, и вместе они примыкали к ближнему кругу Надира Диванбеги. И потому все считали их наперсниками самого Надира, хотя тот и принудил их к сотрудничеству силой, как будто вминая древесную жижу в бумажный пресс, — и они ненавидели его за это. Многие в Самарканде ненавидели Надира, кто-то наверняка даже больше, чем Калид, поскольку Калид хотя бы находился под его протекцией, в то время как другие имели с ним личные счёты: кто-то приходился родственниками его врагам, мёртвым, пленённым или изгнанным, а кто-то, возможно, проиграл ему в былых дворцовых интригах. У хана были и другие советники — придворные, генералы, родственники при дворе — и все они завидовали положению Надира и его

огромному влиянию. До Бахрама порой доходили слухи о том, что во дворце против него плетут интриги, но подробностей он не знал. То, что их вынужденное общение с Надиром могло опосредованно навредить им, казалось ему ужасно несправедливым: это знакомство и без того доставляло им немало проблем.

Однажды чувство, что они окружены скрытыми врагами, получило весьма конкретное подтверждение: Бахрам был в гостях у Иванга, когда в дверях лавки тибетца появились два кади, которых Бахрам никогда раньше не видел, в сопровождении двух ханских солдат и группки улемов из медресе Тилля-Кари с требованием, чтобы Иванг предъявил свои налоговые квитанции.

— Я не зимми, — сказал Иванг с привычным спокойствием.

Зимми, граждане пакта, были теми неправоверными, кто родился и всю жизнь прожил в ханстве, они облагались отдельным налогом. Ислам был справедливой религией, в которой все мусульмане равны перед Богом и законом; но из людей «второго сорта», женщин и рабов только зимми могли изменить свой статус простым решением перейти в истинную веру. Да,

история помнит времена, когда всем язычникам приходилось выбирать между книгой и мечом, и только книжникам — евреям, зороастрийцам, христианам и сабианам — позволялось не менять религию, если они на том настаивали. Теперь же всем язычникам дозволялось оставаться в своей вере, если они состояли на учёте у кади и платили ежегодный налог зимми.

Всё это было известно и в порядке вещей. Однако с тех пор как трон в Иране заняли шиитские Сефевиды, положение зимми заметно ухудшилось — преимущественно в самом Иране, где шиитские муллы слишком заботились о чистоте, но порой доставалось и зимми в восточных ханствах. Всё на усмотрение правителя. Как однажды заметил Иванг, неопределённость сама по себе была частью налога.

— Не зимми? — удивлённо переспросил один кади.

— Нет, я родом из Тибета. Я — мустамин.

Мустаминами назывались приезжие с разрешением на проживание в мусульманских землях в течение определённого периода времени.

— У вас есть аман?

— Да.

Это был документ, который выдавался муста-

мину и требовал ежегодного продления ханакой. Иванг принёс из соседней комнаты лист пергамента и показал его кади. Внизу документа стояло несколько восковых печатей, которые кади внимательно изучил.

— Он здесь уже восемь лет! — возмутился один. — Это больше, чем позволяет закон.

Иванг безразлично пожал плечами.

— Я получил продление этой весной.

Повисло тяжёлое молчание, пока кади перепроверяли печати на документе.

— Мустамину не разрешается владеть собственностью, — заметил кто-то.

— Вы хозяин этой лавки? — в очередной раз удивился старший кади.

— Нет, — ответил Иванг. — Разумеется, нет. Я снимаю её в аренду.

— Помесячно?

— Погодно. Обновляю аман и продлеваю договор аренды.

— Откуда вы родом?

— С Тибета.

— У вас там дом?

— Да. В Иванге.

— Семья?

— Братья и сёстры. Жён и детей нет.

— И кто проживает в вашем доме?

— Сестра.

— Когда вы возвращаетесь?

Короткая пауза.

— Пока не знаю.

— Другими словами, возвращаться в Тибет вы не планируете?

— Нет, я планирую вернуться. Но… дела здесь идут хорошо. Сестра присылает мне серебро, я делаю из него украшения и прочее. Это Самарканд.

— И дела здесь всегда будут хороши! Зачем же вам уезжать? Становитесь зимми, получайте постоянное гражданство как неправоверный подданный хана.

Иванг пожал плечами и лишь кивнул на бумаги. Бахраму пришло в голову, что такое положение дел в ханстве было заслугой Надира и почерпнуто оно из самого сердца ислама: закон есть закон. Документ защищал как зимми, так и мустамина, каждого по-своему.

— Он даже не книжник, — заметил один из кади с негодованием.

— Мы в Тибете читаем много книг, — спокойно ответил Иванг, делая вид, что не понял его.

Кади оскорбились.

— Какую религию вы исповедуете?

— Я буддист.

— Значит, вы не верите в Аллаха, вы не молитесь Аллаху?

Иванг не ответил.

— Буддисты — многобожники, — сказал кто-то. — Вроде язычников, которых Мухаммед обратил в Аравии.

Бахрам вышел перед ними.

— «Нет принуждения в религии», — горячо произнёс он. — «У вас — ваша вера, а у меня — моя вера». Так нам говорит Коран!

Гости наградили его холодными взглядами.

— Ты что же, не мусульманин? — спросил один.

— Я мусульманин! И вы бы это знали, если бы посещали мечеть Шердор! Я никогда вас там не видел, где вы молитесь в пятницу?

— В мечети Тилля-Кари, — ответил кади, начиная злиться.

— Очень интересно, ведь в медресе Тилля-Кари собирается шиитский кружок, выступающий против Надира.

— «Аль-куфу миллатун вахида», — сказал один из них.

Контраргумент, как называли это теологи. Все неверующие принадлежат к одной религии.

— Только дигараз может обратиться с жалобой в суд, — огрызнулся Бахрам. «Дигаразами» назывались те, кто говорит без злобы и желчи, непредвзятые мусульмане. — Ты не подходишь.

— Вы тоже, юноша.

— А ну-ка, послушайте! Кто вас прислал? Вы идёте поперёк закона об амане, кто дал вам на это право? Убирайтесь! Вы даже не представляете, как много этот человек делает для Самарканда! Ваши выпады — выпады в адрес самого Сайеда Абдула, самого ислама! Убирайтесь вон!

Кади не двинулись с места, но в их глазах сверкнула настороженность.

— Поговорим будущей весной, — пообещал старший кади, бросив последний взгляд на аман Иванга.

Махнув рукой, точь-в-точь как хан, он вышел на узкую базарную улочку, и остальные последовали за ним.

Долгое время товарищи молча стояли в лавке, чувствуя неловкость. Наконец Иванг вздохнул.

— Разве Мухаммед не писал законов о том, как нужно обращаться с людьми в дар аль-исламе?

— Законы писал Бог. Мухаммед только пересказал их.

— Все свободные мужчины равны перед зако-

ном. Женщины, дети, рабы и неверующие — равны чуть меньше.

— Они тоже равны, просто у них есть свои особые права, защищённые законом.

— Не так много прав, как у свободных мусульман.

— Они слабее, и потому их права не так обременительны. Все они находятся под защитой свободных мусульман, соблюдающих Божьи законы.

Иванг поджал губы. Наконец он сказал:

— Бог — это сила, наполняющая всё. Это форма, которую принимают вещи в движении.

— Бог — это любовь, наполняющая всё, — согласился Бахрам. — Так говорят суфии.

Иванг кивнул.

— Бог — математик. Великий и тонкий математик. Как наши тела рядом с грубыми печами и перегонными кубами вашей мануфактуры, так божья математика рядом с нашей математикой.

— Так ты согласен, что Бог есть? Я думал, Будда отрицал существование Бога.

— Я не знаю. Пожалуй, некоторые буддисты скажут тебе, что Бога нет. Бытие возникает из пустоты. Сам я не знаю, что и думать. Если всё сущее объемлет одна лишь пустота, то откуда берётся

математика? Сдаётся мне, она могла возникнуть лишь как результат чьей-то мысли.

Бахраму было неожиданно слышать это от Иванга. И он не понимал до конца, насколько искренне говорил Иванг, учитывая состоявшийся только что разговор с кади из Тилля-Кари. Хотя его слова имели смысл, ведь невозможно представить, чтобы такая сложная и восхитительная вещь, как наш мир, могла быть сотворена без участия великого и любящего Бога.

— Приходи в суфийскую общину и послушай, что говорит мой учитель, — сказал наконец Бахрам и улыбнулся, представив большого тибетца в их кружке.

Учителю он наверняка понравится.

Бахрам возвращался домой через караван-сарай у западной границы, где разбили лагерь индуистские торговцы, пахнущие ладаном и молочным чаем. Бахрам выполнил поручение Калида, купив для него благовония и мешочки с кальцинированными минералами, а затем увидел Дола, приятеля из Ладаха, присоединился к нему, сел рядом, и некоторое время они пили чай, а потом перешли на ракси, и Бахрам разглядывал его подносы со специями и маленькими бронзовыми статуэтками тонкой работы. Он указал

на фигурки.

— Это ваши боги?

Дол посмотрел на него удивлённо и весело.

— Некоторые из них — боги, да. Вот Шива, вот Кали-разрушительница, вот Ганеша.

— Бог в виде слона?

— Так мы его изображаем. Но они могут принимать и другие формы.

— Но слон?

— Ты когда-нибудь видел слона?

— Нет.

— Это внушительные создания.

— Я знаю, что они большие.

— Дело в другом.

Бахрам отхлебнул чаю.

— Мне кажется, Иванг может принять ислам.

— Проблемы с аманом?

Дол рассмеялся, увидев выражение лица Бахрама, и протянул ему кувшин с ракси.

Бахрам послушно выпил, но затем продолжил:

— Думаешь, так можно? Менять веру?

— Многие меняли.

— А ты мог бы? Мог бы сказать, что есть только один Бог? — жестом он показал на статуэтки.

Дол улыбнулся.

— Все они — части Брахмы. Великий бог Брахма

стоит за всем, и всё в нём едино.

— Выходит, и Иванг может изменить веру. Возможно, он уже верит в единого Бога, Бога всех Богов.

— Возможно. Разным людям Бог показывается по-разному.

Бахрам вздохнул.

Зловредный воздух

Бахрам только вошёл в ворота их комплекса и собирался рассказать Калиду о происшествии у Иванга, как двери химической мастерской распахнулись и оттуда высыпали люди, а за ними — кричащий Калид, удиравший от густого облака жёлтого дыма. Бахрам повернул и бросился к дому, чтобы забрать Эсмерину и детей, но они уже выскочили на улицу и бежали к воротам, и Бахрам побежал вместе с ними. Люди кричали, а потом, когда облако накрыло их с головой, упали на землю и поползли, как крысы, кашляя, хрипя, отхаркивая и рыдая. Они скатились по склону холма; в глотках и глазах горел пожар, лёгкие ныли от едкого запаха ядовитого жёлтого облака. Почти все последовали примеру Калида и с головой окунулись в реку, выныривая лишь для того, чтобы сделать несколько быстрых вдохов, а затем снова спрятаться в воду.

Когда облако рассеялось, Калид немного пришёл в себя и начал ругаться.

— Что это было? — сказал Бахрам, продолжая кашлять.

— Взорвался тигель с кислотой. Во время ис-

пытаний.

— Каких испытаний?

Калид не ответил. Постепенно едкая боль от ожогов на нежных мембранах стала затухать. Рабочие, промокшие и несчастные, возвращались на мануфактуру. Калид оставил несколько человек наводить порядок в мастерской, и Бахрам поплёлся за ним в его кабинет, где Калид переоделся и умылся, а затем записал что-то в своей большой тетради — скорее всего, результат неудачного опыта.

Однако он оказался не таким уж неудачным, как начал понимать Бахрам, прислушавшись к бормотанию Калида.

— Чего вы пытались добиться?

Калид отвечал уклончиво.

— Я уверен в том, что существуют разные виды воздуха, — сказал он вместо ответа. — Или он состоит из разных компонентов, как металлы. Только все они невидимы для глаза. Но иногда мы чувствуем эти различия через запахи. Иногда воздух может даже убить — например, на дне колодца. В этих случаях дело не в отсутствии воздуха, а в зловредной его разновидности, или его компонента. Несомненно, самого тяжёлого. По-разному очищен, по-разному горит… можно

как потушить огонь, так и разжечь… В общем, я подумал, что смешением аммиака, селитры и серы можно получить новый тип воздуха. Что и произошло, только слишком быстро, слишком интенсивно. Точно взрыв какой-то. К тому же ядовитый, — он смущённо кашлянул. — Это похоже на рецепт китайских алхимиков «вань-цзеньти», что, как говорит Иванг, в переводе означает «убийца мириад». Я хотел показать этот состав Надиру и предложить в качестве оружия. С его помощью можно истребить целую армию.

Они молча обдумали эту мысль. Бахрам сказал:

— Это помогло бы ему укрепить своё положение перед ханом.

Он пересказал сцену, свидетелем которой стал у Иванга.

— Так ты считаешь, у Надира неприятности при дворе?

— Да.

— И ты думаешь, Иванг может принять ислам?

— Во всяком случае, он задаёт вопросы.

Калид рассмеялся и мучительно закашлялся.

— Это будет странно.

— Люди не любят, когда над ними смеются.

— Что-то мне подсказывает, что Иванг был бы

не против.

— Ты знал, что так называется его родной город? Иванг?

— Нет. Серьёзно?

— Да. Так он сказал.

Калид пожал плечами.

— Выходит, мы не знаем его настоящего имени.

Ещё одно пожатие плечами.

— Никто из нас не знает своих настоящих имён.

Любовь, огромная, как мир

Сбор осеннего урожая наступил и прошёл, опустели караван-сараи, когда закрылись на зиму восточные горные дороги. Дни Бахрама стали полнее из-за присутствия Иванга в суфийском рибате, где он сидел у стены и внимательно слушал всё, что рассказывал старый учитель Али, почти не перебивая, разве только чтобы задать небольшой вопрос, например, уточнить значение того или иного слова. Суфии много оперировали словами арабского и персидского происхождения, и хотя Иванг хорошо владел тюркско-согдийским, богословский лексикон оставался для него тёмным лесом. В итоге учитель дал Ивангу словарь суфийских терминов, истирахат Ансари под названием «Сто полей и мест для отдохновения», введение которого заканчивалось фразой: «Истинная суть духовных состояний суфиев такова, что всякие слова бессильны их описать; тем не менее, эти слова абсолютно понятны тем, кто испытал эти состояния сам».

Бахрам чувствовал, что именно в этом и заключалась главная проблема Иванга: он никогда не испытывал описываемых состояний.

— Возможно, возможно, — соглашался Иванг, когда Бахрам говорил ему об этом. — Но как мне их достичь?

— Любовью, — отвечал Бахрам. — Ты должен полюбить всё сущее, и особенно людей. И ты увидишь, что именно любовь движет миром.

Иванг поджимал губы.

— С любовью приходит ненависть, — говорил он. — Это две стороны переизбытка чувств. Я предпочитаю любви сострадание, вот, по-моему, лучший выход. У сострадания нет обратной стороны.

— Безразличие, — предположил Бахрам.

Иванг кивнул, обдумывая это. И Бахрам не знал, сможет ли он когда-нибудь увидеть истину. Источником любви самого Бахрама, подобно крепкому горному роднику, стало его чувство к жене и детям, и к Аллаху, который подарил ему возможность делить жизнь с такими прекрасными душами: не только с ними тремя, но и с Калидом, и Федвой, и их роднёй, и всей мануфактурой, мечетью, рибатом, Шердором, да и всем Самаркандом, и всем белым светом, когда он чувствовал такую любовь. У Иванга не было такой отправной точки. Одинокий и бездетный, насколько знал Бахрам, вдобавок ещё и неверу-

ющий — как мог он испытать чувство всеобщей и неопределённой любви, если не знал любви конкретной?

«Сердце, которое сильнее разума, — не то сердце, что бьётся в груди». Так сказал бы Али. Ему нужно было открыть своё сердце Богу и позволить возникнуть в нём любви. Иванг уже научился быстро успокаиваться, замечать мир в минуты безмятежности, встречая рассветы во дворе после ночей, проведённых на кушетке в мастерской. Пару раз Бахрам присоединялся к нему в это время, а однажды золото в чистом безветренном небе вдохновило его прочитать стихи Руми:

Как тихо стало в доме сердца!
Сердце – очаг и дом –
Объемлет мир.

Иванг отозвался, только когда солнце уже вышло из-за восточных гор и залило долину сливочно-жёлтым светом. Он сказал:

— Неужели мир так велик, как говорил Брахмагупта?

— Он ведь говорил, что мир — это сфера?

— Да, конечно. Это хорошо видно в степях, когда первые головы каравана показываются из-за горизонта. Мы обитаем на поверхности большого

шара.

— Сердце Бога.

Иванг не ответил, только качнув головой. Это обычно означало, что Иванг не согласен, но не хочет не соглашаться. Бахрам не стал напирать и спросил, как оценивают размеры Земли индусы, потому что, судя по всему, теперь его интересовало именно это.

— Брахмагупта заметил, что в определённый день года солнце светит ровно в один из колодцев Декана, и на следующий год устроил так, чтобы быть в тысяче йоганд к северу от этого места; тогда он измерил угол теней и использовал сферическую геометрию, чтобы вычислить, какой процент окружности составляет эта дуга длиной в тысячу йоганд. Очень просто и очень интересно.

Бахрам кивнул; всё это, конечно, так, но они видят лишь малую толику этих йоганд, а здесь и сейчас Иванг нуждался в духовном просветлении. Или в любви. Бахрам пригласил его пообедать со своей семьёй, посмотреть, как Эсмерина накрывает на стол и учит детей манерам. Наблюдать за детьми было одно удовольствие: блестящие глаза казались огромными, когда они прерывали свои игры и нетерпеливо выслушивали наставления

Эсмерины. Их беготня по двору комплекса тоже приносила только радость. Иванг кивнул, глядя на это.

— Ты счастливый человек, — сказал он Бахраму.

— Мы все счастливые, — ответил Бахрам.

И Иванг согласился.

Богиня и закон

Параллельно с изучением религии Иванг продолжал проводить исследования и испытания с Калидом. Большая часть их изысканий была направлена на новые разработки для Надира и хана. Они разработали для ханского войска систему передачи сигналов на дальние расстояния с использованием зеркал и небольших телескопов; теперь они отливали пушки всё большего и большего размера, на огромных платформах для перевозки лошадиными или верблюжьими упряжками с одного поля боя на другое.

— Для этого понадобятся широкие дороги, — заметил Иванг.

Потому что даже Шёлковый путь на протяжении почти всей своей грандиозной длины представлял собой не что иное, как обычную верблюжью тропу.

Последнее из их личных исследований о природе вещей вращалось вокруг небольшого телескопа, который увеличивал предметы настолько маленькие, что они были не видны глазу. Астрономы из медресе Улугбека изобрели этот прибор, который фокусировался лишь на

очень узкой полосе воздуха так, чтобы полупрозрачные объекты, запечатанные между двумя стеклянными пластинами, освещались светом, отражённым снизу. И тогда прямо у них в руках возникали новые крошечные миры.

Трое мужчин часами смотрели в микроскоп на озёрную воду, в которой плавали странно сочленённые существа. Смотрели на тончайшие, до прозрачности, срезы с каменных плит, древесины и кости; на собственную кровь, которая оказалась полна сгустков, пугающе похожих на животных из воды.

— Мир становится меньше и меньше, — изумлялся Калид. — Если бы мы могли взять кровь у этих малюток из нашей крови и поместить её под линзу ещё более мощную, чем наша, уверен, что и их кровь содержала бы микроорганизмы точно так же, как наша, и в их крови оказались бы другие микроорганизмы, и так далее, вплоть до…

Он осёкся, и его взгляд подёрнулся восторженной поволокой. Бахрам никогда не видел его таким счастливым.

— Должен существовать какой-то наименьший возможный размер вещей, — практично рассудил Иванг. — Так утверждали древние греки. Исходные микрочастицы, из которых строится

всё остальное. Наверняка они так малы, что мы никогда их не увидим.

Калид нахмурился.

— Это только начало. В будущем наверняка придумают более сильные линзы. Кто знает, что мы увидим в них. Может быть, это наконец позволит нам понять состав металлов и осуществить трансмутацию.

— Может быть, — согласился Иванг. Он уткнулся в линзу прибора, напевая себе под нос. — Во всяком случае, кристаллики в граните отчётливо видны уже сейчас.

Калид кивнул и что-то записал в тетради. Потом снова обратился к микроскопу и сделал набросок того, что увидел.

— Очень малое и очень большое, — сказал он.

— Эти линзы — великий дар Бога, — сказал Бахрам, — напоминающий нам, что всё вокруг — это единый мир. Единая материя; пронизанная сложной структурой, но всё же единая во всём, от мала до велика.

Калид кивнул.

— Стало быть, и звёзды всё-таки могут оказывать на нас влияние. Возможно, звёзды — тоже животные, как эти создания под микроскопом, и нам нужно только рассмотреть их поближе.

Иванг покачал головой.

— Всё едино, конечно. С этим становится всё сложнее и сложнее спорить. Но не всё — живое. И звёзды могут быть больше похожи на камни, чем на эти удивительные создания.

— Звёзды — это огонь.

— Камни, огонь… только не животные.

— Но всё едино, — напомнил Бахрам.

И оба старика кивнули: Калид горячо, Иванг неохотно, гортанно что-то промычав.

С того дня Бахраму казалось, что Иванг всё время что-то мычит себе под нос. Он приходил на мануфактуру и присоединялся к Калиду в его испытаниях, посещал с Бахрамом рибат, слушал лекции Али и всякий раз, когда Бахрам приходил к нему в магазин, решал свои задачки или щёлкал влево-вправо китайскими счётами, он всё витал в облаках, мыча себе что-то под нос. По пятницам он приходил в мечеть, стоял за дверью и слушал молитвы и чтения, повернувшись лицом к Мекке и щурясь на солнце, но никогда не вставал на колени, не опускал головы и не молился сам — только мычал.

Бахрам думал, что ему не следует менять религию, даже если придётся уехать в Тибет на некоторое время и потом вернуться. Иванг, вне

всякого сомнения, мусульманином не был, и потому принимать ислам было бы неправильно.

И действительно, проходили недели, и он стал даже более чужим и незнакомым, чем ранее, более неправоверным; лично для себя он проводил небольшие опыты, как жертвоприношения религии света, магнетизма, пустоты или гравитации. Настоящий алхимик, но следующий восточной традиции, более странной, чем у любого суфия, как будто он не обращался к буддизму, но выходил за его пределы, возвращаясь к куда более древней религии Тибета — бон, как называл её Иванг.

Ту зиму они проводили в мастерской Иванга, протягивали руки к открытому печному горнилу, грея пальцы, торчащие из обрезанных перчаток, как младенчики; Иванг курил гашиш из трубки с длинным мундштуком, время от времени предлагая угоститься Бахраму, и так они сидели вдвоём, пока жаркую рыжину на дне печи не покрывала дрожащая плёнка золы. Однажды ночью, в сильную метель, Иванг вышел за дровами для растопки; Бахрам обернулся, заметив какое-то движение, и увидел, что у печки сидит старая китаянка в красном платье, с волосами, стянутыми в узел на макушке. Бахрам вздрогнул;

старуха повернула голову и посмотрела на него, и он увидел, что её чёрные глаза полны звёзд. Он свалился с табурета и ощупью поднялся на ноги, но старухи уже не было. Когда вернулся Иванг, Бахрам описал её, а Иванг пожал плечами и хитро улыбнулся:

— В этой части города старухи не редкость. Здесь живут бедняки, и среди них есть вдовы, которым приходится спать на голых полах в лавках покойных мужей, с молчаливого согласия новых хозяев, и всеми правдами и неправдами пытаться не допустить голод на свой порог.

— Но красное платье… её лицо… её глаза!

— Вообще-то, твоё описание очень похоже на богиню очага. Тому, возле чьей печи она появляется, очень повезёт.

— Не буду больше курить твой гашиш.

Иванг рассмеялся.

— Если бы дело было только в этом!

В другую морозную ночь, несколько недель спустя, Иванг постучался в ворота Калида и вошёл разгорячённый — другого человека на его месте можно было бы принять за пьяного — и воодушевлённый.

— Слушай! — воскликнул он, хватая Калида за укороченную руку и увлекая в его кабинет. — На-

конец-то я всё понял.

— Ты про философский камень?

— Нет, нет! Забудь эти пустяки! Единый закон, закон, стоящий над всеми остальными. Уравнение. Вот, смотри.

Он достал грифельную доску и принялся строчить на ней мелом алхимические символы, которыми они с Калидом решили обозначать величины, отличающиеся в разных условиях.

— Что вверху, то и внизу, как всегда говорит Бахрам. Всё притягивается ко всему остальному именно этим уровнем притяжения. Умножим две массы, притягивающие друг друга, разделим их на квадрат расстояния, на которое они отстоят друг от друга, умножим на скорость, с которой они удаляются от центрального тела, и получим силу притяжения. Вот… подставь сюда планеты, вращающиеся вокруг солнца, — всё сходится. Они движутся вокруг солнца по эллипсам, потому что притягиваются друг к другу, и в то же время отзываются на притяжение солнца, так что солнце находится в одном фокусе эллипса, а сумма всех остальных притяжений образует второй фокус, — он говорил, параллельно чертя мелом наброски, как одержимый, и Бахрам никогда не видел его таким взбудораженным. — Это

объясняет нестыковки в наблюдениях Улугбека. Формула подходит и для планет, и, конечно же, для звёзд в их созвездиях, и для полёта пушечного ядра над поверхностью земли, и для движения микроорганизмов в озёрной воде и в нашей крови!

Калид покивал в ответ.

— Это сила самой гравитации, выраженная математически.

— Да.

— Притяжение обратно пропорционально квадрату расстояния.

— Да.

— И это справедливо для всего вокруг.

— Думаю, так.

— И для света?

— Не знаю. Масса света наверняка слишком мала. Если она у него вообще есть. Но если так, то сколь бы мала она ни была, она притягивается ко всем остальным массам. Масса притягивает массу.

— И снова, — сказал Калид, — действие на расстоянии.

— Да, — Иванг улыбался. — Некий дух вселенной, возможно, проявляющийся через какого-то неведомого посредника. В гравитации, магнетиз-

ме, молнии.

— Невидимый огонь.

— Скорее, то же по отношению к огню, что мельчайшие организмы по отношению к нам. Неуловимая сила. Но от которой ничто не ускользает. Она везде. Мы окружены ею.

— Активный дух во всём сущем.

— Как любовь, — вставил Бахрам.

— Да, как любовь, — в кои-то веки согласился Иванг. — В том смысле, что без неё всё было бы мертво на Земле. Ничто бы не притягивалось и не отталкивалось, не циркулировало, не меняло форму и вовсе никак не жило, а просто покоилось, безжизненное и холодное.

И он улыбнулся во весь рот, сверкнув большими лошадиными зубами, и на его лоснящихся тибетских щеках проступили ямочки глубоких морщин:

— И вот мы здесь! Всё как и должно быть, понимаете? Всё движется, всё живет. И сила действует строго в обратной зависимости к расстоянию между телами.

— Интересно, поможет ли это нам преобразовать… — начал Калид, но его собеседники закончили за него, передразнивая:

— Свинец в золото! Свинец в золото!

— Всё уже и так золото, — сказал Бахрам, и глаза Иванга внезапно заблестели, словно богиня очага вселилась в него, и он притянул Бахрама к себе и крепко обнял, снова мыча про себя.

— Ты хороший человек, Бахрам. Очень хороший. Если я поверю в твою любовь, могу я остаться здесь? Сочтёшь ли ты святотатством, если я буду верить в гравитацию, любовь и единство всего сущего?

Неприятности с теориями, неприменимыми на практике

Дни Бахрама наполнились ещё большей суетой, чем прежде, что можно было сказать про всех на мануфактуре. Калид и Иванг продолжали обсуждать значение всеобщей формулы Иванга и проводить всевозможные эксперименты, либо проверяя её на истинность, либо исследуя связанные с ней задачи. Но их изыскания мало помогали Бахраму в кузнечном деле, потому как трудно, а то и невозможно применить эзотерические и глубоко математические дискурсы двух первооткрывателей к насущным проблемам литья более прочной стали и более мощных пушек. Для хана «больше» — значило лучше, и он был наслышан о новых пушках китайского императора, рядом с которыми казались игрушечными даже гигантские древние орудия, брошенные в Византии после чумных бедствий седьмого века. Бахрам пытался выдержать сравнение с этими мифическими пушками, но испытывал затруднения с отливкой, с транспортировкой, со стрельбой, когда от каждого залпа ствол пушки попросту

раскалывался. Калид и Иванг давали свои советы, но они не сработали, и Бахраму пришлось возвращаться к старому дедовскому методу проб и ошибок, который использовали металлурги в течение многих веков, вечно возвращаясь к одному: вот если бы только раскалить железо достаточно горячо, да правильно подобрать сырьё, вот тогда-то получится по-настоящему прочный сплав. И снова приходилось увеличивать силу речного тока, воздействующую на печи, чтобы нагреть их до температур, при которых жидкий металл раскалялся до слепяще-яркой белизны. Калид и Иванг наблюдали за этой сценой в сумерках и спорили до рассвета о причине такого яркого света, выделяемого из железа теплом.

И всё бы хорошо, но, независимо от того, сколько воздуха они вдували в угли очага, заставляя железо растекаться белым, как солнце, и жидким, как вода, если не жиже, готовые пушки шли трещинами так же быстро, как и раньше. А Надир появлялся без предупреждения, осведомлённый даже о самых последних результатах. У него явно были шпионы на мануфактуре, и его даже не волновало, знает ли об этом Бахрам. Может, он хотел, чтобы Бахрам знал. И он приходил и выражал своё недовольство. «Ещё, и поторапли-

вайтесь!» — говорили его глаза, даже когда слова убеждали в том, что хан доволен результатами и понимает, что они, конечно же, делают всё возможное. Он говорил: «Хан впечатлён силой математики, способной остановить китайских захватчиков», — и Бахрам безрадостно кивал в знак того, что понял намёк, даже если Калид старательно делал вид, что никакого намёка нет, и молчал, не спрашивая о продлении амана для Иванга следующей весной, думая, что сейчас не лучшее время взывать к благосклонности Надира, и возвращался в мастерскую пробовать заново.

Новый металл, новая династия, новая вера

Поэтому, с практической точки зрения, Бахрам заинтересовался тусклым серым металлом, который снаружи выглядел как свинец, а внутри как олово. Очевидно, в ртути содержался переизбыток серы, если на подобное описание металлов ещё можно было ссылаться, что стало заметно не сразу и поначалу не привлекало к себе внимания. Но во время экспериментов и небольших испытаний установили, что металл был менее хрупким, чем железо, более гибким, чем золото, и в целом оказался другим металлом, нежели те, о которых писали Ар-Рази и Ибн Сина. Новый металл! И он смешивался с железом, образуя такую сталь, которая, казалось, могла бы хорошо подойти для отлива пушечных стволов.

— Откуда мог взяться новый металл? — спрашивал Бахрам у Калида и Иванга. — И как его называть? Я не могу продолжать описывать его как «серое вещество».

— Металл не нов, — сказал Иванг. — Он всегда был здесь, среди остальных, но мы достигаем

температур, которых никто не достигал прежде, и металл проявляет себя.

Калид в шутку назвал его «золотосвинцом», но за неимением другого это название прижилось. И металл, который теперь добывали каждый раз, когда плавили синеватую медную руду, стал частью их арсенала.

Дни проходили в рабочей лихорадке. Слухов о войне на востоке стало больше. Говорили, что в Китае варвары снова устроили набег за Великую стену, свергнув прогнившую династию Мин и приведя гигантскую страну в состояние агрессии, которая теперь изливалась наружу и расходилась кругами на весь мир. На сей раз варвары пришли не из Монголии, а из Маньчжурии, расположенной к северо-востоку от Китая; таких искусных воинов ещё не видывал свет, и казалось вполне возможным, что они покорят и уничтожат всё на своём пути, включая исламскую цивилизацию, если ничего не будет сделано для обороны.

Так говорил народ на базаре, и Надир косвенно, в своей манере, подтвердил, что не всё спокойно; за зиму чувство надвигающейся опасности окрепло, и наступило время нового военного похода. Весна — время войны и чумы, двух самых сильных рук шестирукой смерти, как выразился

Иванг.

Бахрам эти месяцы трудился так, словно с востока всё время подступала страшная гроза, выйдя из-за горизонта и двигаясь против ветров, предвещая беду. Это мучительное состояние примешивалось к радостям, которые приносили ему его близкие, когда его дети носились по двору или ёрзали во время молитв, опрятно одетые Эсмериной, такие воспитанные, пока ничто не выводило их из себя, к чему и сын, и дочь испытывали склонность — и чем несказанно удивляли обоих родителей. Это было одной из главных тем их разговоров среди ночи, когда они просыпались, и Эсмерина отлучалась облегчиться, а вернувшись, снова снимала сорочку, и её груди серебрились в лунном свете, как дождевые капли, стекая по рёбрам и в руки Бахрама, и он согревал их в том убаюкивающем мире позднего секса, который был одним из прекраснейших сторон повседневности, избавлением от сна, грёзой тела, где больше тепла и любви, чем в любое другое время дня, так что иногда по утрам было трудно поверить, что это действительно происходило, что он и Эсмерина, такая строгая в одежде и манерах, Эсмерина, которая управляла женщинами за работой так же лихо, как Калид, который бывал

совершенным деспотом, и которая никогда не говорила с Бахрамом и не смотрела на него иначе, кроме как самым деловым образом, согласно всем правилам приличия, на самом деле перенеслась вместе с ним в другие миры, миры экстаза, глубокой ночью в их постели. По вечерам, глядя на неё за работой, Бахрам думал: любовь всё меняет. Всё же люди — такие же животные, Божьи твари, которые не слишком многим отличались от обезьян, и не было никакой реальной причины, почему грудь женщины не должна походить на коровье вымя, беспорядочно колыхающееся, когда она наклонялась вперёд и делала ту или иную работу, но любовь превращала их в сферы величайшей красоты, и то же было верно для всего мира. Любовь всё вводит в «состояние», и только в любви их спасение.

В поисках происхождения этого «золото-свинца» Калид перечитал некоторые наиболее содержательные из своих старых фолиантов и с интересом наткнулся на отрывок из древней классической «Книги свойств» Джабира ибн Хайяма, написанной в первые годы джихада, где Джабир называл семь металлов, а именно золото, серебро, свинец, олово, медь, железо и харсини, что означает «китайское железо»: тускло-серый

металл, серебряный после полировки, среди самих китайцев известный как «пайтун», или «белая медь». Китайцы, писал Джабир, делали из него зеркала, способные лечить глазные болезни тех, кто в них заглядывал. Калид, глаза которого слабели год от года, немедленно взялся изготовить зеркальце из имевшегося у них золотосвинца, чтобы проверить это. Джабир также писал, что из харсини получаются особенно мелодичные колокольчики, и потому Калид велел отлить из оставшегося у них металла колокольчики, чтобы послушать, будут ли они отличаться приятным тоном, и точнее идентифицировать металл. Все согласились, что колокольчики звенели очень мелодично; но зрение Калида после того как он посмотрел в металлическое зеркало, не улучшились.

— Будем звать его харсини, — сказал Калид и вздохнул. — Кто знает, что это такое. Ничего мы не знаем.

Но он продолжал экспериментировать, составляя подробнейшие комментарии после каждого опыта, много ночей напролёт и до самых рассветов, не смыкая глаз. Они с Ивангом продолжали заниматься наукой. Калид поручил Бахраму, Пахтакору, Джалилю и другим своим старым ма-

стеровым делать новые телескопы, микроскопы, барометры и насосы. Мануфактура стала местом, где их познания в металлургии и механике объединялись, наделяя их великой силой творить новые вещи; если они могли что-то вообразить, они могли сделать и первое примерное подобие этого. Каждый раз, когда старым ремесленникам удавалось сделать молды и инструменты более точными, это ещё ненамного приближало их к идеалу, и таким образом, по мере того как они прогрессировали, всё, от тонких часовых механизмов до массивных водяных мельниц и пушечных стволов, продолжало совершенствоваться. Разобрав персидский ткацкий станок для ковров, Калид изучил мелкие металлические детали и заметил Ивангу, что, если оставить реечный механизм устройства, а крючки заменить на последовательность штампов в виде букв, которые можно покрыть чернилами и затем прижать к бумаге, таким образом сразу заполнив текстом целую страницу, и повторить процесс столько раз, сколько потребуется, книги станут таким же обычным делом, как пушечные ядра. А Иванг рассмеялся и сказал, что тибетские монахи именно с этой целью вырезали чернильные доски, но идея Калида была лучше.

Иванг тем временем бился над своими математическими задачами. Однажды он сказал Бахраму:

— Только бог мог бы такое выдумать, а затем использовать, чтобы воплотить целый мир! Если мы выявим хотя бы миллионную его часть, то сможем узнать больше, чем знали все живые существа за всю многовековую историю, и своими глазами увидеть божественное начало.

Бахрам неуверенно кивнул. Он уже решительно не хотел, чтобы Иванг принимал ислам. Это казалось нечестным и по отношению к Богу, и по отношению к Ивангу. Он знал, что его чувство эгоистично, и знал, что Бог обо всём позаботится. Так и оказалось, поскольку Иванг перестал приходить в мечеть по пятницам и на богословские лекции в рибат. Бог, или Иванг — или они вместе — прислушались к Бахраму. Веру нельзя подделать, и нельзя использовать в мирских целях.

Дракон вгрызается в мир

Теперь, когда Бахрам захаживал в караван-сарай, он постоянно слышал тревожные истории с востока. Повсюду царила сумятица: новой правящей китайской династией овладели захватнические настроения. Маньчжурский император, будучи узурпатором, остался недоволен состоянием ветхой и угасающей империи, которую покорил, но твёрдо намерился придать ей сил новыми завоеваниями, включив в свои границы богатые рисовые царства на юге (Аннам, Сиам и Бирму), а также выжженные пустоши в сердце мира, пустыни и горы, отделяющие Китай от исламского мира, пересечённые нитями Шёлкового пути. Преодолев же пустошь, они вторгнутся в Индию, исламские ханства и империю савафидов. В караван-сарае поговаривали, что Яркенд и Кашгар уже взяты, — очень может быть, учитывая, что десятилетиями их оборону держали остатки минских гарнизонов и полководцы-отщепенцы. Только Таримская впадина лежала между Бухарским ханством и этими пустошами, да горы Ферганы, которые и то в паре мест пересекал Шёлковый путь. А куда идут караваны,

безусловно, пройдут и знамёна.

Вскоре так и случилось. Пришло известие, что маньчжуры заняли перевал Торугарт, наивысшую точку одного из торговых путей между Ташкентом и пустыней Такла-Макан. Ход караванов с востока будет прерван на неопределённое время, а это означало, что Самарканд и Бухара превратятся из центрального узла всей мировой коммерции в практически бесполезный тупик. Для торговли это была катастрофа.

С такими новостями прибыла последняя группа караванщиков: армяне, зотты, евреи и индусы. Им пришлось спасаться бегством и бросить весь свой товар. Похоже, и Джунгарские Ворота, расположенные между Синьцзяном и казахской степью, тоже были на грани взятия. Как только новость облетела караван-сараи, окружавшие Самарканд, большинство стоявших в нём караванов изменили свои планы. Многие решили вернуться во Франгистан, который, хоть там и не утихали внутренние конфликты тайф, по крайней мере полностью принадлежал мусульманам, а мелкие ханства, эмираты и султанаты не прекращали торговли друг с другом даже во время войн.

Подобные решения не могли не нанести Са-

марканду непоправимого ущерба. Как конечный пункт назначения город был просто краем дар аль-ислама и ничего собой не представлял. Надир был обеспокоен, хан — в ярости. Сайед Абдул-Азиз дал приказ отвоевать Джунгарские Ворота и послать армию на защиту Хайберского перевала, чтобы сохранить торговые отношения хотя бы с Индией.

Надир, сопровождаемый вооружённой охраной, кратко изложил эти приказы Калиду и Ивангу. Он обрисовал ситуацию так, словно в этом была вина Калида. В конце визита он сообщил им, что Бахрам, его жена и дети поедут вместе с Надиром в ханаку в Бухаре. Их отпустят в Самарканд только тогда, когда Калид и Иванг изобретут оружие, способное победить китайцев.

— Никто не запрещает им принимать гостей во дворце. Вы можете навещать их или даже поселиться с ними, хотя мне кажется, что вам будет удобнее работать отсюда, где в вашем распоряжении остаются все ваши мастера и техника. Если бы я посчитал, что вам удобнее работать во дворце, я бы и вас туда поселил, поверьте.

Калид сверкнул на него глазами, ничего не говоря, чтобы в запале гнева не поставить их

всех под удар.

— Иванг поживёт здесь, с тобой, так как я считаю, что здесь он принесёт наибольшую пользу. Ему продлят аман заблаговременно, в знак признания его роли в решении вопросов государственной важности. Покидать страну ему запрещается. Не то чтобы он смог: дракон, проснувшийся на востоке, уже проглотил Тибет. Вы можете гордиться тем, что на вас возложено ярмо такой праведной миссии.

Он бросил взгляд и на Бахрама.

— Мы позаботимся о твоей семье, а ты позаботишься о деле. Можешь жить во дворце с ними или помогать работе здесь, как тебе будет угодно.

Бахрам кивнул, потеряв дар речи от негодования и страха.

— Я буду совмещать, — выдавил он, глядя на Эсмерину и детей.

И всё перестало быть нормальным.

Жизнь многих меняется вот так: внезапно и навсегда.

Божественное оружие

Сочувствуя Бахраму, Калид и Иванг превратили весь комплекс в оружейный склад, и отныне все испытания и исследования посвящали сугубо увеличению военной мощи ханства. Крепкие пушки, легковоспламеняемый порох, вращающиеся ядра, «убийца мириад», а также огнестрельные таблицы, протоколы снабжения, зеркальные алфавиты для сообщения на больших расстояниях — всё это и многое другое производили они, пока Бахрам половину времени проводил в ханаке с Эсмериной и детьми, а половину — на мануфактуре и Бухарская дорога стала ему знакома, как тропки на собственном дворе, так часто он путешествовал по ней, в любое время дня и ночи, иногда засыпая верхом на лошадях, знавших дорогу вслепую.

Они ощутимо усилили военное оснащение ханства; точнее, усилили бы, если бы командиры армии Сайеда Абдула исполняли указания Калида, а Калиду хватило бы терпения научить их, но обе стороны были слишком упрямы, чтобы пойти на уступки, и хотя Бахрам видел в этом стратегическую ошибку Надира, который не поставил

вопрос ребром и не приказал своим генералам подчиниться Калиду, а также не потратил больше денег из казны на найм солдат с большим опытом, никто ничего не предпринимал. Даже силы великого Надира Диванбеги, которые сводились, в сухом остатке, к его влиянию на хана, были не безграничны. Другие советники давали хану другие советы, и вполне возможно, что власть Надира действительно ослабла именно в тот момент, когда она была наиболее необходима, даже несмотря на изобретения Калида и Иванга — или, как знать, как раз из-за них. Хан никогда не славился своим здравым смыслом. А возможно, и его карманы были не так глубоки, как это казалось в те дни, когда базары, караван-сараи и стройки гудели ульями и платили налоги.

Так, видимо, решила и Эсмерина, хотя Бахраму приходилось полагаться в основном на её взгляды и молчание, чтобы сделать такой вывод. Ей казалось, что за ними постоянно наблюдают, даже в часы без сна глубокими ночами, что было страшной мыслью. Дети, попав во дворец, словно провалились в сон, навеянный «Тысячей и одной ночью», и Эсмерина никак их в этом не разубеждала, хотя, конечно, понимала, что они были здесь пленниками и могли проститься с

жизнью в любой момент, если бы у хана внезапно испортилось настроение из-за того, как шли дела у Калида, или на востоке, или где-нибудь ещё. Поэтому, естественно, она старалась не говорить ничего предосудительного и только благодарила за то, как сытно их кормят, как ласково с ними обращаются и как они с детьми ни в чём не знают нужды. И только её взгляд, когда они оставались наедине, говорил Бахраму, как ей страшно и как она хочет поторопить его в исполнении желаний хана.

Калид, конечно же, всё понимал и без взглядов дочери. Бахрам видел, что он всё больше и больше выкладывается ради укрепления военной мощи хана, не только корпя над производством оружия, но и добиваясь расположения наиболее уступчивых полководцев, намёками или напрямик выдвигая свои предложения по всем вопросам, начиная с реконструкции городских стен, в соответствии с результатами его испытаний прочности земляных насыпей, и заканчивая планами рытья колодцев и дренажной системы в Бухаре и Самарканде. На теоретические опыты в этих попытках пришлось махнуть рукой, тратить время на ворчание тоже не приходилось. Но успехи были непостоянны.

По городу, как летучие мыши, разлетелись слухи, застилая дневной свет. Маньчжурские варвары захватили Юньнань, Монголию, Чам, Тибет, Аннам и восточные границы Могольской империи; каждый новый день они оказывались где-то ещё, где-то ближе. Ни одному из этих заявлений не было подтверждения — напротив, зачастую они опровергались либо прямым противоречием, либо тем фактом, что из некоторых этих регионов продолжали прибывать караваны и купцы говорили, что не видели ничего необычного, хотя и до них доходили слухи. Ничего не было известно наверняка, кроме того, что на востоке неспокойно. Караваны явно стали приходить реже, и прибывали с ними не только торговцы, но и целые семьи, мусульманские, еврейские или индуистские, в страхе бежавшие от новой династии, получившей название Цин. Вековые иностранные поселения таяли, как иней на солнце, и беженцы устремлялись на запад в надежде, что в дар аль-исламе, под моголами, или османами, или в султанатах тайфы, им будет лучше. И наверняка они были правы, поскольку ислам чтил законы, но Бахрам видел горе, написанное на их лицах, нужду и страх, потребность скитаться и выпрашивать еду, потому что их торговые

запасы уже истощились, а необъятная западная половина мира всё ещё лежала впереди.

Хорошо хоть то, что эта половина принадлежала мусульманам. Но посещение караван-сараев, в которых Бахрам когда-то так любил проводить время, теперь вызывало в нём тревогу и страх, такие же острые, как желание Надира, чтобы Калид и Иванг преуспели в обороне ханства от вторжения.

— Не мы замедляем события, — ожесточённо сказал Калид как-то поздно вечером в своём кабинете. — И сам Надир не великий полководец, и его влияние на хана шатко и продолжает расшатываться. А хан-то… — он выдохнул одними губами.

Бахрам вздохнул. С этим никто не мог поспорить: Сайед Абдул-Азиз не был мудрым человеком.

— Нам нужно что-то смертоносное и зрелищное, — сказал Калид. — Что-то и для хана, и против маньчжуров.

Бахрам оставил его изучать рецептуры различных взрывчатых веществ и выехал в долгий и холодный обратный путь в Бухарский дворец.

Калид договорился о встрече с Надиром и вернулся, ворча, что, если предложенная им де-

монстрация пройдёт по плану, Надир отпустит Эсмерину и детей обратно домой. Бахрам приободрился, но Калид осадил его:

— Всё зависит от того, останется ли доволен хан, а никогда нельзя знать, что произведёт впечатление на такого человека.

— Какую демонстрацию ты задумал?

— Мы изготовим снаряды, заложив китайский состав «вань-цзень-ти» в оболочки, которые разрываются не при залпе, а при падении на землю.

Они опробовали несколько различных конструкций, и даже их испытания оказались довольно опасными: не раз им приходилось спасать свою жизнь, убегая со всех ног. Это будет страшное оружие, если только им удастся с ним совладать. Бахрам каждый день сбивался с ног, грезя о возвращении семьи и спасении Самарканда от рук неверных; конечно, ведь, если таково было желание Аллаха, оружие было подарком от Него самого. Нетрудно было закрыть глаза на скрытый в нём ужас.

В итоге они изготовили полые оболочки с плоским дном, наполнив две камеры, разделённые жестяной перегородкой, жидкими компонентами «убийцы мириад». Отсек с порохом в головке снаряда взрывался при столкновении, ломая

перегородку и смешивая компоненты газа.

Они добились того, что снаряды срабатывали как надо в восьми случаях из десяти. Снаряды второго типа, доверху заполненные порохом и снабжённые запалом, при ударе взрывались с оглушительным звуком, разметая вокруг осколки оболочки, как дробные пули.

Они изготовили по пятьдесят снарядов каждого типа и провели демонстрацию на испытательном полигоне у реки. Калид купил у клеевщика небольшое стадо побитых кляч, пообещав продать их обратно уже готовыми к вытопке сала. Конюхи вывели несчастных животных на самое дальнее расстояние от испытательной пушки, и, когда прибыли хан и его придворные, разодетые в шелка и слегка уже утомлённые этими поездками, Калид не повернулся к ним лицом, выражая своё презрение единственным способом, на который мог осмелиться, он сделал вид, что завозился с пушкой. Бахрам, понимая, что так они ничего не добьются, подошёл к Надиру и Сайеду Абдул-Азизу и, раскланявшись и расшаркавшись, объяснил им принцип работы оружия, после чего представил Калида, легонько взмахнув рукой, когда старик, потея и пыхтя, подошёл к ним.

Калид объявил, что всё готово к демонстрации.

Хан небрежно махнул кистью руки (излюбленный его жест), и Калид подал знак стоявшим у пушки стрелкам; те подожгли фитиль. Пушка ухнула и, выплюнув белый дым, откатилась назад. Ствол пушки установили под довольно большим углом, чтобы снаряд упал на землю прямо носом вниз. Сквозь клубящийся дым все смотрели за равнину, на привязанных лошадей; ничего не происходило, Бахрам затаил дыхание…

Облако жёлтого дыма взорвалось среди лошадей, и животные дёрнулись в стороны: две ускакали прочь, вырвав колышки из земли, несколько упали, когда верёвки потянули их назад. Всё это время дым расползался вокруг, как от невидимого лесного пожара: густой, горчично-жёлтый, он окутывал лошадей, пряча их из вида. Он накрыл и клячу, которая порвала верёвку, но случайно угодила в щупальце облака (это её они видели в тумане, когда она вставала на дыбы, падала, отчаянно пыталась подняться и снова падала, заходясь в конвульсиях).

Жёлтое облако постепенно рассеялось, уносимое вниз по долине попутным ветром, и тяжёлый дым ещё долго задерживался в рельефе земли. Трупы двух дюжин лошадей остались валяться на земле по кругу не меньше двухсот шагов в

обхвате.

— Если бы в этом круге стояли солдаты, о превосходнейший слуга единого истинного Бога, великий хан, — сказал Калид, — они были бы так же мертвы, как и эти лошади. А если зарядить такими снарядами два десятка или сотню пушек, ни одна армия этого мира не сможет завоевать Самарканд.

— А если ветер переменится и подует в нашу сторону? — спросил Надир, который выглядел слегка потрясённым.

Калид пожал плечами.

— Тогда и мы умрём. Важно делать снаряды небольшого размера, чтобы запускать их на дальнее расстояние, и по возможности строго с подветренной стороны. Но всё-таки газ рассеивается, и даже если небольшой ветер будет в вашу сторону, это не сыграет большой роли.

Хан остался шокирован зрелищем, но по большей части доволен, как будто ему показали новый фейерверк; с ним трудно было знать наверняка. Бахрам подозревал, что иногда он притворяется дурачком, чтобы создать завесу между собой и своими советниками.

Сейчас он кивнул Надиру и увёл придворных за собой в направлении дороги на Бухару.

— Пойми, — напомнил Калид Бахраму на обратном пути, — в этой стае, что вьётся вокруг хана, есть люди, которые хотят убрать Надира с дороги. Для них не имеет значения, хорошо ли наше оружие. Для них чем лучше, тем хуже. Так что дело тут не в том, что они чего-то не понимают.

Всё это было

На следующий день Надир вышел в сопровождении всей своей охраны и привёл Эсмерину и детей. Надир отрывисто кивнул в ответ на горячие благодарности Бахрама, а затем сказал Калиду:

— Ядовитые воздушные снаряды могут нам понадобиться. Изготовь их столько, сколько успеешь, не менее пятисот, и хан вознаградит тебя по возвращении, и в качестве аванса этой будущей награды он возвращает тебе твою семью.

— Он уезжает?

— В Бухаре чума. Караван-сарай, базары, мечети, медресе и ханака — все закрыты. Важные лица из придворной знати будут сопровождать хана в его летнюю резиденцию. Я продолжу вести его дела оттуда. Берегите себя. Если вы можете покинуть город без ущерба для работы, хан этого не запрещает, но он надеется, что вы запрётесь на своей мануфактуре и возьмётесь за производство. Когда чума пройдёт, мы встретимся снова.

— А маньчжуры? — спросил Калид.

— Нам стало известно, что чума не обошла их стороной. Как и следовало ожидать. Не исклю-

чено, что они и принесли её с собой. Они могли специально подослать к нам своих больных, чтобы распространять заразу. Это немногим лучше, чем окружить противника ядовитым воздухом.

Калид покраснел, но промолчал. Надир ушёл — очевидно, решать остальные необходимые вопросы перед бегством из Самарканда. Калид захлопнул за ним ворота и вполголоса выругался. Бахрам, радуясь неожиданному возвращению жены и детей, стискивал их в объятиях, пока Эсмерина не вскрикнула, что он их задушит. Все плакали от радости, и только потом, в разгар огораживания территории, что так выручило их десять лет назад во время эпидемии чумки, когда они потеряли лишь одного слугу, который сбежал в город проведать любовницу, да так и не вернулся, — только потом Бахрам заметил, что его дочка Лейла апатично лежит, а на её щеках горит лихорадочный румянец.

Её положили в комнату с кроватью. Лицо Эсмерины было перекошено от страха. Калид распорядился, чтобы Лейлу держали в уединении, кормили и поили передавая еду через двери, при помощи шестов и сеток, тарелок и калабас, которые следовало оставлять там, не возвращая. Но Эсмерина, конечно, обняла дочку перед тем,

как был установлен этот режим, и на следующий день, в спальне, Бахрам заметил, как раскраснелись её щеки и как она застонала, проснувшись, подняла руки, а в подмышках у неё виднелись метки — твёрдые жёлтые бугорки, выпирающие из-под кожи, и даже (он успел разглядеть, пока она не опустила руку) как будто огранённые, словно граниты, или словно она превращалась в драгоценный камень изнутри.

После этого дом превратился в лазарет, и Бахрам целыми днями ухаживал за остальными, круглые сутки на ногах, охваченный лихорадкой, отличной от болезни, и Калид всё уговаривал его не притрагиваться к своей заражённой семье и не приближаться к ней на расстояние вздоха. Иногда Бахрам пытался, иногда нет, обнимая их так крепко, словно мог руками удержать в этом мире. Или вытянуть обратно — когда умерли дети.

Потом начали умирать взрослые, и они почувствовали себя запертыми в хосписе, а не в убежище. Федва умерла, но Эсмерина держалась; Калид и Бахрам ухаживали за ней по очереди, Иванг тоже присоединялся к ним.

Однажды вечером Иванг и Калид попросили Эсмерину подышать на стекло и стали смотреть на влагу сквозь свои увеличительные линзы,

почти не комментируя. Бахрам тоже взглянул и увидел скопище крохотных драконов, горгулий, летучих мышей и иных существ. Он не захотел смотреть дольше, но понял, что они обречены.

Эсмерина умерла, и в тот же час метки проступили у Калида. Иванг не мог подняться со своей кушетки в мастерской, но изучал собственное дыхание, кровь и желчь в стекле микроскопа, стараясь подробно зафиксировать протекание болезни через себя. Однажды ночью, когда он лежал там и задыхался, он сказал своим низким голосом:

— Я рад, что не принял ислам. Я знаю, ты не хотел этого. А я был бы теперь богоотступником, ибо, если существует Бог, я бы отвернулся от Него за это.

Бахрам ничего не сказал. Это была кара, но за что? Чем они провинились? Или газовые снаряды оскорбили Бога?

— Старики живут до семидесяти лет, — сказал Иванг. — Мне же едва за тридцать. Куда мне деть оставшиеся годы?

Бахрам не мог думать.

— Ты сказал, что мы ещё вернёмся, — глухо произнёс он.

— Да. Но мне нравилась эта жизнь. У меня были

на неё планы.

Он оставался на кушетке, но уже не принимал пищу, и его кожа была горячей на ощупь. Бахрам не стал ему говорить, что Калид уже умер: он ушёл стремительно, убитый горем или гневом из-за потери Федвы, Эсмерины и детей, словно и не от чумы, а от апоплексического удара. Бахрам просто сидел с тибетцем в онемевшем доме.

В какой-то момент Иванг прохрипел:

— Интересно, знал ли Надир, что они заражены, и не вернул ли их, чтобы убить нас.

— Но зачем?

— Возможно, он испугался «убийцы мириад». Или какой-нибудь придворной клики. У него были и другие проблемы, кроме нас. Или это мог быть кто-то другой. Или никто.

— Мы этого не узнаем.

— Не узнаем. Никого из них уже могло не остаться. Надира, хана — никого.

— Я надеюсь на это, — произнёс Бахрам одними губами.

Иванг кивнул. Он умер на рассвете, молча, не желая уходить.

Бахрам велел всем выжившим в лагере закрыть лица тряпками и перенести тела в закрытую мастерскую за химикатными ямами. Он был так

отрешён, что движения собственных онемевших конечностей удивляли его, и когда он говорил, ему казалось, что говорит кто-то другой. Сделай это, сделай то. Обед. Когда он нёс на кухню большой котёл и нащупал у себя шишку, он сел так, словно ему перерезали сухожилия под коленями, и подумал: «Похоже, настал и мой черёд».

Снова в бардо

Несложно себе представить, что на этот раз, после такого-то конца, на чёрном полу бардо сгрудилось крайне опустошённое и приунывшее маленькое джати. И кто их попрекнёт? Откуда взяться желанию продолжать? Они не видели ни награды за добродетель, ни продвижения вперёд — никакой дхармической справедливости, в любом её проявлении. Даже Бахрам затруднялся найти какие-то плюсы в их положении, а остальные даже не пытались. Оглядываясь назад, в долину веков, на бесконечное повторение их реинкарнаций, прежде чем им придётся выпить эликсир забвения и всё снова погрузится для них в темноту, они не ощущали никакой закономерности в своих попытках: если у богов был план, или хотя бы строгий порядок действий, если долгая цепочка переселений должна была к чему-то их привести, если всё не было бессмысленным повторением, а само время ничем иным как чередой хаосов, никто не мог его разглядеть, и история их переселений, вместо того чтобы быть повествованием без смерти, как, возможно, предполагали первые опыты реинкарнации,

превратилась в натуральное кладбище. Зачем читать дальше? Зачем доставать их книгу с дальней полки, куда её запрятали с отвращением и болью, и читать дальше? Зачем мучить себя такой жестокостью, такой плохой кармой, такими дурными сюжетами?

Причина проста: всё это было. Всё было бесчисленное количество раз, именно так. Океаны солёные от наших слёз. Никто не станет отрицать, что всё это было.

Поэтому выбора у них нет. Они не могут избежать колеса рождения и смерти, им придётся сначала пережить его, а впоследствии — созерцать; и старец Красное Чернило, их летописец, должен рассказывать их истории честно, смотря в лицо реальности, иначе истории эти ничего не значат. А они непременно должны что-то значить.

Итак. От реальности не убежать: они сидели, дюжина горемычных душ, прижимаясь друг к дружке в дальнем углу большого судного зала. Было мрачно и холодно. Совершенный белый свет на этот раз длился считаные мгновения, ослепив вспышкой, похожей на взрыв глазного яблока; они снова попали сюда. Там, на помосте, псы, и демоны, и чёрные боги плясали в мутном

тумане, который обволакивал всё вокруг, заглушая звуки.

Бахрам попробовал что-то сказать, но ничего не придумал. Он всё ещё не оправился от событий их последних дней на земле; он до сих пор готов был встать, выйти и начать новый день, новое утро, такое же, как и все остальные. Даже если это означало вновь разбираться с восточным нашествием, с пленом его семьи — какие бы хлопоты ни принёс день; пусть проблемы, пусть конфликты — это и есть жизнь. Но нет. Ещё рано. Солёные слёзы своевременной смерти, квасцовые слёзы безвременной смерти — воздух полнился горечью, как дымом. Мне нравилась эта жизнь! У меня были на неё планы!

Калид сидел, как и всегда, словно находился в своём кабинете и обдумывал решение какой-то проблемы. Глядя на него, Бахрам испытал горький укол сожаления и печали. Всей жизни не стало. «Ушла, ушла за пределы, ушла за пределы пределов…» Не стало прошлого. Даже если ты помнишь о нём, его нет. И даже в то время, когда оно происходило, Бахрам любил его и каждый день своего прошлого жил в состоянии ностальгии по настоящему.

Теперь его нет.

Остальные сидели или лежали вокруг Калида на дешёвом дощатом полу. Даже Сайед Абдул выглядел безутешным, горюя не только о себе, но и обо всех в своём джати, сожалея, что им пришлось покинуть этот тревожный, но такой интересный мир.

Прошёл промежуток времени: мгновение, год, век, целая кальпа[22] — кто мог знать в таком страшном месте?

Бахрам глубоко вздохнул и с усилием сел.

— Мы делаем успехи, — твёрдо заявил он.

Калид фыркнул.

— С нами играют, как кошки с мышками, — он кивнул на помост, где продолжали разворачиваться гротескные сцены. — Мелочные ублюдки, все они, я так скажу. Убивают нас ради забавы. Сами не умирают, вот ничего и не понимают.

— Забудь о них, — посоветовал Иванг. — Нам придётся всё делать самостоятельно.

— Бог выносит свой суд и отправляет нас обратно в мир, — сказал Бахрам. — Человек предполагает, Бог располагает.

Калид покачал головой.

— Только посмотрите на них. Сборище злорад-

---

[22] Примечания: 22

В индуизме это «день Брахмы», длится 4,32 миллиарда лет (*прим. ред.*).

ных детей, которые заигрались в песочнице. Ими никто не правит: нет бога среди богов.

Бахрам удивлённо посмотрел на него.

— Неужели ты не видишь того, что объемлет всех остальных, того, в чём мы покоимся? Аллах, или Брахма, как будет угодно, единственный истинный Бог среди богов?

— Нет. Ничего такого я не вижу.

— Но ты не смотришь! Ты ни разу не присмотрелся! Присмотрись, и сразу увидишь. И когда ты увидишь его, для тебя всё изменится. Тогда всё будет хорошо.

Калид нахмурился.

— Не оскорбляй нас своими глупостями. Господь милосердный, Аллах, если ты есть, зачем ты посадил мне на шею этого глупого мальчишку? — он лягнул Бахрама ногой. — Мне проще, когда тебя нет рядом! Тебя и твоего проклятущего «всё будет хорошо»! Ничего не хорошо! Всё отвратительно! И ты делаешь только хуже своей белибердой! Ты что, не видел, что с нами произошло? С твоей женой и детьми, с моей дочерью и внуками? Ничего не хорошо! И заруби это себе на носу! Может, мы и находимся в галлюцинации, но это не повод закрывать глаза на правду!

Бахрама задели его слова.

— Это ты постоянно опускаешь руки, — ответил он. — Каждый раз. Вот и весь твой цинизм — ты просто не пытаешься. Тебе не хватает мужества продолжать.

— Как же! Да я ещё ни разу не опускал руки. Я просто не хочу рассыпаться во лжи. Нет, это ты у нас никогда не пытаешься. Вечно ждёшь, пока мы с Ивангом сделаем грязную работу за тебя. А попробуй-ка сам хоть раз! Перестань чесать языком о любви и попробуй сделать всё сам, хотя бы раз, чёрт тебя побери! Попробуй сам и увидишь, как трудно улыбаться, когда смотришь правде в глаза.

— Ого! — воскликнул уязвлённый Бахрам. — Я своё дело знаю. И я всегда выполнял свою роль. Да без меня никто из вас не смог бы продолжать дальше. Требуется мужество, чтобы сохранить любовь в сердце всего, когда не хуже других понимаешь реальное положение вещей! Злиться легко, это может каждый. Мириться — вот что трудно, сохранять надежду, вот что трудно! Оставаться влюблённым — вот что трудно.

Калид махнул левой рукой.

— Красиво сказано, но всё это имеет значение только в том случае, если смотреть правде в глаза и бороться. Меня тошнит от любви и благости — я

хочу справедливости.

— Я тоже!

— Ладно, тогда докажи. Покажи, на что ты способен, в следующий раз в этом злосчастном мире, на что-то помимо радости и счастья.

— И докажу!

— Отлично.

Калид тяжко поднялся на ноги, прихрамывая, подошёл к Сайеду Абдул-Азизу и без всякого предупреждения пнул его ногой, отчего тот распластался по полу.

— А ты! — взревел он. — Какое ОПРАВДАНИЕ у тебя? Почему ты всегда так ужасен? Постоянство — не оправдание, ХАРАКТЕР — не ОПРАВДАНИЕ!

Сайед с пола буравил его взглядом, посасывая ссадину на костяшке.

— Оставь меня в покое, — бросил он, продолжая метать глазами молнии.

Калид отвёл ногу, чтобы ударить его снова, но передумал.

— Ты своё ещё получишь, — пообещал он. — Однажды ты непременно получишь своё.

— Забудь о нём, — посоветовал Иванг. — Проблема на самом деле не в нём, и он всегда будет частью нас. Забудь о нём, забудь о богах.

Сосредоточимся на том, чтобы всё сделать самостоятельно. Мы можем создать свой собственный мир.

Книга пятая. Уток и основа



Одна ночь может изменить мир.

Привратники послали гонцов с нитками вампума, оповещая о собрании совета на Плавучем мосту. Они хотели провозгласить вождём чужеземца, которого прозвали Иззапад. Пятьдесят сахемов согласились на встречу, не находя в

предложении ничего необычного. Вождей всегда было намного больше, чем сахемов, и титул умирал вместе с человеком, и каждый народ мог выбирать своих собственных вождей, в зависимости от обстановки на тропе войны и в деревнях. Единственная необычная деталь, связанная с этим кандидатом, заключалась в его иностранном происхождении, но он жил с Привратниками уже довольно долго, и по всем девяти народам и восьми племенам распространился слух, что человек он интересный.

Его спас военный отряд Привратников, зашедший глубоко на запад, чтобы нанести очередной удар по племени сиу, западному народу, граничащему с ходеносауни. Воины вышли на сиу, когда те пытали свою жертву, подвесив её на крюки за грудину, а внизу разведя костёр. Воинов, готовящихся к налёту, удивила речь этого человека, который говорил на внятном диалекте Привратников, как будто он видел их в засаде.

Нормальным поведением во время пыток считался страстный смех в лицо врагу, демонстрирующий, что никакая боль, нанесённая рукой человека, не сломит твоей силы духа. Иностранец вёл себя совсем не так. Он невозмутимо обратился к своим похитителям, говоря на языке

не сиу, но Привратников:

— Вы совершенно ничего не понимаете в пытках. Дух ломает не страсть, ибо всякая страсть есть поощрение. Своей ненавистью ко мне вы мне же помогаете. Что действительно больно, так это когда тебя смалывают в муку, как жёлуди в ступе. Там, откуда я родом, знают тысячи приспособлений, чтобы уничтожить плоть, но по-настоящему ранит их равнодушие. Вы же сейчас напоминаете мне, что я человек и полон страсти, и стал целью вашей страсти. Я счастлив быть здесь. И скоро меня спасут воины, которым вы и в подмётки не годитесь.

Сенека, лежавшие в засаде, восприняли это как недвусмысленный сигнал к нападению и с боевыми кличами обрушились на сиу и сняли скальпы со всех, кого успели поймать, особо озаботившись спасением пленника, который так складно и красноречиво выражался на их родном языке.

— Как ты узнал, что мы здесь, — спросили они.

Он ответил, что висел так высоко, что видел их глаза среди деревьев.

— Откуда ты знаешь наш язык?

— На западном побережье этого острова живёт племя ваших сородичей, переселившихся туда давным-давно. От них я и научился вашему

языку.

И они выходили его, и привели к себе домой, и он жил с Привратниками и народом Великого холма близ Ниагары в течение нескольких лун. Он охотился с ними и выходил с ними на тропу войны, и слух о его достижениях разлетелся среди девяти народов, и он встречался со многими людьми, и на всех производил хорошее впечатление. Никто не удивился его выдвижению на роль вождя.

Совет созвали на холме у крайнего берега озера Канандейгуа, где первыми появились ходеносауни, выползая из-под земли, словно кроты.

Люди Гор, Люди Гранита, Хозяева Кремня и Плетущие Рубашки, явившиеся с юга два поколения назад после тяжёлой стычки с заморскими пришельцами с востока, пришли с запада по тропе Длинного Дома, тянувшейся с востока через все земли лиги. Они разбили лагерь на некотором отдалении от дома советов Привратников, послав гонцов с сообщением о своём прибытии, как того требовал старый обычай. Сахемы сенека подтвердили дату совета и отправили повторное приглашение.

В назначенный день проснулись до рассвета, убрали спальные мешки и сгрудились вокруг

костров, чтобы быстро позавтракать подгоревшими кукурузными лепёшками и кленовой водой. Рассветное небо было ясным, и лишь на востоке серели редкие, почти рассеявшиеся облака, напоминая тончайшую вышивку, украшавшую подолы плащей, в которые наряжались женщины. По озеру стелился туман, словно подхваченный водяными духами, скользящими по поверхности озера, чтобы успеть присоединиться к совету водяных, зеркальному отражению человеческого, как нередко случалось. Воздух был прохладным и влажным, без малейшего намёка на удушающий зной, который, скорее всего, даст о себе знать после полудня.

Приезжие племена толпами выходили на заливные луга у берега озера и занимали свои привычные места. К тому времени, когда сероватое небо высветлилось до голубого, уже несколько сотен человек собрались послушать приветствие солнцу, которое затянул один из старейших сахемов племени сенека.

Клеймо совета хранилось у народов онондага вместе с вампумом, в который наговаривались законы лиги, и теперь влиятельный старый сахем, Ключник Вампума, поднялся, протягивая руки, на которых висел вампум, тяжёлые бусы из

белых ракушек. Онондага — центральный народ, и за их совещательным костром проходят все советы лиги. Ключник Вампума в танце топтался по лугу, бормоча что-то нараспев, но до большинства из них доносились только слабые крики.

В середине их круга разожгли костёр, и по кругу начали передавать курительную трубку. Могавки, онондага и сенека, братья друг другу и отцы шести других народов, расположились к западу от костра; онайды, каюги и тускароры сидели на восточной стороне; молодые народы — чероки, шони и чокто — на южной. Солнце показалось над горизонтом и осветило долину, как кленовая вода, заливая всё вокруг летними жёлтыми красками. Струйка дыма поднималась вверх, сливаясь серым и коричневым цветами. Утро было безветренным, и хлопья тумана на озере растаяли. Под пологом леса к востоку от луга пели птицы.

Из стрел тени и света вышел низкорослый широкоплечий человек, босой и одетый лишь в поясную повязку гонца. У него было круглое и плоское, как лепёшка, лицо. Иностранец. Он прошагал, сложив руки вместе, смиренно глядя вниз, мимо младших племён к центральному костру, где протянул открытые ладони Хоноуэнато,

Ключнику Вампума.

Ключник сказал ему:

— Сегодня ты станешь вождём ходеносауни. По этому случаю обычай предписывает мне рассказать об истории лиги, которую хранит этот вампум, и вновь повторить законы лиги, помогавшие нам хранить мир на протяжении многих поколений и расти, когда к нам присоединялись молодые народы от моря до Миссисипи, от Великих озёр до Теннесси.

Иззапад кивнул. Его грудь испещряли глубокие зарубцевавшиеся шрамы, оставшиеся после пыток сиу с крюками. Он был серьёзен, как филин.

— Для меня это невероятная честь. Ваш народ самый великодушный из народов.

— Мы — величайшая лига народов под этими небесами, — ответил Ключник. — Мы живём здесь, на самой высокой точке Длинного Дома, откуда удобно спускаться во всех направлениях.

Каждый народ состоит из восьми племён, разделённых на две группы. Волки, Медведи, Бобры и Черепахи — одна; Олени, Бекасы, Цапли и Ястребы — другая. Каждый член племени Волка является братом и сестрой всем остальным Волкам, независимо от того, из какого народа они происходят. Их связь с другими Волками едва ли

не крепче, чем отношения с представителями своего же народа. Связи перекрещиваются, подобно утку и основе в плетении корзин и сукна. Так мы становимся одним одеянием. И нашим народам нельзя иметь разногласий, иначе это разорвало бы ткань племён. Брат не пойдёт против брата, сестра не пойдёт против сестры.

Итак, Волки, Медведи, Бобры и Черепахи, будучи братьями и сёстрами, не могут породниться. Они должны искать себе супругов среди Ястребов, Цапель, Оленей или Бекасов.

Иззапад кивал в ответ на каждое слово Ключника, произносимое густым, громогласным тоном человека, всю жизнь положившего на то, чтобы наладить эту систему отношений и распространить повсеместно. Иззапада объявили членом племени Ястреба и поставили играть с соплеменниками в утренний матч по лакроссу. Теперь он не сводил с Ключника внимательного ястребиного взгляда, впитывая каждое слово порывистого старца и не обращая ни малейшего внимания на растущую толпу у берега озера. Те же, в свою очередь, разошлись заниматься каждый своим делом: женщины готовили угощение у своих очагов, а мужчины на самом большом лугу организовывали площадку для игры в лакросс.

Наконец Ключник окончил свою речь, и Иззапад обратился ко всем, кто мог его слышать:

— Это величайшая честь в моей жизни, — проговорил он громко и медленно, со странным, но понятным акцентом, — быть принятым в свои ряды лучшими людьми на свете — о большем бедный странник вроде меня и мечтать не мог. Хотя я надеялся. Много лет бродил я по этому огромному острову и надеялся.

Он склонил голову и сложил руки вместе.

— Какой скромный человек, — заметила Иагогэ — Та-Которая-Слышит — жена Ключника Вампума. — И не такой уж молодой. Интересно будет послушать его рассказы.

— И посмотреть, как он играет, — добавила Текарнос — Капнувшая Маслом — одна из племянниц Иагогэ.

— Займись супом, — сказала Иагогэ.

— Да, мама.

Поле для лакросса осматривали судьи, проверяя его на наличие камней и кроличьих нор, а на противоположных концах установили высокие перекладины ворот. Как и всегда, Волки, Медведи, Бобры и Черепахи играли против Оленей, Бекасов, Ястребов и Цапель. Принимали ставки, организаторы ровными рядами раскладывали

перед собой товары: преимущественно украшения, но также огнива, флейты, барабаны, табак в мешочках, трубки, спицы и стрелы, и ещё два кремневых пистолета и четыре мушкета.

Команды и судьи собрались в центре поля, а зрители толпились вдоль границы зелёного поля и на склоне холма, возвышающегося над ним. В этот день играли десятеро на десятеро, поэтому условились на пять попаданий в ворота для победы. Главный судья привычно перечислил основные правила: не дотрагиваться до мяча руками, ногами, туловищем или головой; не наносить намеренных ударов по противникам клюшкой. Он поднял круглый мяч размером со свой кулак, сшитый из оленьей шкуры, которую набили песком. Двадцать игроков, по десять с каждой стороны, стояли по бокам от него, защищая свои позиции; по одному человеку вышли вперёд, чтобы сразиться за брошенный мяч, который должен был начать игру. Под рёв толпы судья подкинул мяч и отступил на край поля, откуда вместе с другими судьями следил за малейшими нарушениями правил.

Капитаны команд замахали клюшками в бешеном сражении за мяч, стукаясь деревяшками и царапая землю сачками на концах палок.

Толкаться было запрещено, но бить по клюшке соперника своей разрешалось; однако манёвр был рискованный, поскольку, промахнувшись и попав игроку по телу, можно было заработать штрафной удар по пустым воротам. Так что соперники только бодались клюшками, пока Цапля не выхватила мяч сачком и не бросила одному из товарищей по команде; забег начался.

Соперники набросились на игрока, завладевшего мячом, и тот лавировал между ними, сколько смог, а затем взмахом клюшки перекинул мяч в сетку члену своей команды. Когда мяч падал на землю, большинство игроков, что оказывались поблизости, сходились на нём, ожесточённо колотя клюшками, отбирая мяч друг у друга. По паре игроков от каждой команды стояли в стороне от стычки и держали оборону — на случай, если мячом завладеет соперник и бросится к их воротам. Довольно скоро стало ясно, что Иззапад играл в лакросс не впервые — вероятно, участвовал в матчах между Привратниками. Он был не так молод, как другие игроки, и не так резв, как самые быстрые бегуны обеих команд, но самые быстрые держали оборону друг против друга, и Иззападу приходилось отбиваться лишь от крупнейших из команды Медведей-Волков-Бобров-Черепах,

которые могли остановить низкорослого игрока своей массой тела, но не отличались быстротой Иззапада. Иностранец обхватил клюшку обеими руками, держа её или как косу, сбоку и низко к земле, или прямо перед собой, словно напрашиваясь на подсечку, которая выбьет мяч из сетки. Но его противники скоро поняли, что никакой подсечкой ничего не добьются, потому что, стоило им попытаться, Иззапад уворачивался, не даваясь в руки, и бежал дальше, угловато, но на удивление резво для такого крупного и невысокого человека. А когда его блокировали другие игроки, он передавал мяч товарищам по команде так, словно стрелял из лука; пожалуй, даже слишком агрессивно, потому что остальным не всегда удавалось поймать его мячи. Но поймав, они кидались к воротам, размахивая клюшками, чтобы смутить последнюю защиту у ворот, и кричали вместе с возбуждённой толпой. Иззапад никогда не кричал и не произносил ни слова, храня загадочное молчание, никогда не поддразнивал команду соперника и даже не встречался с её членами взглядом, наблюдая исключительно за мячом или, как будто, за небом. Он играл, словно в трансе, словно не до конца понимая, что происходит; но когда его товарищей по команде

нагоняли или преграждали им путь, он каким-то образом всегда оказывался открыт для передачи, независимо от того, как сильно пытался подрезать ему путь противник, или противники. Окружённые товарищи, стараясь не подпускать противника к клюшкам, чтобы в любой момент выбросить мяч, находили Иззапада в единственном направлении, которое чудом оказывалось открытым, и, изловчась, бросали ему мяч, а он умело ловил его и убегал своей неуверенной походкой, ныряя за людей и преодолевая поле странными зигзагами под неправильными углами, пока его не блокировали и не открывалась новая возможность передачи; его агрессивно брошенный мяч проносился над травой, словно привязанный бечёвкой. Одно удовольствие было смотреть на эту сцену, почти комичную в своей неуклюжести, и толпа взревела, когда команда Оленей-Бекасов-Ястребов-Цапель забросила мяч мимо метнувшегося за ним вратаря прямо в ворота. Редко когда счёт открывали быстрее.

После этого команда Медведей-Волков-Бобров-Черепах чего только не испробовала, чтобы остановить Иззапада, но они были озадачены его неожиданными реакциями и не могли держать оборону. Когда они наваливались всем скопом,

он отдавал мяч молодым и быстрым игрокам, которые смелели по мере своего успеха. Если они пытались справиться с ним поодиночке, он извивался, наклонялся и угловато обходил очередного защитника в мнимом замешательстве, пока не оказывался на расстоянии удара от ворот — тогда он поворачивался, резко ловя равновесие, держа клюшку у колена, и, выкрутив запястье, запускал мяч в ворота, как стрелу. Никто из них никогда не видал столь мощных бросков.

В перерыве между голами они собирались на краю поля, чтобы утолить жажду простой или кленовой водой. В команде Медведей-Волков-Бобров-Черепах с мрачным видом совещались, делали замены. После этого «случайный» удар клюшкой по голове рассёк Иззападу скальп, перепачкав его собственной красной кровью, но нечестный приём дал ему право удара по пустым воротам, который он произвёл из полузащиты под рёв толпы. Рана не помешала его чудной, но эффективной манере игры и не заставила его даже взглядом удостоить своих противников.

— Он играет так, словно за другую команду играют призраки, — сказала Иагогэ своей племяннице. — Словно он один на поле и учится бегать более грациозно.

Она любила игру, и её радовало то, что она видела.

Счёт достиг четырёх к одному в пользу младшей команды гораздо быстрее, чем обычно, и старшие племена отошли обсудить стратегию. Женщины раздавали калабасы с водой и кленовую воду, а Иагогэ, сама тоже Ястреб, подошла к Иззападу и протянула ему калабасу с водой, так как успела заметить, что, кроме воды, он ничем не угощался.

— Тебе нужно найти хорошего напарника, — проговорила она, присаживаясь рядом. — В одиночку ни одно дело нельзя довести до конца.

Он бросил на неё удивлённый взгляд. Она же кивком головы указала на своего племянника Дошоу — Зубец Вилки.

— Вот он — твой человек, — сказала она и ушла.

Игроки вновь собрались в центре поля в ожидании первого броска, и команда Медведей-Волков-Бобров-Черепах оставила позади в защите всего одного человека. Они выиграли мяч и устремились на запад с рвением, порождённым отчаянием. Игра продолжалась долго, и ни одной из команд, сломя голову носившейся из одного конца поля в другой, не удавалось вырваться

вперёд. Но потом один из Оленей-Бекасов-Ястребов-Цапель повредил лодыжку, и Иззапад позвал Дошоу выйти на поле.

Команда Медведей-Волков-Бобров-Черепах снова рванула в атаку, зажимая нового игрока. Но одна из их передач была сделана слишком близко от Иззапада, который поймал мяч в воздухе, перепрыгнув через упавшего игрока. Он бросил его Дошоу, и все набросились на мальчишку, который выглядел испуганным и уязвимым; но он не растерялся и совершил длинную передачу через всё поле обратно Иззападу, который уже со всех ног бежал за мячом. Иззапад поймал мяч, и все бросились в погоню. Но он, похоже, вышел на новую для себя скорость, которой раньше ещё не показывал, потому что никто так и не смог догнать его, когда он достиг восточных ворот; после ложного выпада корпусом и клюшкой, он развернулся и бросил мяч, который пролетел мимо вратаря, далеко в лес, завершая матч.

Толпа взорвалась радостным скандированием. В воздух взметнулись шапки и табачные сумки и дождём посыпались на поле. Игроки распростёрлись на земле, затем поднялись и соединились в одном большом объятии под бдительным присмотром судей.

Иззапад потом сидел на берегу озера вместе с остальными.

— Какое облегчение, — сказал он. — Я уже начал уставать.

Он позволил женщинам обернуть рану на голове вышитой тканью и поблагодарил их, склонившись.

Во второй половине дня младшие племена развлекались метанием копий через катящийся обруч. Иззападу предложили попробовать, и он согласился на одну попытку. Он замер неподвижно, сделал бросок плавным движением, и копьё пролетело сквозь обруч, который покатился дальше. Иззапад поклонился и уступил место другим.

— Я играл в эту игру в детстве, — сказал он. — Это входило в наше воинское обучение, чтобы стать тем, кого у нас называли самураем. Тело ничего не забывает.

Иагогэ стала свидетельницей этой сцены, после чего пошла к своему мужу, Ключнику Вампума.

— Нужно пригласить Иззапада, пусть он больше расскажет нам о своей стране, — предложила она.

Он кивнул, как всегда хмурясь её вмешательству, хотя они вместе обсуждали каждый вопрос, связанный с лигой, каждый день в течение этих

сорока лет. Таков уж был Ключник, вспыльчивый и вечно сердитый; но только потому, что лига слишком много для него значила, поэтому Иагогэ не придавала значения его поведению. Как правило.

Приготовили угощение, и все приступили к трапезе. Солнце ушло за лес, в сгустившихся сумерках ярко потрескивали костры, и церемониальный круг между четырьмя старшими кострами заполнился сотнями людей, которые подходили к еде, наполняли свои миски пряной мамалыгой и кукурузными лепёшками, фасолевым супом, варёной тыквой и жареным мясом оленей, лосей, уток и перепелов. Пока ели, все разговоры стихли. После главного блюда вынесли воздушную кукурузу и клубничное повидло, посыпанное кленовым сахаром, которым лакомились обычно не спеша и которое так любили дети.

Во время этого закатного пиршества Иззапад бродил вокруг с гусиной ножкой в руке, представляясь незнакомцам, и слушал их рассказы или отвечал на вопросы. Он посидел с семьями своих партнёров по команде, вспоминая сегодняшний триумф на поле для лакросса.

— Эта игра похожа на мою старую работу, —

сказал он. — В моей стране воины сражаются оружием, похожим на гигантские иглы. Я видел, у вас есть иглы и даже несколько пистолетов. Скорее всего, они достались вам от моих земляков или от тех, кто пришёл сюда из-за вашего Восточного моря.

Они закивали. Заморские гости построили укреплённую деревню у них на побережье, у входа в залив устья Восточной реки. Они оставили после себя иглы, а также лезвия для томагавков из такого же материала, и пистолеты.

— Иглы у нас высоко ценятся, — сказала Иагогэ. — Спроси вот Ломателя Игл.

Все посмеялись над Ломателем Игл, который смущённо улыбнулся.

Иззапад сказал:

— Металл выплавляется из особых — красных — горных пород, в которых примешаны его частицы. Если в большой глиняной печи развести достаточно жаркий огонь, то можно сделать металл самому. Горы с подходящими для этого породами находятся к югу от земель вашей лиги, в узких кривых долинах, — он начертил палкой на земле примерную карту.

Пара сахемов и Иагогэ выслушали его. Иззапад поклонился им.

— Я обязательно подниму этот вопрос перед советом сахемов.

— Выдержит ли глиняная печь такой жаркий огонь? — спросила Иагогэ, разглядывая толстое шило, подвешенное на одном из своих ожерелий.

— Да. И чёрный камень, сгорая, прогорает насквозь, как уголь. Я и сам раньше делал мечи. Они похожи на лезвия кос, только длиннее. Их можно сравнить с травой или с клюшкой для лакросса. Длинные, как клюшки, но острые по краям, как томагавки или побеги травы, тяжёлые, прочные. Научитесь хорошо владеть мечом, — он взмахнул перед ними рукой, — и будете непобедимы. Никому не сносить головы.

Все, кто находился поблизости, заинтересованно прислушались. У всех до сих пор перед глазами стояло то, как он размахивает клюшкой, словно сеет вязовые семена, бросая их по ветру.

— Кроме человека с ружьём, — заметил сахем могавков Садагаваде — Невозмутимый.

— Верно. Но важнейшей частью ружья является ствол из такого же металла.

Заинтригованный, Садагаваде кивнул. Иззапад поклонился.

Ключник Вампума послал несколько нейтраль-

ных юношей за остальными сахемами, и они блуждали по территории, пока не нашли всех пятьдесят. Когда все вернулись, Иззапад сел среди них и взял мяч для лакросса большим и указательным пальцами. У него были большие квадратные ладони, густо покрытые шрамами.

— Вот здесь я изображу вам мир. Он, по большей части, покрыт водой. В мировом озере есть два больших острова. Самый большой из них находится на противоположной стороне света отсюда. Ваш остров тоже большой, но не такой большой, как тот, другой. Он вдвое, а может и ещё меньше. Насколько велики мировые озёра — не знаю.

Он чертил на мяче углем, размечая острова в великом мировом море. Закончив, он отдал мяч Ключнику.

— Это что-то вроде вампума.

Ключник кивнул.

— Картинка.

— Да, картинка. Всего мира, на мяче, потому что мир — это большой мяч. И вы можете подписать на нём названия островов и озёр.

Ключник усомнился в его словах, но что именно его смутило, Иагогэ не могла сказать. Он велел сахемам готовиться к совету.

Иагогэ удалилась помогать женщинам с убор-

кой. Иззапад отнёс посуду на берег озера для мытья.

— Не стоило, — сказала смущённая Иагогэ. — Это наша работа.

— Я никому не прислуживаю, — ответил Иззапад и продолжил подавать девушкам миски, расспрашивая их о вышивке.

Он заметил, как Иагогэ отошла к берегу и присела на выступающий мыс, и устроился рядом с ней.

— Мне известно, что ходеносауни настолько мудры, что их женщины сами решают, кому и кого брать в мужья.

Иагогэ задумалась над этими словами.

— Что ж, пожалуй, так и есть.

— Теперь я Привратник и Ястреб. Остаток своих дней я проведу здесь, среди вас. И я тоже надеюсь когда-нибудь взять себе жену.

— Понимаю, — она посмотрела на него, потом на девушек. — У тебя кто-то есть на примете?

— О нет! — ответил он. — Не смею навязываться. Решение за вами. Твои советы касательно сегодняшней игры были очень дельными, и я не сомневаюсь, ты рассудишь лучше меня.

Она улыбнулась и посмотрела на праздничные наряды девушек, они могли замечать, а могли и

не замечать присутствия старших.

— Сколько вёсен ты видел? — спросила она.

— В этой жизни — тридцать пять, или около того.

— Ты жил другие жизни?

— Мы все жили. Разве ты не помнишь?

Она поглядела на него, не понимая, шутит ли он.

— Нет.

— Воспоминания приходят чаще всего во сне, но иногда и наяву, когда происходит что-то такое, что ты как будто бы узнаёшь.

— Мне знакомо это чувство.

— Это твои воспоминания.

Она задрожала. Холодало. Пора было возвращаться к костру. Над паутиной зелёных ветвей над головой зажглась одна, потом вторая звезда.

— Ты точно не имеешь в виду кого-то конкретного?

— Точно. Женщины ходеносауни — самые сильные женщины в мире. Не только из-за наследственности и семейных черт, но и потому, что сами выбирают себе партнёров для брака. Таким образом, вы решаете, кто вернётся в этот мир.

Она фыркнула:

— Если бы ещё дети были похожи на своих родителей.

Их с Ключником отпрыски внушали Иагогэ тревожное чувство.

— Каждый, кто пришёл в этот мир, ждал своего часа. Но ждут многие. Кто из них придёт, зависит от родителей.

— Ты так считаешь? Иногда, когда я смотрю на своих детей, они кажутся мне чужими, гостями в нашем длинном доме.

— Как я.

— Да. Как ты.

Потом сахемы нашли их и отвели Иззапада на обряд инициации.

Иагогэ удостоверилась, что с мытьём посуды почти покончено, и отправилась следом за сахемами, присоединяясь к ним в подготовке нового вождя. Она расчесала его прямые чёрные волосы, почти такие же, как у неё, и завязала их ему в узел на макушке, как он просил. Она заглянула в его радостное лицо. Необыкновенный человек.

Ему выдали соответствующие чину поясные и плечевые ремни, над каждым из которых всю зиму корпела какая-нибудь опытная мастерица, и они вдруг оказались ему необычайно к лицу: в них он выглядел настоящим воином и вождём,

несмотря на круглое плоское лицо и опущенные веки. Иагогэ никогда не встречала людей, которые были бы похожи на него, — уж точно не среди пришлых иностранцев, причаливавших к их берегам с Восточного моря, которых она видела буквально мельком. И всё равно ей начинало казаться, что он ей знаком, и от этого она чувствовала себя странно.

Он поднял на неё глаза, благодаря за помощь. Встретившись с ним взглядом, она испытала странное чувство узнавания.

В центральный костёр были брошены ветки и несколько больших поленьев, загремели барабаны и черепаховые погремушки, и пятьдесят сахемов ходеносауни встали в широкий круг для проведения обряда. За их спинами собирались зрители, маневрируя, выискивая место и устраиваясь так, чтобы всем было видно, образуя тем самым своеобразную широкую долину лиц.

Церемония посвящения в чин вождя была недолгой по сравнению с выступлением пятидесяти сахемов. Ответственный сахем, сегодня им стал Широкий Лоб из племени Ястреба, вышел вперёд и провозгласил нового вождя, и вновь пересказал историю Иззапада: о том, как его пытали сиу, о том, как он поучал их, поведав им о

куда более действенных методах пыток, практикуемых в его родной стране, о том, как он говорил на необычном диалекте Привратников и как выражал надежду попасть к обитателям Длинного Дома до того, как сиу схватили его в плен. Как он жил среди Привратников и перенимал их обычаи, как вёл за собой воинов далеко вниз по реке Огайо, вызволяя пленённых лакотами сенека, командуя отрядом так, что им удалось спасти соплеменников и вернуть их домой. Как эти и многие другие его поступки привели к решению посвятить его в вожди племени, и как все, кто знал его, поддержали это решение.

Широкий Лоб продолжил словами о том, что этим утром сахемы посовещались и одобрили выбор Привратников, ещё до того, как Иззапад продемонстрировал своё мастерство на поле. И под одобрительный гул в круг сахемов ввели Иззапада, плоское лицо которого лоснилось в свете костра, а улыбка была такой широкой, что глаза полностью спрятались в складках век.

Он протянул руку, давая знак, что готов произнести свою речь. Сахемы сидели на утоптанной земле так, чтобы все собравшиеся могли его видеть. Он сказал:

— Сегодня самый важный день в моей жизни.

До самой своей смерти я не забуду ни одного его мгновения. Позвольте же мне теперь рассказать вам, как я здесь оказался. Вы слышали только часть моей истории. Я родился на острове Хоккайдо, принадлежащем ниппонскому островному народу, и там вырос, будучи сперва молодым монахом, а затем самураем, воином. Звали меня Бушо.

В Ниппоне люди решали вопросы не так, как вы. У нас были свои сахемы и один правитель во главе всего народа, которого мы называли императором, и было племя воинов, обученных сражаться за своих господ и отбирать у фермеров часть их урожая. Я оставил службу у своего первого господина из-за его жестокого обращения со своими фермерами и стал ронином, воином без племени.

Я прожил так много лет, скитаясь по горам Хоккайдо и Хонсю — попрошайкой, монахом, менестрелем, воином. А потом весь Ниппон оказался захвачен людьми с дальнего запада, с самого великого острова мира. Эти люди, китайцы, правят половиной западного конца света, если не больше. Когда они вторглись в Ниппон, в море не было великого шторма, и ветер-камикадзе не потопил их каноэ, как это всегда случалось

раньше. Древние боги покинули Ниппон — возможно, из-за почитателей Аллаха, осевших на его южных островах. Так или иначе, когда море перестало быть преградой, их было не остановить. Мы перепробовали всё: пушечные батареи, цепи под водой, поджоги, ночные засады, атаки на водах внутреннего моря, и мы перебили многих из них, но, флот за флотом, они продолжали наступать. Они построили форт для укрепления длинного побережья, форт, который мы так и не смогли у них отбить, и через месяц они заняли весь полуостров. Тогда они обрушились на весь остров разом, тысячами высаживаясь на всех западных берегах. Весь народ лиги ходеносауни показался бы горсткой по сравнению с таким войском. И хотя мы отбивались и отбивались, отступая в горы и за холмы, где только мы знали входы и выходы во все пещеры и ущелья, они покорили равнину, и Ниппона, моего народа и моего племени не стало.

К тому времени я должен был уже сто раз погибнуть, но в каждом бою какая-то случайность спасала меня, и я одерживал верх над врагом или ускользал из его рук и доживал до следующего боя. В итоге нас осталось всего несколько десятков на всём Хонсю, и мы придумали план и однажды

ночью, объединив усилия, украли три китайских каноэ, огромных, как множество плавучих длинных домов, связанных вместе. Мы направили их на восток и поплыли под командованием тех из нас, кто прежде бывал на Золотой горе.

Их корабли были оснащены матерчатыми крыльями, которые крепились на высоких шестах, чтобы ловить ветер, — такие вы могли видеть у иностранцев с востока, а большинство ветров приходит с запада и у вас, и у них. Несколько лун мы плыли на восток, а когда ветры стихали, нас влекло великим морским течением.

Достигнув Золотой горы, мы обнаружили, что другие ниппонцы добрались туда раньше нас, кто на месяцы, кто на годы, кто на десятки лет. Мы встретили там правнуков первых переселенцев, говоривших на древнениппонском языке. Они обрадовались, увидев земляков из страны самураев, и сказали, что мы явились, как пятьдесят три легендарных ронина, ведь в их гавани уже побывали китайские корабли и обстреляли деревни снарядами из огромных пушек, после чего возвратились в Китай доложить своему императору о том, где их искать, и заготовить для них иглы, — он сделал пальцем жест, иллюстрируя, как происходит смерть от огромной иглы, и его

пантомима была чудовищно красноречива.

— Мы решили помочь нашим соотечественникам защитить свой дом и превратить его в новый Ниппон, надеясь рано или поздно вернуться на нашу истинную родину. Но через несколько лет китайцы появились снова, уже не на кораблях, входящих через Золотые ворота, а пешком, с севера, с огромной армией, попутно строя дороги и возводя мосты, с рассказами о золоте в горах. И ниппонцев снова истребили, как амбарных крыс, оттиснув на юг и на восток, на безжизненные крутые скалы, где выживал только один из десятка.

Когда уцелевшие надёжно укрылись в пещерах и ущельях, я дал себе слово сделать всё, что в моей власти, чтобы не позволить китайцам поработить Черепаший остров так же, как они поработили великий западный мировой остров. Я жил среди разных племён, выучил разные языки и несколько лет шёл на восток, преодолевая пустыни и высокие горы, голые каменистые пустоши, поднявшиеся так близко к солнцу, что земля вокруг жарилась и становилась похожа на сожжённую кукурузу и хрустела под ногами. Горы высились гигантскими скалистыми пиками, и только узкие каньоны вели через них. А на их широких восточных склонах раскинулись

пастбища, те, что за вашими реками, где пасутся огромные стада бизонов и живут племена, которые питаются их мясом и молоком. Они селятся в становьях и перемещаются за буйволами на север или на юг, куда бы те ни пошли. Это опасный народ, люди там постоянно сражаются между собой, несмотря на изобилие, и я старался не попадаться им на глаза, держа свой путь мимо них. Я продвигался на восток, пока не наткнулся на группу рабов-земледельцев из ходеносауни, и из того, что они мне поведали на языке, который, на удивление, оказался мне понятен, я пришёл к выводу, что ходеносауни — первые на моём пути, кто мог бы остановить вторжение китайцев.

И я отправился на поиски ходеносауни, и они привели меня сюда, где я спал среди бревен и ползал змеёй, наблюдая за вами по мере своих возможностей. Я поднялся вверх по течению Огайо и исследовал все земли вокруг вашей, спас там сенекскую рабыню и узнал от неё ещё больше новых слов, но потом мы угодили в плен к воинам сиу. Это случилось по вине девушки, и она сопротивлялась до последнего, пока они не убили её. Они готовы были убить и меня, когда появились вы и спасли мне жизнь. Они пытали меня, а я думал про себя, что меня обязательно

спасут воины сенека — вот их отряд, уже рядом. Вот их глаза, отражающие блики костра. И потом появились вы.

Он распростёр руки и воскликнул:

— Я благодарю вас, обитатели Длинного Дома! — он вынул табачные листья из-за поясной повязки и ловко бросил их в огонь. — Благодарю и тебя, Великий Дух, Единый Разум, что держит нас всех.

— Великий Дух, — вторя ему, прошелестели все остальные, чувствуя своё единение.

Иззапад принял из рук Широкого Лба длинную обрядовую трубку и бережными движениями набил её табаком. Сминая листочки в её углублении, он продолжил свою речь:

— То, что я увидел у вашего народа, поразило меня. Повсюду в мире правит оружие. Императоры держат на прицеле своих сахемов, а те, в свою очередь, солдат, которые держат на прицеле крестьян, и все они вместе держат на прицеле женщин, и только императору и избранным сахемам позволено распоряжаться их жизнью. Они владеют землёй, как вы одеждой, а все остальные находятся в рабстве того или иного толка. В целом мире существует пять, может, десять таких империй, но их число становится всё меньше —

по мере того, как они нападают друг на друга и воюют до тех пор, пока кто-то один не возьмёт верх. Они правят миром, но никто их не любит, и люди уходят, когда на них направлено оружие, или бунтуют, и продолжается насилие одного над другим, человека над человеком, мужчины над женщиной. И несмотря ни на что их ряды продолжают расти, потому что они разводят скот, животных вроде лосей, которые дают мясо, молоко и кожу. Они разводят свиней, вроде диких кабанов, и овец, и коз, и лошадей, на которых ездят верхом, как на карликовых буйволах. И потому их стало так много, больше, чем звёзд на небе. Одомашненные животные и овощи, вроде ваших трёх сестёр (тыквы, фасоли и кукурузы), а также зерно, которое у них называется рисом и растёт в воде, позволят им прокормить такие массы народа, что вскоре в каждой из ваших долин поселится столько людей, сколько есть всех ходеносауни вместе взятых. Истинная правда, я видел это собственными глазами. Это уже началось и на вашем острове, на западном его побережье, возможно, и на восточном тоже.

Он обвёл всех кивком головы и прервался, чтобы достать из огня головню и зажечь набитую трубку. Он передал дымящийся предмет Ключни-

ку Вампума и продолжал, пока все сахемы делали по большой затяжке из трубки.

— Я наблюдал за ходеносауни так пристально, как ребёнок наблюдает за матерью. Я видел, как сыновья воспитываются по линии матерей и ничего не наследуют от своих отцов, чтобы никакая власть не накапливалась в руках одного мужчины. Здесь нет места императорам. Я видел, как женщины выбирают себе супругов и как выносят свои суждения в любой жизненной сфере, как заботятся о стариках и сиротах. Как народы делятся на племена, взаимно переплетённые, и все в лиге остаются братьями и сёстрами друг другу: уток и основа. Как сахемов избирает народ, не исключая и женщин. И если сахем совершит дурной поступок, он будет изгнан. А их сыновья — обычные мужчины, ничем не отличающиеся от других мужчин, которые вскоре женятся и родят сыновей, которые уйдут, и дочерей, которые останутся, пока все не скажут своё слово. Я видел, как эта система отношений приносит мир в вашу лигу. На всём свете это лучшая форма правления, когда-либо придуманная человечеством.

Иззапад поднял руки в жесте благодарения. Он снова набил трубку табаком, раскурил её и выпустил густой столб дыма, поднимавшегося

от костра. Подбросив в огонь ещё несколько листьев, он передал трубку другому сахему их круга, Боящемуся Человеку, который в этот момент и впрямь слушал его с каким-то трепетом. Но ходеносауни воздавали должное за ораторские способности так же, как и за военные, и потому все увлечённо слушали, когда он продолжал.

— Да, лучшая форма правления. Но задумайтесь: ваш остров так богат пищей, что вам даже не нужны специальные орудия, чтобы кормить себя. Вы живёте в согласии и изобилии, но у вас мало орудий, и вас не становится больше. У вас нет ни металлов, ни оружия, сделанного из металла. Почему так? Вы можете копать землю, пока не найдёте в её недрах воду, но зачем вам это делать, когда повсюду ручьи и озёра? Так вы живёте.

Но жители большого острова воевали друг с другом на протяжении многих поколений и сделали много орудий и оружия, и теперь они могут переплыть великие моря, окружающие ваш остров со всех сторон, и высадиться на его берега. И они придут, как стадо оленей, за которым гонятся волки. Это уже произошло на восточном побережье, за границей Открытого Прохода. Люди с обратного края того же великого острова, откуда сбежал я, охватили собой уже полмира.

И придут новые! И я скажу вам, что случится, если вы не защитите себя и свой остров. Они придут и построят новые укрепления на побережье, что они уже и начали делать. Они захотят торговаться с вами, выменивать шкуры на сукно. Сукно! Сукно за право владеть этой землёй, как если бы речь шла об одежде. Когда ваши воины начнут возражать, они станут стрелять в вас из ружей и приведут с собой ещё и ещё больше воинов с ружьями, и вы не сможете долго противостоять им, как бы много ни убивали, потому что их столько, сколько песчинок на берегу. Они хлынут на вас, как Ниагара.

Иззапад выждал, чтобы этот яркий образ отложился в их головах.

Он поднял руки.

— Но всё ещё может быть по-другому. Такой замечательный народ, как ходеносауни, где женщины мудры, а воины находчивы, народ, за который каждый из вас охотно отдаст жизнь, как за свою семью, — такой народ может научиться, как одержать верх над империями — империями, в которые по-настоящему верят только императоры. «Как мы это сделаем? — спросите вы. — Как мы остановим падение Ниагары?»

Он сделал ещё одну паузу, набил трубку и под-

бросил в огонь ещё табаку. Он передал трубку дальше, за пределы круга сахемов.

— Вот так. Ваша лига может стать шире, как вы уже показали, включив в себя Плетущих Рубашки, шони, чокто и чикасо. Пригласите все соседние народы вступить в ваш союз, затем обучите их вашему образу жизни и расскажите им об угрозе, исходящей от большого острова. Каждый народ может привнести свои навыки и свою преданность в оборону острова. Если вы будете действовать сообща, захватчики никогда не смогут продвинуться вглубь великого леса, который почти непроходим даже без дополнительных усилий. Кроме того, и это самое главное, вы должны уметь делать собственное оружие.

Толпа теперь слушала очень внимательно. Один из сахемов поднял вверх мушкет, который нашёл на берегу, показывая его всем. Деревянный приклад, металлический ствол, металлический спусковой крючок и кремень, зажатый в блестящей конструкции. В оранжевом свете костра мушкет выглядел гладким и неземным, светился, как их лица, и казался чем-то рождённым, а не сотворённым.

Но Иззапад ткнул в него пальцем.

— Да. Именно такое. Элементов в нём меньше,

чем в какой-нибудь корзине. Металл добывается из дроблёной горной породы, которую помещают в огонь. Горшки и формы для отливки расплавленного металла делаются из металла ещё более стойкого, который больше не плавится. Или из глины. То же самое касается и стержня, который оборачивается слоем горячего металла, чтобы сделать оружию ствол. Огонь до нужного каления доводят, используя древесный и каменный уголь, всё время раздувая его мехами. Кроме того, в русле реки можно установить вращающееся колесо, которое будет сжимать и разжимать мехи с силой тысячи мужчин.

Он пустился в подробное описание процесса, постоянно переходя, по-видимому, на свой родной язык. Что-то делало нечто с чем-то. Но он пояснил слова жестами, поднеся ко рту тлеющую ветку и дуя на её светящийся конец, пока она не разгорелась жёлтым огоньком.

— Меха похожи на кожух из оленьей шкуры, которые непрерывно сжимаются деревянными рукоятями в виде двух стенок на шарнире, — энергично размахивая руками, объяснял он. — Управлять ими может течение реки. Все рабочие процессы можно привязать к мощи речных потоков и значительно улучшить результаты. Сила

реки таким образом становится вашей силой. Ниагара подчиняется и отдает свою силу вам. Если изготовить металлические диски с зазубренными краями и установить их в реке, можно разрезать деревья, как палки, делая продольные доски для домов и лодок, — он обвёл рукой вокруг себя. — Лес покрывает всю восточную половину Черепашьего острова. Это несметное количество деревьев. Вы можете построить из них всё что угодно. Большие корабли, чтобы плавать за дальние моря и обрушиваться с войной на их берега. Как захотите. Можно приплыть туда и спросить их народ, хотят ли они оставаться рабами империи или стать частью племени, сплетённого в союз. Всё, как вы захотите!

Иззапад прервался, чтобы сделать ещё одну затяжку из трубки. Ключник Вампума воспользовался паузой и сказал:

— Ты всё говоришь о соперничестве и войнах. Но иностранцы на побережье были очень дружелюбными и великодушными. Они выменивают свои ружья на наши шкуры, они не стреляют в нас и не боятся нас. Они говорят о своём боге как о том, что не должно нас касаться.

Иззапад кивнул.

— Так и будет, пока однажды вы не оглянетесь

вокруг и не обнаружите, что чужеземцы повсюду: в ваших долинах, в крепостях на вершинах ваших холмов; и они будут стоять на том, что владеют землёй, на которой разбита их ферма, как будто это не земля, а кисет с табаком, и будут готовы застрелить любого, кто убьёт животное или срубит дерево на этой земле. Вот тогда-то они и скажут, что их закон стоит над вашим законом, потому что их больше и оружия у них больше. И с ними будут вооружённые до зубов воины, всегда готовые выйти за них на тропу войны, в любой точке мира. И тогда вы отступите на север, чтобы только сбежать от них, и покинете эту землю, высочайшую землю на свете.

Он слегка подпрыгнул вверх, изображая большую высоту. Многие засмеялись, несмотря на растущую тревогу. Они наблюдали за тем, как он три или четыре раза глубоко затянулся, да и сами уже все сделали по затяжке, так что прекрасно понимали, на какой высоте он себя должен был ощущать. Он уже был не с ними, они все это видели. Он заговорил, как бы издалека, изнутри своего духа или из средоточия звёзд.

— Они принесут с собой болезни. Многие из вас умрут от лихорадки и других болезней, возникающих словно бы из ниоткуда, перекидываясь

с человека на человека. Болезни источат вас изнутри, разрастутся везде, как омела. Мелкие паразиты внутри вас, большие паразиты снаружи; люди, живущие плодами ваших трудов, даже оставаясь на другой стороне света, законом и оружием заставят вас работать на них. Законы, как омела, призваны обеспечивать роскошную жизнь императора ценой всего мира. Их так много, что они срубят под корень все деревья в этом лесу.

Он тяжело вздохнул и тряхнул головой, как собака, возвращаясь из этого тёмного места.

— Да! — воскликнул он. — Так вот! Живите так, как будто вы уже мертвы! Живите, как будто вы воины, уже захваченные в плен, вы слышите? Иностранцам с побережья нужно оказать сопротивление и по возможности не позволить им расползтись за пределы портового города. Война рано или поздно придёт, с этим ничего не поделать. Но чем позже она придёт, тем лучше вы сможете подготовиться, и тем больше будет у вас шансов победить. Ведь защищать свой дом всегда легче, чем завоёвывать противоположную окраину мира. У нас всё может получиться! Во всяком случае, мы должны попытаться, ради всех поколений, которые появятся после нас!

Ещё один долгий вдох из трубки.

— Поэтому — оружие! Оружие большое и маленькое! Порох. Лесопилки. Лошади. Уже этого нам должно хватить для успеха. И письменное сообщение на бересте. Определённый знак для каждого звука в разных языках. Чертишь знак — произносишь звук. Легко. Подобным образом можно вести разговоры постоянно, даже на огромном удалении говорящего от слушающего, и во времени, и в пространстве. Так общаются во всём мире. Смотрите: ваш остров обособлен от остальных такими великими морями, что вы словно существовали в своём отдельном мире много веков, с тех самых пор как Великий Дух сотворил людей. Но теперь другие идут сюда! Чтобы противостоять им, у вас есть только ваши знания, ваш дух, ваше мужество и устройство вашего общества, как уток и основа ваших корзин, которые намного прочнее, чем того требует обычное собирательство тростника. Ваши корзины сильнее оружия!

Внезапно он задрал голову и закричал на восточные звёзды:

— Сильнее оружия!

На западные звёзды:

— Сильнее оружия!

На северные звёзды:

— Сильнее оружия!

На южные звёзды:

— Сильнее оружия!

Вместе с ним кричали многие.

Он дождался, когда снова наступит тишина.

— Каждый новый вождь имеет право выступить перед советом сахемов, собравшимся в честь его инициации, с тем или иным политическим предложением. И я прошу сахемов принять к рассмотрению вопрос об иностранцах на восточном побережье и мой план оказать им сопротивление, используя речную мощь, начав делать оружие и собрав против них поход. Я прошу сахемов поставить вопрос нашей власти выше наших обычных проблем.

Он сложил руки вместе и поклонился.

Сахемы встали.

Ключник сказал:

— Это больше, чем одно предложение. Но мы примем во внимание первое, и это покроет всё остальное.

Сахемы собрались небольшими группками и начали совещаться, и Иагогэ видела, что Пролом-в-Скале, как всегда, тараторит, приводя доводы в поддержку Иззапада.

В принятии подобных решений все должны быть единодушны. Сахемы каждого народа делятся на классы по два-три человека в каждом и ведут обсуждение между собой тихими голосами, сосредоточенные исключительно друг на друге. Определившись с тем, какой точки зрения будет придерживаться их класс, один из них присоединяется к представителям других классов их народа — четверо у Привратников и Болотников. Дальше они некоторое время совещаются, в то время как сахемы, закончившие свою работу, возвращаются к трубке. После один сахем от каждого народа выражает их позицию другим восьми, и становится понятно решение.

В эту ночь совещание восьми сахемов продолжалось очень долго, так долго, что люди стали поглядывать на них с любопытством. Несколько лет назад, держа совет о том, как поступить с иностранцами на восточном побережье, им не удалось прийти к единому мнению, и ничего так и не было предпринято. Случайно или намеренно, но Иззапад вновь затронул одну из самых важных нерешённых проблем своего времени.

Дело и теперь решилось похожим образом. Ключник объявил перерыв в совещании и обратился к народу:

— Утром сахемы соберутся снова. Проблема, поставленная перед ними, слишком велика, чтобы решить её за одну ночь, и мы не хотим ещё больше откладывать танцы.

Это вызвало всеобщее одобрение. Иззапад низко поклонился сахемам и присоединился к первой группе танцоров, которые вышли в круг с черепаховыми погремушками. Он тоже взял погремушку и стал энергично трясти ею из стороны в сторону, теми же странными движениями, какими размахивал клюшкой для лакросса. Было в них что-то текучее, совершенно непохожее на танцы воинов ходеносауни, которые двигались так, словно делали зарубки своими томагавками, чрезвычайно подвижно и умело, то и дело подпрыгивая в воздух и без конца напевая. Вскоре их тела покрылись плёнкой блестящего пота, а напевы стали прерываться напряжёнными глотками воздуха. Иззапад наблюдал за их кружениями с восхищённой усмешкой, качая головой, как бы сокрушаясь, насколько сильно его способности не дотягивают до уровня остальных танцоров, и люди, довольные тем, что хотя бы в чём-то он не был силён, смеялись и присоединялись к танцу. Иззапад скользнул назад и танцевал с женщинами; как и женщины, вереница танцоров обошла

вокруг костра, вокруг поля для лакросса и вернулась обратно к огню. Иззапад вышел из цепочки, достал из кисета измельчённые табачные листья и клал по щепотке на язык каждому проходящему мимо, включая Иагогэ и остальных танцовщиц с их скользящей походкой, которые не устанут ещё долго после того, как скачущие воины выбьются из сил. «Шаманский табак, — объяснял он каждому. — Подарок шамана, для танцев». Табак был горьким, и многие запивали его кленовой водой, чтобы перебить вкус. Юноши и девушки продолжали танцевать, их руки и ноги расплывались в свете костра, более сочного и яркого, чем прежде. Остальные, молодые и взрослые, разбредались в разные стороны и, чуть пританцовывая на месте, обсуждали события дня. Многие сгрудились вокруг мяча для лакросса, на котором Иззапад изобразил карту мира, изучая его, и казалось, он мерцал в залитой огнём ночи, как будто что-то горело в самом его сердце.

— Иззапад, — позвала Иагогэ через некоторое время, — что было в этом шаманском табаке?

— Мне его дали люди, с которыми я жил на западе, — ответил Иззапад. — Сегодня та самая ночь, когда всем ходеносауни необходимо вместе испытать видение. Отправиться в духовное путе-

шествие, если угодно. Покинуть Длинный Дом на этот раз сообща.

Он взял протянутую ему флейту, бережно прикрыл пальцами отверстия и сыграл сначала несколько нот, а затем гамму.

— Ха! — воскликнул он и пригляделся к инструменту. — А в наших флейтах они расположены по-другому! Но я всё равно попробую.

И он сыграл песню, такую пронзительную, что все вместе они танцевали под её звучание, как птицы. Иззапад играл и кривился, пока наконец его лицо не успокоилось, и продолжил играть, смирившись с новизной тональности.

Закончив, он снова посмотрел на флейту.

— Я играл «Сакуру», — сказал он. — Зажимал отверстия, как для «Сакуры», но вышло что-то иное. Уверен, всё, что я вам говорю, претерпевает такие же изменения. И ваши дети возьмут то, что делаете вы, и сделают по-другому. Так что не имеет большого значения, что я скажу сегодня или что вы сделаете завтра.

Какая-то девочка танцевала, держа в руках свою игрушку, яйцо, выкрашенное в красный цвет, и Иззапад уставился на неё, чем-то поражённый. Он огляделся, и все заметили, что ссадина на его голове снова начала кровоточить.

Его глаза закатились, он осел, как от удара, и выронил флейту из рук. Он прокричал что-то на другом языке. Толпа притихла, и те, кто был к нему ближе всех, тоже сели на землю.

— Это уже случалось раньше, — объявил он незнакомым голосом, медленным и скрипучим. — О да… теперь я всё помню! — то ли тихо вскрикнул, то ли простонал он. — Не эту ночь, в точности повторённую, а свой предыдущий раз здесь. Послушайте… Мы проживаем многие жизни. Мы умираем, а затем возвращаемся в другой жизни, пока не проживём её достаточно хорошо, чтобы покончить со всем. Когда-то давным-давно я был ниппонским воином… нет, китайским! — он сделал паузу, о чём-то соображая. — Да. Китайским. И это был мой брат Пэн. Он пересёк Черепаший остров и все его вершины, он спал в брёвнах, сражался с медведицей в её берлоге, прошёл весь путь до вершины, к этому самому поселению, к этому дому советов, к этому озеру. Он рассказал мне об этом после нашей смерти, — он коротко взвыл, огляделся по сторонам, словно в поисках чего-то, и побежал к Дому Костей.

Там хранились останки предков после индивидуальных погребений, когда они уже достаточно

долго пролежали на виду у птиц и богов, чтобы те очистили их добела. Тогда их аккуратно складывали в Доме Костей под холмом, и обычно это место не посещали во время танцев, да и редко когда посещали вообще.

Но шаманы славятся своей смелостью в таких ситуациях, и все наблюдали за огоньком, прошивавшим щербатую кору стен Дома Костей, когда Иззапад водил факелом из стороны в сторону. Его зычный хриплый вскрик перерос в вопль: «Аааааааа!» Он вышел, держа перед собой факел, освещающий белый череп, которому он лепетал что-то на своём языке.

Он остановился у костра и протянул им череп.

— Смотрите, это мой брат! Это я!

Он поднёс треснувший череп к лицу, и череп смотрел на них своими пустыми глазницами, и действительно казалось, что он очень подходит к его голове. Это заставило всех затаить дыхание и снова прислушаться к нему.

— Я сбежал со своего корабля на западном побережье и двинулся в глубину острова вместе с подругой. Мы шли всегда на восток, за восходящим солнцем. Я попал сюда в тот момент, когда вы собирались на совет, такой же, как сегодня, чтобы договориться, по каким законам вам жить

дальше. Пять народов перессорились, и Дагановеда собрал вас вместе, чтобы раз и навсегда решить, как прекратить раздоры в этих прекрасных долинах.

Эта история случилась на самом деле — так начинались ходеносауни.

— Я видел Дагановеду, видел, как он всё устроил! Он собрал всех вместе и предложил создать лигу народов под управлением сахемов, и племён, связующих народы, и старых женщин. И все народы согласились, и ваша лига мира зародилась на том собрании, в самый первый год, и существует до сих пор в том виде, в каком она была задумана первым советом. Наверное, многие из вас тоже там были, в прежних жизнях, или, возможно, вы находились на другом конце света, наблюдая за строительством монастыря, в котором я вырос. Неисповедимы пути перерождения. Неисповедимы. Я был здесь, чтобы уберечь ваши народы от болезней, которые мы же обречены были принести. Я не придумывал вашей прекрасной системы правления — это сделали Дагановеда и все вы вместе, мне об этом ничего не известно. Но я научил вас струпьеванию. Он дал вам струпья и научил, как сделать неглубокую царапину и вложить струп в порез, и

сохранить струп, образовавшийся впоследствии, и повторять все ритуалы против оспы, и соблюдать диету, и читать молитвы богу оспы. О, если бы мы могли исцелить все свои болезни на этой земле! И на небесах.

Он повернул череп к себе и заглянул внутрь.

— Он сделал это, и никто ничего не знал, — проговорил он. — Никто не знал его, никто не помнит этот мой поступок, ему нет никаких свидетельств, кроме вспышек в моей памяти и существования этих людей, которые бы умерли, если бы не мой поступок. Вот что такое человеческая история: не императоры и генералы и их войны, а безымянные поступки людей, о которых не остаётся свидетельств, добрые дела, которые мы делаем, раздавая добро как благословение, просто делая для незнакомых людей то, что наша мать делала для нас, и не делая того, против чего она всегда увещевала. И всё это передаётся дальше и делает нас такими, какие мы есть.

Он продолжил говорить на своём родном языке, и это длилось некоторое время. Все внимательно наблюдали, как он обращается к черепу в своей руке и гладит его. Зрелище заворожило, и, когда он умолк, чтобы зачарованно прислушаться к черепу, отвечавшему ему, они, казалось, тоже

услышали его слова на этом странном птичьем языке. Они продолжали переговариваться, и в какой-то момент Иззапад всплакнул. Для всех было неожиданностью, когда он повернулся к ним и снова заговорил с ними на необычном наречии сенека:

— Прошлое упрекает нас! Так много жизней. Мы меняемся медленно, о, как же медленно. Вам кажется, что этого не происходит, но это так. Ты, — он указал черепом на Ключника Вампума, — ты никогда не стал бы сахемом, когда я знал тебя в прошлый раз, брат мой. Ты был так зол, но теперь ты успокоился. А ты…

Он направил череп на Иагогэ, и у той ёкнуло сердце.

— Раньше ты бы не знала, что делать с твоей великой силой, сестра моя. Ты никогда бы не смогла столь многому научить Ключника.

Мы растём вместе, как и предсказывал Будда, только теперь мы можем постичь и принять наше бремя. Ваше правительство самое прекрасное на земле, никто ещё не понял, что все рождены благородными, все являются частью единого разума. Но и это тоже бремя, понимаете? И вам его нести: все будущие нерождённые жизни зависят от вас! Без вас мир превратится в кошмар.

Суд наших предков, — он размахивал черепом, как курительной трубкой, беспорядочными жестами указывая в сторону Дома Костей. Его рана на голове кровоточила уже вовсю, а он рыдал, хлюпая носом, и толпа смотрела на него, разинув рты, путешествуя с ним в священном шаманском космосе.

— Все народы на этом острове — ваши будущие братья, ваши будущие сёстры. Вот как вы должны их приветствовать: «Здравствуй, будущий брат! Как поживаешь?» Они узнают свою душу в вашей душе. Они присоединятся к вам, если вы будете им старшим братом и покажете путь вперёд. Соперничество между братьями и сёстрами прекратится, и народ за народом, племя за племенем все вступят в лигу ходеносауни. Когда прибудут иностранцы на своих каноэ, готовые захватить вашу землю, вы встретите их как одно целое, вы не сломитесь под их нападением, а возьмёте у них то, что полезно, и отринете то, что вредно, и сразитесь с ними как с равными на этой земле. Теперь я вижу всё, что случится дальше, я вижу! Я вижу! Вижу! Вижу! Люди, которыми я стану, видят сейчас сны и говорят через меня, и со мной, и говорят мне, что все народы мира посмотрят на ходеносауни и изумятся справедливости их

правительства. История будет передаваться от одного Длинного Дома к другому, и повсюду, где люди порабощены своими правителями, будут говорить о ходеносауни и о том, какой могла бы быть жизнь, когда всё общее, когда всем дано равное право принимать участие в управлении общиной, когда нет рабов и императоров, нет завоевателей и нет покорённых, и люди — как птицы в небе. Как орлы в небе! О, мы ждём, ждём, когда настанет этот день, о, ооооооооооооо…

Тут Иззапад сделал паузу и втянул носом воздух. Иагогэ подошла к нему и обвязала голову тряпкой, чтобы остановить кровь. От него разило потом и кровью. Он уставился сквозь неё, затем поднял глаза к ночному небу и воскликнул: «Ах!» — словно звёзды были птицами или мерцанием нерождённых душ. Он уставился на череп, словно удивляясь, как тот оказался у него в руке, и отдал его Иагогэ, и она взяла его. Сделав шаг в сторону молодых воинов, он слабо пропел начало одной из танцевальных песен. Это освободило их от оцепенения, и они повскакивали на ноги, барабанный бой и стук погремушек возобновились. Танцоры встали в хоровод вокруг костра.

Иззапад забрал череп у Иагогэ. Ей казалось, будто она отдаёт ему его собственную голову.

Он медленно побрёл назад к Дому Костей, пьяно шатаясь на ногах и мельчая, удаляясь от неё с каждым усталым шагом. Он вошёл внутрь, не зажигая факела, и вышел уже с пустыми руками. Тогда он взял протянутую ему флейту и встал чуть в стороне от танца. Там он устало покачивался на месте и играл с другими музыкантами, выводя ритм без какой-то определённой мелодии. Иагогэ заскользила в танце и, проходя мимо него, втянула его обратно в цепочку танцующих, и он последовал за ней.

— Это было хорошо, — сказала она. — Ты рассказал нам хорошую историю.

— Правда? — спросил он. — Я ничего не помню.

Она не удивилась.

— Тебя здесь не было. Через тебя говорил другой Иззапад. Он рассказал хорошую историю.

— Сахемам тоже понравилось?

— Мы скажем им, что им понравилось.

Она провела его через толпу, глядя, как реагируют на него незамужние девушки, которые казались ей подходящими кандидатурами. Он не обращал внимания на это сватовство, а только танцевал и дышал во флейту, глядя под ноги или в огонь. Он казался опустошённым и маленьким,

и после очередного танца Иагогэ увела его подальше от костра. Он сел, скрестив ноги, и играл на флейте с закрытыми глазами, добавляя к мелодии безумные трели.

К рассвету от костра осталась только груда серой золы, дотлевающей оранжевым там и сям. Одни ушли в длинный дом онондага, другие уснули, свернувшись, как собаки, на одеялах, расстеленных на траве под деревьями. Те же, кто ещё не спал, кругами сидели у костра, пели песни и рассказывали друг другу истории в ожидании рассвета, подбрасывая в огонь ветки и наблюдая, как они вспыхивают и разгораются.

Иагогэ бродила по полю для лакросса, уставшая, но взбудораженная танцами и табаком. Она поискала Иззапада, но его нигде не было видно — ни в длинном доме, ни на лугу, ни в лесу, ни в Доме Костей. Она начала сомневаться, что вся эта удивительная встреча была не просто сном, привидевшимся им всем.

Небо на востоке начинало сереть. Иагогэ спустилась к берегу озера, на женскую территорию за небольшой косой, заросшей леском, думая искупаться, пока вокруг никого не было. Она сняла с себя одежду, оставшись в одной сорочке, и вошла в озеро, остановившись, когда вода стала

выше колен, и начала мыться.

На другом берегу озера она заметила какое-то движение. Чёрная голова в воде — точно бобёр. Иззапад, поняла она, плавает в озере, прямо как выдра или бобёр. Возможно, он снова стал животным. Перед его головой по поверхности воды бежала рябь. Он дышал, как медведь.

Какое-то время она стояла неподвижно, а когда его ноги коснулись дна у самой косы, где было грязно, она повернулась и встала лицом к нему. Он заметил её и замер. На нём был только поясной ремень, как во время игры. Он сложил руки вместе и низко поклонился. Она медленно двинулась к нему в воде, с песчаного дна на глинистое.

— Пойдём, — сказала она тихо. — Я сделала выбор за тебя.

Он спокойно посмотрел на неё. Он выглядел намного старше, чем накануне.

— Спасибо, — сказал он и добавил что-то на своём языке.

Имя, подумала она. Её имя.

Они вышли из озера. Ногой она зацепилась за корягу и чинно положила руку на его подставленное плечо, чтобы сохранить равновесие. Она смахнула воду ладонью и оделась, а он подобрал свою одежду, сделав то же самое. Бок о бок они

вернулись к костру, проходя мимо людей, встречающих рассвет и мычащих себе под нос, мимо спящих вповалку тел. Иагогэ остановилась у одного из них. Текарнос, молодая женщина, уже не девушка, но незамужняя. Острая на язык, весёлая, умная и энергичная. Во сне ничего этого не было видно, но одна нога у неё была изящно вытянута, и под одеялом она выглядела сильной.

— Текарнос, — мягко сказала Иагогэ. — Моя дочь. Дочь моей старшей сестры. Племя Волка. Хорошая женщина. На неё всегда можно положиться.

Иззапад кивнул, снова сложив руки перед собой и наблюдая за ней.

— Я благодарен.

— Мы обсудим это с другими женщинами. Расскажем Текарнос, а затем и мужчинам.

Он улыбнулся, огляделся вокруг, как будто видя всё насквозь. Рана у него на лбу была свежей и всё ещё сочилась сукровицей. Солнце проглядывало из-за деревьев с востока, и пение у костров стало громче.

— Вы вдвоём принесёте в этот мир много добрых душ, — сказала она.

— Будем надеяться.

Она положила руку ему на плечо, как тогда,

когда они выходили из озера.

— Всё может случиться. Но мы, — имея в виду их двоих, женщин, всех ходеносауни, — постараемся не упустить ни одного шанса. Это всё, что в наших силах.

— Знаю, — он посмотрел на её руку на своём плече, на солнце в кронах деревьев. — Может, и правда всё будет хорошо.

Иагогэ, рассказчица этой истории, видела всё своими глазами.

Вот как вышло, что много лет спустя, когда джати снова собралось в бардо после долгой и непростой борьбы с чужеземцами, обосновавшимися в устье Восточной реки, после попыток выстоять перед лицом многочисленных болезней, не обошедших их стороной, после заключения союза с земляками Иззапада, которые так же, как они, сражались на западном побережье острова, после того как было сделано всё возможное, чтобы сплотить их народ и наслаждаться жизнью в лесу со своими сородичами и соплеменниками, Иззапад подошёл к Ключнику Вампума и гордо сказал ему:

— Придётся тебе признать, я сделал то, чего ты от меня требовал: я пришёл в мир и боролся за то, что считал правильным! И мы снова сделали

доброе дело!

Ключник, приблизившись к огромному помосту в судилище бардо, положил руку на плечо своему младшему брату и сказал:

— Да, ты славно потрудился, юноша. Мы сделали всё, что могли.

Но он уже смотрел вперёд, на высокие башни и зубчатые стены бардо, настороженный и недовольный, сосредоточенный на предстоящих задачах. Обстановка в бардо, казалось, стала ещё более китайской с момента их последнего визита — возможно, так же, как и во всех остальных царствах, а возможно, всё объяснялось обычным совпадением, вызванным их взглядом на вещи, но великая стена судилища была разбита на десятки этажей с коридорами, ведущими в сотни комнат, так что со стороны помост походил на разрез пчелиного улья.

Бог-бюрократ, стоявший у входа в этот лабиринт, по имени Бяньчен, раздавал руководства по описанию ожидающего их наверху процесса, толстые фолианты, озаглавленные «Нефритовой книгой», каждый длиной в сотни страниц, заполненный подробными инструкциями и обильно иллюстрированный различными наказаниями, которые они могли ожидать за преступления

и бесстыдства, совершённые в их последней жизни.

Ключник взял одну из толстых книг и, недолго думая, замахнулся ею, как томагавком, и ударил Бяньчена через заваленный бумагами стол. Ключник окинул взглядом длинную очередь душ, ожидающих своего судного часа, увидел, что все они изумлённо уставились на него, и закричал им:

— Бунт! Мятеж! Революция!

И, не дожидаясь их реакции, повёл своё маленькое джати в зеркальную комнату, которая была первой на их пути по этапам страшного суда, где души могли посмотреть на себя и увидеть, кем они были на самом деле.

— Хорошая идея, — признал Ключник, остановившись в центре комнаты и уставившись на своё отражение, видя то, чего не видел никто, кроме него. — Я чудовище, — заявил он. — Приношу вам всем свои извинения. В особенности тебе, Иагогэ, за то, что ты терпела меня в этот раз и во все предыдущие. И тебе, юноша, — он кивнул на Бушо, которого знал под именем Иззапад. — Однако нас ждут дела. Я намерен сровнять это место с землёй, — и он начал оглядывать комнату в поисках чего-нибудь, чем можно разбить зеркала.

— Подожди, — сказала Иагогэ. Она читала свой экземпляр «Нефритовой книги», быстро перелистывая страницы. — Лобовые атаки, насколько я помню, не приносят результата. Я начинаю вспоминать. Мы должны обратиться к самой системе. Тут нужно техническое решение… Вот. Вот что нам нужно: прямо перед тем, как нас вернут обратно в мир, богиня Мэн даст нам эликсир забвения.

— Я этого не помню, — сказал Ключник.

— В этом и суть. Мы вступаем в новую жизнь, не зная о своём прошлом, и каждый раз выбиваемся из сил, ничего не усвоив из прежнего опыта. Мы должны избежать этого, если получится. Так что слушайте и запоминайте: когда вы находитесь в ста восьми комнатах богини Мэн, ничего не пейте! Если вас заставят силой, только притворитесь, что пьёте, и выплюньте, как только вас отпустят, — она продолжала. — Мы выйдем из Конечной реки, реки крови, разделяющей это царство и мир. Если мы доберёмся туда, сохранив свой разум, то сможем действовать более взвешенно.

— Хорошо, — сказал Ключник. — Но я всё-таки намерен уничтожить само это место.

— Вспомни, что случилось, когда ты пытался

это сделать в прошлый раз, — предупредил Бушо, забившись в угол комнаты, откуда он видел отражения отражений. Отдельные воспоминания возвращались к нему, по мере того как говорила Иагогэ. — Когда ты поднял меч на богиню смерти, она лишь удваивалась с каждым твоим ударом.

Ключник нахмурился, усиленно вспоминая. Снаружи доносились гам, крики, пальба и топот сапог. Он отвлёкся и раздражённо ответил:

— В такие моменты нельзя осторожничать, нужно бороться со злом всякий раз, когда представляется случай.

— Да, но не теряя головы. Маленькими шажками.

Ключник смерил его скептическим взглядом. Он поднял вверх большой и указательный пальцы и свёл их вместе.

— Настолько маленькими?

Он выхватил книгу у Иагогэ из рук и швырнул ею в зеркальную стену. Одно зеркало треснуло, и из-за стены донёсся визг.

— Хватит спорить, — одёрнула их Иагогэ. — Лучше держите ухо востро.

Ключник подобрал упавшую книгу, и они поспешили по коридору тесных комнат, то поднимаясь выше и выше, то опускаясь, то снова

поднимаясь, вверх и вниз по лестницам, с количеством ступеней, числом кратным семи или девяти. Ключник поколотил ещё несколько чиновников своей толстой книгой. Пролом-в-Скале то и дело шнырял в боковые комнаты и куда-то девался.

Наконец они добрались до ста восьми покоев Мэн, богини забвения. Каждый из них должен был пройти через какую-то одну комнату и испить из приготовленной для них чаши вина, которое не было вином. Стражники, по виду которых казалось, что удара книгой, даже самой толстой, они не заметят, стояли у каждого выхода, следя за тем, чтобы условие было исполнено: души не должны возвращаться к жизни, обременённые или слишком много почерпнувшие в своём прошлом.

— Я отказываюсь, — прокричал Ключник, так что все услышали его из соседних комнат. — Я не помню, чтобы раньше от нас требовалось что-то подобное!

— Это потому, что мы делаем успехи, — попытался крикнуть ему Бушо. — Помни наш план, помни наш план.

Он взял свой сосуд, к счастью, довольно маленький, и сделал вид, что выпил сладкое содержимое

чаши, преувеличенно сглотнув, а сам спрятал жидкость под языком. Это Этот напиток был так хорош на вкус, что у него возникло сильное искушение проглотить его, но он сдержался и позволил лишь капельке скатиться по языку в горло.

Поэтому, когда стражник вышвырнул его вместе с остальными в воды Конечной реки, он выплюнул всё, что осталось, но, тем не менее, плохо понимал, что происходит. Остальные члены джати барахтались вместе с ним на мелководье, задыхаясь и отплёвываясь, а Сломанная Стрела пьяно хихикал, ничего не замечая вокруг. Иагогэ собрала их, и Ключник, даже если забыл что-то, не утратил своей главной цели, а именно: сеять хаос любыми доступными способами. Они полуплыли, покачиваясь на красных волнах, несущих их к дальнему берегу.

Там, у высокой красной стены, их вытащили из реки двое демонических божков бардо, Жизнь Коротка и Медленная Смерть. Высоко на стене у них над головами было растянуто знамя с лозунгом, гласившим: «Быть человеком легко, жить человеческой жизнью трудно; желать стать человеком во второй раз ещё труднее. Если вы хотите выйти из колеса, упорствуйте».

Ключник прочитал надпись и фыркнул.

— «Во второй раз»... А десятый не хотите? А пятидесятый?

И, взревев, он столкнул Медленную Смерть в кровавую реку. Они выплюнули в её русло достаточно напитка забвения богини, чтобы божок-привратник быстро позабыл, кто его толкнул, в чём состояла его работа и как это — плавать.

Но остальные в джати видели, что сделал Ключник, и их цель всплыла в сознании с особенной ясностью. Бушо толкнул в реку второго привратника:

— Правосудие! — крикнул он вслед вмиг растерявшемуся пловцу. — Жизнь действительно коротка!

Выше по течению, на берегу Конечной реки, появились другие стражники и бросились к ним. Члены джати действовали быстро и наконец-то как одна команда; завязав узлами болтавшееся на стене знамя, они скрутили из него подобие верёвки, с помощью которой смогли перелезть через Красную Стену. Бушо, Ключник, Иагогэ, Пролом-в-Скале, Сломанная Стрела, Чудак и все остальные вскарабкались на вершину стены, достаточно широкую, чтобы растянуться на ней

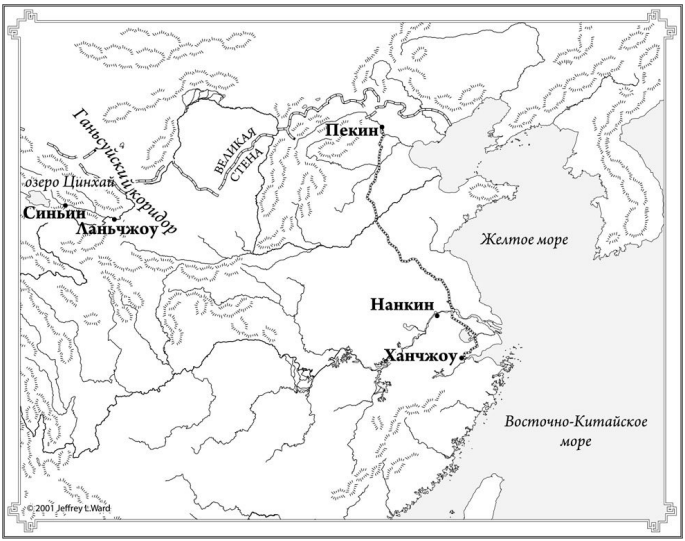
в полный рост. Там они смогли отдышаться и осмотреться: оглянуться назад, на тёмное, затянутое дымом бардо, ввергнутое в ещё больший хаос развернувшейся там перепалкой. Похоже, они затеяли всеобщий бунт; заглянуть вперёд, в мир, окутанный облаками.

— Всё так, как тогда, когда они повели Бабочку на вершину горы, чтобы принести в жертву, — проговорил Ключник. — Теперь я помню.

— Там, внизу, мы можем сделать что-то новое, — сказала Иагогэ. — Всё зависит от нас. Не забывайте!

И они прыгнули со стены, падая вниз, как капли дождя.

Книга шестая. Вдова Кан



1. Дело об украденных душах

Вдова Кан всегда с особой дотошностью относилась к церемониальным аспектам своего вдовства. Себя она называла не иначе как «вэйван-жэнь»: «та, которая ещё не мертва». А от предложения сыновей отпраздновать её сорокалетие отказалась со словами: «Это недопустимо для той, которая ещё не мертва».

Овдовев в возрасте тридцати пяти лет, сразу после рождения третьего сына, она погрузилась в пучину отчаяния: Кун Синя, своего супруга, она очень любила. Однако мысли о самоубийстве она отвергла, считая их мирской блажью. В более точной же интерпретации конфуцианского долга самоубийство недвусмысленно трактовалось как отказ от ответственности перед своими детьми и мужниной роднёй, а уж об этом, конечно, не могло быть и речи. Тунби, вдова Кан, была исполнена решимости и после пятидесяти лет хранить целибат, сочинять стихи, штудировать работы классиков и управлять семейным хозяйством. По наступлении пятидесятилетия ей полагался аттестат благочестивой вдовы и благодарность, выписанная изящным каллиграфическим по-

черком императора Цяньлуна, которую она намеревалась вставить в рамочку и повесить над порогом своего дома. А сыновья могли бы даже возвести каменную арку в её честь.

Двое старших её сыновей, состоя чиновниками на службе у императора, колесили по стране, в то время как младшего вдова растила сама, продолжая вести семейное хозяйство, оставшееся в Ханчжоу. Количество домочадцев теперь сократилось до её сына Сиха и слуг, оставленных старшими сыновьями. Главным источником дохода для семьи оставалось шелководство, поскольку старшие сыновья пока были не в том положении, чтобы посылать домой крупные суммы денег, так что всё производство шёлка, от прядения до вышивки перешло под её начало. Ни один окружной магистрат не знал такой железной руки. И это также почиталось учениями Ханя: в благополучных семьях женский труд (чаще всего — производство конопли и шёлка) считался добродетелью задолго до того, как цинские реформы возродили его официальную поддержку.

Вдова Кан жила в женском секторе небольшой усадьбы, расположенной на берегу реки Чу. Наружные стены усадьбы были оштукатурены,

внутренние — покрыты деревянной черепицей, а женщинам в самом дальнем её конце отведён красивый белый дом квадратной формы с черепичной крышей, залитый светом и полный цветов. В этом доме и в примыкающих к нему мастерских вдова Кан и её женщины ткали и вышивали по несколько часов в день, а то и больше, если день выдавался светлый. И здесь же по её требованию младший сын зачитывал отрывки из классических произведений, заученные наизусть. Работала ли она за ткацким станком, щёлкая вверх-вниз челноком, или пряла вечером нитки, или корпела над крупными узорами вышивки — в любое время она гоняла Сиха по «Аналектам» Конфуция или текстам Менция, настаивая на дословном запоминании, как в своё время будут настаивать экзаменаторы. Маленькому Сиху зубрёжка давалась даже с большим трудом, чем его старшим братьям, которым едва удалось пройти минимальный порог, и нередко вечер заканчивался слезами. Но Кан Тунби была неумолима, и, дождавшись, когда высохнут слёзы, она велела сыну продолжать. Со временем дела у него пошли лучше. Но он рос нервным и несчастливым ребёнком.

Поэтому радости Сиха не было предела, когда

серые домашние будни прерывались праздниками. Все три дня рождения бодхисаттвы Гуаньинь свято чтились его матерью, особенно главный из них — девятнадцатый день шестого месяца. Строгость уроков ослабевала по мере приближения великого торжества, когда вдова приступала к собственным приготовлениям: занималась чтением, сочинением стихов, сбором благовоний и раздачей продуктов живущим по соседству беднякам, — все эти занятия добавлялись к её и без того насыщенному графику. В канун праздников она постилась и воздерживалась от всяких нечистых помыслов, в том числе от гневливости, приостанавливая на время обучение Сиха и принося воздаяния в маленьком поселковом святилище.

Когда мы были маленькими,

Старик на луне оплетал красными нитями наши ноги.

Мы встретились и поженились, теперь тебя нет.

Жизнь эфемерная течёт как ручей;

На все эти годы нас вмиг разделила смерть.

Слёзы стоят в глазах, когда наступает

осень.

Та, кто ещё не мертва, снится далёкому призраку.

Журавль летит, лепестки опадают с цветка;

В одиночестве и унынии я откладываю рукоделие

И выхожу во двор, чтобы пересчитать гусей,

Отбившихся от своих стай. Бодхисаттва Гуаньинь

Да поможет мне пережить эти холодные последние годы.

Когда наступал день торжества, постились все, а вечером присоединялись к церемониальному шествию и поднимались на вершину местного холма, неся с собой в мешке сандаловое дерево, размахивая знамёнами, зонтами и бумажными фонарями, следуя за флагом своего храма туда, куда указывал путь большой смоляной факел, отгоняющий демонов. Восторг от ночной процессии, вкупе с перерывом в занятиях, превращал этот день в грандиозный праздник для Сиха, который ступал позади матери, крутя в руках бумажный фонарь, распевая гимны и испытывая

такое счастье, которого обычно был лишён.

— Мяо Шань была девушкой, которая отказалась выходить замуж по приказу отца, — рассказывала его мать идущим впереди молодым женщинам, хотя все они уже слышали эту историю. — Разгневавшись, он отправил её в монастырь, а после сжёг тот монастырь дотла. Бодхисаттва Дицзанг-ван забрал её дух в Лес Мертвецов, где она помогала призракам обрести покой. После этого она прошла все области преисподней, обучая духов превозноситься над своими страданиями, и так в этом преуспела, что бог Яма возвратил её как бодхисаттву Гуаньинь, чтобы впредь она помогала осваивать это славное умение живым, пока ещё не слишком поздно.

Сих пропускал мимо ушей уже прекрасно известную ему легенду, в которой не видел смысла. Ничто в этой истории не походило на жизнь вдовы, и потому Сих не понимал, чем она так пленила его мать. Пение, свет костра и сильный дымный запах ладана встречали их в святилище на вершине холма. Там буддийский настоятель читал молитвы, а люди пели и ели маленькие сладости.

Много времени спустя, после захода луны, они спустились с холма и возвращались домой по

берегу реки, распевая песни в зябкой темноте. Их домочадцы двигались медленно — не только из-за усталости, но подстраиваясь под семенящую поступь вдовы Кан. Несмотря на миниатюрные красивые стопы, передвигалась она почти так же споро, как и плосконогие служанки, делая шажки быстрыми и характерно вращая бёдрами, но никто никогда не указывал ей на эту особенность.

Ши ушёл вперёд, сжимая в руке последнюю оплывшую свечу, и в её свете заметил движение у поселковой стены — большую тёмную фигуру, бредущую точно такой же неуклюжей поступью, что и его мать, — так что на мгновение Сиху показалось, будто это её тень он видит на стене.

Но тут раздался звук, похожий на собачий скулёж, и Сих отскочил назад, предупредительно вскрикнув. Люди бросились вперёд, Кан Тунби впереди всех, и в свете факелов они увидели человека в рваных одеждах. Грязный, согбенный, он уставился на них испуганными, огромными в свете факелов глазами.

— Вор! — прокричал кто-то.

— Нет, — отозвался он хриплым голосом. — Я Бао Сю. Я буддийский монах из Сучжоу. Я просто хотел набрать воды из реки. Вон там, я слышу, — он махнул рукой в сторону реки и поковылял,

было, на звук.

— Попрошайка, — сказал ещё кто-то.

Но ходили слухи, что к западу от Ханчжоу объявились колдуны, и вдова Кан поднесла фонарь к лицу человека вплотную, вынуждая того щуриться.

— Настоящий монах или один из тех проходимцев, что отсиживаются в храмах?

— Настоящий, даю слово. У меня был документ, но его изъяли в магистрате. Я был учеником мастера Юя из Храма лиловой бамбуковой рощи.

И он начал читать Алмазную сутру, любимую женщинами зрелого возраста.

Кан внимательно изучила его лицо в свете фонаря. Она заметно вздрогнула и сделала шаг назад.

— Я тебя знаю? — пробормотала она, а потом воскликнула: — Я тебя знаю!

Монах склонил голову.

— Не могу представить, откуда, госпожа. Я родом из Сучжоу. Быть может, вы там бывали?

Она взволнованно помотала головой, внимательно заглядывая ему в глаза.

— Я знаю тебя, — прошептала она.

Затем обратилась к слугам:

— Он может переночевать у задней калитки.

Сторожите его, утром мы узнаем остальное. Сейчас слишком темно, чтобы разглядеть человеческую натуру.

Утром к гостю присоединился мальчишка всего на несколько лет младше Сиха. Одинаково грязные, они сосредоточенно просеивали компост в поисках свежих объедков, которые тут же с жадностью поглощали. По-лисьи настороженно они наблюдали за домочадцами у ворот. Но убежать не могли: лодыжки монаха распухли и были покрыты синяками.

— За что тебя задержали? — требовательно поинтересовалась Кан.

Мужчина заколебался, опустив взгляд на мальчишку.

— Возвращаясь в Храм лиловой бамбуковой рощи, мы с сыном проезжали одну деревню, где именно в это время какому-то мальчишке, по всей видимости, отрезали косу.

Кан зашипела, и мужчина вскинул руку, глядя ей прямо в глаза.

— Мы не колдуны. Потому нас и отпустили. Но меня зовут Бао Сю, я четвёртый сын Бао Цзюя, и когда допрашивали нищего, которого арестовали за то, что тот проклял деревенского старосту, он сказал, что имел дело с колдуном по имени Бао

Сю-Цзюй. Судья решил, что этим человеком мог быть я. Но я не краду души. Я обычный бедный монах, и это мой сын. В конце концов, они нищего привели снова, и он признался, что выдумал всё это, чтобы прекратить допрос. И нас отпустили.

Кан смотрела на них с неослабевающим подозрением. Не ввязываться в конфликты с судьями было непреложным правилом, так что по крайней мере в этом они были повинны.

— Тебя тоже пытали? — спросил Сих у мальчика.

— Хотели, — ответил тот, — но вместо этого дали мне грушу, и я сказал им, что отца зовут Бао Сю-Цзюй. Я думал, так и есть.

Бао продолжал поглядывать на вдову.

— Вы не возражаете, если мы наберём воды из реки?

— Нет. Конечно, нет. Ступай.

Он поковылял по тропинке к реке, и она проводила его взглядом.

— Нельзя их впускать, — решила она. — Сих, ты тоже не подходи к ним близко. Впрочем, они могут сторожить святилище у ворот. Пока не наступит зима, здесь им будет лучше, чем в пути.

Это не удивило Сиха. Его мать всегда подбирала бездомных кошек и оставленных наложниц;

она помогала в городском сиротском приюте и поддерживала буддийских монахинь деньгами из семейного бюджета. Она часто говорила о том, чтобы самой уйти в монахини. И писала стихи:

— Цветы, по которым я ступаю, ранят моё сердце, — зачитывала она строки одного из своих дневных стихотворений. — Когда закончатся мои дни риса и соли, я перепишу сутры и буду молиться весь день. Но до тех пор нам всем лучше заняться делом насущным!

С тех пор монаха Бао и его сына постоянно видели у ворот поселения и у ближних берегов, в бамбуковых рощах и в храме, скрытом в редеющем лесу. Бао так и не избавился от хромоты, но значительно окреп по сравнению с ночью просветления Гуаньинь, а с тем, что было ему не под силу, за двоих управлялся его сын Циньу, очень сильный для своего роста. На следующий Новый год они присоединились к торжествам, и Бао удалось раздобыть и раскрасить в красный цвет несколько яиц, которые он раздал Кан, Сиху и другим местным[23].

Бао презентовал яйца самым торжественным

---

[23] Примечания: 23

Этот обычай был распространён в Южном Китае и назывался «раздачей новогоднего счастья». Вероятно, автор намекает на то, что монах Бао соврал о месте своего рождения (*прим. автора*).

образом.

— Гэ Хун пишет, что, по словам Будды, космос имеет форму яйца и Земля — это желток внутри неё, — он протянул яйцо Сиху и добавил: — Возьми яйцо, положи его на ладонь и попробуй раздавить.

Сих был в недоумении, а Кан возразила:

— Оно слишком красивое.

— Не волнуйтесь, оно выдержит. Ну же, сожми его. Я всё уберу, если раздавишь.

Сих осторожно надавил, отворачиваясь в сторону, потом надавил сильнее. Он стискивал яйцо, пока не устали мышцы на предплечье. Яйцо выдержало. Вдова Кан взяла у него яйцо и попробовала сама. Её руки были хорошо натренированы вышивкой, но яйцо выдержало.

— Вот видишь, — сказал Бао. — Яичная скорлупа — хрупкая вещь, но изгиб силён. Так же и с людьми. Каждый слаб по отдельности, но вместе люди сильны.

После этого в дни религиозных праздников Кан часто присоединялась к Бао за воротами и обсуждала с ним буддийские писания. Всё остальное время она не обращала на гостей внимания, сосредоточенная на жизни в стенах поселения.

Учёба по-прежнему давалась Сиху плохо. В

арифметике он не мог освоить ничего сложнее сложения и забывал все классические тексты, кроме нескольких начальных слов. Мать была крайне огорчена его успехами.

— Сих, я ведь знаю, что ты неглупый мальчик. Твой отец обладал выдающимся умом, твои братья тоже неглупого десятка, и сам ты за словом в карман не лезешь, когда нужно объяснить, что ты опять ни в чём не виноват и всё всегда должно быть по-твоему. Сосредоточься на уравнениях так же, как на оправданиях, и всё получится! Но ты горазд только придумывать, как бы тебе ни о чём не думать!

Никто бы на его месте не выдержал такого потока грубых упрёков. Дело было даже не столько в самих словах, сколько в том, как их произнесла Кан, словно прокаркала, желая задеть за живое. Перед изгибом её губ и испепеляющим, самоуверенным взглядом, проникающим прямо в душу, пока слова били наотмашь, невозможно было сохранить самообладание. Горько заплакав, Сих привычно сбежал от очередной вспышки её губительного гнева.

Вскоре после выговора он примчался с рынка, рыдая уже не на шутку. Он буквально визжал, заходясь в истерическом припадке:

— Моя коса, моя коса, моя коса!

Коса была отрезана. Слуги переполошились, заголосили, поднялся страшный гвалт, которому вмиг положил конец скрипучий голос матери:

— Всем молчать!

Она схватила Сиха за руки и усадила на подоконник, где он часто сидел во время своих уроков. Грубым жестом она смахнула слёзы с его щёк и погладила по голове.

— Ну, будет, будет, успокойся. Успокойся! Говори, что случилось.

Судорожно всхлипывая и заикаясь, он кое-как сумел всё рассказать. По дороге с рынка домой он остановился, засмотревшись на жонглёра, как вдруг чьи-то ладони закрыли ему глаза, а на лицо набросили ткань, закрывшую и рот, и глаза. Тогда у него закружилась голова, и он упал наземь, а когда поднялся на ноги, вокруг никого не было, и его косичка пропала.

Пока он вёл свой рассказ, Кан внимательно за ним наблюдала, а когда он закончил и уставился в пол, поджала губы и подошла к окну. Она долго смотрела на хризантемы, растущие под старым кряжистым можжевельником. Наконец к ней подошла старшая служанка, Пао. Сиха увели, чтобы он мог умыться и поесть.

— Что нам делать? — тихо спросила Пао.

Кан тяжко вздохнула.

— Нужно сообщить об этом, — мрачно сказала она. — Если мы этого не сделаем, об этом всё равно станет известно, когда слуги разнесут сплетни по всему рынку. И тогда все подумают, будто мы поддерживаем мятежников[24].

— Конечно, — согласилась Пао с облегчением. — Мне пойти в магистрат и сообщить об этом?

Ответа долго не было. Пао смотрела на вдову Кан, и страх всё больше и больше охватывал её. Кан будто пребывала под властью злых чар и даже в этот момент сражалась с похитителями душ за душу своего сына.

— Да. И возьми с собой Чуньли. Мы с Сихом выйдем следом за вами.

Пао ушла. Кан обошла дом, разглядывая вещи, словно что-то выискивая в комнатах. Наконец она вышла за ворота и медленно побрела по тропинке вдоль реки.

На берегу, под большим дубом, она встретила

---

[24] Примечания: 24

Правители династии Цин заставляли всех ханьских китайцев брить лбы и отпускать косы, заплетённые на маньчжурский манер, чтобы демонстрировать покорность ханьцев своим маньчжурским императорам. В годы, предшествовавшие заговору «Белого лотоса», ханьские радикалы начали отрезать свои косы в знак мятежа (*прим. автора*).

Бао и его сына Циньу — там они проводили всё свое время. Она сказала:

— Кто-то отрезал Сиху косу.

Лицо Бао посерело. На лбу выступили капли пота.

— Мы сейчас же отведём его к судье, — сказала Кан.

Бао, сглотнув, кивнул. Он бросил взгляд на Циньу.

— Если ты желаешь совершить паломничество к какому-нибудь далёкому святилищу, — процедила Кан, — мы могли бы присмотреть за твоим сыном.

Бао с разбитым видом снова кивнул. Кан обратила взгляд на течение реки в полуденном свете. Она прищурилась от полос солнечных бликов на воде.

— Если ты уйдёшь, — добавила она, — все будут уверены, что это сделал ты.

Река текла мимо них. Чуть поодаль на берегу Циньу бросал в воду камни и визжал от брызг.

— Если я останусь, тоже, — наконец произнёс Бао.

Кан не ответила.

Через некоторое время Бао подозвал Циньу и сообщил, что ему предстоит долгое паломни-

чество и потому Циньу должен остаться с Кан, Сихом и их домочадцами.

— Когда ты вернёшься? — спросил Циньу.

— Скоро.

Циньу остался доволен ответом — или же просто не хотел задумываться об этом.

Бао протянул руку и коснулся рукава Кан.

— Спасибо.

— Ступай. Смотри, чтобы тебя не поймали.

— Непременно. Когда смогу, я пошлю весточку в Храм лиловой бамбуковой рощи.

— Нет. Если от тебя не будет вестей, мы будем знать, что всё хорошо.

Он кивнул. Уже уходя, он заколебался.

— Знаете, госпожа, все существа на этом свете прожили не одну жизнь. Вы говорите, что мы встречались раньше, но до праздника в честь Гуаньинь я никогда не бывал в этих краях.

— Я знаю.

— Стало быть, мы знали друг друга в какой-то прежней жизни.

— Я знаю, — она бросила на него короткий взгляд. — Уходи.

Он поковылял по тропинке, вверх по течению реки, оглядываясь по сторонам в поисках свидетелей своего бегства: на дальнем берегу

трудились рыбаки в соломенных шляпах, ярко блестевших на солнце.

Кан отвела Циньу в дом, после чего села на паланкин и повезла безутешного Сиха в город, где располагался магистрат.

Недовольство судьи, которому досталось этакое дело, было таким же явным, как и недовольство вдовы Кан. Но, как и она, он не мог себе позволить закрыть на это глаза, поэтому он строго допросил Сиха и велел отвести их на место происшествия. Сих указал на участок тропинки рядом с бамбуковой рощицей, аккурат вне поля зрения торговцев с крайних прилавков местного рынка. Никто из постоянных обитателей этого места не видел там в это утро ни Сиха, ни подозрительных незнакомцев. Они зашли в полный тупик.

И Кан отправилась домой вместе с Сихом, а тот всё рыдал и причитал, как ему нездоровится и что сегодня он ничего не сможет выучить. Кан поглядела на него и разрешила ему устроить себе выходной, сперва заставив проглотить гипсовой пудры, смешанной с коровьим желчным камнем. Ни от Бао, ни от судьи новостей не было, а Циньу отлично поладил с домашними слугами. Кан первое время не донимала Сиха, пока однажды не рассердилась и не схватила за то, что осталось

от его косички, рывком усадив его на учебное место, приговаривая:

— Ты у меня всё сдашь, и я не посмотрю, что у тебя душа украдена! — и вперилась взглядом в его полукошачью физиономию, пока он не пробубнил всё, что было задано в тот день, когда ему обрезали косу, полный жалости к себе и упрямства перед материнским гневом. Но та была ещё упрямее. Если Сих не хочет учиться, он останется без ужина.

Затем стало известно, что Бао перехватили в горах к западу от их селения и вернули в город, где его допрашивали судья и окружной префект. Солдаты, принесшие весть, настояли, чтобы Кан и Сих немедленно отправились в префектуру, и даже отправили паланкин, чтобы доставить их на место.

Услышав эту новость, Кан зашипела и удалилась в свои покои, переодеваться для выезда в город. Слуги заметили её дрожащие руки — да что там, её всю трясло, а губы побелели так, что никакая помада не могла придать им краски. Прежде чем выйти из комнаты, она села перед ткацким станком и горько заплакала. А наплакавшись, встала, накрасила заново глаза и вышла к солдатам.

У префектуры Кан спустилась с паланкина и потащила Сиха в приёмную палату префекта. Там её затормозили стражники, но судья сам подозвал её и мрачно добавил:

— Это та самая женщина, которая приютила его.

Сих, услышав это, съёжился и выглянул из-за расшитого шёлкового платья Кан. Рядом с судьёй и префектом в палате находилось ещё несколько чиновников в рясах, с рукавами, перехваченными браслетами. На их одеждах красовались знаки отличия с изображениями медведя, оленя и даже орла, выдающие в них очень высокопоставленных лиц.

Они, впрочем, не проронили ни слова, молча восседая в креслах и наблюдая за судьёй и префектом, которые стояли рядом с несчастным Бао. Бао был обездвижен деревянным приспособлением, которое удерживало его руки в кандалах над головой, а ноги — в тисках для лодыжек.

Тиски для лодыжек — устройство нехитрое. Из деревянного каркаса торчали три столбца. Центральный, помещённый между лодыжек Бао, крепился к основанию тисков. Два других же примерно на уровне пояса соединялись со средним колышком железным стержнем, кото-

рый проходил через все три столбца так, чтобы внешние могли свободно двигаться. Положение больших болтов говорило о том, что столбцы ещё можно развести в стороны. Лодыжки Бао были зафиксированы по обе стороны от среднего колышка, и нижние основания внешних столбцов плотно прижимались к его ногам снаружи, а их верхушки были отодвинуты от среднего столбца деревянными клиньями. Тиски плотно сжимали ноги Бао, а каждый последующий удар большого судейского молотка по клиньям заставлял Бао ощутить на своих лодыжках всю мощь этого приспособления.

— Отвечай на вопрос! — взревел судья, наклоняясь, чтобы кричать ему прямо в лицо.

Он выпрямился, медленно отошёл назад и нанёс резкий удар молотком по ближайшему клину.

Бао взвыл. Он ответил:

— Я монах! Я жил у реки со своим сыном! Мне запрещали уходить дальше! Я никуда не ходил!

— Почему у тебя в сумке ножницы? — спросил префект тихо, но строго. — Ножницы, порошки, книги. И прядь волос.

— Это не волосы! Это мой талисман из храма, посмотрите на плетение! Это священные писания

из храма… Ай!

— Это волосы, — решил префект, поднося их к свету.

Судья снова ударил молотком.

— Это не волосы моего сына, — вмешалась вдова Кан ко всеобщему удивлению. — Этот монах живёт поблизости от нашего дома. Он никуда не ходит, кроме как к реке за водой.

— Откуда вы знаете? — поинтересовался префект, сверля Кан взглядом. — Откуда вам это может быть известно?

— Я всегда вижу его там, в любое время суток. Иногда он носит нам воду и дрова. У него есть сын. Он сторожит наш алтарь. Он обычный бедный монах и попрошайка. Искалеченный вашими руками, — добавила она, указывая на тиски.

— Что здесь делает эта женщина? — спросил префект у судьи.

Тот сердито пожал плечами.

— Она всего лишь свидетельница.

— Я не вызывал свидетелей.

— Мы вызывали, — вмешался один из губернаторских чиновников. — Допросите её.

Судья повернулся к вдове.

— Можете ли вы поручиться за местонахождение этого человека девятнадцатого числа

прошлого месяца?

— Как я и сказала, он находился на моей территории.

— Именно в этот день? Как вы можете быть уверены?

— На следующий день был праздник просветления Гуаньинь, и Бао Сю помогал нам в подготовке. Мы весь день работали, не покладая рук, готовясь к жертвоприношениям.

В палате воцарилась тишина. Затем приезжий сановник грубо спросил:

— Так вы буддистка?

Вдова Кан наградила его невозмутимым взглядом.

— Я вдова буддиста Кун Синя, который служил местным яменом до своего смертного дня. Мои сыновья Кун Йен и Кун Йи уже сдали экзамены и служат императору в Нанкине, и…

— Ладно, ладно, но я вас спрашиваю: вы — буддистка?

— Я следую ханьским законам, — холодно отвечала Кан.

Допрашивавший её чиновник был маньчжуром и занимал высокий пост при императоре Цяньлуне. Он слегка побагровел.

— Какое это имеет отношение к вашей рели-

гии?

— Прямое, разумеется. Я исповедую старые обычаи, чтобы почтить мужа, родителей и предков. То, чем я занимаюсь, коротая свои дни перед воссоединением с мужем, уж точно никого, кроме меня, не касается. Такова духовная жизнь старой женщины, которая ещё не мертва, ничего более. Но я знаю, что я видела.

— Сколько вам лет?

— Сорок один суй[25].

— Стало быть, весь девятнадцатый день девятого месяца вы провели в обществе этого нищего.

— Достаточно, чтобы знать, что он бы не успел сходить на городской рынок и вернуться обратно. Днём я, конечно же, работала за ткацким станком.

В комнате снова стало тихо. Затем маньчжурский чиновник раздражённо дал отмашку судье.

— Продолжайте его допрашивать.

Бросив злобный взгляд на Кан, судья склонился над Бао и крикнул на него:

— Зачем тебе в сумке ножницы?

— Для изготовления талисманов.

---

[25] Примечания: 25

При исчислении возраста в китайской традиции за первый год жизни принимается лунный год рождения человека, и в каждый Новый год к возрасту добавляется один год (*прим. автора*).

Судья вбил клин ещё сильнее, чем прежде, и Бао снова завопил.

— Говори, для чего они нужны тебе на самом деле? Откуда у тебя коса в сумке? — вопрошал он, гневно ударяя молотком на каждом вопросе.

Затем вопросы задавал префект, и каждый из них опять сопровождался ударом молотка разъярённого судьи и непрерывными стонами Бао.

Наконец Бао, весь пунцовый и взмокший от пота, вскричал:

— Хватит, умоляю, остановитесь! Я сознаюсь. Я расскажу всё, как было.

Судья положил молоток поверх одного клинышка.

— Рассказывай.

— Один колдун обманом склонил меня к пособничеству. Сначала я даже не понял, с кем имею дело. Мне грозили, что, если я им не помогу, они похитят душу моего сына.

— Как звали этого колдуна?

— Бао Сю-нен, почти как меня. Он прибыл из Сучжоу, и у него было много сообщников. За ночь они могли облететь весь Китай. Он дал мне немного дурманящего порошка и сказал, что делать. Умоляю, ослабьте тиски, пожалуйста. Я говорю чистую правду. Мне пришлось это сде-

лать. Пришлось ради души моего мальчика.

— Так всё-таки это ты отрезал косы девятнадцатого числа прошлого месяца?

— Только одну! Только одну, умоляю. Меня заставили. Умоляю, ослабьте тиски хоть немного.

Маньчжурский чиновник вскинул брови, глядя на вдову Кан.

— Значит, вы провели с ним не так много времени, как уверяли. Возможно, оно и к лучшему для вас.

Кто-то хихикнул.

— Все мы слышали о чистосердечных признаниях, которые вытягивают с помощью тисков, — произнесла Кан с решительной хрипотцой. — Только на таких признаниях и зиждется эпидемия повсеместного «похищения душ», что лишь сеет панику среди рабочих и прислуги. Большей медвежьей услуги императору и придумать нельзя…

— Молчать!

— Вы посылаете донесения императору, доставляя ему массу беспокойства, но стоит провести более компетентное расследование, как на свет выплывает цепочка ложных свидетельств…

— Молчать!

— Всё прозрачно, как стекло! Император ещё

увидит!

Маньчжурский чиновник вскочил и ткнул в Кан пальцем.

— Возможно, вы желаете занять место этого колдуна в тисках?

Кан промолчала. Сих рядом с ней задрожал. Она оперлась на него и выставила вперёд одну ногу, пока из-под платья не показалась обутая в маленькую шёлковую туфельку ступня. Она посмотрела маньчжуру прямо в глаза.

— Я это уже перенесла.

— Выведите эту сумасшедшую с допроса, — потребовал маньчжур сдавленным тоном, побагровев лицом.

Женская нога, выставленная на всеобщее обозрение при расследовании столь тяжкого преступления, как похищение души, — вопиющее нарушение всяких норм[26].

— Я свидетельница, — возразила Кан, не двигаясь с места.

— Госпожа, — окликнул её Бао. — Уходите, прошу вас. Послушайтесь судью, — он едва мог повернуть голову так, чтобы посмотреть на

---

[26] Примечания: 26

Благовоспитанным китаянкам не пристало упоминать в разговоре свои ноги или показывать их на публике. Очень смело для женщины (*прим. автора*).

неё. — Всё будет хорошо.

И они ушли. По дороге домой Кан плакала в паланкине стражи, отмахиваясь от рук Сиха, который тянулся её успокоить.

— Что случилось, мама? Что?

— Я опозорила нашу семью. Я растоптала самые заветные надежды моего мужа.

Сих встревожился.

— Но он простой бедняк.

— Молчи! — прошипела она и выругалась, как какая-то служанка. — Ох, этот маньчжур! Проклятые иностранцы! И не китайцы даже. Не истинные китайцы. Каждая династия начинает с хорошего, наводя порядок после упадка, оставленного их предшественниками. Но затем наступает их черёд вырождаться. Для Цин это время уже наступило. Вот почему они так озабочены остриганием кос. Косы — их клеймо на нас, клеймо на каждом китайце.

— Но таков порядок, мама. Династию не сменить!

— Нет. Ах, какой позор! Я потеряла самообладание. Не следовало мне туда идти. Из-за меня бедняге Бао и его ногам только больше достанется.

Дома она сразу отправилась в женские по-

кои. Она постилась, беспрестанно ткала от пробуждения до отхода ко сну и ни с кем не разговаривала.

Затем пришло известие, что Бао скончался в тюрьме от лихорадки, которая не имела никакого отношения к допросу, или, во всяком случае, так утверждали тюремщики. Кан, в слезах, убежала к себе и отказывалась выходить. На людях она показалась только через несколько дней, и с утра до ночи ткала или писала стихи, обедая прямо за ткацким станком или письменным столом. Она отказывалась заниматься с Сихом уроками и даже вовсе с ним разговаривать, что огорчало его и пугало даже больше любых её слов. Но ему нравилось играть на берегу реки. Циньу было велено держаться от него подальше, и мальчика воспитывали слуги.

Бедная моя обезьянка уронила персик,
Новая луна позабыла светить.
Некому больше лазать по соснам,
Нет обезьянки на спине.
Возвращайся бабочкой,
А я стану тебе сниться.

Однажды, вскоре после этих событий, Пао

принесла Кан маленькую чёрную косичку, найденную в шелковичном компосте слугой, который ворочал навоз. Угол, под которым была срезана коса, совпадал с коротким хвостиком, оставшимся у Сиха на затылке. Увидев это, Кан зашипела, ворвалась в комнату Сиха и наотмашь ударила его по уху. Он расплакался и завыл:

— За что? За что?

Оставив его без ответа, Кан, застонав, вернулась в женские покои, схватила ножницы и исполосовала шёлковую ткань, натянутую на пяльцах. Служанки испуганно заголосили, не веря своим глазам. Хозяйка дома окончательно сошла с ума. Никогда ещё они не видели её в такой истерике, даже когда умер её муж.

Позже она приказала Пао молчать о находке. Но слуги так или иначе всё равно прознали, и Сих сделался изгоем в родном доме. Он же как будто не обращал на это внимания.

Но с тех пор вдова Кан перестала спать по ночам. Она часто посылала Пао за вином.

— Я снова видела его, — говорила она. — На этот раз он был молодым монахом, но одет в другую рясу. Он был хуэем, а я — молодой царицей. Он спас меня, и мы убежали с ним вдвоём. Теперь его призрак голоден и блуждает между мирами.

Они возложили ему подношения на землю у ворот и под окнами. Но Кан продолжала будить дом своими криками, похожими на павлиньи. Иногда её замечали ходившей во сне среди домов посёлка, она что-то бормотала на чужих языках и чужими голосами. Всем было известно, что нельзя будить человека, ходящего во сне, чтобы не спугнуть и не смутить его дух и не помешать тому вернуться в своё тело. Поэтому слуги ходили впереди неё, отодвигая мебель, чтобы вдова не поранилась, и щипали петуха, чтобы запел пораньше. Пао уговаривала Сиха написать старшим братьям и рассказать о том, что происходит с вдовой Кан, или хотя бы записывать за матерью слова, которые она произносила во сне, но Сих отказывался.

В итоге Пао рассказала об этом сестре старшего слуги старшего брата Ши на рынке, пока та гостила в Ханчжоу, и после этого вести в конце концов настигли старшего из сыновей Кан в Нанкине. Он не приехал — не смог оставить службу[27].

Однако он пригласил к себе учёного мусульманина, врача с границы, который, имея профессиональный интерес к одержимости, проявленной

---

[27] Примечания: 27

Заметьте: если бы его отец был болен или одержим духами, ему непременно дали бы отпуск (*прим. автора*).

вдовой Кан, приехал к ней несколько месяцев спустя.

2. Воспоминание

Кан Тунби встретила гостя в комнатах, выходивших в парадный двор, предназначенный для приёма визитёров, и внимательно приглядывалась к нему, пока тот рассказывал о себе на чистом — разве что с необычным акцентом — китайском языке. Звали его Ибрагим ибн Хасам. Это был невысокий, худощавый человек, примерно такого же роста и телосложения, что и Кан, с седыми волосами. Он, не снимая, носил очки для чтения, и его глаза за стёклами мутились, как у рыбы в пруду. Он был урождённым хуэем, родом из Ирана, но провёл в Китае большую часть правления императора Цяньлуна и, как большинство иностранцев, проживших в Китае много лет, твёрдо решил остаться здесь на всю жизнь.

— Китай — мой дом, — сказал он, что с его акцентом прозвучало странно. Он кивнул, проследив выражение её лица. — Может, я и не чистокровный хань, но мне здесь по душе. Да и скоро я возвращаюсь в Ланьчжоу, где буду окружён людьми своей веры. Мне кажется, я достаточно многому научился за время, проведённое с Лю Чжи, чтобы приносить пользу тем,

кто желает наладить взаимопонимание между мусульманскими и ханьскими китайцами. Во всяком случае, мне хотелось бы в это верить.

Кан учтиво кивнула в ответ на слова удивительного гостя.

— И вы пришли сюда затем, чтобы — что?

Он поклонился.

— Я помогал губернатору провинции в известных случаях…

— Кражи душ? — перебила Кан.

— Кхм. Да. Остригания кос, так или иначе. А уж были они вызваны колдовством или всего лишь мятежными настроениями против династии, не так-то легко установить. Я по преимуществу учёный, пусть и в области религии, но также изучал медицинские искусства, и ко мне обратились, чтобы я помог пролить свет на этот вопрос. Также я изучал случаи… одержимости душ. И другие подобные явления.

Кан смерила его ледяным взглядом. Он замешкался, но всё-таки продолжал:

— Ваш старший сын рассказал мне, что вы пережили несколько подобных инцидентов.

— Я ничего об этом не знаю, — резко ответила она. — У моего младшего сына остригли косу, вот и всё, что мне известно. Расследование не при-

несло никаких результатов. Что до остального, не имею ни малейшего понятия. Несколько раз я пробуждалась ото сна, замёрзнув и не в своей постели. Где-то в другой части дома. Слуги говорили мне, что я произношу слова, которых они не понимают. Слова на каком-то чужом языке.

У него поплыли глаза.

— Вы знаете иностранные языки, госпожа?

— Нет, конечно.

— Простите. Ваш сын сказал, что вы исключительно хорошо образованы.

— Мой отец был счастлив обучать меня вместе со своими сыновьями.

— Вы славитесь как прекрасная поэтесса.

Кан промолчала, но её щёки тронул румянец.

— Надеюсь, вы окажете мне честь и позволите прочесть ваши стихи. Они могли бы помочь мне справиться с моей задачей.

— С какой задачей?

— Кхм… вылечить вас от подобных состояний, если это возможно. Ну и помочь императору в его расследовании.

Кан нахмурилась и отвела взгляд.

Ибрагим пил чай и ждал. Он производил впечатление человека, который способен ждать, ни много ни мало, целую вечность. Кан жестом

попросила Пао подлить ему чаю.

— Тогда приступайте.

Ибрагим поклонился со своего места.

— Благодарю. Предлагаю для начала поговорить о монахе, который умер, Бао Сю.

Кан застыла на пристенной скамейке.

— Понимаю, как вам это тяжело, — проговорил Ибрагим. — Вы ведь продолжаете заботиться о его сыне.

— Да.

— Мне говорили, когда он появился здесь, вы были убеждены, что знакомы с ним.

— Да, всё верно. Но он объяснил, что приехал из Сучжоу и никогда прежде не бывал в этих краях. А я не бывала в Сучжоу. Но я чувствовала, что знаю его.

— А по отношению к его сыну вы чувствовали то же самое?

— Нет. Но я чувствую это по отношению к вам.

Она зажала рот рукой.

— Правда?

Ибрагим не сводил с неё глаз. Кан покачала головой.

— И зачем только я это ляпнула! Слова сами вырвались.

— Такие вещи иногда случаются.

Он только махнул рукой.

— Так бывает с подобными признаниями. Но этот Бао, он вас не узнал. И вскоре после его приезда начали поступать сообщения о некоторых происшествиях. Отрезанные косы, имена людей, написанные на клочках бумаги и помещённые под сваи причала прямо перед тем, как те будут вбиты, и тому подобное. Приметы похитителей душ.

Кан покачала головой.

— Он не имеет к этому отношения. День за днём он проводил у реки, рыбача со своим сыном. Он был обыкновенным монахом, и только. Его пытали зря.

— Он сознался.

— Когда его ноги были зажаты в тисках! Он сознался бы в чём угодно, как и всякий на его месте! Какой глупый способ расследовать подобные преступления. Вот поэтому они и расползаются повсюду, как ядовитые грибы.

— Согласен, — сказал гость. Он сделал глоток чая. — Я и сам не раз это говорил. Теперь мне становится ясно, что именно это и произошло здесь, в этой конкретной ситуации.

Кан хмуро посмотрела на него.

— Поясните.

— Что ж, — Ибрагим опустил глаза. — Монах Бао и его сын впервые угодили на допрос в Анчи, о чём он, вероятно, вам рассказывал. Они пели песни, побираясь у дома деревенского старосты. Тот дал им по одному куску горячего хлеба, но Бао и Циньу были так голодны, что Бао проклял старосту; тому это не понравилось, и он снова велел им убираться восвояси. Бао ещё раз обругал его перед уходом, и староста так разозлился, что велел арестовать их и обыскать их вещи. В его котомке нашли какие-то письмена, лекарства и ножницы.

— Так же, как и здесь.

— Да. И тогда староста приказал привязать их к дереву и выпороть цепями. Больше выяснить ничего не удалось, однако оба сильно пострадали. И тогда староста отрезал кусок фальшивой косицы, которую носил лысый стражник в его услужении, подбросил её Бао в котомку и отправил того в префектуру, где его допрашивали, заковав в тиски для лодыжек.

— Бедняга! — воскликнула Кан, закусив губу. — Несчастная душа.

— Да, — Ибрагим сделал ещё глоток чая. — Так вот, недавно по приказу императора, который очень обеспокоен ситуацией, генерал-губернатор

начал разбирательство по этим происшествиям. Я помогал немного в расследовании — не допросами, а изучением вещественных доказательств. В частности, обнаружил фальшивую косу, которая, как оказалось, была сплетена из нескольких типов волос. Старосту допросили, и он рассказал всё, как на духу.

— Значит, всё ложь.

— Именно. Более того, нам удалось выявить обстоятельства всех подобных инцидентов, во многом схожих с обстоятельствами Бао в Сучжоу…

— Чудовищно.

— … кроме случая с вашим сыном, Сихом.

Кан промолчала. Она взмахнула рукой, и Пао снова наполнила чашки. После очень долгого молчания Ибрагим сказал:

— Наверное, городские хулиганы воспользовались общественной паникой, чтобы напугать вашего сына.

Кан кивнул.

— И потом, — продолжал он, — если у вас бывали случаи… одержимости духами… возможно, он тоже…

Она не ответила.

— Вы не замечали ничего странного?..

Какое-то время они сидели молча, попивая чай. Наконец Кан сказала:

— Страх как он есть — уже своего рода одержимость.

— И то верно.

Они ещё немного попили чаю.

— Я сообщу генерал-губернатору, что здесь нет причин для беспокойства.

— Спасибо.

Молчание.

— Но мне также интересна природа последовавших за этим… феноменов.

— Понимаю.

— Надеюсь, мы сможем всё обсудить. Я знаю способы разобраться в этом вопросе.

— Возможно.

Вскоре хуэйский доктор откланялся.

После его ухода Кан бродила по дому, из комнаты в комнату, и встревоженная Пао следовала за ней по пятам. Она заглянула в комнату Сиха — та пустовала, книги стояли на полках нетронутые. Наверняка Сих убежал к реке гулять со своим другом Циньу.

Кан заглянула на женскую половину, посмотрела на ткацкий станок, от которого во многом зависело их финансовое благополучие; на пись-

менный стол, чернильницу, кисти, стопки бумаги.

Гуси летят на север на фоне луны.
Сыновья взрослеют и уходят.
Старая скамейка в моём саду.
Иногда просто хочется риса и соли,
Сидеть цветком, вытянув шею.
Га-га-га! Улетайте, гуси, улетайте!

Оттуда — на кухню и в сад, разбитый под старым можжевельником. Она не проронила ни слова и молча удалилась в свою опочивальню.

Однако в ту ночь домочадцев снова разбудили крики. Пао выбежала вперёд остальных слуг и увидела вдову Кан обмякшей на садовой скамейке под деревом. Пао одёрнула на груди своей госпожи распахнувшуюся ночную сорочку и втащила её на скамью.

— Госпожа Кан! — закричала она, потому что глаза госпожи были широко открыты, но не видели ничего в этом мире.

Её глаза, ставшие совершенно белыми, смотрели сквозь Пао и остальных, видя других людей и бормоча что-то на других языках.

— Иншалла, иншалла, — вырывалось из неё

комом звуков, всхлипов, писков, — ум манна пада хум, — и всё не своими голосами.

— Призраки! — взвизгнул Сих, разбуженный шумом. — Она одержима!

— Пожалуйста, тише, — прошипела Пао. — Нужно вернуть её в постель, пока она не проснулась.

Она подхватила Кан под одну руку, Чуньли подхватил под другую, и вместе они подняли её со всей осторожностью, на какую были способны. Она казалась не тяжелее кошки, гораздо легче, чем должна была быть.

— Аккуратнее, — остерегла Пао, когда они втащили её на подоконник и уложили на пол.

Даже теперь она подскочила с пола, как марионетка, и произнесла голосом, похожим на её собственный:

— Маленькая богиня, несмотря ни на что, умерла.

Пао известила о случившемся хуэйского врача, и тот прислал со слугой записку с просьбой о новой встрече.

Кан фыркнула, бросила записку на стол и ничего не ответила. Но через неделю слугам было велено приготовить обед для гостя, и в воротах появился Ибрагим ибн Хасам, моргая за стёклами очков.

Кан приветствовала его с величайшим почтением и провела в гостиную, где был накрыт стол и выставлен лучший фарфор.

После того как они отобедали и попили чай, Ибрагим кивнул и сказал:

— Мне сообщили, что у вас был ещё один приступ лунатизма.

Канг покраснела.

— Мои слуги распускают языки.

— Сожалею. Но это может иметь отношение к моему расследованию.

— Увы, я ничего не помню о случившемся. Я проснулась дома, и все были ужасно обеспокоены.

— Да. Но возможно, вы позволите расспросить ваших слуг? Вдруг они знают, что вы говорили, находясь под… действием чар?

— Разумеется.

— Спасибо, — он снова поклонился с места и сделал глоток чая. — И ещё… Я хотел спросить, не будете ли вы возражать, если я попытаюсь вызвать на разговор этот… голос внутри вас.

— Как вы предлагаете этого добиться?

— Есть метод, разработанный врачами аль-Андалуса. Своего рода медитация, сосредоточенная на объекте, как в буддийских храмах. Помощник

вводит медитирующего в определённое «состояние», и в некоторых случаях внутренние голоса разговаривают с помощником.

— Как похищение душ?

Он улыбнулся.

— Никакого воровства. Это, по большей части, обычные разговоры. Мы как бы взываем к духу отсутствующего человека, как наедине с собой. Как призыв души, распространённый у вас на юге. Затем, по окончании медитации, всё возвращается в прежнее состояние.

— Вы верите в душу, доктор?

— Конечно.

— А в похищение душ?

— Хм. — Он надолго умолк. — Думаю, эта концепция берёт своё начало в китайском понимании души. Быть может, вы поможете мне разобраться? Проводите ли вы различие между хунь, небесной душой, и по, телесной душой?

— Да, разумеется, — ответила Кан. — Это всё части инь-ян. Душа хунь принадлежит ян, душа по — инь.

Ибрагим кивнул.

— И душа хунь, будучи светлой и активной, изменчивой субстанцией, может отделиться от живого человека. И отделяется по ночам, когда

человек спит, а возвращается по его пробуждении. Как правило.

— Да.

— И если она не возвращается, случайно или намеренно, это выражается в болезнях, особенно у детей при, например, коликах, а также в различных формах бессонницы, безумия и тому подобного.

— Да.

Теперь вдова Кан отводила от него взгляд.

— И за душой хунь как раз и ведут охоту похитители душ, предположительно бродящие по окрестностям. Цзяо-хунь.

— Да. Похоже, вы в это не верите.

— Нет-нет, вовсе нет. Я стараюсь судить о том, что вижу. И я, несомненно, понимаю, о каком различии идёт речь. Я сам странствую во сне — поверьте, ещё как странствую. И я лечил бессознательных пациентов, чьи тела продолжали исправно — можно сказать, без сучка и задоринки — функционировать, в то время как они годами, годами без движения лежали в своих постелях. Одной из них я отирал лицо, умывал ресницы, и вдруг она сказала: «Не делай этого». После шестнадцати лет. Да, думаю, я видел, как душа хунь отлетала и возвращалась. Думаю, тут

так же, как и во всём остальном. У китайцев есть определённые слова, определённые понятия и категории, в то время как у мусульман есть другие слова и, соответственно, немного иные категории, но при ближайшем рассмотрении можно сравнить их и увидеть, что на самом деле они одно. Потому что реальность едина.

Кан нахмурилась, как будто не соглашаясь.

— Вы знаете стихотворение «Я умер камнем»? Нет? Его написал Руми Балхи, первый из дервишей и духовный вдохновитель мусульман.

Он стал читать:

Я умер камнем и вернулся растением,

Умер растением и вернулся животным,

Умер животным и вернулся человеком.

Чего мне бояться? Что я терял, умирая?

И я снова умру человеком,

Чтобы к небесным ангелам воспарить.

И когда принесу в жертву свою ангельскую душу,

Я стану тем, что разуму неподвластно.

— Эта последняя смерть, думаю, относится как раз к душе хунь, которая отделяется и переходит к некой трансцендентности.

Кан обдумала это.

— Значит, в исламе вы верите в возвращение душ? Что мы проживаем много жизней и перерождаемся?

Ибрагим отхлебнул зелёного чая.

— В Коране сказано: «Бог порождает существ и возвращает их назад вновь и вновь, пока они не вернутся к нему».

— Вот как! — Кан посмотрела на Ибрагима с интересом. — В это верим и мы, буддисты.

Ибрагим кивнул.

— Суфийский наставник, у которого я учился, шариф Дин Манери, говорил нам: «Не сомневайтесь: что бы вы ни делали, и вы, и я уже делали это в минувшие века, и каждый из нас уже достиг определённой вехи своего существования. Ничто ни для кого не впервые».

Кан уставилась на Ибрагима, отрываясь от стены и подавшись к нему. Она деликатно кашлянула.

— Я помню обрывки этих ночных хождений, — призналась она. — Я часто кажусь себе кем-то другим. Чаще всего это молодая женщина… коро-

лева какой-то далёкой страны, попавшая в беду. Мне кажется, это было очень давно, но всё так смутно. Иногда я просыпаюсь с ощущением, что прошёл год или того больше. Затем я полностью погружаюсь в этот мир, и всё ускользает сквозь пальцы, и я не могу вспомнить ничего, кроме отдельных образов, как сон или иллюстрацию в книге, но менее целостную, менее… Простите. Не выходит объяснить.

— У вас получилось, — сказал Ибрагим. — Всё более чем понятно.

— Мне кажется, я знала вас, — прошептала она. — Вас, и Бао, и моего сына Ши, и Пао, и некоторых других. Я… Знаете это чувство, когда кажется, будто всё, что сейчас происходит, уже происходило раньше, в точности так же, как теперь?

Ибрагим кивнул.

— Я тоже это чувствую. В Коране также сказано: «Я говорю вам: истинно то, что души, познавшие близость, ещё сольются в родстве, хотя и встретятся с новыми лицами и под новыми именами».

— Неужели? — воскликнула Кан.

— Да. А в другом месте сказано: «Тело отваливается, как панцирь краба, и тогда образуется новое тело. Человек — это всего лишь маска, которую на

время примеряет душа, отнашивает свой срок, а затем сбрасывает и вместо неё надевает другую».

Кан, разинув рот, смотрела на него во все глаза.

— Я с трудом могу поверить в то, что слышу, — прошептала она. — Никому я прежде не могла рассказать этого. Меня считают сумасшедшей. Теперь меня называют…

Ибрагим кивнул и отхлебнул чаю.

— Я понимаю. Но мне интересны подобные вещи. Меня и самого посещали определённые… предчувствия. Может, попробуем тогда ввести вас в «состояние» и посмотрим, что нам удастся узнать?

Кан решительно кивнула.

— Да.

Он потребовал полной темноты, и они устроились на скамье под окном, в зале для визитов, наглухо закрыв ставни и двери. На низком столике горела одинокая свеча. В стёклах его очков отражался её огонек. Домочадцам было наказано молчать, и до них доносился еле слышный собачий лай, стук колёс повозок, общий гул города вдалеке.

Ибрагим взял вдову Кан за запястье, не сжимая, холодными и лёгкими пальцами нащупывая её

пульс. От этого прикосновения пульс ускорился. Он, конечно, тоже это почувствовал, но сказал ей смотреть на пламя свечи и заговорил, по-персидски, по-арабски и по-китайски, нежным распевным шёпотом без акцента. Она никогда не слышала такого голоса.

— Вы ступаете по прохладной утренней росе, вам спокойно и хорошо. В сердце пламени мир раскрывается подобно цветку. Вы вдыхаете его аромат, вдыхаете медленно, и медленно выдыхаете. Все сутры говорят через вас в этот цветок света. Всё сосредоточено и омывает ваш позвоночник, подобно приливу. Солнце, луна и звёзды на своих местах, вращаются вокруг нас, держат нас вместе.

И он продолжал бормотать, пока пульс Кан не выровнялся на всех трёх уровнях: текучий, неглубокий пульс, глубокое и расслабленное дыхание. Ибрагиму казалось, что она на самом деле покинула комнату через портал пламени свечи. Никогда ещё никто не покидал его так быстро.

— Теперь, — продолжил он, — вы путешествуете в мире духов и наблюдаете все свои жизни. Скажите мне, что вы видите.

Её голос звучал звонко и нежно, так непохоже на её обычный голос.

— Я вижу старый мост, древний мост над пересохшей рекой. Бао молод и одет в белую мантию. За мной по мосту идут люди, направляясь… в какое-то место. Старое и новое.

— Во что одеты вы?

— В длинное… платье. Похожее на ночную сорочку. Тепло. Люди окликают нас, когда мы проходим мимо.

— Что они говорят?

— Я не понимаю.

— Повторяйте за ними звуки, которые они издают.

— «Ин ша ал ла. Ин ша ал ла». Какие-то люди верхом на лошадях. О, вы тоже здесь. И тоже молоды. Они чего-то требуют. Люди кричат. Всадники приближаются. Стремительно приближаются. Бао предупреждает меня…

Она содрогнулась всем телом.

— Ах! — воскликнула она своим обычным голосом.

Её пульс забился в заполошном ритме, напоминая стук вращающегося веретена. Она с силой встряхнула головой и посмотрела на Ибрагима.

— Что это было? Что случилось?

— Вас здесь не было. Вы перенеслись в другое место. Вы что-то помните?

Она покачала головой.

— Лошадей?

Вдова Кан прикрыла глаза.

— Лошади. Всадники. Кавалерия. Я попала в беду!

— Хм, — он выпустил её запястье. — Очень может быть.

— Но что случилось?

Он пожал плечами.

— Возможно… Вы говорите… нет, вы уже отвечали, что нет. Но ваша душа хунь в своём путешествии, похоже, слышала арабский язык.

— Арабский?

— Да. Это распространённая молитва. Многие мусульмане читают её на арабском, даже если это не их родной язык. Но…

Она содрогнулась.

— Я хочу отдохнуть.

— Конечно.

Она подняла на него взгляд, и её глаза наполнились слезами.

— Я… может ли это… но почему я… — она покачала головой, и слёзы потекли по щекам. — Не понимаю, почему это происходит!

Он покивал.

— Мы редко понимаем причины происходя-

щего.

Она отрывисто хохотнула одним коротким «Ха!» и добавила:

— Но я хотела бы разобраться.

— Я тоже. Поверьте, ничто не доставило бы мне большего удовольствия. Тем более что мне редко выпадает такая возможность.

Он чуть улыбнулся, или скривил губы в гримасе, делясь с ней своим сожалением. Момент взаимопонимания и разделённого разочарования в том, как мало они понимают.

Кан глубоко вздохнула и встала.

— Я благодарна за ваше участие. Надеюсь, вы ещё придёте?

— Разумеется. — Он тоже встал. — Я к вашим услугам, госпожа. У меня есть чувство, что это только начало.

Что-то заставило её встрепенуться и уставиться куда-то сквозь него.

— Вы помните, как развевались знамёна?

— Что?

— Вы там были, — она виновато улыбнулась и пожала плечами. — Вы тоже там были.

Он нахмурился, силясь понять её.

— Знамёна… — Он погрузился на время в себя. — Я… — он потряс головой, — кажется… Я

помню, что раньше, ещё в детстве, в Иране, когда я видел знамёна, это всегда много для меня значило. Намного больше, чем я мог себе объяснить. Я как будто летел.

— Пожалуйста, приходите ещё. Возможно, и вашу гуннскую душу ещё можно призвать.

Он кивнул, хмурясь и словно пытаясь ухватить за хвост ускользающую мысль, знамя в своей памяти. Даже когда он прощался и уходил, он всё ещё был погружён в себя.

Он вернулся через неделю, и они провели ещё один сеанс «внутри свечи», как называла их вдова Кан. В глубоком трансе она разразилась речью, которой не понял никто из них: ни Ибрагим, слушавший её в эту минуту, ни сама Кан, когда он позже вслух зачитывал записанное за ней.

Разволновавшись, он пожал плечами.

— Я поспрашиваю коллег. Впрочем, это может быть и язык, уже полностью для нас утраченный. Давайте сконцентрируемся на том, что вы видели.

— Но я ничего не помню! Может, самую малость. Как сон, который забывается при пробуждении, когда ты пытаешься его вспомнить.

— Значит, мне нужно быть умнее и задавать правильные вопросы, когда вы непосредственно

погружены в пламя свечи.

— А если я вас не пойму? Или отвечу на этом чужом языке?

Он кивнул.

— Но вы как будто понимаете меня, по крайней мере отчасти. Наверное, мои слова транслируются за пределы этого измерения. Или же душа хунь способна на большее, чем мы изначально предполагали. Или по нити, что не позволяет путешествующей душе хунь отделиться от вас, передаётся часть ваших знаний. Или меня понимает душа по.

Он развёл руками: кто знает?

Затем её как будто осенило, и она положила руку ему на плечо.

— Был оползень!

Они молча стояли рядом. Воздух вокруг них слабо дрожал.

Он ушёл озадаченный, погружённый в себя. Каждый раз он покидал её в каком-то смятении, и каждый раз, возвращаясь, буквально кишел идеями и потирал руки в предвкушении их следующего сеанса «внутри свечи».

— Мой коллега из Пекина считает, что вы говорите на диалекте берберского языка. И иногда на тибетском. Вам знакомы эти места? Марокко

находится на другом конце света, в западной оконечности Северной Африки. Марокканцы заселили Аль-Андалус после гибели христиан.

Она вздохнула и покачала головой.

— Я уверена, что всегда была китаянкой. Может быть, это древнекитайский диалект?

Он улыбнулся — редкое и приятное явление.

— В глубине вашего сердца, возможно. Но я полагаю, что наши души от жизни к жизни странствуют по всему миру.

— Группами?

— В Коране сказано, что судьбы людей переплетены. Как нити в ваших вышивках. Они путешествуют вместе, как кочевые народы Земли: евреи, христиане, зотты. Останки прежних устоев, лишившиеся дома.

— Или новые острова за Восточным морем? Получается, мы могли жить и там, в империях золота?

— Там могли осесть древние египтяне, бежавшие на запад от Ноева потопа. К единому мнению пока не пришли.

— Кем бы они ни были, я-то уж точно китаянка с головы до пят. Всегда была и всегда буду.

Он наградил её взглядом, в котором читалась лёгкая смешинка.

— Не похоже, что вы говорите по-китайски, когда находитесь «внутри свечи». И если жизнь неугасима, а складывается именно такое впечатление, вы можете быть старше самого Китая.

Она испустила глубокий вздох.

— В это нетрудно поверить.

Когда он пришёл в следующий раз, чтобы снова ввести её в «состояние», было поздно, и они смогли провести сеанс в тишине и темноте, и казалось, не существовало ничего, кроме пламени свечи в тусклой комнате и звука его голоса. Шёл пятый день пятого месяца, несчастливый день, день праздника голодных духов, когда почитали несчастных прет, у которых не осталось живых потомков, и духи получали немного покоя. Кан прочла Шурангама-сутру[28], в которой излагалась концепция «жулай цзан», состояния чистого разума, спокойного разума, истинного разума.

Она совершила обрядовые омовения дома, постилась сама и попросила о том же Ибрагима. И потом, закончив наконец с приготовлениями,

---

[28] Примечания: 28

Псевдосанскритская сутра, первоначально написанная на китайском языке и озаглавленная «Лэнянь цзин». Состояние, которое он описывает, чанчжи, иногда называют «природой Будды», или татхагатагарбхой, или «основанием разума». В сутре говорится, что следующие ей могут быть «внезапно пробуждены» к этому состоянию высочайшего откровения (*прим. автора*).

они сидели одни в душной и тёмной комнате и смотрели на пламя свечи. Кан погрузилась в него почти в тот же миг, как Ибрагим коснулся её запястья, пульс её заструился из инь в ян. Ибрагим внимательно наблюдал за ней. Она забормотала на непонятном ему языке, возможно, на том, которого они ещё не слышали. На лбу у неё блестел пот, что-то мучило её.

Пламя свечи уменьшилось до размеров фасолины. Ибрагим тяжело сглотнул, сдерживая страх и щурясь от напряжения.

Она пошевелилась, и её голос стал более взволнованным.

— Ответь мне по-китайски, — мягко попросил он. — Говори по-китайски.

Она застонала, что-то пробормотав, а затем произнесла, совершенно отчётливо:

— Мой муж умер. Его… его отравили, и люди не хотели принимать в своих рядах королеву. Они хотели так, как раньше. Ах! — и она снова заговорила на другом языке.

Ибрагим отложил в памяти её наиболее внятные слова и тут увидел, что пламя свечи снова разгорелось, становясь даже больше обычного, поднимаясь так высоко, что в комнате стало душно и жарко, и испугался за бумажные потолки.

— Успокойтесь, о духи мёртвых, прошу вас, — сказал он по-арабски, и Кан закричала в ответ не своим голосом:

— Нет! Нет! Мы в западне!

И вдруг она разрыдалась, изливая со слезами свою душу. Ибрагим держал её за плечи, бережно обнимая, и вдруг она вскинула на него взгляд, будто проснувшись, и глаза её округлились.

— И вы там были! Вы были с нами, когда на нас сошла лавина, и мы застряли в западне, обречённые на верную смерть!

Он покачал головой:

— Я не помню…

Она высвободилась и наотмашь ударила его по лицу. Его очки пролетели через всю комнату, а вдова вскочила на него и крепко схватила за горло, как будто собираясь душить, вперившись в него глазами, внезапно ставшими намного меньше.

— Ты же там был! — закричала она. — Вспомни! Вспомни!

В её глазах он как будто увидел, как всё произошло.

— Ох! — потрясённо протянул он, глядя сквозь неё. — О, боже мой! Ох…

Она отпустила его, и он рухнул на пол. Он по-

хлопал рядом ладонью, ища свои очки.

— Иншалла, Иншалла, — он шарил вокруг себя, глядя на неё снизу вверх. — Ты была ещё совсем ребёнком…

Она вздохнула и опустилась на пол рядом с ним. Она рыдала, у неё текло из глаз, текло из носа.

— Это было так давно. А я так одинока, — она шмыгнула носом и вытерла глаза. — Они постоянно нас убивают. Нас постоянно убивают.

— Это жизнь, — сказал он, одним движением вытирая и свои глаза. Он взял себя в руки. — Такое случается. Только это мы и запоминаем. Когда-то ты была чернокожим юношей, красивым чернокожим юношей, я теперь вижу. А в другой раз — моим другом. Два старика, мы изучали мир, мы дружили. Вот это дух.

Пламя свечи медленно вернулось на свою обычную высоту. Они сидели рядом на полу, не в силах пошевелиться.

Наконец Пао нерешительно постучала в дверь, и они виновато вздрогнули, хотя оба были погружены в собственные мысли. Они встали, уселись на подоконнике, и Кан отправила Пао принести персикового сока. К тому времени, когда она вернулась с напитками, оба уже пришли в чувство; Ибрагим водрузил очки на место, а вдова Кан

открыла ставни на окне, чтобы впустить ночной воздух. Свет затянутого облаком полумесяца добавился к пламени свечи.

Взяв трясущимися руками стакан, вдова сделала глоток персикового сока и откусила кусочек сливы. Тело её тоже дрожало.

— Боюсь, я не смогу больше продолжать, — сказала она, глядя в сторону. — Всё это для меня слишком.

Он кивнул. Они вышли в приусадебный сад и, расположившись на свежем воздухе под облаками, ели и пили. Они проголодались. Темнота благоухала ароматом жасмина. Они не разговаривали, но молчание было дружеским.

Я старше самого Китая.

Я охотилась в джунглях, питаясь своей добычей.

Я плавала по всем морям мира,

Сражалась в долгой войне асур.

Меня резали, я истекала кровью. Конечно. Конечно.

Понятно, отчего так безумны мои сны.

Понятно, отчего я так утомилась. Понятно, отчего я всегда

Зла.

Сгущаются тучи, пряча тысячи горных вершин;

Налетают ветры, раскрашивая десять тысяч деревьев.

Приди ко мне, муж мой, и будем жить

Ещё десять жизней вместе.

Когда Ибрагим пришёл в следующий раз, у него было серьёзное выражение лица, и одет он был не как обычно, а в дорогие одеяния мусульманского священнослужителя.

После обычных приветствий, когда они снова остались одни в саду, он поднялся и повернулся к ней.

— Я должен уехать в Ганьсу, — сказал он. — Некоторые семейные обстоятельства ждут моего возвращения. И мой суфийский наставник в медресе рассчитывает на мою помощь. Я откладывал столько, сколько мог, но сейчас мне пора уезжать.

Кан отвела взгляд.

— Я буду сожалеть.

— Да. Я тоже. Нам ещё многое нужно обсудить.

Молчание.

Затем Ибрагим придвинулся к ней и продол-

жил:

— Я придумал, как можно решить эту проблему, эту столь нежеланную разлуку между нами, и решение состоит в том, чтобы вам выйти за меня замуж… принять мое предложение руки и сердца и уехать вместе со мной и всеми вашими домочадцами в Ганьсу.

Вдова Кан была несказанно изумлена. Она слушала, разинув рот.

— Как же… я не могу выйти замуж. Я вдова.

— Но вдовы могут выходить замуж повторно, — возразил Ибрагим. — Знаю, что Цин пытается препятствовать этому, но Конфуций нигде не высказывается против. Я смотрел и спрашивал совета у лучших специалистов. Люди так делают.

— Но не добропорядочные люди!

Он прищурился, внезапно становясь похожим на китайца.

— По чьим порядкам?

Она отвела взгляд.

— Я не могу за вас выйти. Вы — хуэй, а я — та, которая ещё не мертва.

— Императоры династии Мин велели всем хуэям жениться на женщинах из приличных китайских семей, чтобы у них рождались китайские дети. Моя мать была китаянкой.

Она снова вскинула на него удивлённый взгляд. Её лицо заливал румянец.

— Прошу вас, — сказал он, протягивая руку. — Понимаю, что эта мысль нова. Я застал вас врасплох. Извините. Но, пожалуйста, подумайте об этом, прежде чем дать окончательный ответ. Подумайте.

Она выпрямилась и встала к нему лицом в чопорной позе.

— Я подумаю.

Она взмахнула кистью руки, намекая, что желает остаться одна, и он, обрывисто попрощавшись, заканчивая фразой на другом языке, произнесённой с самым недвусмысленным напором, покинул усадьбу.

После этого вдова Кан отправилась бродить по дому. Пао на кухне отдавала распоряжения служанкам, когда вдова нашла её и попросила присоединиться к ней в саду для беседы. Пао вышла следом за ней во двор, и Кан рассказала ей обо всём, что сейчас произошло, и Пао рассмеялась.

— Почему ты смеёшься? — огрызнулась хозяйка. — Неужели ты думаешь, что меня так волнует императорская грамота? Что я должна запереться в этой клетке на всю оставшуюся жизнь ради

бумажки с росчерком киноварных чернил?

Пао застыла, сначала от удивления, потом от испуга.

— Но, госпожа Кан… Ганьсу…

— Ты ничего в этом не понимаешь. Оставь меня.

После этого никто не осмеливался заговорить с ней. Она бродила по дому, как голодный призрак, никого не замечая вокруг. Она почти перестала говорить. Она посетила алтарь в Храме лиловой бамбуковой рощи, пять раз прочитала Алмазную сутру и вернулась домой с болью в коленях. В памяти всплыло стихотворение Ли Аньцзы[29], «Внезапный взгляд на возраст»:

Порой нити на ткацком станке
Сами сходятся в новый ковёр.
Так мы знаем, что наши будущие дети
Ждут нас с надеждой в бардо.
Для них мы и плетём, пока не устанут руки.

Она велела слугам отнести её в здание магистрата, где они поставили паланкин на землю и

---

[29] Примечания: 29

Мать двух преуспевающих чиновников, овдовевшая и воспитавшая их в одиночестве (*прим. автора*).

она целый час не двигалась с места. Мужчины видели только её лицо за тюлевой занавеской в окошке. Она так и не вышла, и они отнесли её домой.

На следующий день она велела отнести себя на кладбище, хотя день был не праздничный, и под чистым небом прошла своей странной шаркающей походкой, подметая подолом могилы предков, и села у могилы мужа, обхватив голову руками.

На следующий день она спустилась к реке одна, пройдя всю дорогу пешком, вымучивая шаг за шагом, поглядывая на деревья, уток, облака в небе. Она сидела на берегу неподвижно, словно в одном из храмов.

Циньу тоже был здесь, как и всегда, волочил за собой удочку и бамбуковую корзину. Увидев её, он просиял и показал ей свой улов. Он сел рядом с ней, и они смотрели, как течёт мимо широкая бурая река, блестящая и плотная. Он удил рыбу, она сидела и наблюдала.

— У тебя хорошо получается, — заметила она, глядя, как он закидывает леску в поток.

— Меня отец научил, — ответил он и добавил через некоторое время: — Я скучаю по нему.

— Я тоже, — и продолжила: — Ты думаешь…

Интересно, что бы он сказал…

Снова пауза.

— Если мы переедем на запад, ты поедешь с нами.

Она снова пригласила Ибрагима, и, когда он вернулся, Пао провела его в приёмные покои, которые, по наказу вдовы, были заставлены цветами.

Он стоял перед ней, склонив голову.

— Я стара, — сообщила она ему. — Я уже прошла через все жизненные стадии[30]. Я — женщина, которая пока не мертва. Я не могу повернуть время вспять. Я не могу подарить тебе сыновей.

— Я понимаю, — тихо ответил он. — Я тоже стар. И всё же прошу вашей руки. Не ради сыновей, а ради меня.

Она посмотрела на него оценивающе, и её румянец стал ярче.

— Тогда я согласна.

Он улыбнулся.

После этого дом словно закружило в вихре. Слуги, хотя и скептически отнеслись к этому альянсу, тем не менее работали дни напролёт,

---

[30] Примечания: 30

«Все жизненные стадии»: молочные зубы, заколотые волосы, брак, дети, рис и соль, вдовство (*прим. автора*).

не покладая рук, чтобы успеть всё подготовить к пятнадцатому дню шестого месяца, дню летнего солнцестояния, считавшемуся благоприятным временем для начала путешествия. Старшие сыновья брака, разумеется, не одобряли, но всё же собирались присутствовать на бракосочетании. Соседи были шокированы, потрясены сверх всякой меры, но, поскольку их никто не приглашал, никак не могли выразить своего протеста Кан и её домочадцам. В храме сёстры вдовы поздравили её и пожелали всего наилучшего.

— Ты можешь передать мудрость Будды хуэям, — сказали они ей. — От этого всем будет большая польза.

И они сыграли небольшую свадьбу, на которой присутствовали все сыновья вдовы Кан, и только Сих пребывал в непраздничном настроении, продувшись всё утро у себя в комнате, о чём Пао решила не сообщать хозяйке. После церемонии, прошедшей в саду, спустились к реке, и хотя гостей было немного, среди них царило решительное веселье. После этого стали собирать вещи, а мебель и товары погрузили в повозки, которые отправятся либо в их новый дом на запад, либо в сиротский приют, основанный в городе при поддержке Кан, либо её старшим сыновьям.

Когда всё было готово, Кан на прощание обошла дом, останавливаясь, чтобы посмотреть на пустые комнаты, ставшие теперь непривычно маленькими.

В этой квадратной сажени была вся моя жизнь.

Теперь гусыня улетает,

И западный феникс летит у неё на хвосте.

Как одна жизнь вмещает столько перемен?

Воистину, мы проживаем много жизней, а не одну.

Наконец она вышла из дома и села в паланкин.

— Ничего уже нет, — сказала она Ибрагиму.

Он вручил ей подарок, яйцо, выкрашенное в красный: счастье в новом году. Она склонила голову. Он кивнул, и по его команде их маленький обоз тронулся в путешествие на запад.

3. Набегающие волны

Путешествие заняло больше месяца. Дороги и тропы, которыми они ехали, были сухими, и задержек в пути не возникало. Отчасти это объяснялось тем, что Кан предпочла ехать в повозке, а не в паланкине или кресле поменьше. Поначалу слуги решили, что это решение вызвало разлад между молодыми, поскольку Ибрагим перебрался в крытую повозку вместе с Кан, и всем были слышны их споры, длившиеся порой целыми днями. Но как-то раз Пао подошла достаточно близко, чтобы уловить смысл их беседы, и вернулась к остальным с облегчением.

— Они всего лишь спорят о религии. Что за пара мыслителей.

Успокоившись, слуги продолжили путь. Они достигли Кайфына, где остановились у мусульманских коллег Ибрагима, а оттуда тронулись дорогами, идущими параллельно реке Вэйхэ, на запад до Сианя в провинции Шэньси, затем через суровые перевалы в засушливых холмах до Ланьчжоу.

Когда путешествие подошло к концу, Кан была потрясена до глубины души.

— Я и не подозревала, что мира так много, — говорила она Ибрагиму. — Так много Китая! Так много рисовых и ячменных полей, так много гор, пустынных и диких. Мы, наверное, объехали уже целый мир.

— Едва ли сотую его часть, если верить морякам.

— Эта диковинная страна такая холодная и сухая, пыльная и бесплодная. Как мы будем содержать здесь дом в чистоте и тепле? Жить здесь будет всё равно что в аду.

— Ну, так уж и в аду.

— Неужели это действительно Ланьчжоу, знаменитая западная столица? Вот эта крошечная, бурая, продуваемая ветрами деревня из глинобитного кирпича?

— Да. И она, на самом деле, довольно быстро растёт.

— И мы будем здесь жить?

— У меня остались связи и здесь, и в Синине, что немного дальше на западе. Мы можем обосноваться в любом из этих мест.

— Я хочу взглянуть на Синин, прежде чем мы примем решение. Он не может быть хуже этого.

Ибрагим ничего не сказал и только приказал их небольшому обозу трогаться дальше. Минуло

ещё несколько дней пути. Шёл седьмой месяц года, а над головой почти каждый день сгущались грозовые тучи, так и не проливаясь дождём. Под низкими небесами увядшие холмы, покрытые трещинами, казались ещё более неприветливыми, чем прежде, и за исключением нескольких центральных низин, орошаемых ярусами вдоль длинных и узких долин, вокруг больше не было видно земледелия.

— Как здесь живут люди? — спросила Кан. — Чем они питаются?

— Пасут овец и коз, — ответил Ибрагим. — Иногда разводят крупный рогатый скот. К западу отсюда так происходит повсюду, по всему засушливому сердцу мира.

— Удивительно. Мы словно переместились назад во времени.

Наконец они въехали в Синин, очередной небольшой городок, обнесённый глинобитными стенами и приютившийся под изломанными горными склонами в высокой долине. Ворота охранял гарнизон имперских солдат, а под городскими стенами стояли наспех сколоченные новые деревянные бараки. Большой караван-сарай пустовал, время года было уже позднее для начала путешествий. Чуть дальше, используя ту

ничтожную энергию, что давала река, работали станки и печи нескольких металлургических цехов, обнесённых стенами.

— Уф! — фыркнула Кан. — Не думала, что Ланьчжоу можно превзойти, но, видимо, я ошибалась.

— Не торопись принимать решение, — попросил Ибрагим. — Я хочу, чтобы ты увидела озеро Цинхай. До него осталось совсем немного.

— И там-то мы точно свалимся с края земли.

— Посмотри сама.

Кан согласилась без возражений; действительно, Пао казалось, что хозяйке даже нравятся эти жутко засушливые, варварские земли или, по крайней мере, нравится на них жаловаться. «Чем больше пыли, тем лучше», — казалось, говорило её лицо, хотя слова отражали совсем другое.

Спустя ещё несколько дней поездки на запад плохие дороги привели их за лощину к берегам озера Цинхай; открывшийся вид лишил дара речи всех без исключения. По счастливой случайности они прибыли сюда в день неистово ветреный, над головами проносились огромные белые облака, прошитые серо-голубыми узорами, и они отражались в озёрной глади, которая на солнце отливала сине-зелёным светом, как и

предполагало название озера. Оно простиралось на запад до самого горизонта; видимые изгибы его берегов окаймляли зелёные холмы. Посреди этой бурой безжизненной пустоты озеро казалось чудом.

Кан слезла с повозки и медленно пошла к галечному берегу, читая сутру лотоса и высоко поднимая руки, чтобы ощутить ладонями крепкий ветер. Ибрагим оставил её одну на некоторое время, а затем встал с ней рядом.

— Почему ты плачешь? — поинтересовался он.

— «Так вот какое оно, великое озеро», — вслух зачитала она.

Теперь я могу наконец постичь
Всю необъятность вселенной;
Моя жизнь обрела новый смысл!
Но подумайте обо всех женщинах,
Которые никогда не покинут своих дворов,
Которые проживут целую жизнь,
Ни разу не насладившись такой красотой.

Ибрагим поклонился.

— Золотые слова. Чьи это стихи?

Кан покачала головой, смахивая слёзы.

— Это Юэнь, жена Шэнь Фу, впервые увидевшая озеро Тайху. Великое озеро! Что бы она подумала, если бы увидела это озеро! Оно входит в «Шесть записок о быстротечной жизни». Слышал о таком? Нет? Что ж. Что тут скажешь?

— Ничего.

— Вот именно, — она повернулась к нему и сложила руки вместе. — Спасибо тебе, муж мой, что показал мне такое великое озеро. Это поистине великолепно. Теперь я могу успокоиться и остаться жить там, где тебе будет угодно. Синин, Ланьчжоу, другая сторона света, где мы встречались когда-то в прошлой жизни, — не важно. Мне всё одно.

И она прислонилась к его боку, заливаясь слезами.

На первое время Ибрагим решил обосноваться в Ланьчжоу. Оттуда удобнее было добираться к Ганьсуйскому коридору, что, в свою очередь, открывало маршруты на запад, а также дороги, ведущие обратно в китайскую глубинку. Кроме того, медресе, с которой он имел самые тесные отношения в юности, переместилась из Синина в Ланьчжоу, сдавшись под натиском недавно занявших город западных мусульман.

Они поселились в новом глинобитном доме на берегу реки Таохэ, недалеко от того места, где она впадала в Хуанхэ, Жёлтую реку. Вода в Хуанхэ и впрямь была жёлтого цвета, совершенно непрозрачной от взбаламученного песка, точно такого же цвета, как западные холмы, из которых брала свой исток. Таохэ казалась почище, но коричневее.

Новая усадьба была больше, чем дом Кан в Ханчжоу, и она, недолго думая, разместила женщин в дальнем здании, вокруг которого разбила сад и потребовала высадить деревья в горшках, положив начало облагораживанию территории. Она хотела приобрести и ткацкий станок, но Ибрагим предупредил, что шёлковых нитей здесь не достать, так как здесь нет ни шелковичных рощ, ни филатур. Если она хочет продолжать ткать, ей придётся научиться работать с шерстью. Она повздыхала, но согласилась и начала осваивать новое ремесло на ручных станках. Время коротали также за вышивкой по уже сотканному шёлку.

Ибрагим тем временем встретился с товарищами по мусульманским школам и общинам, а также с цинскими городскими чиновниками и заступил на новую работу, где оказывал помощь

и разбирал вопросы, связанные с новой политической и религиозной ситуацией в регионе, которая, по-видимому, изменилась, с тех пор как он в последний раз был дома. По вечерам они с Кан сидели на веранде, откуда открывался вид на грязную Жёлтую реку, и он всё ей объяснял, отвечая на бесконечные вопросы.

— Говоря чуть проще, с тех пор как Ма Лайчи вернулся из Йемена, принеся с собой тексты о религиозном обновлении и реформах, конфликты между мусульманами этой части мира не стихают. Нужно понимать, что мусульмане жили здесь много веков, почти с самого зарождения ислама, и в таком удалении от Мекки и других центров исламского богословия в религию не могли не проникнуть некоторые неортодоксальности и заблуждения. Ма Лайчи хотел это исправить, но старая умма подала иск против него в цинский гражданский суд, обвинив его в хуочжуне[31].

Кан посуровела, не иначе как вспоминая последствия подобного обмана в центральной части страны.

— Здешний генерал-губернатор Паохан Гуанси в конечном счёте отклонил иск, но этим дело не

---

[31] Примечания: 31

Введение народа в заблуждение — серьёзное преступление в любом регионе Китая (*прим. автора*).

закончилось. Ма Лайчи принялся обращать в ислам саларов — это народ, говорящий на тюркском языке и живущий на дорогах. Ты видела их: они носят белые шапочки и не похожи на китайцев.

— Они похожи на тебя.

Ибрагим нахмурился.

— Пожалуй, отчасти. Как бы то ни было, это решение взволновало народ, так как саларов считают опасными людьми.

— И я понимаю, почему, — они опасно выглядят.

— Люди, похожие на меня? Но не в этом суть. В общем, ислам подвержен и многим другим влияниям, иногда находящимся в конфликте друг с другом. Новая секта под названием Накшабандия стремится очистить ислам путём возвращения к прежнему — ортодоксальному — укладу. В Китае её представителей возглавляет Азиз Ма Минсинь, который, как и Ма Лайчи, провёл много лет в Йемене и Мекке, обучаясь у Ибрагима ибн Хаса Аль-Курани, знаменитого шейха, чьи учения сейчас известны всему исламскому миру.

Так вот, оба этих славных шейха пришли сюда из Аравии с реформаторскими планами, пройдя обучение у одного и того же народа, но, увы, с разными реформами на уме. Ма Лайчи верил в

безмолвное произнесение молитвы, так называемый зикр, в то время как Ма Минсинь, будучи моложе, слушал учителей, полагающих, что молитвы могут пропеваться и вслух.

— Различие кажется незначительным.

— Да.

Когда Ибрагим смахивал на китайца, это означало, что слова жены забавляют его.

— В буддизме допускается и то, и другое.

— Совершенно верно. Но, как это часто бывает, такие различия лишь признак более глубоких расхождений. Так или иначе, Ма Минсинь практикует молитву джахр, что означает «произнесённая вслух». Это не по нраву Ма Лайчи и его последователям, поскольку знаменует собой новое и ещё более чистое религиозное возрождение в этих краях. Но они не могут остановить наступление. Ма Минсиня поддерживают суфии Чёрной горы, которые контролируют обе стороны Памира, поэтому его последователи продолжают прибывать и прибывать сюда, спасаясь от войн между иранцами и османами, а также между османами и фуланцами.

— Какие-то сплошные беды.

— Что поделать, ислам не так хорошо структурирован, как буддизм, — отозвался Ибрагим,

и Кан рассмеялась. — Но ты права, положение действительно бедовое. Конфликт между Ма Лайчи и Ма Минсинем может уничтожить всякую надежду на окончание междоусобиц при нашей жизни. Хафия Ма Лайчи сотрудничает с властями Цин, и они называют джахр суеверной и даже аморальной практикой.

— Аморальной?

— Как танцы и тому подобное. Ритмичное движение во время молитвы, да и само моление вслух.

— Мне это кажется совершенно нормальным. Служба, в конце концов, остаётся торжественным событием.

— Да. И джахрии в ответ пытаются обвинять хафиев в возведении культа личности вокруг Ма Лайчи. А его самого — в злоупотреблении взысканием десятины, имея в виду, что всё его движение — не более чем афера для укрепления власти и богатства. И всё это при содействии императора и вопреки интересам других мусульман.

— Беда.

— Именно. И у каждого здесь есть оружие, зачастую огнестрельное, потому что, как ты сама могла заметить по дороге, охота здесь до сих пор

является важным источником продовольствия. Так что при каждой самой маленькой мечети имеется своё ополчение, готовое, чуть что, вступить в бой, а Цин укрепляют гарнизоны в попытках справиться с этим натиском. До сих пор Цин поддерживали хафиев, что они переводят как «старое учение», а джахриев называют «новым учением», что, конечно, делает их плохими по определению. Но то, что плохо для династии Цин, как раз и привлекает молодых мусульман. В мире много нового. К западу от Чёрных гор всё стремительно меняется.

— Как всегда.

— Да, только ещё быстрее.

— Китай — страна медленных перемен, — медленно проговорила Кан.

— Или, в зависимости от нрава императора, вообще их отсутствия. В любом случае, ни хафии, ни джахрии не могут тягаться силами с императором.

— Разумеется.

— И в итоге они постоянно воюют друг с другом. И поскольку цинские армии теперь контролируют земли вплоть до Памира, земли, которые прежде состояли из независимых мусульманских эмиратов, джахрии убеждены, что ислам

необходимо вернуть к его корням, чтобы отвоевать обратно то, что некогда было частью дар аль-ислама.

— У них мало шансов, если такова воля императора.

— Да. Но большинство из тех, кто так говорит, никогда даже не ступали в центральные регионы, и тем более не жили там, как мы с тобой. И они не могут знать могущества Китая. Они видят лишь небольшие гарнизоны солдат, редкими десятками разбросанные по огромной территории.

Кан сказала:

— Это могло на многое повлиять. Похоже, ты привёз меня в край, переполненный ци[32].

— Надеюсь, всё окажется не так уж плохо. Если хочешь знать моё мнение, тут необходимы доскональное изучение и анализ истории, которые наглядно продемонстрируют фундаментальные сходства, лежащие в основе ислама и конфуцианства.

Брови Кан поползли вверх.

— Ты так считаешь?

— Я в этом уверен. Это моя цель. Так было и остаётся уже двадцать лет.

---

[32] Примечания: 32

Здесь — «пагубная энергия»; иногда переводится как «жизненный ток», «психофизическая субстанция» или «дурные флюиды» (*прим. пер.*).

Кан стёрла с лица удивлённое выражение.

— Тебе придётся показать мне эти труды.

— Мне бы и самому очень этого хотелось. Возможно, ты даже поможешь мне с китайским переводом. Я хочу опубликовать работу на китайском, тюркском, арабском, фарси, хинди и других языках, если только найду переводчиков.

Кан кивнула.

— Я буду счастлива помочь, если моё невежество не станет этому помехой.

В доме установился порядок, каждодневные дела потекли так же, как и прежде. Немногочисленные ханьские китайцы, высланные в этот отдалённый уголок страны, проводили все привычные им торжества, а в праздничные дни работали над строительством храмов на утёсах, возвышающихся над рекой. К этим праздникам добавились и мусульманские священные дни, которые становились важным событием для большинства жителей города.

Каждый месяц с запада продолжали стекаться всё новые мусульмане. Мусульмане, конфуцианцы, иногда буддисты, чаще всего — тибетцы или монголы, почти никогда — даосы. Ланьчжоу преимущественно оставался городом мусульман и ханьских китайцев, худо-бедно сосуществo-

вавших друг с другом, как это продолжалось уже много веков, и пересекавшихся лишь в редком смешанном браке.

Эта двойственная природа региона вылилась в конкретную проблему, когда дело коснулось дальнейшей судьбы Сиха. Если мальчик собирался продолжать подготовку к государственным экзаменам, то пора было нанимать ему репетитора. А он этого категорически не хотел. В качестве возможной альтернативы он мог пойти учиться в одну из местных медресе, что, по существу, означало бы переход в ислам и было, конечно, совершенно немыслимо для вдовы Кан. Сих же и Ибрагим, похоже, видели в этом реальную перспективу. Сих пытался оттянуть момент принятия решения. «Мне всего семь лет», — просил он. «Выбирай, восток или запад», — отвечал Ибрагим. И оба говорили мальчику: «Ты не можешь просто бездельничать».

Кан настояла на продолжении подготовки к экзаменам на императорскую службу.

— Этого хотел бы его отец.

Ибрагим согласился с её решением, полагая вполне вероятным, что в будущем они ещё вернутся в центр страны, где результаты экзаменов будут играть решающее значение для надежд на

какое-либо продвижение по службе.

Сих, однако, не хотел учиться. Он заявлял об увлечении исламом, чего Ибрагим не мог не одобрять, хотя и с настороженностью. Но детский интерес Сиха был вызван джахрийскими мечетями, наполненными голосами, песнопениями, танцами, а иногда даже алкоголем и самобичеванием. Эти громкие выражения веры не оставляли места для интеллектуального развития и, кроме того, нередко приводили к возбуждённым дракам с хафийской молодёжью.

— Сказать правду, ему полюбится любая программа, где придётся меньше всего трудиться, — мрачно сказала Кан. — Ему нужно готовиться к экзаменам, независимо от того, станет он мусульманином или нет.

Ибрагим согласился, и вдвоём они заставили Сиха взяться за учёбу. Его интерес к исламу поубавился, когда стало ясно, что, выбрав этот путь, он только добавит нагрузки к своей учебной программе.

Книги и учение, конечно, не должны были для него составить труда в доме, где научная деятельность занимала доминирующее место. Кан воспользовалась переездом на запад, чтобы собрать все свои стихи в один сундук, и теперь

доверяла большую часть работы по шерсти и вышивке служанкам, а сама проводила дни, перебирая увесистые стопки бумаги, перечитывая собственные стихи в толстых пачках, а также стихи друзей, родственников и незнакомцев, скопленные за многие годы. Зажиточные, респектабельные женщины южного Китая строчили стихи безостановочно на протяжении всего правления династий Мин и Цин, и теперь, просматривая своё небольшое поэтическое собрание, насчитывающее порядка двадцати шести тысяч стихов, Кан обратила внимание Ибрагима на закономерности в выборе тем, которые начинала прослеживать сама: тяготы наложничества, изоляция при нём и физические ограничения (она была слишком тактична, чтобы говорить о том, какие формы это могло принимать в действительности, и Ибрагим старательно избегал смотреть на её ноги и пристально глядел прямо в глаза). Изнуряющий монотонный труд лет риса и соли, боль, риск и экзальтация деторождения, страшное, первобытное потрясение от того, что тебя, воспитанную как любимицу семьи, против воли выдают замуж, чтобы в тот же миг ты стала без малого рабыней в чужой семье. Кан с чувством рассказывала о непреходящем чувстве

надрыва и излома, вызванном столь важным событием в жизни женщины:

— Ты как будто переживаешь реинкарнацию с нетронутым разумом, смерть и перерождение на нижней ступени, голодным призраком и вьючным животным, которое всё ещё помнит о том времени, когда ты была королевой мира! Для наложниц это ещё тяжелее: спуститься на самый низ, минуя царства животных и прет, в саму преисподнюю. И ведь наложниц больше, чем жён.

Ибрагим кивал и поощрял её стремление не только писать на эти темы, но и отбирать лучшие из имевшихся у неё стихотворений для поэтической антологии, подобной «Правильным началам» Юн Чжу, недавно опубликованным в Нанкине.

— Как она сама отмечает в предисловии, — сказал Ибрагим, — «На каждое стихотворение, записанное мною, приходится десять тысяч, которые мне пришлось пропустить». А сколько из этих десяти тысяч были более откровенными, более опасными, чем оставленные?

— Девять тысяч девятьсот, — ответила Кан, хотя ей очень нравилась антология Юн Чжу.

И она начала собирать антологию, а Ибрагим помогал ей, прося своих коллег в центральных,

западных и южных регионах страны присылать ему все женские стихи, которые им удастся заполучить. Время шло, и работа разрасталась, как рис в горшке, пока целые комнаты их нового дома не оказались заполнены кипами бумаг, скрупулёзно структурированных Кан по автору, провинции, династии и так далее. Она проводила за этой работой большую часть времени и казалась абсолютно поглощённой ею.

Однажды она пришла к Ибрагиму, держа листок бумаги.

— Послушай, — сказала она тихо и серьёзно. — Это стихотворение Кан Ланьин, оно называется «В ночь накануне рождения первенца».

Она стала читать:

В ночь накануне первых родов
Мне явился дух
Бая, старого монаха. Он сказал:
«Позволь мне, госпожа, и я вернусь
В твоём дитя». В ту минуту
Я поняла: реинкарнация реальна. Я спросила:
«Каким ты был, что ты за человек,
Что подменяешь душу, которая уже

во мне?»

Он отвечал: «Я был твоим и прежде.

Я следовал за тобою все века, пытаясь

Счастливой тебя сделать. Впусти меня, и я

Попробую ещё».

Кан подняла взгляд на Ибрагима, и тот кивнул.

— Должно быть, с ней случилось то же, что и с нами, — рассудил он. — Такие моменты учат нас тому, что жизнь — это нечто большее.

Когда Кан Тунби делала перерывы в работе над антологией, немало послеполуденных часов она проводила на улицах Ланьчжоу. В этом было что-то для неё новое. Она брала с собой служанку и пару плечистых слуг-мусульман с густыми бородами и короткими кривыми кинжалами за пазухой и гуляла по улицам, по набережной, по убогой городской площади и по пыльным рынкам, по променаду на вершине стены вокруг старого города, откуда открывался красивый вид на южный берег реки. Она купила несколько пар «туфель-бабочек», как они назывались, которые были впору её изящным маленьким ножкам, но выходили за пределы стопы, создавая видимость

нормальной ноги и, в зависимости от формы и материалов, обеспечивая дополнительную опору и баланс. Если Кан находила на рынке туфли-бабочки, дизайн которых отличался от уже приобретённых ею пар, она покупала и их. Ни одни из этих туфель, как казалось Пао, не помогали ей при ходьбе: её походка оставалась медленной, а шаг — коротким и кривым. Но теперь она предпочитала ходить пешком, а не перемещаться в паланкине, хотя в этом голом и пыльном городе погода была либо слишком жаркой, либо слишком холодной, и всегда ветреной. Кан Тунби неторопливо шагала вперёд, подмечая всё вокруг себя.

Однажды, когда они тащились домой, Пао жалобно поинтересовалась:

— Почему вы перестали передвигаться в паланкине?

Кан отвечала ей на это:

— Сегодня утром я прочла такие строки: «Великие принципы тяжелы, как тысяча лет. Быстротечная жизнь легка, как рисовое зёрнышко».

— Только не для меня.

— Зато у тебя здоровые ноги.

— Неправда. Они большие, но всё равно болят. Поверить не могу, что вы отказались от палан-

кина.

— Мы должны о чём-то мечтать, Пао.

— Не знаю, не знаю. Как говорила моя матушка, нарисованной рисовой лепёшкой голода не утолить.

— Монах Догэн слышал это выражение и ответил на него такими словами: «Без нарисованного голода никогда не стать настоящим человеком».

Каждый год во время буддистского и исламского праздников весеннего равноденствия они выбирались на озеро Цинхай и стояли на берегу великолепного сине-зелёного моря, заново напоминая себе о своей приверженности жизни, жгли благовония и бумажные деньги и молились, каждый по-своему. Кан возвращалась в Ланьчжоу, пребывая в восторге от пейзажей путешествия, и с удвоенным рвением бралась за все свои разнообразные проекты. Если раньше, в Ханчжоу, её кипучая деятельность просто удивляла слуг, то теперь она внушала им ужас. За день она успевала переделать столько, сколько нормальные люди сделали бы за неделю.

Ибрагим тем временем продолжал работу над трудом, посвящённым великому примирению двух религий, схлестнувшихся теперь и в Ганьсу, что они могли наблюдать воочию. Ганьсуйский

коридор был крупнейшим переходом между восточной и западной половинами мира, и к караванам верблюдов, которые с незапамятных времён двигались по нему на восток в Шэньси или на запад к Памиру, теперь присоединялись бесконечные вереницы запряжённых волами повозок, прибывающих в основном с запада, но и с востока тоже. Мусульмане и китайцы одинаково обосновались в этом регионе, и Ибрагим беседовал с лидерами различных движений, собирал и читал их тексты, рассылал письма учёным по всему миру и ежедневно по много часов корпел над своими книгами. Кан помогала ему в его работе, он помогал ей в её, но проходили месяцы, у них на глазах конфликт в регионе обострялся, и её помощь всё чаще принимала форму осуждения и критики его идей, на что он иногда прямо указывал, когда уставал за всё оправдываться.

Кан, по своему обыкновению, была беспощадна.

— Послушай же, — говорила она, — простыми разговорами всех проблем тут не решить. Различия никуда не денутся! Вот смотри, твой Ван Дайюй, самый новаторский мыслитель, из кожи вон лезет, чтобы приравнять Пять Столпов исламской веры к Пяти Добродетелям конфуцианства.

— Вот именно, — ответил Ибрагим. — Они объединяются в Пять Констант, как он их называет, истинных повсюду и для всех, которые всегда остаются неизменными. Кредо в исламе — это «жэнь», гуманность Конфуция. Милостыня — это «и», справедливость. Молитва — это «ли», пристойность. Пост — это «чжи», знание. А паломничество — это «синь», вера в человечество.

Кан всплеснула руками.

— Только вслушайся в то, что ты говоришь! Эти понятия не имеют почти ничего общего друг с другом! Гуманность — это не кредо! Пост — вовсе не знание! И ничего удивительного, что твой наставник из внутреннего Китая, Лю Чжи, отождествляет те же Пять Столпов ислама не с Пятью Добродетелями, а с Пятью Отношениями, «уган», а не «учан»! И ему тоже приходится искажать слова и понятия до неузнаваемости, чтобы привести эти два списка в соответствие между собой. Два разных, но одинаково плохих результата! Если следовать его примеру, что угодно можно подвести под что угодно.

Ибрагим недовольно поджал губы, но возражать не стал. Вместо этого он сказал:

— Лю Чжи отмечал различие между этими двумя движениями, но также провёл и параллели

между ними. По его мнению, Путь Небесный, «тиандо», лучше всего выражает ислам, а Путь Земной, «жэньдао», — конфуцианство. Таким образом, Коран — это священная книга, но «Аналекты» описывают принципы, фундаментальные в жизни каждого человека.

Кан опять покачала головой.

— Пусть так, но китайские мандарины никогда не поверят, что священная Книга Небес пришла к нам из Тянфана. Как можно на это рассчитывать, когда только Китай имеет для них значение? Срединное царство, на полпути между небом и землёй; Драконий трон, дом Нефритового Императора; а весь остальной мир — всего лишь земля варваров, где не может появиться на свет что-то столь важное, как священная Книга Небес. И потом, возвращаясь к разговору о твоих шейхах и халифах на западе, как они могут принять китайцев, которые ни капли не верят в их единого бога? Ведь это наиважнейший аспект их веры! Как будто бог может быть только один, — добавила она вполголоса.

И снова Ибрагим принял обеспокоенный вид. Но он не сдавался:

— В их корне лежат одни и те же принципы. И сейчас, когда империя расширяется на запад, а

большое число мусульман идёт на восток, прийти к какому-то синтезу просто необходимо. Без него мы не сможем сосуществовать.

Кан пожал плечами.

— Может, и так. Но нельзя смешать масло и уксус.

— Идеи — это не химические реагенты. Они больше похожи на даосскую ртуть и серу, сочетанием которых можно произвести на свет всё что угодно.

— Умоляю, только не говори мне, что собираешься переквалифицироваться в алхимика.

— Нет. Только в мире идей, где великую трансмутацию ещё предстоит совершить. Вспомни, в конце концов, чего достигли алхимики в мире материальном. Сколько новых машин, новых вещей…

— Камень куда более податлив, чем идеи.

— Надеюсь, что это не так. Согласись, что истории известны случаи столкновения великих цивилизаций, приведшие к синтезу их культур. В Индии, например, исламские захватчики завоевали очень древнюю индуистскую цивилизацию, и с тех пор они часто воевали, но пророк Нанак поженил меж собой ценности обоих народов, и так произошли сикхи, которые верят в Аллаха и

карму, в реинкарнацию и в божественный суд. Он расслышал гармонию за разладом, и теперь сикхи входят в число самых могущественных групп в Индии. В них — надежда страны, учитывая все её войны и невзгоды. И нам здесь нужно что-то подобное.

Кан кивнула.

— Возможно, это у нас уже есть. И было всегда, до Мухаммеда и до Конфуция, в форме буддизма.

Ибрагим нахмурился, и Кан рассмеялась отрывистым, невесёлым смехом. Она и подначивала его, и в то же время говорила абсолютно серьёзно — сочетание, весьма типичное для её общения с супругом.

— Просто признай, что всё у тебя под рукой. Здесь, в этих пустошах, буддистов больше, чем где-либо ещё.

Он пробормотал что-то про Ланку и Бирму.

— Да, да, — согласилась она. — А также Тибет, Монголия, Вьетнам, Тай и Малайзия. Заметь, они всегда там, в пограничных зонах между Китаем и Исламом. Уже здесь. И учения буддистов очень фундаментальны. Самые фундаментальные из всех.

Ибрагим вздохнул.

— Тебе придётся обучить меня.

Она удовлетворённо кивнула.

В тот год, 43-й год правления императора Цяньлуна, с запада по старому Шёлковому пути хлынула волна мусульманских семей, говорящих на самых разных языках. Мужчины, женщины, дети и даже животные — судя по всему, целые деревни и города были брошены пустовать, когда их жители направились на восток, подгоняемые, очевидно, ожесточившимися войнами между иранцами, афганцами и казахами, а также гражданскими войнами в Фулане. Большинство вновь прибывших были шиитами, как сказал Ибрагим, но среди них попадались и многие другие мусульмане: накшабандии, ваххабиты, разные суфии… Когда Ибрагим попытался объяснить это Кан, она неодобрительно поджала губы.

— Ислам расколот, как ваза, упавшая на пол.

Позже, став очевидицей агрессивной реакции на беженцев от уже живущих в Ганьсу мусульман, она заметила:

— Это всё равно что плеснуть масла в огонь. Рано или поздно они просто перебьют друг друга.

Она не выглядела особенно расстроенной. Сих снова начал проситься в джахрийскую школу, уверяя, будто к нему вернулось желание принять ислам, хотя его мать не сомневалась, что

виной всему была только его лень в отношении учёбы и мятежный дух, бередивший юное сердце. Она между тем нередко имела возможность наблюдать за мусульманками в Ланьчжоу, и если раньше Кан часто жаловалась на угнетение китайских женщин со стороны мужчин, теперь она утверждала, что мусульманкам приходится гораздо хуже.

— Только посмотри, — сказала она Ибрагиму однажды на веранде с видом на реку, — они прячутся под покрывалами, как богини, но обращаются с ними, как с коровами. Ты можешь жениться на стольких, на скольких вздумается, и все они остаются без семейного покровительства. И ни одна из них не умеет читать. Какой позор!

— А китайцы берут наложниц, — заметил Ибрагим.

— В том, чтобы быть женщиной, ни в одной стране нет ничего хорошего, — язвительно парировала Кан. — Только наложницы — не жёны, у них нет семейных прав.

— То есть в Китае дела обстоят лучше, но только если ты замужем.

— Это справедливо в любой стране. Но не уметь читать даже дочерям из богатых и образованных семей! Быть лишённой литературы, не иметь

возможности написать весточку своей родной семье…

Кан этого не делала никогда, но Ибрагим промолчал об этом. Он покачал головой.

— Женщинам приходилось гораздо хуже до того, как Мухаммед принёс в мир ислам.

— Это мало о чём говорит. Насколько же плохо всё было раньше, а это больше тысячи лет назад, верно? Какими же варварами, должно быть, были мужчины. К тому времени китайские женщины уже две тысячи лет пользовались привилегиями и чувствовали себя защищёнными.

Ибрагим слушал её и хмурился, опустив глаза. Он не ответил.

Повсюду в Ланьчжоу они видели признаки перемен. Железные рудники Синьцзяна кормили литейные цеха, строящиеся за городом вверх и вниз по течению реки, а постоянный приток потенциальных литейщиков делал возможным всё новые улучшения, как в металлургии, так и в строительстве в целом. Одной из основных специализаций этих цехов было производство пушек, и городской гарнизон был усилен, а Зелёные Штандарты китайской армии пополнились маньчжурскими всадниками. Литейные цеха получили бессрочный приказ поставлять все

пушки Цяньлуну, чтобы оружие уходило строго на восток, вглубь страны. Но поскольку большинство рабочих на этой грязной работе были мусульманами, немало пушек попало и на запад, вопреки императорскому указу. Это привело к усилению военного надзора, росту числа китайских гарнизонов, маньчжурских полков и усилению трений между местными рабочими и цинскими военными. Долго так не могло продолжаться.

Горожанам, живущим здесь дольше всех, оставалось только наблюдать за процессом распада. Ни один человек сам по себе не мог ничего сделать. Ибрагим продолжал наводить мосты между хуэями и императором, тем самым наживая себе врагов среди вновь прибывших, настроенных на обновление и джихад.

И вот однажды, в разгар этого хаоса, Кан сообщила Пао о том, что она ждёт ребёнка. Пао была в шоке, да и сама Кан выглядела ошеломлённой.

— Можно договориться об аборте, — шепнула Пао, отводя взгляд в сторону.

Кан поблагодарила, но отказалась.

— Придётся стать матерью в старости. Ты должна мне помочь.

— О да, мы поможем, я помогу.

Ибрагим тоже был удивлён этой новостью, но быстро освоился.

— Будет замечательно, если от нашего союза родится ребёнок. Как наши книги, только живой.

— Это может быть девочка.

— Если на то воля Аллаха, как я могу быть против?

Кан пристально всмотрелась в его лицо, затем кивнула и ушла.

Она стала редко выходить в город, да и то только днём и в паланкине: в тёмное время суток на улицах было опасно находиться. После наступления темноты добропорядочные граждане прятались по домам, и только банды юношей, обычно нетрезвых, джахриев или хафиев, но чаще джахриев, искали драки. Болтуны против глухонемых, как презрительно заметила Кан.

Именно внутримусульманская борьба и стала причиной первой крупной трагедии этого смутного времени, как, во всяком случае, рассудил Ибрагим. Когда стало известно о стычках между джахриями и хафиями, в город прибыли солдаты в сопровождении важного цинского чиновника Синьчжу, который сразу встретился с Ян Шицзи, городским префектом. Ибрагим присутствовал на этой встрече и вернулся, глубоко встрево-

женный.

— Они не понимают, — сказал он. — Они говорят об инсуррекции[33], но никто здесь и не мыслит таких великих помыслов. Как? Мы так далеко от внутренних регионов, что люди здесь смутно представляют, что такое Китай. Всего лишь местный конфликт, а они приехали сюда, готовясь к настоящей войне.

Несмотря на заверения Ибрагима, новые власти арестовали Ма Минсиня. Ибрагим мрачно покачал головой. Затем солдаты вторглись в сельскую местность на западе региона. В Байчжуанцзы они встретились с главой саларских джахриев, Су Сорок Третьим. Салары спрятали своё оружие и назвались приверженцами старого учения. Тогда Синьчжу сообщил им, что намерен истребить всё новое учение, и люди Су тотчас напали на приезжих и зарезали сначала Синьчжу, а затем и Ян Шицзи.

Когда маньчжурские всадники, которым удалось избежать нападения, вернулись в Ланьчжоу с вестью об этом варварстве, Ибрагим застонал от досады и гнева.

— Вот теперь это действительно инсуррек-

---

[33] Примечания: 33
Свержение династии (*прим. пер.*).

ция, — сказал он. — По цинскому закону, всем участникам этой истории теперь не сносить головы. Как они могли поступить так неразумно?

Вскоре прибыло многочисленное войско, которое атаковали солдаты Су Сорок Третьего, — ему на смену пришли новые имперские войска. В ответ Су Сорок Третий со своей двухтысячной армией захватили Хэчжоу, а после переправились через реку на пифаси[34] и разбили лагерь прямо под стенами Ланьчжоу. И вдруг действительно началась война.

Цинские власти, уцелевшие после джахрийского нападения, вывели Ма Минсиня на городскую стену для всеобщего обозрения, и его последователи, увидев его в оковах, заголосили и пали ниц. Их крики «Шейх! Шейх!» доносились из-за реки и с вершин холмов, окружавших город. Окончательно удостоверив таким образом личность лидера повстанцев, власти стащили его со стены и обезглавили.

Когда джахрии узнали о случившемся, желание отомстить овладело ими. Вооружения для того, чтобы провести основательную осаду Ланьчжоу,

---

[34] Примечания: 34

Надувные плоты из шкур, которые на протяжении многих веков использовались для переправы через реки Хуанхэ, Вэйхэ и Таохэ (*прим. пер.*).

у них не было, поэтому они построили на соседнем холме крепость и начали систематически осаждать все входы и выходы за пределы города. Цинским чиновникам в Пекине доложили о творящихся беспорядках, и они, разгневавшись на подобную атаку провинциальной столицы, послали восстанавливать порядок в регионе имперского комиссара Агуя, одного из старших военных губернаторов Цяньлуна.

Но он потерпел неудачу, и жизнь в Ланьчжоу стала скудной и холодной. В итоге Агуй отправил Хушэня, главного военного наблюдателя, обратно в Пекин, и тогда тот вернулся с новыми приказами от императора, созвал внушительное вооружённое ополчение из Ганьсуйских тибетцев, алашанских монголов и всех солдат из остальных гарнизонов Зелёных Штандартов региона. Улицы заполонили такие свирепые амбалы, что весь город казался сплошной большой казармой.

— Старая ханьская методика, — с недовольством отмечал Ибрагим. — Стравить на границе все не ханьские народы, и пусть поубивают друг друга.

С таким подкреплением Агуй смог перекрыть подачу воды в джахрийскую крепость на вер-

шине холма за рекой, и они поменялись ролями: осаждающий стал осаждённым, как в партии го. На исходе третьего месяца в город просочилась весть о том, что произошла решающая битва и Су Сорок Третий вместе со всеми до единого солдатами его многотысячной армии были убиты.

Ибрагима весть опечалила.

— Это далеко не конец. За Ма Минсиня и за всех погибших захотят отомстить. Чем сильнее будут подавлять джахриев, тем больше молодых мусульман вступят в их ряды. Сам факт угнетения вызывает восстание!

— Как в умопомешательстве с похищением душ, — заметила Кан.

Ибрагим кивнул и с двойным усердием взялся работать над книгами. Словно успех в примирении двух цивилизаций на бумаге положил бы конец кровавым боям, разворачивавшимся вокруг них. И он писал, по много часов в день, не замечая даже еду, которую слуги приносили ему в кабинет. Его разговоры с Кан были продолжением его каждодневных мыслей, и наоборот, слова, которые говорила его жена в этих разговорах, часто оказывались в тексте его книги. Больше ничьё мнение не имело для него значения. Кан проклинала молодых мусульманских агрессоров

и говорила:

— Вы, мусульмане, слишком религиозны, раз готовы убивать и умирать, как они, ради таких ничтожных различий в догматах. Это безумие!

И вскоре в невероятно пространном исследовании Ибрагима[35], которое Кан окрестила «Мухаммед встречает Конфуция», появился следующий отрывок:

> Наблюдая в исламе тенденцию к физическим манифестациям, с поста, танцев и самобичевания и до самого джихада, можно задаться вопросом о причинах этого явления, которых может быть несколько, включая слова Мухаммеда, одобряющие джихад, раннюю историю распространения ислама, суровые и таинственные пустынные ландшафты, приютившие немало мусульманских общин, и – возможно, в первую очередь – тот факт, что для исламских народов языком их религии по умолчанию является арабский, а следовательно, и вторым

[35] Примечания: 35

Предположительно — сочинение в пяти томах, опубликованное в 60-м году правления Цяньлуна под названием «Примирение философий Люй Чжи и Ма Минсиня» (*прим. автора*).

языком для подавляющего большинства из них. Это влечёт за собой роковые последствия, поскольку родной язык любого народа всегда зиждется на физической реальности, что выражается в лексике, грамматике, синтаксисе и всевозможных метафорах, образах и символах, многие из которых зарыты в самих словах и так и позабыты. Но в случае ислама, вместо лингвистической связи с физической реальностью, его священный язык отстранён от неё, являясь для большинства верующих вторичным и переведённым, лишь частично изученным; он сообщает верующим абстрактные понятия, провожает их в мир идей, изолированных и оторванных от чувственной и физической сторон жизни, подготавливает почву для возможного и даже вероятного экстремизма как результат отсутствия перспективы, отсутствия обоснования. Можно на примере объяснить лингвистический процесс, о котором я веду речь: мусульмане, для которых арабский язык является вторым языком, не «стоят крепко на земле», их поведение слишком

часто диктуется абстрактной мыслью, одиноко парящей в пустом языковом пространстве. Нам нужен весь мир. Каждая ситуация должна рассматриваться в соответствующем окружении, чтобы быть понятой. Следовательно, ислам нужно преподавать преимущественно на местных языках, так как Коран переведён на все языки мира, или же сделать всеобщим и всеобъемлющим изучение арабского, хотя для этого, вероятно, потребуется, чтобы арабский стал основным языком во всём мире, а это едва ли исполнимо – и может рассматриваться как ещё один аспект джихада.

В другой раз, когда Ибрагим писал о теории династических циклов, которой придерживались как китайские, так и исламские историки и философы, его жена отмахнулась от этой идеи, как от испорченной вышивки:

— Вы просто воспринимаете историю так, будто это времена года. Какая наивная метафора! Что если они ничуть не похожи, что если история бесконечно извивается, как река, что тогда?

И вскоре Ибрагим написал в своих «Коммента-

риях к доктрине о великом цикле истории»:

> Ибн Хальдун, наиболее влиятельный из мусульманских историков, говорит в своей книге «Мукаддима» о великом цикле династий, и большинство китайских историков также отмечают циклическую модель истории, начиная с историка династии Хань, Дун Чжуншу, в своей работе «Густые росы весенних и осенних летописей», – систему, которая, по существу, является продолжением мысли самого Конфуция, которая, в свою очередь, продолжается в «Комментариях к эволюции ритуалов» Кан Ювэя, где говорится о трёх эпохах, каждая из которых – хаос, малый мир и великий мир – проходит через внутренние смены хаоса, малого мира и великого мира, так что три становятся девятью, затем, воссоединяясь, восьмьюдесятью одним, и так далее. Индуистская религиозная космология, которая по сей день является единственным упоминанием этой цивилизации об истории как таковой, также говорит о великих циклах: сначала кальпа, день Брахмы,

который составляет 4 320 000 000 лет, разделённая на четырнадцать манвантар, каждая из которых разделена на семьдесят одну маха-югу длиной 3 320 000 лет. Каждая маха-юга, или Великая Эпоха, делится на четыре эпохи: Сатья-юга, эпоха мира, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга, предположительно – эпоха наших дней, эпоха упадка и отчаяния в ожидании обновления. Эти временные промежутки, куда более продолжительные, чем у других цивилизаций, предыдущие комментаторы зачастую находили чрезмерными, но нельзя не признать, что, чем больше мы узнаём о древности Земли благодаря найденным на горных вершинах окаменелым морским раковинам, перпендикулярно вросшим друг в друга наслоениям каменных отложений и тому подобному, тем сильнее кажется, что индийский самоанализ проник сквозь завесу прошлого и наиболее точно угадал истинный масштаб истории.

Но как бы то ни было, во всех этих случаях циклы возможно наблюдать, лишь игнорируя большую часть событий, до-

стоверно происходивших в прошлом, и скорее всего теории эти основаны на круговороте календаря и повторении времён года, где цивилизации рассматриваются, как листья на дереве, проходящие через цикл роста, увядания и нового роста. Но возможно, история не копирует это поведение и каждая цивилизация имеет свою уникальную судьбу, которую нельзя вписать в циклическую модель, не исказив того, что произошло в действительности.

Так, стремительное распространение ислама не вписывается ни в одну известную циклическую модель, в то время как его популярность, возможно, обусловлена тем, что ислам предлагает не цикл, а движение к Богу, и несёт один простой посыл: сопротивление великому соблазну усложнения, которым заняты большинство мировых философий, в угоду удобопонятности для масс.

Кан Тунби в то время тоже много писала, компилируя антологии женской поэзии, разбивая стихи на группы и проводя анализ их совокупного значения. Также с помощью мужа она присту-

пила к написанию «Трактата о месте женщины в истории Хунаня», в котором часто сквозили её личные мысли или комментарии на тему мыслей мужа, так же как её мысли отражались в его трудах, чтобы в будущем учёные смогли сопоставить сочинения этих двоих, написанные в период их жизни в Ланьчжоу, и выстроить в своего рода непрерывный диалог или дуэт.

Но Кан имела собственную точку зрения на всё, и Ибрагим зачастую мог её не разделять. Так, чуть позднее в этом же году, устав от иррационального по своей сути конфликта, который раздирал их регион на части, и тревожась за грядущий, более серьёзный конфликт, чувствуя, как будто над ними нависла огромная туча, которая вот-вот разразится грозой, Кан написала в своём «Трактате»:

> Вы видите, как системы философской мысли и религии берут своё начало в том обществе, которое породило их. Способ, которым люди добывают себе пропитание, определяет, как они думают и во что верят. Сельскохозяйственные народы верят в богов дождя, богов семян и богов всего того, что может повлиять на

урожай (Китай). Народы, занимающиеся выпасом животных, верят в единого бога-пастуха (ислам). В обеих этих культурах сквозит примитивное представление о богах как о помощниках, как о больших людях, наблюдающих за нами сверху, как о родителях, которые тем не менее ведут себя как непослушные дети, капризно решая, кому причитается награда, а кому нет, на основе малодушных жертв, приносимых людьми, зависящими от их прихоти. Религии, которые внушают, что такому богу нужно приносить жертвы и просто молиться, чтобы просить о чём-то материальном для себя, это религии отчаявшихся и невежественных людей. Только попав в более развитые и безопасные общества, можно встретить религию, готовую честно взглянуть в лицо вселенной, признать, что в ней нет явных признаков божественного начала, за исключением существования космоса самого по себе, и тем самым признать, что всё свято, независимо от того, смотрит ли на это сверху какой-то бог или нет.

Ибрагим прочёл этот отрывок рукописи и со вздохом покачал головой.

— Я женился на женщине мудрее себя, — сказал он пустому кабинету. — Я счастливый человек. Но иногда я жалею, что предпочёл изучать идеи, а не вещи. Каким-то образом меня вынесло за пределы моего таланта.

Каждый день поступали новости о всё большем угнетении мусульман императором. Дескать, власти отдавали предпочтение старому учению, а не новому, но невежественные и честолюбивые чиновники, приезжавшие из центральных регионов, допускали неоднократные ошибки. Например, Ма Уи, преемнику Ма Лайчи, а не Ма Минсиня, было предписано переселиться в Тибет вместе с его последователями. Старое учение на новые территории, говорили люди, сокрушаясь над бюрократической ошибкой, которая, несомненно, приведёт к гибели людей. Это стало третьей из Пяти Величайших Ошибок кампании подавления. И беспорядки множились.

Наконец китайский мусульманин по имени Тянь У открыто сплотил джахриев, чтобы организовать восстание и освободиться из-под гнёта Пекина. Произошло это к северу от Ганьсу, поэтому в Ланьчжоу снова стали делать запасы на

случай войны.

Вскоре показались военные полки, которым, как и всем остальным, нужно было миновать Ганьсуйский коридор, чтобы попасть с востока на запад. Поэтому, хотя большинство боёв происходило далеко на востоке Ганьсу, потоки сводок с полей в Ланьчжоу никогда не иссякали, как и потоки солдат, проходящих через город.

Кан Тунби было не по себе, оттого что основные сражения происходили на востоке, между Ланьчжоу и внутренними регионами. Прошло несколько недель, прежде чем цинской армии удалось подавить восстание Тянь У, хотя сам зачинщик был убит почти в самом начале. Вскоре стало известно, что цинский генерал Ли Шияо приказал истребить более тысячи джахрийских женщин и детей в восточном Ганьсу.

Ибрагим был в отчаянии.

— Теперь все мусульмане Китая джахрии в своих сердцах.

— Возможно, — сказала Кан цинично, — но это не мешает им, как я погляжу, принимать джахрийские угодья, конфискованные правительством.

Также верно было и то, что группировки джахриев теперь росли как грибы после дождя,

возникая в Тибете, Туркестане, Монголии, Маньчжурии и даже на юге, в далёком Юньнане. Ни одна другая мусульманская секта никогда не привлекала столько последователей, и многие из беженцев, пережившие смуту мусульманской гражданской войны на далёком западе, были только рады присоединиться к бесхитростному джихаду против неверных и, едва оказавшись в городе, вступали в ряды джахриев.

Даже в это нелёгкое время Ибрагим и глубоко беременная Кан по вечерам уединялись на веранде и смотрели, как впадает в Жёлтую реку Таохэ. Они обсуждали новости и проделанную за день работу, сопоставляя стихи или религиозные тексты, как будто только это в действительности и имело значение. Кан пыталась освоить арабский алфавит, который сочла трудным, но поучительным.

Она говорила:

— Этим алфавитом никак нельзя обозначить звуки китайского языка. Наверняка точно так же верно и обратное! — она указала на место слияния двух рек. — Ты говоришь, что два народа могут смешаться, как воды этих рек. Пусть так. Но обрати внимание на линию ряби там, где они встречаются. Видишь, в жёлтом потоке вода всё

ещё чистая?

— Но на сто ли вниз по течению… — предположил Ибрагим.

— Возможно. Но я задумалась: воистину, нужно последовать примеру этих сикхов, которые, по твоим рассказам, сочетают лучшее из старых религий и создают нечто новое.

— А как же буддизм? — спросил Ибрагим. — С твоих слов, он уже изменил китайскую религию до неузнаваемости. Может ли это повториться и с исламом?

Она задумалась.

— Сомневаюсь, что это возможно. Будда говорил, что нет никаких богов, есть только разумные души во всём сущем, даже в облаках и камнях. Всё свято.

Ибрагим вздохнул.

— Должен же быть бог. Вселенная не могла возникнуть из ничего.

— Откуда нам знать.

— Я верю, что это сделал Аллах. Но теперь, возможно, всё зависит от нас. Он дал нам свободу воли, чтобы посмотреть, что мы будем делать. Опять же, ислам и Китай могут иметь две части всей правды. Возможно, буддизм имеет и другую сторону. И мы должны увидеть это — или всё

будет опустошено.

Над рекой сгущались сумерки.

— Тебе нужно поднять ислам на новую ступень, — заключила Кан.

Ибрагим содрогнулся.

— Суфизм пытается сделать это на протяжении веков. Суфии поднимаются, ваххабиты утягивают их вниз, утверждая, что в исламе не может быть развития, не может быть никакого прогресса. А император растаптывает обоих!

— Это не так. Старое учение имеет вес в законодательстве, книги твоего Лю Чжу включены в имперское собрание священных текстов. С даосами по-другому. Даже буддизм не пользуется благосклонностью императора по сравнению с исламом.

— Так и было, — сказал Ибрагим. — Пока здесь, на западе, царил покой. Теперь эти юные горячие головы накаляют обстановку, уничтожая все шансы на сосуществование.

На это Кан было нечем возразить. Именно это она и говорила с самого начала.

Уже совсем стемнело. Ни одного приличного гражданина не осталось на улицах этого варварского городка, даром что тот был обнесён стеной. Было слишком опасно.

Новости пришли с очередным притоком беженцев с запада. Османский султан заключил союз со степными эмиратами к северу от Чёрного моря, преемниками Золотой Орды, которые только недавно вышли из состояния анархии, и вместе они разгромили армии империи Сефевидов, уничтожив шиитскую цитадель в Иране, и взяли курс на восток, по децентрализованным эмиратам центральной Азии и шёлковым путям. Результатом стал хаос во всём сердце мира, новые войны в Ираке и Сирии, повсеместный голод и разрушения (хотя шли разговоры, что с победой османов порядок воцарится и в западной части мира). Тем временем тысячи мусульман-шиитов уходили на восток через Памир, где, по их мнению, правили лояльные реформистские государства. Похоже, они не знали, что там был Китай.

— Расскажи мне ещё о том, что говорил Будда, — просил Ибрагим вечером на веранде. — У меня складывается впечатление, что всё это очень примитивно и эгоцентрично. Мол, всё есть так, как оно есть, приспосабливайся к этому и фокусируйся на себе. И всё хорошо. Но очевидно, что в этом мире далеко не всё хорошо. Что об этом говорит буддизм? Есть ли в нём «должно быть», равно как и «есть»?

— «Если вы хотите помочь другим, упражняйтесь в сострадании. Если вы хотите помочь себе, упражняйтесь в сострадании». Это слова тибетского далай-ламы. А сам Будда сказал Сигале, который поклонялся шести направлениям, что благородная дисциплина будет трактовать шесть направлений как родителей, учителей, супругов и детей, друзей, слуг и работников и религиозных людей. И всем им следует поклоняться, сказал он. Поклоняться, понимаешь? Как святыням. Людям в твоей жизни! Так повседневная жизнь принимает форму поклонения. Ты понимаешь? А не пятничная молитва и бесчинства всю оставшуюся неделю.

— Аллах призывает отнюдь не к этому, уверяю тебя.

— Нет. Но есть же джихад, верно? И теперь как будто весь дар аль-ислам погряз в войнах, завоёвывая то друг друга, то чужаков. Буддисты никогда никого не завоёвывают. Более чем в половине из десяти наставлений Будды хорошему правителю говорится о сострадании, доброте и умении обходиться без насилия. Когда Ашока был молод, он разорял Индию, а потом стал буддистом и больше никогда не убил ни одного человека. Он стал воплощением хорошего правителя.

— Только его примеру редко следуют.

— Нет. Но мы живём в варварские времена. Буддизм распространяют люди, пришедшие к нему из личного стремления жить в мире и поступать правильно. Но власть притягивают к себе те, кто не гнушается применять силу. Ислам применяет силу, император применяет силу. И они будут править миром — или воевать за него, пока не разрушат до основания.

В другой раз она сказала:

— Мне кажется любопытным, что из всех религиозных деятелей древности только Будда не претендовал на звание бога и не заявлял, что общался с Богом. Все остальные называли себя или Богом, или Божьим сыном, или уверяли, что записывали под его диктовку. Тогда как Будда просто сказал: Бога нет. Вселенная священна сама по себе, люди священны, все живые существа священны и могут работать над собой и прийти к просветлению, нужно только обратить взор к повседневной жизни, найти золотую середину, быть благодарным и видеть святость в житейских заботах. Это самая скромная из религий. Не религия даже, а, скорее, образ жизни.

— А как же статуи Будды, которые я вижу повсюду, и поклонения в буддийских храмах? Са-

ми-то вы проводите немало времени в молитвах.

— Отчасти Будда почитается как образец для подражания. Люди недалёкого ума наверняка могут думать иначе, но это такие люди, которые готовы поклоняться всему, что движется, а Будда для них — всего лишь один бог среди многих. Они не понимают сути. В Индии из него сделали аватар Вишну, аватар, который намеренно пытается сбить людей с пути истинного поклонения Брахме, ты знал? Да, многие не понимают сути. Но она открыта каждому, стоит только захотеть её увидеть.

— О чём твои молитвы?

— Я молюсь о том, чтобы лучше видеть.

Довольно быстро восстание джахриев было подавлено, и в западной части империи, похоже, установился мир. Но глубоко укоренившиеся силы, загнанные теперь в подполье, продолжали работать на благо мусульманского восстания. Ибрагим боялся, что на горизонте вот-вот мог замаячить государственный переворот. Ходили разговоры о проблемах внутри страны, о ханьских тайных обществах и братствах, посвящённых окончательному свержению маньчжурских правителей и возвращению династии Мин. Даже ханьским китайцам имперское правительство

не могло доверять: всё-таки династия была из маньчжур, чужестранцев, и даже донельзя педантичное соблюдение конфуцианства императором Цяньлуном не могло заслонить этот неоспоримый факт. Если мусульмане в западной части империи учинят мятеж, китайцы во внутренних регионах и на южном побережье воспримут это как возможность поднять своё собственное восстание, и империя как строй может быть разрушена. В общем, не оставалось сомнений, что шэн-ши, пик текущего династического цикла (если таковые вообще имели место), миновал.

Об этой опасности Ибрагим неоднократно писал императору, убеждая его ещё сильнее укрепить позицию старого учения, признав ислам одной из государственных религий как законодательно, так и по факту, как в прошлом Китай признал буддизм и даосизм.

Ответа на эти записки не последовало, и, судя по каллиграфическим киноварным комментариям под другими прошениями, возвращёнными императором в Ланьчжоу, казалось маловероятным, что обращения Ибрагима будут приняты более благосклонно. «Почему меня окружают жулики и глупцы? — гласил один такой комментарий. — Каждый год нашего правления казна

пополняется золотом и серебром из Инчжоу, и мы никогда не знали большего процветания».

Тут он, конечно, не ошибался: император знал об империи больше, чем кто-либо другой. И всё же Ибрагим упорствовал. А тем временем на восток стекалось всё больше беженцев, пока Ганьсуйский коридор, Шэньси и Синьин не заполонили мусульмане, не всегда дружелюбно настроенные по отношению друг к другу и ни во что не ставящие китайских хозяев. Ланьчжоу, казалось, процветал (рынки были забиты до отказа, шахты, литейные цеха, кузницы и фабрики выпускали оружие, всевозможную технику, молотилки, ткацкие станки, телеги), но нищая западная окраина города теперь простиралась вдоль берега Жёлтой реки на много ли, и оба берега Таохэ превратились в трущобы, где люди жили в палатках и под открытым небом. Никто из горожан не узнавал своего города, и на ночь все запирали двери, если были благоразумны.

Дитя моё, приходя в этот мир,

Смотри по сторонам, куда бы ты ни пошёл.

Слишком многое может пойти не так;

Иногда мне становится страшно.

Если бы жили мы в эпоху великого мира,

С какой радостью я любовалась бы твоим невинным лицом,

Пока ты провожаешь взглядом гусей, осенью летящих на юг.

Однажды Кан помогала Ибрагиму разбирать завалы книг и бумаг, кистей и чернильных камней в его кабинете и остановилась, чтобы прочесть одну из страниц.

> Историю можно рассматривать как ряд столкновений цивилизаций, и в этих столкновениях рождаются прогресс и новые изобретения. Это происходит не в момент контакта, который часто сопряжён с разрушениями и войнами, но за чертой конфликта, где две культуры пытаются в первую очередь познать себя и восторжествовать; великий прогресс зачастую происходит стремительно – его творят вещи, навсегда меняющие искусство и технику. Мысль процветает, когда люди цепляются за жизнь, и со временем

в конкурентной борьбе верх одерживают более сильные идеи, более гибкие, более щедрые. Так, Фулань, Индия и Инчжоу процветают в своей раздробленности, в то время как Китай слабеет от собственной монолитной природы, несмотря на огромный приток золота со всего Дахая. Ни одна цивилизация не может ступить на путь прогресса в одиночку – это всегда вопрос столкновения двух из них или более. Так, волны у берегов никогда не бывают выше, чем когда отток какой-то более ранней волны обрушивается на новую, набегающую, и вода белой стеной взмывает до поразительной высоты. И история схожа не столько со временами года, сколько с волнами в море, накатывающими и откатывающими от берега, перехлёстываясь, рисуя узоры, иногда образуя даже тройные гребни, становясь на время воплощённой Алмазной горой культурной энергии.

Кан отложила страницу и ласково посмотрела на мужа.

— Если бы только это было правдой, — прого-

ворила она сама себе.

Он вскинул голову.

— Что?

— Ты хороший человек, муж мой. Но, быть может, ты, по доброте своей, взвалил на себя непосильную задачу.

Затем на 44-м году правления императора Цяньлуна пошёл дождь и не прекращался весь третий месяц. Земля повсюду была затоплена, как раз в то время, когда приближался срок Кан Тунби разрешиться от бремени. Вспыхнуло ли западное восстание из-за бедствий, вызванных наводнениями, или же оно было стратегически инициировано, чтобы воспользоваться паникой из-за катаклизма, никто точно не знал. Но мусульманские повстанцы атаковали город за городом, и пока шииты, ваххабиты, джахрии и хафии убивали друг друга в мечетях и подворотнях, цинские знамёна также пали под яростным напором повстанцев. Дело приняло настолько серьёзный оборот, что, по слухам, весь костяк императорской армии отступил на запад; а тем временем повсеместно царила разруха, и в Ганьсу стало заканчиваться продовольствие.

Ланьчжоу снова был осаждён, на этот раз коалицией мусульманских повстанцев-иммигрантов

всех сект и национальностей. Ибрагим и их слуги делали всё возможное, чтобы оберегать хозяйку на её позднем сроке. Высокая даже в обычное время, Жёлтая река поднялась на опасный уровень из-за ливней, а расположение их усадьбы в месте слияния Хуанхэ и Таохэ только усугубляло их положение. Высокий городской утёс перестал казаться таким высоким. Было страшно наблюдать, как резко разбухают реки, бурые и пенистые, по самым краям берегов. Наконец на пятнадцатый день десятого месяца, когда армия императора находилась в одном дне пути вниз по течению от их города и до освобождения от осады было рукой подать, ливень припустил сильнее, чем прежде, а реки поднялись ещё немного и разлились из своих берегов.

Кто-то (все подозревали мятежников) выбрал этот момент, наихудший из всех возможных, чтобы сломать плотину вверху по реке Таохэ; гигантский поток грязной воды взорвал русло, хлынул по уже затопленным берегам, устремляясь в Жёлтую реку, слился с ещё более крупным потоком, и коричневая вода выплеснулась и разлилась повсюду, вплоть до самых холмов по обе стороны узкой речной долины. К тому времени, когда прибыла императорская армия, Ланьчжоу

был уже по колено затоплен грязно-коричневой водой, которая продолжала подниматься.

Ибрагим уже выехал навстречу императорской армии, сопровождая губернатора Ланьчжоу, который взял его с собой, чтобы провести совет с новым командованием и помочь им найти предводителей повстанцев для проведения переговоров. И пока вода неумолимо поднималась вокруг стен усадьбы, только женщины и несколько слуг находились в доме, чтобы справиться с наводнением.

Сами стены и мешки с песком у ворот казались поначалу достаточной мерой защиты, но затем снаружи раздались крики: кто-то из горожан, уходивших на возвышенность, оповещал о разрушенной плотине и хлынувшей воде.

— Скорее! — воскликнул Чуньли. — Нам тоже нужно подняться на возвышенность. Нужно сейчас же уходить отсюда!

Кан Тунби не отреагировала. Она сосредоточенно набивала сундуки своими записями и записями Ибрагима. Целые комнаты в их доме были до потолка заполнены книгами и бумагами, на что переполошено указал ей Чуньли, увидев, что она делает. Времени, чтобы спасти всё, не было.

— Так помоги мне, — процедила Кан, лихорадочно собираясь.

— Как же мы всё это перенесём?

— Ставь коробки в паланкин, да побыстрее.

— Но как же вы?

— Я пойду пешком! Живо! Живо! Живо!

Они набивали коробки бумагами.

— Неправильно это, — не соглашался Чуньли, глядя на округлившийся живот Кан. — Ибрагим бы хотел, чтобы вы ушли. Он бы не стал так хлопотать об этих книгах!

— Нет, стал бы! — прикрикнула она. — Пакуйте! Зови сюда остальных и пакуйте!

Чуньли делал всё, что мог. Безумный час, проведённый в беготне и панике, вымотал и его, и остальных слуг, но Кан Тунби не собиралась опускать руки.

Наконец она уступила, и все бросились к усадебным воротам, и сразу же оказались по колено в коричневой воде, которая хлынула во двор и текла, пока ворота не захлопнулись. Поистине странное зрелище: весь город превратился в мелкое пенистое бурое озеро. Паланкин был так загружен книгами и бумагами, что всем слугам разом пришлось втиснуться под опорные шесты, чтобы поднять его и сдвинуть с места. Протяж-

ный, холодящий кровь рёв надвигающейся воды сотрясал воздух. Вспененное коричневое озеро, разлившееся на обе реки и на весь город, простиралось во все стороны до самых холмов. Ланьчжоу был полностью затоплен. Служанки рыдали, оглашая воздух воплями, криками, стонами. Пао нигде не было видно. И только чуткое материнское ухо услышало плач одинокого ребёнка.

Кан поняла: она забыла собственного сына. Она развернулась и проскочила обратно в ворота, распахнутые потоком воды, незамеченная слугами, пытавшимися удержаться на ногах под нагруженным паланкином.

Загребая воду, она потащилась через бурлящий поток в комнату Сиха. Двор усадьбы уже затопило.

Похоже, Сих прятался под кроватью, пока вода не смыла его оттуда наверх, где он в ужасе забился в угол постели.

— Мама, спаси! Спаси меня!

— Пойдём же скорее!

— Не могу! Не могу!

— Мне не донести тебя, Сих. Иди сюда! Слуги ушли, остались только мы с тобой!

— Я не могу!

И он зарыдал, сжавшись в комок, как трёхлет-

ний ребёнок.

Кан посмотрела на него. Её правая рука даже дёрнулась в сторону ворот, словно бы уходя вперёд остального тела. Тогда она зарычала, схватила хнычущего мальчишку за ухо и рывком подняла его на ноги.

— Иди за мной, или я тебе уши оторву, ты, хуэй!

— Никакой я не хуэй! Это Ибрагим хуэй! И все здесь — хуэи! Ой! — взвизгнул он, когда мать вывернула ему ухо так, что чуть не оторвала его.

Так она и протащила его через затопленный двор к воротам.

Они вышли со двора, и их окатило сплошной невысокой волной, по пояс ей, по грудь ему. Когда волна схлынула, оказалось, что уровень воды поднялся. Теперь она доходила Кан до бедра. Шум стал намного громче, чем раньше. Они не слышали даже друг друга. Слуги давно скрылись из вида.

Возвышенность начиналась в конце дороги, ведущей на юг, там же находилась и городская стена, так что Кан потащилась туда по воде, высматривая своих слуг. Она споткнулась и чертыхнулась: одну из её туфель-бабочек унесло потоком воды. Она скинула вторую и пошла бо-

сиком. Сих не то потерял сознание, не то впал в кататонию, и ей пришлось положить руку сыну под колени, поднять и понести его на себе, уложив поверх своего круглого живота. Она сердито окрикнула слуг, но не услышала даже собственного голоса. Один раз она поскользнулась и воззвала к Гуаньинь — «той, которая внемлет слезам».

Затем она увидела Циньу, который плыл к ней, загребая воду руками, как выдра, серьёзно и решительно. За ним тащились Пао и Чуньли. Циньу забрал Сиха у Кан и влепил затрещину прямо по его покрасневшему уху.

— Туда! — громко прокричал Циньу Сиху, указывая за городскую стену.

Кан удивилась, когда Сих припустил в указанном направлении чуть ли не вприпрыжку. Циньу остался рядом с ней и помогал ей ступать по дорожке. Кан ощущала себя баржей, которую тащат вверх по течению канала; волны разбивались о её раздувшуюся талию, как о нос корабля. Пао и Чуньли поравнялись с ними и тоже стали помогать ей, а Пао плакала и кричала:

— Я ушла вперёд, чтобы проверить глубину, а когда вернулась, решила, что вас несут в паланкине!

А Чуньли оправдывался, дескать, решил, что

Кан ушла вперед с Пао. Обычная путаница.

На городской стене собрались остальные слуги и подгоняли их, поглядывая на реку белыми от страха глазами. «Торопитесь! — читалось по их губам. — Торопитесь!»

У подножия стены бурлила коричневая вода. Кан неуклюже сражалась с потоком, поскальзываясь на своих крохотных стопах. Со стены спустили деревянную лестницу, и Сих вскарабкался по ней наверх. Начала подниматься Кан. Она никогда раньше не поднималась по такой лестнице, и Циньу, Пао и Чуньли, которые поддерживали её снизу, помогали мало. Её ступни не хотели загибаться вокруг затопленных перекладин; куда там, когда их размер был меньше ширины дощечек. Нога постоянно соскальзывала. Боковым зрением Кан уже видела, как мощная коричневая волна, несущая какие-то вещи, бьётся о стену, слизывая с неё лестницы и всё, что находилось рядом. Кан подтянулась на руках и поставила ногу на сухую перекладину.

Пао и Чуньли подтолкнули снизу, и её вытащили на вершину городской стены. Следом вылезли Пао, Чуньли и Циньу. Лестницу убрали как раз в тот момент, когда рядом разбилась ещё одна высокая волна.

Многие решили искать убежища здесь, на стене, которая теперь представляла собой подобие длинной косы среди наводнения. Кто-то махал им с крыши пагоды неподалёку. Все находившиеся на стене уставились на Кан, которая оправила платье, пальцами убрала с лица волосы, проверяя, все ли домочадцы на месте, и немногословно улыбнулась. Они впервые видели её улыбку.

К тому времени, когда они с Ибрагимом нашли друг друга, на исходе того же дня, когда их на лодке перевезли на южный холм, возвышающийся над затопленным городом, Кан уже не улыбалась. Она усадила Ибрагима рядом с собой, и они сидели так, окружённые людской суетой.

— Вот что, — сказала она, держа руку на своём животе. — Если у нас будет дочь…

— Я знаю.

— … Если судьба подарила нам дочь… ей никогда не придётся перевязывать ноги.

4. Загробная жизнь

Много лет спустя, вечность спустя, два старика сидели на веранде и смотрели, как течёт река. Они провели столько времени вместе, что успели обсудить всё на свете, они даже написали мировую историю вместе, но теперь редко разговаривали, разве что затем, чтобы обратить внимание на какую-то особенность уходящего дня. Ещё реже они говорили о прошлом и вовсе никогда не вспоминали о том времени, когда они вдвоём сидели в тёмной комнате, погружённые в пламя свечи, в котором видели странные отблески прошлых жизней. Воспоминания об этих жутких и трепетных часах приносили только тревогу. К тому же они поняли главное, усвоили суть: они знали друг друга десять тысяч лет — ну, конечно, ведь они старая супружеская пара. Того, что они знали об этом, оказалось достаточно. Не было никакой необходимости возвращаться туда.

Это тоже бардо или сама нирвана. Это прикосновение вечного.

И вот однажды, перед тем как выйти на ве-

ранду, чтобы любоваться закатом вместе со своей подругой жизни, старик сидел перед пустым листом бумаги — сидел уже целый день, размышляя, обводя взглядом стопки книг и манускриптов[36], которыми были заставлены стены его кабинета. Наконец он взял кисть и написал, очень медленно выводя каждую линию.

«Богатство и Четыре Великих Неравенства»

Разрозненные записи и руины Старого Света сообщают нам, что самые ранние цивилизации возникли в Китае, Индии, Персии, Египте, на Среднем Западе и в Анатолии. Первые земледельцы в этих плодородных регионах самостоятельно осваивали методы ведения сельского хозяйства и технологии хранения, которые давали урожаи, превышающие ежедневные потребности. Заручившись поддержкой жрецов, солдаты стремительно захватывали власть во всех регионах и умножались в числе, и обильные урожаи сосредотачивались преимущественно в их руках под видом сбора податей или прямого отъёма. Труд подразделялся на группы, описанные Конфуцием и индуистской системой каст: воины, жрецы, ремесленники и земледельцы. При таком

[36] Примечания: 36
Так научила видеть его жена (*прим. автора*).

разделении труда угнетение крестьян воинами и жрецами было узаконено, и с тех пор это угнетение не прекращалось никогда. Так возникло первое неравенство.

При подобном разделении труда, если этого не случилось раньше, установилось общее господство мужчин над женщинами. Возможно, это произошло и в более ранние века доцивилизованного существования, но нет способа узнать это наверняка, зато своими глазами мы можем видеть, что в земледельческих культурах женщины выполняют как домашнюю, так и полевую работу. И да, сельское хозяйство требует труда от всех, но с ранних пор женщины поступали так, как того требовали мужчины, и в каждой отдельно взятой семье распределение власти отражало ситуацию в стране, где король и его наследник доминировали над остальными. Это второе и третье неравенство: мужчин над женщинами и детьми.

В следующем малом веке были налажены первые торговые связи между ранними цивилизациями, и излишки урожаев стали отвозить в Старый Свет по шёлковым путям, соединявшим Китай, Бактрию, Индию, Персию, Средний Запад, Рим и Африку. Сельское хозяйство откликнулось

на новые торговые перспективы, значительно возросло производство зерновой и мясной продукции, а также специфических культур, таких как оливки, вино и тутовые деревья. Ремесленники стали производить новые орудия труда, а вместе с ними более мощные сельскохозяйственные орудия и корабли. Торговые общины и народы начали подрывать монополию на власть первых военно-жреческих империй, а деньги пришли на смену земле в качестве источника абсолютной власти. Всё это произошло гораздо раньше, чем отмечали Ибн Хальдун и магрибские историки. К моменту наступления классического периода (около 1200 года до Х.[37] изменения, вызванные развитием торговли, подорвали старый уклад, распространили и углубили первые три неравенства, заставляя задуматься о человеческой природе. Великие классические религии возникли именно в попытке дать ответ на эти вопросы: зороастризм в Персии, буддизм в Индии и философия рационализма в Греции. Но вне зависимости от их метафизических особенностей, каждая цивилизация являлась частью мира, в котором богатство переходило из рук в руки, в

[37] Примечания: 37
Исчисление ведётся относительно Хиджры (*прим. пер.*).

конечном счёте оказываясь в руках элит; это перераспределение богатства стало движущей силой перемен в человеческих отношениях — иными словами, в истории мира. Накопленное богатство притягивало новые богатства.

В период с классического и до открытия Нового Света (примерно с 1200 года до Х. по 1000 год н. э.) торговля превратила Средний Запад в столицу Старого Света, куда стекалось много богатств. Примерно в середине этого периода, исходя из указанных дат, возник ислам — и вскоре стал доминирующей религией в мире. Весьма вероятно, что этому явлению предшествовали некие глубинные экономические предпосылки; ислам, или по чистой случайности, или же нет, зародился в так называемом «центре мира», в регионе, получившем название «перешейка», ограниченном Персидским заливом и Красным, Средиземным, Чёрным и Каспийским морями. Здесь заплетались в узел все торговые пути, как артерии дракона в трактовке фэн-шуй, и потому неудивительно, что именно ислам в этот момент истории дал миру единую валюту — динар — и язык, на котором стали говорить все, — арабский. Но ислам — это также и религия, которая, фактически, стала универсальной мировой религией,

и необходимо принимать во внимание, что частично её привлекательность связана с тем, что в мире растущего неравенства ислам говорил о царстве, в котором все равны — равны перед Богом, независимо от возраста, пола, рода занятий, расы или национальности. Секрет популярности ислама крылся в следующем: с неравенством будет покончено в самом важном царстве, вечном царстве души.

Между тем торговля продовольствием и предметами роскоши продолжалась по всему Старому Свету, от Аль-Андалуса до Китая: торговля животными, древесиной, металлами, сукном, стеклом, писчими принадлежностями, опиумом, лекарствами и (с прошествием веков всё чаще и чаще) рабами. Рабы поступали главным образом из Африки и приобретали всё большую значимость, так как работы становилось больше, а технический прогресс, позволяющий создавать более мощные инструменты, ещё не произошёл, поэтому весь растущий объём работ выполнялся исключительно усилиями животных и человека. Таким образом, к угнетению земледельцев, женщин и семьи добавилось четвёртое неравенство, расы или группы людей, ведущее к порабощению наиболее слабых народов. Неравномерное накоп-

ление богатств элитами продолжалось.

Открытие Нового Света лишь ускорило эти процессы, открыв также доступ к новым богатствам и новым рабам. Даже основные торговые пути переместились с суши на море, и ислам перестал контролировать узлы сообщения, как это было на протяжении тысячи лет. Главным центром накопления стал Китай, и он, вероятно, был им с самого начала: здесь всегда проживало наибольшее количество людей, и с древнейших времён люди со всего мира стремились обладать китайскими товарами. Торговое соглашение Рима с Китаем было настолько невыгодным, что Рим ежегодно терял миллион унций серебра в пользу Китая: Рим и весь остальной мир отправляли Китаю золото за шёлк, фарфор, сандаловое дерево и перец, и Китай богател. И теперь, когда Китай взял под свой контроль западное побережье Нового Света, он начал пользоваться ещё и привилегиями от прямого вливания невероятного количества золота, серебра и рабов. С таким удвоенным накоплением богатств, путём как торговли промышленными товарами, так и прямой добычи, история столкнулась впервые.

Таким образом, становится очевидно, что китайцы набирают авторитет как господствующая

мировая держава, находясь в прямой конкуренции с предыдущими мировыми лидерами, дар аль-исламом, который до сих пор находит верных приверженцев среди людей, уповающих на справедливость перед лицом Бога, хотя уже едва ли рассчитывающих на неё на земле. Индия же существует третьим звеном между двумя культурами, посредничая и оказывая влияние на обе, и, разумеется, в то же время находится под влиянием обеих. Тогда как примитивные культуры Нового Света, связанные с недавних пор с остальным человечеством и уже им угнетённые, борются за выживание.

Итак. В огромной степени человеческая история представляет собой историю неравномерного накопления богатств, где мог меняться центр силы, но Четыре Великих Неравенства неизменно усиливались. История такова. Насколько мне известно, не существовало такой цивилизации или такого момента в истории, когда богатство урожаев, собранных общими усилиями, было бы равномерно распределено. Всякий раз в ход шла сила, и каждый успешный отъём вносил свою лепту в общее неравенство, которое возрастало прямо пропорционально накопленным богатствам, ибо богатство и сила, по сути, едины.

Обладатели богатства буквально приобретают силу, необходимую им для укрепления растущего неравенства. Так цикл продолжается.

Как результат, небольшой процент человечества живёт в изобилии, имея доступ к пище, материальным благам и знаниям, в то время как те, кому повезло меньше, функционально приравниваются к домашним животным и, запряжённые сильными и состоятельными мира сего, множат их богатство, не извлекая никакой выгоды для себя. Если вы родились чернокожей крестьянкой, что вы можете сказать миру? А мир вам? Вы будете существовать под гнётом всех Четырёх Великих Неравенств и проживёте короткую жизнь в невежестве, голоде и страхе. А ведь достаточно и одного великого неравенства, чтобы так отразиться на уровне жизни.

И необходимо отметить, что большинство людей, когда-либо живших на свете, существовали в условиях нищеты и услужения абсолютному меньшинству состоятельных и могущественных людей. На каждого императора и чиновника, на каждого халифа и кади, на каждую сытую, обеспеченную жизнь приходится десяток тысяч неполноценных, загубленных жизней. Даже если придерживаться самого скромного опре-

деления полноценной жизни и допустить, что человеческая сила духа и чувство товарищества позволили многим обездоленным и беспомощным познать толику счастья и удовлетворения, невзирая на тяготы и лишения, факт остаётся фактом: слишком много жизней было загублено нищетой, и кажется неизбежным тот вывод, что больше людей прожили свою жизнь впустую, нежели полноценно.

Разнообразные религии мира пытались объяснить или сгладить эти неравенства, включая ислам, возникший в попытке создать царство, в котором все равны; религии пытались оправдать неравенство в нашем мире. Все потерпели неудачу, даже ислам: дар аль-ислам страдает от неравенства так же, как и весь остальной мир. Я склонен теперь думать, что индийские и китайские описания загробной жизни как системы шести лок, или шести реальностей (дэвы, асуры, люди, звери, преты и обитатели ада), хоть и метафорическое, но довольно точное описание нашего мира и неравенств, которые в нём существуют: с дэвами, сидящими в роскоши и вершащими суд над остальными, асурами, сражающимися за сохранение дэвами их высокого положения, людьми, живущими как люди,

животными, пашущими как животные, бездомными и напуганными претами, страдающими на краю ада, и обитателями ада, рабами своей нищеты.

Мне кажется, что до тех пор, пока число целых жизней не превысит число жизней разбитых, мы будем оставаться в какой-то предыстории, недостойной великого духа человечества. История, достойная рассказа, начнётся только тогда, когда целых жизней окажется больше, чем прожитых зря. А значит, впереди у нас ещё много поколений до начала истории. Все неравенства должны прекратиться, всё избыточное богатство быть распределено по справедливости. До тех пор мы не более чем болтливые обезьяны, а человечество, как мы привыкли о нём думать, ещё не существует.

Выражаясь религиозными терминами, мы всё ещё находимся в бардо в ожидании своего рождения.

Старуха читала страницы, которые дал ей муж, прохаживаясь по длинной веранде, несказанно взволнованная. Закончив, она положила руку ему на плечо. День близился к концу; западное небо окрасилось цветом индиго, и новая луна повисла на нём серпом. Внизу текла чёрная ре-

ка. Она подошла к своему письменному столу в дальнем конце веранды, взяла кисть и, не глядя, заполнила страницу быстрыми мазками.

Два диких гуся в сумерках летят на север.

Один поникший лотос качается на мелководье.

К закату этого существованья

Как будто ярость наполняет грудь;

Тигр: в следующий раз я запрягу его

В свою повозку. Увидишь, как я полечу.

Не ковылять мне больше на больных ногах.

И ничего не остаётся делать,

Лишь в сумерках писать стихи и смотреть

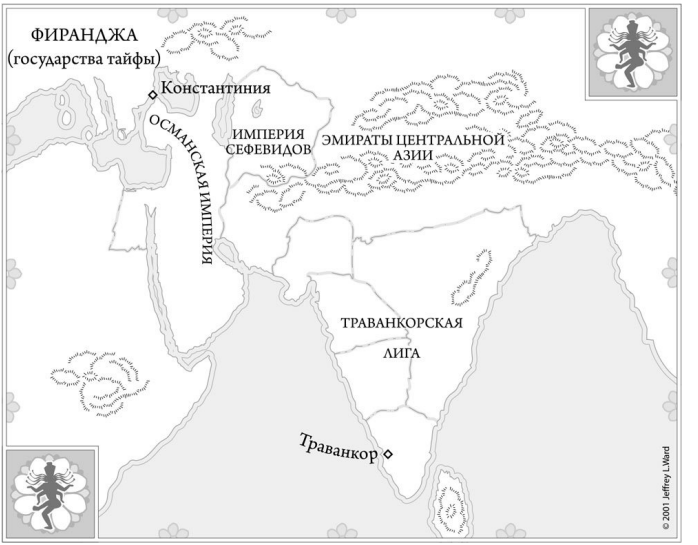
С возлюбленным на цветы персика, плывущие по реке.

Оглядываясь назад на эти долгие годы,

Всё, что случилось, хорошее, дурное,

Я думаю, что больше всего мне полюбились рис и соль.

Книга седьмая. Эпоха великого прогресса



1. Падение Константинии

Врач османского султана халифа Селима Третьего, Исмаил ибн Мани аль-Дир, начинал как армянский кади, изучавший право и медицину в Константинии. Он быстро продвигался по службе благодаря своим успехам в оказании помощи больным, пока однажды сам султан не поручил ему лечение одной из женщин своего сераля. Наложница под присмотром Исмаила пошла на поправку, а вскоре после этого Исмаил вылечил и султана Селима (от кожной болезни). После этого султан назначил Исмаила главным врачом Высокой Порты[38] и её сераля.

Исмаил после этого по многу времени проводил с пациентами, потихоньку продолжая своё медицинское образование, как часто бывает у врачей, на практике. Он не посещал званых обедов. Он исписывал толстые тетради историями болезни, вёл учёт симптомов, лекарств, назначенного лечения и результатов. Когда его вызывали на допросы янычар, он являлся и вёл протоколы.

Султан, впечатлённый самоотверженностью и

[38] Примечания: 38
Правительство Османской империи (*прим. пер.*).

мастерством своего врача, заинтересовался его исследованиями. Тела всех янычар, казнённых им при подавлении переворота 1202 года, были переданы в распоряжение Исмаила, и в религиозный запрет на вскрытие и анатомирование было внесено исключение для казнённых преступников. Огромный объём работы предстояло выполнить в кратчайшие сроки, несмотря на то, что трупы охлаждали льдом и сам султан лично принял участие в нескольких вскрытиях, задавая вопросы после каждого надреза. Он сразу подметил и озвучил преимущества вивисекции.

Однажды ночью в 1207 году султан вызвал доктора во дворец Высокой Порты. Один из его старых конюхов находился при смерти, и Селим удобно устроил его на постели, расположенной на одной чаше огромных весов, а на другой нагромоздил золотые гири, и теперь два больших блюда вровень висели посередине комнаты.

Пока старик, хрипя, лежал в постели, султан трапезничал и наблюдал. Он сказал Исмаилу, что этот метод наверняка позволит им определить присутствие в теле души, если таковая существует, и её точный вес.

Исмаил стоял рядом с приподнятой постелью конюха, бережно ощупывая пальцем запястье

старика. Дыхание умирающего ослабело, стало прерывистым. Султан встал и потянул Исмаила на себя, указывая на тончайшую опорную призму весов. Ничто не должно было быть потревожено.

Старик перестал дышать.

— Жди, — прошептал султан. — Смотри.

И они смотрели. В комнате находилось человек десять. Всё было тихо и неподвижно, как будто весь мир замер, чтобы увидеть испытание.

Медленно-медленно чаша весов, на которой находились мертвец и его постель, начала подниматься. Кто-то ахнул. Чаша поднялась ещё выше и замерла в воздухе. Старик стал легче.

— Убери самый лёгкий груз со второй чаши, — прошептал султан.

Один из гвардейцев послушно снял оттуда несколько лепестков сусального золота. Потом ещё несколько. Наконец чаша, удерживающая мертвеца в воздухе, начала опускаться, пока не упала ниже уровня второй чаши. Гвардеец вернул на место самый крошечный лепесток. Умелыми движениями он восстановил равновесие. Умирая, человек потерял в весе четверть грана[39].

---

[39] Примечания: 39

Мера веса, равная 64,8 мг (*прим. пер.*).

— Как интересно! — воскликнул султан в полный голос. Он вернулся к трапезе и кивнул Исмаилу. — Присаживайся, поешь. Потом расскажешь, что ты думаешь об этой черни с востока, что, по слухам, готовится напасть на нас.

Доктор заверил, что не имеет мнения по этому вопросу.

— Наверняка ты что-то да слышал, — подстегнул его султан. — Рассказывай, что именно.

— Как и все остальные, я слышал, что они пришли с юга Индии, — послушно ответил Исмаил. — Они разбили моголов. У них сильная армия и флот, они перемещаются на кораблях и бомбят с них прибрежные города. Их лидер называет себя Кералой из Траванкора. Они свергли Сефевидов, вторглись в Сирию и Йемен…

— Это уже старые новости, — перебил султан. — От тебя, Исмаил, я требую объяснений. Как им удалось добиться таких результатов?

— Не знаю, Ваше Превосходительство, — ответил Исмаил. — В письмах, которыми я порой обменивался с коллегами-медиками с востока, мы не обсуждали военное дело. Полагаю, их армия быстро продвигается; до сотни лиг в день, как я слышал.

— До сотни лиг! Как такое возможно?

— Это мне неизвестно. Одна моя коллега писала о лечении ожоговых ран. Я слышал, их солдаты щадят пленных и отправляют их возделывать землю в завоёванных ими регионах.

— Любопытно. Они индуисты?

— Индуисты, буддисты, сикхи… У меня складывается впечатление, что они исповедуют некий гибрид этих трёх религий, или совершенно новую религию, придуманную этим траванкорским султаном. Индийские гуру часто так поступают, а он, по-видимому, как раз такой предводитель.

Султан Селим покачал головой.

— Ешь, — приказал он, и Исмаил взял чашку с щербетом. — Они используют греческий огонь или самаркандскую чёрную алхимию?

— Не знаю. Сам Самарканд, насколько мне известно, заброшен после многолетней чумы и последующих землетрясений. Но не исключено, что алхимия получила дальнейшее развитие в Индии.

— Значит, против нас применяют чёрную магию, — заинтригованно протянул султан.

— Не могу сказать.

— А что у них за флот?

— Вам наверняка известно больше меня, Ваше Превосходительство. Но я слышал, что они могут

плыть даже в шторм.

— Опять чёрная магия!

— Машинная мощь, Ваше Превосходительство. Я переписываюсь с сикхской коллегой, которая рассказала мне, что они кипятят воду в запаянных котлах и выпускают пар через трубы, как пули из ружей, и пар толкает вёсла, как река — водяное колесо, и таким вот образом корабли продвигаются вперёд.

— Но ведь это будет только отгонять их назад.

— Они могут сделать «назад» своим «вперёд», Ваше Превосходительство.

Султан уставился на доктора с сомнением во взгляде.

— А эти корабли не взрываются?

— Вроде бы могут и взорваться, если что-то пойдёт не так.

Селим обдумал его слова.

— Что ж, это всё крайне интересно! Если пушечное ядро ударило в один из таких котлов, весь корабль может взлететь на воздух!

— Весьма вероятно.

Султан был доволен.

— Это послужит хорошей тренировкой в стрельбе по мишеням. Пойдём со мной.

Он вышел из комнаты, увлекая за собой при-

вычную свиту слуг: шестерых гвардейцев, повара и официантов, астронома, камердинера и старшего чёрного евнуха сераля, — все они следовали за султаном и доктором, которого тот держал за плечо. Он провёл Исмаила через Ворота Блаженства в гарем, не сказав ни слова привратникам, и слуги остались в очередной раз выяснять, кто же последует за ним в сераль. В итоге только слуга и главный чёрный евнух присоединились к ним.

В серале всё было из золота и мрамора, шёлка и бархата; религиозные картины и иконы византийского периода украшали стены внешних комнат. Султан дал знак чёрному евнуху, и тот кивнул привратнику у дальней двери.

Вышла одна из гаремных наложниц в сопровождении четырёх служанок. Обнажённое тело светлокожей и рыжеволосой молодой женщины сияло в лучах газового света. Она была не альбиноской, а от природы бледнокожей особой, одной из знаменитых белых рабынь сераля, из числа немногих уцелевших после мора Фиранджи. Уже несколько поколений османских султанов занимались их разведением, тщательно следя за сохранностью чистоты линии. Никто за пределами сераля не видел этих женщин в глаза, а за пределами дворца — и мужчин, с которыми

их случали.

Волосы женщины были золотисто-рыжими, соски — розовыми, а под прозрачно-белой кожей просвечивали голубые вены, особенно на грудях, которые слегка набухли. Доктор полагал, что она находилась на третьем месяце беременности. Султан, казалось, ничего не замечал; она была его любимицей, и он по-прежнему спал с ней ежедневно.

Дальше — как обычно: одалиска подошла к занавешенной стороне кровати, и султан последовал за ней, не потрудившись задёрнуть за собой балдахин. Служанки помогли наложнице принять положенную позу: распростёрли ей руки, раздвинули ноги и приподняли бёдра на подушках.

— О, да, — сказал Селим и забрался на кровать.

Он вытащил свой возбуждённый член из шаровар и лёг на неё. Они покачивались в уже знакомом ритме, пока султан, содрогнувшись и захрипев, не кончил и не уселся рядом с наложницей, поглаживая её живот и ноги.

О чём-то вдруг задумавшись, он поднял взгляд на Исмаила.

— Как сейчас обстоят дела там, откуда она родом? — спросил он.

Доктор прочистил горло.

— Не знаю, Ваше Превосходительство.

— Расскажи, что ты слышал.

— Я слышал, что к западу от Вены Фиранджа в основном поделена между андалусами и Золотой Ордой. Андалусы заняли старые франкские земли и острова к северу от них. Они сунниты, но с ними, как всегда, борются за покровительство эмиров суфийские и ваххабитские элементы. На востоке укрепилась Золотая Орда вперемешку с зависимыми от неё сефевидскими князьями[40], часть из которых шииты. У них много суфийских орденов. Также они заняли прибрежные острова и Римский полуостров, хотя те населены в основном берберами и мальтийцами.

Султан кивнул.

— То есть они процветают.

— Не уверен. Дождей там больше, чем в степях, но повсюду холмы и горы. На северном побережье есть равнина, где выращивают виноград и тому подобное. В Аль-Андалусе и на Римском полуострове дела, полагаю, обстоят неплохо. А к северу от гор жизнь тяжелее. Говорят, низины там всё ещё заражены чумой.

---

[40] Примечания: 40

Подданные иранской шахской династии (сефевиды) Сефевидского государства (прим. ред.).

— Почему так? Что там произошло?

— Всё время сыро и холодно. Так рассказывают, — доктор пожал плечами. — Никто не знает. Возможно и то, что бледная кожа местных жителей сделала их более восприимчивыми к чуме. Так считал Аль-Фергани.

— Но теперь там живут правоверные мусульмане, и ничего плохого не происходит.

— Да. Балканские османы, андалусы, сефевиды, Золотая Орда. Все они мусульмане, за исключением, возможно, небольшого числа евреев и зоттов.

— Но ислам раздроблен, — султан задумался, водя ладонью по рыжему лобку одалиски. — Скажи ещё раз, откуда родом предки этой девушки?

— С островов у северного побережья франкской земли, — предположил доктор. — Англия. Там жил народ с очень бледной кожей, и некоторым наиболее удалённым островам удалось избежать чумы, и пару столетий спустя их обнаружили и обратили в рабство всё население. Говорят, местные даже не знали, что в мире что-то изменилось.

— Хороша земля?

— Вовсе нет. Лес да скалы. Питались они рыбой и мясом овец. Очень примитивный образ жизни,

почти как в Новом Свете.

— Где нашли много золота.

— Насколько мне известно, Англия славилась разве что оловом, но не золотом.

— И сколько же было этих пленённых выживших?

— Я где-то читал, что несколько тысяч. Большинство из них погибли или смешались с основным населением. Не исключено, что у вас остались последние чистокровки.

— Да. И вот эта, чтобы ты знал, беременна от одного из их мужчин. О мужчинах мы заботимся так же тщательно, как и о женщинах, чтобы сохранить линию.

— Очень мудро.

Султан посмотрел на чёрного евнуха.

— Я готов к Жасмине.

Вошла ещё одна девушка, очень чёрная, телом почти абсолютно повторяющая тело белой рабыни, только эта не была беременной. Стоя рядом, они смахивали на шахматные фигуры. Чёрная девушка сменила белую на кровати. Султан встал и подошёл к ней.

— Нет, Балканы — отвратительное место, — задумчиво произнёс он. — Возможно, чем дальше на запад, тем лучше. Мы могли бы перенести

столицу империи в Рим, как они перенесли свою сюда.

— Да. Но Римский полуостров полностью заселён.

— Что, и Венеция?

— Нет. Венеция до сих пор заброшена, Ваше Превосходительство. Там часто случались потопы, и чума там неистовствовала особенно сильно.

Султан Селим поджал губы.

— Я не… эх… не люблю сырость.

— Конечно, Ваше Превосходительство.

— Что ж, придётся сражаться с ними здесь. Скажу своим воинам, что их души, их драгоценнейшая четверть грана, отлетит в рай и проведёт там десять тысяч лет, случись им погибнуть, защищая Великую Порту. Там они будут жить так, как я живу на земле. Мы встретим противника у пролива.

— Да, Ваше Превосходительство.

— А теперь оставь меня.

И индийский флот появился, но не в Эгейском, а в Чёрном море, в Османском море. Маленькие чёрные корабли заполонили его целиком — корабли без парусов, но с водяными колёсами по бокам и трубами, из которых вырывались и клубились над чёрными палубами белые стол-

бы дыма. Корабли были похожи на доменные печи, и казалось, что они должны идти ко дну как кирпичи. Они пропыхтели по относительно неохраняемому Босфору, вдребезги разбив береговые батареи, и бросили якорь у Высокой Порты. Оттуда они стали забрасывать взрывными снарядам дворец Топкапы и роты почётного караула, которыми, в общем, и ограничивалась оборона этой части города, на что давно смотрели сквозь пальцы, так как на протяжении уже многих столетий никто даже и не думал атаковать Константинию. То, что они зашли с Чёрного моря, всё ещё не укладывалось в голове.

Но факт остаётся фактом, и флот обстреливал сопротивление, пока не смолкли залпы их орудий, а затем принялся методично бомбить стены дворца и то, что оставалось от батарей по ту сторону залива Золотого Рога, в Пере. Горожане прятались по домам и в мечетях, кто-то порывался бежать за черту города, в деревни за Феодосийской стеной; вскоре улицы опустели, и только молодёжь оставалась с любопытством наблюдать за штурмом. Всё больше и больше зевак высыпало из домов, когда стало понятно, что железные корабли бомбят не город, а только дворец Топкапы, которому, несмотря на высоченные

неприступные стены, наносились колоссальные повреждения.

Султан вызвал Исмаила к себе, в эту гигантскую артиллерийскую мишень. Доктор собрал в коробки кипы бумаг, накопившихся за последние несколько лет: записи, архивы, наброски, пробники и образцы. Он хотел распорядиться, чтобы всё это было отправлено в лечебницу в Нсаре, где жили и работали его коллеги, с которыми он состоял в тесной переписке, или даже в траванкорскую больницу, в стан врага, где работали другие из его коллег и ближайшие корреспонденты.

Теперь уже не было никакой возможности организовать пересылку, поэтому он оставил бумаги в своих апартаментах с запиской сверху, описывающей содержимое, и двинулся пустынными улицами к Высокой Порте. Светило солнце, из высокой голубой мечети доносились голоса, но вокруг было видно только собак, будто Судный день наступил, а Исмаила забыли на Земле.

Как будто Судный день настал для дворца: снаряды прилетали в его стены каждые несколько минут. Исмаил юркнул за ворота и был доставлен к султану, который реагировал на происходящее с каким-то ярмарочным восторгом: Селим Третий стоял на самом высоком бартизане Топкапы, на

виду у бомбардировавшего их флоты и наблюдал за разворачивающимися событиями в длинную серебряную подзорную трубу.

— Почему корабли не тонут, они же железные? — спросил он Исмаила. — Будут потяжелее сундуков с сокровищами.

— Вероятно, в корпусах достаточно воздуха, чтобы удерживать их на плаву, — сказал доктор, словно извиняясь за свою некомпетентность в данном вопросе. — Если корпус такого корабля будет пробит, наверняка он пойдёт ко дну даже быстрее, чем деревянные корабли.

Один из кораблей выстрелил, выплюнув клуб дыма, и словно отскользнул назад в воду. Все пушки, по одной на каждый корабль, дали залп. Суда были совсем мелкими: этакие гигантские водяные клопы, размером чуть больше, чем дау, что стоят в заливе.

Грянул выстрел и угодил в стену дворца, слева от них. Исмаил ощутил отдачу ногами. Он вздохнул.

Султан взглянул на него.

— Страшно?

— Немного, Ваше Превосходительство.

Султан ухмыльнулся.

— Пойдём, поможешь мне решить, что забрать

с собой. Мне нужны самые ценные из сокровищ.

В этот момент он заметил что-то в небе и поднёс к глазу подзорную трубу.

— А это что такое?

Исмаил задрал голову: в небе показалось красное пятнышко. Оно плыло на ветру над городом, похожее на красное яйцо.

— Под ним висит корзина! — воскликнул султан. — А в корзине люди! — он рассмеялся. — Они изобрели способ летать!

Исмаил заслонил глаза рукой.

— Могу я воспользоваться вашей подзорной трубой, Ваше Превосходительство?

Красное пятнышко под белыми пышными облаками плыло в их сторону.

— Горячий воздух поднимается вверх, — осенило изумлённого Исмаила. — Должно быть, у них в корзине есть какая-то жаровня, и воздух, нагретый от её огня, попадает в мешок, удерживается там, и в итоге вся конструкция поднимается вверх и летит.

Султан снова рассмеялся.

— Как замечательно!

Он забрал трубу у Исмаила.

— Но я не вижу огня.

— Скорее всего, очаг совсем небольшой, иначе

они подпалили бы мешок. Жаровню с углём отсюда не увидеть. А когда нужно будет спуститься, они просто потушат огонь.

— Я хочу такой же, — заявил султан. — Почему ты не сделал мне такой же?

— Мне не приходило в голову.

Настроение султана поднялось до небес. Красный летучий мешок плыл в их сторону.

— Будем надеяться, ветер унесёт его куда-нибудь подальше, — сказал Исмаил, следя за ним взглядом.

— Нет! — воскликнул султан. — Я хочу посмотреть, на что он способен.

Его желание исполнилось. Летучий мешок проплывал над дворцом и под самыми облаками, иногда прячась среди них, а то и вовсе исчез внутри одного облака, отчего Исмаила накрыло странным ощущением, что мешок парит по воздуху как птица. Люди летают, как птицы!

— Сбить их! — с азартом воскликнул султан. — Открыть огонь по мешку!

Дворцовые гвардейцы бросились выполнять приказ, но пушки, оставшиеся на полуразрушенных стенах, не задирались так высоко, чтобы взять мешок на мушку. Стрелки целились, и вслед за чеканными щелчками их мушкетов

раздавались крики султана. Едкий пороховой дым наполнил воздух, смешиваясь с запахами цитруса, жасмина и поднятой пыли. Но, насколько приходилось судить, никто так и не попал ни в мешок, ни в корзину. Глядя на крохотных человечков, выглядывающих из-за борта корзины и кутающихся в плотные шерстяные шарфы, Исмаил подумал, что они, скорее всего, просто слишком высоко — вне досягаемости выстрела.

— Вероятно, на такой высоте пулями их не достать, — заметил он.

Но любой высоты будет достаточно, чтобы сброшенный вниз предмет долетел до земли. Люди в корзине помахали им, и на них стала падать чёрная точка, словно пикирующий ястреб нереальной плотности и быстроты. Она врезалась в крышу одного из дворцовых зданий, взрывом разметав осколки черепицы по всему внутреннему двору.

Султан завопил от восторга. Ещё три пороховые бомбы обрушились на дворец, одна попала прямо на стену, основательно повредив её и убив гвардейцев, обступивших там одну из пушек.

Уши Исмаила заложило в большей степени от визга султана, нежели от взрывов. Он указал на железные корабли.

— Они высаживаются.

Корабли уже подошли к берегу почти вплотную и спускали на воду шлюпки, в которые набились люди. Другие корабли продолжали обстрел и во время высадки ещё интенсивнее, чем прежде; их шлюпки не встретят ни малейшего сопротивления, когда причалят к берегу у разбитой бомбами городской стены.

— Скоро они будут здесь, — сказал Исмаил.

А летучий мешок с корзиной меж тем миновал дворец, поплыв на запад над широкими полями за городской стеной.

— Идём, — сказал Селим и вдруг схватил Исмаила за руку. — Мне нужно спешить.

Они бросились вниз по разбитой мраморной лестнице, за ними увивалась свита из прислуги. Султан повёл их в лабиринт комнат и коридоров дворцового подземелья.

Комнаты здесь едва освещались масляными лампами, полные трофеев, накопленных за четыре века османского господства, и даже, возможно, византийских сокровищ, если не римских и греческих, хеттских и шумерских; за каждой дверью — все богатства мира. Одно помещение было от пола до потолка набито золотом, главным образом в виде монет и слитков, другое — пред-

метами византийского религиозного искусства, третье — старинным оружием, следующее — мебелью из редких пород дерева и мехами, ещё одно — разноцветными кусками камня, которые, на первый взгляд Исмаила, не представляли никакой ценности.

— У нас нет времени, чтобы всё здесь обойти, — заметил он, семеня за султаном.

Селим только рассмеялся. Он пересёк длинную галерею, выполнявшую роль склада картин и статуй, и вышел в маленькую боковую каморку, пустую, если не считать мешков, выставленных в ряд на скамье.

— Берите это, — приказал он слугам, когда те догнали его, и продолжил путь, уверенный в направлении.

Они вышли к лестницам, ведущим вниз сквозь каменную породу, лежащую под дворцом; странное зрелище — гладкие мраморные ступени в кряжистом каменном колодце, ныряющие в недра земли. Если Исмаил не ошибался, большое городское подземное водохранилище находилось чуть в стороне от дворца, на юго-востоке, но, спустившись в невысокую природную пещеру, залитую водой, они обнаружили каменный причал и пришвартованную к нему длинную

узкую баржу с гвардейцами султана на борту. Всё освещали факелы на причале и фонари на барже. Похоже, они вышли к рукаву подземного водохранилища и собирались сплавиться туда на вёслах.

Селим указал Исмаилу на потолок лестницы, и тогда он заметил взрывчатку, заложенную в щели и специально высверленные отверстия: когда они отплывут на безопасное расстояние, ход будет уничтожен, а взрыв, возможно, повлечёт за собой обвал части дворцовых земель — в любом случае, путь к отступлению будет отрезан, не допуская возможного преследования.

Гвардейцы занялись погрузкой, пока султан осматривал снаряды. Когда всё было готово к отплытию, он собственноручно зажёг фитили, с довольной улыбкой на лице. Исмаил уставился на эту картину, в факельном свете смутно смахивающую на византийские иконы, мимо которых они только что проходили.

— Мы объединимся с балканской армией и переправимся через Адриатику в Рим, — объявил султан. — Завоюем запад, а потом вернёмся и разобьём неверных за их дерзость!

Лодочники, по сигналу командующих офицеров, одобрительно закричали, и в замкнутом

пространстве подземного озера и скалистого неба эхо казалось тысячеголосым. Султан раскинул руки, отвечая на их поддержку, после чего трое или четверо слуг взяли его под локти, и он ступил на баржу. Никто не заметил, как Исмаил развернулся и опрометью бросился вверх по обречённой лестнице навстречу другой судьбе.

2. Траванкор

Оказалось, что гвардейцы султана заложили бомбы и подорвали клетки в дворцовом зверинце тоже, и когда Исмаил поднялся по лестнице и снова очутился на воздухе, он застал хаос: люди догоняли друг друга, убегая от слонов, львов, верблюдов, гепардов и жирафов. Два чёрных носорога, похожих на вепрей из кошмарного сновидения, истекая кровью, бросались на толпы орущих и стреляющих в них людей. Исмаил поднял руки вверх, приготовившись к смерти, и подумал, что побег с Селимом, возможно, был не такой уж плохой идеей.

Но в людей не стреляли — только в животных. Многие дворцовые гвардейцы валялись на земле убитыми или ранеными, остальные капитулировали и были взяты под стражу, поэтому проблем вызывали гораздо меньше, чем животные. Пока всё указывало на то, что захватчики, вопреки расхожим слухам, не устраивали кровавой расправы над побеждёнными. Напротив, они эвакуировали пленников с дворцовой территории, пока земля сотрясалась от грохота разорвавшихся снарядов, из окон рвались клубы дыма, а лестницы, стены

и крыши рушились, — взрывы и обезумевшие звери вынудили людей благоразумно покинуть Топкапы на некоторое время.

Их собрали за Феодосийской стеной к западу от Высокой Порты, на плацу, где султан проводил смотр своих войск и иногда ездил верхом. Женщин сераля, закутанных в чадру, стеной окружали евнухи и стражники. Исмаил сидел вместе с оставшимися членами свиты: астрономом, министрами различных административных ведомств, поварами, слугами и прочими.

Время шло, они проголодались. Ближе к вечеру к ним подошла группа индийцев, разносивших лепёшки в мешках. Это были невысокие мужчины с тёмной кожей.

— Ваше имя? — спросил один из них у Исмаила.

— Исмаил ибн Мани аль-Дир.

Мужчина провёл пальцем по листу бумаги, запнулся и показал найденное место своему товарищу.

Второй индиец — по виду, офицер — окинул Исмаила взглядом.

— Вы Исмаил из Константинии, тот самый врач, с которым переписывалась Бхакта, настоятельница больницы Траванкора?

— Да, — ответил Исмаил.

— Прошу, пройдёмте со мной.

Исмаил встал и последовал за ним, на ходу жуя выданный ему хлеб. Какая бы судьба ни ждала впереди, сейчас он умирал от голода; к тому же не было похоже, что его ведут на расстрел. Да и упоминание имени Бхакты говорило об обратном.

В непритязательном, но просторном шатре за столом сидел человек и беседовал с пленными, которых Исмаил не узнавал. Исмаила вывели вперёд, и офицер, проводивший допрос, с любопытством взглянул на него и сказал по-персидски:

— В списке людей, которых предписано привести к Керале из Траванкора, вы занимаете одно из первых мест.

— Для меня это новость.

— Вас можно поздравить. Похоже, это было устроено по просьбе Бхакты, настоятельницы больницы Траванкора.

— Да, мы с ней много лет состоим в тесной переписке.

— Мне доложили. Что ж, с вашего позволения, капитан проводит вас на корабль, отплывающий в Траванкор. У меня только один вопрос: говорят, вы близкий друг султана. Это правда?

— Это было правдой.

— Вам что-нибудь известно о местонахождении султана?

— Он сбежал вместе со своими гвардейцами, — ответил Исмаил. — Полагаю, они направляются на Балканы с намерением возродить султанат на западе.

— Вам известно, как они покинули дворец?

— Нет. Как видите, меня с собой не взяли.

Исмаил узнал, что индийские механические корабли работали от жара огня, который горел в печах, кипятивших воду, после чего пар прогонялся по трубам и толкал гребные колёса в больших деревянных каркасах, установленных по бортам судна. Клапаны регулировали количество пара, поступающего к каждому колесу, благодаря чему корабль мог совершать повороты на месте. Судно с лязгом тащилось против ветра, грузно покачиваясь и разбивая волны, фонтаном брызг подлетавшие высоко над палубой. Когда ветер дул с кормы, экипаж поднимал небольшие паруса, и корабль шёл вперёд по старинке, но с дополнительным напором, обеспеченным двумя колёсами. Матросы жгли уголь в топках и говорили о залежах угля в иранских горах, которые будут снабжать их флот до скончания веков.

— Кто создает эти корабли? — спросил Исмаил.

— Они построены по заказу Кералы из Траванкора. Металлургов из Анатолии обучили делать топки, котлы и гребные колёса. Остальное сделали судостроители в портах на восточном берегу Чёрного моря.

Они высадились в маленькой гавани близ старого Трапезунда, и Исмаил вместе с группой индийцев отправился на юго-восток, через Иран с его засушливыми холмами и снежными вершинами, в Индию. На пути им постоянно встречались роты низкорослых темнокожих солдат в белом, верхом на лошадях, с пушками на колёсах, установленными на видных местах в каждом городе и на каждом перекрёстке. Города выглядели невредимыми, оживлёнными, процветающими. Лошадей меняли на больших укреплённых станциях под военным управлением, ночевали там же. Многие такие станции были разбиты у подножия холмов, где всю ночь горели огни и периодически мигали, когда их закрывали заслонками, передавая сообщения на огромные расстояния по всей новой империи. Керала был в Дели и прибывал в Траванкор через пару недель; настоятельница Бхакта — в Варанаси, но её возвращения ждали уже через несколько

дней. Исмаилу передали, что она с нетерпением ждёт с ним встречи.

Исмаил же открывал для себя, насколько велик мир. Велик, но не бесконечен. Десять дней дороги — и вот они пересекли Инд. На зелёном побережье западной Индии Исмаила ждал очередной сюрприз: их усадили в железные, как механические корабли, тележки с железными же колёсами, и они поехали по мощёной колее с двумя параллельно уложенными железными рельсами, по которым тележки катились так плавно, точно летели, минуя старые города, слишком долго принадлежавшие моголам. Дорога с железными рельсами пересекла изломанную границу Декана и ворвалась на юг, в бескрайние рощи кокосовых пальм, и они помчались со скоростью ветра, подгоняемые силой пара, в Траванкор, на самый край юго-западной Индии.

На волне последних побед империи люди массово перебирались сюда. Тихим ходом миновав полосу садов и полей, засаженных незнакомыми Исмаилу культурами, они подъехали к черте города. Окраины плотно обрастали новыми зданиями, становьями, дровяными и прочими складами: казалось, строительство раскинулось на много лиг во всех направлениях.

Тем временем сердце города также преображалось. Вереница сцепленных железных тележек остановилась в широком дворе, пересечённом рельсами, и путешественники, выйдя за ворота, попали в городской центр. Там, посреди парка, заменившего собой, вероятно, большую часть старого центра, был воздвигнут беломраморный дворец, совсем небольшой по меркам Высокой Порты. Из парка открывался вид на гавань и стоявшие в ней корабли всех мастей. На юге виднелась верфь, где строили новые суда; на мелководье зелёного моря достраивали длинный мол; в замкнутых водах, защищённых длинным низким островком, теснилось не меньше судов, чем во внутренней гавани, а между ними сновали мелкие парусные и вёсельные лодки. По сравнению с пыльной кататонией константинийских гаваней, жизнь здесь бурлила.

Исмаила провезли верхом через шумный город и дальше, вдоль берега, к пальмовой роще за широким жёлтым пляжем. Здесь стоял большой буддийский монастырь, со всех сторон окружённый стенами, а далеко за рощей виднелись новые дома. От прибрежных построек тянулся пирс, к которому было пришвартовано несколько паровых кораблей. Похоже, именно здесь находилась

знаменитая больница Траванкора.

На территории монастыря было тихо и безветренно. Исмаила провели в обеденный зал, накормили, а потом предложили помыться с дороги. В банях, выложенных плиткой, была и горячая, и прохладная вода, на выбор, в зависимости от бассейна, часть из которых находилась под открытым небом.

На зелёной лужайке за банями стоял небольшой павильон, заросший цветами. Исмаил надел протянутый ему чистый коричневый халат и босиком прошлёпал по подстриженной траве к беседке, где одна старая женщина разговаривала с другими.

Увидев гостей, она прервалась, и проводник Исмаила представил его.

— Ах! Я так рада нашей встрече, — сказала женщина по-персидски. — Я Бхакта, здешняя настоятельница и ваш покорный сокорреспондент, — она встала с места и поклонилась Исмаилу, сложив руки вместе. Её пальцы были скрючены, походка одеревенела (Исмаилу это показалось похожим на артрит). — Добро пожаловать в нашу скромную обитель. Позвольте предложить вам чаю, или вы предпочитаете кофе?

— Чаю, пожалуйста, — сказал Исмаил.

— Бодхисаттва, — обратился к настоятельнице посыльный, — в следующее новолуние нас посетит Керала.

— Великая честь, — сказала настоятельница. — Луна будет в тесном взаимодействии с утренней звездой. Успеем ли мы завершить мандалы в срок?

— Похоже на то.

— Замечательно.

Настоятельница продолжала пить чай.

— Он назвал вас бодхисаттвой? — осмелился спросить Исмаил.

Настоятельница улыбнулась, как девчонка.

— Знак привязанности, не имеющий под собой реальной основы. Я всего лишь бедная монахиня, милостью нашего Кералы удостоившаяся чести руководить этой больницей, до поры до времени.

— В переписке вы об этом не упоминали. Я думал, вы просто монахиня в чём-то среднем между медресе и больницей.

— В течение долгого времени так и было.

— Когда вы стали настоятельницей?

— По вашему календарю, в году, каком же это, 1194-м. Предыдущий настоятель был японским

ламой. Он, как и многие другие монахи и монахини, практиковал японскую форму буддизма, завезённую сюда его предшественником, после того как Японию завоевали китайцы. Китайцы подвергали гонениям буддистов даже своей страны, а японцам и подавно доставалось. Потому они и пришли сначала на Ланку, а потом сюда.

— И занялись изучением медицины, полагаю.

— Да. Мой предшественник, в частности, обладал ясным взором и большой любознательностью. Если мы видим вещи как будто бы ночью, то его озаряли утренние лучи, потому что он проверял истинность наших домыслов строгим опытным путём. Он понимал крепость вещей, силу движения и разрабатывал различные эксперименты, с помощью которых испытывал их свойства. Мы до сих пор ходим через двери, которые он открыл для нас.

— И всё же я думаю, что, следуя по его стопам, вы открываете новые двери.

— Да, открытий всё больше, и мы усердно работаем с тех пор, как он покинул прежнее тело. Развитие судоходства принесло нам немало полезных и удивительных документов, в том числе и из Фиранджи. Мне теперь очевидно, что островная Англия имела все шансы стать второй

Японией, только на другом конце мира. А сейчас там стоят веками не рубленные леса, выросшие на руинах; следовательно у них есть древесина для торговли и они строят корабли сами. Они привозят нам книги и рукописи, найденные в развалинах; учёные, не только у нас, но и по всему Траванкору, изучили их языки и перевели тексты, которые оказались весьма любопытны. Среди этих людей встречаются такие, как Мастер из Хенли, то есть куда более образованные, чем вы можете себе представить. Они выступали за эффективную организацию, строгий учёт, ревизию, метод проб и документирования результатов для подсчёта урожайности… В общем, за рациональное ведение хозяйства, как и мы здесь. Им были известны меха с водяным приводом, и они могли раскалить железо добела — или, по крайней мере, дожелта. Причём уже тогда они были обеспокоены вырубкой лесов. Хенли подсчитал, что одна доменная печь может выжечь все деревья в радиусе йоганды всего за сорок дней.

— Вероятно, эта проблема вернётся, — сказал Исмаил.

— Без сомнения, и очень скоро. Зато сейчас они богатеют на этом.

— А вы?

— Здесь мы богаты другим. Мы помогаем Керале, а он каждый месяц расширяет границы империи, и всё в её пределах стремится к улучшению. Выращивается больше овощей и зерновых, производится больше сукна. Меньше войн и разбоев.

После чаепития Бхакта показала Исмаилу окрестности. Посередине монастыря бежала оживлённая речка — через колёса четырёх больших деревянных мельниц и шлюзовые ворота в донной части водосборного пруда. Вокруг этого журчащего потока раскинулись зелёные лужайки, росли пальмы, а в больших деревянных помещениях, построенных рядом с мельницами на обоих берегах речки, гудело, стучало и ревело, и из высоких кирпичных труб валил дым.

— Литейный цех, цех ковки, лесопилка и производственная мастерская.

— Вы писали об оружейном и пороховом производстве, — заметил Исмаил.

— Да. Но Керала не захотел возлагать на нас это бремя, ведь буддизм выступает против насилия. Мы научили его армию кое-чему об оружии, потому что оружие защищает Траванкор. Мы спрашивали об этом Кералу, объяснили ему, что для буддистов важно работать во имя добра, и

он пообещал, что во всех подконтрольных ему землях будет установлено верховенство права, удерживающее людей от насилия и злых дел. По сути, мы помогаем ему защищать народ. Конечно, это звучит сомнительно, когда видишь, как распоряжаются властью другие правители, но Керала чтит закон. Разумеется, в итоге он всё равно поступает так, как ему угодно, но ему угоден закон.

Исмаил подумал о почти бескровном захвате Константинии.

— Пожалуй, в этом есть доля правды, иначе меня не было бы в живых.

— Да, к слову об этом. Судя по рассказам, османская столица оборонялась недостаточно энергично.

— Да, но отчасти это вызвано энергичностью самой атаки. Люди испугались стрельбы с кораблей и летающих мешков над головой.

Это заинтересовало Бхакту.

— Признаюсь, мешки — это наша заслуга. Однако корабли вовсе не кажутся такими уж грозными.

— А вы представьте, что каждый корабль — это передвижная артиллерийская батарея.

Настоятельница кивнула.

— Мобильность — одно из жизненных кредо Кералы.

— Это правильно. Мобильность берёт верх, когда всё в пределах выстрела с моря может быть уничтожено. А Константиния — как раз в пределах выстрела с моря.

— Понимаю, о чём вы.

После чая настоятельница показала Исмаилу монастырь и производственные цеха и отвела его к докам и на верфи, где было шумно. На исходе дня они посетили больницу, и Бхакта пригласила Исмаила в аудитории, где монахов учили врачеванию. Там уже собрались монахи-учителя, чтобы приветствовать Исмаила, и показали ему полку в одном из шкафов для книг и документов, целиком выделенную под письма и рисунки, которые он посылал Бхакте на протяжении многих лет, каталогизированные по какому-то непонятному ему принципу.

— Каждая страница была переписана множество раз, — сказал один из монахов.

— Ваша работа поразительно отличается от китайской медицины, — добавил другой. — Мы надеемся, вы расскажете нам о различиях между их теориями и вашими.

Исмаил покачал головой, водя пальцами по

этим отголоскам своего прежнего существования. Он бы не подумал, что написал столько писем. Возможно, на этой полке хранились и копии.

— У меня нет никаких теорий, — сказал он. — Я лишь записывал то, что видел, — лицо его напряглось. — Но я с радостью поговорю с вами на любые интересующие вас темы.

Настоятельница сказала:

— Будет замечательно, если вы выступите с этим перед публикой. Очень многие захотят послушать вас и задать вопросы.

— Конечно, с удовольствием.

— Спасибо. Тогда мы соберёмся завтра же.

Где-то забили часовые колокола, отмечавшие каждый час и каждую смену.

— Какие часы вы используете?

— Это вариация ртутного колеса Бхаскары, — сказала Бхакта и повела Исмаила к высокому зданию, в котором находились часы. — Она хорошо подходит для астрономических расчётов, и Керала объявил новый год по этим часам более точно, чем когда-либо прежде. Но, скажу по секрету, сейчас мы испытываем хорологи с механическим спуском на грузовой регулировке. А также пружинные приводы, которые будут полезны в море, где точный хронометраж необ-

ходим для определения долготы.

— Я в этом совсем не разбираюсь.

— Конечно, вы же занимались медициной.

— Да.

На следующий день они вернулись в больницу. Монахи и монахини в коричневых, бордовых и жёлтых одеждах расселись на полу большой залы, где проводились операции, собравшись послушать его. Бхакта велела своим помощникам принести к трибуне, за которой должен был выступать Исмаил, несколько толстых книг. Все они оказались заполнены анатомическими рисунками — в основном, китайскими.

Все как будто ждали, пока он заговорит, и Исмаил сказал:

— Я с радостью расскажу вам о том, что наблюдал своими глазами. Не знаю, надеюсь, это вам чем-то поможет. Я мало сведущ в медицинской науке как таковой. Я изучал некоторые труды древних греков в переводах Ибн Сины и прочих, но так и не смог извлечь из них особой для себя пользы. Чуть-чуть из Аристотеля, немногим больше из Галена. Османская медицина в принципе оставляла желать лучшего. В общем, нигде я не нашёл единого толкования, которое соответствовало бы тому, что я видел воочию,

и поэтому я давно отказался от всякой теории и решил ограничиться рисованием и описанием того, что видел сам. Так что это вы должны мне рассказать о китайских представлениях, если сможете объяснить их на персидском языке, и я попробую ответить, насколько мои наблюдения совпадают с ними, — он пожал плечами. — Это всё, что в моих силах.

Монахи не сводили с него глаз, и он нервно продолжил:

— Персидский — удивительно полезный язык. Язык, который связывает ислам и Индию, — он махнул рукой. — Есть вопросы?

Молчание нарушила сама Бхакта.

— Что вы скажете о меридианах, про которые говорят китайцы, берущих начало на поверхности кожи и проходящих по всему телу и обратно?

Исмаил посмотрел на рисунок, который она открыла на странице одной из книг.

— Возможно, это нервы? — предположил он. — Часть этих линий соответствует путям основных нервов. Но потом они расходятся. Никогда не видел, чтобы нервы перекрещивались так, как здесь, от щеки к шее, к бедру вдоль позвоночника и вверх по спине. Нервы обычно ветвятся, как ветви миндального дерева, а кровеносные

сосуды — как ветви берёзы. Такие клубки нам неизвестны.

— Мы не думаем, что меридианы относятся к нервной системе.

— Тогда к чему? Вы видели что-то подобное в ходе вскрытий?

— Мы не делаем вскрытий. Когда нам представилась возможность осмотреть разорванные тела, внутренности выглядели именно так, как вы описывали в своих письмах. Но китайское понимание более древнее и сложное, и исследователи добиваются хороших успехов, среди прочего, втыкая булавки в определённые точки меридианов. Они почти всегда добиваются хороших успехов.

— Откуда вы знаете?

— Некоторые из нас видели это сами. Но в основном — с их слов. Нам кажется, они обнаружили некую систему, слишком малую для того, чтобы она была видна глазу. Можем ли мы быть уверены, что нервы являются единственными проводниками мышечного движения?

— Думаю, да, — ответил Исмаил. — Перережьте верный нерв, и мышцы ниже него перестанут двигаться. Уколите нерв, и соответствующая мышца сократится.

Слушатели смотрели на него во все глаза. Один из старших мужчин сказал:

— Возможно, тут происходит какой-то другой вид передачи энергии, не обязательно через нервы, а через меридианы, и это необходимо в той же степени, что и нервы.

— Возможно. Но посмотрите сюда, — он указал на одну из схем, — они не рисуют поджелудочную железу. И надпочечников нет. А оба эти органа выполняют жизненно важные функции.

Бхакта сказала:

— Для них важнейшими органами являются только одиннадцать: пять инь и шесть ян. Сердце, лёгкие, селезёнка, печень и почки — это инь.

— Селезёнка не жизненно необходима.

— … Затем шесть органов ян — это желчный пузырь, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, мочевой пузырь и три обогревателя.

— Три обогревателя? Что это такое?

Она прочла по китайским подписям к рисунку:

— Сказано: «У них есть имя, но нет формы. В них сочетаются действия органов, регулирующих воду, поскольку огонь подчиняет воду. Верхний обогреватель — туман, средний — пена, нижний — болото. Соответственно, сверху вниз, верхний — в голове и грудине, средний — от сос-

ков до пупка, нижний — всё, что ниже пупка».

Исмаил покачал головой.

— Они обнаружили это при вскрытиях?

— Они, как и мы, редко делают вскрытия: по сходным религиозным соображениям. Но однажды, в эпоху правления династии Сун, примерно в 390-м исламском году, они вскрыли трупы сорока шести повстанцев.

— Едва ли это помогло бы. Нужно увидеть много вскрытий и анатомирований, не держа в уме никакой предвзятости, прежде чем что-то начнёт проясняться.

Монахи и монахини смотрели на него теперь с каким-то странным выражением на лицах, но он вернулся к изучению рисунков, продолжая:

— Это течение в теле и всех его органах… они имеют в виду кровь?

— Гармоничный баланс жидкостей, не только осязаемых, как, например, кровь, но и духовных, цзин, шэнь и ци, так называемых Трёх Сокровищ…

— Но что они собой представляют?

— Цзин — источник перемен, — нерешительно подала голос одна монахиня, — живительный и питающий, как жидкость. «Эссенция» — другое персидское слово, которое можно использовать

для перевода. На санскрите — «семя», или возможность размножения.

— А шэнь?

— Шэнь — это разум, сознание. Как наш дух, но и часть тела тоже.

Исмаил заинтересовался.

— Они его взвесили?

Бхакта засмеялась, и все вслед за ней.

— Их врачи ничего не взвешивают. Они думают не о вещах, а о силах и отношениях.

— Что ж, я всего лишь анатом. То, что вдыхает в органы жизнь, выше моего понимания. Три сокровища, одно, мириады — мне неизвестно. Похоже, действительно есть какая-то живительная сила, которая приходит и уходит, прибывает и убывает. Вскрытие не видит её. Возможно, это наши души. Вы верите в возвращение душ, не так ли?

— Да.

— И китайцы тоже?

— По большей части, да. Но для даосов не существует чистого духа, он всегда соединён с материальным. Поэтому их бессмертие требует переселения из одного тела в другое. И вся китайская медицина находится под сильным влиянием даосизма. Их буддизм во многом похож

на наш, хотя, опять же, более материалистичен. Преимущественно этим и продиктовано то, что китаянки в преклонном возрасте начинают помогать общине и готовиться к следующей жизни. В конфуцианской культуре в принципе не говорится о душе, хотя и признаётся её существование. В большинстве китайских письмён граница, проведённая между духом и материей, расплывчата, а иногда и вовсе отсутствует.

— Оно и видно, — сказал Исмаил, снова глядя на рисунок меридианов. Он вздохнул. — Что ж. Они долго занимались наукой и помогали живым, в то время как я лишь зарисовывал вскрытия.

Они продолжили. Вопросы поступали всё чаще и чаще, сопровождаясь комментариями и замечаниями. Исмаил старался, как мог, отвечать на все. Циркуляция крови в сердечных камерах, функция селезёнки, и есть ли такой орган вообще, расположение яичников, шоковые реакции на ампутацию ног, затопление проколотых лёгких, непроизвольные движения конечностей при воздействии игл на участки головного мозга — он говорил о том, что видел в каждом из описанных случаев, и по мере того, как тянулся день, толпа становилась всё более настороженной, а выражение лиц слушателей, сидевших на полу,

странным. Пара монахинь молча удалилась. Когда Исмаил описывал процесс свёртывания крови после удаления зубов, в комнате воцарилась мёртвая тишина. Многие отводили взгляд, и, заметив это, Исмаил осёкся.

— Как я уже сказал, я простой анатом… Но посмотрим, сможем ли мы согласовать то, что наблюдал я, с вашими текстами по теории…

Он выглядел разгорячённым, словно его лихорадило, но только в лице.

Наконец настоятельница Бхакта поднялась на ноги, подошла к Исмаилу и взяла его дрожащие руки в свои.

— Хватит, — мягко сказала она. Остальные монахи и монахини встали, сложив перед собой руки в молитвенном жесте, и поклонились ему. — Всё, что могли, вы уже сделали. А теперь отдыхайте, а мы о вас позаботимся.

Исмаил поселился в маленькой келье при монастыре, изучал китайские тексты, недавно переведённые монахами и монахинями на персидский язык, и преподавал анатомию.

Как-то раз они с Бхактой шли в обеденный зал из больницы; жаркий и парной, предмуссонный воздух обволакивал их тёплым, влажным покрывалом. Настоятельница обратила внимание

Исмаила на маленькую девочку, резвившуюся среди дынных грядок в большом саду.

— Это новое воплощение предыдущего ламы. Она появилась у нас в прошлом году, но родилась в один час со смертью старого ламы, что большая редкость. Нам, конечно, не сразу удалось её найти. Мы всего год назад приступили к поискам, и она незамедлительно объявилась.

— Его душа перешла от мужчины к женщине?

— Как видите. Поиски по традиции велись только среди мальчиков. Это стало одной из причин, почему её было не так легко опознать. Она сама настояла на том, чтобы пройти испытания, невзирая на свой пол. И это в четыре года. Она опознала все личные вещи роши Пэна, намного больше, чем обычно узнают новые воплощения, и пересказала мне наш последний разговор с Пэном практически слово в слово.

— Да вы что!

Исмаил вытаращился на Бхакту, и та ответила на его взгляд.

— Я будто снова заглянула ему в глаза. И вот было объявлено, что Пэн вернулся к нам в облике бодхисаттвы Тары, и с тех пор мы начали уделять больше внимания девочкам и монахиням, что я, конечно, всегда поощряла. Мы переняли

китайский обычай и открыли двери монастыря старухам Траванкора, где они могут посвятить свою жизнь изучению сутр или медицины, чтобы потом вернуться в родную деревню и заботиться о ближних, а также обучать наукам своих внуков и правнуков.

Девочка скрылась среди пальм в дальней части сада. Новая луна серпом повисла под яркой вечерней звездой. Лёгкий ветерок донёс звуки барабанного боя.

— Керала задерживается, — сказала Бхакта, слушая барабаны. — Он приедет завтра.

Барабаны снова стали слышны на рассвете, как раз после того как часовые колокола возвестили о начале нового дня. Далёкий бой, похожий то ли на раскаты грома, то ли на залпы орудий, но ритмичнее, чем то и другое, сообщал о прибытии Кералы. Когда взошло солнце, казалось, дрожит сама земля. Монахи, монахини и их семьи, живущие в монастыре, высыпали из келий, чтобы не пропустить прибытие гостей, и большой двор за воротами был поспешно расчищен.

Идущие впереди солдаты танцевали, маршируя быстро и в ногу, и на каждом пятом шаге делали выпады вперёд и с кличем перекладывали винтовки с одного плеча на другое. За ними шли

барабанщики, синхронно подпрыгивая в такт таблам, по которым стучали руками. Несколько человек били в кимвалы. Одетые в парадные рубахи с красными нашивками на плечах, они колонной кружили по широкому двору, пока порядка полутысячи человек не выстроились изогнутыми рядами лицом к воротам. Когда во двор въехали верхом Керала и его офицеры, солдаты подняли оружие и трижды вскрикнули. Керала махнул рукой, командир отряда отдал приказ, и барабанщики энергично забили в свои таблы, а солдаты в танце прошли в обеденный зал.

— А они спорые, как все и говорили, — сказал Исмаил Бхакте. — И всё у них так слаженно.

— Да, они существуют в унисон. На поле боя они единое целое. Перезарядка винтовок разбита на десять движений, под десять барабанных ударов-команд, и разные группы солдат сориентированы по разным точкам цикла, поэтому стрельба идёт непрерывным потоком, производя, как мне рассказывают, самое разрушительное действие. Ни одна армия не может противостоять им. Во всяком случае, не могла в течение многих лет. Но теперь, похоже, и Золотая Орда внедряет подобные методы в свои ряды. Но даже они со всем своим современным оружием не могут про-

тивостоять Керале.

Сам Керала уже спешился, и Бхакта направилась к нему, ведя за собой Исмаила. Керала отмахнулся от их поклонов, и Бхакта без предисловий сказала:

— Это Исмаил из Константинии, знаменитый османский врач.

Керала смерил его внимательным взглядом, и Исмаил сглотнул, ощутив жар этих нетерпеливых глаз. Это был крепкий мужчина невысокого роста, черноволосый и узколицый, быстрый в движениях. Его туловище казалось слегка непропорциональным в сравнении с короткими ногами. У него было красивое лицо, с точёными, как у греческой статуи, чертами.

— Надеюсь, наша больница произвела на вас впечатление, — сказал он на чистом персидском языке.

— Я в жизни не видел больницы лучше.

— Каково было состояние османской медицины на момент вашего отъезда?

— Мы частично продвинулись вперёд в понимании устройства человеческого организма, — ответил Исмаил. — Но многое ещё оставалось для нас загадкой.

Бхакта добавила:

— Исмаил изучал теории древних египтян и греков о медицине и поделился с нами полезными выводами из них, а также сделал много новых открытий, внося коррективы и обогащая знания древних. Его письма легли в основу нашей работы в больнице.

— Вот как, — взгляд Кералы стал ещё более пронзительным. В радужках его выпуклых глаз смешалась целая палитра цветов, как в яшмовых бусинах. — Любопытно! Мы непременно поговорим об этом подробнее. Но сначала я хочу обсудить последние события наедине с тобой, мать бодхисаттва.

Настоятельница кивнула, и рука об руку они с Кералой направились к павильону, откуда открывался вид на карликовый сад. Стражники их не сопровождали, но расположились чуть поодаль и наблюдали со двора, держа наготове винтовки, а караульные несли вахту на монастырской стене.

Исмаил вместе с другими монахами отправился на речку, где готовились к церемонии с песочными мандалами. Вдоль берега ходили монахи и монахини в бордовом и шафрановом облачении, стелили ковры и расставляли цветочные корзины, оживлённо переговариваясь и никуда не торопясь, поскольку совещания Кералы с их

настоятельницей нередко занимали полдня, а то и дольше: они были близкими друзьями.

Сегодня, однако, они закончили раньше, и, когда пришло известие, что Бхакта и Керала покидают павильон, работа пошла значительно быстрее. Цветочные корзины спустили в ручей, под пульсирующий ритм табл[41] вернулись солдаты. Они выбежали к берегу без винтовок и стали рассаживаться, освобождая проход для своего командира. Он прошёл между ними, останавливаясь, чтобы положить руку на плечо то одному, то другому солдату, обращаясь к ним по имени, спрашивая раненых об их состоянии и так далее. Монахи, руководившие созданием мандал, вышли из мастерской, распевая под звуки гонга и рёв басовых труб. Перед собой они несли два деревянных диска, каждый размером с жернов, которые держали вровень с землёй и по два человека. На дисках россыпью разноцветного песка были выложены сами мандалы. Одна — в виде сложного геометрического узора в ярких красных, зелёных, жёлтых, синих, белых и чёрных тонах. Другая — в виде карты мира, с Индией в центре круга и красной точкой, наподо-

[41] Примечания: 41
Арабское название группы ударных инструментов (*прим. ред.*).

бие бинди, на месте Траванкора. Остальная часть мандалы изображала мир почти во весь охват, от Фиранджи до Кореи и Японии, и Африки с Индией, изогнутыми по дну. Всё было раскрашено природными цветами: тёмно-синие океаны, светло-голубые внутренние моря, зелёная или коричневая суша, в зависимости от места, с горными хребтами, отмеченными тёмно-зелёным и снежно-белым. Синими нитями бежали реки, и яркая красная линия охватывала то, что Исмаил определил как границы завоеваний Кералы, теперь включающие Османскую империю до Анатолии и Константинии, но не включая Балканы и Крым. Предмет невероятной красоты — как будто смотришь на мир с высоты солнца.

Керала из Траванкора шёл вместе с настоятельницей, помогая ей спускаться по тропинке. У берега они остановились, и Керала осмотрел мандалы — внимательно, не спеша, указывая на тот или иной фрагмент и задавая вопросы настоятельнице и монахам. Остальные монахи пели вполголоса, солдаты им подпевали. Бхакта повернулась к ним и запела, перекрывая их голоса своим высоким тонким голосом. Керала взял одну мандалу в руки и осторожно поднял её; она была большой, почти чрезмерно для одного

человека. Он шагнул с ней в реку, и букеты гортензий и азалий поплыли к его ногам. Он поднял геометрическую мандалу над головой, вознося её к небу, а затем, когда мотив сменился и вступили, забасив, трубы, опустил диск перед собой и очень медленно перевернул набок. Песок моментально осыпался, яркие краски заструились в воде и перемешались, пачкая шёлковые лосины Кералы. Он окунул диск в воду, смыл остатки песка, и те разноцветным облаком рассеялись в потоке. Голой рукой он протёр поверхность диска и вышел из воды. Его туфли были заляпаны грязью, а мокрые лосины — в зелёных, красных, синих и жёлтых пятнах. Он принял вторую мандалу, поклонился над ней её авторам, развернулся и понёс к реке. На этот раз солдаты переменили позы и склонились лбами к земле, хором затянув молитву. Керала медленно опустил диск и, точно бог, кладущий мир к ногам высшего бога, положил его на воду и стал медленно вращать пальцами этот плавучий мир, который на самом пике песни погрузил в поток так глубоко, как только мог, высвобождая весь песок в воду, омывая им руки и ноги. Когда он пошёл к берегу, сверкая всеми цветами радуги, его солдаты встали и вскрикнули три раза, а потом ещё три.

Позже Керала расслаблялся за чашкой душистого чая и беседовал с Исмаилом. Он выслушал всё, что тот смог рассказать о султане Селиме Третьем, а затем поведал Исмаилу историю Траванкора, ни на минуту не отрывая от него взгляда.

— Наша борьба за избавление от ярма Великих Моголов началась давным-давно, с Шиваджи, который называл себя Владыкой Вселенной и изобрёл современное военное дело. К каким только средствам Шиваджи не прибегал ради освобождения Индии. Однажды призвал на помощь деканского ящера-гиганта, чтобы покорить скалы, охранявшие Львиную крепость. В другой раз его войско окружила биджапурская армия под командованием великого могольского полководца Афзал Кхана, взяла их в осаду, и тогда Шиваджи добровольно сдался Афзал Кхану в плен и предстал перед ним, облачённый в одну суконную рубаху, под которой был, однако, припрятан кинжал со скорпионьим жалом, а на пальцах его скрытой из вида левой руки торчали острые, как бритва, тигриные когти. Когда он заключил Афзул Кхана в объятия, то прежде всего зарубил его насмерть, и по этому сигналу его армия напала на моголов и разбила их.

После этого падишах Аламгир пошёл в серьёз-

ное наступление и провёл последнюю четверть своего века, отвоёвывая Декан ценой ста тысяч человеческих жизней в год. К тому времени, как он покорил Декан, империя была истощена. А на северо-западе тем временем готовились новые восстания против моголов среди сикхов, афганцев, восточных подданных Сефевидской империи, а также раджпутов, бенгальцев, тамилов и прочих. Все они имели определённый успех, и моголы, которые годами завышали налоги, столкнулись с восстанием собственных заминдаров и крахом финансовой системы в целом. Как только маратхи, раджпуты и сикхи получили независимость, они ввели собственные системы налогообложения, и моголы перестали получать от них дань, хотя их народы всё ещё присягали на верность Дели.

Так что дела у моголов шли плохо, особенно здесь, на юге. Но несмотря на то, что и маратхи, и раджпуты исповедовали индуизм, они говорили на разных языках и едва знали друг друга, поэтому развивались как соперники, что продлевало власть моголов над матерью Индией. В эти последние годы правления хана, полностью растворившегося в гареме и кальяне, его премьер-министром стал Назим; Назим отправился

на юг, где создал княжество, которое вдохновило Траванкор на близкую систему правления.

Затем Надир-шах перешёл Инд тем же бродом, что и Александр Македонский, и разорил Дели, убив тридцать тысяч человек; он увёз домой миллиард рупий в золоте и драгоценных камнях и сам Павлиний трон. С моголами было покончено.

С тех пор маратхи продолжают расширять свои территории и дошли уже до самой Бенгалии. Но афганцы, освобождённые от Сефевидов, устремились на восток, подобравшись вплотную к Дели, и тоже разорили город. После их ухода сикхи получили контроль над Пенджабом за налог в размере пятой части урожая. Потом Дели снова разорили, на этот раз пуштуны, целый месяц бесчинствуя в городе, превратившемся в ад. Последний император с могольским титулом был ослеплён мелким афганским вождём.

После этого тридцатитысячная маратхская кавалерия двинулась на Дели, подобрав по пути на север двести тысяч добровольцев-раджпутов, и в судьбоносном бою при Панипате, где так часто решалась судьба Индии, встретилась с армией афганцев и бывших моголов, развернувших полноценный джихад против индусов. Мусульмане

пользовались поддержкой местного населения, возглавлял их великий полководец шах Абдали, и сто тысяч маратхов полегли на поле боя, а тридцать тысяч были взяты в плен с требованием выкупа. Но в конце концов афганские солдаты устали от Дели и вынудили своего хана вернуться в Кабул.

Маратхи, однако, тоже были разбиты. Преемники Назима закрепили за собой юг, сикхи захватили Пенджаб, а бенгальцы — Бенгалию и Ассам. В сикхах мы нашли своих лучших союзников. Их последний гуру объявил, что отныне воплощением гуру являются священные писания сикхов, и с тех пор они процветают, возведя, по сути, мощную стену между нами и исламским миром. И мы многому научились у сикхов. Они исповедуют своего рода смесь индуизма и ислама, необычную и поучительную для индийской истории. Они процветали, мы учились у них, объединяли с ними свои усилия и тоже процветали.

Затем во времена моего деда в этот регион прибыло много беженцев из завоёванной Китаем Японии. Буддисты тянулись на Ланку, в сердце буддизма. Самураи, монахи и моряки, превосходные моряки, исходившие весь великий восточный океан, который они называют «да-

хаем». Более того, они приплывали к нам как с востока, так и с запада.

— Обойдя весь мир?

— Именно. И они многому научили наших кораблестроителей, а буддийские монастыри здесь и раньше были центрами металлургии, машиностроения и керамики. Наши математики добились сказочных успехов в вычислениях для использования в навигации, артиллерии и механике. Всё это сошлось вместе на верфях, и наш торговый и морской флоты вскоре стали ещё больше китайских, что было как нельзя кстати, поскольку Китай поглощает всё больше и больше мировых стран — Корею, Японию, Монголию, Туркестан, Аннам и Сиам, острова в малайской цепи (этот регион мы, кстати, раньше называли Великой Индией). Поэтому нам нужны корабли, чтобы защититься от этой напасти. С моря нам ничто не угрожает, а с суши нас не так-то легко захватить, здесь, под грубыми, дикими склонами Декана. Похоже, время ислама в Индии, если не на всём западе, уже прошло.

— Вы покорили их самый могущественный город, — сказал Исмаил.

— Да. Я всегда буду бить мусульман, чтобы они никогда больше не посмели напасть на Индию.

Дели уже достаточно натерпелся. Поэтому я построил небольшой флот на Чёрном море, чтобы напасть на Константинию и разбить османов, как Назим разбил моголов. Мы создадим небольшие государства по всей Анатолии, забирая их земли под наше влияние, как делали в Иране и Афганистане. Тем временем мы продолжаем работать с сикхами, в которых видим своих главных союзников и партнёров в том, что становится довольно крупной конфедерацией индийских княжеств и государств. Народ не особенно сопротивляется такому объединению Индии, потому что это, в случае успеха, означает мир. Мир — впервые с тех пор, как моголы вторглись сюда более четырёх веков назад. Индия наконец выходит из тьмы на свет. И мы зажжём этот свет повсюду.

На следующий день Бхакта пригласила Исмаила на приём, который был устроен в саду траванкорского дворца Кералы. Большой парк, где располагалось компактное мраморное здание, выходил на северную сторону гавани, удалённую от шума и дыма корабельных заводов, видных на южной стороне мелкого залива, но не мешавших на таком расстоянии. Другие, более затейливые белые дворцы, находившиеся за пределами парка, принадлежали не Керале, а местным купцам,

разбогатевшим на кораблестроении, торговых экспедициях и в особенности на финансировании подобных экспедиций. Среди гостей Кералы их было много, богато разодетых в шелка и драгоценности. Исмаил отметил, что в этом обществе наиболее ценились полудрагоценные камни — бирюза, нефрит, лазурит, малахит, оникс, яшма и им подобные, из которых вышлифовывались большие круглые пуговицы и бусы. Жёны и дочери богачей нарядились в блестящие сари, а некоторые из них водили за собой ручных гепардов на поводках.

Люди гуляли в тени садовых шпалер и пальм, лакомились деликатесами за длинными столами, потягивали напитки из стеклянных фужеров. Буддийские монахи, то и дело подходившие к Бхакте, выделялись на общем фоне в своём бордовом и шафрановом одеянии. Настоятельница познакомила Исмаила с некоторыми из них. Она показывала ему на присутствующих бородатых сикхов в тюрбанах, маратхов, бенгальцев и даже африканцев, малайцев, бирманцев, суматранцев, японцев и ходеносауни из Нового Света. Настоятельница знала их всех лично или опознавала по характерным одеждам и приметам.

— Сколько разных народностей здесь собра-

лось, — заметил Исмаил.

— Они прибыли на кораблях.

Многие жаждали поговорить с Бхактой, и она представила Исмаила одному из «ближайших доверенных лиц» Кералы, некоему Пидаунгу, невысокому темноволосому человеку, который, с его слов, рос в Бирме и на восточной стороне индийской оконечности. Он превосходно владел персидским языком, из-за чего, собственно, настоятельница их и познакомила, а сама отлучилась уделить внимание другим гостям.

— Керала чрезвычайно рад знакомству с вами, — сразу сказал Пидаунгу, отводя Исмаила в сторону. — Он жаждет добиться прогресса в определённых медицинских вопросах, особенно связанных с инфекционными заболеваниями. Болезни и инфекции забирают у нас больше солдат, чем враги на поле боя, и это тяготит его.

— Я очень мало об этом знаю, — сказал Исмаил. — Я анатом и лишь пытаюсь изучать строение тела.

— Любые подвижки в понимании тела помогают нам в том, что интересует Кералу.

— Это в теории. И со временем.

— Но вы ведь могли бы проанализировать армейский быт на предмет, скажем, определённых

ситуаций, которые способствуют распространению болезней?

— Допустим, — сказал Исмаил. — Хотя некоторых ситуаций невозможно избежать, таких, например, как совместные путешествия и совместный сон.

— Да, но то, как всё это организовано…

— Возможно. Существует вероятность, что некоторые болезни передаются существами меньшего размера, чем может видеть глаз…

— Существа из-под микроскопов?

— Да, или ещё меньше. Взаимодействие с небольшим числом этих существ, живых или заранее умерщвлённых, по всей видимости делает людей устойчивыми к последующим воздействиям, как это происходит с больными, перенёсшими оспу.

— Да, вариоляция. Наши войска уже прошли струпьевание.

Исмаил удивился, услышав это, что не укрылось от офицера.

— Мы пробуем всё, — сказал он со смехом. — Керала считает, что привычки должны быть пересмотрены и, при необходимости, изменены — улучшены настолько, насколько это возможно. Привычки в еде, мытье, испражне-

ниях… Он начинал в чине офицера артиллерии, когда был совсем молодым, и уже тогда научился ценить строгий порядок. Он предложил сверлить, а не отливать стволы пушек, так как отливка никогда не бывает идеально гладкой. А с равномерными отверстиями пушки становятся более мощными и лёгкими одновременно, и гораздо более точными. Он испытал каждое из этих свойств и свёл пушечную стрельбу к чёткой последовательности движений, своего рода танец, но для пушек всех размеров, приспособив артиллерию к такому же быстрому развёртыванию, как у пехоты, и почти как у кавалерии. И их легко перевозить на кораблях. Результаты поражают, как видите, — он самодовольно обвёл рукой гостей.

— Полагаю, и вы были артиллерийским офицером.

Мужчина рассмеялся.

— Да, был.

— А теперь пожинаете лавры.

— Да, но есть и другие виновники сегодняшнего торжества. Банкиры, поставщики. Но все они едут на артиллерийском горбу, если угодно.

— Но не врачи.

— Нет. Но как бы мне хотелось, чтобы это было так! Скажите мне ещё раз, какую часть военной

жизни мы, по-вашему, могли бы как-то оздоровить?

— Ограничить контакты с проститутками?

Мужчина снова рассмеялся.

— Вы должны понимать, что для многих это священный долг. Храмовые танцовщицы играют немаловажную роль во многих церемониях.

— Ах, что ж. Тогда — соблюдать чистоту. Микроорганизмы перемещаются от тела к телу через грязь — в касаниях, пище, питье и дыхании. Кипячение хирургических инструментов снижает риск заражения. Маски на врачах, медсёстрах и пациентах сдерживают распространение инфекции.

Офицер выглядел довольным.

— Чистота — это добродетель в кастовой системе. Керала не одобряет каст, но должна быть возможность сделать чистоту более приоритетной.

— Кипячение убивает микроорганизмы. Кухонные принадлежности, кастрюли и сковородки, питьевую воду — всё это можно кипятить и извлекать из этого пользу. Не очень практично, я полагаю.

— Не очень, но исполнимо. Какие ещё методы можно использовать?

— Возможно, есть травы и другие вещи, ядовитые для микроорганизмов, но не для людей. Но никто не знает, существуют ли такие вещи.

— Но ведь можно провести и испытания.

— Можно.

— Например, на отравителях.

— Это уже бывало.

— О, Керала будет доволен. Как он любит испытания, записи, числа, представленные его математиками, чтобы показать, применимы ли впечатления одного врача к армии в целом. Он захочет говорить с вами снова.

— Я расскажу ему всё, что смогу, — обещал Исмаил.

Офицер пожал ему руку, держа её обеими своими.

— Я отведу вас к Керале сразу же, но сейчас, я вижу, пришли музыканты. Мне нравится слушать их с верхних террас.

Какое-то время Исмаил ходил за ним, словно затянутый в водоворот, а потом его поймал один из помощников настоятельницы и отвёл обратно к компании, собравшейся вокруг Кералы, смотреть концерт.

Певицы были одеты в нарядные сари, музыканты — в шёлковые куртки, сшитые из тканей с

разными узорами и разных оттенков, в основном ярко-синих и апельсиново-красных. Музыканты начали; барабанщики ударили в двусторонние таблы, к ним присоединились игроки на высоких струнных инструментах, вроде удов с длинными грифами, напоминая Исмаилу о Константинии, которая пробуждалась под звуки этих звонких инструментов, так похожих на уды.

Вперёд вышла одна певица и запела на каком-то иностранном языке, непрерывно скользя по ладам, выплетая гармонии, незнакомые Исмаилу, где тона и полутона резко взлетали вверх и ныряли вниз, точно птичьи трели. За спиной певицы медленно танцевали девушки, практически замирая, когда она брала долгие ноты, но не прекращая двигаться, и протягивали руки ладонями вперёд, говоря на языке танца.

Потом два барабанщика перешли на сложный, но мерный ритм, сплетавшийся в единое целое с пением. Исмаил закрыл глаза; он никогда не слышал такой музыки. Мелодии наслаивались друг на друга и длились без конца. Зрители двигались в такт, солдаты пританцовывали на своих местах вокруг Кералы, расположившегося в неподвижном центре этого круга, но даже он тихонько покачивался, тронутый музыкой. Когда барабан-

щики разразились заключительной неистовой лавиной звуков, отмечавшей конец произведения, солдаты, радостно восклицая, подскочили вверх. Певицы и музыканты улыбнулись, глубоко поклонились и вышли вперёд, чтобы принять поздравления Кералы. Он некоторое время беседовал с вокалисткой, обращаясь к ней как к давней приятельнице. Исмаил обнаружил себя в своего рода очереди, организованной настоятельницей, и кивал потным исполнителям, когда те проходили мимо. Все они были молоды. Ноздри Исмаила наполнились множеством различных ароматов — жасмином, апельсином, морской пеной, и он вдыхал их полной грудью. Бриз донёс ещё более сильный морской запах, похожий на чей-то парфюм, но на этот раз непосредственно с моря, которое раскинулось, зеленое и синее, как дорога, ведущая во все стороны.

Гости снова закружили по саду, вторя неторопливым перемещениям Кералы. Исмаила представили четвёрке банкиров, двум сикхам и двум траванкорцам, и он слушал, как они обсуждают — из вежливости к нему, на персидском языке — сложную ситуацию в Индии, вокруг Индийского океана и в мире в целом. Гавани, за которые велись сражения, города, строившиеся

в доселе пустующих устьях рек, переменчивая лояльность местного населения, мусульманские работорговцы в Западной Африке, золото в Южной Африке, золото в Инке, остров к западу от Африки — всё, что тянулось уже много лет, но теперь почему-то стало по-другому. Крушение мусульманских империй прошлого, бурный рост машиностроения, новых государств, новых религий, новых континентов — и всё это исходило отсюда, как будто ожесточённая борьба внутри Индии передавала перемены волнами по всему миру, где они снова сталкивались, накатывая с разных сторон.

Бхакта представила Исмаилу ещё одного гостя, и мужчины слегка поклонились друг другу кивками головы. Нового знакомого звали Васко, он был родом из Нового Света, с большого острова к западу от Фиранджи, который китайцы называли Инчжоу. Васко определил его как землю ходеносауни, «что означает земли людей Длинного Дома», — объяснил он на сносном персидском. Со слов Бхакты, он представлял здесь лигу ходеносауни. Он был похож на сибиряка, монгола или маньчжура, не бреющего лоб. Васко, такого высокого, с ястребиным носом, бросающегося в глаза, не затмевал даже слепящий солнечный

свет, исходивший от самого Кералы; судя по его внешности, эти изолированные острова на другом конце света были способны произвести на свет здоровую и энергичную расу. Без сомнения, именно по этой причине он был послан своим народом.

Бхакта оставила их, и Исмаил вежливо сказал:

— Я приехал из Константинии. Вашему народу знакома музыка, подобная той, что мы слышали здесь?

Васко подумал об этом.

— Мы тоже поём и танцуем, но делаем это вместе, неофициально и спонтанно, если вы понимаете, о чём я. Звук здешнего барабана гораздо более плавный и сложный, сочный. Меня это захватило. Мне бы хотелось послушать побольше, понять, слышал ли я то, что звучало, — он махнул рукой так, что Исмаил не понял, возможно, удивляясь виртуозности барабанщиков.

— Они прекрасно играют, — сказал Исмаил. — У нас тоже есть барабанщики, но их игра более примитивна.

— Действительно.

— А ваши города, корабли и тому подобное? Есть ли в вашей стране гавани, как эта? — спросил Исмаил.

Удивлённое выражение на лице Васко не отличалось от удивления любых других народов, что, рассудил Исмаил, было логично, ведь такое же выражение всегда можно увидеть на лицах новорождённых младенцев. Учитывая ещё и то, что Васко свободно владел персидским, Исмаила не могло не впечатлять, как легко он его понимал, несмотря на экзотическую родину.

— Нет. Там, откуда я родом, мы не живём такими скоплениями. Вокруг этого залива живёт больше людей, чем во всей моей стране, я думаю.

Теперь удивился Исмаил.

— Так мало?

— Да. Хотя, на мой взгляд, это здесь много народу. Но мы живём в огромном лесу, густом и дремучем. Лучшие дороги там прокладывают реки. Пока не появились вы, мы охотились и выращивали столько овощей, сколько нам было нужно, не зная металла и кораблей. Их завезли на наше восточное побережье мусульмане и построили форты в наших гаванях, в том числе в устье Восточной реки и на Длинном острове. Поначалу их было не так уж много и мы кое-чему у них научились, переняли для себя. А потом нас стали поражать болезни, прежде нам неизвестные, и

многие умерли от них, а потом пришли другие мусульмане, приведя рабов из Африки себе на подмогу. Но наша земля велика, а побережье, где скопились мусульмане, не очень плодородно. Поэтому мы ведём торговлю с ними и с траванкорскими кораблями, когда они заходят к нам, что ещё лучше. Мы очень обрадовались их кораблям, потому что нас тревожили мусульмане Фиранджи. И до сих пор тревожат. У них много оружия, они идут, куда хотят, и говорят нам, что мы не знаем Аллаха и что мы должны молиться ему, и так далее. Поэтому нам понравилось, когда появился другой народ, на хороших кораблях. Не мусульманский народ.

— Траванкорцы уже нападают на мусульман и у вас?

— Пока нет. Они встали на якорь в устье Миссисипи, большой реки. Может быть, в конце концов дело и дойдёт до войны. И те, и другие превосходно вооружены, а мы нет, пока нет, — он посмотрел Исмаилу в глаза и весело улыбнулся. — Но я не должен забывать, что и вы мусульманин.

— Я не пропагандирую, — сказал Исмаил. — Ислам позволяет выбирать.

— Да, так они и говорят. Но только здесь, в Траванкоре, видно, что это действительно так. Сикхи,

индусы, африканцы, японцы — здесь есть все. Керале, похоже, всё равно. Или ему это нравится.

— Говорят, индусы впитывают всё, к чему прикасаются.

— Похоже на правду, — сказал Васко. — Во всяком случае, это предпочтительнее, чем Аллах под дулом ружья. Теперь мы строим собственные корабли на наших великих озёрах и скоро сможем обогнуть Африку и добраться до вас. Прямо сейчас Керала предлагает прорыть канал через Синайскую пустыню, соединив Средиземное море с Красным, и обеспечить нам более прямой доступ к вам. Он предлагает завоевать весь Египет, чтобы сделать это возможным. Конечно, предстоит ещё многое обсудить, принять много решений. Моя лига дружна с другими лигами.

Потом пришла Бхакта и снова увела Исмаила.

— Вы удостоились приглашения составить компанию Керале в одной из небесных колесниц.

— Воздухоплавательные мешки?

Бхакта улыбнулась.

— Да.

— Как здорово.

Исмаил шёл за прихрамывающей настоятельницей по террасам, каждая из которых благоухала своими особыми ароматами, от му-

скатного ореха к лайму, корице, мяте, розе; он поднимался с этажа на этаж по коротким каменным лестницам, чувствуя, словно шаг за шагом приближается к некоему высшему царству, где эмоции и чувства обострялись, тело охватывало смутным ужасом, а запахи всё настойчивее погружали в высшее состояние. Голова шла кругом. Он не боялся смерти, но его телу не нравилась мысль о том, что должно произойти, чтобы привести его к этому последнему моменту. Он догнал настоятельницу и пошёл рядом, чтобы умиротвориться от её спокойствия. По тому, как она поднималась по лестнице, он понял, что ей всегда больно. И всё же она никогда не говорила об этом. Теперь она снова посмотрела на океан, затаив дыхание, положила свою узловатую руку на плечо Исмаила и сказала ему, как рада, что он был там, среди них, как много они могли бы сделать вместе, работая под руководством Кералы, который освобождал пространство для великих свершений. Они собирались изменить мир. Пока она говорила, Исмаил снова ощутил запахи в воздухе, и ему показалось, что он видит грядущее: вот Керала привозит в Индию людей и товары со всего мира, завоёвывая город за городом, отсылает в монастырь книги, карты, инструменты,

лекарства, орудия, людей с необычными болезнями или новыми навыками, с запада Урала и востока Памира, из Бирмы и Сиама, с Малайского полуострова, с Суматры и Явы, с восточного побережья Африки. Исмаил видел, как знахарь с Мадагаскара показывал ему почти прозрачные крылья летучей мыши, что позволяло досконально изучить живые вены и артерии, после чего он дал Керале полное описание кровообращения, и Керала остался очень доволен, а потом Исмаил увидел китайского врача с Суматры, демонстрирующего, что китайцы подразумевают под «ци» и «шэнь», которые оказались тем, что Исмаил всегда называл лимфой, вырабатываемой маленькими железами в подмышках, на которые можно воздействовать припарками из трав и снадобий, как и утверждали китайцы; а затем он увидел группу буддийских монахов, составлявших схемы различных элементов по разным категориям, в зависимости от химических и физических свойств, и всё это было расположено в очень красивой мандале — предмет бесконечных дискуссий в читальных залах, мастерских, литейных цехах и больницах; и каждый исследователь, даже если не путешествовал вокруг света, даже если никогда не покидал Траванкор,

стремился рассказать что-то интересное Керале в следующий раз, когда он придет, — не для того, чтобы Керала вознаградил его, хотя он бы это сделал, а потому что он был бы рад новым знаниям. На его лице появилось бы выражение, которое все жаждали увидеть, и в нём, прямо перед ними, была бы вся история Траванкора.

Они вышли на широкую террасу, где на привязи ждала летающая корзина. Огромный шёлковый мешок уже был полон нагретого воздуха и рывками натягивался на удерживающих его канатах. Плетёная бамбуковая корзина была размером с большую повозку или маленький павильон; такелаж, соединявший её с кромкой шёлкового мешка, представлял собой сеть верёвок, которые казались тонкими по отдельности, но прочными в совокупности. Шёлк мешка просвечивал насквозь. Закрытая жаровня с углём и вмонтированным ручным соплом крепилась болтами к бамбуковой раме под мешком, оказавшейся прямо на уровне головы, когда они вошли в корзину через дверцу.

Керала, певица, Бхакта и Исмаил вжались в углы. Пидаунгу заглянул внутрь и сказал:

— Увы, похоже, что для меня не остаётся места, я буду теснить вас; поднимусь в следующий раз,

хотя и сожалею, что упускаю эту возможность.

Пилот и его пассажиры отвязали все верёвки, за исключением одной; день был почти безветренным, и Исмаилу объяснили, что полёт будет контролируемым. Пилот сказал, что они начнут подниматься, как воздушный змей, а затем, когда канат придёт в почти полное натяжение, затушат очаг и стабилизируются в одной точке, как и всякий воздушный змей, повиснув на высоте в несколько тысяч рук над ландшафтом. Привычный полуденный бриз с берега обещал, что, если верёвка вдруг лопнет, дрейфом их отнесёт вглубь суши.

Они начали подъём.

— Это похоже на колесницу Арджуны, — сказал Керала, и все согласно кивнули, восторженно сверкая глазами.

Певица была прекрасна, воспоминание о ней звенело в воздухе, как песня; а Керала был ещё прекраснее, а Бхакта — прекрасней всех. Пилот несколько раз надавил на меха. В верёвках свистел ветер.

С воздуха мир казался плоским. Он простирался на огромное расстояние до горизонта; на северо-востоке и юге — зелёные холмы, на западе — плоское голубое блюдо моря, на поверх-

ности которого отражались блики солнечного света, как позолота на синем фарфоре. Предметы внизу были маленькими, но чёткими. Деревья смахивали на зелёные клочья шерсти. Это всё напоминало персидские миниатюрные пейзажи, простёртые и вписанные в пространство под ними с изумительной проработкой. Рисовые поля окаймляли извилистые ряды пальм; за ними тянулись сады с крошечными деревьями во много рядов, которые напоминали рулон плотной ткани, развёрнутый до тёмно-зелёных холмов на востоке.

— Что это за деревья? — спросил Исмаил.

Керала ответил, потому что, как стало ясно, он руководил созданием большинства садов, которые они видели вокруг:

— Эти деревья — часть городских земель и выращиваются в качестве источников эфирных масел, которые мы обмениваем на импортируемые товары. Вы слышали запахи некоторых из них по пути к корзине. Ветиверия, костус, валериана и ангелика, кустарники керуды, лотеса, кадама, париджаты и ночной королевы. Травы — цитронелла, лимонная трава, имбирная трава и пальмароза. Цветы, как вы можете видеть, — туберoза, магнолия, розы, жасмин, франжипани.

Мята перечная, мята душистая, пачули, полынь. А там, в глубине леса, растут рощи сандалового и агарового дерева. Всё это мы выводим, сажаем, выращиваем, собираем, обрабатываем, разливаем по флаконам или упаковываем для торговли с Африкой, Фиранджой, Китаем и Новым Светом, где раньше не знали ни парфюмерии, ни лекарственных средств, которые могли бы сравниться по эффективности с нашими, и поэтому они так удивлены и очень желают ими обладать. И теперь у меня есть люди, которые рыщут по всему миру в поисках различных видов флоры и проверяют, что вырастет здесь. То, что приживается, мы разводим, и эти масла продаются повсеместно. Спрос на них так высок, что с ним ничто не сравнится, и золото течёт в Траванкор рекой, а его чудесные ароматы наполняют благоуханием всю Землю.

Корзина развернулась, поднявшись на высоту якорного каната, и под ними лежало сердце королевства, город Траванкор, с высоты птичьего полёта, с высоты Бога. Земля у залива была усеяна маленькими, как игрушки принцессы, крышами, деревьями, дорогами и доками и простиралась не до самой Константинии, но достаточно далеко, усыпанная целым дендрарием зелёных древес-

ных крон, почти не вытесненных зданиями и дорогами. Только в районе доков крыш было больше, чем деревьев.

Прямо над ними плыл гобелен из перекрещённых облаков, двигаясь по ветру вглубь континента. С моря навстречу им плыл огромный строй высоких белых мраморных облаков.

— Скоро придётся спускаться, — сказал Керала пилоту, который кивнул и проверил очаг.

Вокруг них с любопытством кружилась стая стервятников, и пилот что-то крикнул им, вытащив охотничье ружьё из сумки на внутренней стенке корзины. Он добавил, что сам никогда с таким не сталкивался, но слышал о птицах, проклёвывавших мешок прямо в небе. Видимо, ястребы метят свою территорию: стервятники бы не отважились, но было бы скверно, если бы их застали врасплох.

Керала рассмеялся, посмотрел на Исмаила и указал на разноцветные и величественные поля.

— Мы хотим, чтобы вы помогли нам построить этот мир, — сказал он. — Мы придём и засадим его садами и огородами до горизонта, мы будем строить дороги через горы и через пустыни, и возводить террасы в горах, и орошать пустыни, пока не будет повсюду садов и изобилия для всех и не

останется больше ни империй, ни королевств, ни халифов, ни султанов, ни эмиров, ни ханов, ни заминдаров, ни королей, ни королев, ни принцев, ни кади, ни мулл, ни улемов, ни рабства, ни ростовщичества, ни собственности, ни дани, ни богатых, ни бедных, ни убийств, взяток или казней, ни тюремщиков и заключённых, не будет больше генералов, солдат, армий или флотов, не будет патриархата, кланов, каст, голода, не будет страданий за пределом того, что преподносит нам жизнь уже за то, что мы рождаемся и умираем, — и тогда мы наконец увидим, что мы собой представляем.

3. Золотая гора

В 12-й год правления императора Сяньфэна Золотую гору затопило дождём. Он начался в третьем месяце осени, как всегда начинался сезон дождей в этой части побережья Инчжоу, но не прекращался до второго месяца следующей весны. Дождь лил каждый день в течение полугода, зачастую сильный и проливной, как будто в тропиках. Не успела зима перевалить за середину, как огромную центральную долину горы затопило вдоль и поперёк, образовав неглубокое озеро полутора тысяч ли в длину и трёхсот в ширину. Между зелёными холмами, окаймлявшими дельту, лилась коричневатая вода, утекая через большой залив за пределы Золотых ворот, окрашивая океан в цвет грязи вплоть до островов Пэнлай. Исток приливных вод и наводнения был мощным, но всё же недостаточно, чтобы опустошить великую долину. Китайские города, деревни и фермы на плоской низине затопило под самые крыши, и всё население долины было вынуждено перебраться на более высокие земли, в прибрежные хребты и предгорья Золотых гор или, по большей части, в легендарный город

Фанчжан. Те, кто жил на восточной стороне центральной долины, как правило уходили в предгорья, поднимаясь по железнодорожным и почтовым дорогам; дороги тянулись через яблоневые сады и виноградники, выходящие на глубокие каньоны, что прорезали плато. Здесь они столкнулись с многочисленными японцами, заселившими предгорные земли.

Многие из этих японцев составили диаспору, после того как китайские армии завоевали Японию во времена династии Юн Чэн сто двадцать лет назад. Именно они первыми начали выращивать рис в центральной долине, но уже через одно-два поколения китайские иммигранты наводнили долину, как сейчас её наводняли дожди, и большинство японских нисэев и сэнсэев перебралось в предгорья в поисках золота или для выращивания винограда и яблок. Там они наткнулись на изрядное количество древних жителей, спрятавшихся в предгорьях и сводивших концы с концами после эпидемии малярии, которая не так давно истребила большинство из них. Японцы уживались с уцелевшими и другими древними, пришедшими с востока, и вместе они всеми возможными способами, кроме, разве что, бунта, сопротивлялись китайским ползу-

новениям в предгорья, ибо за Золотыми горами лежали пустынные соляные возвышенности, где ничто не выживало. Они были припёрты спиной к стене.

Так что прибытие большого количества китайских семей беженцев-фермеров не обрадовало тех, кто уже там жил. Предгорья состояли из плато, склонённых к высоким горам и прорезанных очень глубокими, кривыми, густо заросшими лесом речными каньонами. Эти заросшие манзанитой[42] каньоны были непроходимы для китайских властей, и в них прятались многие японские семьи, большинство из которых искали золото или работали на неглубоких раскопках. Китайские дорожно-строительные компании были сосредоточены в плоскогорьях, а каньоны оставались в основном за японцами, несмотря на присутствие китайских старателей (Хоккайдо в изгнании, зажатый между китайской долиной и великой туземной пустыней). Теперь их мир заполнялся промокшими китайскими рисоводами.

Ни одну из сторон это не устраивало. К этому времени конфликты между китайцами и японцами стали такими же естественными, как между

[42] Примечания: 42
Вечнозелёные кустарники из семейства вересковых (*прим. ред.*).

собакой и кошкой. Японцы в предгорьях старались не обращать внимания на то, что китайские беженцы разбивают свои лагеря у всех дорожных и железнодорожных станций; китайцы старались не обращать внимания на японские усадьбы, в которые они вторгались. Рис кончался, терпение было на исходе, и китайские власти направили войска для поддержания порядка в регионе. Дождь не прекращался.

Одна группа китайцев вышла из затопленного региона на дорогу, идущую вдоль реки Радужной Форели. Над её северным берегом раскинулись яблоневые сады и пастбища для скота, которые в основном принадлежали китайцам в Фанчжане, но возделывались японцами. Эта группа китайцев разбила лагерь в одном из садов, всеми силами стараясь укрыться от дождя, который продолжал идти день за днём. Они построили похожее на сарай здание из жердей с крышей из дранки и открытым очагом с одной стороны и завесили стены обычными простынями — защита слабая, но лучше, чем ничего. Днём они или спускались по стенам каньона ловить рыбу в бурлящей реке, или уходили в лес охотиться на оленей, отстреливая их в большом количестве и вяля мясо.

Матриарх одной из этих семей, женщина по имени Яо Цзэ, была вне себя от горя из-за того, что её шелковичные черви остались на ферме, в коробках, спрятанных в стропилах филатуры. Её муж боялся, что с этим ничего нельзя поделать, но семья наняла в прислугу японского паренька по имени Киёаки, который вызвался спуститься в долину, в первый же спокойный день сесть на вёсла и сплавать за шелкопрядами. Хозяину это предложение не понравилось, но хозяйка его одобрила, так как ей нужны были шелковичные черви. И вот одним дождливым утром Киёаки ушёл, чтобы попытаться вернуться на затопленную ферму, если получится.

Он нашёл лодку семьи Яо привязанной к дубу в долине на том же месте, где они её и оставили. Он отвязал её и поплыл там, где раньше были восточные рисовые поля их фермы, к их посёлку. Западный ветер поднимал высокие волны, и они вместе гнали его назад, на восток. Его ладони покрылись волдырями к тому времени, как он добрался до затопленного участка Яо, проплыл над его наружной стеной, скребнув по ней плоским дном лодки, и привязал её к крыше филатуры, самого высокого здания на ферме. Он пролез через слуховое окно на стропила и нашёл промокшие

листы бумаги, покрытые яйцами шелкопрядов, в коробках, наполненных камнями и шелковичной мульчёй. Он собрал их все в клеёнчатую сумку и, довольный собой, спустил через окно в лодку.

Дождь уже яростно хлестал по поверхности воды, и Киёаки подумывал о том, чтобы провести ночь на чердаке дома Яо, но пустота этого места пугала его, и он решил плыть обратно. Клеёнка защитит яйца, а он провёл под водой так много времени, что уже привык. Он был как лягушка, которая то прыгает в пруд, то выпрыгивает из него, и ему было всё равно. Поэтому он сел в лодку и начал грести.

Но теперь, как назло, ветер дул с востока, поднимая волны неожиданной силы и тяжести. У него болели руки, и лодка время от времени задевала затонувшие предметы: верхушки деревьев, телеграфные столбы, (возможно и другие предметы — он был слишком напуган, чтобы смотреть). Пальцы мертвецов! Он не видел далеко в сгущающихся сумерках и с наступлением ночи потерял всякое представление о том, в каком направлении движется. На носу лодки лежал скомканный брезентовый настил; он натянул настил на планшир, закрепил верёвками, забрался под него и поплыл по течению, лёжа на дне лодки и время

от времени вычерпывая воду консервной банкой. Было сыро, но лодка не проседала. Он терпел, пока её метало по волнам, и в конце концов заснул.

Ночью он несколько раз просыпался, черпал воду, но после этого всякий раз заставлял себя снова заснуть. Лодку кружило и раскачивало, но волны не заливались за борт. Если это произойдёт, лодка пойдёт ко дну, и он утонет, и он старался не думать об этом.

На рассвете стало понятно, что плыл он на запад, а не на восток. Его занесло далеко от внутреннего моря, в которое превратилась центральная долина. Группа долинных дубов отмечала небольшой островок на возвышенности, который всё ещё поднимался из потока, и Киёаки грёб к нему.

Поскольку он смотрел в сторону от маленького островка, то не разглядел его как следует, пока не врезался в него носом. Он сразу же обнаружил, что остров кишел пауками, жуками, змеями, белками, кротами, крысами, мышами, енотами и лисами, — и все они запрыгнули в его лодку одновременно как на новую возвышенность. А самой высокой вершиной здесь был он, и он закричал в ужасе, отмахиваясь от несчастных змей, белок и пауков, когда в лодку прыгнули

девушка с ребёнком, так же, как и зверьё, только она оттолкнула лодку от дерева, к которому пристал Киёаки, плача и громко крича:

— Они хотят съесть её, они хотят съесть моего ребёнка!

Киёаки, сосредоточенный на существах, всё ещё ползающих по нему, едва не выронил весло за борт. В конце концов он раздавил, смахнул или выбросил за борт всех незваных гостей, вставил вёсла в уключины и быстро поплыл прочь. Девушка с ребёнком сидела на лавке, и она всё била насекомых и пауков, вопя:

— Фу! Тьфу! Тьфу!

Она была китаянкой.

Из нависающих серых туч снова хлынул дождь. Во всех направлениях они видели одну только воду, если не считать деревьев на маленьком островке, который покинули в такой спешке. Киёаки грёб на восток.

— Ты плывёшь не в ту сторону, — возмутилась она.

— Я приплыл оттуда, — сказал Киёаки. — Люди, на которых я работаю, остались там.

Девушка не ответила.

— Как вы оказались на этом острове?

И снова она промолчала.

С пассажирами грести стало тяжелее, и волны практически переплёскивались через борт лодки. Под ногами продолжали прыгать сверчки и пауки, а в носовой части, под настилом, вжался опоссум. Киёаки грёб до тех пор, пока руки у него не начали кровоточить, но суши они так и не увидели; дождь лил так сильно, что капли образовывали нечто вроде густой пелены падающего тумана.

Девушка капризничала, кормила ребёнка грудью, убивала насекомых.

— Греби на запад, — повторяла она. — Течение тебе подсобит.

Киёаки грёб на восток. Лодка подпрыгивала на волнах, и время от времени они вычерпывали воду. Казалось, весь мир стал морем. В какой-то момент Киёаки увидел прибрежный хребет сквозь дыру в низких облаках с запада, гораздо ближе, чем он ожидал или хотел надеяться. Подводное течение, должно быть, несло их на запад.

Уже почти стемнело, когда они добрались до ещё одного крошечного зелёного островка.

— Опять тот же остров! — сказала девушка.

— Так только кажется.

Ветер снова усиливался, как вечерний бриз в дельте, которым они наслаждались бы жарким

сухим летом. Волны поднимались всё выше и выше, с набега разбиваясь о нос лодки и разбрызгиваясь сперва по брезенту, а потом и по ногам. Им срочно нужно было встать на якорь, иначе они рисковали утонуть.

И Киёаки поставил лодку. И снова их захлестнуло живой волной зверья и насекомых. Китаянка на удивление резво чертыхалась, отбиваясь от существ, которые были крупнее её ребёнка. С теми, что поменьше, оставалось просто смириться. На огромных ветвях долинных дубов расселась убогая стайка снежных обезьян, глядя на них сверху вниз. Киёаки привязал лодку к ветке и сошёл на сушу, положил мокрое одеяло на хлюпающую грязь между двумя корнями, снял с лодки настил и накрыл им девушку и ребёнка, утяжеляя его, насколько возможно, сломанными ветками. Он заполз вместе с ней под брезент, и они с целым зверинцем жуков, змей и грызунов устроились на долгий ночлег. Спалось тяжело.

Следующее утро было таким же дождливым, как и предыдущее. Девушка положила ребёнка между ними, защищая от крыс, и стала кормить грудью. Под брезентом было теплее, чем снаружи. Киёаки очень хотелось развести огонь, чтобы зажарить на нём несколько змей или белок, но

всё было сырым.

— Нам пора, — сказал он.

Они вышли под холодный моросящий дождь и вернулись в лодку. Когда Киёаки отчаливал, около десяти снежных обезьян спрыгнули с ветвей и залезли в лодку вместе с ними. Девушка взвизгнула и накрыла дочку своей рубахой, прижала к себе и уставилась на обезьян. Они сидели там, как пассажиры, глядя кто вниз, кто вдаль, в дождь, притворяясь, что думают о чём-то своём. Она пригрозила одной, и та отпрянула.

— Оставь их в покое, — сказал Киёаки.

Это были японские обезьяны; китайцы не любили их и жаловались на их появление в Инчжоу.

Они кружили по огромному внутреннему морю. Девушку с ребёнком покрывали пауки и блохи, как мёртвых. Обезьяны принялись их вычищать, поедая одних насекомых и выбрасывая других за борт.

— Меня зовут Киёаки.

— А меня — Пэн-Ти, — ответила китаянка, стряхивая с младенца мелких созданий и не обращая внимания на обезьян.

От гребли разболелись волдыри на руках, но через некоторое время боль стихла. Он поплыл на запад, уступая течению, которое уже и так

унесло их далеко в этом направлении.

Из мороси показалась маленькая парусная лодка. Киёаки закричал, разбудив девушку и ребёнка, но люди уже заметили их и подплыли ближе.

На борту было двое японцев. Пэн-Ти следила за ними с прищуром во взгляде.

Один из них позвал сбившихся с пути путников в лодку.

— Только обезьянам скажи, чтобы оставались там, — добавил он со смехом.

Пэн-Ти передала им своего ребёнка и сама перебралась через планшир.

— Вам повезло, что тут всего лишь обезьяны, — сказал другой. — В Чёрный Форт в северной долине, город на возвышенности, где много земли ушло под воду, животных приплывало больше, чем вы видите здесь на рисовых полях. Ворота закрыли, но стены ничего не значат для медведей, бурых медведей и золотых медведей, и их стали отстреливать, пока судья не приказал остановиться, потому что они бы просто израсходовали все свои боеприпасы, а город остался бы по-прежнему полон медведей. А огромные золотые медведи просто навалились и открыли ворота, и вошли волки, лоси, весь чёртов Ноев

ковчег собрался на улицах Чёрного Форта, и люди заперлись по своим чердакам, пережидая эту напасть.

Мужчины рассмеялись от удовольствия при этой мысли.

— Мы есть хотим, — сказала Пэн-Ти.

— Оно и видно, — ответили ей.

— Мы плыли на восток, — сказал Киёаки.

— А мы — на запад.

— Отлично, — сказала Пэн-Ти.

Дождь продолжался. Они миновали ещё группу деревьев на насыпи, только что ушедшей под воду. Там на ветвях, как обезьяны, сидела дюжина бедных промокших китайцев, которые с радостью спрыгнули на парусник. Они сказали, что провели там шесть дней. Тот факт, что их спасли японцы, казалось, даже не был важен.

Теперь парусник и вёсельную лодку несло течением коричневой воды между туманными зелёными холмами.

— Мы едем в город, — сказал их кормчий. — Это единственное место, где доки пока в безопасности. Кроме того, мы хотим обсохнуть и сытно пообедать в японском квартале.

Они плыли по заливаемой дождём бурой воде. Дельта и её перешейки ушли под воду и стали

большим коричневым озером с торчащими из него кое-где полосками верхушек деревьев, которые, очевидно, и позволяли мореплавателям определять их положение. Они указывали на те или иные полоски и с большим оживлением обсуждали что-то на беглом японском, резко контрастировавшим с их неумелым китайским.

Наконец они вошли в узкий пролив между высокими склонами холмов (Внутренние ворота, предположил Киёаки), и так как ветер здесь дул по направлению движения, опустили паруса и поплыли с течением, слегка повернув руль, чтобы удержаться в быстрой части потока. Поток поворачивал на юг, повторяя изгибы между высокими холмами, за которыми они, миновав переузину, вышли в широкую Золотую бухту, где сейчас ходуном ходили коричневые волны, оставляя следы пены, которые, в кольце зелёных холмов, исчезали под потолком низких серых облаков. По мере того как они приближались к городу, облака над высоким хребтом северного полуострова поредели до отдельных полос, и слабый свет падал на муравейник зданий и улиц, испещривших полуостров вплоть до вершины

горы Тамалпи[43], окрасив отдельные районы в белый, серебристый или оловянный цвета среди общей серости. Это было потрясающее зрелище.

Западную сторону бухты, к северу от Золотых ворот, прорезывали полуострова, уходящие в бухту; они тоже были усыпаны зданиями и, похоже, являлись одними из наиболее оживлённых районов города, образуя собой мысы трёх небольших пристаней внутри гавани. Самой большой из тройки была средняя — торговая — гавань, а полуостров с юга от неё являлся японским кварталом, спрятанным между складами и рабочим районом позади них. Здесь, как и говорили моряки, плавучие доки и причалы сохранились и функционировали нормально, как будто центральная долина и не была затоплена. Только грязно-коричневая вода залива намекала на то, что всё изменилось.

Когда они подошли к пристани, обезьяны на вёсельной лодке задёргались — они могли угодить с наводнения прямо на сковородку; в итоге одна обезьяна выпрыгнула за борт и поплыла к острову на юге, и остальные немедленно последовали за ней, подняв кучу брызг. Пассажиры

---

[43] Примечания: 43

В нашей вселенной — гора Тамалпаис в Калифорнии (*прим. пер.*).

продолжали переговариваться между собой с того, на чём остановились:

— Вот почему его называют Обезьяньим островом, — сказал кормчий.

Он завёл парусник в среднюю гавань. Среди людей на лодочной скамье оказался и китайский судья, который посмотрел вокруг и сказал:

— До сих пор затоплено.

— До сих пор затоплено, и до сих пор идёт дождь.

— Люди, должно быть, голодают.

— Да.

Китайцы поднялись на причал и поблагодарили матросов, которые вышли к ним вместе с Киёаки, Пэн-Ти и младенцем. Кормчий решил сопровождать их, когда они последовали за судьёй в «управление Великой долины по делам беженцев», расположенное в здании таможни в задней части доков. Там их зарегистрировали: записали их имена, место жительства до потопа, местонахождение их семей и соседей — всё, что им было известно. Чиновники выдали им талоны, которые давали право на койки в корпусах иммиграционного контроля, расположенных на крутом большом острове в заливе.

Кормчий покачал головой. Эти большие здания

были построены на Золотой горе для карантина некитайских иммигрантов около пятидесяти лет назад. Их окружали заборы с колючей проволокой, а большие общие спальни делились на мужские и женские. Теперь там размещали часть наплыва беженцев, прибывающих в залив на водах потопа (в основном китайцев, покинувших долину), но смотрители в этом месте не забыли тюремных привычек, которые позволяли себе с иммигрантами, и беженцы из долины горько жаловались и делали всё возможное, чтобы получить разрешение на переезд к местным родственникам, или переселиться в другое место на побережье, или вообще вернуться в затопленную долину и ждать на берегах, пока вода не отступит. Но стало известно о вспышках холеры, и губернатор провинции объявил чрезвычайное положение, которое позволяло ему действовать непосредственно в интересах императора: вступал в силу закон военного времени, приводимый в исполнение армией и флотом.

Объяснив это, кормчий сказал Киёаки и Пэн-Ти:

— Можете остаться с нами, если хотите. Мы остановимся в пансионе в японском квартале, там чисто и дёшево. Они откроют на вас кредит,

если мы за вас поручимся.

Киёаки поглядел на Пэн-Ти, та смотрела вниз. Змея или паук: жильё для беженцев или японский квартал.

— Мы пойдём с вами, — сказала она. — Большое спасибо.

Улица, ведущая вглубь острова от доков к высокому центральному району города, с обеих сторон была усыпана ресторанчиками, гостиницами и маленькими магазинами, плавная японская каллиграфия встречалась так же часто, как и более массивные китайские иероглифы. Переулки были узкими, остроконечные крыши загибались навстречу дождю так, что здания практически несли чёрные или цветные зонты, многие из которых уже изрядно потрепались. Все промокли, свесили головы и ссутулили плечи, а середина улицы походила на широкий ручей, буро мчавшийся к заливу. Зелёные холмы, возвышающиеся к западу от этого квартала города, были ярко расцвечены красными, зелёными и ярко-синими черепичными крышами — благополучный район, несмотря на японский квартал у его подножия. А возможно, именно из-за этого. Киёаки научили называть синеву этой черепицы киотской синевой.

Они прошли переулками к большому торговому дому и мелочной лавке на задворках японского квартала, и двое японцев, старшего из которых, как выяснилось, звали Гэнь, представили юных потерпевших хозяйке пансиона по соседству. Это была беззубая старая японка, одетая в простое коричневое кимоно; прихожая с алтарём служила и комнатой ожидания. Они вошли к ней, сбросили мокрые дождевики, и она критически оглядела их.

— Все такие мокрые в последнее время, — пожаловалась она. — Вы выглядите так, будто вас вытащили со дна залива. Пожёванных крабами.

Она предложила им сухую одежду, а их вещи отправила в прачечную. В её заведении было женское и мужское крыло; Киёаки и Пэн-Ти дали циновки, накормили горячим рисом и супом, а затем напоили тёплым саке. Гэнь расплатился за них и отмахнулся от их благодарностей в обычной для японцев, резкой манере.

— Оплата по возвращении домой, — сказал Гэнь. — Ваши семьи заплатят мне с превеликим удовольствием.

Потерпевшие на это ничего не сказали. Сыто, сухо; им оставалось только разойтись по своим комнатам и заснуть мёртвым сном.

На следующий день Киёаки проснулся оттого, что в доме по соседству лавочник кричал на своего помощника. Киёаки выглянул из окна своей комнаты в окно лавки и увидел, как рассерженный торговец ударил несчастного юношу по голове счётами так, что бусины, защёлкав, разъехались в разные стороны.

Гэнь вошёл к Киёаки и равнодушно наблюдал за происходящим по соседству.

— Пойдём, — сказал он. — Мне нужно сделать кое-какие дела, заодно покажу тебе город.

Они пошли на юг по широкой прибрежной улице, ведущей к заливу и проходящей через все его мелкие гавани и острова. В южной гавани было теснее, чем в той, что выходила на японский квартал, её залив казался частоколом мачт и дымоходов, а город за и над бухтой громоздился огромной массой трёх- и четырёхэтажных зданий, деревянных, с черепичными крышами, вжавшихся друг в друга в манере, со слов Гэня, свойственной китайским городам и доходившим впритык к линии прилива, а местами даже торчавшим непосредственно из воды. Этот утрамбованный массив зданий занимал всю оконечность полуострова, откуда улицы тянулись с востока на запад, от залива до океана, и с севера

на запад, пока не упирались в парки и бульвары высоко за Золотыми воротами. Пролив был затянут туманом, плывущим над жёлтым потоком воды, которая лилась в море; жёлто-коричневый шлейф был настолько обширен, что синева океана нигде даже не проглядывала. На океанской стороне мыса размещались длинные батареи городской обороны, бетонные крепости, которые, как сказал Гэнь, контролировали пролив и воды за его пределами в радиусе пятидесяти ли от берега.

Гэнь сидел на невысокой стене одного из бульваров с видом на пролив. Он махнул рукой на север, где виднелись сплошные улицы и крыши.

— Величайшая гавань на земле. Кто-то скажет, что и величайший на земле город.

— Город большой, это точно. Я не знал, что такие бывают…

— Говорят, сейчас тут миллион людей. И их всё больше и больше. Город просто продолжает достраиваться на севере, в глубине полуострова.

С другой стороны, за проливом, южный полуостров пропадал в болотистых топях и голых крутых холмах. Земля по сравнению с городом выглядела пустынной, и Киёаки сказал об этом. Гэнь пожал плечами:

— Там сплошные болота, и склоны слишком крутые, чтобы строить улицы. Думаю, они в конце концов и туда доберутся, но здесь лучше.

Острова, усеявшие залив, были отданы под резиденции имперских чиновников. На самом большом острове стоял особняк губернатора, крытый золотой крышей. Коричневую вспененную поверхность воды засыпали маленькие лодки, в основном парусники, но иногда моторные. Маленькие квадратные палубы плавучих домов жались вдоль островов. Киёаки радостно наблюдал за сценой.

— Может, и мне сюда переехать. Здесь должна быть работа.

— О да. Внизу, в доках, можно разгружать грузовые суда, в пансионе тебе дадут комнату — там тоже полно работы. И в мелочной лавке.

Киёаки вспомнил сегодняшнее утро.

— Из-за чего он так разозлился?

Гэнь нахмурился.

— Обстоятельства сложились не лучшим образом. Тагоми-сан хороший человек, он обычно не бьёт своих работников, поверь мне на слово. Но он на грани. Мы не можем заставить власти выдать запасы риса, чтобы накормить людей, застрявших в долине. Лавочник уже несколько

месяцев пытается этого добиться, а он занимает довольно высокое положение в здешней японской общине. Он считает, что там, на острове, — он махнул рукой, — китайские чиновники только и ждут, когда люди внутри континента станут умирать с голоду.

— Но это же безумие! Большинство из них — китайцы.

— Да, китайцев, конечно, много, но японцев ещё больше.

— В смысле?

Гэнь посмотрел на него.

— В центральной долине нас больше, чем китайцев. Сам подумай. Может быть, это не так очевидно, потому что только китайцам разрешено владеть землёй, и поэтому они хозяйничают на рисовых полях, особенно там, на востоке, откуда приехали вы. Но окраины долины занимают в основном японцы, а в предгорьях, прибрежном хребте — и подавно. Мы были здесь первыми, понимаешь? И вот начинается великий потоп, люди снимаются с насиженных мест, они затоплены, они голодают. И чиновники решают, что если, когда всё закончится и земля наконец просохнет (если это вообще произойдёт), большинство японцев и туземцев умрут от голода,

можно будет послать в долину новую волну иммигрантов и захватить её. И тогда долина будет заселена одними китайцами.

Киёаки не знал, что на это ответить. Гэнь с любопытством его разглядывал. Похоже, он остался доволен тем, что увидел.

— А Тагоми пытается помогать в частном порядке, и мы возим продовольствие вглубь материка на волнах потопа. Но всё идёт не слишком гладко, да и дорого обходится, и это доводит старика до белого каления. А достаётся за это его бедным работникам.

Гэнь посмеялся.

— Но вы спасли китайцев, застрявших на деревьях.

— Да, да. Это наша работа. Наш долг. Добро должно проистекать из добра, нет? Так говорит старуха, которая вас приютила. Но её, конечно, всегда оставляют с носом.

Они наблюдали за туманом, как языком облизавшим пролив. Дождевые тучи на горизонте были похожи на прибытие огромного флота кораблей-сокровищниц. Чёрная метла дождя уже прошлась по пустынному южному полуострову.

Гэнь дружески похлопал Киёаки по плечу.

— Пойдём, мне нужно купить ей кое-что в ма-

газине.

Он повёл Киёаки к трамвайной остановке, и они сели на подошедший трамвай, который шёл по западной стороне города, с видом на океан. Вверх по улицам и вниз, мимо тенистых жилых кварталов, минуя очередной административный район, высоко по склонам, выходящим на грязный океан, по широким эспланадам, обсаженным вишнёвыми деревьями, мимо очередной крепости. В холмах к северу от этих укреплений, как рассказал Гэнь, располагались многие из самых богатых особняков города. Они глазели на некоторые дома из окон трамвая, проскрипевшего мимо. С высоты крутых улиц они видели храмы на вершине горы Тамалпи. Спустились вниз, в долину, сошли с трамвая и пересели на другой, едущий на восток через весь полуостров, и обратно в японский квартал, с мешками продуктов с рынка для хозяйки пансиона.

Киёаки заглянул в женское крыло, проведать Пэн-Ти и её малышку. Она сидела на окне и держала на руках ребёнка с отрешённым и несчастным видом. Она не стала искать китайских родственников, не просила помощи у китайских властей (не то чтобы её можно было от них дождаться, но она, казалось, этим вовсе и не интересова-

лась). Она жила с японцами, будто скрываясь от кого-то, — но она не говорила на японском, на котором говорили здесь все, если только не додумывались обратиться к ней непосредственно на китайском.

— Пойдём гулять, — сказал он ей по-китайски. — Гэнь дал мне немного денег на трамвай, можем посмотреть Золотые ворота.

Она поколебалась, потом согласилась. Киёаки, только что освоивший здешний городской транспорт, повёл её на трамвайную остановку, и они поехали в парк с видом на пролив. Туман почти рассеялся; следующая стена грозовых туч ещё не пришла из-за горизонта, а город и залив мерцали мокрыми солнечными бликами. В море по-прежнему изливался бурый поток, клочья и пятна пены выдавали быстроту течения — должно быть, отлив. Все рисовые поля центральной долины были разорены и смыты в большой океан. Всё в глубине материка придётся отстраивать заново. Киёаки что-то сказал об этом, и вспышка гнева промелькнула на лице Пэн-Ти, но быстро исчезла.

— И хорошо, — сказала она. — Глаза бы мои не видели этого места.

Киёаки посмотрел на неё удивлённо. Ей нельзя

было дать больше шестнадцати лет. А как же её родители, её семья? Она молчала, а он был слишком вежлив, чтобы расспрашивать.

Так что они просто сидели и смотрели на залив в редкий солнечный день. Ребёнок заплакал, и Пэн-Ти стала потихоньку кормить его. Киёаки смотрел на её лицо, на стремительный прилив в Золотых воротах, думая о китайцах, их непримиримой бюрократии, их огромных городах, их господстве над Японией, Кореей, Минданао, Аочжоу, Иньчжоу и Инкой.

— Как зовут твоего ребёнка? — спросил Киёаки.

— Ху-Де, — сказала девушка. — Это означает…

— Бабочка, — подхватил Киёаки на японском. — Я знаю.

Он взмахнул рукой, а она улыбнулась и кивнула.

Облака снова закрыли солнце, и вскоре вокруг похолодало от морского бриза. Они сели в трамвай и поехали обратно в японский квартал.

В пансионе Пэн-Ти ушла в своё крыло, а поскольку мужское крыло пустовало, Киёаки пошёл в мелочную лавку по соседству, чтобы попытаться устроиться на работу. Лавка на первом этаже пустовала, но он услышал голоса наверху и под-

нялся по лестнице на второй этаж.

Здесь находились кабинеты счетоводов и служебные помещения. Большая дверь в кабинет лавочника была закрыта, но из-за неё доносились голоса. Киёаки приблизился и услышал разговор на японском языке:

— … не понимаю, как мы сможем скоординировать наши усилия, как сможем обеспечить, чтобы всё происходило сразу…

Дверь распахнулась, Киёаки схватили за загривок и втащили в комнату. На него уставились японцы, человек восемь или девять, которые сидели вокруг пожилого лысого иностранца, занявшего кресло почётного гостя.

— Кто его впустил? — взревел лавочник.

— Внизу никого нет, — сказал Киёаки. — Я просто искал кого-нибудь, чтобы спросить…

— Долго ты подслушивал? — Старик выглядел так, словно готов был или дать Киёаки подзатыльник счётами, или чего похуже. — Как ты посмел! Да за это тебя могут бросить в залив с булыжниками, привязанными к лодыжкам!

— Он один из тех ребят, которых мы вытащили из долины, — сказал Гэнь откуда-то из-за угла. — Я успел с ним познакомиться. Можно и завербовать его, раз уж он здесь. Я уже проверил

его. Всё равно у него нет других планов. Уверен, он нам пригодится.

Пока старик возмущённо фыркал, Гэнь встал и схватил Киёаки за ворот рубахи.

— Отправь кого-нибудь запереть входную дверь, — велел он одному молодому мужчине, и тот быстро вышел. Гэнь повернулся к Киёаки. — Послушай, юноша. Здесь мы занимаемся тем, что помогаем японцам, о чём я уже рассказывал тебе у ворот.

— Это здорово.

— Более того, мы работаем на освобождение японцев. Не только здесь, но и в самой Японии.

Киёаки сглотнул, и Гэнь встряхнул его.

— Да, именно, в самой Японии! Это война за независимость старой державы, здесь тоже война. Можешь вступить в наши ряды и прикоснуться к одному из величайших дел, которое только может выпасть японцу. Ты с нами или нет?

— С вами! — сказал Киёаки. — Конечно, с вами! Только скажи, чем я могу помочь!

— Можешь сесть и сидеть молча, — ответил Гэнь. — Это для начала. Впитывай, потом тебе расскажут больше.

Пожилой иностранец задал вопрос на своём

языке.

Другой мужчина ответил ему на том же языке, махнув на Киёаки рукой, а самому Киёаки сказал по-японски:

— Это доктор Исмаил, он приехал к нам из Траванкора, столицы Индийской Лиги. Он здесь, чтобы помочь нам организовать сопротивление китайцам. Если хочешь остаться на этом собрании, ты должен поклясться никогда и никому не рассказывать о том, что ты здесь увидишь и услышишь. Этим ты докажешь, что предан делу и не пойдёшь на попятный. Если мы узнаем, что ты кому-то проболтался, тебя убьют. Тебе всё понятно?

— Абсолютно, — сказал Киёаки. — Я в деле, как я и сказал. Вы можете продолжать и не бояться меня. Всю свою жизнь в долине я рабски вкалывал на китайцев.

Все мужчины в комнате уставились на него; только Гэнь усмехнулся тому, как юноша произнёс фразу «всю свою жизнь». Киёаки заметил это и густо покраснел. Но его слова были правдой независимо от количества прожитых лет. Он стиснул зубы и сел на пол в углу, у двери.

Мужчины возобновили разговор. Они задавали вопросы иностранцу, который наблюдал за ними

с птичьим отсутствующим выражением лица, теребя седые усы, пока переводчик не заговорил с ним на мелодичном языке, в котором, казалось, было недостаточно звуков, чтобы охватить все слова, но старик понимал его и отвечал на вопросы обстоятельно, тщательно подбирая слова, делая паузы через каждые несколько фраз, чтобы его слова перевели на японский. Он явно привык работать с переводчиком.

— Он говорит, что его страна в течение многих веков находилась под игом моголов, но в конце концов им удалось освободиться в ходе военной кампании, которую возглавил Керала. Использованные им стратегии были задокументированы, и этот опыт можно было перенять. Самого Кералу убили около двадцати лет назад. Доктор Исмаил говорит, что это была трагедия, которую невозможно описать словами, да вы и сами видите, что эта тема до сих пор причиняет ему боль. Единственное лекарство от этой боли — продолжать дело, начатое Кералой, как того хотел бы он сам. А он мечтал, чтобы всё население мира было свободно от гнёта всех империй. Траванкор и сам теперь является частью Индийской лиги, в которой есть свои разногласия, разногласия порой бурные, но, как правило, им удаётся

урегулировать свои внутренние конфликты на равных. Он говорит, что первая подобная лига сформировалась здесь, в Инчжоу, на востоке, в племенах ходеносауни. Фиранджи захватили большую часть восточного побережья Инчжоу, как мы — западного, и многие туземцы там умерли от болезней, как и у нас, но ходеносауни сумели отстоять территории вокруг Великих озёр, и траванкорцы помогали им бороться с мусульманами. Он говорит, в этом ключ к успеху: те, кто борется с великими империями, должны помогать друг другу. Он говорит, что их лига пришла на помощь и африканцам на юге — царю Мошешу из племени басуто. Доктор прибыл к ним лично и организовал помощь, которая позволила басуто защититься от мусульманских работорговцев, а также от племени зулусов. Без их помощи басуто, вероятно, не выжили бы.

— Спросите его, что он подразумевает под «помощью».

Иностранный доктор кивнул, когда ему перевели вопрос. Он отвечал, загибая пальцы.

— Он говорит, что, во-первых, они обучают системе, разработанной Кералой, для организации боевой силы и боевых армий, когда армии противника значительно превосходят числом.

Во-вторых, в отдельных случаях они помогают с оружием. Они могут переправить его нам контрабандой, если поверят в серьёзность наших намерений. И, в-третьих, крайне редко, но они могут присоединиться к борьбе, если сочтут, что это повлияет на исход событий.

— Они воевали с мусульманами, и китайцы воюют с мусульманами. С чего бы им помогать нам?

— Хороший вопрос, говорит он. Он говорит, дело в сохранении равновесия и противопоставлении двух великих держав друг другу. Китайцы и мусульмане воюют друг с другом повсюду, даже в самом Китае, где случаются мусульманские восстания. Но сейчас мусульмане Фиранджи и Азии раздроблены и слабы и без конца воюют друг с другом, даже здесь, в Инчжоу. А Китай тем временем продолжает откармливаться за счёт своих колоний здесь и вокруг всего Дахая. Даже при абсолютной коррумпированности и несостоятельности цинского бюрократического аппарата, китайские производства продолжают работать, а золото — литься рекой, отсюда и из Инки. И они, несмотря на свою несостоятельность, продолжают богатеть. Он говорит, на данном этапе траванкорцы заинтересованы в том, чтобы удер-

жать Китай от захвата всемирного господства.

Один из японцев фыркнул.

— Никто не может властвовать над всем миром, — сказал он. — Мир слишком велик.

Иностранец спросил, что было сказано, и переводчик перевёл ему. Услышав эти слова, доктор Исмаил поднял палец и ответил:

— Он говорит, что раньше это действительно было так, но теперь, с появлением пароходов, и ци-коммуникаций, и двигателей в несколько тысяч верблюжьих сил, и с развитием путешествий и морской торговли, вполне возможно, что одна сверхдержава сумеет воспользоваться этими преимуществами и разрастись ещё сильнее. Так сказать, умножение власти властью. Так что правильнее всего не позволять какой-то одной стране накопить достаточно сил, чтобы запустить этот процесс. Он говорит, в определённый момент казалось, что именно ислам должен захватить власть над миром, но потом Керала вошёл в сердцевину старых мусульманских империй и уничтожил их. Возможно, в подобном нуждается и Китай, и тогда империй не останется вовсе и народы будут вольны поступать, как им заблагорассудится, и объединяться в лиги с теми, кто им полезен.

— Но как поддерживать с ними контакт на другом конце света?

— Он согласен, что это нелегко. Но пароходы быстроходны. Всё решаемо. Они смогли организовать это и в Африке, и в Инке. Провести ци-провода между группами — не займёт много времени.

Они продолжали, вопросы становились всё более конкретными и детальными, и Киёаки совсем потерял нить разговора, так как не знал, где находятся многие из упомянутых мест: Басуто, Нсара, Семинол и другие. Наконец доктор Исмаил утомился, и встречу закончили чаепитием. Киёаки помог Гэню наполнить чашки и разнести их гостям, а потом Гэнь отвёл его вниз и открыл двери лавки.

— Ты чуть не довёл меня до беды, — сказал он Киёаки, — и себя тоже. Придётся много работать на нас, чтобы загладить свою вину передо мной.

— Извини… я буду работать. Спасибо, что помог мне.

— Ох уж это ядовитое чувство. Не нужно благодарности. Делай свою работу, а я буду делать свою.

— Я понял.

— Теперь старик возьмёт тебя к себе на работу

в лавку, и жить ты будешь по соседству. Он будет тебя колотить своими счётами, ты сам видел, но твоей главной работой будет доставлять сообщения и тому подобное. Если китайцы пронюхают о том, что мы замышляем, мало не покажется, предупреждаю. Это война, понимаешь? Пусть тайная, пусть по ночам, в переулках и на берегу залива, но война. Ты хорошо меня понял?

— Я понял.

Гэнь посмотрел на него.

— Поживём — увидим. Первым делом вернёмся в долину и передадим весть в предгорья моим товарищам. А потом обратно в город, продолжать работу здесь.

— Как скажешь.

Один из работников провёл для Киёаки экскурсию по лавке, которую он вскоре уже знал как свои пять пальцев. После этого он вернулся в пансион по соседству. Пэн-Ти помогала старухе резать овощи; Ху-Де грелась на солнышке в корзине для белья. Киёаки сидел рядом с малышкой, играя с ней пальцем и обдумывая ситуацию. Он наблюдал за Пэн-Ти, которая учила японские названия овощей. Ей тоже не хотелось возвращаться в долину. Старуха сносно говорила по-китайски, и женщины переговаривались

между собой, но ей Пэн-Ти рассказывала о своём прошлом не больше, чем Киёаки. На кухне было тепло. На улице опять пошёл дождь. Малышка улыбнулась ему, как будто успокаивая. Как будто обещая ему, что всё будет хорошо.

В следующий раз, когда они гуляли в парке у Золотых ворот, поглядывая на всё не стихающий коричневый поток, он присел на скамейку рядом с Пэн-Ти.

— Послушай, — сказал он, — я остаюсь здесь, в городе. Мне нужно вернуться в долину и отвезти шелкопрядов мадам Яо, но жить я буду здесь.

Она кивнула.

— Я тоже, — она обвела рукой залив. — А как же иначе.

Она взяла Ху-Де на руки, подняла её повыше над заливом и развернула лицом к четырём ветрам.

— Это твой новый дом, Ху-Де! Здесь ты вырастешь!

Ху-Де вытаращила глаза на открывшийся вид.

Киёаки рассмеялся.

— Да. Ей здесь понравится. Но послушай, Пэн-Ти… Я буду… — Он задумался, как бы получше выразиться. — Я буду работать на Японию. Понимаешь, о чём я?

— Нет.

— Я буду работать на Японию, против Китая.

— Вот оно что.

— Я буду работать против Китая.

Она стиснула зубы.

— Думаешь, меня это волнует? — процедила она.

Она посмотрела за залив, на Внутренние ворота, где коричневая вода разделяла зелёные холмы.

— Я рада, что выбралась оттуда, — она заглянула ему в глаза, и он почувствовал, как у него ёкнуло сердце. — Я помогу тебе.

4. Чёрные тучи

Поскольку крепнущая Китайская империя являлась по преимуществу морской, она снова вышла в лидеры мирового судоходства. Китайцы делали упор на грузоподъёмность, поэтому китайский флот раннего нового времени традиционно состоял из массивных и неповоротливых кораблей. Скорость в расчёт не бралась. Впоследствии это вызвало проблемы в морских спорах с индийцами и мусульманами из Африки, Средиземноморья и Фиранджи. В Средиземном и Исламском морях мусульмане строили корабли меньшего размера, но намного быстроходнее и проворнее своих китайских современников, и в нескольких решающих столкновениях 10-го и 11-го веков мусульманский флот победил более крупный китайский, удержав баланс сил и помешав цинскому Китаю достичь мировой гегемонии. Мусульманское каперство в Дахае стало главным источником дохода исламских правительств и причиной трений между исламистами и китайцами, послужив одним из многих факторов, ведущих к войне. И поскольку море в качестве торгового и военного пути значительно

превосходило сушу, преимущества мусульманских кораблей в скорости и манёвренности стали одной из причин, позволивших им бросить вызов китайской морской мощи.

Траванкорские разработки паровых двигателей и металлического судостроения вскоре переняли и две другие великие гегемонии Старого Света, но первенство в этих и других технологиях позволило Индийской лиге конкурировать и с более крупными соперниками по обе стороны границы.

Таким образом, 12-й и 13-й мусульманские века, или правление династии Цин по китайскому летоисчислению, стали периодом набирающей обороты борьбы трёх основных культур Старого Света за главенство и право пользоваться богатствами Нового Света, Аочжоу и внутренних регионов Старого Света, к настоящему времени уже полностью заселённых и разрабатываемых.

Проблема заключалась в том, что ставки становились слишком высоки. Две крупнейшие империи были одновременно самыми сильными и самыми слабыми. Династия Цин продолжала расширяться на юг, на север, в Новый Свет и развиваться в своих границах. В то же время исламский мир занимал колоссальную часть

Старого Света, а также восточные берега Нового. Восточное побережье Инчжоу принадлежало мусульманам, центр — лиге Племён, запад — китайским поселенцам, а траванкорцы контролировали новые торговые порты. Инка превратилась в поле битвы между китайцами, траванкорцами и мусульманами западной Африки.

Мир раскололся на две большие старые гегемонии, китайскую и исламскую, и две меньшие новые лиги, в Индии и Инчжоу. Морская торговля и завоевания китайцев постепенно устанавливали их главенство по всему Дахаю, в Аочжоу, на западных берегах Инчжоу и Инки; они также совершали морские набеги во многие другие места, становясь Срединным государством не только по названию, но и по факту: центром мира, уже благодаря одной их численности, не говоря о военно-морской силе. Больше того, они представляли угрозу для всех остальных народов на Земле, несмотря на многочисленные проблемы цинского государственного аппарата.

В то же время дар аль-ислам продолжал распространяться по всей Африке, восточным берегам Нового Света, по центральной Азии, включая Индию, откуда он никогда до конца и не исчезал, а также в юго-восточной Азии, и даже на изоли-

рованном западном побережье Аочжоу.

А посередине, образно говоря, зажатая в тисках этих двух экспансий, находилась Индия. Здесь правил бал Траванкор, хотя и Пенджаб, и Бенгалия, Раджастан и прочие штаты субконтинента активно и благополучно развивались как внутри страны, так и за рубежом, в смуте и конфликтах, вечно выясняя отношения между собой, зато независимые от императоров и халифов; и они, несмотря ни на какие треволнения, удерживали пальму научного первенства в мире, занимали торговые посты на каждом континенте, постоянно противостояли гегемонам, выступая союзниками всех, кто был против ислама, а часто и китайцев, с которыми они сохраняли сложные отношения, боясь их и нуждаясь в них одновременно. Но шли десятилетия, и старые мусульманские империи проявляли всё возрастающую агрессию в отношении востока, Трансоксианы и всей северной Азии в попытках подобраться к самому Китаю, в то же время рассчитывая, что Гималаи и непроходимые бирманские джунгли уберегут их от гигантского зонта китайского господства.

Так что индийские штаты регулярно вступали в союз с Китаем, в надежде на помощь в борьбе

с их древним врагом — мусульманами. И когда мусульмане и китайцы наконец развязали полноценную войну, сначала в Центральной Азии, а затем и во всём мире, Траванкор и Индийская лига оказались в неё втянуты, и начался очередной жестокий и смертельный бой мусульман против индусов.

Это произошло в 21-м году правления Гуансюя, последнего императора династии Цин, когда одновременно взбунтовались все южнокитайские мусульманские анклавы. На юг страны отправили маньчжурские полки, и за несколько следующих лет (плюс-минус) восстание было подавлено. Но, видимо, они выполнили свою работу даже слишком хорошо, потому что недовольство мусульман Западного Китая, много поколений находившихся под властью цинской армии, перелилось через край, когда были уничтожены их единоверцы на востоке, и вопрос встал ребром: джихад или смерть. И они подняли восстание в бескрайних пустынях и горах Центральной Азии, и коричневые города в их зелёных долинах очень скоро окрасились алым.

Прогнившее, но глубоко укоренившееся в стране и сказочно богатое цинское правительство сделало ответный ход против мусульманских мя-

тежей, начав новую завоевательную кампанию на западе Азии. Поначалу всё шло успешно, так как в покинутом сердце мира не было сильного государства, способного им противостоять. Но в итоге это привело к джихаду со стороны обороняющихся мусульман Западной Азии, которую на тот момент не могло бы объединить ничто, кроме угрозы китайского завоевания.

Эта непреднамеренная консолидация ислама стала невероятным достижением. Войны между остатками Сефевидской и Османской империй, шиитами и суннитами, суфиями и ваххабитами, Фиранджой и Магрибом велись непрерывно на протяжении всего периода становления государственных границ, и даже когда они были более или менее закреплены, за исключением отдельных очагов, где борьба ещё продолжалась, они изначально были не в состоянии ответить на угрозу со стороны Китая как единая цивилизация.

Но когда возникла угроза китайской экспансии по всей Азии, расколотые исламские государства объединились и оказали сопротивление как единый фронт. Столкновение, почва для которого готовилась веками, должно было наконец произойти: каждую из обеих старых цивилизаций

могла постичь как глобальная гегемония, так и полная аннигиляция. Ставки взлетели до небес.

Индийская лига поначалу пыталась сохранять нейтралитет, как и лига ходеносауни. Но они оказались втянуты в войну, когда исламские захватчики вторглись в северную Индию, как вторгались уже много раз прежде, и завоевали всё к югу от Декана, через Бенгалию и вплоть до самой Бирмы. Параллельно мусульманские армии начали завоевание Инчжоу с востока на запад, атакуя и ходеносауни, и китайцев на западе. Весь мир разом погрузился в царство раздора.

И началась Долгая Война.

Книга восьмая. Война асур



— Китай несокрушим, нас просто слишком много. Пожар, наводнение, голод, война — так санитары леса подрезают ветви на дереве, чтобы дать толчок новой жизни, и дерево продолжает расти.

Майор Куо чувствовал воодушевление. Был

рассвет, китайский час. Ранний свет озарял мусульманские аванпосты и слепил им глаза, так что они не замечали снайперов, и сами плохо видели цель. Их часом был закат. Призыв к молитве, снайперский огонь, иногда — дождь артиллерийских снарядов. На закате лучше всего оставаться в траншеях или в пещерах под ними.

Но теперь солнце было на их стороне. Небо морозно-голубое, люди потирают руки в перчатках, чай и сигареты, раскатистый грохот пушек на севере. Грохочет уже две недели. Готовится очередное крупное наступление, возможно даже прорыв, о котором говорили столько лет (столько, что это стало присказкой для обозначения чего-то, что никогда не произойдёт: «когда наступит прорыв» как «когда рак на горе свистнет», что-то в этом духе). Так что, возможно и нет.

То, что они видели вокруг, не давало никакой подсказки. Из глубины Ганьсуйского коридора не было видно ни огромных гор на юге, ни бескрайних пустынь на севере. Всё тут было как в степи — или, во всяком случае, до войны. Теперь во всю ширину перевала, от гор до пустыни, и на всю его протяжённость, от Нинся до Цзяюйгуаня, земля была изодрана в клочья. Траншеи переносились с места на место, вперёд-назад, *ли* за *ли*,

уже более шестидесяти лет. За это время здесь не осталось травинки и клочка земли, которые бы ни разу не взлетели на воздух. Осталось некое подобие беспорядочного чёрного океана в кольце горных хребтов и кратеров. Как будто кто-то пытался воспроизвести в грязи поверхность Луны. Каждую весну сорняки предпринимали смелые попытки вернуться — и терпели неудачу. Рядом с этим самым местом когда-то стоял город Ганьчжоу, параллельно реке Джо, — теперь не осталось никаких следов ни того, ни другого. Земля превратилась в коренную породу. Ганьчжоу был домом процветающей китайско-мусульманской культуры, и пустошь, простёртая перед ними в утреннем зареве, стала идеальным символом Долгой Войны.

Позади раздался грохот больших орудий. Снаряды из новейшего оружия были запущены в космос и сброшены в двухстах ли от них. Солнце поднялось выше. Они отступили в подземное царство чернозёма и сырых досок, которое служило им домом. Траншеи, туннели, пещеры. Во многих пещерах стояли будды, обычно в решительной позе, с рукой, протянутой вперёд, как у постового. Вода плескалась на дне самых низких траншей после ночного сильного дождя.

Внизу, в пещере связи, телеграфист получил приказ. Общее наступление начнётся через два дня. Нападение произойдёт вдоль всего коридора. Попытка выйти из тупика, как казалось Ивао. Пробка, выбитая из горлышка. В степь и на запад — ату! Конечно, находиться в главной точке прорыва было хуже всего, отметил он, но лишь с обычным, чисто академическим интересом. Когда ты на фронте, хуже уже не может быть в принципе. Это всё равно что вычислять степени абсолюта, ибо они уже в аду, уже покойники, о чём майор Куо напоминал им при каждом тосте ракши: «Мы покойники! Выпьем за госпожу Смерть!»

Так что теперь Бай и Куо просто кивнули: худшее место, да, туда их всегда и посылали, там они и провели последние пять лет или, если смотреть в более широкой временной перспективе, всю жизнь. Допивая чай, Ивао сказал:

— Это будет очень интересно.

Он любил читать телеграммы и газеты и пытаться понять из них, что происходит.

— Вот послушайте, — говорил он, лёжа на койке и листая бумаги. — Мусульмане изгнаны из Инчжоу. Кампания заняла двадцать лет.

Или:

— Большая битва на море, двести кораблей потоплено! Только двадцать из них наши, но, надо признать, у нас они больше. Северный Дахай, температура воды — ноль градусов (ой как холодно; здорово, что я не моряк!).

Он вёл записи и рисовал карты; он хорошо разбирался в войне. Появление радиоприёмника очень его обрадовало, и он провёл несколько часов в пещере связи, разговаривая с другими энтузиастами по всему земному шару.

— Вот так скачок сегодня в ци-сфере, я поймал волну парня из Южной Африки! Новости, однако, плохие, — он сделал пометку в своей карте. — Мусульмане заняли Сахель и принудительно призвали всех западноафриканцев на военную службу как своих рабов.

Он считал голоса, доносящиеся из темноты, сомнительными информаторами, но не более сомнительными, чем официальные донесения из штаба, которые в основном состояли из пропаганды и *лжи*, предназначенной для обмана вражеских шпионов.

— Только послушайте, — усмехался он с койки, читая. — Тут пишут, что они берут всех евреев, зоттов, христиан и армян в плен и убивают их. Ставят на них опыты… переливают кровь мулов,

чтобы посмотреть, как долго они проживут… Кто всё это придумывает?

— Может, это и правда, — предположил Куо. — Почему бы не убить нежелательные элементы, тех, кто может предать их на внутреннем фронте…

Ивао перевернул страницу.

— Вряд ли. К чему такие сложности?

Теперь он говорил по радиосвязи, пытаясь узнать побольше о предстоящем нападении. Но не нужно было быть знатоком войны, чтобы понимать, что значат разговоры о прорыве. Все они участвовали в прошлых попытках, и то, что они оттуда вынесли, испортило им настроение на весь остаток дня. За три года фронт продвинулся на десять ли, да ещё на восток. Три последовательные кампании Рамадана, стоившие мусульманам огромных потерь, по миллиону человек за поход, подсчитал Ивао, и теперь они сражались против мальчишек и женских батальонов, как и китайцы. Так много погибло за последние три года, что выжившие были подобны Восьми Бессмертным, вошедшим в состояние день за днём выживающих на огромном расстоянии от мира, о котором они только слышали, который они видели, только глядя в перевёрнутый телескоп.

Чай в чашке стал для них всем. Очередной общий штурм, массы людей, идущих на запад, в грязь, колючая проволока, пулемёты, артиллерийские снаряды, падающие из космоса: пусть будет, что будет. Они пили чай. У чая был горький вкус.

Бай был готов покончить со всем. Он утратил страсть к этой жизни. Куо был зол на Четвёртое собрание военных талантов, отдавшее приказ о штурме во время короткого сезона дождей.

— Конечно, чего можно ожидать от органа, именуемого Четвёртым собранием военных талантов!

Это было не совсем справедливо, как показали доводы самого Куо: Первое собрание состояло из стариков, пытавшихся сражаться в предыдущей войне; Второе собрание — из чересчур амбициозных карьеристов, готовых использовать людей вместо пуль; Третье собрание представляло собой неудачную смесь осторожничающих капралов и отчаянных идиотов; а Четвёртое пришло только после переворота, который сверг династию Цин и заменил её военным правительством, — так что в принципе ещё возможно, что Четвёртое собрание было лучше предыдущих и сможет наконец что-то исправить. Однако результаты, получаемые до сих пор, не подтвердили эту идею.

Ивао казалось, что они уже слишком много раз обсуждали этот вопрос, и потому он ограничился замечаниями о качестве риса, сваренного на вечер. Когда рис был готов, они поужинали и пошли сообщить своим солдатам: готовиться. Отряды Бая состояли в основном из новобранцев из провинции Сычуань, включая три женских отряда, которые держали окопы с четвёртого по шестой (счастливицы). Когда Бай был молод, и единственными женщинами, которых он знал, были женщины из борделей Ланьчжоу, он чувствовал себя неуютно в их присутствии, как будто имел дело с представителями другого вида, измождёнными существами, которые смотрели на него как из-за зияющей между ними пропасти, глядя, как ему казалось, настороженно и обвиняюще, как будто думали про себя: «Вы — глупцы, вы разрушили весь мир». Теперь, в окопах, они были такими же солдатами, как и все остальные, с той лишь разницей, что иногда их присутствие позволяло Баю осознать реальный масштаб трагедии: теперь в целом мире не осталось никого, чтобы их упрекать.

В тот вечер три офицера собрались вместе для непродолжительного визита к генералу части, новому светилу Четвёртого собрания, человеку,

которого они никогда прежде не видели. Они стояли по стойке смирно, пока он отрывисто говорил, подчёркивая важность завтрашнего нападения.

— Мы создаём диверсию, — сказал Куо, когда генерал Шэнь сел в свой личный поезд и направился обратно в центр страны. — В наших рядах — шпионы, и он хочет провести их. Если бы это был настоящий пункт атаки, к нам прикрепили бы ещё миллион солдат, а вы слышите, поезда идут по своему обычному расписанию.

На самом деле, дополнительные поезда пустили — так сказал Ивао. Сюда забросили тысячи новобранцев, которым негде было укрыться: они просто не смогут здесь долго продержаться.

В ту ночь шёл дождь. Флотилии мусульманских флаеров гудели над головой, сбрасывая бомбы, которые выводили из строя железнодорожные пути. Ремонт начинался сразу же после окончания рейда. Дуговые лампы освещали ночь ярким серебром с белыми прожилками, делая её похожей на испорченный негатив, и в этом химическом сиянии люди с кирками, лопатами, молотками и тачками сновали повсюду, как после любой большой катастрофы, только в ускорении, как на киноплёнке. Поезда перестали приходить,

и к рассвету подкреплений было не так уж много. Не хватало и боеприпасов для атаки.

— Им всё равно, — вынес вердикт Куо.

План состоял в том, чтобы сначала выпустить отравляющий газ, который настигнет их по склону внизу, гонимый ежедневным утренним восточным ветром. В первую же вахту пришла телеграмма от генерала: приступайте к атаке.

Однако сегодня утреннего ветра не было. Куо телеграфировал эту новость на четвёртый командный пункт сборки в тридцати ли по коридору, прося дальнейших распоряжений. Вскоре он их получил: приступайте к запланированной атаке. Газ.

— Нас всех убьют, — пообещал Куо.

Они надели маски, повернули клапаны на стальных баллонах, выпуская газ. Тот вырвался и пополз, тяжёлый, почти вязкий, ядовито-жёлтого цвета, утекая вперёд и вниз по небольшому склону, где лежал мёртвой зоной, закрывая обзор. И всё бы ничего, но его воздействие на тех, кому достались дефектные противогазы, будет катастрофическим. Без сомнения, мусульманам открылось ужасное зрелище — жёлтый туман, тяжело плывущий к ним, из которого затем выходят стена за стеной насекомоподобные монстры,

стреляющие из ружей и пусковых установок. Тем не менее они вцепились в свои пулемёты и выпускали в них очередь за очередью.

Бай быстро погрузился в выполнение задания, прыгая от кратера к кратеру, используя насыпи земли и мёртвые тела в качестве щита и призывая солдат, укрывшихся в ямах, продолжать движение.

— Газ осаживается. Будет безопаснее, если вы вылезете из этих нор прямо сейчас. Мы должны прорваться через их линию обороны и остановить пулемётчиков.

И так далее, сквозь оглушительный грохот, который означал, что никто из них его не слышал.

Порыв обычного ровного утреннего ветерка согнал газовое облако над пустошью к мусульманским кордонам, и пулемётного огня стало меньше. Атака набирала скорость, повсюду у колючей проволоки суетились резчики, люди пробирались внутрь. И вот они оказались в мусульманских траншеях и направляли большие иранские пулемёты на отступающего врага, пока не иссякли боеприпасы.

И если бы у них было реальное подкрепление, то в этом моменте могло бы проклюнуться что-то интересное. Но из-за того, что поезда застряли в

пятидесяти ли за линией фронта, а ветер опять погнал газ обратно на восток, мусульманские большие пушки открыли огонь уже по их линии наступления, и позиция прорыва стала невыносимой. Бай направил свой взвод в мусульманские туннели — держать оборону. День прошёл в суете криков, портативных телеграмм и радиосвязи. Куо крикнул ему, когда наконец пришёл приказ отступать; они собрали оставшихся в живых и двинулись назад по отравленной, разбитой, усеянной трупами земле, которая стала трофеем этого дня. Через час после наступления темноты они вернулись в окопы — и их было в два с лишним раза меньше, чем утром.

Далеко за полночь офицеры собрались в своей маленькой пещере, разожгли печь и варили рис, каждый в ловушке персонального рёва в ушах; они едва могли слышать друг друга. Так будет продолжаться ещё день или два. Куо всё ещё кипел от негодования, и не нужно было слышать его слов, чтобы видеть это. Он, казалось, пытался решить, следует ли ему перераспределить Пять Великих Ошибок кампании Ганьсу и отбросить наименьшую из предыдущих, или переименовать список в Шесть Великих Ошибок. Вот уж поистине собрание талантов, кричал он,

держа горшок с рисом над горячими углями их маленькой печки, и его голые почерневшие руки дрожали. Кучка чёртовых дегенератов. Над их землянкой с пыхтением и лязгом проносились поезда первой помощи. В ушах звенело. Слишком много всего произошло, чтобы о чём-то говорить. Они ели под тишину рёва в ушах. Бая некстати начало рвать, и он не мог отдышаться. Пришлось смириться, когда его отнесли в один из госпитальных поездов. Он остался с кучей раненых, надышавшихся газа, умирающих людей. Весь следующий день ушёл на то, чтобы отъехать на двадцать ли на восток, и ещё один день он провёл в ожидании перегруженных медицинских бригад. Бай чуть не умер от жажды, но его выручила девушка в маске, подносившая по глотку воду, пока врач ставил ему диагноз — газовый ожог лёгких — и втыкал иголки в шею и лицо, после чего Баю стало гораздо легче дышать. Это придало ему сил выпить ещё воды, потом съесть немного риса, а потом уговорить врачей выпустить его из лазарета, прежде чем он умрёт там от голода или чужой инфекции. Он вернулся на передовую в конце кузова попутной повозки, запряжённой мулом. Уже ночью он проходил мимо широкой артиллерийской батареи, и жуткий вид огром-

ных чёрных мортир и пушек, направленных в ночное небо, и крошечных фигурок, снующих под дуговыми лампами, заряжая пушки и прижимая руки к ушам (Бай тоже так сделал) в ожидании залпа, снова навёл его на мысль, что все они оказались в следующем мире и ввязались в войну асур, титаническое противостояние, в котором людей что муравьёв давило под колёсами сверхчеловеческих машин асур.

В пещере Куо посмеялся над Баем за то, что он так быстро вернулся («Ты как ручная обезьянка, от тебя не избавиться»), но Бай лишь сказал с облегчением: «Здесь безопаснее, чем в больнице», — и Куо снова рассмеялся. Ивао вернулся из пещеры связи с новостями: похоже, их нападение действительно послужило отвлекающим манёвром, как и сказал Куо. Воронка Ганьсу была пробита, чтобы занять мусульманскую армию, в то время как японские войска выполнили наконец своё обещание помочь, данное в обмен на свободу, которая в любом случае уже была получена, но могла быть оспорена, и японцы, ещё не истощённые войной, нанесли сильный удар по северному фронту, прорвали линию обороны, и стая обезумевших ронинов начала большое кровавое наступление, словно шутя продвигаясь

на запад и на юг. Оставалось надеяться, что они прорвут и мусульманскую оборону и отступят из Ганьсу, оставив разбитых китайцев в покое на поле боя.

Ивао сказал:

— Думаю, у японцев нежелание, чтобы ислам завоевал мировое господство, пересилило ненависть к нам.

— Они умыкнут у нас Корею и Маньчжурию, — предсказал Куо. — И ни за что не вернут. Их и ещё парочку портовых городов. Теперь, когда мы обескровлены, они могут вить из нас верёвки.

— И пускай, — сказал Бай. — Пусть забирают хоть Пекин, если захотят, лишь бы это положило конец войне.

Куо взглянул на него.

— Я и не знаю, чьё господство было бы хуже, мусульман или японцев. Японцы те ещё крепкие орешки и точат на нас зуб. А уже после того как Эдо землетрясением сровняло с землёй, они вообще возомнили, что на их стороне боги. Они уже истребили всех китайцев в Японии.

— Нет, мы не перейдём в услужение ни к одной из сторон, — сказал Бай. — Китай несокрушим, забыл?

Предыдущие дни едва ли говорили в пользу

этой присказки.

— Разве что самими китайцами, — отозвался Куо, — китайскими талантами.

— На этот раз они, возможно, развернули северный фланг, — заметил Ивао. — Это было бы уже кое-что.

— Это было бы началом конца, — сказал Бай и закашлялся.

Куо рассмеялся:

— Мы тут как между молотом и наковальней.

Он подошёл к запертому шкафу, вделанному в глинобитную стену пещеры, отпер его, достал кувшин ракши и сделал глоток. Он выпивал по кувшину крепкого спиртного напитка каждый день, когда запасы позволяли, с первой и до последней секунды бодрствования.

— За Десятый Великий Успех! Или уже Одиннадцатый? И мы пережили их все. — На какое-то мгновение он вышел за рамки обычной предосторожности — не говорить о таких вещах. — И их пережили, и Шесть Великих Ошибок, и Три Невероятных Провала, и Девять Величайших Неудач. Чудо! Верно, голодные призраки раскрыли над нами большие зонты, братья мои.

Бай беспокойно кивнул; он не любил говорить о таких вещах. Он старался слушать только рёв в

ушах. Старался забыть всё, что видел за последние три дня.

— Как же мы так долго выживали? — опрометчиво спросил Куо. — Все те, с кем мы начинали, давно мертвы. Но нет, мы втроём пережили уже пять или шесть офицерских смен. Как давно это началось? Пять лет назад? Как это возможно?

— Я Пэн-цзу, — сказал Ивао. — Я несчастный бессмертный, меня никогда не убьют. Я могу нырнуть прямо в облако газа, и это не сработает.

Он скорбно оторвался от риса. Даже Куо был напуган.

— У тебя будут ещё возможности, ты не волнуйся. Не думаю, что война закончится в ближайшее время. Может, японцы и возьмут север, потому что север никому не сдался. А вот когда они попытаются выйти из тайги в степи, вот тогда станет интересно. Не думаю, что они смогут кардинально переиграть ситуацию. Вот если бы прорыв произошёл на юге, это имело бы намного большее значение. Нам нужно наладить контакт с Индией.

Ивао покачал головой.

— Этого не случится.

Вот такие рассуждения были больше на него похожи, и товарищи попросили его объяснить

подробнее. Для китайцев южный фронт состоял из великой стены Гималаев и Памира, а также джунглей Аннама, Бирмы, Бенгалии и Ассама. Перевалов, к которым можно было хотя бы мечтать подступиться, в горах было по пальцам перечесть, и их оборона стояла насмерть. Что же касается джунглей, то единственный путь через них представляли реки, но они были слишком открыты. Так что укрепления их южного фронта были ландшафтными и неподвижными, что с тем же успехом можно было сказать и о мусульманах по другую сторону фронта. А индийцы между тем были зажаты под Деканом. Единственный путь для них лежал через степи, но там сосредоточились армии обоих соперников. Тупик.

— Когда-нибудь это должно закончиться, — заметил Бай. — Иначе это не закончится никогда.

Куо выплюнул полный рот ракши в приступе смеха.

— Очень глубокая мысль, друг Бай! Но в этой войне нет логики. Это конец, которому нет конца. Мы проживём жизнь на этой войне, и следующее поколение проживёт свою, и так будет до тех пор, пока все не умрут и мир не начнётся заново — или сам не начнётся, как карта ляжет.

— Нет, — мягко возразил Ивао. — Так долго ни-

что не может продолжаться. Конец наступит, но где-нибудь в другом месте, вот и всё. Бои на море, или в Африке, или в Инчжоу. Прорыв произойдёт где-то ещё, и наш регион останется просто… эпизодом Долгой Войны, какой-то аномалией. Фронт, который никак не мог сдвинуться с места. Застывший момент Долгой Войны в самом застывшем своём виде. Нашу историю будут рассказывать вечно, потому что ничего подобного никогда больше не повторится.

— Какое утешение, — сказал Куо, — понимать, что мы в худшем положении, в котором может оказаться солдат!

— Мы хотя бы можем стать кем-то, — сказал Ивао.

— Вот именно! Это отличает нас! Это большая честь, если подумать.

Бай предпочёл не думать. От взрыва наверху на них посыпалась земля с потолка. Они засуетились, накрывая чашки и тарелки.

Прошло ещё несколько дней, и они вернулись к обычной рутине. Если японцы всё ещё рвались на север, то здесь ежедневные снайперские обстрелы и пулемётные очереди со стороны мусульман были такими же, как всегда, будто Шестой Великой Ошибки, в которой они потеряли порядка

пятидесяти тысяч мужчин и женщин, никогда не случалось.

Вскоре после этого мусульмане тоже начали использовать отравляющий газ, не только рассеивая его по мёртвой зоне с попутным ветром, как это делали китайцы, но и заправляя им взрывчатые снаряды, которые прилетали к ним с громким свистом, разметая повсюду обычную шрапнель (состоявшую теперь из любых режущих предметов, так как у них тоже заканчивался металл и они собирали палки, кошачьи кости, копыта и даже вставные зубы), но теперь вместе со шрапнелью снаряды выпускали и жёлтую струю газа — очевидно, не чистого иприта, а с примесью различных ядов и едких веществ, из-за чего китайцы теперь всегда держали при себе противогаз, капюшон и перчатки. В одежде или без, но, когда один из этих снарядов разрывался, было трудно не обжечь запястья, лодыжки и шею.

Другим неудобством было то, что снаряды эти были огромными, и большущие пушки запускали их так высоко, что они падали с неба быстрее скорости звука, и это всегда происходило без малейшего предупреждения. Эти снаряды были крупнее человека и выше ростом, явно рассчитанные плотно вонзиться в землю, а затем

произвести колоссальный взрыв, от которого часто умирало в разы больше народа в траншеях, туннелях и пещерах, чем после обычных взрывов. Осколки этих снарядов выкапывали и извлекали очень осторожно, и каждый вывозили в отдельном вагоне. Взрывчатка, использованная в них, была нового типа, похожая на рыбную пасту, и пахла жасмином.

Однажды вечером, после наступления сумерек, они встали в круг, пили ракши и обсуждали новости, которые Ивао получил из пещеры связи. Южная армия была наказана за провалы на своём фронте, и каждому командиру отделения предписывалось отправить один процент своей команды в штаб, где те будут казнены в назидание оставшимся.

— Какая славная мысль! — воскликнул Куо. — Я точно знаю, кого бы послал я.

Ивао покачал головой.

— Лотерея стала бы лучшим примером товарищества.

Куо усмехнулся:

— Товарищество. Нет бы воспользоваться случаем и избавиться от симулянтов, раз дают такую возможность, пока они не пристрелили тебя однажды ночью из-за спины.

— Чудовищная идея, — сказал Бай. — Они китайцы, как мы можем убивать китайцев, когда они не сделали ничего плохого? Какой абсурд. Четвёртое собрание военных талантов совсем ум потеряло.

— Во-первых, нельзя потерять то, чего нет, — сказал Куо. — За последние сорок лет на Земле не осталось людей в здравом уме.

Внезапно их сбило с ног сильной волной воздуха. Бай с трудом поднялся на ноги и столкнулся с Ивао, который был в таком же положении. Бай оглох. Куо нигде не было видно, он просто исчез, а на том месте, где он только что стоял, зияла огромная яма, идеально круглая, около двенадцати футов шириной и тридцати футов глубиной, из которой торчал хвост гигантской мусульманской боеголовки. Ещё одна не разорвалась.

На земле рядом с ямой лежала кисть правой руки, как белый тростниковый паук.

— О, чёрт, — пробормотал Ивао сквозь рёв в ушах. — Мы потеряли Куо.

Мусульманская боеголовка упала прямо на него. Ивао скажет потом, что, возможно, его тело каким-то образом и удержало снаряд от взрыва. Она вдавила его в землю, как червяка. Осталась только его бедная рука.

Бай уставился на руку, слишком ошеломлённый, чтобы пошевелиться. Смех Куо, казалось, всё ещё звенел у него в ушах. Куо точно рассмеялся бы, если бы увидел, как всё повернулось. В руке безошибочно узнавалась кисть Куо, и Бай обнаружил, что успел близко узнать её, до сих пор даже не осознавая этого, ведь так много часов они провели вместе в их маленькой землянке, пока Куо держал горшок с рисом или чайник над печкой или протягивал ему чашку чая или ракши, и его рука, как и всё остальное в нём, была частью жизни Бая, мозолистая и покрытая шрамами, с чистой ладонью и грязной тыльной стороной, она всё ещё была похожа на самого Куо, хотя его уже не было рядом. Бай снова опустился в грязь.

Ивао осторожно поднял оторванную кисть, и они провели с ней ту же прощальную церемонию, что проводили с более сохранными трупами, после чего отнесли её в один из поездов смерти для захоронения в крематории. Потом они выпили оставшийся ракши Куо. Бай молчал, и Ивао не пытался его разговорить. Руки Бая дрожали от привычной траншейной усталости. Что случилось с их волшебным зонтом? Что теперь делать без саркастичного смеха Куо, который защищал от смертельных миазмов?

Затем мусульмане перешли в наступление, и китайцы целую неделю были заняты обороной своих позиций, жили в противогазах, спускали карабин за карабином на призрачных феллахов и убийц, возникающих из жёлтого тумана. Лёгкие Бая снова ненадолго сдали, его пришлось эвакуировать; но в конце недели они с Ивао оказались в том же окопе, откуда начали, с новым отрядом, почти полностью состоящим из новобранцев из Аочжоу (родины черепахи, которая несёт на себе мир), зелёных южан, брошенных в бой, как запас пулемётных патронов. Они были так заняты, что казалось, с момента происшествия с боеголовкой прошло уже много времени.

— Когда-то у меня был брат по имени Куо, — объяснил Бай Ивао.

Ивао кивнул и похлопал Бая по плечу.

— Пойди глянь, не пришёл ли новый приказ.

Его лицо было чёрным от кордита[44], чистыми оставались только рот и нос, где раньше была надета маска, и белые дорожки от слёз под глазами. Он был похож на марионетку в пьесе, где его лицо было маской страдающего асуры. Он провёл у пулемёта более сорока часов подряд, и за это

---

[44] Примечания: 44

Один из видов нитроглицеринового бездымного пороха (*прим. ред.*).

время убил около трёх тысяч человек. Его глаза невидяще смотрели сквозь Бая, сквозь мир.

Бай, пошатываясь, побрёл по туннелю к пещере связи. Он нырнул в землянку и рухнул на стул, пытаясь отдышаться, но чувствуя, что продолжает падать, падать сквозь пол, сквозь землю, на воздушную подушку небытия. Скрип заставил его подняться на ноги; он оглянулся, чтобы посмотреть на того, кто уже занял место у радиоприёмника.

Это был Куо. Он сидел и улыбался Баю.

Бай выпрямился.

— Куо! — воскликнул он. — Мы думали, ты умер!

Куо кивнул.

— Я и умер, — сказал он. — И вы тоже.

Его правая рука была на своём месте, продолжая запястье.

— Снаряд взорвался, — сказал он, — и убил нас всех. С тех пор вы в бардо. Мы. А вы всё притворяетесь, что вас там ещё нет. Хотя не могу себе представить, зачем ты так цепляешься за этот адский мир, в котором мы жили. Ты чертовски упрям, Бай. Тебе нужно увидеть, что ты находишься в бардо, чтобы понять, что с тобой происходит. В конце концов, главное — это война

в бардо. Битва за наши души.

Бай попытался сказать «да», потом «нет», а потом обнаружил, что лежит на полу пещеры, очевидно, упав со стула, что его и разбудило. Куо исчез, его стул был пуст. Бай застонал.

— Куо! Вернись!

Но комната оставалась пустой.

Позже, когда Бай дрожащим голосом рассказал Ивао о случившемся, тибетец бросил на него острый взгляд и пожал плечами.

— Возможно, он был прав, — сказал он, указывая вокруг. — А чем тут докажешь его неправоту?

Новый штурм, а потом внезапно им приказали отступать, дойти до задних линий и там сесть на поезда. На станции ожидаемо царил хаос, но люди, направив на них ружья, рассаживали их по вагонам, как скот, и поезда с визгом и лязгом отъезжали.

Ивао и Бай сидели в конце вагона, направляясь на юг. Время от времени они пользовались привилегиями офицерского чина и выходили на межвагонную сцепку, чтобы выкурить сигарету и полюбоваться нависшим над головой стальным небом. Они поднимались всё выше и выше, становилось всё холоднее и холоднее. Разреженный воздух обжигал лёгкие Бая.

Он сказал, указывая на проносящиеся мимо скалы и лёд:

— Может быть, это и есть бардо.

— Это просто Тибет, — ответил Ивао.

Но Бай прекрасно видел, что это место ещё более пустынно. Перистые облака серпами висли прямо над головой, как декорации, небо было чёрным и плоским. Это ни капельки не походило на реальность.

Но в каком бы царстве они ни были, в Тибете или бардо, в жизни или вне её, война продолжалась. Ночью крылатые ревущие летуны облегчённого типа жужжали над головами и сбрасывали на них бомбы. Прожекторы дуговых ламп пронзали темноту, пригвождая летунов к звёздам, и иногда те взрывались в брызгах падающего огня. Образы из сновидений Бая валились прямо с неба. Чёрный снег сверкал в белом свете низкого солнца.

Они остановились перед высоченным горным хребтом, очередной декорацией из театра грёз. Проход был настолько глубоким, что на таком расстоянии казалось, будто он ныряет под серое плато степи. Это ущелье и было их целью. Теперь их задача состояла в том, чтобы прорвать оборону и пройти на юг через этот проход, спустившись

куда-то на уровень ниже этой вселенной. Предположительно, проход вёл в Индию, врата в нижний мир. И конечно же, врата эти были прекрасно защищены.

Защищавшие его «мусульмане» всегда оставались невидимыми за огромной снежной массой гранитных вершин, превосходящих любые горы на земле, горы асур и большие пушки, наведенные на них, пушки асур. Никогда ещё Баю не было так очевидно, что они втянуты в какую-то великую войну, где миллионы гибнут по какой-то не своей причине. Лёд и чёрные каменные клыки впивались в потолок звёзд, снежные знамёна струились по вершинам на муссонном ветру и сливались с Млечным Путём, становясь на закате пожаром асур, разгоравшимся горизонтально, как будто царство асур стояло перпендикулярно их собственному (возможно поэтому их жалкие кукольные сражения всегда шли так безнадёжно вкось). Большие мусульманские пушки стояли на южной стороне полигона, они их даже не слышали. Снаряды свистели меж звёзд, оставляя белые хвосты морозных узоров на чёрном небе. Большинство снарядов падало на гигантскую белую гору к востоку от большого перевала, окатывая её один за другим оглушительными взрывами,

словно мусульмане сошли с ума и объявили войну камням земли.

— За что они так невзлюбили эту гору? — спросил Бай.

— Это Джомолунгма, — сказал Ивао. — Раньше она была самой высокой горой в мире, но мусульмане снесли пирамиду на её пике, и она стала второй по высоте после горы в Афганистане. Так что теперь самая высокая гора в мире — мусульманская.

Его лицо, как обычно, ничего не выражало, но голос звучал печально, как будто гора имела для него значение. Это беспокоило Бая: если уж Ивао свихнётся, значит, свихнулись все на Земле. Ивао сойдёт с ума последним. Возможно, так оно уже и было. Какой-то солдат из их отряда начал беспомощно плакать при виде мёртвых лошадей и мулов; вид мёртвых, разбросанных повсюду людских тел его не смущал, но раздутые трупы бедных животных разбивали ему сердце. В этом был свой странный смысл, но к горам Бай не испытывал сочувствия. В крайнем случае, на одного бога стало меньше. Такова цена борьбы в бардо.

По ночам холод достигал абсолютного стазиса. Звёздный свет мерцал на пустынном плато, Бай курил сигарету у отхожего места и размышлял

о том, что может означать война в бардо. В этом месте души успокаивались, примирялись с реальностью, перед тем как отправиться обратно в мир. Вынесение приговора, оценка кармы, души, посланные назад для новой попытки или освобождённые в нирвану. Бай читал Ивао «Книгу мёртвых», оглядываясь вокруг и видя, как каждая её фраза описывает их плато. Живые или мёртвые, они шли по залу бардо, взвешивая свою судьбу. И так было всегда! Место такое же мрачное, как сцена без декораций. Они разбили лагерь в гравии и песке на краю серого ледника. Большие пушки были установлены, стволы подняты к небу. Орудия поменьше по стенам долины защищали от воздушных атак; эти огневые точки были похожи на старые монастыри-дзонги, которые всё ещё стояли кое-где на горных откосах.

Пришло известие, что прорыв будет произведён через Нангпа Ла, глубокий перевал, вспахивающий хребет. Один из старых соляных торговых перевалов, на много ли — лучший в обоих направлениях. Проводниками будут шерпы — тибетцы, которые переселились к югу от перевала. По другую его сторону каньон тянулся к их столице, крошечному базару Намче, ныне лежащему в руинах, как и весь мир. От Намче

тропы вели прямо на юг, к равнинам Бенгалии. Да, это был отличный переход через Гималаи. Железная дорога заменит тропу в считаные дни, и тогда на Гангетскую равнину смогут отправить огромные китайские армии — или то, что от них осталось. Слухи летали, сменяясь ежедневно новыми. Ивао всю ночь провёл у радиоприёмника.

Баю это показалось переменой в самом бардо. Переходом в следующую комнату, тропический адский мир, забитый древней историей. Поэтому битва за перевал будет особенно жестокой, как любой переход между мирами. Артиллерия двух цивилизаций сосредоточилась с обеих сторон. Сход снежных лавин на гранитных откосах происходил часто. Тем временем взрывы на вершине Джомолунгмы продолжали занижать её высоту. Тибетцы воевали как преты, когда видели это. Ивао, казалось, смирился:

— У них есть поговорка о горе, приходящей к Мухаммеду. Только не думаю, что это имеет значение для матери-богини.

И всё же это ещё раз напомнило им, насколько безумны их противники. Невежественные фанатичные последователи жестокого культа пустыни, обещавшие вечность в раю, где оргазм от секса с прекрасными гуриями длился десять

тысяч лет, — неудивительно, что среди них так часто встречались самоубийственные смельчаки, которые только и ждали смерти и потому были безрассудны в своём наркотическом угаре, которому трудно было противостоять. Да, они действительно славились как любители бензедрина и курильщики опиума, всю войну проводившие в беспокойном дурмане, который разжигал в них звериную ярость. Большинство китайцев были бы и рады присоединиться к ним в этом, и опиум, конечно, проник в китайскую армию, но его запасы были ограничены. Однако у Ивао были здесь связи, и пока все готовились к нападению на Нангпа-Лу, он раздобыл наркотик через военных полицейских. Они с Баем курили опиум в сигаретах и пили, разводя на спирте вместе с гвоздикой и траванкорскими таблетками, которые якобы обостряли зрение и притупляли эмоции. Это неплохо помогало.

В итоге здесь, на высокой площадке бардо, собралось столько знамён, дивизий и крупнокалиберных орудий, что Бай и сам поверил слухам о том, что вот-вот начнётся всеобщее наступление против Кали, Шивы или Брахмы. В пользу этого говорило, по его наблюдению, и то, что многие дивизии состояли из опытных солдат, а не из

неотёсанных мальчишек, крестьян и женщин с большим боевым опытом на островах или в Новом Свете, где бои шли особенно интенсивно и где они, по их словам, уже одержали победу. Другими словами, здесь собрались именно те солдаты, которые, скорее всего, уже были убиты. Они и выглядели мертвецами. Они курили сигареты, как мертвецы. Армия мертвецов, собранных вместе, готовая вторгнуться на богатый юг живых.

Луна то прибывала, то убывала, а бомбардировка невидимого врага по ту сторону хребта продолжалась. Флотилии летунов серпами проносились через перевал и никогда не возвращались. На восьмой день четвёртого месяца, в день зачатия Будды, началось наступление.

Перевал был заминирован, и когда солдаты на линии непосредственной обороны были убиты, а оставшиеся отступили на юг, в хребтах, охранявших перевал, прогремели взрывы, и камни обрушились на широкую седловину. Гора Чо-Ойю потеряла часть своей массы в этом взрыве. С несколькими полками, защищающими проход, было кончено. Бай наблюдал снизу и задавался вопросом: куда попадает человек, когда умирает в бардо? То, что отряд Бая не попал в первую волну, было лишь делом случая.

Оборонительные сооружения были погребены вместе с первой волной китайцев. После этого перевал принадлежал им, и они могли начать спуск по гигантскому, прорезанному ледником каньону на юг, к Гангской равнине. Их атаковали на каждом шагу, главным образом дальними бомбардировками, а также ловушками и огромными минами, заложенными на тропах в стратегических точках. Они обезвреживали их или детонировали, неся случайные потери, когда это не удавалось, восстанавливая дорогу и железнодорожное полотно по мере спуска. В основном дорожные работы велись на большой скорости, так как мусульмане отступили на равнину; теперь им оставалось вести только максимально дальнюю бомбардировку с воздуха — снаряды летели аж из-за Дели, беспорядочные и нелепые, до тех пор пока не достигали цели.

Попав в глубокий южный каньон, они оказались в другом мире. Баю даже пришлось усомниться, действительно ли они находятся в бардо. Если и так, то определённо на новом его уровне: жарко, влажно, зелено, деревья, кусты и травы рвутся из чёрной почвы и заполняют всё вокруг. Даже камень здесь казался живым. Возможно, Куо солгал и он вместе с Ивао и

остальными всё это время был жив, находясь в реальном мире омертвевшим от смерти. Какая ужасная мысль! Если реальный мир становится бардо, и оба мира — суть одно… Бай коротал беспокойные дни, никак не приходя в себя от потрясения. После стольких страданий, он опять переродился в свою собственную жизнь, и жизнь продолжалась, отпущенная ему, будто и не было никакого перерыва, а лишь мгновение жестокой иронии; несколько дней безумия, и он перешёл в новое кармическое существование, оказавшись в ловушке прежнего проклятого биологического цикла, который, по какой-то причине, превратился в отличный симулякр преисподней, точно сломалось кармическое колесо и отделились шестерни, связывающие жизнь кармическую и биологическую, исчезли границы, и он болтался там, ничего не понимая, жил то в физическом мире, то в бардо, то во сне, то наяву, и очень часто эти переходы происходили без предупреждения, сразу, без причины и объяснений. Годы, проведённые в Ганьсуйском коридоре; вся жизнь, как Бай сказал бы раньше, стала почти забытым сном, и даже мистически-странная высота тибетской равнины уже казалась нереальным воспоминанием, которое трудно было удержать в памяти,

хотя оно было отпечатано на его сетчатке и он всё ещё смотрел сквозь него.

Однажды вечером прибежал телеграфист и передал приказ всем быстро подниматься в гору: ледниковое озеро выше по течению разбомбили мусульмане, и огромный поток воды хлынул вниз по склонам, затопляя каньон глубиной в пятьсот футов, а то и больше, в зависимости от узости ущелья.

Начался бой. О, как они лезли наверх. Все уже давно мертвецы, погибшие много лет назад, — и всё же они лезли наверх, как обезьяны, отчаянно пытаясь вскарабкаться по склону каньона. Их лагерь был разбит в узком крутом ущелье, где лучше всего было укрываться от воздушных атак, и они, пробираясь сквозь кустарники, всё отчётливее слышали отдаленный рёв, похожий на непрерывный гром, вроде водопада в шумном Дудх-Коси[45], только вряд ли: скорее всего, это приближался поток; пока наконец через час они не остановились на склоне, поднявшись на добрую тысячу футов выше Дудх-Коси и глядя вниз на белую нить, которая с широкого мыса, где офицеры собрали своих солдат, казалась такой

[45] Примечания: 45

Река в Непале, одна из самых высоких и труднопроходимых рек мира (*прим. ред.*).

безобидной. Они глядели вниз в ущелье и вокруг себя на огромные ледяные стены и пики горного хребта, слыша рёв, идущий от самых высоких из них к горному хребту на севере, — мощный мерный гул, как рёв бога-тигра. Здесь, наверху, они заняли удобное положение, чтобы наблюдать за наводнением, которое началось с наступлением ночи: рёв усилился до такой степени, что уже почти мог сравниться с бомбардировкой на фронте, но шёл снизу, почти из-под земли, ощущаясь подошвами ботинок так же, как и ушами. А затем выросла грязно-белая стена воды, несущая деревья и камни на хаотичных и бурлящих волнах, смывая стены каньона до самого основания и вызывая оползни, иногда настолько большие, что они перекрывали собой поток на несколько минут, прежде чем вода опрокидывала его и раздирала на части, меньшей волной вливаясь в общий потоп. После того как первая волна сошла в каньон и скрылась из виду, позади остались рваные стены, белые в сумерках, и коричневая вспененная река, которая ревела и грохотала, поднявшись чуть выше своего обычного уровня.

— Дороги придётся строить повыше, — заметил Ивао.

Бай только посмеялся над его невозмути-

мостью. Опиум заставлял всё пульсировать. Внезапно его осенило:

— Да ведь мне только что пришло в голову! Я и раньше тонул в наводнении! Я чувствовал, как вода накрывает меня с головой. Вода, снег и лед. Ты тоже там был! Неужели этот потоп был предназначен нам, а мы каким-то чудом избежали его. Мне кажется, нас здесь не должно быть.

Ивао поднял на него взгляд.

— В каком смысле?

— Да в таком, что мы должны были погибнуть в этом наводнении!

— Но мы ушли с его пути, — медленно протянул Ивао с обеспокоенным видом.

Бай только рассмеялся. «Ну и умник Ивао».

— Да. К чёрту наводнение. Это было в другой жизни.

Дорожники, однако, извлекли хороший урок без особых для себя потерь (не считая оборудования). Теперь они строили высоко на стенах каньонов, где те брали обратный уклон, срезая уступы и траверсы, высоко поднимаясь по их ответвлениям, а затем строя мосты через их русла, оборудуя зенитными установками, а одну почти ровную стену каньона около Луклы даже короткой взлётно-посадочной полосой. Работать

в строительном батальоне было предпочтительнее, чем сражаться, как солдаты, оставшиеся в устье каньона, удерживая его открытым как можно дольше, чтобы успеть провести дорогу. Они не могли поверить ни своей удаче, ни тёплой погоде, ни реальности и пышности жизни за фронтом, ни тишине, ни расслаблению мышц, ни обилию риса, ни диковинным, но свежим овощам…

Так, в тумане безмятежных дней, земляные и рельсовые дороги были достроены, и они пустили несколько первых поездов и разбили лагерь на огромной пыльной зелёной равнине, куда ещё не пришли муссоны, отправляя дивизию за дивизией на фронт, который теперь находился то ближе, то дальше, но к западу от них. Теперь всё происходило там.

И вот однажды утром они тоже тронулись в путь, весь день ехали в поезде на запад, а потом прошли маршем по череде понтонных мостов, пока не оказались где-то неподалёку от Бихара. Здесь уже стояла лагерем другая армия — армия, воевавшая на их стороне. Союзники — что за мысль! Сами индийцы, здесь, в своей собственной стране, выступали на север после сорокалетней борьбы с исламской ордой на юге континента. Теперь они тоже шли на прорыв, через Инд, и

мусульманам грозила опасность потерять в индийских клещах ни много ни мало всю Азию. Некоторые из них уже были взяты в окружение в Бирме, но большая часть всё ещё была сконцентрирована на западе и начинала медленное, упрямое отступление.

Ивао за час успел переговорить с несколькими траванкорскими офицерами, говорившими на непальском языке, который он знал с детства. Индийские офицеры и солдаты были темнокожими и низкорослыми, как мужчины, так и женщины, но очень быстрыми, ловкими, чистыми, опрятно одетыми и хорошо вооружёнными; гордыми, и даже высокомерными, полагая, что они принимают на себя основной удар войны против ислама, что они спасают Китай от завоевания, удерживая его в качестве второго фронта. Ивао ушёл, не зная, стоит ли обсуждать с ними войну.

Но на Бая это произвело впечатление. Возможно, мир всё-таки будет спасён от рабства. Прорыв через Северную Азию, по-видимому, застопорился, поскольку Урал выступил своего рода естественной Великой стеной для Золотой Орды и Фиранджи. Хотя, судя по картам, всё это было хорошо на западе. А перейти с армией через Гималаи против такого сопротивления, встре-

титься с индийскими армиями, разрезать мир ислама надвое…

— Мощный флот может свести значимость сухопутной войны в Азии на нет, — сказал Ивао, когда однажды вечером они сидели на земле и ели рис, приправленный воспламеняющими пряностями. Заходясь кашлем после каждой ложки, он продолжал: — За время этой войны мы видели смену трёх или четырёх поколений вооружения, технологий в целом, большие пушки, морскую, а теперь и воздушную мощь; я не сомневаюсь, что придёт время, когда флотилии воздушных кораблей и летательных аппаратов будут единственным, что может повлиять на исход войны. Борьба продолжится наверху: победит тот, кто сможет контролировать небо и сбрасывать бомбы больше, чем те, что мы запускаем из пушек, прямо на столицы противника. На их заводы, их дворцы, их правительственные здания.

— И пусть, — сказал Бай. — Будет меньше крови. Отрубить голову и покончить с этим. Вот что сказал бы Куо.

Ивао кивнул, усмехнувшись при мысли о том, как бы он это сказал. Здешний рис не шёл ни в какое сравнение с тем, что готовил Куо.

Генералы из четвёртого собрания военных та-

лантов встретились с индийскими генералами, и пока они совещались, на новом фронте к западу от них строились новые железные дороги. Комбинированное наступление явно было в разгаре, и все пытались строить свои догадки. Говорили, что их оставят позади, чтобы защищать тылы от мусульман, всё ещё находившихся на Малайском полуострове; что их отведут на корабли в устье священного Ганга и высадят на Аравийском побережье, чтобы обрушиться на саму Мекку; что им суждено штурмовать плацдармы на полуостровах северо-западной Фиранджи, и так далее. Не было конца и края историям, которые они сами себе рассказывали о том, как будет продолжаться их пытка.

Но в итоге они двинулись вперёд, снова на запад, держась по правую сторону подножия гор Непала, которые резко и зелено вздымались над Гангской равниной, как лениво заметил однажды Ивао, словно Индия таранным кораблём врезалась в Азию и пропахала землю под ней, протолкнувшись до самого Тибета и удвоив высоту земли, но здесь опускалась почти до уровня моря.

Бай покачал головой в ответ на эту геоморфную метафору, не желая думать о земле как о боль-

шом корабле на полном ходу, желая понимать землю как твердь, потому что теперь он пытался убедить себя, что Куо ошибался и они всё ещё живы, а не находятся в бардо, где земля только и может что скользить, как театральная декорация. Куо, вероятно, просто был сбит с толку своей внезапной смертью и не понимал, где находится, — скверный знак относительно того, кем он вернётся в следующем воплощении. Или, может быть, он просто подшутил над Баем — Куо умел подшутить над тобой, как никто, хотя он редко устраивал розыгрыши. Возможно, он сделал Баю одолжение, помогая пережить худшую часть войны, убеждая, что он уже мёртв и ему нечего терять — и, более того, что он воевал на войне, которая действительно что-то значила и могла принести реальную пользу, как-то повлиять на человеческие души в их чистом существовании вне миров, где они были способны к перемене, где могли узнать, что по-настоящему важно, и в следующий раз вернуться к жизни с новым пониманием в сердце, с новыми целями в мыслях.

Что бы это могло быть? За что они сражались? Против чего — было ясно: против фанатичных рабовладельческих реакционеров, которые хотели, чтобы мир топтался на том же месте, что и

при династиях Тан или Сун — абсурдно отсталых и кровавых религиозных фанатиках-убийцах без угрызений совести, которые рвались в бой, свихнувшись на опиуме и древних слепых верованиях. Против всего этого, конечно, но за что? Бай решил для себя, что китайцы сражаются за… ясность, или за то, что ещё можно назвать противоположностью религии. За человечество. Сострадание. За буддизм, даосизм и конфуцианство — тройственную нить, которая так хорошо описывает отношения с миром (религия без бога, но с миром) и с некоторыми другими потенциальными сферами реальности, ментальными сферами и самой пустотой, но без бога, без пастыря, брызжущего слюной, строгого сумасшедшего старого патриарха, зато, скорее, с бесчисленными бессмертными духами в огромной мозаике царств и существ, включая людей и множество других разумных существ, ведь всё живое свято, священно, часть божества, ибо да, Бог существовал, если под этим подразумевать трансцендентную универсальную самосознающую сущность, которая была самой реальностью, космосом, включавшим всё: человеческие идеи, математические формы и отношения. Эта идея сама по себе была Богом и вызывала что-то близкое к поклонению,

проявляясь во внимании к реальному миру. Китайский буддизм был естественным изучением реальности и вызывал чувство привязанности, всего лишь призывая наблюдать краешком глаза за сменой листвы, цветами неба, животными. За движением колки дров и носки воды. Это первоначальное познание привязанности вело к более глубокому пониманию, когда начинали прослеживаться математические основы жизни, из одного любопытства и просто потому, что это, казалось, помогало видеть ещё более ясно, и так создавались инструменты, чтобы видеть дальше и больше, выше ян, глубже инь.

За этим следовало своего рода понимание человеческой реальности, которое придавало величайшую ценность состраданию, вызванному просветлённым пониманием и изучением всего, что есть в мире. Именно так всегда говорил Ивао, в то время как Бай предпочитал думать об эмоциях, вызванных должным вниманием и сосредоточенными усилиями: умиротворение, острое любопытство и восторженный интерес, сострадание.

Но теперь — всё кошмар. И кошмар ускорялся, распадался на части и был полон непоследовательности, словно сновидец ощущал быстрые

движения собственных глаз, предвещающие конец сна и пробуждение нового дня. Каждый день мы просыпаемся в новом мире, каждый сон вызывает ещё одну реинкарнацию. Некоторые местные гуру говорили, что это происходит с каждым вздохом.

Они выскочили из бардо в реальный мир и угодили на поле боя, причём их левые фланги состояли из самых лучших индийских полков, низкорослых бородатых чернокожих мужчин, чуть более высоких белых мужчин с крючковатыми носами, бородатых сикхов в тюрбанах, низкогрудых женщин, гуркхов, сошедших из гор, батальона непальских женщин, каждая из которых была первой красавицей своей деревни, или так казалось; все вместе они смахивали на цирковую труппу, но были быстрыми, лучше вооружены и служили в железнодорожных и транспортных войсках, и китайцы теперь не поспевали за ними, когда новые железнодорожные линии строились всё быстрее и гнали вперёд огромное количество солдат и припасов. Устремляясь за пределы проложенных путей, индийцы продолжали мчаться вперёд, пешком и в тачках с мотором на резиновых колёсах, которые в это сухое время года сотнями рассекали по деревен-

ским тропинкам, разбрасывая повсюду пыль, в том числе по более малочисленной сети асфальтированных дорог, единственных, по которым можно было проехать, когда начинался муссон.

Они вышли к Дели почти одновременно и напали на мусульманскую армию, отступавшую вверх по Гангу с обеих берегов реки, как только китайцы заняли позиции у подножия непальских холмов.

Конечно, правый фланг простирался до самых холмов и каждая армия пыталась обойти другую. Отряд Бая и Ивао был теперь причислен к горным войскам из-за их опыта в Дудх-Коси, и поэтому пришёл приказ захватить и удерживать холмы по крайней мере до первого хребта, что повлекло за собой захват некоторых более высоких точек на хребтах ещё дальше на север. Они передвигались по ночам, учась в темноте пробираться по тропам, найденным и отмеченным разведчиками гуркхов. Бай стал дневным лазутчиком и, ползая по заросшим кустарником оврагам, беспокоился не о том, что его обнаружат мусульмане, потому что они всегда держались своих троп и лагерей, а о том, смогут ли сотни людей следовать извилистыми тропами обезьян, которыми ему приходилось пробираться в некоторых местах.

— Вот почему они посылают тебя, Бай, — объяснил Ивао. — Если ты справишься, то и любой справится, — он улыбнулся и добавил: — Так сказал бы Куо.

Каждую ночь Бай ходил из начала в конец линии, направляя поезда и проверяя, чтобы они шли своим ходом, изучая их и засыпая, только после того как встречал восход из какого-нибудь нового укрытия.

Они всё ещё занимались этой работой, когда индийцы прорвались с южного фланга. Они услышали отдалённые выстрелы артиллерии, а затем увидели дым, поднимающийся в белое небо туманного утра. Туман — возможно, первый признак муссона. Прорыв в наступлении с приходом муссона был за гранью разумного; казалось, что это автоматически возглавит недавно пополненный список Семи Великих Ошибок, но, когда расцвели и набухли полуденные облака и сгустилась темень, оглушая предгорья и равнины залпами жирных молний, которые били по металлу в огневых точках на хребтах, они с удивлением услышали, как индийцы беспрепятственно наступают. Среди прочих своих достижений они довели до совершенства навык ведения войны под дождём. Это были не

китайские даосско-буддийские рационалисты, соглашались Бай и Ивао, не Четвёртое собрание военных талантов, а дикари всех религий, даже более духовные, чем мусульмане, поскольку ислам казался всем этаким бахвальством, исполнением желаний и поддержкой тирании с её отцом-богом. У индийцев было несметное множество богов, кто с головой слона, кто о шести руках, и даже смерть была богом, женщиной и мужчиной сразу; жизнь, благородство — боги были для всего, любое человеческое качество обожествлялось. Так возник пёстрый, благородный народ, неукротимый в войне среди прочего, так как его представители были и великими поварами, и очень чувственными людьми; запахи, вкусы, музыка, цвет их мундиров, детали в искусстве — всё это было хорошо видно в их лагерях, когда мужчины и женщины стояли вокруг барабанщика и пели; женщины — высокие и большегрудые, с большими и круглыми глазами и руками, как у лесорубов, — поистине потрясающие женщины, из которых состояли все стрелковые полки индийцев.

— Да, — сказал один индийский адъютант по-тибетски, — женщины лучше стреляют, а особенно траванкорские женщины. Они обучаются

этому с пяти лет, и возможно, это всё, что требуется. Учите мальчиков с малых лет, и они будут делать то же самое.

Дожди наполнились чёрным пеплом, падающим в водянистую грязь. Чёрный дождь. Пришёл приказ отряду Бая и Ивао срочно идти на равнину и присоединиться к общему штурму. Они быстро спустились вниз по тропинкам и, собравшись примерно в двадцати ли за линией фронта, двинулись в поход. Они должны были зайти с самого конца фланга, с равнины, но близко к подножию холмов, чтобы штурмовать первый склон, если возникнет малейшее сопротивление их атаке.

Таков был план, но, когда они подошли к фронту, пришло известие, что мусульмане разбиты и отступают, и так они присоединились к погоне.

Но мусульмане бежали во весь опор, индийцы следовали за ними по пятам, а китайцам оставалось только следовать за двумя более быстрыми армиями через поля и леса, через каналы и проломы в бамбуковых изгородях и стенах, через посёлки, слишком маленькие даже для того, чтобы называться деревнями, неподвижные и молчаливые, часто сожжённые, но почему-то всё равно замедляющие их движение. Тела валялись на земле кучами, уже раздуваясь. Полный

смысл воплощения проступал в его противоположности, развоплощении, смерти, уходе души, оставляющей после себя так мало: гниющую массу, вещество, подобное тому, что находишь в колбасе. Ничего человеческого в этом не было. Но изредка чьё-то лицо оставалось нетронутым гниением; вот, индиец лежит на земле и глядит в сторону, совершенно спокойно и без единого колебания, не дыша; статуя очень впечатляющего человека, хорошо сложенного, с сильными плечами, способного — командир, с высоким лбом, усатым лицом, глазами, как у рыбы на рынке, круглыми и удивлёнными, но всё же впечатляющими. Баю пришлось произнести заклинание, чтобы пройти мимо него, и тогда они оказались в зоне, где сама земля дымилась, как мёртвая зона Ганьсу, лужи серебристой газированной воды в ямах смердели, а воздух был полон дыма и пыли, пороха и кровавого тумана. Бардо выглядело сейчас примерно так же, переполненное вновь прибывшими, злыми и ничего не понимающими людьми, бьющимися в агонии, — худший из возможных способов войти в бардо. Здесь — его пустое зеркало, разбитое и неподвижное. Китайская армия шла в полном молчании.

Бай нашёл Ивао, и они отправились в сожжён-

ные руины Бодх-Гая, в парк на западном берегу реки Пхалгу. Им сказали, что именно здесь стояло дерево Бодхи, старое дерево ассаттха, дерево пипал, под которым Будда получил просветление много веков назад. Местность перенесла столько ударов, сколько вершина Джомолунгмы, и никаких следов деревьев, парка, деревни или ручья не осталось — только чёрная грязь, насколько хватало глаз.

Группа индийских офицеров обсуждала обломки корней, которые кто-то нашёл в земле неподалёку от места, где, по мнению некоторых, росло дерево. Бай не узнал их языка. Он сел, зажав в руках маленький кусочек коры. Ивао подошёл послушать, что говорят офицеры.

Затем Куо возник перед Баем.

— Срежь ветку, — сказал он, протягивая небольшую веточку с дерева Бодхи.

Бай взял ветку из его левой руки: правая рука Куо всё ещё отсутствовала.

— Куо, — сказал Бай и сглотнул. — Не ожидал тебя увидеть.

Куо посмотрел на него.

— Значит, мы всё-таки в бардо, — сказал Бай.

Куо кивнул.

— Ты не всегда мне верил, но это правда. Вот

видишь… — он махнул рукой в сторону чёрной дымящейся равнины. — Это — пол мироздания. Снова он.

— Но почему? — спросил Бай. — Я просто не понимаю.

— Чего не понимаешь?

— Что я должен делать. Жизнь за жизнью… теперь-то я их помню! — понял он, оглядываясь назад через века. — Теперь я помню, и каждую жизнь я пытался. И продолжаю пытаться!

На чёрной равнине они как будто видели слабые остаточные образы своих прошлых жизней, танцующие в бесконечном полотне моросящего дождя.

— Но это, похоже, не имеет значения. Всё, что я делаю, не имеет никакого значения.

— Да, Бай. Может, и так. Но ты всё-таки дурак. Чёртов добродушный кретин.

— Не надо, Куо, я не в настроении.

Хотя он и попытался выдавить улыбку, превозмогая боль, радуясь, что над ним снова подшучивают. Ивао и он подшучивали друг над другом, но у них это не получалось так, как с Куо.

— Может, я и не такой великий лидер, как ты, но я сделал немало хороших вещей, и они ничего не изменили. Кажется, в действительности не

существует никаких правил дхармы.

Куо сел рядом с ним, скрестил ноги и устроился поудобнее.

— Ну, как знать. Я сам много об этом думал, когда в этот раз попал в бардо. С тех пор прошло уже много времени, поверь мне: нас так много одним махом сюда попало, что выстроилась целая очередь. Здесь, как и на войне, никакого порядка, и я наблюдал за вами, как вы все боретесь, бьётесь, как мотыльки в бутылке, и понимал, что сам был таким же, и удивлялся себе. Иногда я думаю, что всё пошло наперекосяк в тот раз, когда я был Кеимом, а ты Бабочкой, девочкой, которую мы так любили. Помнишь эту историю?

Бай покачал головой.

— Расскажи мне.

— Я был аннамцем, когда был Кеимом. Я продолжал гордую традицию, согласно которой великими китайскими адмиралами становились иностранцы и пользовались дурной славой, ведь много лет я был королём пиратов на побережье Аннама, и китайцы заключили со мной договор, какой заключили бы с любым великим правителем. Сделку, по которой я соглашался возглавить вторжение в Ниппон, по крайней мере, морской его аспект, а возможно и больше.

Как бы то ни было, вторжения не случилось из-за отсутствия ветра; мы поплыли дальше, и открыли океанские континенты, и там нашли тебя, и взяли тебя с собой, и спасли от бога-палача южан, и потеряли тебя. Вот тогда я почувствовал это, спускаясь с горы, после того как мы спасли тебя. Я целился в людей из ружья, нажимал на курок и чувствовал в своих руках силу жизни и смерти. Я мог убить всех, и они бы это заслужили, кровавые людоеды, детоубийцы. Я мог сделать это, просто указав на них. И тогда мне показалось, что моя сила гораздо больше их и имеет значение. Что наше превосходство в оружии проистекает из общего превосходства мысли, которое включает в себя превосходство морали. Что мы лучше, чем они. Я вернулся к кораблям и поплыл на запад, всё ещё ощущая, что мы — высшие существа, боги для этих ужасных дикарей. Вот почему умерла Бабочка. Ты умер, чтобы научить меня, что я был не прав, что, хотя мы и спасли её, мы же её и убили, что это чувство, которое мы испытали, проходя мимо них, как мимо никчёмных собак, — это яд, который никогда не перестанет распространяться среди людей, обладающих оружием. До тех пор, пока все люди, подобные Бабочке, которые жили в мире без оружия, не будут нами убиты

и не останутся только люди с оружием, которые продолжат убивать друг друга, стараясь успеть первыми, в надежде, что это не случится с ними самими, — пока не умрёт весь мир и мы все не попадём в это царство прет, а затем и в ад.

Наш маленький джати будет торчать здесь со всеми остальными, что бы ты ни делал, — не то чтобы ты был особенно эффективен, если уж на то пошло, Бай, с твоей-то склонностью к доверчивой простоте, легковерию и общей мягкосердечной, слабовольной бесполезностью…

— Это нечестно. Я помогал тебе. Я шёл вместе с тобой.

— Ну, хорошо. Согласен. В любом случае сейчас мы все находимся в бардо и снова отправляемся в низшие царства, в лучшем случае — человеческое, но возможно, мы уже падаём в ад, который всегда под ногами, а возможно, мы уже там, в штопоре, из которого не выбраться, и человечество потеряно для нас даже как надежда, так много вреда мы причинили. Тупые ублюдки! Чёрт побери, неужели ты думаешь, что я не пытался? — Куо в волнении вскочил на ноги. — Думаешь, ты единственный, кто пытался сделать что-то хорошее в этом мире? — он погрозил своим одиноким кулаком Баю, а затем опустившимся

серым облакам. — Но мы потерпели неудачу! Мы убили саму реальность, ты понимаешь меня! Ты меня понимаешь?

— Да, — сказал Бай, обхватив руками колени и отчаянно дрожа. — Знаю.

— Так вот. Теперь мы находимся в этом нижнем царстве. Мы переживём и это. Наша дхарма всё ещё требует правильных действий, даже здесь. Будем надеяться на небольшое продвижение вверх. До тех пор, пока сама реальность не будет восстановлена усилиями многих миллионов жизней. Весь мир придётся перестраивать заново. Вот где мы сейчас.

И прощально похлопав Бая по руке, он пошёл прочь, с каждым шагом всё глубже погружаясь в чёрную грязь, пока не исчез совсем.

— Эй, — окрикнул его Бай. — Куо! Не уходи!

Через некоторое время Ивао вернулся и встал перед ним, вопросительно глядя на него сверху вниз.

— Ну что? — спросил Бай, поднимая голову с колен и собираясь с мыслями. — В чём дело? Спасут ли они дерево Бодхи?

— Не беспокойся об этом, — сказал Ивао. — Они снимут побеги с дочернего дерева на Ланке. Такое случалось и раньше. Лучше позаботься о людях.

— Там тоже остались побеги. В следующую жизнь. До лучших времён, — Бай крикнул вслед Куо: — До лучших времён!

Ивао вздохнул. Он сел на то место, где только что сидел Куо. На них падал дождь. Много времени прошло в обессиленном молчании.

— А что если, — сказал Ивао, — следующей жизни не будет? Вот о чем я думаю. Вот мой вопрос. Фань Чэнь сказал, что душа и тело — это всего лишь два аспекта одного и того же. Он говорит об остроте и ноже, о душе и теле. Без ножа нет остроты.

— Без остроты нет ножа.

— Да…

— А острота продолжается, острота никогда не умирает.

— Но посмотри на эти мёртвые тела. Те, кем они были, не вернутся. Когда приходит смерть, мы не возвращаемся.

Бай подумал об индийце, неподвижно лежавшем на земле. Он сказал:

— Ты просто расстроен. Конечно мы вернёмся. Вот только что я разговаривал с Куо.

Ивао пристально посмотрел на него.

— Не цепляйся за эту жизнь, Бай. Вот чему научился Будда прямо на этом месте. Не пытайся

остановить время. Никто не может этого сделать.

— Острота остаётся. Говорю тебе, он резал меня так же больно, как и всегда!

— Мы должны попытаться принять перемены. А перемены ведут к смерти.

— И дальше, через смерть.

Бай сказал это как мог весело, но голос его звучал горько. Он скучал по Куо.

Ивао обдумал слова Бая, и по его лицу было видно, что он надеялся услышать что-то обнадёживающее от буддиста у дерева Бодхи, но что тут скажешь? Сам Будда сказал: страдание — реальность; с этим нужно встретиться лицом к лицу, с этим нужно жить; спасения нет.

Через некоторое время Бай встал и пошёл посмотреть, что делают офицеры. Они пели сутру, возможно на санскрите, решил Бай и тихо присоединился к «Лэнянь-цзин», Шурангама-сутре, по-китайски. И поскольку день клонился к вечеру, сотни буддистов обеих армий собрались вокруг этого места, и грязь покрылась людьми, которые читали молитвы на всех языках буддизма, стоя на выжженной земле, дымящейся под дождём, насколько хватало глаз, чёрно-серой и серебрящейся. Наконец они стихли. Мир в сердце,

сострадание и мир. Острота остаётся.

Книга девятая. Нсара



Солнечными утрами парки на берегу озера заполнялись гуляющими семьями. Ранней весной, когда растения едва-едва выпускали твёрдые зелёные почки, которые вскоре распустятся во всём своём красочном многообразии, голодные лебеди собирались на блестящей чёрной воде

у променада и воевали за ломти чёрствого хлеба, брошенные им детворой. Когда Будур была маленькой, кормить лебедей было одним из любимых её занятий, и она заливалась смехом, глядя, как они хлопают крыльями и дерутся за крошки; теперь она смотрела на сегодняшних детей, охваченных тем же весельем, тоскуя по ушедшему детству и с горечью сознавая, насколько эти красивые и смешные птицы на самом деле несчастные и голодные. Будур хотела бы быть смелее, чтобы присоединиться к детворе и скормить бедняжкам ещё немного хлеба, но в таком возрасте она смотрелась бы странно, как умственно отсталая школьница на выездной экскурсии. Да и потом, у них у самих дома хлеба оставалось не так уж много.

Солнечный свет отражался от водной глади, и здания, окаймляющие дальний берег озера, искрились лимоном, персиком и абрикосом, точно подсвеченные изнутри огоньком, заточенным в их каменных стенах. Будур возвращалась домой через старый город с его серым гранитом и чёрной древесиной старинных зданий. В начале своей истории Тури был римским городом, перевалочной станцией на главном переходе через Альпы; однажды отец возил их на Замочную

скважину — неприметную альпийскую теснину, где до сих пор остался участок римской дороги, петлявший в траве, как хребет окаменевшего дракона, истосковавшегося по подошвам солдат и торговцев. Теперь, после столетий безвестности, Тури снова стал перевалочной станцией, на этот раз для поездов, и столицей Объединенных Альпийских Эмиратов, крупнейшим городом во всей центральной Фиранджe.

В центре города царила суета и скрипели трамваи, но Будур любила ходить пешком. Ахава, своего спутника, она игнорировала; по-человечески он был ей симпатичен — простой, не хватающий звёзд с неба мужчина, — ей только не нравилась его работа, которая состояла в сопровождении Будур во время прогулок. Она принципиально не замечала его, как нечто, оскорбляющее её достоинство. Но также она понимала, что он доложит отцу о её поведении и отказе с ним разговаривать, — и ещё один маленький гаремный протест достигнет ушей отца, хотя бы через третье лицо.

Она повела Ахава мимо многоквартирных домов, усыпавших выходящий на город склон холма, к Центральной улице. Их дом был окружён красивой высокой стеной в узорах из серых и зелёных тёсаных камней. Деревянные воро-

та венчала каменная арка, которую так густо опутали лозы глицинии, что казалось, можно вытащить из арки несущий камень, а она так и останется стоять. Ахмет, их привратник, сидел на своём месте в укромном деревянном чуланчике с внутренней стороны ворот и угощал всех входящих, если у тех было время задержаться, чаем, поднос с которым стоял у него наготове.

Дома тётя Идельба разговаривала по телефону, установленному во внутреннем дворе на столике под стрехой, откуда были слышны любые разговоры. Отец пытался таким образом добиться того, чтобы разговоры не выходили за рамки приличия, только тётя Идельба обычно обсуждала микроскопическую природу и математику внутреннего строения атомов, и потому никто не мог понять, о чём на самом деле она говорит. Но Будур и так нравилось её слушать: тётины телефонные разговоры напоминали сказки, которые Идельба читала ей когда-то, когда Будур была ещё маленькой, или её кухонные беседы с матерью Будур о стряпне (тётя Идельба страстно любила готовить и говорила о всяких рецептах, процессах и утвари так загадочно и многозначительно, как сейчас по телефону, словно стряпала новый мир). А иногда она клала трубку с озабоченным

видом, рассеянно отвечала на объятия Будур и сознавалась, что всё именно так и обстоит: илми, учёные, действительно стряпают новый мир. Или готовятся к этому. Однажды она повесила трубку, зардевшись, и пустилась отплясывать по двору менуэтные па, распевая бессмысленные звуки и слова прачечной распевки: «Бог велик, как велик Бог, очисти нашу одежду, очисти наши души».

На этот раз она повесила трубку и даже не заметила Будур, а только уставилась на клочок неба, видневшийся со двора.

— В чём дело, Идельба? Ты чувствуешь хем?[46]

Идельба покачала головой.

— Нет, это мушкил, — что значило конкретную проблему.

— Что случилось?

— Хм… Если в двух словах, исследователи из лаборатории получили очень странные результаты. Вот о чём, по сути, речь. И никто не понимает, что это значит.

Лаборатория, с которой Идельба общалась по телефону, в настоящее время стала основной её связью с внешним миром. Раньше она преподавала математику и занималась наукой в

[46] Примечания: 46

Женский термин для обозначения состояния подавленности, не имеющей конкретной причины (*прим. пер.*).

Нсаре вместе с мужем, исследователем микроскопической природы. Но безвременная кончина мужа выявила определённые нарушения в его бухгалтерии, и Идельба осталась без средств к существованию, а их общая работа оказалась в итоге его работой, и вышло так, что ей нечем зарабатывать и негде жить. Так, по крайней мере, сказала Ясмина; сама Идельба никогда об этом не говорила, просто явилась однажды с чемоданом, в слезах, поговорила с отцом Будур, который приходился ей сводным братом, и он согласился приютить её на некоторое время. Как позже объяснил отец, гаремы создавались в том числе и для этого: они защищали женщин, которым некуда было податься.

— Вот вы, девочки, и ваша мать жалуетесь на систему, но задумайтесь, какая у вас альтернатива? Женщины, брошенные на произвол судьбы, будут только страдать.

Мать и старшая кузина Будур, Ясмина, в ответ на это фыркали и огрызались, пунцовея щеками. Рема, Айша и Фатима глядели на них с любопытством, пытаясь понять, что должны испытывать по поводу того, что для них было абсолютно в порядке вещей. Тётя Идельба по этому поводу не говорила ничего — ни слов благодарности,

ни жалоб. Бывшие коллеги до сих пор звонили ей по телефону; особенно регулярно названивал племянник, который, дескать, рассчитывал на её помощь в решении возникшей у него проблемы. Однажды Идельба попыталась объяснить суть этой проблемы Будур и её сёстрам, вооружившись доской и мелом.

— Атомы окружены оболочками, как небесные сферы на старых рисунках, и в этих оболочках заключён сердечный узел атома, маленький, но очень тяжёлый. В узле атома сосредоточены три вида частиц: ян-частицы, инь-частицы и нейтроны, в пропорциях, разных для каждого вещества, и все их держит в сцепке мощная сила, которая очень велика, но носит локальный характер — это значит, что даже на малом удалении от сердечного узла эта сила значительно уменьшается.

— Как в гареме, — сказала Ясмина.

— Ну, хм. Я бы, скорее, сравнила это с гравитацией. Так или иначе, ци-частицы отталкиваются друг от друга, вступая в противодействие с этой мощной силой, и они в некотором роде соперничают между собой и с другими силами. А определённые, сверхтяжёлые металлы содержат столько частиц, что некоторое их количество

постепенно просачивается наружу, и эти одиночные сбежавшие частицы с различной скоростью оставляют за собой характерные следы. Так вот, учёные Нсары проводили опыты с одним из таких тяжёлых металлов — элементом тяжелее золота, самым тяжёлым из известных на данный момент, под названием алактин. Его атаковали нейтронами — и получали очень странные результаты, такие разрозненные, что трудно объяснить словами. Но, похоже, тяжёлое сердце этого элемента неустойчиво.

— Как у Ясмины!

— Ну, хм, интересная мысль; хотя и неправильная, но заставляет задуматься о том, почему мы всегда пытаемся визуализировать вещи, которые слишком малы для невооружённого глаза.

Она помолчала, переводя взгляд с доски на своих недоумевающих учениц. Странное выражение промелькнуло в её лице, исказив черты, и тут же исчезло.

— Что ж. Сойдёмся на том, что это ещё один феномен, нуждающийся в объяснении. Это потребует более тщательного исследования в лаборатории.

После этого она в полной тишине стала что-то царапать на доске. Цифры, буквы, китайские

иероглифы, уравнения, точки, диаграммы — как на иллюстрациях к книгам о самаркандском алхимике.

Через некоторое время она сбавила темп и пожала плечами.

— Нужно обговорить это с Пьяли.

— Разве он не в Нсаре? — спросила Будур.

— Верно, — и Будур поняла, что это тоже входило в её мушкил. — Конечно же, мы поговорим по телефону.

— Расскажи нам о Нсаре, — в тысячный раз попросила Будур.

Идельба пожала плечами: она была не в настроении, но она никогда не бывала в настроении, требовалось запастись терпением, чтобы прорваться через баррикады её сожалений и перенестись в те дни. Первый муж развёлся с ней почти на исходе её фертильных лет, оставив бездетной; второй муж умер молодым. В её жизни было много печалей. Но если Будур не подгоняла тётю Идельбу, а спокойно ходила следом за ней по террасе, по комнатам, то чаще всего она совершала этот переход, чему, возможно, как раз и способствовали эти перемещения между комнатами, аналогичные тому, как все места, где мы жили, похожи на комнаты в нашем сознании,

с небом вместо крыши, горами вместо стен и зданиями вместо мебели, и сама наша жизнь перемещается из одной комнаты в другую в неком великом здании, и старые комнаты никуда не делись, хотя давно преобразились или опустели, а перейти на самом деле можно лишь в какую-то новую комнату или остаться запертым в той, где находишься сейчас, как в тюрьме, и только в памяти…

Идельба начинала с рассказов о погоде, о бурном Атлантическом океане, несущем волны, ветер, облака, дожди, туманы, мокрый снег, морось и иногда снег, вперемешку с погожими днями, когда лучи низкого солнца слепили прибрежные воды и устье реки, где оба берега долины вплоть до самого Анжу занимали доки огромного города; все страны Азии и Фиранджи приезжали с востока в этот западный город, а им навстречу, с моря, шёл другой поток народов со всего мира, включая красивых ходеносауни и дрожащих изгнанников из Инки в пончо и украшениях из золота, металлическими брызгами разбавляющих тёмно-серые будни штормовых зим. Экзотика Нсары завораживала Идельбу, как и незваные посольства Китая и Траванкора, следившие за исполнением положений послевоенного

урегулирования, длинные безоконные корпуса которых торчали как памятники исламскому военному поражению в дальней части портового района. Когда Идельба всё это описывала, у неё загорались глаза, в голосе звучало оживление, и она почти всегда, если не прерывала свой монолог раньше времени, заканчивала восклицанием: «Нсара! Нсара! Оооо, Нссссарррррра!» А потом иногда садилась на месте и обхватывала голову руками от переизбытка эмоций. Будур не сомневалась, что это был самый невероятный и восхитительный город на Земле.

Траванкорцы, разумеется, основали там буддийскую монастырскую школу, как и, казалось, во всех других городах и посёлках Земли, со всеми самыми современными кафедрами и лабораториями по соседству со старыми медресе и мечетью, которые продолжали функционировать, как и в 900-х годах. Идельба говорила, что рядом с буддийскими монахами и учителями духовники медресе выглядели невежественными и отсталыми, но буддисты всегда относились к мусульманским практикам благосклонно и уважительно, не навязываясь, и со временем многие суфийские учителя и священнослужители-реформаторы оборудовали собственные

лаборатории в медресе и стали посещать уроки в монастырских школах, чтобы во всеоружии подойти к исследованию загадок естественной природы уже в родных пенатах.

— Они дали нам время проглотить и переварить горькую пилюлю нашего поражения, — говорила Идельба о буддистах. — Китайцам хватает ума оставаться в стороне, пока траванкорцы выступают их эмиссарами. Вот почему мы никогда не видим, как беспощадны бывают китайцы. Мы думаем, что история заканчивается на траванкорцах.

Но Будур китайцы не казались такими уж суровыми. Отец признавал, что репарационные выплаты устанавливались посильные, а если и приходилось влезать в долги, их всегда прощали или давали отсрочки. А буддийские монастырские школы и больницы были единственными приметами насаждения победителями своей идеологии, во всяком случае, в Фирандже… Почитай, тёмная сторона, тень, брошенная завоевателями. Опиум получал всё большее распространение в городах Фиранджи, и отец, читая газеты, гневно заявлял, что, если всё это поступает из Афганистана и Бирмы, ввоз опиума в Фиранджу почти наверняка санкционировали

китайцы. Даже в Тури можно было увидеть бедняков в кофейнях рабочих районов вниз по реке, парализованных странно пахнущим дымом, и Идельба рассказывала, что в Нсаре этот наркотик распространён особенно широко, впрочем, как и в любой другой мировой столице, хотя Нсара была мировой столицей ислама, единственной, не разрушенной войной: Константиния, Каир, Москва, Тегеран, Занзибар, Дамаск и Багдад были разбомблены и ещё не успели полностью восстановиться.

Но Нсара устояла и стала теперь городом суфиев, городом учёных, городом Идельбы; она переехала туда, проведя детство в Тури и на семейной ферме в Альпах. Там она ходила в школу, и математические формулы говорили с ней так, словно обращались к ней вслух со страницы; она понимала их, она говорила на этом странном алхимическом языке. Старики объяснили ей грамматику этого языка, и она следовала его правилам, решала задачи, училась новому и оставила свой след в теоретических изысканиях о природе микроскопической материи в возрасте всего двадцати лет.

— Юные умы зачастую наиболее сильны в математике, — говорила она позже, уже растеряв

свой опыт.

Оттуда — в лаборатории Нсары, где она помогала знаменитому лиссабонцу и его команде запускать циклический ускоритель, женитьба, развод, затем, подозрительно поспешный, что показалось Будур довольно странным, повторный брак (для Тури случай совершенно вопиющий), и снова работа вместе со вторым мужем, счастливые дни, его неожиданная смерть, а потом её таинственное возвращение в Тури и затворничество.

Будур спросила однажды:

— Ты носила там вуаль?

— Иногда, — ответила Идельба. — В зависимости от обстановки. Бывают ситуации, в которых вуаль наделяет тебя некоторой силой. Подобные символы выражают вполне определённые вещи; они — как фразы, произносимые через материю. Хиджаб может сказать посторонним: «Я исповедую ислам и солидарна со своими братьями и сёстрами, я против вас и всего мира». Мусульманскому мужчине он может сказать: «Я продолжу играть в эту глупую игру, поощрять твою фантазию, но только если в ответ ты будешь делать так, как скажу я». Некоторые идут на такую сделку, как бы капитулируя перед любовью, находя

в этом своего рода отдушину от сумасшедшего бремени быть мужчиной. И тогда ношение вуали может быть подобно мантии королевы-волшебницы.

Но, заметив обнадёженное выражение лица Будур, она добавила:

— Или рабскому ошейнику, конечно.

— Значит, иногда ты ходила без вуали?

— Обычно — да. В лаборатории это было ни к чему. Там я надевала ту же лабораторную джеллабу, что и мужчины. Мы приходили туда изучать атомы, изучать природу. Вот величайшая праведность! У нас не было пола. Мысли были просто заняты другим. Людям, с которыми работаешь бок о бок, смотришь прямо в глаза, прямо в душу, — сказала она и с горящими глазами процитировала какое-то старинное стихотворение: «Что ни миг, то озарение напополам раскалывает гору».

Так проходила юность Идельбы; а теперь она томилась в небольшом, мелкобуржуазном гареме под «опекой» своего брата, из-за чего она часто впадала в хем, будучи довольно склонной к перепадам настроения, почти как Ясмина, только тяготея к замкнутости, а не к говорливости. Наедине с Будур, развешивая бельё на террасе,

она глядела на верхушки деревьев, видневшиеся из-за стен, и вздыхала:

— Вот бы снова пройти на рассвете по пустынным улицам города! Синего, постепенно розовеющего… Глупо отказывать в этом человеку. Отказывать человеку в праве наслаждаться миром на его собственных условиях архаично! Это неприемлемо.

Но она оставалась. Будур не вполне понимала, почему. Уж наверное тётя Идельба способна спуститься по склону холма на вокзал, сесть на поезд до Нсары, найти где-нибудь там жильё и работу, чтобы как-нибудь зарабатывать на хлеб? Кто, если не она? Но какая приличная женщина решится на такое? Если не могла Идельба, значит, не сможет никто. Единственный раз, когда Будур осмелилась спросить её об этом, та только отрывисто помотала головой и сказала:

— У меня есть и другие причины. Мне нельзя говорить об этом.

Поэтому Будур пугало постоянное присутствие Идельбы у них дома; она видела в этом живое напоминание того, что судьба женщины может разбиться в одночасье, как самолёт, упавший с неба. И чем дольше она оставалась, тем сильнее это нервировало Будур, которая замечала, что и

Идельба уже не могла найти себе покоя, слоняясь между комнатами, читая и что-то бормоча себе под нос или склонившись над бумагами с большим вычислительным устройством в виде сетки из нитей с нанизанными на них разноцветными бусинами. Часами напролёт она строчила что-то на доске, и мел скрипел, клацал и иногда крошился в её пальцах. Она разговаривала по телефону во дворе, иногда как будто чем-то огорчаясь, иногда радуясь; сомневаясь, переживая — и всё из-за цифр, символов, таких и сяких величин, плюсов, минусов, микроскопических сил, которые никто и никогда не увидит. Как-то раз, вглядываясь в уравнения, она сказала Будур:

— Знаешь ли ты, Будур, что в обычных вещах заключены огромные количества энергии? Траванкорец Чандаала был величайшим мыслителем, известным этому миру; последствия Долгой Войны можно назвать катастрофичными уже из-за одной только его гибели. Но он многое оставил после себя, в частности, теорию эквивалентности энергии и массы… Вот, смотри: массу, то есть величину определённого веса, умножаем на квадрат скорости света (полмиллиона ли в секунду, только подумай!) и получаем колоссальный результат даже для крохотной щепотки

материи. Это и будет заключённая в ней энергия ци. В пряди твоих волос энергии больше, чем в локомотиве.

— Неудивительно, что их так трудно расчёсывать, — неуверенно протянула Будур, и Идельба рассмеялась. — И это плохо?

Идельба ответила не сразу. Она задумалась и забыла обо всех вокруг. Затем она обратила взгляд на Будур.

— Плохо бывает тогда, когда мы делаем что-то плохо. Так во всём. В природе нет ничего плохого самого по себе.

Будур могла бы с этим поспорить. Природа сотворила мужчин и женщин, она сотворила плоть и кровь, сердце, менструации, горькие чувства… Иногда это казалось Будур неправильным, будто счастье было чёрствой хлебной горбушкой и лебеди её сердца дрались за него, изголодавшись.

Женщинам запрещалось выходить на крышу дома — там их могли увидеть с террас на крышах домов, расположенных выше по склону Восточного холма Тури. Однако мужчины крышей никогда не пользовались, а это было идеальное место, чтобы подняться над кронами соседних деревьев и полюбоваться видом Альп к югу от озера Тури. Поэтому, когда мужчины расходились

и Ахмет засыпал на своём стульчике у калитки, тётя Идельба и кузина Ясмина брали шесты для сушки белья и, связанными, устанавливали их в горшки из-под оливок, как ножки лестницы, чтобы потом, очень осторожно, забраться по верёвкам наверх, держась за шесты, девочки — снизу, Идельба — сверху. Они лезли наверх, пока не оказывались на крыше, в темноте, под звёздным небом, разговаривая шёпотом на ветру, чтобы их не услышал Ахмет, шёпотом, чтобы не кричать во всю глотку. Альпы при свете полной луны стояли белыми картонными вырезками в заднике кукольного театра, идеально вертикальные, воплощённое представление о том, какими должны быть горы. Ясмина приносила свечи и порошки, чтобы произнести над ними магические заклинания, которые вскружили бы голову её поклонникам, хотя от них и так не было отбоя. Но Ясмину отличала ненасытная жадность до мужского внимания, явно усугублённая отсутствием оного в гареме. Траванкорские благовония наполняли ночь: сандал, мускус, шафран и наги кружили Будур голову своими экзотическими ароматами, и ей казалось, будто она очутилась в другом мире, более необъятном, более загадочном и многозначительном — пред-

меты наполнялись собственными смыслами, словно жидкостью, чуть не просачиваясь на самую поверхность, и всё становилось символом самого себя: луна — символом луны, небо — символом неба, горы — символом гор, и всё это омывало тёмно-синее море томления. Томление, самая его суть, болезненная и прекрасная, что шире целого мира.

Но в одно полнолуние Идельба не стала устраивать вылазку на террасу на крыше. В тот месяц она подолгу говорила по телефону и после каждого звонка становилась на редкость удручённой. Она не пересказывала девушкам содержания этих разговоров и не раскрывала имени собеседника, хотя по манере общения Будур и догадывалась, что им, как обычно, был её племянник. Но говорить об этом Идельба отказывалась.

Возможно, именно из-за этого Будур чутко и настороженно ожидала каких-то перемен. В ночь полнолуния она почти не спала, ежечасно просыпаясь и видя шевеление теней на полу, отходя от тревожных снов, в которых она мчалась по переулкам старого города, убегая от чего-то, что не могла толком рассмотреть. Ближе к рассвету её разбудил шум, доносившийся снаружи; выглянув в маленькое окошко, она увидела Идельбу,

которая тащила бельевые шесты с террасы на лестницу. А следом — и оливковые горшки.

Будур выскользнула в коридор и подошла к окну в нише, выходившей во двор. Идельба сооружала их лестницу у наружной стены дома, за углом от того места, где дежурил у запертых ворот Ахмет. Поднявшись на стену, она окажется перед высоким вязом, который рос в проулке между стенами их дома и соседнего, аль-Динов из Нишапура.

Без раздумий, без промедления, Будур бросилась обратно в спальню и торопливо оделась, затем сбежала по лестнице вниз, во двор, завернула за угол дома и огляделась, чтобы убедиться, что Идельба ушла.

Ушла. Путь был свободен; ничто не помешает Будур последовать за ней.

Здесь она помедлила: непросто было бы описать ход её мыслей в этот поворотный в жизни момент. Она не думала о чём-то конкретном, а скорее, как бы взвешивала на чаше весов всё своё существование. Гарем, капризы матери, безразличие отца, недалёкое лицо Ахава, вечно плетущегося за ней по пятам простодушным недругом, слёзы Ясмины; сам Тури в целом, балансирующий на двух холмах по оба берега реки

Лимат и в её голове; а за всем этим — огромные мутные массивы чувств, как облака, клубами перекатывающие через Альпы. Всё это теснилось в её груди, а снаружи, было ощущение, будто на неё устремлены десятки глаз призрачной аудитории, наблюдающей, возможно, за её жизнью, как звёзды, которые всегда рядом, даже если она их не видит. Как-то так. Как обычно и бывает в момент перемен, когда мы поднимаемся над повседневностью, сбросив шоры привычного, и, нагие, предстаём перед бытием, перед моментом выбора, необъятного, мрачного, ветреного. Мир огромен в эти мгновения, так огромен. Невыносимо. Все призраки мира видят его. Центр мироздания.

Она подалась вперёд. Подбежав к лестнице, она быстро вскарабкалась наверх; лестница ничем не отличалась от той, что они устанавливали наверху между террасой и крышей. Вязовые ветви были большими и крепкими, по ним оказалось легко спуститься достаточно низко к земле, чтобы совершить последний прыжок, от которого Будур окончательно проснулась, после чего плавно перекатилась на ноги, будто так и задумывала с самого начала.

На цыпочках она вышла на улицу и поверну-

лась в сторону трамвайной остановки. Сердце стучало у неё в груди, и, несмотря на холод, ей было жарко. Она могла или сесть на трамвай, или пойти прямо по узким улочкам, таким крутым, что в нескольких местах они превращались в лестницы. Она рассчитывала, что Идельба отправилась на вокзал, но если она ошибалась, на надежде догнать её можно было поставить крест.

В такой ранний час девушке из хорошей семьи не пристало ездить на трамвае одной, даже в вуали; впрочем, девушкам из хороших семей никогда не пристало гулять одним. Поэтому она бросилась вниз по ближайшей проулочной лестнице и помчалась маршрутом, петляющим через двор, парк, аллею, лестницу, увитую розами, коридор, образованный японскими огненными клёнами, и дальше, дальше, знакомой дорогой к старому городу, по мосту через реку, к железнодорожной станции. Там, на мосту, она повернулась посмотреть на клочок неба между старыми каменными зданиями, голубой дугой накрывшего розовеющую кромку виднеющегося краешка гор, как вышивка, окунутая в дальний конец озера.

Её уже начинали одолевать сомнения, как вдруг она заметила на вокзале Идельбу, читав-

шую расписание поездов. Будур юркнула за фонарный столб, обежала вокруг здания, зашла в двери с противоположной стороны и тоже изучила расписание. Ближайший поезд до Нсары стоял на шестнадцатом пути, в дальнем конце вокзала, и отходил ровно в пять, то есть уже совсем скоро. Она посмотрела на часы, висевшие над шеренгой поездов под крышей большого *сарая*, — оставалось пять минут. Она заскочила в последний вагон.

Поезд слабо дёрнулся и тронулся. Будур пошла по поезду, минуя вагон за вагоном, держась за спинки сидений. Сердце колотилось всё быстрее и быстрее. Что она скажет Идельбе? А если той не окажется в поезде и Будур приедет в Нсару одна и без денег?

Но Идельба была здесь, сидела, сгорбившись, и смотрела в окно. Будур собралась с духом, ворвалась в купе и, рыдая, бросилась к ней.

— Прости меня, тётя Идельба, я не знала, что ты уезжаешь так далеко! Я пошла за тобой, только чтобы составить тебе компанию. Надеюсь, тебе хватит денег, чтобы заплатить и за мой билет?

— Ах, во имя Аллаха!

Идельба сначала пришла в шок, а потом в ярость; в основном на себя, рассудила Будур

сквозь слёзы, хотя часть этой ярости тётя выместила и на племяннице, воскликнув:

— У меня важные дела, в которых нет места девичьим шалостям! Ах, что же будет? Что будет? Отправить бы тебя обратно следующим же поездом!

Будур только помотала головой и снова заплакала.

Колёса быстро стучали по рельсам, пересекая довольно унылую местность; холмы и фермы, фермы и холмы, низкие леса и пастбища — всё проносилось мимо с невероятной быстротой, и её почти мутило, когда она смотрела в окно, хотя ездила в поездах с детства и всегда без проблем любовалась видом за окном.

В конце долгого дня поезд въехал в понурые окраины города, похожего на Нижний Ручей, только больше: на много ли растянулись кварталы жилых домов с тесными квартирами в их стенах, людными базарами, районными мечетями и различными более крупными зданиями; а за ними начинались по-настоящему громадные здания, целый лес которых выстроился вдоль реки, с множеством мостов в том месте, где она расширялась в устье, теперь ставшем огромной гаванью, защищённой причалом, достаточно

широким, чтобы вместить целую улицу, по обеим сторонам которой были открыты торговые точки.

Поезд доставил их в самое сердце этого района с высокими зданиями, и они вышли с крытого стеклом, закопчённого вокзала на широкую, заросшую деревьями улицу, разделённую на две половины огромными дубами, высаженными вдоль центральной аллеи. В нескольких кварталах отсюда находились доки и пристань. Пахло рыбой.

Вдоль берега реки тянулась широкая эспланада, ограниченная линией деревьев с красными листьями. Идельба зашагала по набережной, похожей на набережную у озера Тури, только гораздо более величественную, с которой свернула потом на узкую улочку, застроенную трёхэтажными жилыми домами, первые этажи которых занимали рестораны и магазины. По ступенькам они поднялись в одно из этих зданий и свернули в коридор с тремя дверями. Идельба позвонила в среднюю из них, дверь открылась, и их впустили в квартиру, похожую на разрушенный старый дворец.

2

Как оказалось, не старый дворец, а старый музей. Помещения в нём не слишком впечатляли своими размерами, зато их было много. Судя по голым навесным потолкам, резким разрывам во фресках и узорах деревянных панелей, большие залы давно разделили и размежевали. Обстановка большинства комнат состояла лишь из одной кровати или раскладушки, а в большой кухне собрались женщины или готовившие еду, или ожидавшие ужина. Женщины, по большей части, были худыми. Было шумно от разговоров и печных вентиляторов.

— Что это за место? — спросила Будур Идельбу среди всеобщего гвалта.

— Это завия[47]. Что-то вроде пансиона для женщин. Антигарем, — добавила она с невесёлой улыбкой.

Она объяснила, что завии, традиционные для Магриба, теперь получили широкое распростра-

---

[47] Примечания: 47

В переводе с араб. яз. «угол»; келья, обитель. Первоначально — помещение в мечети или при ней, где велось обучение мусульман (именно мужчин). Здесь же речь идёт о переосмысленном, «женском», убежище, созданном после Долгой Войны (*прим. ред.*).

нение и в Фиранджe. Война оставила в живых гораздо больше женщин, чем мужчин, несмотря на повальную смертность двух последних десятилетий, когда и гражданские гибли чаще военных, и женские бригады стали обычным явлением для обеих воюющих сторон. В Тури и других Альпийских Эмиратах гораздо больше мужчин, чем в большинстве стран, не ушли на фронт, оставшись дома вкалывать на оружейных производствах, так что Будур была наслышана о спаде рождаемости, но никогда не сталкивалась с проблемой воочию. Завии же, по словам Идельбы, до сих пор были формально запрещены, поскольку законы, не позволяющие женщинам владеть имуществом, так и не утратили силу; собственность приходилось оформлять на мужчин или пользоваться другими лазейками, благодаря чему здесь исправно функционировали десятки и сотни завий.

— Почему ты не поселилась здесь после смерти мужа? — спросила Будур.

Идельба нахмурилась.

— Мне нужно было уехать на некоторое время.

Им отвели комнату с тремя кроватями, но без соседки. Лишняя кровать служила им письменным столом. В комнате было пыльно, из

маленького окна открывался вид на другие закопчённые окна и вентиляционную шахту между домами, как называла это Идельба. Здания здесь жались друг к другу так тесно, что такие шахты для воздуха были необходимы.

Но они не жаловались. Кровать, кухня, окружившие их женщины — Будур всё устраивало. Но Идельбу по-прежнему что-то терзало, что-то, связанное с её племянником Пьяли и его работой. В их новой комнате она посмотрела на Будур с беспокойством, которого не могла скрыть.

— Следовало бы отправить тебя обратно к отцу. У меня и без того полно неприятностей.

— Нет. Я никуда не поеду.

Идельба уставилась на неё.

— Напомни, сколько тебе лет?

— Мне двадцать три года — будет через два месяца.

Идельба удивилась.

— Я думала, ты моложе.

Будур покраснела и опустила глаза. Идельба поморщилась.

— Прости. Это всё гарем. И отсутствие женихов. Но послушай меня, так нельзя.

— Я хочу остаться здесь.

— Что ж, пусть так, но нужно сообщить отцу,

где ты находишься, и объяснить, что я тебя не похищала.

— Он приедет и заберёт меня.

— Нет. Я так не думаю. В любом случае ты должна дать о себе знать. Позвони ему или напиши письмо.

Будур боялась говорить с отцом даже по телефону. Письмо показалось ей заманчивой идеей. Она сможет объясниться с ним, не выдавая своего местонахождения.

Она написала:

Дорогие папа и мама!

Я ушла следом за тётей Идельбой, но она ничего об этом не знала. Я приехала в Нсару, чтобы здесь жить и получать образование. В Коране сказано, что все дети Аллаха равны в Его глазах. Я продолжу писать вам и другим родственникам каждую неделю, рассказывая о своих делах, и буду вести размеренную жизнь здесь, в Нсаре, ничем не позоря честь нашей семьи. Я живу в хорошей завии с тётей Идельбой, и она обо мне позаботится. Здесь живёт много молодых женщин, они все мне помогут. А учиться я буду в медресе. Пожалуйста, передайте Ясмине, Реме, Айше, Наве и Фатиме, что я их очень люблю.

Ваша любящая дочь, Будур.

Она отправила письмо и после этого перестала вспоминать Тури. Оно помогло ей перестать чувствовать себя такой виноватой. Проходили недели, занятые канцелярской работой, уборкой, стряпнёй и прочими хлопотами по завии, а также подготовкой к началу обучения в институте при медресе, и со временем она поняла, что не дождётся ответного письма от отца. Мать была

неграмотна, а кузинам наверняка запретили ей писать, да они, возможно, и сами сердились на Будур за то, что та их бросила; и никто не пошлёт за ней вдогонку брата, а он и не захочет ехать, и полиция не арестует её и не отправит в пломбированном вагоне в Тури — такого ни с кем не случалось. Тысячи женщин убегали из родных домов, тем самым освобождая домочадцев от бремени заботы о себе. То, что в Тури казалось незыблемой системой законов и обычаев, которой следовал весь мир, на поверку оказалось не более чем устаревшей моралью одного-единственного, отживающего свой век сегмента культуры, застрявшего в горах, консервативного, отчаянно выдумывающего панисламские «традиции» даже тогда, когда они таяли на глазах, как утренний туман или (что более уместно) дым на поле боя. Она никогда туда не вернётся — вот и всё! И никто её не заставит. Никто как будто и не хотел её заставлять, вот чего она не ожидала. Иногда ей казалось, что это не она сбежала, а они её бросили.

Однако каждый день, покидая завию, Будур поражалась этой фундаментальной истине: она больше не жила в гареме. Она могла идти туда, куда хотела и когда хотела. Одного этого

было достаточно, чтобы вскружить ей голову и вселить в неё странное чувство свободы, самостоятельности, почти чрезмерного счастья на грани дезориентации или даже паники; как-то раз, на пике этой эйфории, она увидела со спины человека, выходящего с вокзала, и на секунду приняла его за отца — и обрадовалась, испытав облегчение; но это был не он, и весь остаток дня её руки дрожали от гнева, стыда, страха и тоски.

Вскоре это повторилось. И повторялось несколько раз, пока она не начала воспринимать эти моменты, как промелькнувшие в зеркале призраки её прошлой жизни, которая никак не отпускала: отец, дяди, брат, кузены на поверку всегда оказывались лицами разных незнакомцев, чьё сходство с её родными заставляло Будур вздрогнуть, а сердце — забиться от страха, хотя она и любила свою семью. Она была бы безумно рада узнать, что ею гордятся и что она достаточно небезразлична, чтобы приехать за ней. Но если это означало возвращение в гарем, Будур не хотела их больше видеть. Отныне она не будет подчиняться ничьим правилам. Даже обычные, разумные правила теперь вызывали у неё резкий всплеск гнева, мгновенное и абсолютное «нет», которое звенело воплем в её жилах. Ислам в бук-

вальном смысле слова означал покорность: но «нет»! Она разучилась покоряться. Женщина из дорожного патруля сделала ей предупреждение не переходить оживлённую портовую дорогу в неположенных местах — Будур обругала её. Внутренний распорядок в завии — она скрежетала зубами. Не оставляйте грязную посуду в раковине, помогайте со стиркой по четвергам — «нет».

Но весь этот гнев ничего не стоил в сравнении с фактом её свободы. Просыпаясь по утрам, она вспоминала, где находится, и вскакивала с постели, полная восхитительной энергии. За час энергичной работы в завии она успевала привести себя в порядок, позавтракать, переделать часть дежурных работ, перемыть посуду и ванные комнаты — все домашние дела, которые требовалось выполнять снова и снова, чем дома занимались слуги, но насколько правильнее было посвящать такой работе по часу в день, нежели другим людям убивать на неё целые жизни! С какой ясностью она теперь видела, что по этой модели и должны строиться трудовые взаимоотношения между людьми!

Отхлопотав своё, она выходила на свежий океанский воздух, как будто он был наркотиком, солёным и мокрым; иногда со списком покупок,

иногда с одной сумкой, где лежали книги и письменные принадлежности. Куда бы ни лежал путь, она всегда шла через гавань, чтобы смотреть на океан с причала и чувствовать ветер, треплющий флаги. Одним погожим утром она стояла на краю причала; ей не нужно было никуда идти, и ничего делать, и никто на всём белом свете, кроме неё самой, не знал, где она находилась в этот момент. Боже, вот это чувство! В гавани стояли корабли, бурая вода убегала в море с отливом, небо было бледно-голубым, и в этот миг Будур расцвела, и в груди у неё разлились океаны облаков — и она разрыдалась от счастья. Ах, Нсара! Нсссарррррра!

Но обычно первым пунктом в списке её утренних дел стояло посещение Дома солдат-инвалидов Белого Полумесяца, огромного переоборудованного армейского барака, расположенного далеко вверх по речному парку. Это было одно из тех занятий, которые ей подсказала Идельба, и для Будур оно стало одновременно душераздирающим и духоподъёмным, каким предполагался пятничный поход в мечеть, но почему-то никогда таким не был. Большую часть барака и госпиталя занимали несколько тысяч незрячих солдат, ослепших из-за воздействия газа на восточном фронте. По утрам они молча рассаживались на

койках, на стульях или в инвалидных колясках, кто как, и им читали вслух, обычно женщины: тонкие чернильные страницы ежедневных газет, разные книги, а в некоторых случаях даже Коран и хадисы, хотя они пользовались меньшей популярностью. Многие ветераны не только ослепли, но и получили ранения, лишившись возможности ходить и даже двигаться; они сидели, кто без половины лица, кто без ног, сознавая, как должны выглядеть со стороны, повернувшись в сторону чтецов с голодным, пристыжённым видом, будто хотели растерзать их и съесть, от безвыходной любви или горькой обиды, или того и другого вместе. Будур никогда в жизни не видела таких неприкрытых эмоций на лицах и старалась не отрывать глаз от того, что читала, словно, стоило ей поднять на них взгляд, как они тут же всё поймут и отпрянут или зашипят на неё враждебно. Её боковому зрению открывалась картина прямиком из кошмара, будто одно из помещений ада вынули из подземного мира, чтобы продемонстрировать обитателей, ожидающих суда, которого они уже дождались при жизни. Несмотря на все попытки не смотреть, на каждом чтении Будур замечала слёзы на их лицах, независимо от того, что она читала, будь

то хоть сводки погоды из Фиранджи, Африки и Нового Света. Погода была одной из их излюбленных тем.

Среди других чтиц были некрасивые женщины, которые тем не менее обладали прекрасными голосами, низкими и ясными, мелодичными, — женщины, которые пели всю свою жизнь, сами того не зная (а знание испортило бы эффект); когда они читали, многие слушатели подавались вперёд в своих койках и инвалидных колясках, восторженные, влюбляясь в женщину, на которую даже не взглянули бы, если бы могли её видеть. Будур замечала, что некоторые мужчины так же подавались и к ней, хотя в собственных ушах её голос звучал отталкивающе тонко и скрипуче. Но у него нашлись свои поклонники. Иногда она читала им сказки о Шахерезаде, обращаясь к ним так, словно они были гневливым царём Шахрияром, а она — хитроумной сказочницей, оставшейся в живых ещё на одну ночь; и однажды она вышла из этого преддверия ада на влажный свет пасмурного полудня, и её чуть не сбило с ног осознание того, как старинная история перевернулась с ног на голову: Шахерезада была вольна уйти, в то время как Шахрияры оставались навеки заключены в своих искале-

ченных телах.

3

Закончив там, она шла через базар на занятия по предметам, выбранным тётей Идельбой. Эти занятия от медресе проходили в буддийском монастыре, совмещённом с больницей, и из денег, одолженных у Идельбы, Будур оплатила три курса: основы статистики (которые, кстати говоря, начинались с элементарной арифметики), бухучёт и историю ислама.

Последний вела женщина по имени Кирана Фавваз, невысокая смуглая алжирка с внушительным голосом, хриплым от сигарет. На вид ей было лет сорок — сорок пять. На первом уроке она рассказала им, что служила в полевых госпиталях, а позже, ближе к концу Накбы (Катастрофы, как часто называли войну), в магрибских женских батальонах. Однако она ничем не напоминала солдат из дома Белого Полумесяца; она прошла Накбу с видом победительницы и с порога заявила, что они бы наверняка выиграли войну, если бы не предательство на родине и за границей.

— Кто нас предал? — спросила она своим резким вороньим голосом, видя непонимание на лицах. — Отвечу: священнослужители. Весь наш

народ. И сам ислам.

Слушатели смотрели на неё во все глаза. Кто-то испуганно склонил голову, словно ожидая, что Кирану вот-вот или арестуют на месте, или поразит молния. Ну, или, на худой конец, вечером переедет нежданный трамвай. В классе было и несколько мужчин (один, с повязкой на глазу, сидел рядом с Будур), но никто ничего не сказал, и урок продолжился как ни в чём не бывало, будто такие слова могли остаться без последствий.

— Ислам — последний из древних монотеизмов пустынь, — говорила Кирана. — Это аномалия, пережившая свой век. Ислам развивался по образу и подобию более ранних пастушьих монотеизмов Среднего Запада, предвосхитивших Мухаммеда по меньшей мере на несколько столетий: христианство, ессеи, иудеи, зороастрийцы, митраисты и так далее. Сильный патриархальный уклон этих религий вытеснил древние матриархальные политеизмы, созданные первыми земледельческими цивилизациями, в которых боги обитали в каждом освоенном растении, а роль женщины признавалась ключевой для производства пищи и новой жизни.

Ислам же, будучи самым молодым из них, мог вносить коррективы в более ранние монотеизмы.

Он мог стать лучшей монотеистической религией, и во многих отношениях так оно и было. Но поскольку ислам возник в Аравии, разрушенной войнами Римской империи и христианских государств, с самого начала ему пришлось столкнуться с состоянием почти абсолютной анархии, племенной войны всех против всех, в которой женщины всецело зависели от воли воюющих сторон. Из таких дебрей никакая молодая религия не смогла бы взлететь высоко.

Тогда и появился Мухаммед, пророк, который пытался делать добрые дела и выстоять в войне, в то время как ему слышались божественные голоса — а порой и пустой трёп, о чём свидетельствует Коран.

Послышались возгласы, и несколько женщин встали и вышли из аудитории. Однако все мужчины остались, словно приворожённые.

— Говорил ли с ним Бог, или он просто проговаривал всё, что приходило ему в голову, не имело значения: поначалу это давало хорошие результаты. Произошли колоссальные подвижки в законах, правосудии, правах женщин, общем понимании порядка и месте человека в истории. Именно это чувство справедливости и божественного предназначения и придало исламу

уникальную силу на первые несколько столетий от Хадиса, когда он подмял под себя весь мир, несмотря на то, что не обещал никаких особых материальных преимуществ, — редкий для мировой истории, эталонный пример, демонстрирующий силу, которой может обладать всего лишь идея.

Но потом появились халифы, султаны, раздоры, войны, богословы и их хадисы. Хадисы переросли сам Коран; они ухватились за каждую ниточку женоненавистничества, разбросанного, по существу, в феминистской работе Мухаммеда, и соткали из них саван, в который завернули Коран, сочтя его слишком радикальным для воплощения в жизнь. Поколениями патриархальные богословы собирали многочисленные хадисы, не имевшие никаких коранических предпосылок, тем самым восстанавливая неправосудную тиранию, ссылаясь на зачастую ложные источники, передаваемые индивидуально из уст мужчины-учителя в уста мужчины-ученика, как будто ложь, прошедшая три или десять поколений мужчин, каким-то чудом трансформируется в истину. Но так не бывает.

И поэтому ислам, как и христианство, и иудаизм до него, переживал застой и вырождение.

Из-за его широчайшего распространения заметить этот крах оказалось не так-то просто; более того, окончательно это прояснилось лишь в ходе Накбы. Но переиначивание ислама стоило нам победы в войне. Победу Китаю, Траванкору и Инчжоу принесли именно женские права, и ничто иное. А их отсутствие в исламе превратило половину населения в бесполезный, безграмотный скот и вылилось в поражение в войне. Невероятный интеллектуальный и технический прогресс, начатый исламскими учёными, был подхвачен и доведён до гораздо больших высот буддийскими монахами Траванкора и японской диаспорой. Вскоре к этой технической революции подключились Китай и свободные штаты Нового Света, фактически весь мир, кроме дар аль-ислама. Аж до середины Долгой Войны мы продолжали полагаться на верблюдов. Когда все города строятся по принципу касбы или медины, утрамбованные, как лотки на базаре, а дороги не пропускают ничего, шире пары верблюдов, о модернизации говорить не приходится. Только военные разрушения городских центров позволили нам взяться за современное строительство, и только наша отчаянная попытка защитить себя привела к маломальскому промышленному прогрессу. Но

спохватились мы слишком поздно.

К этому моменту в аудитории оставалось значительно меньше людей, чем в начале лекции Кираны Фавваз; две девушки, уходя, воскликнули, что донесут о таком богохульстве священникам и полиции. Но Кирана Фавваз лишь прервалась на то, чтобы закурить сигарету, и помахала им вслед, после чего продолжила.

— Далее, — говорила она спокойно, неумолимо и безжалостно. — После Накбы все ценности должны быть переосмыслены, все. Ислам должен быть пересмотрен от вершков до корешков в попытке оздоровить его, если это возможно, в попытке вернуть нашей цивилизации способность к выживанию. Но, несмотря на эту очевидную потребность, староверы продолжают талдычить исковерканные древние хадисы, точно волшебные заклинания, вызывающие джиннов, а в государствах вроде Афганистана, Судана, и даже в некоторых уголках Фиранджи, таких как Альпийские Эмираты и Скандистан, правит хезболла, и женщины вынуждены носить чадру и хиджабы, жить в гаремах, а стоящие у власти мужчины делают вид, что живут в Багдаде или Дамаске 300-го года, и ждут, пока придёт Харун ар-Рашид и всё исправит. С таким же успехом они могут при-

твориться христианами и уповать, что соборы вырастут из-под земли и Иисус сойдёт с небес.

4

Пока Кирана говорила, перед мысленным взором Будур вставали слепцы из госпиталя, обнесённые стенами дома на улицах Тури, отец, вслух читающий её матери, вид океана, белый мавзолей в джунглях — всё, что было в её жизни, и многое, о чём она никогда раньше не думала. Она сидела, разинув рот, потрясённая, напуганная, но также и вдохновлённая каждым шокирующим словом: они подтверждали всё, о чём она догадывалась в свои неискушённые, упрямые, яростные детские годы, запертая в стенах отцовского дома. Всю жизнь она провела, думая, что что-то серьёзно не так с ней самой, или с миром, или со всем одновременно. Теперь же реальность словно разверзлась перед ней, наподобие люка, и все её подозрения подтвердились с фанфарами. Она даже ухватилась за сиденье своего стула, засмотревшись на лектора, словно заворожённая ею, как огромным ястребом, кружившим над головой; заворожённая не только её гневным анализом всего, что пошло не так, но и портретом самой Истории, который она рисовала как бесконечно длинную вереницу событий, приведшую

к этому конкретному моменту, здесь и сейчас, в этот залитый дождём западный портовый город; заворожённая оракулом самого времени, вещавшим прокуренным и настойчивым вороньим голосом. Столько уже произошло нахд и накб, как часто они повторялись — что можно было сказать на это? Требовалось мужество просто для того, чтобы попытаться.

Но Киране Фавваз мужества было явно не занимать. Она замолчала и оглядела полупустую аудиторию.

— Ну что ж, — бодро сказала она, лёгкой улыбкой отвечая на округлившийся взгляд Будур, чем-то напоминавший удивлённые рыбьи морды в ящиках на рынке. — Похоже, всех, кого можно отпугнуть, мы уже отпугнули. Лишь храбрые сердцем остались продолжить путешествие по этой тёмной стране, нашему прошлому.

Храбрые сердцем или слабые телом, подумала Будур, оглядываясь вокруг. Старый однорукий солдат невозмутимо наблюдал за происходящим. Рядом с ней по-прежнему сидел одноглазый мужчина. Несколько женщин разного возраста беспокойно озирались по сторонам, ёрзая на своих местах. Некоторые, судя по их виду, были бездомными, а одна из них ухмылялась во весь

рот. Совсем не то представляла себе Будур, слушая рассказы Идельбы о медресе и высших учебных заведениях Нсары; нет, это были отбросы дар аль-ислама, несчастные жертвы Накбы, лебеди на зимовке: женщины, потерявшие мужей, женихов, отцов, братьев, осиротевшие и с тех пор не имевшие возможности встретить ни одного мужчину, и сами пострадавшие в войне, включая незрячего ветерана, вроде тех, кому читала Будур, кого привела на занятия сестра, прихватив его однорукого соседа с повязкой на глазу; ещё здесь были мать и дочь ходеносауни, в высшей степени уверенные в себе и полные достоинства, спокойные, заинтересованные, но ничем не рискующие, и портовый грузчик с больной спиной, который, скорее всего, приходил сюда спасаться от дождя шесть часов в неделю. Вот кто остался: потерянные души города, ищущие себе занятие, не уверенные в том, чего хотят. Но, возможно, хотя бы пока суд да дело, можно было остаться здесь и выслушать строгую лекцию Кираны Фавваз.

— Чего я хочу, — сказала она дальше, — так это прорваться через все байки, миллионы баек, которые мы сочиняли, чтобы оградиться от реальности Накбы, и подобраться к объяснению, к сути случившегося, вы меня понимаете? Это

такое же введение в историю, как у Хальдуна, только высказанное в диалоге между нами. В течение курса я буду давать вам различные темы для углублённого изучения. Ну а пока пойдёмте выпьем.

В сумерках долгого северного вечера она повела их в кафе за доками, где они встретили знакомых из других сфер её жизни, которые уже ужинали, курили сигареты или пыхали дымом из общих кальянов и пили густой кофе из маленьких чашек. Они сидели и разговаривали, пока за окном сгущались сумерки, и потом, когда уже совсем стемнело и доки были пустынны и спокойны, в чёрной воде дрожали, отражаясь, огни гавани. Мужчина с повязкой на глазу оказался другом Кираны; звали его Хасан, и, представившись, он предложил Будур место на лавке у стены рядом с ним и компанией его приятелей, среди которых были певцы и актёры из института и городских театров.

— Смею заметить, — обратился он к остальным, — что моя сокурсница была весьма впечатлена вступительным словом нашего профессора.

Будур застенчиво кивнула, и все посмеялись. Она заказала себе чашку кофе.

Разговоры за грязными мраморными столи-

ками велись обо всём, как и в любых подобных заведениях, даже в Тури. Газетные новости. Итоги войны. Слухи о городских чиновниках. Спектакли и кинофильмы. Кирана иногда отдыхала и только слушала, иногда говорила так, словно продолжала читать лекцию.

— Иран — это виноград истории: его всегда давят, когда делают вино.

— Некоторые вина лучше других…

— И ради них все великие цивилизации должны быть наконец уничтожены.

— Ты повторяешь слова аль-Каталана. Слишком просто.

— Мировая история должна стать проще, — сказал старый однорукий солдат, которого, как выяснила Будур, звали Насер Шах; акцент, с которым он говорил на фиранджийском, выдавал в нём иранца. — Весь фокус в том, чтобы добраться до причин происходящего, выявить некий общий исторический смысл.

— А если его нет? — спросила Кирана.

— Есть, — спокойно ответил Насер. — Все люди, когда-либо жившие на Земле, своими совместными действиями создали всемирную историю. Это всё одна повесть, и в ней прослеживаются определённые закономерности. Например,

коллизионные теории Ибрагима аль-Ланьчжоу. Конечно, они опять сводятся к принципу инь-ян, но из них ясно: многое из того, что мы называем прогрессом, происходит от столкновения двух культур.

— Прогресс через столкновение, что это за прогресс такой? Видел на днях два трамвая, после того как один сошёл с рельсов?

Кирана сказала:

— Ключевые цивилизации по аль-Ланьчжоу воплощают собой три логически возможные религии: ислам верит в одного Бога, Индия — во многих богов, а Китай не верит в богов вообще.

— Поэтому Китай и победил, — вставил Хасан, и его единственный глаз озорно сверкнул. — Они оказались правы. Земля затвердела из космической пыли, жизнь зародилась и развивалась, пока какая-то обезьяна не начала издавать всё больше и больше звуков, и так появились мы. И никакого Бога, никакой мистики, никаких бессмертных душ, многократно перевоплощающихся. Только китайцы смотрели на вещи трезво, ставя во главу угла науку, не почитая никого, кроме предков, и трудясь только на благо потомков. Вот почему они главенствуют над всеми нами!

— Просто их больше, — сказала одна сомни-

тельная женщина.

— Но они в состоянии прокормить больше людей на меньших территориях. Это доказывает их правоту!

— Сила цивилизации может быть и её слабостью, — заметил Насер. — Мы в этом убедились за время войны. Отсутствие религии сделало китайцев ужасно жестокими.

Пришли женщины ходеносауни с курсов и присоединились к ним; они тоже были знакомы с Кираной. Та приветствовала их словами:

— Вот они, наши завоеватели, народ, где женщины наделены властью! Интересно, можем ли мы судить о цивилизациях по тому, какую роль играют в них женщины?

— Женщины их строят, — заявила старшая из присутствующих дам, которая до сих пор сидела молча и вязала. Ей было не меньше восьмидесяти, и потому она застала войну почти целиком, с начала и до конца, с младенчества и до старости. — Нет цивилизации, дома которой женщины не строили бы изнутри.

— Ну, тогда по тому, какой политической властью обладают женщины и как спокойно к этому относятся их мужчины.

— Это точно китайцы.

— Нет, ходеносауни.

— А не траванкорцы?

Никто не рискнул ответить.

— В этом нужно разобраться! — решила Кирана. — Это будет одним из ваших заданий. История женщин в других мировых культурах: их действия как политических единиц, их судьбы. То, что это упущено из истории, как мы изучали её до сих пор, — явный признак того, что мы всё ещё живём на руинах патриархата. И особенно это касается ислама.

5

Будур, разумеется, в подробностях рассказала Идельбе о лекции Кираны и посиделках после курсов, восторженно описывая всё, пока они вместе мыли посуду, и потом, когда стирали простыни. Идельба кивала и заинтересованно задавала вопросы, но в конце сказала:

— Надеюсь, ты не забросишь занятия по статистике. Разговоры на эти темы могут продолжаться бесконечно, но только с помощью цифр ты можешь добиться чего-то за рамками разговоров.

— Что ты имеешь в виду?

— Мир приводят в действие числа, законы физики, выраженные математически. Разбираясь в них, ты получаешь лучшее представление о природе вещей. И приобретаешь новые навыки для потенциальной работы. Кстати, думаю, я могу устроить тебя на работу мыть колбы в лаборатории. Тебе пойдёт это на пользу: и дополнительный заработок, и опыт, который можно получить только на работе. Не увязай в болоте разговоров за кофе.

— Но и разговоры бывают полезны! Я узнаю из них столько нового, не только об истории, но и о

её значении. Разговоры ставят всё на свои места, как у нас в гареме.

— Вот именно! В гареме можно болтать, сколько твоя душа пожелает! Но изучать науки можно только в институтах. Раз уж ты потрудилась приехать сюда, постарайся не упустить такую возможность.

Это заставило Будур задуматься. Идельба поняла это и продолжала:

— Даже если ты захочешь изучать историю, что вполне разумно, для этого есть способы, выходящие за рамки разговоров в кафе: можно исследовать реальные объекты и артефакты прошлого, делая выводы на основе конкретных физических доказательств, как и в других науках. В Фиранджe полно древностей, которые впервые исследуются с таким научным подходом, и это очень интересно. И потребуются десятилетия, а то и века, чтобы изучить их все.

Она выпрямилась, схватившись за поясницу и потирая её, и посмотрела на Будур.

— Поедем со мной на пикник в пятницу. Я свожу тебя на побережье и покажу менгиры.

— Менгиры? Что это такое?

— В пятницу увидишь.

И вот в пятницу они на трамвае отправились

на север побережья, доехали до конечной, где пересели на автобус и ехали ещё полчаса, разглядывая яблоневые сады и просвечивающий местами тёмно-синий океан. Наконец на одной остановке Идельба вышла, и они двинулись на запад от крошечной деревушки, сразу угодив в лес огромных стоячих камней, длинными рядами выстроившихся на слегка холмистой зелёной равнине, тут и там прерывавшейся массивными старыми дубами. Зрелище было ни с чем не сравнимое.

— Кто их здесь оставил? Франки?

— Кто-то ещё до франков. Возможно, даже до кельтов. Никто точно не знает. Относящиеся к ним поселения пока не были с точностью установлены, поэтому и трудно определить, когда именно вытесали и установили здесь эти камни.

— Наверное, столетия ушли на то, чтобы всё это построить, не меньше!

— Смотря сколько человек выполняло эту работу, надо думать. Может, тогда здесь проживало столько же людей, как сейчас, кто знает? Впрочем, думаю, вряд ли, ведь мы не находили здесь разрушенных городов, таких, как в Египте и на Среднем Западе. Нет, население должно было быть меньше, а времени и усилий затрачено

больше.

— Но как историку с этим работать? — спросила Будур, когда они шагали вдоль одного из длинных коридоров, созданных рядами камней, разглядывая узоры из чёрного и жёлтого лишайника, проросшего на их шероховатой поверхности. Большинство камней были невероятно огромными — примерно вдвое выше Будур.

— Изучать предметы, а не истории. Это несколько отличается от истории как таковой, скорее, это научное исследование материальной среды, в которой жили древние люди, вещей, которые они создавали. Это археология. Опять-таки, наука, зародившаяся в Сирии и Ираке в период первого исламского расцвета, а затем заброшенная до начала Нахды[48]. Нынешнее понимание физики и геологии достигло того уровня, при котором постоянно изобретаются всё новые методы исследования. В ходе строительных и восстановительных работ из-под земли извлекают всевозможные находки, и люди отправляются на новые поиски уже специально, и всё это приводит к захватывающим результатам. Эта наука

[48] Примечания: 48

Возрождение высокой исламской культуры в некоторых городах, таких, как Тегеран и Каир, за полвека до начала Долгой Войны, которая погубила всё (*прим. пер.*).

только набирает обороты, если ты понимаешь, к чему я. Она очень любопытна. А Фиранджа, как оказалось, одно из лучших мест для её практики. Ведь это такая древняя страна.

Идельба обвела рукой длинные ряды камней, словно побеги, посеянные великими каменными богами, которые так и не вернулись собрать урожай. Над головой летели облака, голубое небо казалось плоским и низким.

— Помимо этих камней и каменных кругов есть ещё каменные гробницы, памятники и целые деревни из камня в Британии. Когда-нибудь я возьму тебя с собой на Оркнейские острова. Возможно, мне как раз придётся скоро туда отправиться; поедем вместе. А ты подумай пока о том, чтобы заняться такой наукой. Она послужит тебе опорой, пока ты будешь заслушиваться мадам Фавваз и её сказками Шахерезады.

Будур провела рукой по камню, покрытому тонким многоцветным лишайником. Мимо проносились облака.

— Я подумаю.

6

Курсы, новая работа в лаборатории Идельбы, прогулки по докам и пристани, мечты о новом симбиозе ислама, который включал бы в себя самое важное из буддизма, превалирующего в лаборатории, — дни Будур проходили в круговороте мыслей, подпитываемом всем, что она видела и делала. Большая часть женщин в лаборатории Идельбы были буддистскими монахинями, и многие из мужчин — монахами. Сострадание, правильность поступков, некое агапэ, как называли это древние греки — призраки этих мест, уже тогда мыслившие в верном направлении, в потерянном раю, где даже история потерянного рая была известна в форме рассказов Платона об Атлантиде, оказавшихся правдой согласно последним находкам учёных, раскопавших её в критских руинах.

Будур задумалась над обучением в этой новой сфере — археологии; истории, которая выходила за рамки разговоров и становилась настоящей наукой… Люди в этой профессии представляли собой странную компанию: геологи, архитекторы, физики, коранисты, историки — все они изучали

не просто прошлое, но то, что от него осталось.

Тем временем разговоры на лекциях Кираны и в кафе после них продолжались. Как-то вечером в кафе Будур спросила Кирану, что та думает об археологии, и она ответила:

— Да, археология важна, не спорю. Хотя стоячие камни и немногословны и не хотят нам ничего рассказывать. Зато на юге обнаружили пещеры, заполненные настенными рисунками, которые кажутся очень древними, даже более древними, чем греки. Я могу подсказать тебе имена людей в Авиньоне, которые этим занимаются.

— Спасибо.

Кирана отхлебнула кофе и некоторое время слушала остальных. Затем на фоне общего гомона она обратилась к Будур:

— Помимо теорий, которые мы обсуждаем, мне кажется интересным то, что не попадает в летописи. Особенно это касается женщин, потому что многое из того, что мы делали, никогда никуда не попадало. Обычное, знаешь ли, повседневное существование. Работа по воспитанию детей, кормлению семьи и сохранению домашнего очага переходила из поколения в поколение как устный фольклор. Маточная культура, как называла это Кан Тунби. Непременно прочти её

работу. Так вот, в маточной культуре нет явных династий, войн, новых континентов, которые нужно открывать, и поэтому историки никогда не пытались её объяснить — что она собой представляет, как передаётся, как меняется с течением времени в зависимости от материальных и социальных условий. Точнее, меняется вместе с ними, в переплетении.

— В гареме всё это ясно как день, — сказала Будур нервно, ощущая соприкосновение их коленей. Кузина Ясмина достаточно часто проводила среди девушек секретные «практические уроки» по поцелуям и прочему, чтобы теперь Будур прекрасно понимала, что означает нажим со стороны Кираны. Она решительно проигнорировала её колено и продолжила: — В этом есть что-то от Шахерезады. Мы рассказываем истории, чтобы наладить контакт. Так будет выглядеть и вся женская история — как череда сказок, рассказанных друг за другом. И каждый день весь процесс будет повторяться снова.

— Да, история Шахерезады — хорошая сказка о том, как иметь дело с мужчинами. Но должен быть лучший способ женщинам передавать историю молодым поколениям девушек. У греков был интереснейший пантеон, полный богинь,

моделирующих различные типы межженских отношений. Деметра, Персефона… Есть замечательная поэтесса, которая писала об этом, Сафо. Ты о ней не слышала? Я дам тебе книги.

7

Это положило начало долгой череде разговоров тет-а-тет за чашкой кофе, поздними вечерами в омытых дождями кафе. Кирана давала почитать Будур книги на самые разные темы, но чаще всего по истории Фиранджи: выживание Золотой Орды после чумы, истребившей христиан, сохраняющееся влияние кочевой организации Орды на сегодняшнюю культуру скандистанских государств, заселение магрибцами Аль-Андалуса, Нсары и кельтских островов, территориальные споры между двумя народами, населяющими долину Рейна. В других сочинениях описывалось расселение турок и арабов по Балканам, усугубившее междоусобицу в эмиратах Фиранджи — маленьких государствах-тайфах, которые воевали веками, храня верность суннитам или шиитам, суфиям или ваххабитам, тюркам, магрибцам или татарам; они воевали за господство, за выживание, порой отчаянно, создавая условия, в которых женщины, как правило, угнетались, и только на самом дальнем западе какие-то подвижки в культуре наблюдались ещё до начала Долгой Войны — эту прогрессивность Кирана

связывала с близостью океана и морским сообщением с другими народами, а также с корнями Нсары, основанной как убежище для отщепенцев и маргиналов, более того, женщиной, легендарной беженкой, султаншей Катимой.

Будур стала приносить книги в госпиталь и читать их вслух своим слепым солдатам. Она прочла им историю Славной революции Рамадана, когда тюркские и киргизские женщины возглавили захват электростанций на больших водохранилищах за Самаркандом и переселились в руины легендарного города, который почти век простоял заброшенным из-за серии сильных землетрясений; о том, как они создали новую республику, в которой священные законы Рамадана действовали весь год, и жизнь стала единым актом божественного поклонения, и все были абсолютно равны, мужчины и женщины, взрослые и дети, и в городе, вернувшем былую славу десятого века, процветали культура и право, и все жили счастливо, пока иранский шах не направил свои армии на восток и не сокрушил их как еретиков.

Солдаты слушали и кивали. Так оно и бывает, говорили их молчащие лица. Добро всегда сокрушают. Тем, кто видит дальше всех, выкалывают

глаза. Будур, замечая, как они ловят каждое слово, словно голодные собаки, наблюдающие за людьми, пока те обедают в уличных кафе, принесла им почитать ещё и другие взятые взаймы книги. «Книга царей» Фирдоуси, огромный эпос, описывающий Иран до ислама, имела большой успех. А также суфийский поэт-лирик Хафиз, и, разумеется, Руми и Хайям. Будур же особенно нравилось читать отрывки из своего экземпляра «Мукаддимы» Ибн Хальдуна с подробными комментариями.

— В Хальдуне так много всего, — сказала она своим слушателям. — Всё, чему я учусь в институте, я нахожу уже здесь, у Хальдуна. Одна моя преподавательница увлечена теорией, согласно которой мир состоит из трёх или четырёх основных цивилизаций, каждая из которых является центровым государством, окружённым периферийными государствами. А теперь послушайте, что пишет Хальдун в разделе, озаглавленном «Каждой династии принадлежит определённое число провинций и земель, и не более».

Она прочла:

— «Когда династические группы распространяются за пограничные регионы, их численность неизбежно сокращается. Таким образом насту-

пает момент, когда династическая территория достигает своего максимального размаха, где пограничные области формируют пояс вокруг центра царства. И если после этого династия предпримет попытки расшириться ещё дальше за пределы своих владений, её расширяющаяся территория останется без военной обороны, беззащитная перед нападением любого потенциального врага или соседа. И это влечёт пагубные последствия для династии».

Будур подняла голову.

— Это сжатое изложение теории ядра-периферии. Хальдун также обращает внимание на отсутствие такого ядра в исламском мире, вокруг которого могут сплотиться другие государства.

Её слушатели закивали; об этом они знали — отсутствие координации действий альянса на различных фронтах войны было всем известной проблемой, иногда приводившей к ужасным последствиям.

— Хальдун также рассматривает системную проблему исламской экономики, берущую корни ещё в бедуинских практиках. Он говорит об этом: «Места, которые сдаются на милость бедуинам, быстро погибают. Причина в том, что бедуины — варварский народ, приспособленный

к варварству и условиям, которые его вызывают. Варварство у них в характере и в крови. И им это нравится, потому что даёт свободу от властей и возможность не поклоняться вождям. Подобное естественное предрасположение есть отрицание и антитеза цивилизации». Он продолжает: «Их природа — отнимать всё, чем владеют другие люди. Они ищут пропитание там, где падает тень от их копий». После этого он описывает трудовую теорию стоимости, говоря: «Труд — вот реальная основа прибыли. Когда труд не ценится и выполняется даром, надежда на прибыль исчезает, и продуктивность работы сходит на нет. Осёдлое население рассеивается, и цивилизация приходит в упадок». Просто невероятно, сколько всего подмечал Хальдун, и это в те времена, когда люди, живущие здесь, в Нсаре, умирали от чумы, а остальной мир даже близко не задумывался об истории.

Время чтений закончилось. Её слушатели снова устроились в своих колясках и койках, коротать долгие пустые дневные часы.

Будур покинула их с привычным чувством вины, облегчения и радости, и в этот день сразу отправилась на лекцию к Киране.

— Как же нам оторваться от наших корней и

прийти к прогрессу, — жалобно спросила она учительницу, — когда наша вера велит нам держаться их?

— В нашей вере не сказано ничего подобного, — ответила Кирана. — Так говорят только фундаменталисты, чтобы сохранить свою власть.

Будур была сбита с толку.

— Но как же главы Корана, в которых говорится, что Мухаммед — последний пророк и законы Корана останутся такими навеки?

Кирана нетерпеливо покачала головой.

— Это ещё один случай исключения, принятого за общее правило, самая распространённая тактика фундаменталистов. В Коране действительно изложены некоторые постулаты, которые Мухаммед провозгласил вечными, такие экзистенциальные истины, как фундаментальное равенство всех людей — как же это может измениться? Но мирские аспекты Корана, связанные с организацией арабского общества, менялись вместе с обстановкой, что заметно даже в рамках самого текста, например, в противоречивых высказываниях относительно возлияний. Так возник принцип насха, согласно которому поздние коранические назидания вытесняют более ранние. И Мухаммед в своём последнем на-

путствии ясно выражает желание, чтобы мы откликались на переменчивую обстановку и совершенствовали ислам, находя моральные решения, которые соответствуют его базовым принципам, но отвечают новым реалиям.

— Не мог ли один из семи писцов Мухаммеда вложить в Коран свои собственные представления? — поинтересовался Насер.

Кирана снова покачала головой.

— Вспомните, как был собран Коран. Мусхаф, окончательный бумажный документ, появился тогда, когда османы собрали всех оставшихся в живых свидетелей диктовки Мухаммеда — его писцов, жён и друзей — и вместе с ними пришли к единой корректной версии священной книги. Никакие индивидуальные интерполяции не пережили бы этот процесс. Нет, Коран — это единый голос, голос Мухаммеда, голос Аллаха. И этот голос вещает о великой свободе и справедливости на Земле! Только хадисы несут ложные наставления, умножая иерархии и патриархат, возводя исключения в общие правила. Хадисы отказываются от великого джихада, от борьбы с собственными искушениями, во имя малого джихада, защиты от покушений на ислам. Нет. Слишком многое в Коране правители и священ-

нослужители переиначили в собственных целях. Это, конечно, справедливо для всех религий. Это неизбежно. Всё божественное является к нам в мирской одежде, а следовательно искажённым. Божественное подобно дождю, проливающемуся на землю, и все наши усилия достичь божественности выпачканы в грязи — все, кроме тех нескольких секунд предельного потопа, считаных мгновений, которые описывают мистики, когда мы сами сливаемся с дождём. Но эти мгновения скоротечны, что признают даже сами суфии. Поэтому мы, если так нужно, должны позволить чаше разбиться, чтобы добраться до истины наполнившей её воды.

Осмелев, Будур спросила:

— Так как же нам быть современными мусульманами?

— Никак, — проскрежетала самая старая женщина, не отрываясь от вязания. — Это древняя секта пустыни, которая принесла гибель бесчисленным поколениям, включая моё и, увы, ваше. Пора признать это и двигаться дальше.

— Однако по направлению к чему?

— К тому, что грядёт! — вскричала старуха. — К вашим наукам, к самой реальности! Зачем трястись над этими древними верованиями? Все

они — о превозмогании сильного над слабым, мужчины над женщиной. Но ведь это женщины рожают детей, растят их, сажают культуры, собирают урожай, готовят еду, обустраивают дома и заботятся о стариках! Это женщины создают мир! А мужчины — воюют и господствуют над остальными, творя законы, религии и оружие. Головорезы и бандиты — вот она, история! Не вижу, с какой стати мы должны под это подстраиваться!

В аудитории воцарилась тишина, и старуха снова принялась за вязание, словно собиралась заколоть спицами всех царей и священнослужителей, когда-либо живших на свете. Вдруг стало слышно хлещущий за окном дождь, голоса студентов во дворе, убийственное клацанье старушечьих вязальных спиц.

— Но если мы пойдём этим путём, — сказал Насер, — тогда китайцы действительно победили.

Опять повисла гудящая тишина.

— Они победили не просто так, — наконец сказала старуха. — У них нет Бога, а поклоняются они своим предкам и своим потомкам. Их гуманизм проложил им путь к науке, прогрессу — всему, в чём нам было отказано.

Снова тишина, ещё более глубокая, в которой

было слышно рёв корабельных труб за стеной дождя.

— Вы говорите только о высших сословиях, — заметил Насер. — Зато у них калечили женщин: им перевязывали ноги, делая из них кочерыжки, так же, как подрезают крылья птицам. Всё это тоже Китай. Они жестокие твари, поверьте мне на слово. Я убедился в этом на войне. Не хочу рассказывать, что я видел, но клянусь, я знаю, о чём говорю. У них нет понятия божества, и поэтому нет этических норм; ничто не запрещает им быть жестокими, и поэтому они жестоки. Неимоверно жестоки. Человечество за пределами Китая они не считают за людей. Только ханьцы люди. А остальные — то есть мы, хуэй-хуэй, всё равно что псы. Они высокомерны, жестоки сверх всякой меры; мне не нравится мысль о том, чтобы подражать им, о том, чтобы их победа в войне стала настолько абсолютной.

— Мы были немногим лучше них, — заметила Кирана.

— Не тогда, когда вели себя как истинные мусульмане. Мне кажется, было бы хорошим заданием для урока истории выделить лучшие черты ислама, прошедшие испытание историей, и попробовать понять, можно ли ориентироваться

на них сегодня. Каждая сура Корана напоминает нам своими вступительными словами, басмала: «Во имя Бога, милостивого, милосердного». Сострадание, милосердие — как они выражены у нас? Этих концепций нет у китайцев. Буддисты пытались внедрять их, а к ним относились как к нищим и ворам. Но это сакраментальные идеи, и они занимают центральное место в исламе. В наших глазах все люди являются одной семьёй, где правит сострадание и милосердие. Вот что внушал нам Мухаммед, которому внушил это Аллах или его внутреннее чувство справедливости, Аллах, живущий в каждом из нас. Вот что ислам для меня! Вот за что я сражался на войне. Вот то, что мы можем предложить миру и чего нет у китайцев. Любовь, проще говоря. Любовь.

— Но если мы сами не живём по этим правилам…

— Нет! — сказал Насер. — Не нужно нас этим попрекать. Что-то я не вижу, чтобы хоть один народ на Земле до сих пор жил, руководствуясь только лучшими побуждениями. Наверное, именно это и увидел Мухаммед, оглядевшись вокруг. Варварство повсюду, людей, уподобившихся зверям. Потому каждая сура и начинается с призыва к милосердию.

— Ты говоришь, как буддист, — сказал кто-то.

Старый солдат был готов это признать.

— Сострадание — разве не это они ставят во главу угла? Мне нравится то, что делают буддисты в этом мире. Они хорошо на нас влияют. Они хорошо повлияли на японцев и на ходеносауни. Я читал в книгах, что весь наш научный прогресс проистекает от японской диаспоры, последней и самой сильной из буддийских диаспор. Японцы переняли идеи древних греков и самаркандцев.

Кирана сказала:

— Возможно, нам следует найти наиболее буддийские аспекты ислама и развить их.

— А я говорю: бросьте прошлое! — клац, клац, клац…

Насер покачал головой.

— Тогда может зародиться новое — научное — варварство. Как во время войны. Мы должны сохранять ценности, которые говорят о добре и воспитывают сострадание. Использовать лучшее из старого, чтобы проложить новый путь, лучше предыдущего.

— Такой подход мне нравится, — сказала Кирана. — Именно к этому, в конце концов, и призывал Мухаммед.

8

Отсюда и горький скептицизм старухи, и упрямая надежда ветерана, и неиссякаемые вопросы Кираны — вопросы, к ответам на которые никогда не удавалось подобраться, высекавшие идею за идеей, которые испытываются на прочность её пониманием вещей и тридцатью годами жадного чтения и нищей жизни за доками Нсары. Будур, кутаясь в клеёнчатый плащ и опустив голову, под моросящим дождём возвращалась домой, в завию, и чувствовала, как сгущаются вокруг невидимые материи: жаркое, мимолётное неодобрение увечных молодых мужчин, проходящих мимо по улице, облака, опускающиеся над головой, тайные миры, заключённые во всём, над чем работала в лаборатории тётя Идельба. Подметая по ночам полы и восполняя резервы пустой лаборатории, она чувствовала… соблазн. Что-то великое крылось в квинтэссенции всех этих трудов, в формулах, нацарапанных на доске. За экспериментами физиков стояли годы, даже столетия вычислений, теперь воплотившихся в материальные исследования, способные породить новые миры. Будур подозревала, что

никогда не сможет освоить подобную математику, но лаборатория должна была работать так, чтобы ничто не тормозило прогресс, и она стала брать на себя организацию снабжения, ведение хозяйства в кухнях и столовой, оплату счетов (счёт за ци был огромным).

Между тем диалог учёных продолжался, такой же бесконечный, как и беседы в кафе. Идельба и её племянник Пьяли проводили долгие совещания у доски, перебрасываясь мыслями, предлагая пути решения своих загадок; они уходили в работу с головой, иногда радуясь, но часто тревожась, и тогда голос Идельбы делался резким, словно уравнения сообщали ей какие-то неприятные новости, в которые она не могла до конца поверить. И снова она подолгу висела на телефоне, на этот раз в маленькой каморке в завии, и часто уходила, не сказав куда. Будур не знала, связаны ли эти события между собой. Она многого не знала о жизни Идельбы. Мужчины, с которыми она разговаривала у дверей завии, посылки, звонки… Судя по вертикальным морщинкам, пролёгшим между бровями, забот у тёти было много. Эта жизнь казалась какой-то совсем непростой.

— Что не так с исследованием, которое вы проводите с Пьяли и другими учёными? — спросила

Будур однажды вечером, когда Идельба методично убирала свой рабочий стол.

Они остались тут одни, и Будур чувствовала глубокое удовлетворение от этого факта, от того, что здесь, в Нсаре, им доверяли важные дела; именно это придало ей смелости расспросить тётю.

Идельба прервала уборку и подняла на неё глаза.

— Причины для беспокойства у нас есть, так, по крайней мере, нам кажется. Но ты не должна никому об этом рассказывать. Но, в общем, как я уже говорила, мир состоит из атомов, крошечных частиц с сердечными узлами, вокруг которых в концентрических оболочках движутся молниеносные пылинки. И всё это до того маленьких размеров, что трудно себе даже представить. Каждая соринка, которую ты сметаешь, состоит из миллионов таких частиц. В кончиках твоих пальцев их миллиарды.

Она пошевелила в воздухе испачканными руками.

— И всё же в каждом атоме хранится много энергии. Воистину, они как запертые молнии, столько в них ци-энергии, — только вообрази себе такую сумасшедшую силу. В каждой единице — по многу ци-триллионов, — она указала

на большую круглую мандалу, начерченную на стене, таблицу элементов с арабскими буквами и цифрами, инкрустированными множеством дополнительных точек. — И, как я уже говорила, сила внутри сердечного узла удерживает всю эту энергию вместе, сила невероятно мощная на самых малых расстояниях, связывающая энергию молнии с узлом настолько крепко, чтобы она никогда бы не высвободилась. И это замечательно, потому что количество содержащейся в нём энергии действительно велико. Она пульсирует вокруг нас.

— Так это и ощущается, — сказала Будур.

— Действительно. Но, слушай внимательно, это во много раз сильнее того, что мы можем ощутить. По выдвинутой формуле, о которой я уже говорила, энергия равна массе, умноженной на скорость света в квадрате, а свет невероятно быстр. Поэтому, даже при небольшом количестве вещества, если высвободить часть этой энергии на свободу… — она покачала головой. — Конечно, мощная сила гарантирует, что этого никогда не произойдёт. Но мы проводим исследования одного элемента, алактина, который траванкорские физики называют «Рукой Тары». Я предполагаю, что его сердечный узел нестабилен, и Пьяли уже

готов со мной согласиться. Очевидно, что он перенасыщен ци, как инем, так и яном, таким образом, что напоминает мне каплю воды, удерживаемую поверхностным натяжением, но выросшую до таких размеров, что поверхностное натяжение едва справляется с ней, и атом расширяется, как капля в воздухе, деформируясь так и этак, но кое-как держась целым, за редким исключением, когда он слишком растягивается вширь для поверхностного натяжения (в нашем случае, сила узла), а затем естественное отталкивание между частицами ци заставляет сердечный узел расщепиться надвое, превращая его в атомы свинца, но также и высвобождая часть его закрепощённой силы в виде лучей невидимой энергии. Это мы видим на фотопластинках, с которыми ты нам помогаешь. Это немалое количество энергии, и всего один разрыв сердечного узла. И мы задумались и были вынуждены рассмотреть, учитывая природу явления: если мы соберём достаточное количество этих атомов вместе и разорвём хотя бы один сердечный узел, разорвёт ли тем самым высвобожденная ци остальные узлы, все сразу и друг за другом, со скоростью света и в открытом пространстве, — она развела руки в стороны. — И вызовет ли короткую цепную реакцию, — закон-

чила она.

— То есть…

— То есть это очень большой взрыв!

Долгое время Идельба смотрела куда-то в пространство чистой математики.

— Никому не говори об этом, — повторила она.

— Не буду.

— Никому.

— Хорошо.

Невидимые миры, полные энергии и мощи: субатомные гаремы, пульсирующие на грани великого взрыва. Будур вздохнула, увидев перед глазами этот образ. От потаённой агрессии, лежащей в основе всего, никуда не деться. Даже камни были смертны.

9

Утром Будур просыпалась в завии, помогала по кухне и в кабинете: у работы в завие и в лаборатории и впрямь было много общего, и хотя в разной обстановке работа воспринималась по-разному, некая монотонность была присуща каждой из них; а курсы и прогулки по большому городу стали пространством для полировки её мечтаний и идей.

Она гуляла по гавани и набережной, уже не опасаясь, что кто-то из Тури появится и отвезёт её обратно в отчий дом. Большая часть огромного города оставалась для неё неизведанной, но у неё появились любимые маршруты, пролегающие через определённые районы, и иногда она доезжала на трамвае до конечной остановки, чтобы просто посмотреть на места, которые он проезжал. Приокеанские и речные районы особенно обращали на себя её внимание — а изучать там, конечно, было что. Тусклый солнечный свет пробивался сквозь облака, которые галопом гнал океанский прибрежный ветер; она устраивалась в кафе за доками или на набережной за морской дорогой, читала и писала, отрываясь, чтобы

посмотреть на белые шапки, разбивающиеся о подножие большого маяка в конце пристани или скалы северного побережья. Она гуляла по пляжу. Бледно-голубое небо за кучевыми облаками, лиловато-синее море, белизна облака и бьющиеся волны — она любила это, любила всем сердцем. Здесь она могла быть самой собой. Бесконечные дожди можно было перетерпеть ради такого чистого воздуха.

В одном облезлом и побитом бурями прибрежном районе, в конце трамвайной линии номер шесть, находился небольшой буддийский храм, и как-то раз Будур увидела там мать и дочь ходеносауни с курсов Кираны. Они заметили её и подошли.

— Здравствуй, — сказала мать. — Ты приехала навестить нас!

— Вообще-то я просто бродила по городу, — удивлённо сказала Будур. — Мне нравится этот район.

— Ясно, — сказала мать из вежливости, как будто не веря ей. — Прости, что я поспешила с выводами, просто мы знакомы с твоей тётей Идельбой, вот я и подумала, что ты приехала по её поручению. Но ты не… Что ж, не хочешь войти?

— Спасибо.

Немного озадаченная, Будур последовала за ними во внутренний сад с кустарниками и гравием, разбитый вокруг колокола рядом с прудом. Мимо проходили монахини в тёмно-красных рясах, направляясь куда-то внутрь. Одна из них присела поговорить с женщинами ходеносауни, которых звали Ханея и Ганагве, мать и дочь. Все они говорили на фиранджийском с сильным нсаренским акцентом, к которому примешивался какой-то ещё. Будур слушала, как они обсуждали ремонт крыши. Затем её пригласили в комнату, где стоял большой радиоприёмник; Ханея села перед микрофоном и повела разговор, пересекавший океан, на своём родном языке.

После этого они присоединились к группе монахинь в зале для медитаций и пели вместе с ними некоторое время.

— Так вы буддисты? — спросила Будур у женщин ходеносауни, когда сеанс закончился и они вернулись в сад.

— Да, — ответила Ханея. — Буддизм широко распространён среди нашего народа. Мы видим в нём много сходств с нашей старой религией. Думаю, нельзя отрицать и того, что это сыграло нам на руку в момент заключения союза с японцами западного берега нашей страны. Во многих

отношениях они оказались похожи на нас, а нам нужна была их помощь в обороне против вашего народа.

— Я понимаю.

Они остановились перед группой мужчин и женщин, которые сидели в кругу и кололи блоки песчаника, делая большие плоские кирпичи, отполированные и идеальной на вид формы. Ханея указала на них и объяснила:

— Это молитвенные камни, для вершины Джомолунгмы. Слышала об этом проекте?

— Нет.

— Так вот, как известно, Джомолунгма была самой высокой горой в мире, но её вершину снесла мусульманская артиллерия в ходе Долгой Войны. Мы же теперь затеяли проект, разумеется, очень долгосрочный, по восстановлению вершины. Вот такие камни доставляют к горе, а альпинисты перед подъёмом на Джомолунгму берут с собой по одному кирпичу вместе с баллоном спасательного газа и оставляют там, на вершине, чтобы впоследствии каменщики сработали из них новую пирамиду вершины.

Будур взглянула на куски шлифованного камня. По размеру они были чуть меньше, чем булыжники, украшавшие внутренний двор.

Ей предложили взять один в руки, и она так и сделала; камень в её руках весил как три или четыре книги.

— И много потребуется камней?

— Много тысяч. Это очень долгосрочный проект. — Ханея улыбнулась. — Сто лет, тысячу лет? В зависимости от того, сколько будет альпинистов, которые захотят принести камень на гору. Взрывом снесло значительную массу породы. Но согласись, хороша идея? Символ всеобщего восстановления мира.

На кухне готовили еду, и Будур пригласили отобедать с ними, но она отказалась, сказав, что ей нужно успеть к следующему трамваю.

— Разумеется, — ответила Ханея. — Передай привет своей тётушке. Мы с нетерпением ждём встречи с ней в ближайшее время.

Она не объяснила, что имела в виду, и Будур, оставшись одна, размышляла об этом, пока шла к остановке на пляже и ждала трамвая, идущего в город, ёжась в маленьком стеклянном укрытии от порывистого ветра. В полудрёме ей виделась очередь из людей, несущих на вершину мира целую библиотеку каменных книг.

10

— Поедем со мной на Оркнейские острова, — предложила Идельба. — Мне бы пригодилась твоя помощь, к тому же я хочу показать тебе развалины.

— На Оркнейские острова? Где это?

Оказалось, это самые северные кельтские острова над Шотландией. Большую часть Британии населяли выходцы из Аль-Андалуса, Магриба и Западной Африки; позже, во время Долгой Войны, ходеносауни построили крупную военно-морскую базу в заливе, окружённом главным Оркнейским островом, и стояли там до сих пор, фактически контролируя Фиранджу, а также защищая своим присутствием редкие остатки коренного населения, кельтов, которые пережили и пришествие франков, и фиранджийцев, не говоря уже о чуме. Будур читала рассказы об этих высоких, бледнокожих людях с рыжими волосами и голубыми глазами, переживших великую чуму, и, сидя с Идельбой за столиком у окошка в гондоле аэростата и глядя на проползающие внизу зелёные холмы Англии, укрытые рябой тенью облаков, порезанные на большие квадраты посе-

вами, живыми изгородями и серыми каменными заборами, размышляла, каково будет оказаться перед настоящим кельтом — выдержит ли она их немые укоризненные взгляды, не дрогнет ли при виде альбиносоподобной кожи и светлых глаз.

Но ничего подобного, разумеется, не произошло. Сойдя на землю, они обнаружили, что Оркнейские острова представляют собой сплошной массив покатых, поросших травой холмов, где даже деревья росли только вокруг белёных фермерских домов с дымовыми трубами по обоим концам, — все дома здесь выглядели одинаково, что, по всей видимости, пошло с древних времён, поскольку ту же архитектуру повторяли и серые развалины в полях вблизи их современных копий. И оркнейцы не были слабоумными веснушчатыми выродками, которых ожидала увидеть Будур, ориентируясь на рассказы о белых рабах османского султана, а здоровенными горластыми рыбаками, с красными лицами, перепачканными маслом, и соломенными, а иногда чёрными и каштановыми волосами, которые кричали друг на друга, как в любой из рыбацких деревень Нсары. Они общались с приезжими запросто, будто те были самыми привычными людьми, а фиранджийцы — экзотикой, что было

правдой в этих местах. Для этих людей Оркнейские острова были целым миром.

И когда Будур с Идельбой выехали на автомобиле в пригород, чтобы посмотреть на местные руины, они начали понимать, почему: мир стекался к Оркнейским островам уже три тысячи лет или больше. Это давало им повод чувствовать себя в центре событий, на перекрёстке дорог. Все народы, когда-либо жившие здесь, а их, должно быть, набрался десяток на протяжении веков, использовали в строительстве слоистый песчаник, добываемый на острове, который волны раскалывали на удобные плиты, балки и широкие плоские кирпичи, идеально подходящие для отделки стен и ещё более прочные, если их соединять с цементом. Древнейшие жители также мастерили из камня кровати и кухонные полки, и здесь, на небольшом островке травы, выходящем на западное море, можно было заглянуть в каменные дома, откуда вымели заполнявший их песок, и увидеть домашний быт людей, живших здесь якобы более пяти тысяч лет назад, их утварь и мебель, оставленные нетронутыми. Осевшие комнаты показались Будур похожими на её собственные комнаты в завии. Ничего существенно не изменилось за всё это время.

Идельба покачала головой, глядя на числа, которыми датировалось поселение, и применённые методы датировки, и вслух стала рассуждать о некоторых геохронологиях, которые, по её мнению, подошли бы лучше. Но через некоторое время она замолчала, как и все остальные, и стояла, глядя вниз на скромные и прекрасные интерьеры древних домов. На наши вещи, которые выдерживают даже такие испытания временем.

Вернувшись в единственный город острова, Керкуолл, они прошли по мощённым камнем улицам к очередному небольшому буддийскому храмовому комплексу, расположенному позади древнего собора местных жителей, крошечному, по сравнению с огромными скелетами, оставленными на материке, но достроенному до конца и крытому крышей. Храм позади него был скромным и состоял из четырёх узких строений, окружавших сад камней, в стиле, который Будур называла китайским.

Здесь Идельбу встретили Ханея и Ганагве. Будур удивилась, увидев их, и они рассмеялись, заметив выражение её лица.

— Мы же говорили, что снова скоро увидимся, не так ли?

— Да, — ответила Будур. — Но здесь?

— Это самая большая община ходеносауни в Фирандже, — сказала Ханея. — Мы приехали в Нсару именно отсюда. И довольно часто наведываемся.

После того как им показали комплекс и они сели пить чай в комнате, выходившей во двор, Идельба и Ханея удалились, оставив Ганагве и растерянную Будур одних.

— Мама говорит, что им нужно поговорить пару часов, — сказала Ганагве. — Ты знаешь, о чём они?

— Нет, — ответила Будур. — А ты знаешь?

— Нет. То есть я догадываюсь, что это как-то связано с работой твоей тёти по укреплению дипломатических отношений между нашими странами, но это и так очевидно.

— Да, я знаю, что она этим интересовалась, — принялась выкручиваться Будур. — Но то, как мы с вами пересеклись на лекциях Кираны Фавваз…

— Да, а потом ты появилась у нас в монастыре. Похоже, нашим дорожкам суждено пересекаться, — она улыбнулась непонятной Будур улыбкой. — Пойдём, прогуляемся, этих двоих мы ещё долго будем ждать. В конце концов, им нужно многое обсудить.

Это оказалось новостью для Будур, но она ниче-

го не сказала и весь день бродила по Керкуоллу в компании Ганагве, девушки крайне энергичной, высокой, подвижной и уверенной в себе; узкие улочки и дюжие мужчины оркнейских островов не внушали ей страха. А потом они долго шли от конечной остановки трамвая вдоль пустынного пляжа, откуда открывался вид на большую бухту, бывшую в прошлом оживлённой военно-морской базой. Там Ганагве остановилась у груды булыжников, сбросила с себя одежду и с воплем бросилась в воду, после чего вынырнула, подняв фонтан белых брызг, крича, и её гладкая смуглая кожа блестела на солнце, когда она пальцами стряхивала с себя воду и брызгалась в Будур, подговаривая её окунуться.

— Это полезно! Вода не очень холодная, но так бодрит!

На подобное всегда подбивала её и Ясмина, но Будур скромно отказалась, потому что вид большого, мокрого, красивого зверя, стоявшего рядом с ней на солнце, был почти невыносим; и когда она спустилась к воде и опустила в неё руку, то поняла, что правильно отказалась — вода была ледяной. Она и впрямь словно проснулась и ощутила порывистый солёный ветер и брызги, летевшие в неё от мокрых чёрных волос Ганагве,

которая трясла ими из стороны в сторону, как собака. Ганагве посмеялась над ней и оделась, даже не обсохнув. На обратном пути они прошли мимо ватаги бледнокожих детей, которые с любопытством рассматривали их.

— Пора возвращаться. Посмотрим, как дела у наших предков, — сказала Ганагве. — Забавно видеть, как такие бабули берут судьбу мира в свои руки, не правда ли?

— Да, — ответила Будур, гадая, что же всё-таки происходит.

11

На обратном пути в Нсару Будур спросила об этом Идельбу, но та покачала головой. Она не хотела это обсуждать, погрузившись в свои записи с головой.

— Позже, — сказала она.

По возвращении в Нсару Будур работала и училась. По совету Кираны она прочла книгу о Юго-Восточной Азии и узнала, как смешались на этих территориях индуистская, буддийская и исламская культуры, произведя на свет сильное молодое поколение, которое пережило войну и жило теперь за счёт огромных ботанических и минеральных богатств Бирмы и Малайского полуострова, Суматры и Явы, Борнео и Минданао; группа азиатских наций объединилась в борьбе против центростремительной власти Китая и сбросила с себя китайское влияние. Они заселили Аочжоу, большой выжженный островной континент на юге, и даже заокеанскую Инку в одном направлении, и Мадагаскар с южной Африкой — в другом: на юге зарождалась новая мировая культура, с огромными городскими центрами в Пинькайинге, Джакарте и Куинане на

западном побережье Аочжоу, они вели торговлю с Траванкором и строили, как заведённые, города со стальными небоскрёбами высотой более ста этажей. Война повредила эти города, но не уничтожила, и теперь правительства всего мира собирались в Пинькайинге, когда работали над правовыми поправками и укреплением послевоенных порядков.

По мере того как ситуация обострялась, встречи проводились всё чаще и чаще; лишь бы не допустить повторения войны, которая оказалась не в состоянии что-то решить. По крайней мере, так считали члены побеждённого альянса. На данный момент было неясно, заинтересованы ли китайцы и их союзники, или страны Инчжоу, вступившие в конфликт намного позже остальных, в удовлетворении исламских интересов. Однажды Кирана вскользь заметила на лекции, что ислам выброшен в мусорный бак истории, только пока не знает об этом; и чем больше её книг читала Будур, тем больше сомневалась, что это так уж плохо для мира. Старые религии отмирали, и если империя пыталась завоевать мир и терпела неудачу, чаще всего она исчезала.

Работы самой Кираны демонстрировали это предельно ясно. Будур взяла в монастырской

библиотеке книги, часть которых была издана почти двадцать лет назад, во время войны, когда Кирана была ещё совсем юной, и зачитывалась ими с большим интересом, мысленно слыша каждую фразу, произнесённую голосом Кираны; это смахивало на стенограмму их разговоров, только ещё длиннее. Она писала на разные темы, как теоретические, так и практические. Целые монографии её африканского периода были посвящены проблемам здравоохранения и женскому вопросу. Будур открыла наугад и погрузилась в лекцию, которую Кирана читала акушеркам в Судане.

> Если родители девочки настаивают, если их ни в какую не удаётся отговорить, то крайне важно, чтобы отрезана была только третья часть клитора, а две трети оставлены нетронутыми. Те, кто буквально калечит девочек своими скальпелями, отрезая всё без остатка, поступают вразрез со словами Пророка. Мужчины и женщины должны быть равны перед Богом. Но если весь клитор у женщины отрезан, она становится в некотором роде евнухом: холодной, вялой, лишённой

страстей, любопытства, чувства юмора, как стена из глины, как кусок картона, без искры, без цели, без желания, безжизненной, как лужа стоячей воды, её дети несчастны, её муж несчастен, она ничего не делает из своей жизни. Так не забывайте же, те из вас, кому придётся делать обрезание: отрежьте одну треть, оставьте две трети! Отрежьте одну треть, оставьте две трети!

Будур, распереживавшись, стала листать книгу дальше. Через некоторое время она взяла себя в руки и прочитала на другой странице, которая открылась сама собой:

Мне выпала честь стать свидетельницей возвращения Райзы Тарами из её поездки в Новый Свет, где она посещала съезд по проблемам женщин Длинного острова в Инчжоу вскоре после окончания войны. Участники съезда со всего мира были немало удивлены уровнем осведомлённости, проявленным нсарянкой по всем важным вопросам. Они ожидали увидеть отсталую, необразованную женщину, проводящую жизнь

в стенах гарема и под покровом вуали. Но Райза была не такой: она разделяла взгляды своих сестёр из Китая, Бирмы, Инчжоу и Траванкора, а условия жизни на родине вынудили её заняться теоретическими изысканиями гораздо раньше большинства.

Она блистательно представляла наши интересы, а по возвращении в Фиранджу заключила, что именно вуаль была основным фактором, препятствующим прогрессу мусульманских женщин, выражая собой всецелое подчинение политической системе. Чтобы пала реакционная система, сначала должны пасть покровы. И прибыв в порт Нсары, где её встречали товарки из женского института, она предстала перед ними с открытым лицом. Вуали сняли и её ближайшие спутницы. В толпе вокруг нас стали раздаваться неодобрительные выкрики, началась толкотня и тому подобное. Но тогда остальные женщины поддержали Райзу, срывая вуали с собственных лиц и швыряя их на землю. Это был удивительный день. После этого вуали в Нсаре

начали стремительно исчезать. Всего за несколько лет новое веяние распространилось по стране – очередной кирпич в стене реакционеров пошатнулся. Благодаря этому Нсара прославилась как лидер Фиранджи. Мне же повезло увидеть это своими глазами.

Будур вздохнула и отметила этот отрывок, чтобы позже прочесть своим незрячим солдатам. Шли недели, она продолжала чтение, продираясь через собрания эссе и лекций Кираны — опыт самый что ни на есть изнурительный, потому как Кирана всегда без колебаний нападала на всё, что её не устраивало, разбирая проблему открыто и основательно. Однако какую жизнь она прожила! Будур поймала себя на мысли, что ей стыдно за своё затворническое детство и юность, за то, что ей двадцать три, уже почти двадцать четыре, а она до сих пор ничего не сделала в жизни; Кирана Фавваз в её возрасте уже много лет провела в Африке, сражалась на войне и работала в госпиталях. Будур предстояло наверстать столько упущенного времени!

Во многих книгах, которые Кирана не задавала, Будур, заинтересовавшись китайско-мусульман-

скими культурами Центральной Азии, читала также о попытках её представителей в течение нескольких столетий примирить две эти культуры. В книгах были старые, некачественные фотографии с их портретами: китайцы внешне, мусульмане по религии, китайцы в речи, мусульмане по закону; трудно было представить себе существование настолько безродной нации. Китайцы истребили большую их часть во время войны, а остальных расселили по пустыням и джунглям Инчжоу и Инки, где они вкалывали в шахтах и на плантациях, став чуть ли не рабами, хотя китайцы утверждали, что больше не практикуют рабство, называя его исламским атавизмом. Но, как бы то ни было, мусульман в северо-западных провинциях не стало. И это могло случиться везде.

Будур начинало казаться, что она никогда не прочитает о периоде в истории, который не был бы удручающим, чудовищным, пугающим и жутким, если только это не история Нового Света, где племена ходеносауни и дине сформировали цивилизацию, способную, хотя и с трудом, противостоять китайцам на западе и Фиранджe на востоке. Но даже они изрядно пострадали от болезней и эпидемий в двенадцатом

и тринадцатом веках, когда их население резко поредело и они были вынуждены скрываться в центре своего острова. Однако, несмотря на свою малочисленность, они выстояли и смогли адаптироваться. Они не стали отгораживаться от чужеземных влияний, включая новых союзников в свои лиги, они приняли буддизм, объединившись с Траванкорской лигой на другом конце света, и во многом помогли сформировать её по своему образу и подобию; иными словами, они прибавляли силу к силе, даже прячась в дикой глуши, вдали от своих берегов и от Старого Света. Может, это их и спасало. Они заимствовали то, что могли использовать, открещиваясь от остального. И женщины всегда обладали там властью. А теперь, когда старый мир был разрушен Долгой Войной, они вдруг оказались этаким заморским гигантом в лице высоких красивых людей, таких, как Ханея и Ганагве, которые ходили по улицам Нсары в длинных шубах и клеёнчатых плащах, с дружелюбным достоинством коверкая фиранджийский. О них Кирана писала мало, зато Идельба имела с ними какие-то загадочные общие дела, теперь включавшие в себя и передачи, которые Будур отвозила Ханее и Ганагве на трамвае в храм на северном побережье. Четыре

раза делала она это по поручению Идельбы, не задавая лишних вопросов, а Идельба ничего ей не объясняла. И, как в Тури, Будур опять казалось, что Идельба знает что-то, чего не знают другие. До чего непростую она вела жизнь. Мужчины вздыхали по ней у ворот завии, а один даже колотил в запертую дверь, крича: «Идельбааа, я люблю тебя, умоляю!» — и пьяно горланил на незнакомом Будур языке, мучая гитару, пока сама Идельба исчезала в их комнате, а через час делала вид, что ничего не произошло; потом она пропадала где-то дни напролёт и снова возвращалась, хмуря брови, порой счастливая, порой взволнованная… До чего непростая жизнь! И большую её часть она держала в тайне.

12

— Да, — сказала однажды Кирана в ответ на вопрос Будур о ходеносауни, компания которых как раз прошла мимо кафе, где они сидели в тот день, — возможно, в них спасение всего человечества. Но боюсь, мы не так хорошо понимаем их, чтобы утверждать это наверняка. Вот когда они захватят мир окончательно, тогда и узнаем.

— Изучение истории сделало тебя циничной, — заметила Будур. К её колену снова прижалось колено Кираны. Будур позволила ей это, но никак не ответила. — Или, точнее выражаясь, то, что ты видела за время своих путешествий и преподавания, сделало тебя пессимисткой, — так было справедливее.

— Вовсе нет, — ответила Кирана, закурила и, кивнув на сигарету, заметила, походя: — Видишь, мы уже стали рабами их травы. Но я никак не пессимистка. Всего лишь реалистка. И я полна надежд, ха-ха. Присмотрись, и ты сама увидишь наши реальные шансы, — она поморщилась и глубоко затянулась. — Извини, месячные. Ха! Вся история с начала времён похожа на женские менструации: маленькое яйцо возможности,

скрытое в простейшем жизненном материале, которое атакуют орды крошечных варваров, пытающихся найти его, терпящих неудачу, сражающихся друг с другом — пока наконец эта возможность не погибает в кровавом месиве, и всё повторяется снова.

Будур рассмеялась от неожиданности. Такая мысль никогда не приходила ей в голову. Кирана, видя это, лукаво улыбнулась.

— Красное яйцо, — сказала она. — Кровь и жизнь, — её колено крепко вжалось в колено Будур. — Вопрос в том, найдут ли орды сперматозоидов яйцеклетку? Прорвётся ли кто-то вперёд, оставит ли своё семя, чтобы мир наконец зачал? Родится ли когда-нибудь настоящая цивилизация? Или история обречена навечно остаться бесплодной старой девой!

Они обе засмеялись, и Будур испытала неловкость совсем другого толка.

— Мир должен найти подходящего партнёра, — рискнула она.

— Точно, — согласилась Кирана со своей лукавой интонацией, и уголки её рта поползли вверх. — Например, марсиан?

Будур вспомнила «уроки поцелуев» кузины Ясмины. Женщины любили женщин, занимались

любовью с женщинами — это было в порядке вещей в завии, да и в других местах, наверное, тоже; в конце концов, в Нсаре, как и во всём мире, женщин оставалось намного больше, чем мужчин. На улицах и в кафе Нсары почти нельзя было встретить мужчин тридцати-сорока лет, а те, кто изредка попадался на глаза, часто казались погружёнными в себя, заблудившимися в опиумном тумане с осознанием, что чудом избежали рока. Нет, целое поколение было уничтожено. Зато повсюду женщины гуляли парами, держались за руки, парами жили в завиях. Будур не раз слышала их и в своей завии, в ваннах, в спальнях, поздно ночью в коридорах. Что бы ни говорили, это была самая обычная часть жизни. А ещё, раз или два, в гареме, она принимала участие в играх Ясмины, которая вслух читала любовные романы, слушала по радио грустные песни, транслировавшиеся из Венеции, а потом гуляла во дворе, пела песни под луной и мечтала, чтобы в эти минуты за ней наблюдал мужчина или перепархивал через стену и хватал её на руки, но мужчин поблизости не было. «Давай потренируемся, — хрипло шептала она Будур на ухо, — чтобы потом мы знали, что делать», — она всегда говорила одно и то же, и потом страстно

целовала Будур в губы, прижимаясь к ней, и Будур, преодолев удивление, чувствовала, как её губам передаётся чужая страсть, как ци-энергия, и целовала Ясмину в ответ, думая: неужели настоящее чувство когда-нибудь заставит и её пульс биться так сильно? Возможно ли?

Кузина Римма была ещё более искусной, хотя и не такой страстной, как Ясмина, потому что успела побывать замужем, как и Идельба, а потом пожить в римской завии, и когда она наблюдала за ними, то холодно говорила: нет, вот так, оседлай ногу мужчины, которого целуешь, прижмись лобком к его бедру, это сведёт его с ума, и покрутись, чтобы ци закружилось в вас обоих, как в динамо-машине. И, попробовав, они обнаружили, что это правда. Потом Ясмина краснела, неубедительно плакала (ах, мы плохие, мы плохие), а Римма фыркала и говорила: так происходило и будет происходить в каждом гареме на свете. Вот как глупы мужчины. Вот как устроен мир.

Сейчас, на исходе ночи в нсаренском кафе, Будур слегка надавила на колено Кираны в ответ — понимающе, дружелюбно, но нейтрально. Раньше она всегда уходила из кафе в компании других студентов, в самый ответственный момент не встречаясь с Кираной взглядом, — воз-

можно, посылая этим противоречивые сигналы, потому что не понимала, что произойдёт с её учебой и жизнью в целом, если она даст Киране более однозначный ответ и то, что есть между ними, зайдёт дальше поцелуев и прикосновений. С сексом, о котором она была наслышана, всё понятно, но как насчёт всего остального? Она сомневалась, что хочет заводить отношения с этой энергичной немолодой женщиной, учительницей, в некотором смысле ещё незнакомкой. Но пока кто-то не решится на первый шаг, всем так и суждено оставаться незнакомцами.

13

Они стояли рядом, Будур и Кирана, на многолюдной вечеринке в саду с видом на устье реки Ливайя, слегка соприкасаясь плечами, как будто случайно, как будто давка вокруг мецената и философа Тахара Лабида вынуждала их жаться друг к другу, чтобы ловить жемчужины, срывающиеся с его губ, хотя в действительности он оказался жутким и навязчивым болтуном из тех, кто в разговоре постоянно, чуть ли не при каждом обращении к вам, повторяет ваше имя, чем вызывает резкое отторжение, как будто так он пытается присвоить вас или попросту напоминает себе в своём солипсизме, с кем он, собственно, разговаривает, никогда не замечая, что тем самым вызывает желание сбежать от него куда подальше.

Долго не выдержав такого, Кирана содрогнулась, возможно, от его зацикленности на себе, слишком похожей на её собственную (в которой она чувствовала себя комфортно), и увела Будур прочь. Она поднесла руку Будур, побелевшую и потрескавшуюся от чистящего средства, к своему лицу и сказала:

— Тебе следует носить резиновые перчатки. В лаборатории должны быть.

— Есть. Я ношу. Но иногда в перчатках трудно за что-то взяться.

— Вот как.

Такая незамысловатая забота о состоянии её рук, исходящая от великой интеллектуалки, учительницы, которую вдруг окружили почитатели, забросали вопросами, что она думает о китайских феминистках… Будур смотрела, как Кирана с ходу пустилась в рассуждения о становлении женского движения среди мусульманских китаянок и особенно о роли Кан Тунби, которая вместе со своим супругом, китайско-мусульманским учёным Ибрагимом аль-Ланьчжоу, заложила теоретическую основу феминизма, позже доработанную в китайской глубинке поколениями женщин позднего цинского периода (разумеется, их успехам на каждом шагу препятствовали имперские чиновники — до тех пор, пока Долгая Война не смела все предыдущие нормы поведения чистой прагматичностью мировой войны, а женские батальоны и фабричные бригады не заняли в мире такое положение, которое уже нельзя было пошатнуть, как бы ни старались китайские бюрократы). Кирана могла назубок

процитировать список требований военного времени, выдвинутых китайским Женским советом промышленных рабочих, и сделала сейчас именно это: «Равные права для мужчин и женщин, создание условий для повсеместного женского образования, улучшение положения женщины в семье, моногамия, свобода вступления в брак, помощь в получении профессии, запрет на наложниц, торговлю женщинами и побои, усиление политической роли женщин, законы о проституции». Эти слова звучали своеобразным напевом, гимном, молитвой.

— По словам китайских феминисток, в Инчжоу и Траванкоре женщины находились в лучшем положении, тогда как траванкорские феминистки утверждали, что переняли свои идеи от сикхов, взявших их из Корана. И снова вернёмся к китайцам. Вы видите, что вопрос стоял в вытягивании себя из болота за волосы и каждый считал — в другой стране ситуация лучше и нужно бороться за достижение аналогичного результата…

Она говорила и говорила, виртуозно плетя полотно из истории последних трёх столетий, и всё это время Будур теребила свои потрескавшиеся белёсые руки и думала: «Она хочет тебя, она хочет, чтобы твои руки были гладкими, потому

что, если она добьётся своего, эти руки будут касаться её».

Будур отошла, в одиночестве, озабоченная своими мыслями. Она заметила на одной из террас Хасана и поднялась наверх, присоединяясь к компании его друзей, среди которых встретила и Насера Шаха, и престарелую женщину с курсов Кираны, не знавшую, чем себя занять без вязания под рукой. Они оказались братом и сестрой, а она — ещё и хозяйкой вечера. Будур наконец представили ей, но Зейнаб Шах говорила мало; Хасан же был давним другом семьи. Все они знали Кирану уже много лет и давно посещали её лекции. Будур узнала об этом от Насера, пока вокруг них летали обрывки разговора.

— Меня беспокоят его постоянные повторения и зашоренность. Разве юрист…

— Потому это и работает в отношении…

— Что работает? Он был стряпчим у священнослужителей.

— Явно, что не писателем.

— Коран должен быть прочитан вслух и услышан, по-арабски он подобен музыке — это настоящая поэзия. Вы бы слышали это в мечети.

— Я туда ни ногой. Мечеть — для людей, которые ищут возможность сказать: я лучше вас уже

потому, что выражаю веру в Аллаха. Это не для меня. Мир моя мечеть.

— Религия подобна карточному домику. Стоит прижать её фактом — и всё рушится.

— Красиво сказано, но это чушь, как и большинство твоих афоризмов.

Будур оставила Насера и Хасана и подошла к длинному столу, уставленному закусками и бокалами с красным и белым вином, прислушиваясь на ходу и поедая маринованную селёдку на крекерах.

— Слышал, что совету министров пришлось пойти на уступки армии, чтобы не подпустить их к своей казне, так что в итоге всё опять сводится к одному и тому же…

— … шесть лок — это названия отсеков мозга, отвечающих за разные виды мыслительных процессов. Уровень животных — это мозжечок, уровень голодных духов — лимбический архипелаг, люди — это речевые доли, асуры — лобная кора, а боги — перешеек между двумя половинами мозга, который в активном состоянии позволяет нам наблюдать проблески высшей реальности. Потрясающе, до чего можно докопаться исключительно путём самоанализа…

— Но это только пять лок, а как насчёт ада?

— Ад — это другие люди.

— … уверена, у них не наберётся столько союзников.

— Они держат контроль над океанами, поэтому могут явиться к нам, когда захотят, но нам нужно разрешение, чтобы отправиться к ним, так…

— Так поблагодарим же за это звёзды. Нам только на руку, чтобы генералы чувствовали себя максимально бессильными.

— Верно, но лучше не впадать в крайности. Мы можем случайно попасть из огня да в полымя.

— … давно установлено, что вера в реинкарнацию мигрирует по миру от одной культуры к другой, обосновываясь в местах с наиболее напряжённой ситуацией.

— Может, она мигрирует вместе с теми душами, которые действительно реинкарнируют, об этом ты не задумывался?

— … студент за студентом, это становится своего рода потребностью. Заменой друзьям или чем-то в этом роде. Печально, но страдают на самом деле именно студенты, так что сложно жалеть…

— История была бы совсем другой, если бы…

— Да, если бы — что? Что «если бы»?

— Если бы мы завоевали Инчжоу, когда у нас был такой шанс.

— Он настоящий мастер, работать с запахами не так-то просто, ведь они у каждого вызывают свои ассоциации, но ему как-то удаётся затрагивать самые глубокие из них, и поскольку обоняние крепче других чувств связано с памятью, он производит сильное впечатление. Этот переход от ванили к кордиту и жасмину — это, конечно, лишь преобладающие ароматы, а их в каждом вдохе, кажется, десятки, но какой эффект, уверяю вас, невозможно остаться равнодушными…

У столика с напитками друг Хасана по имени Тристан играл на странно настроенном уде[49], бренча простейшие аккорды и напевая на одном из древних франкских языков. Будур потягивала белое вино из бокала и смотрела на музыканта, стараясь не вникать в голоса вокруг. Его игра вызывала интерес, и мерный тембр его голоса заполнял собой пространство. Над его губой изогнулись чёрные усы. Он поймал взгляд Будур и коротко улыбнулся. Песня подошла к концу, раздались аплодисменты, и некоторые из слушателей обступили его, стали о чём-то спрашивать. Будур подошла, чтобы услышать его ответы. К ним присоединился Хасан, и Будур встала рядом

[49] Примечания: 49

Древний арабский музыкальный инструмент; струнный щипковый (*прим. ред.*).

с ним. Тристан отвечал короткими отрывистыми фразами, словно стесняясь. О музыке он говорить не хотел. Будур он приглянулся. Он сказал, что пел песни из Франции, Наварры и Прованса. Песни третьего и четвёртого веков. Люди просили сыграть ещё, но он пожал плечами и спрятал инструмент в футляр. Он ничего не объяснил, и Будур подумала, что просто толпа была слишком шумной. Тахар со своими музыкантами подошёл к столику с напитками.

— Говорю тебе, Вика, всё, что происходит…

— … всё ведет к Самарканду того периода, когда там ещё…

— Это было прекрасно и трудно, и люди стыдились этого.

— В тот день, в тот самый час всё и началось…

— Ты, Вика, наверное, страдаешь избирательной глухотой.

— Но вот в чём дело…

Будур ускользнула ото всех, а затем, чувствуя, что устала от вечеринки и от гостей, покинула сад. Она изучила расписание на трамвайной остановке и поняла, что ждать следующего трамвая ещё почти полчаса, поэтому побрела пешком по тропе вдоль реки. К тому времени, когда добралась до центра города, она уже по-

лучала такое удовольствие от прогулки, что, не останавливаясь, пошла дальше, минуя причал и рыбный рынок, где под порывистым ветром причал становился асфальтовой дорогой, проложенной поверх больших валунов, которые торчали из маслянистой воды, плескавшейся у их основания. Будур смотрела на облака в небе и вдруг испытала такое счастье, сразу почувствовав себя ребёнком, — счастье, в котором тревоги были чем-то смутным и далёким, не серьёзнее тени облаков на тёмно-синей поверхности моря. Подумать только, вся жизнь могла бы пройти, а она так и не увидела бы океана!

14

Однажды вечером, в завии, Идельба подошла к ней и сказала:

— Будур, помни: никому и ни при каких условиях не рассказывай о том, что я говорила тебе об алактине. О том, что может означать его расщепление.

— Само собой. Но почему ты об этом вспомнила?

— В общем… мы подозреваем, что кто-то ведёт за нами наблюдение. Скорее всего, это кто-то из правительства, какой-нибудь департамент безопасности. Это не вполне ясно. В любом случае нужно быть крайне осторожными.

— Почему вы не можете обратиться в полицию?

— Понимаешь, — она едва удержалась, чтобы не закатить глаза, но Будур заметила это, и голос Идельбы смягчился, — полиция — тоже часть армии. Так ещё с войны повелось. А мы стараемся не привлекать к этим вопросам никакого лишнего внимания.

Будур указала на них рукой.

— Но ведь тут нам не о чем беспокоиться. Ни

одна женщина в завии никогда не выдаст свою соседку, даже военным.

Идельба уставилась на неё, пытаясь понять, не шутит ли она.

— Не будь наивной, — сказала она наконец, уже резче, и, похлопав себя по колену, встала, направляясь в ванную.

Это было не единственное облако, тень которого омрачала счастье Будур в эти дни. Газеты по всему дар аль-исламу пестрели новостями о волнениях, повсеместно росла инфляция. Военные перевороты в Скандистане, Молдавии, Аль-Алеманде и Тироле, находящихся в непосредственной близости от Тури, всколыхнули весь мир — слишком острая для таких мелких стран реакция была вызвана явными опасениями за возрождение мусульманской агрессии. Мусульман обвиняли в нарушении обязательств, наложенных на исламский мир по итогам послевоенного Шанхайского съезда, как будто он был монолитным блоком, что даже в разгар самой войны выглядело смехотворно. В Китае, Индии и Инчжоу вводились санкции и даже эмбарго. Последствия угрожающих мер отразились на Фиранджe моментально: подскочили цены на рис, затем на картофель, кленовый сироп и

кофейные зёрна. Все ринулись делать запасы, вспомнив старые привычки военного времени, и даже когда взлетели цены, продукты первой необходимости сметались с полок бакалейных магазинов, едва успев поступить в продажу. Это сказывалось буквально на всём, не только на продуктах питания. Запасательство оказалось заразным феноменом, следствием всеобщего пессимизма и разочарования в способности правительства удерживать всё на плаву; а поскольку правительство действительно катастрофически сдало позиции к концу войны, многие были склонны откладывать деньги при первом намёке на угрозу. Приготовление пищи в завии стало упражнением в изобретательности. В обед часто ели картофельный суп, по-всякому приправленный специями для приидания вкуса, но иногда его приходилось подавать изрядно разбавленным, чтобы хватило на каждого за столом.

Жизнь в кафе бурлила так же, как и всегда, по крайней мере на первый взгляд. Вот только голоса людей стали, пожалуй, немного резче, блеск глаз — ярче, смех — громче, гулянки — пьянее. Опиумом теперь тоже запасались впрок. Люди приходили с тележками бумажных денег или предъявляли римские купюры номиналом в пять

триллионов, со смехом предлагая расплатиться ими за чашку кофе и получая отказ. Только, по правде говоря, смешного было мало: с каждой неделей товары ощутимо дорожали, и, похоже, с этим ничего нельзя было поделать. Люди смеялись от своего бессилия. Будур стала реже ходить в кафе, избегая неловких встреч с Кираной и заодно экономя деньги. Иногда они с Пьяли, племянником Идельбы, ходили в другие кафе для публики поскромнее; Пьяли и его приятелям, к которым иногда присоединялись Хасан и его друг Тристан, похоже, нравились безыскусные заведения, облюбованные моряками и грузчиками. Так Будур и провела зиму, когда на улицах висел густой, как бесплотный дождь, туман, слушая рассказы об Инчжоу и штормовом Атлантическом океане, самом опасном из всех водоёмов.

— Мы живём на их честном слове, — горько сказала Зейнаб Шах, не отрываясь от вязания в их любимом кафе. — Как японцы после завоевания китайцами.

— Иногда нужно позволить чаше разбиться, — пробормотала Кирана.

Её лицо в тусклом свете было спокойным и непреклонным.

— Они все давно разбиты, — ответил Насер,

сидя в углу и глядя в окно на дождь. Он постучал сигаретой по пепельнице. — Не могу сказать, что сожалею об этом.

— В Иране всем тоже как будто всё равно, — сказала Кирана в попытке приободрить его. — И они делают большие успехи, занимая лидирующие роли во всех областях науки. Лингвистика, археология, естественные науки — там собрались все ведущие специалисты.

Насер кивнул, погружённый глубоко в себя. Будур теперь знала, что он потратил всё своё состояние на финансирование многих из их усилий, находясь здесь в каком-то непонятном изгнании. Ещё одна сложная жизнь.

Снова хлынул ливень. Погода, казалось, подчёркивала их ситуацию, ветер с дождём били в большие окна кафе «Султанша», и капли воды хаотично стекали по стеклу, мечущиеся из стороны в сторону с порывами ветра. Старый солдат смотрел на дым, коричневые струйки которого сплетались с серым и расползались всё шире по мере подъёма вверх. Пьяли однажды описал ей динамику этого ленивого восхождения, такую же, как у дождевых дельт на оконных стёклах. Грозовое солнце бросало серебристый отблеск на мокрую улицу. Будур была счастлива. Мир был

прекрасен. Она так проголодалась, что молоко в кофе казалось ей едой; солнце после грозы было ей пищей. Она думала: этот момент прекрасен. И эти старые персы прекрасны, и их персидский акцент прекрасен. И редкая безмятежность Кираны прекрасна. Отбрось прошлое и будущее. Хайям, любимый поэт персов, это понимал, и поэтому муллы почти всегда его недолюбливали.

Пей! И в огонь весенней кутерьмы
Бросай дырявый, тёмный плащ Зимы!
Недлинен путь земной. А время – птица.
У птицы – крылья… Ты у края Тьмы[50].

Все ушли, и Будур подсела к Киране, наблюдая, как та что-то пишет в записной книжке в коричневом переплёте. Кирана подняла голову, довольная вниманием Будур. Она сделала перерыв на сигарету, и они немного поговорили об Инчжоу и ходеносауни. Как всегда, мысли Кираны приняли интересный оборот. Она считала, что ходеносауни позволило выжить то, что их цивилизация находилась на самой ранней стадии развития, когда их открыл Старый Свет, хотя

---

[50] Примечания: 50
Перевод И. Тхоржевского (*прим. пер.*).

это и противоречило логике. Будучи охотниками-собирателями, они одни обладали большим умом, чем развитые народы, и были способны к адаптации, в отличие от инков, скованных строгой теократией. Если бы не восприимчивость к болезням Старого Света, ходеносауни наверняка бы уже покорили Старый Свет. И теперь они навёрстывали упущенное.

Они говорили о Нсаре, о военных и богословах, о медресе и монастыре. Девичестве Будур. Времени, проведённом Кираной в Африке. После закрытия кафе Будур пошла с Кираной в её завию, в маленький мансардный кабинет с дверью, которая часто запиралась на ключ, и там они лежали на кушетке и целовались, кувыркаясь в объятиях друг друга, и Кирана сжимала её так крепко, что Будур испугалась за сохранность своих рёбер; и испугалась снова, когда её живот скрутило мощным оргазмом.

Потом Кирана обняла её, улыбаясь своей лукавой улыбкой, куда спокойнее, чем когда-либо.

— Твоя очередь.

— Я уже кончила, пока тёрлась о твою ногу.

— Можно и по-другому, нежнее.

— Нет, правда, не стоит. Я уже устала.

И Будур поняла с недоумением, которое отра-

зилось в её глазах, что Кирана не позволит ей прикоснуться к себе.

15

После этого Будур ходила на курсы в смешанных чувствах. На занятиях и в кафе Кирана вела себя с ней так же, как и всегда, наверняка из соображений приличия, но Будур от этого становилось неприятно, и ещё — печально. В кафе она садилась по другую сторону стола от Кираны, редко пересекаясь с ней взглядом. Кирана поняла намёк и вернулась к разговору, текущему на её стороне стола, поддерживая диалог в своей обычной манере, которая теперь казалась Будур немного натянутой, и даже утомительной, хотя и не более многословной, чем обычно.

Будур повернулась к Хасану, который описывал путешествие на Сахарные острова между Инчжоу и Инкой, где он планировал днями напролёт курить опиум, развалившись на белых пляжах или в бирюзовой воде у их берегов, тёплой, как парное молоко.

— Как было бы славно, не правда ли? — спросил Хасан.

— Разве что в следующей жизни, — ответила Будур.

— Следующая жизнь, — язвительно фыркнул

Хасан, глядя на неё налитыми кровью глазами. — Какая милая мысль.

— Никто не знает наверняка, — ответила Будур.

— Ага. Может, нам всем стоит наведаться к мадам Сурури, узнать, кем мы были в прошлой жизни. Поговорить с близкими в бардо. Так делает половина вдов Нсары, наверняка это приносит им утешение. Если ты веришь в такое, — он указал за большое окно, где по улице проходили люди в чёрных пальто, сгорбившись под зонтиками, — но только это глупо. Большинство людей не живут даже той жизнью, которая им дана.

Жизнь одна. Будур никак не могла смириться с этой мыслью, хотя и учёные, и все остальные в один голос убеждали, что эта жизнь — единственная, это всё, что у тебя есть. Когда Будур была маленькой, её мать говорила: веди себя хорошо, если не хочешь вернуться улиткой. На похоронах читали молитвы о новом существовании умершего, прося Аллаха дать ему шанс исправиться. Теперь же всё это было отринуто: и будущие жизни после смерти, и рай, и ад, и сам Бог — вся белиберда, все предрассудки былых поколений, сочинявших в своём непомерном невежестве мифы, чтобы придать чему-то смысл.

Современные люди жили в материальном мире, эволюционировавшем до своего теперешнего состояния по воле случая и законов физики; они проживали свою единственную жизнь в мучениях и умирали (это выяснили учёные в результате своих исследований), и ничто в жизни и опыте Будур не указывало на обратное. И наверняка так оно и было. Такова была реальность, им оставалось или приспособиться, или обманываться иллюзиями. И каждый приспосабливался к своему космическому одиночеству: к Накбе, к голоду и тревогам, к кофе и опиуму, к осознанию конца.

— Мне не послышалось, ты предложил посетить мадам Сурури? — спросила Кирана с другого конца стола. — Отличная мысль! Так и поступим. Это будет образовательная экскурсия в рамках курсов истории: посещение места, где люди до сих пор живут той же жизнью, что и сотни лет назад.

— Как я понимаю, она обычная старая шарлатанка.

— Мой друг посещал её сеанс и сказал, что прекрасно провёл время.

Слишком много часов они провели в этом месте, глядя на одни и те же пепельницы и кофейные круги на столешницах, те же дождевые

капли на окнах. Поэтому они забрали свои пальто и зонты, сели на трамвай № 4, едущий вверх по течению реки, и докатились до бедного жилого квартала, примыкающего к старым верфям, где на каждом углу торчали маленькие магрибские лавки. Между швейным ателье и прачечной прятался тесный проход к комнатам над магазинами. На их стук дверь открылась, и их пригласили в прихожую, а затем дальше, в тёмную комнату, заставленную диванами и маленькими столиками, очевидно, переделанную гостиную довольно большой старой квартиры.

Восемь или десять женщин и трое стариков сидели на стульях перед черноволосой женщиной, которая оказалась моложе, чем ожидала Будур, но не слишком юной. Она была одета как зоттка, с густо подведёнными помадой губами и обвешанной дешёвыми стеклянными украшениями. Она разговаривала со своими адептами тихим напряжённым голосом, и вдруг замолчала и указала вновь прибывшим на пустые стулья в дальнем конце комнаты, не проронив ни слова.

— Каждый раз, когда душа нисходит в тело, — продолжила она, когда все расселись, — она подобна небесному воину, вступающему на поле битвы жизни и сражающемуся с невежеством и

злом. Она стремится раскрыть свою внутреннюю божественную суть и установить божественную истину на Земле сообразно своим возможностям. Затем же, в конце земного путешествия, она возвращается в свою область бардо. И я могу общаться с этой областью, если для этого будут созданы подходящие условия.

— Сколько времени душа проводит там, прежде чем вернуться обратно? — спросила одна из женщин.

— Зависит от обстоятельств, — ответила мадам Сурури. — Для перехода высших душ не существует единого правила. Одни начинали с минералов, другие — с животного царства. Иногда путь начинается с обратного конца, и космические боги принимают человеческий облик, — она кивнула, будто лично сталкивалась с феноменом. — Вариантов много.

— Так это правда, что в предыдущих воплощениях мы могли быть животными?

— Да, это возможно. В эволюции нашей души мы бывали всем сущим, включая камни и растения. Конечно, невозможно слишком сильно измениться между двумя соседними реинкарнациями. Но за многие инкарнации могут произойти большие перемены. Например, Будда

заявил, что был козлом в одной их прошлых жизней. Но, поскольку он осознал Бога, это уже не имело значения.

Кирана сдавленно фыркнула и поёрзала на стуле, чтобы скрыть это.

Мадам Сурури проигнорировала её.

— Ему не составило труда узреть, кем он был в прошлом. Некоторым из нас дан такой дар. Но он знал, что прошлое ничего не значит. Наша цель не позади нас, она впереди нас. Я всегда говорю, что для человека одухотворённого прошлое — пыль. Я говорю так потому, что прошлое не дало нам того, что нам необходимо. А необходимо нам постичь Бога и вступить в контакт с нашими близкими, а это полностью зависит от нашего внутреннего зова. Мы должны сказать: «У меня нет прошлого. Я начинаю здесь и сейчас, с Божьей милостью и моим собственным устремлением».

Будур подумала, что здесь сложно было с чем-то поспорить, и мысль неприятно скребнула ей по сердцу, учитывая, кто произнёс эти слова, но скептицизм, исходящий от Кираны, ощущался подобно жарким волнам, и казалось, вся комната прогревается им, как если бы на полу работал обогреватель, сжигающий ци. Возможно, её собственное смущение оказывало такой эффект.

Будур потянулась и взяла Кирану за руку. Провидица оказалась слишком интересной фигурой, а ёрзанья Кираны не давали ей сосредоточиться.

Старая женщина, всё ещё носившая брошь, которую выдавали вдовам в середине войны, сказала:

— Когда душа выбирает для себя новое тело, она уже знает, какую жизнь проживёт?

— Она видит только возможности. Бог знает, но скрывает будущее. Да и сам он не использует своё высшее видение постоянно, иначе в этом не было бы никакого смысла.

Кирана открыла рот, как будто собираясь подать голос, но Будур ткнула её локтем.

— Забывает ли душа подробности о своих прежних переживаниях, или помнит?

— Душа не должна помнить такие вещи. Это всё равно что помнить, что ты сегодня ел, или вкусно ли готовил мой адепт. Если я знаю, что адепт проявил ко мне доброту и принёс мне обед, этого уже достаточно. Мне не нужно знать тонкости рецепта. Главное, помнить впечатление от поступка. Именно так помнит душа.

— Иногда моя… подруга и я медитируем, глядя друг другу в глаза, и когда мы это делаем, иногда мы видим, как лица друг друга меняются. Даже

наши волосы меняют цвет. Я бы хотела узнать, что это значит.

— Это значит, что вы видите свои прошлые воплощения. Но это крайне нежелательно. Предположим, вы видите, что три или четыре воплощения назад вы были свирепым тигром? Что хорошего бы это сделало вам? Прошлое — это пыль, говорю я вам.

— Кто-нибудь из ваших адептов… кто-нибудь из нас знал друг друга в прошлых воплощениях?

— Да. Мы путешествуем группами и постоянно сталкиваемся друг с другом. Например, двое из наших сегодняшних гостей в этом воплощении являются близкими друзьями. Во время своих медитаций я увидела, что они приходились родными сёстрами в своём предыдущем воплощении и были очень близки. А в ещё одном предшествующем воплощении они были матерью и сыном. Так всё и происходит. Ничто не затуманит зрение моего третьего глаза. Когда устанавливается истинная духовная связь, она уже никогда больше не исчезает до конца.

— Вы могли бы… не могли бы вы рассказать нам, кем мы были раньше? Или кто из нас имел такую связь?

— Вслух этим двоим я ничего не говорила, но

моим настоящим адептам я всё сказала внутренне, поэтому в душе они уже знают об этом. Мои настоящие адепты — те, кого я приняла под своё крыло и кто принял меня, — будут удовлетворены и осознают себя в этом воплощении, или в своём следующем, или через незначительное их число. Некоторые из них, те, кто плохо начал, могут принимать порядка двадцати воплощений и даже больше. Многие из тех, кто пришёл ко мне в своём первом или втором человеческом воплощении, могут пройти этот путь ещё сотни раз, пока достигнут цели. Первое и второе воплощения — всё ещё полуживотные, за редким исключением. Животное всё ещё выступает доминирующим вариантом, так как же им достичь осознания Бога? Даже в «Центре духовного развития» Нсары, здесь, среди нас, находится много адептов, которые прошли всего шесть или семь земных воплощений, и на улицах города я вижу африканцев и других чужестранцев, в которых животного явно больше, чем человеческого. Что может сделать гуру с такими душами? С ними возможности гуру весьма ограничены.

— А вы… можете ли вы установить контакт с душами, завершившими свой земной путь? Или ещё не время?

В ответ мадам Сурури наградила просительницу ровным, невозмутимым взглядом.

— Но они уже разговаривают с вами, разве нет? Мы не можем взывать к ним сейчас. Духи не любят быть у всех на виду. А среди нас есть гости, к которым они ещё не привыкли. К тому же я устала. Вы знаете, как тяжело говорить вслух в земном мире то, что они сообщают в наших сердцах. А теперь прошу к столу, отведать принесённых вами угощений — с мыслями о том, что близкие говорят с нами в наших сердцах.

Гости кафе, перекинувшись взглядами, решили уйти, в то время как остальные удалились в соседнюю комнату: они не покусились бы принять пищу от людей, не веря в их религию. Они оставили провидице по несколько монет, и та приняла их с достоинством, игнорируя многозначительный взгляд Кираны и глядя на неё в ответ непримиримо и открыто.

Следующий трамвай ожидался не раньше, чем через полчаса, так что компания отправилась обратно пешком через промышленный район и вниз по реке, пересказывая друг другу избранные моменты встречи и пошатываясь от смеха. Даже Кирана не могла удержаться от смеха, выкрикивая над рекой:

— Мой третий глаз всё видит, но вам я ничего не скажу! Какая невероятная чушь!

— Я ответила на ваши вопросы своим внутренним голосом, а теперь пора обедать!

— Некоторые мои адепты в прошлой жизни были сёстрами, хотя и козами, но чего ещё ожидать от прошлого, ах, ха-ха-ха-ха-ха!

— Да замолчите вы, — резко одёрнула их Будур. — Она зарабатывает на жизнь, — добавила она и обратилась к Киране: — Она говорит людям то, что они хотят слышать, и ей платят за это деньги, разве это так кардинально отличается от того, что делаешь ты? Она помогает им почувствовать себя лучше.

— Да что ты?

— Она предлагает им услугу в обмен на еду. Сообщает им то, что они хотят услышать. Ты за свой хлеб говоришь то, чего никто не хочет слышать, разве это лучше?

— А что, — ответила Кирана, снова хохотнув, — я неплохо устроилась, если смотреть с такой стороны. Уговор! — закричала она через реку на весь мир. — Я скажу вам то, чего вы не желаете слышать, а вы заплатите мне хлебом!

Даже Будур не удержалась от смеха.

Они прошли по последнему мосту рука об руку,

смеясь и болтая, после чего добрели до центра города, где трамваи скрипели по рельсам, а мимо спешили люди. Будур с любопытством вглядывалась в проносящиеся мимо лица, вспоминая износившуюся маску фальшивой гуру, деловитой и суровой. Кирана правильно делала, что смеялась. Все старые мифы были просто сказками. Единственная реинкарнация, которая нам дана, — это утреннее пробуждение. Никто никогда не был тобой, ни ты, существовавший год назад, ни ты будущий не существовали ни десять лет спустя, ни даже на следующий день. Всегда существовал только момент, невообразимый минимум времени, в каждый новый миг уже прошедший. Воспоминания были пристрастны: тусклая безликая комната в нищем районе, освещённая вспышками далёких молний. Когда-то она жила в гареме преуспевающего купца, но какое теперь это имело значение? Сейчас она была свободной женщиной и жила в Нсаре и гуляла ночью по городу в компании весёлых интеллектуалов — а больше ничего и не было. Она тоже рассмеялась, издав болезненный безудержный вскрик, полный какой-то неистовой радости. Вот что на самом деле предлагала Кирана в обмен на свой хлеб.

16

В завии Будур поселились три новенькие: тихие женщины с банальными предысториями, которые держались преимущественно особняком. На них, как водится, легли хлопоты по кухне. Будур чувствовала себя неуютно под их взглядами, которыми они никогда не обменивались друг с другом. Она никак не могла поверить, что они могут предать такую же молодую девушку, как они сами, к тому же две из них оказались очень приятными в общении. Будур вела себя с ними резче, чем ей хотелось, но, следуя предостережениям Идельбы, не проявляла открытой враждебности, чтобы не выдать своих подозрений. Это была тонкая грань в игре, участвовать в которой Будур совсем не хотелось, хотя не совсем: это неприятно напоминало о различных масках, которые ей приходилось примерять перед отцом и матерью. Она так хотела, чтобы тут всё было по-новому, хотела быть самой собой со всеми без исключения — грудь в грудь, как говорили иранцы. Но, похоже, жизнь вынуждала чуть ли не постоянно играть роли. Быть ненавязчивой на лекциях Кираны и безразличной в кафе, даже

когда их ноги оказывались совсем рядом, быть непременно обходительной со шпионками.

Тем временем в лаборатории за площадью Идельба и Пьяли работали в поте лица, практически ежедневно задерживаясь допоздна; Идельба всё больше и больше мрачнела, и, как показалось Будур, она пыталась скрывать свои тревоги, малоубедительно отшучиваясь.

— Обычные проблемы физиков, — отвечала она на все вопросы. — Мы пытаемся кое в чём разобраться. Сама знаешь, как увлекательны бывают теории, но это всего лишь теории. Ничего существенного.

Похоже, в мире все надевали маски, даже Идельба, которой это совсем не давалось, хотя она частенько в них нуждалась. У Будур не оставалось никаких сомнений, что на кону стояло что-то очень важное.

— Это что, бомба? — тихо спросила Будур однажды вечером, когда они запирали двери опустевшего здания.

Идельба колебалась лишь мгновение.

— Допустим, — прошептала она, оглядываясь вокруг. — Такая возможность не исключена. Так что, пожалуйста, никогда больше не заговаривай об этом.

В те месяцы Идельба так много работала, а ела, как и все в завии, так мало, что заболела и перестала вставать с постели. Это сильно её расстраивало, и, несмотря на мучительное течение болезни, она старалась изо всех сил как можно скорее подняться на ноги, и даже пыталась работать над вычислениями прямо в постели, без устали скрипя карандашом и щёлкая логарифмическими счётами, пока бодрствовала.

И вот однажды, когда Будур была в завии, Идельбе позвонили, и она поплелась по коридору и ответила на звонок, кутаясь в халат. Положив трубку, она поспешила на кухню и попросила Будур зайти к ней в комнату.

Будур пошла за ней, удивлённая спорости её движений. В спальне Идельба заперла дверь и начала складывать бумаги и тетради в матерчатую сумку для книг.

— Прошу, спрячь это, — взмолилась она. — Вряд ли ты сможешь уйти, тебя точно задержат и обыщут. Спрячь это где-нибудь в завии, только не у себя и не у меня, наши комнаты перевернут вверх дном. Они будут везде искать, не знаю, что посоветовать.

В её тихом голосе слышалось отчаяние; Будур никогда не видела её такой.

— Кто «они»?

— Не имеет значения, поторопись! Это полиция. Они уже в пути, иди.

Раздался звонок в дверь, и тут же повторился.

— Положись на меня, — сказала Будур и бросилась по коридору в свою спальню.

Она огляделась: комнату обыщут, возможно, весь дом обыщут, а сумка с бумагами была большой. Она окинула завию мысленным взором, гадая, не станет ли Идельба возражать, если ей удастся каким-то образом уничтожить документы — не то чтобы у неё на уме был какой-то конкретный план, возможно она смогла бы порвать их и спустить в унитаз, но она не знала, насколько важны бумаги.

В прихожую вошли люди, послышались женские голоса. Видимо, впустили только женщин-полицейских, чтобы не нарушать запреты завии на мужские посещения. Возможно, это был знак, но мужские голоса доносились с улицы, спорили со старейшинами завии, а женщины уже вошли; в её дверь громко постучали — похоже, решили начать с её комнаты, и наверняка с комнаты Идельбы. Будур перекинула сумку через шею, забралась на кровать, потом на железное изголовье, потянулась вверх, держась за стену, сдвинула па-

нель навесного потолка и, оттолкнувшись ногой, как в танцевальном па, коленом от стыка двух стен, забралась в отверстие и оказалась в потолке над стеной шириной в пару футов. Усевшись на неё, она тихонько задвинула панель на место.

Потолки в старом музее были очень высокими, со стеклянными потолочными окнами, которые теперь стали почти непрозрачными от пыли. В полумраке она видела далеко поверх галерейных потолков комнат, коридоров, лишённых потолка, — на большом расстоянии и во всех направлениях, настоящие стены. Это было весьма сомнительное укрытие: если сюда додумаются заглянуть, её заметят с любого места.

Верхние части стен представляли собой деформированные деревянные балки, прибитые к каркасу здания и поверх облицовочных панелей, как парапет. Каждая стена представляла собой две панели, совершенно не изолирующие шум, закреплённые по обе стороны от каркаса; между ними наверняка были пустоты — главное, чтобы у неё получилось поднять хотя бы одну из верхних балок.

Она опустилась на четвереньки, закинула сумку за спину и поползла по пыльным балкам в поисках бреши, держась подальше от коридоров,

где её могли обнаружить, просто задрав голову. Отсюда всё здание казалось ветхим, сколоченным наспех, и верно, вскоре она нашла уголок на стыке трёх стен, где одна балка была спилена коротко. Щель оказалась слишком узкой, чтобы вместить сумку целиком, но бумаги туда вполне могли влезть, и Будур стала быстро запихивать их внутрь, пока сумка не опустела, а под конец бросила туда и саму сумку. В случае досконального обыска тайник был не идеален, но лучше этого она ничего сейчас не могла придумать и в целом осталась довольна своим решением; но если её саму найдут здесь, под крышей, всё будет кончено. Она поползла обратно, тихо, как мышка, слыша голоса снаружи своей комнаты. Им достаточно будет встать на изголовье кровати и отодвинуть потолочную панель, чтобы увидеть её. Судя по звукам, в ванной комнате было пусто, и она повернула в том направлении, ободрав колено о гвоздь, чуть приподняла панель, заглядывая внутрь — пусто; отодвинув панель в сторону, она повисла на балке и спрыгнула, больно ударившись о кафельный пол. Стена осталась испачкана пылью и кровью; колени и ступни тоже были в пыли, а ладони выдавали её, как рука Каина. Она отмыла грязь в раковине, сняла

с себя джебеллу и убрала её в стирку, достала из шкафа чистые полотенца и, смочив одно из них водой, отмыла стену. Панель в потолке всё ещё была отодвинута, но в ванной не было стульев, ей не на что было встать, чтобы задвинуть её на место. Выглянув в коридор (громкие голоса, споры, возмущённый голос Идельбы, но никого не видно), она метнулась через коридор в спальню, схватила стул и побежала обратно в ванную, приставила стул к стене, забралась на него, осторожно ступив на спинку, потянулась и задвинула потолочную панель на место, защемив пальцы. Выдернув их из щели, она задвинула панель до конца, спустилась на пол, чуть не опрокинув стул, скользнувший вместе с ней по плитке. Стук, грохот, поймала равновесие, снова оглянулась по сторонам и услышала приближающиеся споры; она убрала стул на место, вернулась в ванную, забралась в душ и принялась намыливать колени, терпя пощипывание в ранах. Она тёрла и тёрла себя мылом, пока не услышала голоса за дверью. Наспех смыла пену, вытерлась и завернулась в большое полотенце, когда в комнату вошли женщины, две из которых были в военной форме, похожие на солдаток, которых Будур видела давным-давно на вокзале Тури. Она постаралась

принять испуганный вид и вцепилась в полотенце на своём теле.

— Вы Будур Радван? — требовательным тоном спросила одна из полицейских.

— Да. Что вам нужно?

— Поговорить с вами. Где вы пропадали?

— Что значит — где? Вы прекрасно видите, где! Что всё это значит, зачем я вам нужна? С какой целью вы здесь?

— Мы хотим поговорить с вами.

— Сейчас я оденусь, и тогда мы поговорим. Я ведь ничего не нарушила? Я могу одеться перед разговором со своими соотечественницами?

— Мы в Нсаре, — сказала одна из женщин. — А вы из Тури, не так ли?

— Верно, но все мы здесь фиранджийки, благочестивые мусульманки в завии, если я не ошибаюсь?

— Одевайтесь быстрее, — сказала другая. — У нас к вам несколько важных вопросов касательно угроз безопасности, которые могут исходить отсюда. Мы вас ждём. Где ваша одежда?

— В моей комнате, разумеется!

И Будур прошмыгнула мимо них в свою комнату, прикидывая, какая из её джебелл лучше скроет колени и кровь, которая может просочить-

ся сквозь ткань. Её кровь кипела, но дыхание было ровным; она чувствовала себя уверенно, а изнутри в ней рос гнев, как валуны под причалом, не позволяющие ему пойти ко дну.

17

Несмотря на то что обыск провели тщательный, бумаг Идельбы не нашли, и полиция ушла ни с чем, услышав лишь недоумение и возмущение в ответ на свои вопросы. Завия подала в суд иск против полиции за вторжение в частную жизнь без надлежащего разрешения, и только ссылка на законы военного времени о тайне информации спасла ситуацию от скандала в прессе. Суд санкционировал обыск, но поддержал и будущее право завии на неприкосновенность, и после этого всё вернулось в привычное русло, более-менее: Идельба перестала говорить о работе, сотрудничать с некоторыми лабораториями, как раньше, и перестала проводить время с Пьяли.

Будур продолжала жить в своём обычном ритме, ходила на работу и в кафе «Султанша». Она сидела там и смотрела в большие окна на доки с лесом мачт и стальных надстроек, на верхушку маяка в конце пристани, а вокруг неё текли разговоры. За их столиками часто стали появляться Хасан и Тристан, сидевшие среди них, как улитки на берегу после отлива, мокро блестящие под лунным светом. Полемика и поэзия Хасана

сделали его фигурой, с которой приходилось считаться, что признавал весь городской авангард, кто с энтузиазмом, а кто и нехотя. Сам Хасан говорил о своей репутации с усмешкой, которую пытался выдавать за скромность, лукавой улыбкой, вот так, мимоходом, демонстрируя своё влияние. Будур он нравился, хотя она и отдавала себе отчёт в том, что в некоторых отношениях он был неприятным человеком. Но больше её интересовали Тристан и его музыка, включавшая не только песни, вроде тех, что он исполнял на вечеринке в саду, но и длинные, масштабные сочинения для ансамблей, в которых насчитывалось до двухсот музыкантов, где и он сам играл иногда на кундуне, анатолийском инструменте в виде короба со струнами и металлическими колками сбоку для настройки тональности струн (дьявольски трудный в обращении инструмент). В этих опусах он прописывал партии для каждого инструмента, вплоть до последнего аккорда и альтерации, до последней ноты. Как и в песнях, в сочинениях крупной формы он демонстрировал свой интерес к переложению примитивных мотивов вымерших христиан, состоящих в основном из простейших гармоний, но таящих в себе возможность для передачи более сложных

мелодий, которые в ключевые моменты могли возвращаться к пифагорейским основам, излюбленным в христианских хоралах и песнопениях. Его обыкновение записывать все ноты на бумаге и требовать, чтобы все музыканты воспроизводили их в точности, все считали граничащим с невозможностью, приписывая это мании величия; ансамблевая музыка, несмотря на свою чёткую структуру, восходящую к индийским традиционным рагам, тем не менее допускала индивидуальную импровизацию в нюансах и вариациях, спонтанное творчество, которое и придавало музыке шарм, поскольку музыкант творил внутри форм раги и наперекор им. Никто не поддержал бы безумных правил Тристана, если бы не выдающийся и прекрасный результат, которого нельзя было отрицать. И Тристан настаивал на том, что не он придумал такой порядок исполнения, так было заведено у погибшей цивилизации, он же просто следовал забытыми тропами, делая всё возможное, чтобы в его фантазиях и музыкальных грёзах зазвучали голодные призраки древних. Старинная франкская музыка, к которой он обращался, была музыкой религиозных таинств, и трактовать и исполнять её требовалось соответственно — как священную

музыку. Впрочем, в его кругу авангардистов и эстетов священной, как и все искусства, считалась сама музыка, и такое дополнение было излишним.

К тому же отношение к искусству как к священному действу зачастую означало употребление опиума или лауданума для подготовки к такому опыту; некоторые курили или даже вводили внутривенно более крепкие опиумные дистилляты, полученные во время войны. В состоянии дурмана музыка Тристана звучала особенно завораживающе, как говорили опытные люди, даже те, кто не любил примитивного треньканья затерянных цивилизаций; опиум способствовал глубокому погружению в чувственную плоскость музыкального звука, в простейшие гармонии, передающиеся от одурманенных музыкантов одурманенной аудитории. А в сочетании с разлитыми в воздухе ароматами искусного парфюмера представление становилось поистине мистическим. Некоторые относились к этому скептически. Кирана сказала однажды:

— В состоянии такого кайфа они могли бы тянуть одну ноту в течение целого часа, нюхать собственные подмышки, и были бы довольны, как птицы.

Тристан сам часто проводил опиумные церемонии перед музыкальными вечерами, окружёнными каким-то полусектантским флёром, будто сам он был этаким суфийским ментором или актёром в роли Хусейна в одной из пьес о мученичестве Хусейна, которые опиумная компания также посещала после странствия по стране грёз, чтобы посмотреть, как Хусейн надевает собственный саван, перед тем как его убивает Шамир, и зрители ахают — не от ужаса из-за убийства на сцене, а из-за его жертвенного выбора. В некоторых шиитских странах игравшим Шамира приходилось опасаться за жизнь после занавеса, и немало неудачливых артистов было убито толпой. Тристан это полностью одобрял; он хотел, чтобы и его аудитория достигала такого же погружения в его музыку.

Но в светском мире он это делал ради музыки, а не ради Бога; Тристан считал себя в большей степени персом, нежели иранцем, или, как он иногда выражался, «омарцем», нежели какой-то мулла, или мистиком зороастрийского толка, проводящим ритуалы во славу Ахурамазды, вроде поклонения солнцу, которое в туманной Нсаре исходило от чистого сердца. Христианские мотивы, опиум, поклонение солнцу — он шёл на

любые безумства ради своей музыки, работал по много часов в день, фиксируя на бумаге каждую ноту; никакие ухищрения не имели бы значения, если бы сама музыка того не стоила, но она стоила, более чем стоила — это была музыка их жизни, музыка современной Нсары.

Однако стоявшую за музыкой теорию он излагал загадочными короткими фразами и афоризмами, которые потом передавались из уст в уста, как «свежее от Тристана»; а чаще всего он просто пожимал плечами, улыбался, протягивал трубку с опиумом и, самое главное, играл музыку. Он писал то, что писал, и городские интеллектуалы могли слушать и потом сколько угодно обсуждать скрытые смыслы, что они зачастую и делали всю ночь напролёт. Тахар Лабид без конца разглагольствовал об этом, а потом с почти издевательской агрессией говорил Тристану: я ведь прав, Тристан Ахура, — а потом продолжал, не дожидаясь ответа, будто Тристан был достоин осмеяния как учёный дурак за то, что никогда не снисходил до ответа, как будто и в самом деле не понимал смысла собственной музыки. Но Тристан только улыбался Тахару из-под усов, загадочно, как сфинкс, в расслабленной позе, как бы обтекая кресло у окна, откуда глядел на мок-

рые чёрные булыжники, если не пронзал Тахара насмешливым взглядом.

— Почему ты мне никогда не отвечаешь? — вспылил однажды Тахар.

Тристан поджал губы и присвистнул в ответ.

— Да ну тебя, — сказал Тахар, покраснев. — Скажи что-нибудь, чтобы мы убедились, что у тебя в голове есть хоть какие-то мысли.

Тристан весь подобрался.

— Не нужно грубить! Конечно, у меня в голове нет никаких мыслей, за кого ты меня держишь!

И Будур села рядом с ним. Она присоединилась к нему, когда он, поджав губы, кивком головы пригласил её в один из дальних залов кафе, где собирались курильщики опиума. Она заранее решила для себя, что пойдёт туда, если представится такая возможность, чтобы узнать, каково это — слушать музыку Тристана под воздействием наркотика, использовать музыку как ритуал, который позволит ей преодолеть свой турийский страх перед дымом.

Комната была маленькой и тёмной. Хукка, большой кальян, стоял на низком столике посреди разбросанных на полу подушек; Тристан отрезал чуть-чуть от бруска чёрного опиума и положил в чашу, поджигая серебряной зажигал-

кой, и кто-то затянулся. Единственный мундштук стали передавать по кругу, курильщики присасывались к нему по очереди и тут же начинали кашлять. Чёрное вещество пузырилось в чаше, превращаясь в смолу; дым был густой и белый, пахло сахаром. Будур решила затянуться едва-едва, чтобы не закашляться, но когда мундштук оказался у неё и она осторожно вдохнула через него, первое же — вкус дыма — заставило её зайтись в приступе адского кашля. Казалось невозможным, чтобы нечто, бывшее в её теле такое короткое время, могло настолько на неё подействовать.

Затем эффект усилился. Она ощутила кровь у себя под кожей, а потом и всё тело. Кровь наполняла её, как воздушный шар, и выплеснулась бы наружу, если бы её не удерживала горячая кожа. Она пульсировала в такт с биением сердца, и весь мир пульсировал вместе с ней. Всё как-то само собой сдвинулось в такт её сердцу и оказалось на своих местах. Пульсировали тусклые стены. С каждым ударом сердца всё ярче проступали краски. Поверхности предметов искривлялись и скручивались под давлением и натяжением, принимая вид того, чем, по словам Идельбы, они и являлись, сгустков густой энергии. Будур

вместе с остальными поднялась на ноги и, стараясь сохранять равновесие, прошла по улице к концертному залу в старом дворце, вытянутому пространству с высокими потолками, похожему на поставленную на бок колоду карт. Вошли и расселись музыканты; по знаку, поданному жестами и взглядом, они начали играть. Певцы запели в древнем пифагоровом строе[51], чисто и сладко, и одно сопрано взлетало выше остальных. Затем под голоса прокрались Тристан на своём уде и другие струнные, от баса до дисканта, разбивая элементарные гармонии, принося с собой целый новый мир, Азию звуков, гораздо более сложную и тёмную реальность, которая просочилась внутрь и, в ходе долгой борьбы, подавила простую манеру старого запада. Тристан пел историю самой Фиранджи, внезапно подумалось Будур, это было музыкальное переложение истории страны, где они жили, хотя и поздно в ней появились. Фиранджийцы, франки, кельты, ещё более древние люди, оставленные во мраке времён… Каждому народу — своё время править. Это не было ароматическим представлением, но перед музыкантами горели благовония, и пока

[51] Примечания: 51

Незамкнутый музыкальный строй, основанный на математическом расчёте (*прим. ред.*).

их песни сплетались вместе, насыщенные запахи сандалового дерева и жасмина окутывали комнату, проникали в дыхание Будур и пели внутри неё, исполняя замысловатые рулады с её пульсом как настоящую музыку, которая, конечно же, являлась ещё одним языком тела, речью, и теперь, услышав это, Будур её понимала, хотя никогда не смогла бы выразить словами или запомнить.

Секс тоже был таким языком; она обнаружила это позже тем вечером, когда вошла с Тристаном в его неопрятную квартиру и легла с ним в постель. Он жил за рекой в районе южной верфи, на промозглом, сыром чердаке (как банально для художника), и, судя по всему, не убирался в ней со смерти своей жены в конце войны (несчастный случай на заводе, как узнала Будур от кого-то, стечение обстоятельств, неудачный момент и неисправное оборудование), но кровать была застелена чистыми простынями, что заставило Будур заподозрить неладное; впрочем, она давно проявляла интерес к Тристану, так что, возможно, это было обычным проявлением вежливости или достоинства. Он был волшебным любовником и играл на ней, как на уде, томно и слегка дразняще, подмешивая к её страсти толику сопротивления и борьбы, что в совокупности только добавляло

эротичности этому опыту, напоминая о себе впоследствии, будто вонзившись в неё крючьями (ничего общего с пылкой прямотой Кираны), и Будур гадала, что было на уме у Тристана, хотя в первую же их ночь поняла, что ничего не узнает с его слов, так как с ней он был практически так же сдержан, как и с Тахаром; ей оставалось узнавать его интуитивно, прислушиваясь к музыке и присматриваясь к внешности. И они действительно отлично демонстрировали его настроения и их смену, и даже, возможно, его характер; ей это нравилось. Поэтому поначалу она зачастила к нему домой, посещая профилактические процедуры в медпункте при завии, заглядывая вечерами в кафе и не упуская шанса, когда таковой подворачивался.

Однако через некоторое время её стали утомлять попытки поддерживать разговор с человеком, который мог только петь песни, — это было всё равно что жить с птицей. Это откликалось в ней болезненным напоминанием об отчуждённости отца и её беззвучных потугах в изучении далёкого прошлого, которое было так же немо. Но дела в городе шли всё туже, с каждой неделей к цифрам на бумажных купюрах прибавлялся ещё один ноль, и собирать большие ансамбли, необ-

ходимые для исполнения последних сочинений Тристана, становилось всё труднее. Когда районный панчаят, в чьём ведении находился старый дворец, отказывался сдавать концертный зал в аренду или музыканты были заняты на своих основных работах — в школах, на пристани или в лавках, торгующих шляпами и плащами, — Тристану оставалось только бренчать на своём уде, грызть карандаши и без конца выводить индийские ноты, придуманные, якобы, даже раньше санскрита, хотя Тристан признался Будур, что за время войны забыл музыкальную грамоту и теперь использовал им самим разработанную систему, которой ему пришлось обучить своих музыкантов. Будур показалось, что сейчас его музыка стала более мрачной, мелодии были пропитаны горечью, оплакивали утраты военных лет и всех последующих, которые продолжают происходить даже сейчас, пока она слушает эту музыку. Будур понимала это и продолжала время от времени присоединяться к Тристану, наблюдая за подрагиванием его усов, ловя намёки на то, что забавляет его в её или чьих-то ещё словах, следя за его пожелтевшими пальцами, на ощупь воспроизводящими мелодии или строчащими ноты одной певучей элегии за другой. Будур

услышала одну певицу, подумала, что она может понравиться Тристану, и привела его на её выступление, и ему действительно понравилось; он напевал её песни по дороге домой, глядя в трамвайное окно на тёмные городские улицы, где люди, сгорбленные под зонтами и пончо, перебегали от фонаря к фонарю по блестящим булыжникам.

— Здесь точно в лесу, — сказал Тристан, и его усы поползли вверх. — У вас в горах есть такие места, где лавины пригнули все деревья к земле, а когда снег растаял, все деревья так и продолжили расти склонёнными к земле, — и он кивнул на людей, сгрудившихся на трамвайной остановке. — Такими мы теперь стали.

18

Шли дни и недели; Будур продолжала жадно читать — в завии, в институте, в парках, на причале, в госпитале для слепых солдат. Между тем иммигранты со Среднего Запада привозили в город купюры достоинством в десять триллионов пиастров, которые шли в обмен на купюры в десять миллиардов драхм. Недавно была история, когда человек набил свой дом деньгами от пола до потолка и обменял всё на свинью. В завии всё тяжелее становилось приготовить достаточно еды, чтобы накормить всех. Они выращивали овощи на крыше, проклиная тучи, и перебивались козьим молоком, куриными яйцами, огурцами, мочёными в огромных чанах с уксусом, тыквой, приготовленной всеми мыслимыми и немыслимыми способами, и картофельным супом, разбавленным до такой степени, что он был жиже молока.

Однажды Идельба поймала трёх шпионок с поличным, когда те рылись в шкафчике у неё над кроватью, велела вышвырнуть их из дома, как простых воровок, и вызвала местную полицию, не упоминая о шпионаже, но, однако, и не вдава-

ясь в логичный вопрос, что, кроме её идей, можно было у неё украсть.

— У них будут неприятности, — заметила Будур, когда девушек увели. — Даже если их нанимате-ли вытащат их из тюрьмы.

— Да, — согласилась Идельба. — Я собиралась оставить их здесь, ты и сама видела. Но раз их поймали, пришлось вести себя так, будто мы ничего о них не знаем. Да и к тому же, кормить их нам действительно не по карману. Так что пускай возвращаются к тем, на кого работают. Если повезёт.

Её лицо было угрюмым; ей не хотелось думать о том, на что она могла их обречь, — это уже их про-блемы. Она ожесточилась за два года, прошедшие с тех пор, как она привезла Будур в Нсару, — так, по крайней мере, казалось Будур.

— Дело не только в моей работе, — объяснила она, заметив выражение лица Будур. — Там пока всё под вопросом. Дело в том, что творится вокруг. Если мы передохнем с голоду, и взрывать ничего не придётся. Война кончилась плохо, вот и весь сказ. И не только для нас, побеждённой стороны, но для всех. Равновесие так сильно пошатнулось, что всё может полететь в тартарары. И нам всем нужно сплотиться. А если некоторые отказыва-

ются, то даже не знаю…

— Ты столько времени проводишь, работая над музыкой франков, — сказала Будур Тристану как-то вечером в кафе. — А ты когда-нибудь задумывался, что они были за люди?

— А как же, — ответил он, довольный вопросом. — Постоянно. И думаю, они были такими же, как мы. Часто воевали. У них были монастыри и медресе, водяные механизмы. Маленькие корабли, на которых они могли плыть против ветра. Они бы захватили контроль над морями раньше любого другого народа.

— Не может быть, — откликнулся Тахар. — Их корабли были всё равно что дау, в сравнении с китайскими кораблями. Ну что ты, Тристан, ты же сам всё знаешь.

Тристан только пожал плечами.

— Они говорили на десяти-пятнадцати языках, и у них было тридцать-сорок княжеств, не так ли? — сказал Насер. — Слишком сильная раздробленность, чтобы покорять другие народы.

— Они сражались плечом к плечу, чтобы захватить Иерусалим, — заметил Тристан. — Междоусобицы позволили им набить руку в битве. Они считали себя избранниками Бога.

— Примитивные народы часто так думают.

— Это верно, — Тристан улыбнулся, склонившись вбок, чтобы посмотреть в окно на соседнюю мечеть. — Как я уже сказал, они были такими же, как мы. И если бы они выжили, таких, как мы, было бы больше.

— Таких, как мы, больше нет, — грустно сказал Насер. — Я думаю, франки были совсем другими.

Тристан снова пожал плечами.

— Можешь говорить о них всё что угодно, это ничего не меняет. Скажи, что они бы угодили в рабство, как африканцы, или поработили нас всех; скажи, что они открыли бы Золотой век или развязали войну страшнее, чем Долгая Война…

Люди качали головами в ответ на эти невозможные теории.

— … но это ничего не меняет. Мы этого никогда не узнаем, так что можешь говорить о них всё что хочешь. Они — наши джинны.

— Забавно, что мы смотрим на них сверху вниз только потому, что они умерли, — заметила Кирана. — На подсознательном уровне кажется, что в этом должна была быть их вина. Физический ли недостаток, моральное падение или дурные привычки.

— Они оскорбляли Бога своей гордыней.

— Они были бледны, потому что были слабы,

или наоборот. Музаффар доказал: чем темнее кожа, тем сильнее человек. Самые тёмные африканцы — самые сильные, самые бледные народы Золотой Орды — самые слабые. Он провёл опыты. Франки оказались генетически несостоятельны, таково было его заключение. Они проиграли в эволюционной игре выживания наиболее приспособленным.

Кирана покачала головой.

— Или это была просто мутация чумы, которая оказалась настолько сильной, что убила всех своих носителей и исчезла вместе с ними. Это могло случиться с любым. С нами или с китайцами.

— Но в Средиземноморье распространена лёгкая анемия, которая, теоретически, могла сделать их более восприимчивыми…

— Нет. Мы тоже могли оказаться на их месте.

— Может, было бы и неплохо, — сказал Тристан. — Они верили в бога милосердия, их Христос был воплощением любви и милосердия.

— Так и не скажешь по тому, что они сделали в Сирии.

— Или Аль-Андалусе.

— Оно спало в них и готово было вырваться наружу. В нас же спит джихад.

— Ты ведь сказал, они такие же, как и мы.

Тристан улыбнулся в усы.

— Возможно. Они — белое пятно на карте, руины под ногами, пустое зеркало. Облака в небе, похожие на тигров.

— Это такое бесполезное занятие, — рассудила Кирана. — А если бы случилось это, а если бы случилось то, а если бы Золотая Орда взяла Ганьсуйский коридор в начале Долгой Войны, а если бы японцы, отвоевав Японию, напали на Китай, а если бы Мин не упразднили флот сокровищниц, а если бы это мы открыли и завоевали Инчжоу, а если бы Александр Великий не умер молодым, и так далее, и тому подобное — и всё тогда было бы кардинально иначе, но такие разговоры совершенно бесполезны. Историки, которые оперируют сослагательным наклонением для подкрепления своих теорий, нелепы, потому что никто не знает, как всё происходит, понимаете? За чем угодно может последовать что угодно. Даже реальная история ничему нас не учит, потому что мы не знаем, настолько ли чувствительна история, что из-за нехватки гвоздя была уничтожена целая цивилизация, или даже величайшие события подобны лепесткам в цунами, или что-то посередине, или и то, и другое вместе. Мы просто не знаем этого, и никакие «если» нам

тут не помогут.

— Тогда почему люди их так любят?

Кирана пожала плечами и затянулась сигаретой.

— Они любят истории.

И истории немедленно последовали, потому что, несмотря на их никчёмность в глазах Кираны, людям нравилось размышлять на тему того, что могло бы случиться: а если бы затерянный в 924 году марокканский флот был прибит к Сахарным островам, а затем вернулся, а если бы Керала из Траванкора не завоевал большую часть Азии, не проложил железные дороги и не ввёл правовую систему, а если бы островов Нового Света вообще не существовало, а если бы Бирма проиграла войну с Сиамом?..

Кирана только качала головой.

— Возможно, нам стоит сосредоточиться на будущем.

— Это ты как историк говоришь? Но будущее вообще никак нельзя узнать!

— Да, но оно существует для нас сейчас как проект, который предстоит реализовать. Со времён траванкорского просвещения будущее воспринималось нами как нечто, что мы создаём сами. Это новое осознание грядущего времени очень

важно. Оно делает нас нитями в гобелене, который разворачивался в течение столетий до нас и будет разворачиваться в течение столетий после нас. Мы на середине ткацкого станка, и это и есть настоящее, и наши деяния укладывают нить в определённом направлении, и в соответствии с этим картина на гобелене меняется. Когда мы попытаемся сделать эту картину приятной для нас и для тех, кто придёт после, тогда, пожалуй, мы и сможем сказать, что сотворили историю.

19

Но можно сидеть с такими людьми в кафе, вести такие разговоры и всё равно выходить на улицу, залитую водянистым солнцем, не имея ни еды, ни денег, за которые можно хоть что-то купить. Будур усердно трудилась в завии, проводила занятия по персидскому и фиранджийскому для поселившихся в завии голодающих девушек, которые владели только берберским, арабским, андалузским, скандистанским или турецким языком. По вечерам она по-прежнему посещала кофейни, а иногда и опиумные притоны. Она устроилась в одно госучреждение переводить документы и продолжала изучать археологию. Идельба снова слегла, что сильно обеспокоило Будур, и она много времени проводила, ухаживая за тётей. Врачи говорили, что Идельба страдает от «нервного истощения», что-то вроде боевой усталости, характерной для военного времени, но Будур замечала за ней очевидную слабость, словно что-то, неопознанное врачами, нанесло ей физический вред. Болезнь без причины, и Будур было слишком страшно думать об этом. Возможно, причины были скрытые, но это тоже пугало.

Она стала активнее участвовать в жизни завии, взяв на себя часть прежних обязанностей Идельбы. Времени на чтение оставалось всё меньше. Кроме того, ей хотелось чего-то большего, чем просто читать или даже писать рефераты: она чувствовала себя слишком взвинченной для чтения, и банальное штудирование текстов для того, чтобы сложить из них новый текст, вдруг показалось ей странным занятием, как будто она была перегоночным кубом, дистиллирующим мысли. История была бренди, а ей хотелось чего-то более насыщающего.

Между тем по вечерам она всё ещё часто выходила из дома и наслаждалась ночной жизнью обычных и опиумных кафе, слушала игру Тристана (сейчас они были просто друзьями), иногда в опиумном полусне, позволявшем ей блуждать по туманным коридорам своего разума, не заходя ни в одну из комнат. Она погружалась в размышления об ибрагимической коллизионной природе исторического прогресса, похожей на то, как формировались континенты (если верить геологам, образуя новые сращения, как в Самарканде, могольской Индии или у ходеносауни, завязавших отношения с Китаем на западе и мусульманами на востоке, или как в Бирме, да, именно так), и

всё начинало проясняться, разрозненными цветными камешками на земле закручиваться в одну из сложных самоповторяющихся арабесок собора Святой Софии — самый обычный опиумный эффект, конечно, но такой всегда и была история, воображаемым узором, увиденным в бессвязных событиях, так что это пока не повод не верить своему озарению. История — как опиумный сон…

Халали из завии ворвалась в дальнюю комнату кафе, огляделась, и Будур сразу поняла: что-то случилось с Идельбой. Халали подошла к ней с серьёзным лицом.

— Ей стало хуже.

Будур последовала за ней, спотыкаясь под тяжестью опиума, надеясь, что паника быстро вытеснит эффект наркотика, но она только затянула ещё глубже в искривлённое пространство, и никогда ещё Нсара не выглядела уродливее, чем в ту ночь, когда дождь со всей силы колотил по мостовым, закорючки света стелились под ногами и силуэты людей были похожи на водоплавающих крыс…

Идельбы в завии не оказалось, её увезли в ближайшую больницу — гигантское, беспорядочно построенное здание военного времени на холме к северу от гавани. Наверх, в самую гущу дождевой

тучи; потом — стук дождя по дешёвой жестяной крыше. В интенсивной пульсации бело-жёлтого света все выглядели отсутствующими, мёртвыми, словно ходячее мясо, как говорили во время войны про мужчин, отправленных на фронт.

Идельба выглядела не хуже остальных, но Будур сразу бросилась к ней.

— У неё затруднённое дыхание, — сказала медсестра со своего стула, поднимая взгляд.

Будур подумала: эти люди работают в аду. Ей было очень страшно.

— Слушай меня, — спокойно сказала Идельба, а потом попросила медсестру: — Прошу вас, позвольте нам десять минут наедине.

Когда медсестра ушла, она тихо обратилась к Будур:

— Слушай меня. Если я умру, ты должна помочь Пьяли.

— Тётя Идельба! Ты не умрёшь!

— Тихо. Я не могу этого записать, слишком большой риск, и не могу рассказать всего одному-единственному человеку, это тоже слишком большой риск, вдруг и с ним что-то случится. Вам с Пьяли нужно отправиться в Исфахан и передать наши результаты Абдулу Зорушу. А также Ананду из Траванкора и Чэню из Китая. Все они имеют

огромное влияние в правительствах своих стран. Ханея выполнит свою часть задачи. Напомни Пьяли о том, какое решение мы сочли лучшим. Пойми, скоро все физики-атомщики осознают теоретический потенциал расщепления алактина. Его возможное применение. Если они все будут знать, что такая возможность существует, тогда у них будет причина надавить на свои правительства и добиться вечного перемирия. Учёные могут оказать такое давление, прояснив ситуацию и взяв под контроль дальнейшее развитие соответствующих областей науки. Они должны сохранить мир, иначе начнётся гонка к разрушению. У них есть выбор, и они должны выбрать мир.

— Понимаю, — согласилась Будур, гадая, получится ли у них. У неё шла кругом голова при мысли о том, что на неё ложится такое бремя. С Пьяли она не слишком ладила. — Пожалуйста, тётя Идельба, умоляю тебя. Не нервничай. Всё обязательно будет хорошо.

Идельба кивнула.

— Не исключено.

Она пошла на поправку на исходе ночи, перед рассветом, как раз когда Будур начала оправляться после опиумного бреда не в силах вспомнить

большую часть ночи, продлившейся целую вечность. Но она не забыла, что попросила Идельба. Рассвет наступил тёмный, как затмение, да так и остался.

Это было за год до смерти Идельбы.

На похоронах присутствовали сотни людей: из завии, медресе, института, буддийского монастыря, посольства ходеносауни, окружного панчаята, государственного совета и других мест со всей Нсары. И ни одного человека из Тури. Будур, стоя рядом со старейшинами завии, оцепенело встречала пришедших и машинально пожимала им руки. В какой-то момент, посреди печальных поминок, к ней подошла Ханея.

— Мы тоже любили её, — сказала она с каменной улыбкой. — Мы постараемся сдержать данные ей обещания.

Через пару дней Будур, как обычно, пришла на чтения к своим слепым солдатам. Она вошла в их палату и сидела там, глядя на них, в колясках и на койках, и думала: «Наверное, это ошибка. Я чувствую опустошение, но я всё же не опустошена». Тогда она рассказала им о смерти своей тёти и попыталась прочесть им работы Идельбы, но они были непохожи на работы Кираны, даже тезисы оставались непонятными, а сами работы,

научные статьи о поведении незримых материй, преимущественно состояли из числовых таблиц. Она бросила эту затею и взяла другую книгу.

— Это одна из любимых тетушкиных книг, собрание автобиографических записок из работ Абу Али ибн Сины, одного из первых учёных и философов; она считала его героем. Судя по тому, что я о нём читала, Ибн Сина и моя тётя были во многом похожи. Они оба с большим любопытством смотрели на окружающий мир. Первым делом Ибн Сина освоил Евклидову геометрию, после чего взялся за другие вопросы. Точно так же поступила Идельба. Ещё в молодости Ибн Сина впал в своего рода лихорадочное любопытство, охватившее его почти на два года. Я прочту вам, что он пишет об этом периоде.

> В течение этого времени я не спал ни единой ночи, и днём не посвящал себя ничему, кроме наук. Я составил для себя подборку материалов и вносил туда все рассмотренные мной факты, их силлогистические предпосылки, их классификацию и то, что они могли за собой повлечь. Я размышлял над условиями, в которых они могли действовать, пока не

находил для себя достоверных ответов для каждого случая. Всякий раз, когда меня одолевал сон или я чувствовал, что слабею, я отворачивался, чтобы выпить вина, и силы возвращались ко мне. И всякий раз, когда сон овладевал мной, мои задачи являлись ко мне во сне, и во сне многие вопросы для меня прояснялись. Я продолжал заниматься этим до тех пор, пока все науки глубоко не укоренились во мне и я не усвоил их настолько, насколько это возможно для человека. Сегодня я знаю столько же, сколько знал тогда; ничего с тех пор не прибавилось к этим знаниям.

— Вот каким человеком была моя тётя, — сказала Будур.

Она отложила эту книгу и взяла другую, решив, что хватит читать книги с мыслями об Идельбе: от этого ей не становилось легче. Книга, которую она достала из сумки следующей, называлась «Сказания нсаренского моряка»; это были реальные истории о местных моряках и рыбаках, захватывающие приключения, полные, опасности и смерти, но также и морского воздуха, волн и

ветра. Солдатам очень полюбились главы книги, которые она читала им раньше.

Но на этот раз она прочла рассказ под названием «Ветреный Рамадан», который оказался историей о давних временах, когда корабли ещё ходили под парусами, и о том, как однажды встречные ветры не пускали флот с зерном в гавань и с наступлением темноты кораблям пришлось бросить якорь у берега, а ночью ветер переменился, и на них обрушился атлантический шторм; моряки никак не могли добраться до берега, и те, кто остался на берегу, ничего не могли поделать, кроме как всю ночь мерить шагами берег. Жена рассказчика тогда заботилась о трёх сиротах, лишившихся матери, чей отец был капитаном одного из этих кораблей, и, не в силах смотреть на беспокойных детей в это время, рассказчик вышел на берег под завывающие ветры бури. На рассвете все они увидели полоску промокшего зерна на линии прилива и поняли, что случилось худшее.

— «Ни один корабль не уцелел во время шторма, и повсюду на берегу лежали тела погибших. И так как наступила пятница, то в назначенный час муэдзин пошёл, было, на минарет, чтобы подняться наверх и призвать к молитве, а городской

блаженный остановил его гневным криком: «Кто может в такой час восхвалять Господа?»

Будур перестала читать. В комнате воцарилась глубокая тишина. Некоторые кивали, как бы соглашаясь: да, мол, всё так. Я уже много лет об этом думаю; но другие или тянулись к ней, как будто хотели вырвать книгу у неё из рук, или отмахивались, жестами говоря ей уходить. Будь они зрячими, они бы сами выпроводили её за дверь, или сделали что-то другое, но теперь никто из них не знал, как быть.

Она сказала что-то, встала, вышла и отправилась вниз по реке через город, к докам, потом к большому причалу, на самый его край. Красивое синее море плескалось о валуны, с шипением пуская в воздух чистые солёные брызги. Будур сидела на крайнем нагретом солнцем камне и смотрела на облака, плывущие над Нсарой. Она была полна горя, как океан был полон воды, но всё же что-то в этом шумном городе согревало ей сердце; она думала: «Нсара, ты теперь моя единственная семья. Теперь ты будешь моей тётей Нсарой».

20

Теперь ей предстояло ближе познакомиться с Пьяли.

Это был мелочный, погружённый в себя человек, витающий в облаках, необщительный и, на первый взгляд, заносчивый. Будур считала, что катастрофическое отсутствие манер уравновешивает его выдающиеся способности к физике.

Но сейчас её поразила глубина его траура по Идельбе. Будур казалось, что при жизни он обращался с ней, как с досадной нагрузкой, необходимой, но неугодной соратницей. Но её не стало, и сейчас он сидел на рыбацкой скамье у причала, где они с Идельбой иногда проводили время в хорошую погоду, и со вздохом сказал:

— С ней было так интересно говорить обо всём, не правда ли? Наша Идельба была поистине блестящим физиком, скажу я тебе. Родись она мужчиной, она бы не знала преград — она изменила бы мир. Конечно, не во всём она была одинаково хороша, но у неё было такое ясное понимание того, как что-то может быть устроено. А когда мы заходили в тупик, Идельба долбила проблему до последнего, будто билась лбом в

кирпичную стену; я бросал, а она была настойчива и умна и всегда находила новый подход, поворачиваясь боком, если стена не поддавалась. Чудо. Она была чудесным человеком.

Он сказал это со всей серьёзностью, делая ударение на слове «человек» вместо «женщины», как будто от Идельбы он узнал о том, какими могут быть женщины, и оказался не настолько глуп, чтобы не усвоить урок. Но также он и не допустит ошибку исключительности — ни один физик не станет думать об исключениях как об универсальной категории; он разговаривал с Будур почти так же, как говорил бы с Идельбой или своими коллегами-мужчинами, только более сосредоточенно, как будто концентрируясь на достижении некого подобия нормального человеческого общения, и даже достигая его. Почти. Его рассеянность и неуклюжесть никуда не делись, но Будур стала относиться к нему лучше.

И хорошо, так как Пьяли тоже проявил к ней интерес и в течение следующих месяцев ухаживал за ней в своей чудной манере: он приезжал в завию, знакомился с её домашними и слушал, пока она рассказывала о трудностях изучения истории, и сам почти до невыносимого долго рассказывал о своих проблемах в физике и в институте. Он

разделял её склонность к времяпрепровождению в кофейнях, и его, казалось, не волновало непристойное поведение, которое она себе позволяла с момента своего приезда в Нсару, — всё это он игнорировал, сосредоточившись на вопросах ума, даже сидя в кафе, потягивая бренди и черкая на салфетках, что было одной из свойственных ему чудаковатостей. Они часами говорили о природе истории, и именно под влиянием его глубокого скептицизма, или материализма, она наконец окончательно сменила фокус своего образования с истории на археологию, с текстов на вещи, убеждённая, отчасти, его аргументом, что тексты всегда будут оставаться лишь впечатлениями, в то время как вещи демонстрировали определённую неизменяемую реальность. Конечно, вещи напрямую вели к ещё большему количеству впечатлений и переплетались с ними в паутине доказательств, которые должен был представить исследователь истории, отстаивая свою правоту, но в том, чтобы брать за отправную точку орудия труда и знания вместо слов минувшего, Будур нашла настоящее утешение. Она устала перегонять бренди и начала проявлять сознательное любопытство к вещественному миру, которое всегда проявляла Идельба, чтя таким образом её

память. Она слишком тосковала по Идельбе, чтобы поминать её непосредственно, и вынужденно пряталась от этого за подобными подражаниями, возвращая Идельбу к жизни в своих привычках, почти как мадам Сурури. Ей не раз приходило в голову, что в каком-то смысле мы знаем мёртвых лучше, чем живых, потому что реальные люди уже не отвлекают нас от размышлений о себе.

Следуя этой витиеватой логике, Будур постепенно составила длинный список тем, связывающих её работу с тем, что она понимала о работе Идельбы, когда думала об изменениях, которые претерпевают материалы прошлого: химические или физические изменения в ци или ци-минусе, которые можно было использовать как часы, погребённые в текстуре используемых материалов. Она спросила об этом Пьяли, и он тут же упомянул о постепенном сдвиге, который происходит в частицах сердечных узлов и оболочек, так что, к примеру, после смерти организма, примерно через пятьдесят лет, четырнадцатые кольца начнут постепенно откатываться обратно к двенадцатым кольцам, пока наконец примерно через сто тысяч лет в его тканях не останутся только двенадцатые кольца и часы не перестанут функционировать.

Этого с лихвой хватит, чтобы датировать большую часть активной человеческой истории, подумала Будур. Вместе с Пьяли они приступили к работе над новым методом, заручившись помощью других институтских учёных. Идею подхватила и доработала команда нсаренских учёных, пополнявшаяся каждый месяц, и вскоре их проект вышел на мировой уровень, как это часто бывает в науке. Будур никогда не относилась к своей учёбе ответственнее.

Так прошло время, и она стала археологом, работая среди прочего над методами датировки при участии Пьяли. Фактически в качестве его напарницы она заменила Идельбу, поэтому он перенёс часть своей работы в другую область, подстраиваясь под её сферу деятельности. Так он сближался с людьми — он с ними работал, и он просто подстроился под неё и продолжал жить и работать, как ни в чём не бывало, хотя Будур была моложе и трудилась в другой сфере. Он, конечно, продолжал заниматься атомной физикой и сотрудничал с коллегами в институтских лабораториях и некоторыми учёными с фабрики беспроводной связи на окраине города, лаборатория которых уже начинала догонять институтские как центр исследований в области

чистой физики.

Военные Нсары тоже были вовлечены в это дело. Пьяли продолжал исследования по физике в направлении, заданном Идельбой, и хотя ничего нового о возможности воспроизведения цепной реакции расщепления алактина опубликовано не было, некоторое количество мусульманских физиков из Скандистана, Тосканы и Ирана обсуждали такую возможность между собой; были основания подозревать, что подобные разговоры происходили и в китайских, и в траванкорских лабораториях, и даже в лабораториях Нового Света. Статьи на эту тему, опубликованные на международном уровне, теперь анализировали в Нсаре на предмет того, о чём в них могли умолчать, стоит ли вопрос каких-то новых разработок, и можно ли расценивать внезапные периоды затишья как знак правительственного вмешательства. До сих пор они не замечали явных признаков цензуры или умалчивания, но Пьяли считал, что это вопрос времени, и в других странах, вероятно, всё происходит точно так же, как у них, — полуинтуитивно и без чёткого плана. По его словам, как только разразится очередной глобальный политический кризис и до тех пор как военные действия успеют достичь апогея,

стоит ожидать, что вся область полностью уйдёт в подполье секретных военных лабораторий, а значительному числу физиков современности оборвут контакты с коллегами по всему миру.

А неприятности, естественно, могли обрушиться в любой момент. Китай, хотя и одержал победу в войне, был разрушен почти до основания, как и потерпевшая поражение коалиция, и страна, казалось, балансировала на грани анархии и гражданской войны. Очевидно, близился конец военному правительству, сменившему династию Цин.

— Это хорошо, — сказал ей Пьяли. — Только военная бюрократия решилась бы на создание такой опасной бомбы. Но в то же время плохо, потому что военные правительства редко сдаются без боя.

— Никакое правительство не сдаётся без боя, — ответила Будур. — Вспомни, что говорила Идельба. Лучшая защита от того, чтобы разработки попали в руки властям, — как можно быстрее распространить информацию среди физиков мира. Если все будут знать, что каждый способен сделать такое оружие, этого не станет делать никто.

— Может, и нет, поначалу, — сказал Пьяли. —

Но в будущем всё может произойти.

— И тем не менее, — отвечала Будур.

Она не отставала от Пьяли, уговаривая его продолжить предложенную Идельбой политику. Он не отказывался наотрез, но и не предпринимал ничего для её осуществления. И Будур пришлось согласиться с тем, что было не до конца понятно: какие вообще действия они могут предпринять. Они оберегали чужой секрет, как голуби — яйца кукушки.

Между тем положение в Нсаре продолжало ухудшаться. Одно урожайное лето после нескольких неурожайных слегка смягчило обострившуюся угрозу голода, но газеты продолжали пестреть сообщениями о хлебных бунтах, забастовках на заводах на Рейне, Руре и Роне и даже о «восстании против репараций» в Малых Атласских горах, которое оказалось нелегко подавить. По-видимому, некоторые элементы внутри армии скорее поощряли, нежели подавляли эти беспорядки, то ли из сочувствия, то ли чтобы ещё больше расшатать ситуацию и оправдать полноценный военный переворот. Слухи о перевороте расползлись повсюду.

Всё это печально напоминало развязку Долгой Войны, и запасательство активно набирало

обороты. Будур едва могла сосредоточиться на чтении, и её часто снедала тоска по Идельбе. Поэтому она была удивлена и обрадована, когда Пьяли сообщил ей о конференции в Исфахане, международном собрании физиков-атомщиков, на котором обсуждались все последние достижения в этой области: «Включая, — сказал он, — проблему алактина». К тому же конференция была приурочена к четвёртой большой встрече учёных, проходящих каждые полгода, первая из которых состоялась у границы Ганоно, большого портового города ходеносауни, и теперь эти съезды носили название «Конференций Длинного острова». Вторая состоялась в Пинькайинге, третья — в Пекине. Исфаханская конференция станет первой, проведённой в дар аль-исламе, и будет включать в себя ряд встреч по археологии; Пьяли уже получил от института грант для Будур, чтобы она могла посетить конференцию вместе с ним как соавтор статей, которые они написали с Идельбой о кольцевых методах датировки.

— Конференция кажется мне подходящим местом, чтобы с глазу на глаз обсудить идеи твоей тёти. Зоруш, Чэнь и ещё несколько её корреспондентов проведут в её рамках круглый стол, посвящённый её работам. Ты поедешь?

— Конечно.

21

Все прямые поезда до Ирана проходили через Тури, родной город Будур, и Пьяли, по этой или какой-то иной причине, организовал для них перелёт из Нсары в Исфахан. Аэростат был похож на тот, на котором Будур летала с Идельбой на Оркнейские острова, и она сидела в гондоле у иллюминатора, глядя вниз на Фиранджу: Альпы, Рим, Грецию и коричневые острова Эгейского моря, за ними — Анатолию и страны Среднего Запада. Как велик мир, думала Будур, пока тянулись долгие часы путешествия.

А потом они летели над заснеженными горами Загрос к Исфахану, расположенному в верховьях Зайендеруда, быстрой реки, из долины которой открывался вид на солончаки на востоке. На подлёте к аэродрому они увидели огромные массивы руин вокруг обновлённого города. Исфахан лежал на Шёлковом пути и неоднократно разрушался поочередно Чингисханом, Хромым Тимуром, афганцами в 11-м веке и, наконец, траванкорцами под конец войны.

Тем не менее нынешнее воплощение города было шумным местом, повсюду здесь велось стро-

ительство, и, когда их трамвай въезжал в центр, казалось, что они пересекают лес строительных кранов, которые под разными углами склонялись над очередным новым ульем из стали и бетона. В большом медресе нового центра коллег из Нсары приветствовали Абдул Зоруш и другие иранские учёные, им показали их комнаты в большом гостевом корпусе при институте научных исследований, а затем отвели в центр города обедать.

Горы Загрос возвышались над городом, река бежала через него от юга к деловому центру, построенному на руинах центра исторического. Археологическое собрание института, по словам местных, стремительно заполнялось новыми находками древностей и артефактов прошлых эпох. Для нового города были спроектированы широкие, обнесённые деревьями улицы, расходящиеся лучами от реки на север. Расположенный на большой высоте, у склонов ещё более высоких гор, это будет очень красивый город, когда вырастут в полный рост молодые деревья. Уже сейчас он производил впечатление.

Исфаханцы явно гордились и своим городом, и институтом, и Ираном в целом. Многократно раздавленная в ходе войны страна теперь перестраивалась, как говорили сами иранцы, в новом

духе, под свойственным персам мирским началом, и даже их шиитские ультраконсерваторы сдались под напором более толерантных иммигрантов и беженцев-полиглотов, а также местных интеллектуалов, называвших себя «Кирами», в честь предполагаемого первого царя Ирана. Этот новый вид иранского патриотизма был очень интересен нсаренцам, поскольку он, казалось, устанавливал определённую независимость от ислама, не отрицая его. Сидевшие за столом Киры весело сообщили, что теперь считают нынешний год не 1381 от Х., а 2561 годом «эры царя царей», и один из них встал, чтобы произнести тост и прочесть стихотворение безымянного поэта, которое кто-то написал краской на стенах нового медресе.

Древний Иран, вечная Персия

Между молотом и наковальней времени и мира,

Принесшая в жертву свой прекрасный язык,

Язык Хафиза, Фирдоуси, Хайяма.

Речь моего сердца, души моей дом родной,

Люблю тебя больше всего на свете.

Воспой, о великий Иран, ещё раз нашу любовь.

И присутствующие среди них местные поднимали тосты и пили, хотя многие явно были студентами из Африки, Нового Света и Аочжоу.

— Так будет выглядеть весь мир, когда передвижение станет доступнее, — сказал Абдул Зоруш Будур и Пьяли после экскурсии по обширной территории института, а затем и по южному речному району. Там строили променад с кафе на тротуарах и панорамой гор вверху по течению реки, который, как сказал Зоруш, был спроектирован по принципу набережной в Нсаре.

— Мы хотели построить что-то наподобие вашего великого города, хотя и не имеем выхода к морю. Нам тоже нужно приобщиться к этому чувству открытого пространства.

Конференция началась на следующий день, и всю следующую неделю Будур только и делала, что посещала выступления на различные темы, связанные с тем, что многие называли новой археологией, наукой, а не просто хобби антикваров или туманной отправной точкой историков. Пьяли тем временем пропадал в корпусах физических наук на встречах по физике.

Они пересекались за ужином в больших компаниях учёных и редко получали возможность поговорить наедине.

Увлекательные и познавательные для Будур презентации по археологии, проводимые учёными со всего мира, ясно демонстрировали ей и всем остальным, что в условиях послевоенной реконструкции, новых открытий, развития новых методологий и определения временных рамок ранней мировой истории на их глазах зарождались новая наука и новое понимание далёкого прошлого. Аудитории были переполнены, и выступления не кончались до позднего вечера. Часть презентаций проводили прямо в коридорах, где докладчики стояли у плакатов и грифельных досок, жестикулировали и отвечали на вопросы. Будур хотела посетить больше выступлений, чем было возможно, и вскоре выработала привычку располагаться на задних рядах или в хвосте коридорной толпы, чтобы уловить суть выступления и, изучив расписание, распланировать свои перемещения на ближайший час.

В одной из аудиторий она задержалась послушать старика из западного Инчжоу (вроде японца или китайца по происхождению), говорившего на ломаном персидском о культурах Нового

Света в период, когда они были открыты Старым Светом. Знакомство с Ханеей и Ганагве вызвало в ней интерес к теме.

— Хотя с точки зрения техники, архитектуры и тому подобного жители Нового Света пребывали на самых ранних этапах своего развития, ещё не освоив животноводство в Инчжоу, а в Инке разводя лишь морских свиней и лам, культура инков и ацтеков отчасти напоминала то, что мы знаем сегодня о Древнем Египте. Так, племена Инчжоу жили, как народы Старого Света, до возникновения первых городов приблизительно около восьми тысяч лет назад, в то время как южные империи Инки можно сравнить со Старым Светом четырёхтысячелетней давности: этому поразительному различию наверняка нашлось бы любопытное объяснение, которого у нас пока нет. Возможно, Инка обладала определёнными географическими или сырьевыми преимуществами, например, ламы, вьючные животные, хотя и небольшие по меркам Старого Света, но в Инчжоу не было и их. Это придавало им дополнительную силу, а, как продемонстрировал наш уважаемый Зоруш в энергетических уравнениях для оценки культуры, сила, которую народ может противопоставить миру природы, является

решающим фактором в его развитии.

В то же время крайняя степень примитивности Инчжоу, по сути, даёт нам представление о социальных структурах, которые могли быть свойственны досельскохозяйственным обществам Старого Света. И в некоторых отношениях они, на удивление, прогрессивны. Им были известны основы земледелия, они выращивали тыкву, кукурузу, бобы и так далее, а лес кормил малочисленное население, обеспечивая всех огромным количеством дичи и орехов; поэтому они жили в экономике преддефицита точно так же, как сейчас мы видим намёки на теоретически возможное существование технологически созданного постдефицита. В обоих случаях индивид представляет бóльшую ценность, чем в экономике дефицита, и господство одной касты над другими выражено не так ярко. В условиях материального изобилия мы находим великий эгалитаризм ходеносауни, власть, которой обладали женщины в их культуре, и отсутствие рабства, а вместо него — стремительное инкорпорирование побеждённых племен в структуру собственного государства.

Ко времени Первых Великих империй, четыре тысячи лет спустя, всё это исчезло, сменившись

резкой вертикальной иерархией с богами-королями, кастой жрецов, наделённых абсолютной властью, жёстким военным контролем и обращением побеждённых наций в рабство. Эти ранние проявления — или, лучше сказать, патологии — цивилизации (так как скопление людей в городах значительно ускорило этот процесс) только сейчас, спустя ещё около четырёх тысяч лет, начинают устраняться в наиболее прогрессивных обществах мира.

Между тем обе эти архаичные культуры уже почти полностью стёрты с лица земли, главным образом из-за воздействия на население болезней Старого Света, которым прежде они, по-видимому, никогда не подвергались. Интересно, что именно южные империи пали особенно быстро, почти случайно завоёванные армиями китайских золотоискателей, а затем окончательно обескровленные болезнями и голодом, как мгновенно умирающее тело, если лишить его головы. В то время как на севере всё проходило совершенно иначе. Во-первых, потому что ходеносауни были способны защитить себя из глубин великого восточного леса, ни разу не уступив ни китайскому, ни исламскому натиску из-за Атлантики; и во-вторых, потому что

они оказались гораздо менее восприимчивыми к болезням Старого Света (возможно из-за того, что их ещё раньше завезли странствующие японские монахи, торговцы, охотники и старатели, которые заразили незначительную часть местного населения, послужив, по сути, живыми вакцинами, привив — или, во всяком случае, подготовив — население Инчжоу к уже основательному вторжению азиатов, которое не возымело столь разрушительного эффекта, хотя, конечно, многие люди и племена погибли).

Будур двинулась дальше, размышляя о постдефицитном обществе, о котором в голодной Нсаре она даже близко не слышала. Но настало время очередного выступления — круглого стола, который Будур ни за что не хотела пропускать, — оказавшегося одним из самых посещаемых мероприятий. Там затрагивался вопрос о погибших франках и о том, почему чума так сильно поразила их.

Большую работу в этой области проделал учёный зотт Иштван Романи, который проводил свои исследования на периферии чумной зоны, в Мадьяристане и Молдавии; саму же чуму интенсивно изучили уже во время Долгой Войны, когда все боялись, что та или иная сторона использует

её в качестве оружия. Сейчас было доподлинно известно, что в первые века заразу переносили блохи, живущие в шерсти крыс, которые путешествовали на кораблях и в караванах. В городе Иссык-Куль, расположенном к югу от озера Балхаш в Туркестане, румынами и китайцем по имени Цзян были проведены исследования, и на несторианском городском кладбище учёные нашли свидетельства страшного мора от чумы около 700 года. Отсюда, по-видимому, и брала начало эпидемия, которая переместилась на запад по шёлковым путям в город Сарай, столицу золотоордынского ханства на тот момент. Один из их ханов, Джанибек, осаждая генуэзский порт Каффа в Крыму, катапультировал за городские стены трупы жертв чумы. Генуэзцы сбросили тела погибших в море, но это не остановило эпидемию, охватившую всю сеть торговых портов Генуи, а в конечном счёте и всё Средиземноморье. Чума перекидывалась с порта в порт, давала передышку зимой, а с наступлением весны возобновлялась в глубинке; так продолжалось более двадцати лет. Опустошив все западные полуострова Старого Света, чума ушла от Средиземного моря к северу и на восток, дойдя до Москвы, Новгорода, Копенгагена и балтийских портов. К концу этого

периода от населения Фиранджи на момент начала эпидемии сохранилось лишь около тридцати процентов. Затем, примерно в 777 году (дата, которую некоторые муллы и суфийские мистики сочли знаменательной) грянула вторая волна чумы — если это была она — и убила почти всех уцелевших в первой волне, и моряки в начале VIII века часто сообщали, что видели, проплывая мимо их берегов, совершенно опустевшую землю.

Сейчас учёные выступали с гипотезами о том, что вторая чума на самом деле была сибирской язвой, усугубившей последствия бубонной чумы, но были и те, кто придерживался противоположной позиции, утверждая, что современные описания первой эпидемии в большей степени похожи на нарывы сибирской язвы, чем на чумные бубоны, тогда как завершающий удар нанесла именно чума. На круглом столе объясняли, что сама чума могла принимать бубонную, септическую и лёгочную формы и что пневмония, вызванная лёгочной формой чумы, была заразной, развивалась стремительно и со смертельным исходом, септическая же форма была ещё опаснее. Да, многое прояснилось в отношении этих болезней в результате трагической Долгой Войны.

Но почему болезнь — одна ли, вторая, или лю-

бое их сочетание — оказалась столь губительной именно для Фиранджи, но не для других народов? Учёные, выступавшие на конференции, выдвигали одну теорию за другой. В конце дня, за ужином, Будур пересказала всё Пьяли, и он быстро нацарапал их на салфетке.

• Чумные микроорганизмы мутировали в 770 годах, принимая формы и вирулентность, сходные с туберкулёзом или брюшным тифом.

• Города Тосканы к VIII веку достигли колоссальных размеров, до двух миллионов человек, гигиенические системы не справлялись, и переносчики инфекции были повсюду.

• Депопуляция после первой чумы сопровождалась серией страшных наводнений, которые разрушили сельское хозяйство и привели к голоду.

• В северной Франции в конце первой эпидемии в результате мутации появилась сверхконтагиозная форма микроорганизмов.

• На бледной коже франков и кельтов отсутствовал пигмент, отвечающий за веснушки, помогавший противостоять болезни.

• Цикл солнечных пятен, влияющих на погоду, вызывал эпидемии каждые одиннадцать лет, с прогрессивно ухудшающимся…

— Солнечные пятна? — перебил Пьяли.

— Именно так он и сказал, — пожала плечами Будур.

— Итак, — подытожил Пьяли, изучая салфетку, — это были либо чумные, либо какие-то другие микроорганизмы, либо человеческие качества, или их привычки, или природа, или погода, или солнечные пятна, — он ухмыльнулся. — Весьма исчерпывающе. Остаётся разве что добавить космические лучи. Не в это ли время была замечена крупная сверхновая?

Будур только рассмеялась.

— Думаю, это было раньше. Но согласись, этому должно быть объяснение.

— Как и у многого другого, но в данном случае мы хотя бы знаем, с чего начать.

Выступления продолжались, затрагивая всевозможные темы, от мира накануне Долгой Войны до древнейших человеческих останков. Доклад, посвящённый первым людям, заставил всех задуматься над одним из самых масштабных вопросов в этой сфере — вопросом о происхождении человечества.

Археология как дисциплина берёт своё начало по большей части в китайской бюрократии, но вскоре её переняли племена дине, обучавшиеся

у китайцев, и вернулись в Инчжоу с намерением узнать всё, что можно, о народе, который они называли анасази до них, жившем на засушливом западе Инчжоу. Учёный-дине Анан и его коллеги выдвинули первые теории о миграции и истории народов, утверждая, что племена Инчжоу добывали олово на Жёлтом острове в Манитобе, самом большом из великих озёр, и переправляли это олово через океан в Африку и Азию, всем нациям бронзового века. Команда Анана предполагала, что цивилизация в Новом Свете началась с инков, ацтеков и племён Инчжоу, — в частности, древних племен западных пустынь, которые предшествовали даже анасази. Эти великие древние империи отправляли плоты из тростника и бальзамического дерева с оловом для обмена на специи и различные растения азиатского происхождения, и именно торговцы из Инчжоу основали средиземноморские цивилизации, предшествовавшие Греции, в частности, цивилизации Древнего Египта и среднезападные империи ассирийцев и шумеров.

Так, во всяком случае, утверждали археологи дине, чётко аргументируя свою позицию предоставлением всевозможных артефактов со всего мира для подкрепления своих слов. Но теперь в

Азии, Фирандже и Африке появилось много свидетельств, указывающих на ошибочность этой теории. Согласно самым ранним датировкам, древнейшие человеческие поселения в Новом Свете относили за двадцать тысяч лет до настоящего момента, и все сходились во мнении, что это очень древняя цивилизация, предшествовавшая самым ранним цивилизациям в истории Старого Света — китайской, среднезападной и египетской. Но теперь, когда война закончилась, учёные исследовали Старый Свет методами, которые были невозможны до зарождения современной археологии, и обнаружили огромное количество признаков человеческого прошлого, куда более древнего, чем было известно до сих пор. Возраст пещер на юге Нсары с потрясающими изображениями животных на их стенах теперь уверенно определяли сорока тысячами лет. Скелетам на Среднем Западе, судя по всему, сто тысяч лет. А учёные из Ингали в Южной Африке сообщали, что обнаружили останки людей, или их эволюционных предков, предлюдей, которым, скорее всего, было несколько сотен тысяч лет. Они не могли использовать здесь кольцевую датировку, но свои методы датировки считали не менее надёжными.

Нигде на Земле больше не делали такого заявления, какое сделали африканцы, и поэтому многие были скептически настроены; одни ставили под сомнение методы датировки, другие просто отвергали их слова как проявление некоего континентального или расового патриотизма. Естественно, африканские учёные были огорчены такой реакцией, и встреча в тот день приняла напряжённый характер, который невольно напомнил всем о последней войне. Важно было поддерживать научную природу дискурса, разбираясь в фактах, не отвлекаясь на религию, политику или расы.

— Полагаю, патриотизм можно найти в чём угодно, — сказала Будур в тот вечер. — Археологический патриотизм абсурден, но, похоже, именно так всё начиналось в Инчжоу. Наверняка это всего лишь неосознанная предрасположенность к своей родине. И пока мы не разберёмся с датировкой, остаётся открытым вопрос, что будет потом.

— Методы датировки будут только улучшаться, — ответил Пьяли.

— Верно. Но пока что сплошная путаница.

— Это касается буквально всего.

Дни пролетали в веренице выступлений. Каж-

дый день Будур вставала на рассвете, шла в столовую медресе, где ела лёгкий завтрак, а затем весь день посещала беседы, круглые столы и лекции у плакатов и продолжала после ужина, до самого позднего вечера. Её поразило выступление одной молодой женщины, которая рассказывала о своём открытии потерянной феминистской ветви раннего ислама, ветви, которая вдохновила возрождение Самарканда, а затем была уничтожена, и память о ней стёрта. Оказывается, женщины города Кум, восстав против правления мулл, увели свои семьи на северо-восток, в окружённый стенами Дербент в Бактрии, город, завоёванный Александром Великим, где до тех пор жили греческой жизнью в трансоксианском блаженном неведении даже тысячу лет спустя, когда прибыли мусульманские мятежницы и их семьи. Вместе они наладили уклад жизни, при котором все существа были равны перед Аллахом и между собой, что-то вроде того, как мог бы распорядиться и сам Александр, ибо он был учеником цариц Креты. И потом все жители Дербента жили долго и счастливо многие годы, и хотя держались особняком и не пытались навязать себя всему свету, они передали кое-что из своей мудрости людям, с которыми вели торговлю в соседнем

Самарканде; и в Самарканде взяли эту мудрость и положили в основу возрождения мира. Всё это читается в руинах, настаивала молодая исследовательница.

Будур записала источники, вдруг осознав, что археология тоже может быть своего рода пожеланием или даже заявкой на будущее. Она вышла в холл, качая головой. Она непременно спросит об этом Кирану. Она непременно разберётся в этом сама. В самом деле, кто может знать, чем занимались люди в прошлом? Столько всего случалось, что никогда не попадало в анналы, а через некоторое время и вовсе забывалось. Всё что угодно могло случиться; всё что угодно. И был ещё один феномен, о котором Кирана как-то мимоходом упоминала: людям всегда кажется, что в другой стране дела обстоят лучше, и это придаёт им смелости пытаться и добиваться прогресса в своей собственной. Таким образом, женщинам во всём мире кажется, что у женщин в других краях всё намного лучше, чем у них, и поэтому они находят в себе смелость настаивать на переменах. Наверняка были и другие примеры этой тенденции, когда кажущееся добро опережало свою реальность, как в историях о прекрасном месте, обнаруженном, а затем потерянном, то,

что китайцы называли историями об «истоке ручья цветущего персика». Сказка ли, басня, пророчество — нельзя было знать наверняка, пока не пройдут столетия и не превратят эти истории в то или другое.

Она посетила ещё много выступлений, и в ней ещё глубже укоренились мысли о неизменных человеческих усилиях, борьбе, постоянных экспериментах, о людях, мечущихся в поисках способа мирно сосуществовать. Копия дворца Потала, возведённая за пределами Пекина в две трети оригинального размера; древний храмовый комплекс — вероятно, греческого происхождения, затерянный в джунглях Амазонии; ещё один — в джунглях Сиама; столица инков, расположенная высоко в горах; человеческие скелеты в Фиранджe, которые формой черепа мало походили на современных людей; круглые жилища из костей мамонта; календарная роль каменных кругов в Британии; запечатанная гробница египетского фараона; хорошо сохранившиеся останки французской средневековой деревни; кораблекрушение на полуострове Та-Шу, ледяном континенте у Южного полюса; ранняя инкская керамика, расписанная узорами с юга Японии; легенды майя о «великом пришествии» с запада

бога Ицамны, как звали и богиню-мать у синтоистов той же эпохи; мегалитные памятники в бассейне великой реки Инки, напоминавшие мегалиты в Магрибе; древние греческие руины в Анатолии, которые, скорее всего, были Троей из эпической поэмы Гомера «Илиада»; огромные статуи на равнинах Инкана, которые можно было увидеть только с неба; отлично сохранившийся греко-римский город в Эфесе, на Анатолийском побережье… Эти и многие, многие другие подобные находки описывали учёные в своих докладах. День за днём вокруг гудели разговоры, а Будур всё делала пометки в записной книжке и просила перепечатать статьи, если те были на арабском или персидском языке. Она проявляла особый интерес к выступлениям, посвящённым методам датировки, и занимавшиеся этим вопросом учёные часто говорили ей, как многим обязаны новаторской работе её тёти. Теперь они изучали новые методы, сопоставляя последовательности колец в стволах деревьев для создания так называемой «дендрохронологии», приносящей хорошие результаты, а также замеряя особую ци-люминесценцию, которая наблюдалась в керамике, обожжённой при слишком высоких температурах. Но над этими методами пред-

стояло ещё работать и работать, и никто пока не был доволен своей нынешней способностью датировать фрагменты прошлого, найденные ими в земле.

Однажды к Будур присоединилась группа археологов, применявших методы Идельбы по датировке, и они вместе пошли через кампус медресе на круглый стол, посвящённый памяти Идельбы, который проводили её знакомые физики. Мероприятие состояло из хвалебных речей, презентаций по различным аспектам её работы, а также по свежим работам, опиравшимся на труды Идельбы, за которыми следовал небольшой вечер памяти, призванный прославить её жизнь.

Будур бродила по комнатам мемориального собрания, принимая комплименты в адрес своей тёти и соболезнования по поводу её кончины. Мужчины (а это были в основном мужчины) проявляли участие к ней и общий оптимизм. Даже воспоминания об Идельбе вызывали улыбки на их лицах. Будур была удивлена и горда этим потоком любви, хотя это и причиняло ей боль: они потеряли уважаемую коллегу, но она потеряла единственного близкого человека, кто что-то для неё значил, и ей было сложно сосредоточиться

только лишь на тётиной профессиональной жизни.

В какой-то момент её попросили выступить перед гостями, и она изо всех сил постаралась взять себя в руки, выходя к трибуне и вспоминая своих слепых солдат, которые поселились в сознании как своего рода оплот или якорь, эталон настоящего горя. В отличие от них, здесь действительно праздновали, и Будур улыбнулась, увидев, сколько людей пришло почтить память её тети. Оставалось только придумать, что сказать; и, уже поднимаясь по ступенькам, она подумала, что нужно просто попытаться представить, что сказала бы сама Идельба, и перефразировать это. В такую реинкарнацию она могла верить.

И она опустила взгляд на собрание физиков, чувствуя себя спокойно и уверенно, поблагодарила их за то, что они пришли, и добавила:

— Вы все знаете, как Идельба переживала за то, над чем бьётся сейчас атомная физика. Она считала, что наука должна быть использована на благо человечества, а не для чего-то иного. И я думаю, лучше всего её память может почтить какая-нибудь организация учёных, посвящённая правильному распространению и применению ваших знаний. Возможно, мы могли бы обсудить

это позже. Было бы уместно, если бы такая организация возникла с мыслями о её желаниях, о её святой вере в то, что учёные, как никто другой, должны подавать пример правильностью своих поступков, потому что только это и есть путь науки.

Она почувствовала, как в зале всё застыло. Лица вокруг внезапно стали похожи на лица её слепых солдат: боль, тоска, отчаянная надежда, сожаление и решимость. Наверняка многие из присутствующих здесь были причастны к военным разработкам своих стран — особенно под конец, когда гонка военных технологий ускорилась и всё приняло наиболее жестокий и ужасный оборот. Изобретатели газовых снарядов, ослепивших её солдат, вполне могли находиться среди них.

— Конечно, — осторожно продолжила Будур, — в истории так было не всегда. Учёные не всегда поступали правильно. Но в представлении Идельбы наука стремится только к прогрессу и совершенствованию уже потому, что так она становится более научной. Этот аспект является одним из определяющих в науке, в отличие от многих других видов человеческой деятельности или институтов. Для меня же это своего рода

молитва, или поклонение миру. Это преданное служение. Этот аспект следует иметь в виду всякий раз, когда мы вспоминаем Идельбу или думаем о применении нашей работы. Спасибо.

После этого к ней подошло как никогда много людей, чтобы выразить свою благодарность и признательность, пускай даже и в адрес отсутствующего человека. А потом, когда час поминовения подошёл к концу, они решили поужинать в соседнем ресторане, а по окончании изрядно поредевшая группа задержалась на чашку кофе и пахлаву. Они словно очутились в одном из залитых дождём кафе Нсары.

И наконец уже поздно ночью, когда их осталось не больше дюжины, а официанты в ресторане всем видом намекали, что пора закрываться, Пьяли оглядел зал и, получив знак согласия от Абдула Зоруша, сказал Будур:

— Доктор Чэнь, — он указал на седовласого китайца в дальнем конце стола, который кивнул в ответ, — принёс результаты работы своей команды по алактину. Ты ведь знаешь, что Идельба среди прочего работала и над этим. Он решил поделиться результатами со всеми нами. Они пришли к тем же выводам, что и мы, относительно расщепления атомов алактина и того, что это

может быть использовано для создания взрывного устройства. Но они произвели углублённые расчёты, которые мы проверили во время конференции вместе с уважаемым Ананду, — и другой старик, сидевший рядом с Чэнем, кивнул, — и они ясно показывают, что особый вид алактина, необходимый для совершения взрывной цепной реакции, настолько редок в природе, что не может быть скоплен в достаточных количествах. Алактин в своём природном виде нужно сначала собрать, а затем обработать на фабриках таким образом, который сейчас существует только в теории; и даже если бы всё это было осуществимо, то настолько трудозатратно, что потребовалась бы вся промышленная мощность государства, чтобы произвести сырьё, достаточное для более чем одной бомбы.

— Это правда? — спросила Будур.

Они все кивнули с облегчением и даже блаженством на лицах. Переводчик доктора Чэня заговорил с ним по-китайски, тот кивнул и что-то сказал в ответ.

— Доктор Чэнь хотел бы добавить, что, судя по его наблюдениям, крайне маловероятно, что одна страна научится производить необходимое сырьё в ближайшие годы, даже если сильно захо-

чет. Так что мы в безопасности. Во всяком случае, от этой угрозы.

— Понятно, — сказала Будур и кивнула пожилому китайцу. — Не сомневайтесь, Идельба была бы очень рада услышать о результатах! Она очень переживала об этом, как вы наверняка знаете. Но она бы всё равно настаивала на создании международной научной организации, возможно, состоящей из физиков-атомщиков. Или учёных из более общих областей, которые предприняли бы шаги, для того чтобы человечеству никогда не угрожало ничего подобного. После войны, которую едва пережил наш мир, не думаю, что он выдержит появление сверхбомбы. Мир сошёл бы с ума.

— Именно, — согласился Пьяли.

Когда её слова перевели доктору Чэню, он снова заговорил. Переводчик сказал:

— Уважаемый профессор говорит, что, по его мнению, научный комитет должен дополнять или советовать…

Доктор Чэнь вмешался:

— Направлять мировые правительства, говорит он, объясняя им, что возможно, а что целесообразно… Он говорит, это может быть сделано даже исподволь, в условиях послевоенной…

усталости. Он говорит, что правительства могут согласиться на существование таких комитетов, потому что не сразу поймут, что они значат… И к тому времени, когда поймут, они уже не смогут… ликвидировать их. И поэтому учёные смогут сыграть… большую роль в политических делах. Вот что он сказал.

Остальные сидевшие за столом задумчиво кивали, некоторые настороженно, другие обеспокоенно; наверняка большинство из них получали финансирование от правительства.

— Мы можем попытаться, — сказал Пьяли. — Это будет хорошим способом почтить Идельбу. К тому же это может сработать. Это должно хотя бы немного помочь.

Все снова покивали, и, услышав перевод, доктор Чэнь тоже кивнул.

Будур отважилась добавить:

— Эту идею можно внедрить под видом заинтересованности учёных в координации своих усилий ради продвижения науки вперёд. Начать с самого простого, что будет выглядеть совершенно безобидным, вроде стандартизации мер и весов, чему можно дать математическое объяснение. Или солнечный календарь, который точно соответствует реальному движению Земли

вокруг Солнца. На данный момент мы даже в датах не сходимся. Мы все приехали сюда в разные годы, как вы прекрасно знаете, а здешние хозяева вытащили из-под земли очередную систему летоисчисления. Сейчас даты везде указываются длинными списками. Даже продолжительность года у нас разная. В сущности, мы живём в разных историях, хотя мир у нас один, чему научила нас война. Возможно, вам, учёным, следует собрать математиков и астрономов, составить точный календарь и начать использовать его во всех научных работах. Это поможет немного сплотить мировое сообщество.

— Но что взять за начало? — спросил кто-то.

Будур пожала плечами — об этом она как-то не подумала. Что сказала бы Идельба?

— Как насчёт того, чтобы просто начать? Возьмём сегодняшнюю дату за нулевую. В конце концов, на дворе весна. Начнём год с весеннего равноденствия, в большинстве календарей это уже так, а затем просто пронумеруем дни каждого года, чтобы избежать разнящихся способов вычисления месяцев, семидневных недель, десятидневных недель и всего такого. Возьмём за основу что-то такое же простое, что-то за пределами конкретных культур, неоспоримое, потому

что имеет физическое происхождение. День двести пятьдесят седьмой первого года. До, после нулевой даты, триста шестидесяти пяти дней, плюс високосные дни — вот и всё, что нужно, чтобы сохранить природную точность. Затем, когда все эти вопросы будут унифицированы и станут универсальными для всего мира, когда придёт время и правительства начнут оказывать давление на своих учёных, чтобы те работали лишь на одну часть человечества, они возразят: извините, наука так не устроена. Мы — система, общая для всех народов. Мы работаем для того и только для того, чтобы всё было хорошо.

Переводчик повторял всё это по-китайски для доктора Чэня, который внимательно наблюдал за Будур, пока та говорила. Когда она закончила, он кивнул и что-то сказал.

Переводчик добавил:

— Он говорит, что это хорошие идеи. Он говорит: попробуем их в действии.

После этого вечера Будур продолжала посещать презентации и вести записи, но её отвлекали мысли о личных беседах, которые, как она знала, происходили между физиками в другой части медресе: о планах, которые они строили. Пьяли рассказывал ей всё. Её заметки превращались

в списки планов на будущее. В солнечном Исфахане, городе старом, но обновлённом, похожем на сад, недавно разбитый среди огромных развалин, было легко забыть голод в Фирандже, в Китае и Африке, да и вообще во всём мире. На бумаге казалось, что они могут спасти весь мир.

Но однажды утром она прошла мимо плаката презентации, который привлёк её внимание своим названием: «Тибетская деревня найдена нетронутой». Он выглядел точно так же, как у сотни других презентаций в коридорах, но что-то её зацепило. Как и в большинстве случаев, основной текст был написан на персидском языке, а тезисы переведены на китайский, тамильский, арабский и алгонкинский языки — «большую пятёрку» языков конференции. Докладчицей и автором плаката была крупная молодая женщина с плоским лицом, нервно отвечавшая на вопросы небольшой аудитории (не более полудюжины человек), собравшейся послушать её выступление. Судя по всему, она была тибеткой и пользовалась услугами иранского переводчика, чтобы отвечать на любые вопросы. Будур не знала, говорит ли она по-тибетски или по-китайски.

Как она объяснила кому-то, лавина и оползень накрыли высокогорную деревню в Тибете, со-

хранив внутри всё, как в гигантском каменном холодильнике, так что тела оставались замороженными и всё было цело и невредимо — мебель, одежда, еда, даже прощальные послания, написанные парой-тройкой грамотных жителей деревни, прежде чем их убила нехватка воздуха.

Крошечные фотографии раскопанной деревни вызвали очень странное чувство у Будур. Словно щекотка где-то за носом или под верхним нёбом, и ей начало казаться, что она вот-вот чихнёт, или её стошнит, или она заплачет. Было что-то жуткое в этих трупах, почти не изменившихся за века; удивлённые смертью, но вынужденные дожидаться её. Некоторые из них даже оставили прощальные письма. Она взглянула на фотографии слов, убористо записанных на полях религиозной книги; чёткий почерк напоминал санскрит. В арабском переводе под одним из них было что-то домашнее:

> На нас сошла большая лавина, и мы не можем выбраться. Кенпо не оставляет попыток, но у него не получится. Дышать становится тяжело. У нас не так много времени. В этом доме мы – Кенпо, Иванг, Сидпа, Чесеп, Дагьяб, Тенга и Барам. Пун-

цок ушёл незадолго до схода лавины; мы не знаем, что с ним. «Всё существование подобно отражению в зеркале, бестелесному фантому ума. Мы снова обретём форму в другом месте». Хвала Будде сострадательному.

Фотографии были похожи на фотографии катастроф военного времени, которые приходилось видеть Будур: смерть наступала, не оставив заметного следа в повседневной жизни, вот только всё менялось навсегда. Глядя на снимки, Будур вдруг почувствовала головокружение, и, сидя в конференц-зале, почти ощутила, как снег и камни падают на крышу её дома, запирая в ловушке её, всех её родных и друзей. Ведь именно так всё и произошло. Вот как это случилось.

Она так и стояла, заворожённая экспонатами, когда к ней быстро подошёл Пьяли.

— Боюсь, нам следует вернуться домой как можно скорее. Армейское командование приостановило работу правительства и пытается захватить Нсару.

22

Они полетели обратно на следующий день, Пьяли волновался из-за медлительности аэростата, говоря о том, чтобы приспособить военные самолёты для гражданских пассажиров, а также гадал, не будут ли они арестованы по прибытии как интеллигенция, посещавшая иностранную державу во время чрезвычайного положения в стране, или что-то в этом роде.

Но когда их аэростат приземлился на аэродроме под Нсарой, они не только не были арестованы, но, глядя в окна трамвая, катившего в город, даже не могли сказать, что в городе что-то изменилось.

И только когда они вышли из трамвая и направились в район медресе, разница стала очевидной. В доках стало тише. Грузчики закрыли доки в знак протеста перевороту. Теперь солдаты сторожили краны и подвесные леса, а группы мужчин и женщин стояли на углах улиц, наблюдая за ними.

Пьяли и Будур вошли в кабинет физического факультета и узнали последние новости от коллег Пьяли. Армейское командование распустило

Государственный совет Нсары и районные панчаяты и объявило всеобщее военное положение. Они называли это шариатом, и на их стороне было несколько мулл, которые отчасти обеспечили своим согласием религиозную легитимность, хотя и самую незначительную; муллы были жёсткими реакционерами, слепыми ко всему, что произошло в Нсаре после войны, частью тех, кто кричал «мы победили», или, как всегда называл их Хасан, «мы победили бы, если бы не армяне, сикхи, евреи, зотты и все, кого мы не любим», «мы победили бы, если бы остальной мир не показал нам, где раки зимуют». Чтобы оказаться среди единомышленников, им следовало перебраться в Альпийские Эмираты или Афганистан.

Так что никто не обманулся видимостью переворота. А так как в последнее время дела пошли немного лучше, то и время для переворота было не особенно удачным. В нём не было никакого смысла; очевидно, он произошёл только потому, что офицеры жили на фиксированный доход в период гиперинфляции и думали, что все остальные были в таком же отчаянном, как и они, положении. Но многих, очень многих людей до сих пор воротило от армии, и они поддерживали если не Государственный совет, то свои район-

ные панчаяты. Поэтому Будур думала, что шансы сопротивления на успех велики.

Кирана была гораздо более пессимистична. Оказалось, она сейчас в больнице; Будур бросилась туда, как только узнала, чувствуя себя разбитой и напуганной. Просто анализы, чеканно сообщила ей Кирана, но конкретнее говорить отказалась; что-то связанное с кровью или лёгкими, догадалась Будур. Тем не менее, лежа на больничной койке, Кирана обзванивала все завии в городе и обо всём договаривалась.

— Если они вооружены, значит могут победить, но мы не станем облегчать им задачу.

Многие из студентов медресе и института уже толпились на центральной площади, на набережной, в доках и во дворах Большой мечети, крича, скандируя, распевая песни и иногда бросаясь камнями. Кирану не устраивали эти потуги, и всё своё время она проводила на телефоне, планируя митинг:

— Они вернут ваши вуали, попытаются повернуть время вспять, пока вы снова не станете домашними животными, вам придётся выйти на улицы большой толпой, это единственное, что пугает зачинщиков переворота.

Будур заметила, что она говорила «вы», а не

«мы», вынося себя за скобки, как бы посмертно, хотя ей доставляло удовольствие участвовать в активных действиях. Она также была рада, что Будур навещает её в больнице.

— Они не подгадали момент, — сказала она Будур с каким-то едким ликованием.

Была весна, и, как иногда случалось в Нсаре, бесконечно пасмурное небо внезапно прояснилось, и солнце светило день ото дня, освещая свежую зелень, выросшую повсюду в садах и в трещинах мостовых. Небо над головой было чистым и сияющим, как лазурит, и когда двадцать тысяч человек собрались в торговых доках и прошли по Бульвару султанши Катимы к Рыбацкой мечети, ещё многие тысячи пришли посмотреть и присоединились к толпе с маршем, пока армия, окружившая квартал, не выстрелила в толпу перечным газом и люди не бросились врассыпную по широким поперечным улицам и через медины вокруг реки Лавийя, отчего казалось, что весь город взбунтовался. После того как о пострадавших от газа позаботились, вернулась ещё большая толпа, чем была до атаки.

Это происходило два или три раза в течение одного дня, пока огромная площадь перед большой мечетью города и старым дворцом полностью

не заполнилась людьми, которые вставали перед колючей проволокой старого дворца и пели песни, слушали речи и скандировали лозунги и суры Корана, отстаивающие права народа перед правителем. И всё это время площадь не пустела, и толпа даже не редела; люди расходились по домам за едой и другими предметами первой необходимости, оставляя молодёжь пьянствовать по ночам, но вновь заполняли площадь погожими удлиняющимися днями, чтобы ничего не пропустить. Город был фактически закрыт весь первый месяц весны, как в затяжной Рамадан.

Однажды ученики привезли Кирану на Дворцовую площадь в инвалидной коляске, и она усмехнулась при виде такого зрелища.

— Вот так-то лучше, — сказала она. — Сколько людей!

Её провезли через толпу к простецкой трибуне, которую сооружали ежедневно из доковых ящиков, и попросили произнести речь, что она сделала с удовольствием, в своей обычной манере, невзирая на физическую слабость. Она схватила микрофон и сказала:

— Мухаммед нёс в массы идею о том, что у всех людей есть права, которые нельзя отнять у них, не оскорбив Создателя. Аллах сделал всех людей

в равной мере своими детьми, никто из которых не должен служить другим. Это послание пришло во времена, очень далёкие от такой практики, и весь исторический прогресс стал историей прояснения этих принципов ислама и установления истинной справедливости. Мы собрались здесь, чтобы продолжить его дело!

Женщинам приходилось особенно бороться против неверного толкования Корана, взаперти в своих домах и под своими вуалями, не имея образования, пока сам ислам не рухнул под всеобщим невежеством, ибо как могут люди быть мудрыми и процветать, когда они проводят свои первые годы на воспитании у тех, кто сам ничего не знает?

Мы сражались в Долгой Войне и проиграли её, это была наша Накба[52]. Ни армяне, ни бирманцы, ни евреи, ни ходеносауни, ни африканцы не несут ответственности за наше поражение, фундаментальная проблема даже не в самом исламе, поскольку он является голосом любви к Богу и всему человечеству. Война была историческим выкидышем ислама, искажённого до неузнаваемости.

---

[52] Примечания: 52
В переводе с араб. яз. «катастрофа» (*прим. ред.*).

Мы приняли эту реальность, живя здесь, в Нсаре, после того как закончилась война и мы смогли продвинуться вперёд. Мы все стали свидетелями и участниками бурной работы, проделанной здесь, несмотря на всевозможные физические лишения и постоянные дожди.

Но теперь генералы думают, что могут остановить всё это и повернуть время вспять, как будто они не проиграли войну и не столкнули нас с этой необходимостью созидания, которую мы так хорошо использовали. Как будто время может повернуться вспять! Ничего подобного никогда не случится! Мы создали новый мир, здесь, на старой земле, и Аллах защищает его действиями всех людей, которые действительно любят ислам и верят в его шансы выжить в будущем мире.

Итак, мы собрались здесь, чтобы присоединиться к упорной борьбе против угнетения, присоединиться ко всем бунтам, мятежам и революциям, ко всем попыткам отнять власть у армии, полиции, мулл и вернуть её народу. Каждая победа была незначительной (два шага вперёд, один шаг назад), это была вечная борьба, но каждый раз мы продвигались чуточку дальше, и никто не посмеет оттолкнуть нас назад! Если правительство рассчитывает добиться здесь

успеха, ему придётся уволить народ и назначить другой! Не сомневаюсь, что всё происходит именно так.

Её слова хорошо принимали, и толпа увеличивалась, и Будур была рада видеть, как много среди них женщин, работниц столовых и консервных фабрик, женщин, для которых вуаль и гарем всегда были в порядке вещей. Сейчас все они образовали самую оборванную, самую голодную толпу из возможных и в основном просто стояли, как будто спали на ногах, и всё же они приходили, заполняя площади, отказываясь работать; и в пятницу они повернулись к Мекке только тогда, когда к ним вышел один из революционных священнослужителей — не полицейский на помосте, а свой человек, такой же сосед, каким был Мухаммед при жизни. Была пятница, и этот священнослужитель зачитал первую главу Корана, всем известную Аль-Фатиху, даже группе буддистов и ходеносауни, которые всегда стояли на площади среди них, чтобы вся толпа могла читать её вместе, повторяя много раз, снова и снова:

Хвала Аллаху, Господу миров,
Милостивому и милосердному,

Властелину дня воздаяния!

Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.

Веди нас прямым путём,

Путём тех, кого Ты облагодетельствовал,

Не тех, на кого пал гнев, и не заблудших!

На следующее утро тот же священник поднялся на помост и начал день с чтения в микрофон стихотворения поэта Галеба, разбудив людей и снова позвав их на площадь:

От меня останется лишь история,

То же самое будет и с тобой.

Надеюсь, в бардо меня кто-нибудь встретит,

Но люди пока не ведают, где их дом.

Прошлое и будущее спутались вместе,

Выпусти пойманных птиц в окно!

Что же останется нам? Истории, которым

Ты больше не веришь. А лучше поверь.

Пока ты живёшь, в них есть смысл.

Когда ты умрёшь, в них будет смысл.

Те, кто придут после нас, поймут их смысл.

Лучше поверь.

Руми писал о том, что видел миры

Как один, и это – любовь. Он взывал к ней и знал,

Что не мусульманин, еврей, не индус, не буддист,

Но друг, дышащий воздухом человек,

Расскажет свою историю бодхисаттвы. Бардо

Ждёт, когда мы воплотим её в реальность.

Будур в то утро проснулась в завии, разбуженная известием о телефонном звонке: звонил один из её слепых солдат. Они хотели поговорить с ней.

Она села в трамвай и поехала в госпиталь, чувствуя тревогу. Злились ли они на неё за то, что она не приходила в последнее время? Может, они беспокоились о её благополучии, после того как она уехала в последний раз?

Нет. За них — по крайней мере, за некото-

рых — говорили старшие товарищи: они хотели участвовать в демонстрации против военного переворота, и они хотели, чтобы она повела их. Примерно две трети пациентов сказали, что хотят участвовать.

От такой просьбы нельзя было отказаться. Будур согласилась и, чувствуя себя нервно и неуверенно, вывела их за ворота больницы. Их было слишком много для поездки на трамвае, поэтому они пошли по набережной, положив руки на плечи друг другу, как слоны на параде. Часто бывая в палате, Будур уже привыкла к их виду, но здесь, на ярком солнце и открытом воздухе, они снова представляли собой ужасное зрелище, изувеченные, искалеченные. Триста двадцать семь человек шли по набережной; выходя из палаты, она пересчитала их по головам.

Естественно, они привлекли толпу зевак, и несколько человек последовали за ними по набережной, и на большой площади уже собралась толпа, которая быстро освободила место для ветеранов в первых рядах протестующих, прямо перед старым дворцом. Они выстроились в шеренги на ощупь, вполголоса проведя перекличку с небольшой помощью Будур. А потом стояли молча, сцепив руки с руками тех, кто был справа

и слева, слушая ораторов у микрофона. Толпа позади них становилась всё больше и больше.

Армейские аэростаты низко парили над городом, и голоса из громкоговорителей приказывали всем покинуть улицы и площади. Механические голоса сообщили, что объявлен строгий комендантский час.

Это решение явно было принято теми, кто находился в неведении о присутствии слепых солдат на Дворцовой площади. Те стояли неподвижно, и толпа осталась стоять вместе с ними. Один из слепых солдат крикнул:

— И что они собираются делать, пустить газ?

В принципе, это было вполне возможно, поскольку перцовый газ уже применяли в палатах Государственного совета, и в полицейских казармах, и в доках. И позже многие говорили, что слепых солдат действительно в течение этой напряжённой недели травили слезоточивым газом, а они просто стояли там, держа удар, потому что у них не осталось слёз, которые можно было пролить; что они стояли на площади, положив руки на плечи друг друга, и пели Аль-Фатиху и Басмалу, с которой начинается каждая сура:

> *Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!*

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!

Сама Будур никогда не видела, чтобы на Дворцовой площади пускали газ, хотя слышала, как её солдаты часами скандировали Басмалу. Но на этой неделе она не всё время проводила на площади, и её слепые солдаты были не единственными, кто покинул свои госпитали и присоединился к протестам. Так что, возможно, что-то в этом роде и произошло. Во всяком случае, в это верили.

В течение долгой недели люди коротали время, читая отрывки из Руми Балхи, и Фирдоуси, и весёлого муллы Насреддина, и Али, эпического поэта Фиранджи, и их родного, нсаренского поэта-суфия, молодого Галеба, убитого в самый последний день войны. Будур часто навещала женскую больницу, где лежала Кирана, чтобы рассказать ей, что происходит на площади и в других уголках большого города, теперь повсюду кишащего людьми. Они уже вышли на улицы и не собирались покидать их. Даже когда пошёл дождь, они остались. Кирана жадно впитывала каждое слово, ей самой не терпелось выйти на улицу, и она была крайне раздражена тем, что её держат взаперти в такое время. Очевидно, она болела серьёзно, иначе не стала бы этого терпеть,

но её измождённый, нездоровый вид и тёмные круги под глазами, как у енотов в Инчжоу, говорили сами за себя. «Застряла, — выразилась она, — как только всё начало становиться интересным». Как раз тогда, когда её едкий, острый язык мог бы сыграть свою роль, войти в историю и сразу же прокомментировать её. Но этому не суждено было случиться; она могла только лежать и бороться с болезнью. В тот единственный раз, когда Будур осмелилась спросить, как она себя чувствует, Кирана поморщилась и только сказала:

— Термиты донимают.

Но даже при этом она оставалась в центре событий. Делегация лидеров оппозиции, включая контингент женщин из завий города, встречалась с адъютантами генералов, чтобы выразить свои протесты и по возможности провести переговоры, и они часто посещали Кирану, чтобы обсудить стратегию. В городе ходили слухи, что готовится сделка, но Кирана лежала с горящими глазами и качала головой, видя в Будур надежду.

— Не будь наивной, — её сардоническая усмешка исказила измождённые черты лица. — Они просто тянут время. Думают, если продержатся ещё немного, протесты утихнут, и они смогут

продолжить начатое. Возможно, они правы. В конце концов, оружие-то у них.

Но потом в гавань вошёл флот ходеносауни и бросил якорь. «Ханея!» — мысленно воскликнула Будур, когда увидела их: сорок гигантских стальных кораблей, ощетинившихся пушками с дальностью выстрела в сотню ли от берега. Они вышли на беспроводную частоту вещания, занятую популярной музыкальной станцией, которую хотя и захватило правительство, но никак не помешало их сообщению достичь всех беспроводных приёмников в городе, и многие услышали его и передали дальше: ходеносауни требовали встречи с законным правительством, с которым имели дело раньше. Они отказались разговаривать с генералами, нарушившими Шанхайскую конвенцию, узурпировав конституционную власть, что было очень серьёзным нарушением; они заявили, что не покинут гавань Нсары до тех пор, пока вновь не будет созван совет, учреждённый послевоенным соглашением, и что они отказывались торговать с правительством, возглавляемым генералами. А поскольку зерно, которое спасло Нсару от голода прошлой зимой, в основном поступало с кораблей ходеносауни, это было действительно серьёзное заявление.

Вопрос решался три дня, в течение которых слухи летали, как летучие мыши в сумерках: что идут переговоры между флотом и хунтой, что закладываются мины, что готовятся десантные войска, что переговоры срываются…

На четвёртый день лидеры переворота внезапно исчезли. Флот Инчжоу не досчитался нескольких кораблей. Говорили, что генералов отправили в психиатрические лечебницы на Сахарных островах или Мальдивах в обмен на то, что они уйдут отсюда без боя. Вышестоящие офицеры, оставшиеся в городе, отозвали развёрнутые военные части обратно в казармы и стали ждать дальнейших указаний от законного Государственного совета. Переворот был подавлен.

Люди на улицах ликовали, кричали, пели, обнимали совершенно незнакомых людей, бесновались от радости. Будур не стала исключением; после она отвела своих солдат обратно в госпиталь и помчалась в больницу к Киране, рассказать обо всём, что видела, и глядела на неё, такую немощную посреди этого триумфа, с острой болью. Кирана кивнула, услышав новости, и сказала:

— Нам повезло заручиться их поддержкой. Весь мир это увидел; эффект будет замечательный, вот

увидишь. Хотя теперь мы попали! Посмотрим, каково это — быть частью лиги, посмотрим, что они собой представляют на самом деле.

Друзья Кираны хотели вывезти её на площадь, чтобы она произнесла ещё одну речь, но она отказалась со словами:

— Ступайте, скажите людям, пусть возвращаются к своей работе, скажите им, что пекарни снова должны печь.

23

Темнота. Тишина. Затем голос в пустоте:

Кирана? Ты там? Куо? Киу? Кенпо?

Что.

Ты там?

Я здесь.

Мы снова в бардо.

Такого понятия не существует.

Существует. Мы здесь. Ты не можешь этого отрицать. Мы всё время возвращаемся.

Темнота, тишина. Нет ответа.

Да что ты, как ты можешь это отрицать. Мы всё время возвращаемся. Мы снова рождаемся. Все через это проходят. Это и есть дхарма. Мы продолжаем пытаться. Мы продолжаем делать успехи.

Звук, похожий на рычание тигра.

Но это так! Здесь и Идельба, и Пьяли, и даже мадам Сурури.

Значит, она была права.

Да.

Чушь.

И всё же. Мы здесь. Мы здесь, чтобы снова вернуться, вместе, нашим маленьким джати. Не знаю, что бы я делала без вас всех. Мне кажется,

одиночество убьёт меня.

Что-нибудь тебя всё равно убьёт.

Да, но так менее одиноко. И мы что-то меняем. Нет, правда! Посмотри, что вышло! Ты не можешь этого отрицать!

Кое-что было сделано. Не так уж много.

Конечно. Ты сама сказала, что у нас впереди тысячи жизней работы. Но всё получается.

Не надо обобщать. Всё ещё может ускользнуть.

Конечно. Но мы вернёмся, чтобы попробовать ещё раз. Каждое поколение ведёт свою борьбу. Ещё несколько оборотов колеса. Возвращайся и держи нос по ветру. Снова в бой!

Как будто отказ возможен.

Прекрати. Ты бы не отказалась, даже если бы могла. Ты всегда впереди, ты всегда готова к бою.

Я так устала… Я не понимаю, как ты можешь столько упорствовать. Ты даже меня утомляешь. Столько надежды перед лицом беды. Иногда я думаю, что на тебе это должно сказываться сильнее. Иногда мне кажется, что я должна взять всё на себя.

Идём. Ты станешь прежней, как только всё начнётся по новой. Идельба, Пьяли, мадам Сурури, вы готовы?

Мы готовы.

Кирана?
Ну, хорошо… Ещё один поворот.

Книга десятая. Первые годы



1. Всегда Китай

Бао Синьхуа было четырнадцать лет, когда он впервые встретился с Кун Цзяньго в своём рабочем подразделении недалеко от южной окраины Пекина, сразу за Дахунмэнем, Большими красными воротами. Кун был старше всего лишь на несколько лет, но уже возглавлял революционную ячейку в соседнем рабочем подразделении, что было большим достижением, учитывая, что мальчишка был одним из саньву, «трижды лишённых» (семьи, рабочего места, удостоверения личности), когда появился у ворот полицейского участка Чжэцзянского района, сразу за Дахунмэнем. Полиция определила Куна на его нынешнее место, но он всегда оставался там изгоем и слыл «индивидуалистом», что является существенным оскорблением в Китае даже сейчас, когда многое уже изменилось. «Он настаивал на своём, что бы ни говорили другие». «Он упрямо гнул свою линию». «Он был так одинок, что у него не было даже тени». Вот что говорили о Куне Цзяньго в его рабочем подразделении, и потому, естественно, он искал чего-то за его пределами, присматриваясь к окрестностям и городу в целом, и никто

не знал, как долго он был уличным бродягой, даже он сам. Ему подходила эта жизнь. Позже, в юности, он стал яркой звёздочкой в Пекинской подпольной политике, и как раз в этом качестве он посетил рабочее подразделение Бао Синьхуа.

— Рабочее подразделение является современным эквивалентом китайского кланового комплекса, — сказал он тем, кто собрался его послушать. — Это не только экономическая единица, но и духовная, социальная, которая из последних сил старается закрепить старый образ жизни в новом мире. Никто не хочет ничего менять, потому что каждому нужен клочок земли, где его похоронят после смерти. Каждому нужно своё место. Но гигантские, обнесённые стенами фабрики не похожи на старые семейные комплексы, которым они подражают. Эти тюрьмы изначально построены для того, чтобы организовать наш труд для Долгой Войны. Но война уже пятьдесят лет как закончилась, а мы по-прежнему рабски вкалываем на них всю свою жизнь, как будто бы на Китай, но на самом деле — на коррумпированных военных губернаторов. Даже не на императора, которого уже давно нет, а именно на генералов и военачальников, которые надеются, что мы будем работать и дальше и никогда не

заметим, как изменился мир.

Мы говорим: «Мы из одного рабочего подразделения», как если бы мы говорили: «Мы из одной семьи» или «мы брат и сестра», и это прекрасно. Но мы никогда не заглядываем за стены своих подразделений на мир в целом.

Многие слушатели кивали. Их рабочее подразделение было бедным, состояло в основном из иммигрантов с юга, и они часто голодали. В послевоенные годы в Пекине произошло много перемен, и теперь, в 29 году, как стали называть его революционеры в соответствии с практикой научных организаций, всё потихоньку разваливалось. Династию Цин свергли в середине войны, когда дела пошли совсем плохо; сам император, которому в то время было шесть или семь лет, пропал, и большинство теперь полагало, что он умер. А Пятое собрание военных талантов до сих пор контролировало конфуцианскую бюрократию, их рука до сих пор правила колесом судьбы людей; но это была старческая, немощная рука прошлого, и восстания вспыхивали по всему Китаю. Восстания самого разного толка: одни преследовали иностранные идеологии, но большинство имели внутреннее происхождение и были организованы ханьскими китайцами в

надежде раз и навсегда избавиться от династий, генералов и военачальников. Так появились Белый лотос, Обезьяньи повстанцы, Шанхайское революционное движение и им подобные. К ним добавлялись региональные мятежи, вспыхивающие среди различных национальностей и этнических групп на западе и на юге (тибетцы, монголы, синьцзинцы и так далее), которые стремились освободиться от бдительного надзора Пекина. Не было никаких сомнений в том, что, несмотря на большую армию, которую Пекин теоретически мог бы здесь задействовать, армию, которой население всё ещё восхищалось и которую чтило за жертвы в Долгой Войне, само военное командование терпело крах и должно было пасть. В Китае снова звучали разговоры о свержении власти, династической преемственности, и вопрос был в том, кто добьётся успеха. И сможет ли кто-нибудь снова объединить Китай.

Кун обратился к рабочему подразделению Бао в поддержку Школы революционных перемен лиги всех народов, основанной в последние годы Долгой Войны Чжу Туаньцзе-кэсюэ («Объединяйтесь во имя Науки»), наполовину японцем, которому при рождении было дано имя Исао. Чжу Исао, как его обычно называли, до революции

был китайским губернатором одной из японских провинций, а после революции заключил соглашение с японскими силами независимости. Он отдал приказ китайской армии, оккупировавшей Кюсю, вернуться в Китай без потерь с обеих сторон и высадиться вместе с ними в Маньчжурии, и объявил портовый город Таншань международным центром мира, прямо там, на родине цинских правителей и в разгар Долгой Войны. Официальная позиция Пекина состояла в том, что Чжу — японец и предатель и, когда придёт время, его мятеж будет подавлен китайскими армиями, которые он предал. Но вышло так, что война закончилась, послевоенные годы прошли в тоскливом голодном круговороте, а город Таншань так и не был отвоёван; напротив, подобные восстания стали происходить во многих других китайских городах, особенно в крупных портах, вплоть до самого Кантона, и Чжу Исао опубликовал целую лавину статей, защищающих действия их движения и объясняющих новую политику города Таншань, который управлялся по принципу общинного предприятия, принадлежащего в равной степени всем людям, живущим в его пределах.

Кун обсуждал эти вопросы с рабочим подраз-

делением Бао, пересказывая теорию Чжу об общественном производстве благ и о том, что это означает для простых китайцев, у которых слишком долго крали плоды их труда.

— Чжу посмотрел на реальную картину происходящего в стране и описал нашу экономику, политику, методы власти и накопления с научной скрупулёзностью. После этого он предложил новый тип организации общества, который брал знания о том, как функционируют вещи, и применял их для служения всем людям в сообществе, хоть в Китае, хоть в любой другой стране.

Во время перерыва на обед Кун задержался, чтобы поговорить с Бао, и спросил его имя. Бао дали имя Синьхуа, «Новый Китай»; Куна звали Цзяньго, «Строительство Нации». Так они знали, что являются детищами Пятого собрания, поощрявшего патриотические имена, которые могли бы противостоять их моральному износу и сверхчеловеческим жертвам народа в годы послевоенного голода. Все, кто родился примерно за двадцать лет до настоящего момента, носили имена вроде Хуэди, «Против Ислама», или Чжандоу, «Сражайся», хотя на тот момент война была закончена уже как тридцать лет. Имена девочек особенно пострадали от этой моды, так как

родители пытались сохранить и традиционные элементы женских имён, вплетая их в пыл оголтелого патриотизма, так что их ровесницы носили иногда имена вроде «Благоухающий Солдат», или «Изящная Армия», или «Общественный Аромат», или «Народная Орхидея» и тому подобное.

Кун и Бао вместе посмеялись над некоторыми из них и заговорили о родителях Бао и о том, что у Куна родителей нет; и Кун пристально посмотрел на Бао и сказал:

— Однако «Бао» — очень важное слово и понятие, знаешь ли. Расплата, возмездие, почитание родителей и предков — держание и удержание. Это хорошее имя.

Бао кивнул, уже заворожённый вниманием этого темноглазого человека, такого напряжённого и лёгкого, и заинтересованного буквально во всём. Было в нём что-то такое, что притягивало Бао, притягивало так сильно, что Бао казалось, их встреча была юаньфэнь, «предопределённым знакомством», чем-то, что навсегда должно было стать частью его юань, «судьбы». И, возможно, уберечь его от нийюана, «плохой судьбы», поскольку его коллеги из рабочего подразделения производили на него впечатление мелочных, угнетающих, отупляющих людей, своего рода

«смерть души», тюрьма, из которой он не мог вырваться и где был уже погребён заживо. В то время как он сразу почувствовал, что знает Куна целую вечность.

Поэтому он таскался за Куном по всему Пекину, как младший брат, и прослыл из-за него прогульщиком на работе — стал, другими словами, революционером. Кун водил его на собрания революционных ячеек, в которых он состоял, давал ему читать книги и брошюры Чжу Исао; фактически он взял на себя его образование, как и многих других, и ни родители Бао, ни его рабочее подразделение ничего не могли с этим поделать. Теперь у него было новое рабочее подразделение, разбросанное по Пекину, Китаю и всему миру, — рабочее подразделение тех, кто собирался навести в мире порядок.

Пекин в то время был местом жесточайших лишений. Миллионы людей переехали туда во время войны и до сих пор жили в посёлках из времянок за городскими воротами. Рабочие части военного времени ушли далеко на запад, а они всё ещё стояли грядой серых крепостей, глядящих вниз на широкие новые улицы. Все деревья в городе были срублены в течение двенадцати тяжёлых лет, и даже теперь город был почти лишён

растительности; новые деревья высаживались, окружённые шипастыми заборами для сохранности, а по ночам их охраняли сторожа, что не всегда помогало (бедные старики просыпались по утрам и обнаруживали, что забор на месте, а дерева и след простыл: срубили на дрова или вырвали с корнем для перепродажи). Из-за потерянных саженцев сторожа безутешно плакали, а иногда даже совершали самоубийство. Суровые зимы обрушивались на город осенью, дожди, полные жёлтой грязи от пыли, подхваченной в западных лесах, проливались на бетонный город без единого листочка, растворяясь в земле. Обогреватели поддерживали тепло в комнатах, но система ци часто отключалась, что приводило к перебоям, которые длились неделями, и тогда страдали все, кроме правительственных чиновников, укомплектованных генераторами. Большинство людей согревалось, набивая газеты под верхнюю одежду: они становились громоздкими в своих толстых коричневых пальто, хватались за любую работу, которую могли найти, как будто растолстели от хорошей жизни, но это было не так.

Таким образом, многие созрели для перемен. Кун был таким же худым и голодным, как и все они, но полным энергии. Он, казалось, не

нуждался ни в еде, ни в сне: всё, что он делал, это читал и говорил, говорил и читал, ездил на велосипеде от собрания к собранию и призывал группы объединиться, чтобы присоединиться к революционному движению, возглавляемому Чжу Исао, и изменить Китай.

— Послушайте, — говорил он тем, кто был готов слушать, — мы можем изменить Китай, потому что мы китайцы, а изменив Китай, мы изменим мир. Потому что всё всегда возвращается в Китай, понимаете? Нас больше, чем всех остальных людей на Земле вместе взятых. И из-за колониально-империалистического правления Цин все богатства мира пришли к нам за эти годы, в частности всё золото и серебро. В течение многих династий мы получали золото от торговли, а затем, когда завоевали Новый Свет, мы забрали их золото и серебро, и всё это осело в Китае. И здесь и осталось! Мы бедны не материально, а из-за того, как мы организованы, понимаете? Мы пострадали в Долгой Войне, как пострадала каждая страна, но остальной мир восстанавливается, а мы — нет, хотя мы победили, и всё это из-за того, как мы организованы! Золото и серебро спрятано в сундуках с сокровищами продажных бюрократов, и люди мёрзнут и голодают, в то

время как бюрократы прячутся в своих норах, в тепле и сытости. И это никогда не изменится, если мы этого не изменим!

Он продолжал объяснять теорию общества Чжу, как в течение многих и долгих династий система вымогательства управляла Китаем и большей частью мира, и поскольку земля была плодородной, а фермеры платили налоги, система выстояла. Однако и в этой системе наступил кризис, где правители стали столь многочисленны, а земля истощена, что налоги, которые они требовали, не могли быть уплачены фермерами; и когда выбор встал между голодом или восстанием, крестьяне взбунтовались, как это часто бывало до Долгой Войны.

— Они сделали это ради своих детей. Нас учили чтить наших предков, но гобелен поколений тянется в обоих направлениях, и гений народа состоял в том, чтобы начать борьбу за грядущие поколения, отдать свою жизнь за своих детей и детей своих детей. Вот истинный способ почтить свою семью! Итак, у нас были восстания эпохи Мин и ранней Цин, и подобные восстания происходили по всему миру — и в конце концов всё развалилось, и все боролись друг с другом. И даже Китай, самая богатая страна на Земле, был

опустошён. Но необходимая работа продолжалась. И мы должны продолжать её, и положить конец тирании правителей, и создать новый мир, основанный на разделении богатств мира между всеми поровну. Золото и серебро приходят из земли, и земля принадлежит всем нам, точно так же, как воздух и вода принадлежат всем нам. Больше не должно быть иерархий, подобных тем, которые так долго угнетали нас. Борьба будет продолжаться, и каждое поражение необходимо претерпеть на долгом пути к нашей цели.

Естественно, любой, кто каждый час и каждый день произносил такие речи, как Кун, попадал в серьёзные неприятности с властями. Пекин как столица и крупнейший промышленный город, не пострадавший в Долгой Войне по сравнению со многими другими городами, содержал множество подразделений армейской полиции, а стены города позволяли запирать ворота и проводить квартальные обыски. В конце концов, это было сердце империи. Они могли приказать стереть с лица земли целый квартал, если бы захотели, и не раз этим пользовались; трущобы и даже законно разрешённые районы сровняли с землёй бульдозерами и перестроили в соответствии со стандартным планом строительства рабочих

кварталов, чтобы избавить город от недовольных. Такой сорвиголова, как Кун, считался источником неприятностей. И вот в 31 году, когда ему было около семнадцати, а Бао — пятнадцать, он уехал из Пекина в южные провинции, чтобы донести послание до масс, как делал до него Чжу Исао и все подобные ему фигуры. Бао последовал за ним. Перед отъездом он взял с собой сумку с парой шёлковых носков, синие суконные туфли с кожаными подошвами, ватную куртку, старую куртку на подкладке, пару брюк на подкладке, пару брюк без подкладки, полотенце для рук, пару бамбуковых палочек для еды, эмалированную чашку, зубную щётку и экземпляр «Анализа китайского колониализма» Чжу.

Следующие годы пролетели незаметно, и Бао многое узнал о жизни и людях, а также о своём друге Куне Цзяньго. Беспорядки 33 года переросли в полномасштабное восстание против Пятого военного собрания, которое, в свою очередь, переросло во всеобщую гражданскую войну. Армия пыталась удержать контроль над городами, революционеры рассеялись по деревням и полям. Там они жили по своду правил, став любимцами фермеров, прилагая огромные усилия для защиты их самих, их урожая и животных, не экспроприируя

их имущество или их пищу, предпочитая голод краже у тех же людей, которых они поклялись освободить.

Каждое сражение в этой странной рассеянной войне имело жуткое свойство: оно казалось бесконечной чередой убийств гражданских лиц в их собственной одежде, без униформы или полноценных больших сражений. Мужчины, женщины и дети, фермеры в поле, лавочники в дверях своих магазинчиков, животные — армия была беспощадна. И всё же это продолжалось.

Кун стал видным лидером в Военно-революционном колледже в Аннане, штаб-квартира которого располагалась глубоко в ущелье Брахмапутры, но его идеи распространились по всем подразделениям революционных сил, а профессора и советники делали всё возможное, чтобы каждая встреча с врагом стала своего рода уроком в полевых условиях. Вскоре Кун возглавил эти усилия, особенно когда дело дошло до борьбы за городские и прибрежные рабочие подразделения; он был бесконечным источником идей и энергии.

Пятое военное собрание в итоге отказалось от централизованного правительства и распалось на множество военачальников. Это была

победа, но теперь каждый военачальник и его личная армия должны были быть побеждены по одному. Борьба шла неравномерно от провинции к провинции, засада здесь, мост там. Часто Кун становился мишенью покушений, и, естественно, Бао как его товарищ и помощник тоже подвергался этой опасности. Бао хотел отомстить покушавшимся на него убийцам, но Кун был невозмутим:

— Это не имеет значения, — говорил он. — Мы всё равно умрём.

Он отнёсся к этому факту гораздо веселее, чем кто-либо из знакомых Бао.

Лишь однажды Бао увидел, что Кун всерьёз разозлился, и даже это было странно, учитывая ситуацию. Это случилось, когда один из их собственных офицеров, некто Си Фанди («Против Империализма»), был осуждён очевидцами за изнасилование и убийство женщины-заключённой, находившейся у него на содержании. Си вышел из тюрьмы, где его держали, и закричал:

— Не убивайте меня! Я не сделал ничего плохого! Мои люди знают, что я пытался защитить их, погибшая разбойница была одной из самых жестоких в Сычуане! Этот суд несправедлив!

Кун появился из кладовой, где спал в ту ночь.

— Командир, сжальтесь, — сказал Си. — Не убивайте меня!

— Си Фанди, — сказал Кун, — не говори больше ничего. Когда человек делает что-то насколько ужасное, как ты сейчас, и ему пора умирать, он должен заткнуться и сделать хорошую мину при плохой игре. Это всё, что он может сделать, чтобы подготовиться к следующему возвращению. Ты изнасиловал и убил заключённую, об этом свидетельствовали трое, а это одно из самых страшных преступлений. И есть донесения, что это было не в первый раз. Позволяя тебе жить и делать подобное снова, я только разожгу в людях ненависть к тебе и к нашему делу, а это неправильно. Давай больше не будем разговаривать. Я прослежу, чтобы о твоей семье позаботились. Будь более смелым человеком.

Си ответил с обидой:

— Мне не раз предлагали десять тысяч таэлей за то, чтобы убить тебя, и я всегда отказывался.

Кун отмахнулся от этого.

— Это был всего лишь твой долг, а ты думаешь, что он делает тебя особенным. Как будто ты должен сопротивляться своему характеру, чтобы поступить правильно. Но твой характер — не оправдание! Меня тошнит от твоего характера!

У меня тоже строптивая душа, но мы боремся за Китай! Ради человечества! Ты должен игнорировать свой характер и делать то, что правильно!

И он отвернулся, когда Си Фанди уводили.

После этого Кун пребывал в мрачном настроении, подавленном, но без раскаяния.

— Это нужно было сделать, но всё без толку. Такие люди, как он, часто оказываются на первом месте. Вероятно, они никогда не вымрут. И поэтому, возможно, Китай никогда не избежит своей судьбы, — он процитировал слова Чжу: — «Обширные территории, богатые ресурсы, огромное население — неужели с такой прекрасной базой мы будем только ходить по кругу, попав в ловушку колеса рождения и смерти?»

Бао не знал, что ответить; он никогда не слышал, чтобы его друг говорил так пессимистично. Хотя это казалось ему достаточно знакомым: у Куна часто бывали перепады настроения, но в конце одно настроение преобладало. Он вздохнул, вскочил на ноги:

— Что бы ни было, продолжаем! Давайте, давайте! Мы можем только попытаться. Если мы должны как-то скоротать срок этой жизни, тогда уж лучше бороться за добро.

В конце концов, именно фермерские ассо-

циации сыграли решающую роль. Кун и Бао посещали еженощные собрания в сотнях деревень и городов, и тысячи солдат-революционеров, подобных им, передавали анализ и план Чжу народу, который в стране всё ещё был большей частью неграмотен, так что информацию приходилось передавать из уст в уста. Но нет такой формы общения, которая была бы быстрее и надёжнее, если она достигнет определённой критической точки накопления.

За это время Бао узнал все подробности фермерского существования. Он узнал, что Долгая Война лишила жизни большинство мужчин и многих молодых женщин. Где бы ты ни был, вокруг находилось всего несколько стариков, а общего населения оставалось меньше, чем до войны. Некоторые деревни были заброшены, другие — заселены минимально. Это затрудняло посадку и сбор урожая, и молодые люди, оставшиеся в живых, всегда работали, чтобы обеспечить выращивание продовольственных и налоговых культур сезона. Старухи работали не хуже других, делая всё, что могли в своём возрасте, чтобы помочь, сохраняя при этом манеры обычных имперских крестьянок. Обычно в деревне умели читать и вести счета только бабушки, которые

будучи девочками жили в более благополучных семьях; теперь они учили молодёжь, как управлять ткацкими станками, вести дела с Пекинским правительством и читать. Из-за этого их часто убивали первыми, когда армия военачальников вторгалась в область, вместе с молодыми людьми, которые могли присоединиться к борьбе.

В конфуцианской системе земледельцы были вторым по значимости классом, чуть ниже учёных бюрократов, которые изобрели эту систему, но выше ремесленников и торговцев. Теперь интеллектуалы Чжу организовывали фермеров в глубинке, а ремесленники и торговцы в городах в основном ждали, что произойдёт. Так, по-видимому, сам Конфуций определил революционные классы. Конечно фермеров было гораздо больше, чем городских жителей. Поэтому, когда фермерские армии начали организовываться и маршировать, ветераны Долгой Войны мало что могли с этим поделать: они сами были уничтожены, и у них не было ни средств, ни желания убивать миллионы своих соотечественников. По большей части они отступали в самые большие города и готовились защищать их, как от мусульман.

В этом нелёгком противостоянии Кун выступал

против любых массовых атак, отстаивая более тонкие методы, ведущие к победе над оставшимися городскими военачальниками. В некоторых городах были отрезаны линии снабжения, разрушены аэропорты, блокированы порты; тактика осады была самой старой, обновлённой с учётом нового оружия Долгой Войны. Да, назревала ещё одна Долгая Война, на этот раз гражданская, хотя в Китае никто этого не хотел. Даже самые младшие дети жили в руинах и тени Долгой Войны и знали, что вторая война будет катастрофой.

Кун встречался с «Белым лотосом» и другими революционными группами в городах, контролируемых военачальниками. Почти в каждой рабочей группе находились сочувствовавшие революции, и многие из них присоединились к движению Чжу. На самом деле не было практически никого, кто бы активно и с энтузиазмом поддерживал старый режим, да и откуда таким взяться? Слишком много страшного произошло. Следовательно, речь шла о том, чтобы заставить всех недовольных поддержать то же сопротивление и ту же стратегию перемен. Кун оказался самым влиятельным лидером в этой борьбе.

— В такие времена, — говаривал он, — каждый становится своего рода философом, так как столь

сложные вопросы требуют осмысления. Вот в чём слава нашего времени. Они разбудили нас.

Некоторые из этих бесед и организационных встреч были опасными визитами на вражескую территорию. Кун слишком высоко поднялся в новом китайском движении, чтобы быть в безопасности, выполняя такие миссии: теперь он был слишком знаменит, и за его голову назначили цену.

Но однажды, на тридцать второй неделе 35 года, он и Бао тайно посетили свой старый район в Пекине, спрятавшись в грузовике, набитом кочанами капусты; они сошли около Больших красных ворот.

Сначала казалось, что всё изменилось. Конечно, ближайшие окрестности за воротами были стёрты с лица земли, проложены новые улицы, так что они никак не могли найти своё старое пристанище у ворот — его уже не было. На его месте стоял большой полицейский участок и несколько рабочих подразделений, выстроившихся параллельно старой городской стене, которая всё ещё существовала на небольшом расстоянии по обе стороны ворот. Довольно большие деревья были пересажены на новые углы улиц, защищённые толстыми коваными заборами с

шипами наверху: зелень выглядела очень красиво. В рабочих корпусах были окна общежитий, выходящие наружу (ещё одна приятная новинка: в старые времена они всегда были построены с глухими стенами, обращёнными к внешнему миру, и только во внутренних дворах были какие-то признаки жизни). Теперь и сами улицы были запружены тележками торговцев и книжными лавками на колёсиках.

— Выглядит неплохо, — вынужден был признать Бао.

Кун усмехнулся.

— Мне больше нравилось, как было раньше. Пойдём, посмотрим, что сможем найти.

Встреча была назначена в старом рабочем блоке, занимавшем несколько небольших зданий к югу от нового квартала. Там, внизу, переулки были такими же узкими, как всегда, сплошь кирпичными, пыльными и грязными, не было видно ни одного дерева. Они свободно разгуливали здесь, надев солнечные очки и пилотки, как и половина других молодых людей. Никто не обращал на них ни малейшего внимания, и они смогли купить бумажные миски лапши и поесть, стоя на углу улицы посреди толпы и движения, наблюдая знакомую сцену, которая, казалось,

ничуть не изменилась со времени их отъезда несколько суматошных лет назад.

Бао сказал:

— Я скучаю по этому месту.

Кун согласился.

— Скоро мы сможем вернуться сюда, если захотим. И насладиться Пекином, снова ставшим центром мира.

Но сначала надо завершить революцию. Они проскользнули в один из цехов рабочего подразделения и встретились с группой начальников, большинство из которых были пожилыми женщинами. Они не были падки на речи какого-то мальчишки, выступающего за радикальные перемены, но к тому времени Кун уже был знаменит, и они внимательно выслушали его, задавали много подробных вопросов, а когда он закончил, кивнули, похлопали его по плечу и отправили обратно на улицу, сказав, что он хороший мальчик и чтобы он убирался из города, пока его не арестовали, а они уж поддержат его, когда придёт время. Так было всегда с Куном: каждый чувствовал в нём огонь и отвечал по-человечески. Если он мог за одну встречу покорить старух Долгой Войны, то для него не было ничего невозможного. Многие деревни и рабочие подразделения

полностью состояли из таких женщин, как и буддийские больницы и колледжи. К этому времени Кун уже знал о них всё; «шайки вдов и бабушек», как он их называл.

— Они внушают трепет, их умы находятся за пределами мира, но знают его до таэля, поэтому бывают жёсткими и очень несентиментальными. Среди них часто встречаются хорошие учёные и особо хитрые политики. Лучше не переходить им дорогу.

И он никогда этого не делал, но учился у них и почитал их; Кун знал, где черпать силу в любой ситуации.

— Если старухи и юноши когда-нибудь соберутся вместе, всё будет кончено!

Кун также отправился в Таншань, чтобы встретиться с самим Чжу Исао и обсудить со старым философом кампанию за Китай. Под эгидой Чжу он полетел в Инчжоу и поговорил с японскими и китайскими представителями лиги Инчжоу, встретился также с траванкорцами и другими в Фанчжане, а когда вернулся, то пришёл с обещаниями поддержки от всех прогрессивных правительств Нового Света.

Вскоре после этого в Таншань прибыла одна из больших флотилий ходеносауни, выгрузив

огромное количество продовольствия и оружия, и подобные суда появились во всех портовых городах, которые ещё не были под контролем революционеров, блокируя их фактически, если не на словах, и новые китайские силы смогли в течение следующих двух лет одерживать победы в Шанхае, Кантоне, Ханчжоу, Нанкине и в глубине Китая. Последний штурм Пекина стал, скорее, триумфальным вступлением; солдаты старой армии исчезли в огромном городе или в своей последней цитадели в Ганьсу, и Кун вместе с Чжу сели в первые грузовики гигантского кортежа, который беспрепятственно въехал в столицу в этот очень славный день, день весеннего равноденствия, отмечающего 36 год, хотя и через Большие красные ворота.

Именно на этой неделе Запретный город открыли для людей, которые бывали в нём всего несколько раз после исчезновения последнего императора, когда в течение нескольких лет войны он был общественным парком и армейскими казармами. В течение последних сорока лет он снова был закрыт для людей, и теперь они стекались сюда, чтобы услышать, как Чжу и его ближайшее окружение говорят с Китаем и миром. Бао был в толпе, сопровождавшей их, и когда

они проходили под воротами Великой Гармонии, он увидел, как Кун оглянулся, будто удивлённо. Кун покачал головой со странным выражением, и оно застыло на его лице, когда он поднялся на трибуну, чтобы встать рядом с Чжу и обратиться к восторженной толпе, заполнившей площадь.

Чжу ещё говорил, когда раздались выстрелы. Чжу упал, Кун упал; начался хаос. Бао пробился сквозь орущую толпу и добрался до кольца людей, окруживших раненых на временной деревянной сцене, и большинство из них были знакомые ему мужчины и женщины, которые пытались навести порядок, получить медицинскую помощь и проложить путь из дворца в больницу. Кто-то узнал его и пропустил, и Бао, спотыкаясь, бросился к Куну. Убийца использовал большие пули с мягкими наконечниками, которые были разработаны во время войны, и по всему настилу сцены обильно разбрызгалась кровь, шокирующая своей сверкающей краснотой. Чжу был ранен в руку и ногу, Кун — в грудь. В спине у него зияла большая дыра, лицо посерело. Он умирал. Бао опустился на колени рядом с ним и поднял его правую руку, выкрикивая его имя. Кун смотрел сквозь него; Бао не был уверен, что он вообще что-то видит.

— Кун Цзяньго! — воскликнул Бао, и слова вырвались из него, как никогда раньше.

— Бао Синьхуа, — одними губами произнёс Кун. — Продолжай.

Это были его последние слова. Он умер ещё до того, как его унесли с площадки.

2. Эта квадратная сажень

Всё это случилось, когда Бао был молод.

После убийства Куна он какое-то время был совсем плох. Он присутствовал на похоронах и не проронил ни слезинки; он думал, что выше всего этого, что он реалист, что главное — общее дело и оно будет продолжаться. Он был равнодушен к своему горю и чувствовал себя так, будто ему всё равно. Это казалось странным, но так уж оно было. Всё казалось не совсем реальным, это не могло быть реальным. Он смирился.

Бао зарылся в книги и постоянно читал. Он поступил в Пекинский колледж, изучал историю и политологию, позже занимал дипломатические посты в новом правительстве, сначала в Японии, затем в Инчжоу, в Нсаре, в Бирме. Новая китайская программа развивалась, но очень, очень медленно. Дела начинали налаживаться, но не так быстро, как хотелось бы. Что-то менялось, что-то оставалось прежним. Продолжались войны, коррупция заразила новые институты, за всё приходилось бороться. Это занимало больше времени, чем кто-либо ожидал, но каждые несколько лет всё как-то изменилось. Пульс долгой истории

бился гораздо медленнее, чем время отдельного человека.

Однажды, несколько лет спустя, он познакомился в Пекине с женщиной по имени Пань Сычунь, дипломаткой из Инчжоу, работавшей в посольстве Пекина. Им было поручено совместно работать с Дахайской лигой, ассоциацией государств, окружающих Великий океан, и в рамках этого проекта правительства обеих стран отправили их на конференцию на Гавайи, в центр Дахая. Там, на пляжах Большого острова, они много времени проводили вместе и вернулись в Пекин уже парой. Её предками были китайцы и японцы, а прадеды жили в Инчжоу, в Фанчжане и долине за ним. Когда работа Пань Сычунь в Пекине закончилась и она вернулась домой, Бао договорился о переводе в китайское посольство в Фанчжане и пролетел через Дахай, к живописному зелёному побережью и золотым холмам Инчжоу.

Там они с Пань Сычунь поженились и прожили двадцать лет, воспитывая двоих детей, сына Чжао и дочь Аньцзы. Пань Сычунь взяла на себя управление одним из министерств при правительстве Инчжоу и по долгу службы довольно часто ездила на Длинный остров, в город Кито и

страны Дахайского рубежа. Бао оставался дома, работал в китайском посольстве, воспитывал детей, писал и преподавал историю в городском колледже. В Фанчжане, самом красивом и ярком из городов, он хорошо жил, и иногда ему казалось, что его юность в революционном Китае была чем-то вроде красочного сна, который он видел давным-давно. Иногда его посещали учёные, и тогда он вспоминал о тех годах, а раз или два даже писал о них; но всё это было очень далеко.

Однажды он нащупал шишку на правой груди Пань Сычунь — рак; через год, после долгих мучений, она умерла. Умерла, оставшись верной себе, так же, как жила.

Убитый горем Бао растил их детей. Сын Чжао уже почти вырос и вскоре устроился на работу в Аочжоу, за морем, так что они с Бао теперь редко виделись. Дочь Аньцзы была моложе, и он делал для неё всё, что мог, даже нанимал прислугу с проживанием, но как-то слишком сильно старался, слишком сильно переживал. Аньцзы часто злилась на отца и при первой возможности съехала от него, вышла замуж и после этого редко его навещала. Каким-то образом он всё испортил, и даже не знал, как.

Ему предложили место в Пекине, и он вернулся,

но чувствовал себя странно — как прета, блуждающая по сценам какой-то своей прошлой жизни. Он остановился в западной части города, в районе новостроек, которые не имели ничего общего со знакомыми ему зданиями. Запретный город, который он запретил себе сам. Он пробовал читать и писать, думая: если ему удастся всё записать, это никогда не вернётся снова. Спустя не так уж много лет он занял пост в Пинькайинге, столице Бирмы, присоединённой к Лиге всех народов, в Агентстве по борьбе за гармонию с природой в качестве китайского представителя и дипломата в целом.

3. Творя бирманскую историю

Пинькайинг располагался у самого западного из каналов устья Иравади, великой речной дороги, главной артерии бирманской жизни, давно урбанизированной по всему руслу, вокруг которого вырос огромный приморский город, даже скопление городов — вдоль каждого рукава дельты до самой Хензады и вверх по реке до Мандалая. Но именно в Пинькайинге можно было увидеть сверхгород во всём его величии: речные каналы, впадающие в море, как большие проспекты, между громадными нависающими небоскрёбами, рядом с которыми реки казались глубокими ущельями; пересечённые бесчисленными улицами и переулками, чередующимися с ещё более многочисленными каналами, образовывали сеть с ячейками, которые пересекались друг с другом, и всё это во власти глубоких каньонов в мириадах высоких зданий.

Бао получил квартиру на сто шестидесятом этаже одного из небоскрёбов, расположенных на главном канале Иравади, недалеко от моря. Выйдя на балкон в первый раз, он был поражён открывшимся видом и провёл большую часть

дня, озираясь вокруг: на юг к морю, на запад к пагоде, на восток к другим устьям Иравади и вверх по течению, глядя вниз на крыши сверхгорода, на миллионы окон в других небоскрёбах, тесно выстроившихся вдоль берегов и в остальной части дельты. Все здания были глубоко утоплены в аллювиальную почву дельты, и знаменитая система дамб, шлюзов и волнорезов защищала город от наводнений с верховьев, от высоких приливов Индийского океана, от тайфунов, и даже подъём уровня моря, который сейчас наблюдался, не угрожал городу, который являл собой своего рода стоянку для кораблей, никогда не снимавшихся с якоря на его окраине, так что если в конечном счёте им и придётся оставить «первые этажи» и подняться выше, это лишь станет ещё одной инженерной проблемой, которой можно будет занять местную строительную индустрию в ближайшие годы. Бирманцы ничего не боялись.

Глядя вниз на маленькие джонки и водные такси, выводящие белые каллиграфические надписи на сине-коричневой воде, Бао как будто читал в них некое послание, зашифрованное за пределами его сознания. Теперь он понимал, почему бирманцы написали «Бирманскую историю»: потому

что, возможно, она была правдой — возможно, всё, что когда-либо происходило, произошло затем, чтобы сомкнуться здесь и создать нечто большее, чем любое отдельное историческое событие. Словно откатывающие водные гребни ударяющиеся друг о друга и взметающие вверх белую стену воды выше, чем когда-либо взметалась любая отдельная волна.

Этот монументальный город, Пинькайинг, стал для Бао домом на следующие семь лет. На фуникулёре он поднимался высоко над рекой, переправляясь на другой её берег, к офисам лиги, где он работал над проблемами гармонии с природой, которые начали терзать мир, нанося ему такой вред, что даже Бирма однажды могла бы пострадать от этого (разве что Пинькайинг к тому времени переселят на Луну, что казалось почти возможным, памятуя о неуёмной энергии и самоуверенности бирманцев).

Но они были пока слишком молодой силой и не понимали, как вращаются шестерёнки. За эти годы Бао по долгу службы посетил сотни стран, и многие из них заново напоминали ему, что цивилизации расцветают в течение долгого времени, а падая, никогда по-настоящему не возрождаются. Место силы блуждало по Земле,

как несчастный беспокойный бессмертный дух, следуя за солнцем. Едва ли Бирма будет застрахована от такой судьбы.

Теперь Бао летал на новейших космолётах, выстреливающих из атмосферы, как артиллерийские снаряды эпохи Долгой Войны, и приземлявшихся на другой стороне земного шара три часа спустя; летал на гигантских дирижаблях, гудевших, как лайнеры в воздушном море, по большей части непотопляемых, которые до сих пор использовались для перевозки основной массы транспорта и грузов по всему миру, потому что их медлительность более чем компенсировалась мощностью. Он совещался с официальными лицами большинства стран планеты и пришёл к выводу, что проблемы с равновесием в природе были отчасти проблемой чисто математической: население планеты порядочно восполнилось после Долгой Войны, и теперь приближалось к восьми миллиардам человек; может, планета попросту не в состоянии выдержать столько людей, как рассуждали многие учёные, особенно более консервативные, обладавшие своего рода даосским темпераментом, что часто встречалось в Китае и особенно в Инчжоу.

Но помимо одного количества, играло роль на-

копление вещей и неравномерное распределение богатства; так, например, жители Пинькайинга не задумываясь тратили на вечеринку в Ингали или Фанчжане десятилетний бюджет Магриба, в то время как народ Фиранджи и Инки страдал от недоедания. Этот раскол сохранялся, несмотря на усилия Лиги всех народов и эгалитарных движений в Китае, Фиранджe, Траванкоре и Инчжоу. Эгалитарное движение в Китае выросло не только из теорий Чжу, но и из даосских идей равновесия, на которые Чжу всегда обращал внимание. В Траванкоре оно возникло из буддийской идеи сострадания, в Инчжоу — из идеи равенства всех людей, в Фиранджe — из идеи справедливости перед Богом. Идея существовала повсюду, но мир всё ещё принадлежал мизерному меньшинству богатых; богатства веками копились в руках единиц, и люди, которым посчастливилось родиться в старых аристократических семьях, продолжали жить по старинке, на правах королей, которыми теперь обладали лишь богачи планеты. Деньги как основа власти заменили землю и текли, подчиняясь собственной гравитации, своим законам накопления, которые, хотя и были далеки от природы, тем не менее правили большинством стран на Земле,

независимо от религиозных или философских идей любви, сострадания, милосердия, равенства, добра и тому подобного. Старый Чжу был прав: поведение человечества всё ещё основывалось на старых законах, которые определяли, кто будет распоряжаться продовольствием, землёй, водой и излишками богатств и кто будет распоряжаться трудом восьми миллиардов человек. Если эти законы не изменятся, живая оболочка Земли может треснуть и перейти в наследство чайкам, муравьям и тараканам.

И Бао путешествовал, говорил, писал и снова путешествовал. Большую часть своей профессиональной жизни он проработал в Агентстве лиги по борьбе за гармонию с природой, в течение нескольких лет пытаясь координировать усилия Старого и Нового Света, чтобы сохранить жизнь некоторым видам крупных млекопитающих: многие вымирали, и без какой-либо помощи со стороны человечество потеряло бы большинство из них в ходе антропогенного вымирания, которое могло бы потягаться даже с глобальными катастрофами, о которых сейчас узнают по ископаемым окаменелостям.

Он возвращался из дипломатических миссий в Пинькайинг после путешествий на боль-

ших новых аэростатах, представлявших собой комбинацию дирижабля и флаера, автолёта и катамарана, которые могли перемещаться по воде или по воздуху — в зависимости от погодных условий и грузов. Он смотрел на мир из окна своей квартиры и видел человеческие взаимоотношения с природой в каллиграфических росчерках водяных такси, в шлейфах аэростатов, в огромных каньонах, образованных городскими небоскрёбами. Это был его мир, и он менялся с каждым годом; и когда Бао приезжал в Пекин и хотел вспомнить юность, или ездил в Куинану в Аочжоу навестить сына Чжао и его семью, или вспоминал Пань Сычунь — даже когда однажды он приехал в Фанчжан, где они тогда жили, — они едва всплывали в его памяти. Точнее, он помнил многое из того, что случалось, но само чувство к этим вещам исчезло, выщелочилось по прошествии лет. Словно они случались с кем-то другим. Словно они случились в прежних жизнях.

Кто-то из офиса лиги предложил пригласить в Пинькайинг самого Чжу Исао, чтобы он прочёл серию лекций сотрудникам и просто всем желающим. Бао был удивлён, когда увидел это объявление; он-то предполагал, что за эти годы Чжу точно умер — так давно они все вместе ме-

няли Китай, а ведь Чжу уже тогда был дряхлым стариком. Юношеская оплошность со стороны Бао; он узнал, что сейчас Чжу около девяноста лет, значит в то время ему было всего около семидесяти. Бао не смог сдержать смеха над таким просчётом, столь характерным для молодых. С большим нетерпением он записался на курс.

Чжу Исао оказался энергичным седовласым старцем, невысоким, но и не усохшим за все эти годы, с живым любопытством, горящим в глазах. Он пожал Бао руку, когда тот подошёл к нему перед вступительной лекцией, и улыбнулся слабо, но дружелюбно.

— Я тебя помню, — сказал он. — Ты был одним из офицеров Куна Цзяньго, не так ли?

И Бао крепко стиснул его ладонь, склонив голову в знак согласия. Он сел, чувствуя тепло. Старик по сей день ходил, слегка прихрамывая после того страшного дня. Но он был рад видеть Бао.

На первой лекции он изложил план курса, который, по его задумке, должен был представлять собой серию бесед об истории и о том, как она устроена, что означает и как использовать уроки истории, чтобы проложить путь вперёд, который проведёт их через грядущие трудные десятилетия: «Пока мы наконец не научимся правильно

жить на Земле».

Бао вёл записи, слушая старика, и постукивал по своему маленькому планшету, как делали многие в аудитории. Чжу объяснил, что надеется для начала описать и обсудить различные исторические теории, которые выдвигались на протяжении веков, а затем проанализировать не только их достоверность, сверяя с реальными событиями, «что непросто, ведь события как таковые запоминаются тем, насколько хорошо они поддерживают те или иные теории», но также структуру этих теорий и то, какое будущее они подразумевали, «в чём их главная для нас польза, потому что в истории важнее всего то, что мы можем использовать в будущем».

Как повелось в течение нескольких следующих месяцев, каждый третий день их учебная группа собиралась в одном из зданий лиги в кабинете на высоком этаже с видом на Иравади: несколько десятков дипломатов, местных студентов и молодых историков отовсюду, многие из которых приехали в Пинькайинг специально на эти лекции. Все садились и слушали рассказы Чжу, и хотя Чжу всегда уговаривал их вступать в дискуссии и превращать лекцию в общую беседу, в основном они довольствовались тем, что слуша-

ли его размышления вслух, лишь подстёгивая его своими вопросами.

— Но ведь я тоже здесь, чтобы слушать, — возражал он, но, когда его умоляли продолжать, смягчался. — Наверное, я похож на Пао Сю, который говорил: «Я хороший слушатель: я слушаю, когда говорю».

Так они перешли от обсуждения теории четырёх цивилизаций, прославившейся благодаря аль-Каталану, к теории аль-Ланьчжоу о столкновении культур и прогрессе через конфликт («в каком-то смысле и не поспоришь: конфликтов в истории было много, и прогресса тоже»), а затем к немного схожей теории перекрёстков, согласно которой пересечения сфер деятельности, зачастую не связанных друг с другом в развитии, оставшиеся незамеченными, имели большие последствия. Здесь, среди разных примеров, один Чжу упомянул с лёгкой улыбкой: дескать, примерно в одно и то же время в Иранском халифате появились кофе и печатные станки, что вызвало большой скачок в развитии литературы. Они обсуждали теорию вечного возвращения, которая объединила индуистские космологии с последними достижениями физики в гипотезе, что вселенная настолько обширная и древняя, что

всё возможное не только уже в ней происходило, но и происходило бесконечное число раз («эту теорию сложно применить на практике, разве что она объясняет то ощущение, когда кажется, что что-то уже происходило раньше»), и другие циклические теории, часто основанные на смене времён года или жизни тела.

Затем он упомянул «историю дхармы», или «бирманскую историю», подразумевая любую историю, которая верила, что прогресс движется к определённой цели, что всегда проявляется в окружающем мире или в планах на будущее; он вспомнил об «истории бодхисаттвы», согласно которой некоторые просветлённые культуры, совершившие в какой-то момент большой скачок вперёд, а затем откатившиеся назад, к остальным, после продолжали работать в этом направлении: ранний Китай, Траванкор, ходеносауни, японская диаспора, Иран — все эти культуры были названы в качестве возможных примеров этой модели («хотя это, пожалуй, вопрос индивидуального или культурного суждения, которое отнюдь не полезно для историков, ищущих глобальные ответы. Но и называть их самоповтором — неудачный выбор слов, ибо истина в том, что все теории — это самоповторы. Сама наша

реальность — самоповтор»).

Кто-то поднял старый вопрос о том, является ли «великий человек» или «народные массы» главной движущей силой перемен, но Чжу немедленно отклонил его как ложную проблему.

— Все мы великие люди, не так ли?

— Говорите за себя, — пробормотал человек, сидевший рядом с Бао.

— Что всегда имеет значение, так это момент перелома в каждой жизни, когда привычки перестают удовлетворять и должен быть сделан выбор. Именно тогда каждый на мгновение становится великим человеком, и решения, принятые в эти мгновения, которые выпадают слишком часто, объединяются и творят историю. В этом смысле я склоняюсь на сторону масс, поскольку это коллективный процесс, как ни крути.

Кроме того, сама формулировка «великий человек», конечно, сразу поднимает и женский вопрос: включены ли женщины в это описание? Или лучше определить всю историю как историю женщин, борющихся за возвращение политической власти, утраченной с введением сельского хозяйства и появлением излишков богатства? Станет ли постепенная и незавершённая победа над патриархатом более масштабной главой

истории? Наряду, возможно, с постепенной и сомнительной победой над инфекционными болезнями? Чтобы мы могли сказать, что сражались с микропаразитами и макропаразитами, а? Жуки и патриархи.

С этими словами он улыбнулся и перешёл к обсуждению борьбы против Четырёх Великих Неравенств и других концепций, выросших из работ Кан и аль-Ланьчжоу.

Несколько следующих лекций Чжу потратил на описание примеров «моментов фазового перехода» из мировой истории, которые считал важными: японская диаспора, независимость ходеносауни, переход торговли с суши на море, расцвет Самарканда, и так далее. Также не одну лекцию он посвятил обсуждению новейшего движения среди историков и социологов, которое он назвал «животной историей», подходом к истории человечества с точки зрения биологии, то есть изучающим вместо религии и философии скорее приматов, сражающихся за пищу и территорию.

Прошло много недель с начала курса, когда он сказал:

— Мы теперь готовы взяться за вопрос, который чрезвычайно интересует меня в наши дни,

а именно — не содержание истории, а её форма, ибо мы видим, что то, что мы называем историей, имеет по меньшей мере два значения: во-первых, это нечто, что произошло в прошлом, которого никто не может знать, поскольку оно исчезает во времени; и во-вторых, это все истории, которые мы рассказываем.

Истории эти, конечно, разного толка, и такие люди, как Рабиндранат[53] и Белый Учёный присвоили им разные категории. Сначала идут свидетельства очевидцев и хроники, записанные вскоре после события, включая документы и отчёты, — эта история, как ещё несжатая пшеница, не смолотая в муку, она даёт нам начало, или конец, или причину. Лишь позже появятся испечённые истории, которые попытаются согласовать и примирить между собой источники, истории, которые не только рассказывают, но и объясняют.

Ещё позже появляются труды, которые поедают и переваривают эти испечённые отчёты в попытке продемонстрировать, чего они добились, как соотносятся с действительностью, как мы их ис-

[53] Примечания: 53

Рабиндранат Т. (1861–1941) — личность, широко известная как в родной Индии, так и за её пределами; писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель (*прим. ред.*).

пользуем и тому подобное: философия истории, эпистемология — как угодно. Многие аналитики используют методы, впервые предложенные Ибрагимом аль-Ланьчжоу, даже те, которые критикуют его результаты. Несомненно, тексты аль-Ланьчжоу весьма питательны, потому что ему есть что сказать. В одном небесполезном отрывке, например, он отмечает, что нужно проводить различия между аргументированным спором и глубоко скрытыми неосознанными идеологическими предубеждениями. Эти последние могут быть вычленены путём выявления сюжетного механизма, выбранного для повествования. Так механизм, использованный аль-Ланьчжоу, восходит к повествовательной типологии Рабиндраната, весьма упрощённой, но, к счастью, как говорит аль-Ланьчжоу, историки довольно неприхотливые рассказчики и используют лишь основные повествовательные типы Рабиндраната, к тому же схематично, по сравнению с великими романистами, такими как Цао Сюэцинь или Мурасаки, постоянно их смешивающими. Таким образом, история в изложении Тана Оо, это то, что некоторые называют «бирманской историей», в данном случае вполне букваль-

но[54], но я предпочитаю формулировку «история дхармы», роман, в котором человечество борется за познание своей дхармы, самосовершенствуясь и поколение за поколением приближаясь к прогрессу, сражается за справедливость и конец желаний, с пониманием, что в конечном счёте мы проторим свою тропу к истоку ручья цветущего персика и наступит век великого мира. Это светская версия индуистской и буддийской истории о достижении нирваны. Таким образом, бирманская история, или рассказы о Шамбале, или любая телеологическая история, утверждающая, что мы все так или иначе прогрессируем, и есть история дхармы.

Противоположностью этого механизма является ирония или сатира, что я называю историей энтропии, заимствуя термин у физиков, или нигилизмом, историей падения — выражаясь языком старых легенд. В такой подаче, что бы человечество ни предпринимало, оно терпит неудачу и разочарование, и сочетание биологической реальности и моральной слабости, смерти и зла означает, что человечество ни в чём не может преуспеть. Возведённое в крайнюю степень, это

[54] Примечания: 54

Тан Оо (род. в 1928 г.) — выдающийся бирманский преподаватель, чиновник Министерства образования Бирмы (*прим. пер.*).

проявляется в Пяти Великих Пессимизмах, или нигилизме Шу Шэня, или антидхарме Пурана Кассапы, соперника Будды, в людях, которые говорят, что вокруг царит беспричинный хаос, и в целом было бы лучше вообще не рождаться на свет.

Эти два механизма представляют собой крайние взгляды: один говорит, что мы хозяева мира и можем победить смерть, в то время как другой говорит, что мы пленники мира и никогда не сможем победить смерть. Может показаться, что это единственные возможные способы повествования, но внутри этих крайностей Рабиндранат выделяет ещё два, которые назвал трагедией и комедией. Эти два способа являются смешанными и неполными по сравнению с их экстремумами, и Рабиндранат предполагает, что они оба стоят на пути к примирению. В комедии происходит примирение человека с другими людьми и с обществом в целом. Переплетение членов семьи, племени с кланом — вот чем кончаются комедии; именно брак с кем-то из другого клана и возвращение весны делает их комедией.

Трагедии порождают более мрачное примирение. Белый Учёный сказал, что они рассказывают историю человечества лицом к лицу с самой

реальностью, поэтому сталкиваются со смертью, распадом и поражением. Трагические герои умирают, но выжившие, которые рассказывают эту историю, проживают подъём сознания, осознание реальности, и это ценно само по себе, каким бы мрачным ни было это знание.

На этом этапе лекции Чжу Исао сделал паузу, оглядел комнату, нашёл взглядом Бао и кивнул ему; хотя и казалось, что они говорили об абстрактных вещах, о формах, которые принимают истории, Бао почувствовал, как сжалось его сердце. Чжу продолжал:

— Я бы советовал историкам не становиться заложниками того или иного механизма, как происходит со многими (это слишком просто, и плохо передаёт пережитый опыт). Вместо этого мы должны сплести историю, которая как можно больше содержит в своём узоре. Он должен быть подобен даосскому символу инь-ян, где око трагедии и комедии пестреет на обширных областях дхармы и нигилизма. Эта древняя фигура — идеальный образ всех наших историй вместе взятых, с тёмным пятном комедии, омрачающим блеск дхармы, и пламенем трагического знания, возникающим из чёрного ничто.

Иронию истории самой по себе мы отвергнем

с ходу. Да, люди плохие, да, всё идет не так. Но зачем на этом зацикливаться? Зачем делать вид, что история этим ограничивается? Ирония — всего лишь смерть, ходящая среди нас. Она не принимает вызов, это не жизнь.

Но точно так же мы должны отвергнуть и чистейшую версию истории дхармы, трансцендентность этого мира и этой жизни, совершенство нашего образа бытия. Это может произойти в бардо, если существует бардо, но в этом мире всё перемешано. Мы — животные, а смерть — наша судьба. Поэтому в лучшем случае мы могли бы сказать, что история вида должна стать максимально похожей на дхарму, и возможно это лишь путём коллективного волеизъявления.

Остались промежуточные механизмы, комедия и трагедия, — Чжу остановился и в недоумении поднял руки. — Конечно, и того, и другого у нас предостаточно. Возможно, для оптимального изложения истории нужно вписать в неё фигуру целиком и вывести, что для личности история, в конечном счёте, всегда трагедия, а для общества — комедия, если мы сделаем её таковой.

Чжу Исао сам явно склонялся к комедии. Он был общительным человеком и всегда приглашал Бао и некоторых других слушателей,

включая министра здравоохранения и охраны, в апартаменты, предоставленные ему на время его пребывания здесь, и эти небольшие сборища освещались его смехом и интересом. Даже исследовательская работа его забавляла. Он привёз из Пекина огромное количество книг, и каждая комната в апартаментах была забита под завязку, как склад. Из-за своего крепкого убеждения, что история — это история каждого когда-либо жившего человека, он штудировал антологии биографий, и в его библиотеке имелось немало представителей жанра. Это объясняло огромное количество томов, стоявших повсюду высокими шаткими стопками. Чжу подобрал толстенный фолиант, такой тяжёлый, что его с трудом можно было поднять.

— Первый том, — сказал он с усмешкой. — Правда, я так и не нашёл остальную серию. Такая книга — всего лишь преддверие к целой ненаписаной библиотеке.

— Начало жанру сборника жизнеописаний, — говорил он, нежно похлопывая по стопкам книг, — кажется, положено в религиозной литературе: сборники житий христианских святых и мусульманских мучеников, а также буддийские тексты, описывающие жизнь через длинные

последовательные перевоплощения, — спекулятивное упражнение, которое Чжу явно очень понравилось.

— История дхармы в чистом виде, своего рода протополитика. К тому же они бывают весьма забавными. Например, такой буквалист, как Дху Сянь, будет пытаться точно сопоставить даты смерти и рождения своих героев, вписывая ряд выдающихся актёров истории в серию перевоплощений, и утверждать, что они совершенно точно всегда были одной душой из-за выбора профессии, но из-за трудностей с совпадением дат в конце концов он был вынужден делать некоторые дополнения к своей серии, чтобы все его герои шли друг за другом последовательно. В итоге в своих бессмертных трудах он приходит к формуле «делу время, потехе час», таким образом оправдывая чередование жизней гениев и генералов с третьесортными портретистами или сапожниками. Зато даты совпадают! — Чжу радостно ухмыльнулся.

Он постучал по высоким стопкам с другими образчиками полюбившегося ему жанра: «Сорок шесть переселений» Гангхадары (тибетский текст), «Двенадцать проявлений Падмасамбхавы» (гуру, который основал буддизм в Тибете), а

также «Биография Гьяцо Римпоша, с первой по девятнадцатую жизни» (следит за жизнью далай-ламы до настоящего времени). — Бао однажды встречался с этим человеком и тогда ещё не знал, что его полная биография займёт столько томов.

У Чжу Исао в апартаментах также имелись экземпляры «Жизнеописаний» Плутарха и «Жизнеописаний выдающихся женщин» Лю Сян, написанных примерно в одно время с Плутархом, но он признавал, что эти тексты не так интересны, как хроники перевоплощений, которые, в отдельных случаях, уделяли не меньшее внимание своим героям, когда те пребывали в бардо и других пяти локах, чем их человеческой жизни. Бао также понравились «Автобиография вечного жида», «Заветы тривикумского джати», прекрасные «Двести пятьдесят три путешественника», а также непристойного вида сборник, возможно, порнографический, под названием «Пять веков тантрического вора». Всё это Чжу описывал своим гостям с большим энтузиазмом. Ему казалось, в этих работах содержится некий ключ к человеческой истории, если таковой вообще возможен: история как простое скопление жизней.

— В конце концов, все великие моменты истории совершались в умах людей. Моменты

перемен, или «клинамен», как называли их греки.

Такие моменты, говорил Чжу, стали организующим принципом и, возможно, навязчивой идеей самаркандского антолога, старца Красное Чернило, который в своей коллекции реинкарнаций собрал жизнеописания, используя для выбора героев что-то вроде момента клинамена, поскольку каждая повесть в его сборнике содержала момент, когда герои, чьи перевоплощения всегда носили имена, начинавшиеся с одних и тех же букв, приходили к перекрёстку в своей жизни и отклонялись от задуманного для них курса.

— Мне нравится приём с именами, — заметил Бао, листая один из томов антологии.

— Старец Красное Чернило объясняет в одной из заметок на полях, что это просто мнемонический приём для удобства читателя и что в действительности, конечно, никакая душа по возвращении не сохраняет своих физических свойств. Ни характерных колец, ни родимых пятен, ни одинаковых имён; он бы не хотел, чтобы вы думали о его методе, как о чём-то из старых народных сказок, о, нет.

Министр природного здравоохранения спросил о стопке нехарактерно тонких книжек, и

Чжу радостно улыбнулся. В противовес своим бесконечным антологиям, объяснил он, он взял за правило покупать любые книги, которые, исходя из их темы, должны были быть короткими, и даже настолько короткими, что их названия едва помещались бы на корешках. Например, «Секреты успешного брака», «Веские причины надеяться на будущее» или «Истории о том, как не бояться привидений».

— Но я не читал их, должен признаться. Они существуют только ради своих заголовков, которые говорят всё за них. Они могут даже быть пустыми внутри.

Позже Бао сидел рядом с Чжу на балконе, глядя на город, плывущий внизу. Они пили чашку за чашкой зелёный чай, разговаривая о самых разных вещах, и когда ночь стала поздней и Чжу как будто о чём-то задумался, Бао спросил его:

— Ты когда-нибудь вспоминаешь о Куне Цзяньго? О тех временах?

— Нет, не очень часто, — признался Чжу, глядя ему прямо в глаза. — А ты?

Бао покачал головой.

— Не знаю, почему. Не то чтобы это причиняло какую-то особенную боль. Просто кажется, всё это было так давно.

— Да. Очень давно.

— Я вижу, ты всё ещё немного хромаешь с того дня.

— Да. Мне это не нравится. Я стал медленнее ходить. Это не так уж плохо, но пуля всё ещё там. Металлодетекторы на охраняемых территориях реагируют на меня, — он рассмеялся. — Но это было давно. Так много жизней назад. Я их все перепутал, а ты? — и он улыбнулся.

Одна из последних лекций Чжу Исао была посвящена обсуждению того, какие цели может преследовать изучение истории и как это может помочь человечеству в его нынешнем затруднительном положении.

Чжу был осторожен, отвечая на свой вопрос.

— История может и не помочь, — сказал он. — Даже если бы мы получили полное представление о том, что происходило в прошлом, это бы нам не помогло: мы всё ещё ограничены в своих действиях в настоящем. В некотором смысле можно сказать, что прошлое заложило будущее, или купило его, или связало законами, институтами и привычками. Но, возможно, мы извлечём пользу, если узнаем прошлое как можно лучше, просто чтобы продумать путь вперёд. Мы с вами обсуждали вопрос остаточного и стихийного, что

каждый период истории состоит из остаточных элементов прошлых культур и стихийных элементов, которые позже проявятся более полно. И это такая мощная призма. Только изучение истории позволяет увидеть это различие там, где оно есть. Мы можем взглянуть на окружающий мир и сказать, что всё это — остаточные законы периода Четырёх Великих Неравенств, всё ещё сковывающие нас. Им пора исчезнуть. С другой стороны, мы видим менее знакомые элементы нашего времени, такие как общинное владение землёй в Китае, и говорим: возможно, это новые качества, которые станут более заметны в будущем; они кажутся полезными, я поддержу их. Впрочем, существуют и остаточные элементы, которые всегда помогали нам и должны быть сохранены. Так что это не тот случай, когда «новое — хорошо, а старое — плохо». Нужно видеть эти различия. И чем больше мы понимаем историю, тем тоньше их видим.

Я начинаю думать, что проблема «поздних проявляющихся свойств», о которой говорят физики, когда обсуждают сложные и щепетильные вопросы, является важным понятием и для историков. Возможно, справедливость — это как раз такое позднее проявленное свойство. И воз-

можно, мы успеем увидеть его зачатки; или же оно зародилось давным-давно, среди приматов и предлюдей и только сейчас набирает силу в мире, чему способствует возможность перехода к постдефициту. Трудно сказать.

Он снова улыбнулся своей тихой улыбкой.

— Хорошие слова, чтобы закончить эту лекцию.

Его последняя лекция называлась «То, что ещё предстоит объяснить» и состояла из вопросов, которые он до сих пор обдумывал, даже после стольких лет учёбы и размышлений. Он давал комментарии по своему списку вопросов, но краткие, и Бао пришлось писать очень быстро, чтобы успеть записать все вопросы:

То, что ещё предстоит объяснить

> Почему неравенство в накоплении благ существовало с самого раннего периода истории человечества? Отчего наступают и проходят ледниковые периоды? Могла ли Япония выиграть свою войну за независимость без случайного стечения обстоятельств в виде Долгой Войны, землетрясения и пожара, поразивших Эдо? Куда делось всё римское золото? Почему

власть, по сути, продажна? Возможно ли было уберечь коренные народы Нового Света от болезней, занесённых из Старого Света? Когда в Новом Свете впервые появились люди? Почему цивилизации Инчжоу и Инки находились на таких разных стадиях развития? Почему гравитация не может быть математически согласована с импульсной микровероятностью? Стал бы Траванкор основоположником современной истории и господствовал ли бы в Старом Свете, если бы Керала не появился на свет? Есть ли жизнь после смерти и переселение душ? Достигла ли полярная экспедиция 52 года Долгой Войны Южного полюса? Что заставляет сытых и обеспеченных людей вносить лепту в эксплуатацию и обдирательство голодающих и беззащитных? Выжил бы саамский народ, если бы Аль-Алеманд завоевал Скандистан? Если бы Шанхайская конференция не ввела столь суровые репарации, был бы послевоенный мир более мирным? Сколько людей может выдержать Земля? Почему существует зло? Как ходеносауни пришли к своей форме

правления? Какая болезнь или сочетание болезней убило христиан Фиранджи? Движет ли историей техника? Что бы изменилось, если бы чума не затормозила распространение науки, зародившейся в Самарканде? Правда ли финикийцы пересекли Атлантику и попали в Новый Свет? Выживут ли к следующему веку млекопитающие крупнее лисы? Правда ли, что сфинкс на тысячи лет старше пирамид? Есть ли боги? Как вернуть животных на землю? Как обеспечить себе достойное существование? Как передать нашим детям и следующим поколениям восстановленный, оздоровлённый мир?

Вскоре после этой последней лекции и прощальной вечеринки Чжу Исао вернулся в Пекин, и Бао больше никогда его не видел.

В течение нескольких лет после визита Чжу они усердно работали над разработкой программ, которые помогли бы дать ответы на некоторые из его последних вопросов. Точно так же, как геологам в их работе помогает понимание движения треснувших плит земной коры, бюрократы, технократы, учёные и дипломаты Лиги всех народов

черпали помощь в трудах и теоретических измышлениях Чжу. Хорошо иметь план, как часто замечал Чжу!

Бао рассекал по миру, встречаясь и разговаривая с разными людьми, помещая нужные нити на свои места, утолщая основу и уток договорами и соглашениями, которые связывали все народы на планете. Он работал попеременно над реформой землевладения, лесными хозяйствами, охраной животных, водными ресурсами, поддержкой панчаятов и изъятием накопленных богатств, обтачивая неподатливые булыжники привилегий, оставшиеся после Долгой Войны и всего, что произошло за столетия до неё. Дела шли медленно, прогресс был мизерным, но Бао не раз уже замечал, что улучшение ситуации в одном регионе иногда помогало другим. Так, например, учреждение панчаятских правительств на местном уровне в Китае и исламских государствах привело к тому, что всё большее число людей наделялось властью, особенно в тех местах, где люди принимали траванкорский закон, обязывающий, чтобы по крайней мере два из пяти членов панчаята были женщинами; это, в свою очередь, смягчило и многие земельные проблемы. В самом деле, поскольку многие мировые проблемы

проистекали из того, что неограниченное число людей конкурирует за ограниченное количество ресурсов с использованием примитивных технологий, ещё одним счастливым результатом панчаятского расширения прав и возможностей местных жителей и женщин стало быстрое и резкое снижение рождаемости. Коэффициент воспроизводства населения составлял две целых одну десятую рождений на одну женщину, а до Долгой Войны по миру этот показатель приближался к пяти, а в беднейших странах — к семи или восьми. В настоящее время в каждой стране, где женщины обладали всеми правами, отстаиваемыми Лигой всех народов, этот коэффициент сократился менее чем до трёх, а зачастую и менее чем двух человек, что вкупе с улучшением ситуации в сельском хозяйстве и развитием новых технологий предвещало хорошее будущее. Это было предельно обнадёживающее проявление основы и утка и принципа поздних проявленных свойств. Всё ползло очень медленно, но казалось, история дхармы всё-таки им под силу. Возможно; это ещё было неточно, но кое-какая работа была сделана.

Поэтому Бао, когда несколько лет спустя прочитал о смерти Чжу Исао, застонал и швырнул

газету на пол. Он провёл весь день на балконе, чувствуя себя необъяснимо одиноким. На самом деле, оплакивать было нечего, можно было только праздновать: великий жил сто лет, помог изменить Китай, а затем и весь мир, а под конец просто наслаждался жизнью, гулял и слушал, разговаривал. Он производил впечатление человека, знающего своё место в мире.

А Бао не знал своего места. Созерцая необъятный город внизу, глядя на огромные речные каньоны, он понял вдруг, что живёт тут уже больше десяти лет и до сих пор ничего не знает об этом городе. Он всегда или уходил куда-то, или возвращался, смотрел на всё с балкона, ел в одной и той же маленькой забегаловке, общался с коллегами по лиге, проводил большую часть утр и вечеров за чтением. Ему было уже почти шестьдесят, а он не знал, что делает и как ему жить дальше. Огромный город был похож на машину или корабль, наполовину затонувший на мелководье, который ему не поможет. Бао каждый день работал, продолжая дело Куна и Чжу, пытаясь понять историю и работать над ней в момент перемен, а также объяснять её другим, читая и записывая, читая и записывая, думая, что, если бы он только умел объяснить её, история не

угнетала бы его так сильно. Ничего не помогало. В нём поселилось чувство, что все, кто когда-либо хоть что-то значил для него, уже умерли.

Вернувшись к себе, он обнаружил на мониторе сообщение от дочери, первое за долгое время. Она родила дочь и спрашивала, не хочет ли Бао навестить их и познакомиться со своей внучкой. Он отослал утвердительный ответ и собрал сумку.

Аньцзы и её муж Дэн жили над Акульим мысом, в одном из многолюдных холмистых районов на берегу залива Фанчжан. Их девочку звали Фэнъюнь, и Бао полюбил кататься с ней на трамвае и возить её в коляске по парку на южной окраине города, откуда открывался вид на Золотые ворота. Было что-то в её личике, что очень сильно напоминало ему Пань Сычунь, — изгиб щеки, упрямый взгляд в глазах. Черты, которые мы передаём дальше. Он наблюдал, как какой-то гуру преподаёт фэн-шуй небольшой группе учеников, сидящих у его ног.

— Обратите внимание, что такого прекрасного пейзажа вы не встретите ни в одном другом городе Земли, — и Бао был склонен согласиться. Даже Пинькайинг не шёл ни в какое сравнение: всё великолепие бирманской столицы было искусственным, а без него он ничем не отличался

от любого другого города в дельте, только от этого величественного места, которое он так любил в предыдущем существовании. — Но нет, я так не думаю, только неразумные идиоты могли построить город по другую сторону пролива. Помимо практических соображений о покрытии улиц, у любого места есть внутренняя ци, и его драконьи артерии слишком подвержены ветру и туману, лучше оставить его как парк.

И верно, на полуострове за рекой находился прекрасный парк, зелёный и холмистый, куда лился сквозь облака солнечный свет, и вся сцена была такой красочной и восхитительной, что Бао достал внучку из коляски и показывал ей это; он повернул девочку в четырёх направлениях, и пейзаж расплылся у него перед глазами, как будто он сам был младенцем. Всё стало потоком форм, облачными сгустками сверкающих красок, проплывающих мимо, ярких и сияющих, лишённых своего обыденного значения: сверху — синий и белый, снизу — жёлтый… Он вздрогнул, чувствуя себя очень странно, как будто смотрел на всё глазами младенца. Ребёнок начинал капризничать, поэтому он отвёз внучку домой, и Аньцзы упрекнула его за то, что он позволил девочке замёрзнуть.

— И подгузник пора менять!

— Я знаю! Я всё сделаю.

— Нет, я сама, ты не знаешь, как.

— Я, знаешь ли, частенько менял тебе подгузники в своё время.

Она неодобрительно фыркнула, как будто он ей нагрубил, вторгшись в её частную жизнь. Он схватил книгу, которую читал, и, расстроенный, вышел на прогулку. Почему-то до сих пор между ними оставалась неловкость.

Огромный город гудел, острова в заливе с их небоскрёбами выглядели как вертикальные горы южного Китая, на склонах горы Тамальпи также теснились высоченные здания; но часть города плотно обнимала холмы, по большей части всё ещё человеческого масштаба, здания в два и три этажа высотой, с загнутыми вверх углами на всех крышах на старомодный манер, как у пагод. Это был город, который он любил, город, в котором он жил все годы своего брака.

Поэтому здесь он был претой. Как и всякий голодный призрак, он спустился с холма на берег океана и вскоре оказался в районе, где они жили, когда была жива Пань. Он шёл по улицам, даже не глядя по сторонам, и вот он — старый дом.

Он встал перед зданием, обычным много-

квартирным домом, теперь выкрашенным в бледно-жёлтый цвет. Они жили в квартире наверху, под самым ветром, как и сейчас. Бао уставился на здание. Он ничего не чувствовал. Он понял это, попытался хоть что-то в себе вызвать, но нет. Единственное, что было, — удивление, оттого что он совсем разучился чувствовать; вялое и неудовлетворённое чувство, совсем не то, что хочется испытать в сакраментальный момент столкновения с прошлым, но что есть, то есть. У детей там были отдельные комнаты, а Бао и Пань спали на развёрнутом тюфяке в гостиной, и кухонная плитка стояла у их ног; не дом, а спичечный коробок, на самом-то деле, но там они жили, и какое-то время казалось, что так будет всегда: муж, жена, сын, дочь, в крошечной клетушке в Фанчжане, и каждый день одно и то же, каждую неделю одно и то же, и этот круг никогда не разомкнётся. Такая сила была в этом отсутствии мыслей — люди всегда ею пользовались, чтобы забыть, что с ними делает время.

Он снова зашагал на юг, к воротам, по оживлённой набережной высоко над океаном, а мимо с визгом проезжали трамваи. Добравшись до парка с видом на пролив, он вернулся обратно к тому месту, где всего несколько часов назад гулял

со своей внучкой, и снова огляделся. На этот раз всё осталось прежним, сохранило очертания и смыслы: никакого потока ярких пятен, никакого жёлтого океана. Странный был момент, и Бао снова содрогнулся, вспоминая его.

Он сел на низкую стену, лицом к воде, и достал из кармана пиджака книгу стихов, переведённых с санскрита. Открыл её наугад и прочёл: «Эти строки из „Сакунталы“ Калидасы многие знатоки санскрита считают самым красивым текстом в языке».

рамьяни виксья мадуранс ча нисамья сабдан

парьяцуки бхавати ят сукхито пи джантух

так четаса смарати нунам абодха-пурвам

бхавастхирани джанананантарасаур-дани

Даже счастливый увидит что-то мельком, или нить звука его коснётся,

И сердце уже переполняет тоска, которая ему не знакома.

Значит он вспоминает место, куда нет входа тем, кого он любил.

Что-то из прежней жизни осталось в нём и ждёт.

Он поднял голову, огляделся. Потрясающее место, и эти огромные ворота в море…

«Может, мне остаться здесь? — подумал он. — Может быть, этот день хочет мне что-то сказать? Может быть, здесь мой дом, и пусть что я всего лишь голодный призрак. Может, нам не избежать превращения в голодных призраков, где бы мы ни жили? Да, это вполне может быть мой дом».

Он вернулся к дочери. На его планшет пришло письмо от товарища, живущего на сельскохозяйственной станции при колледже Фанчжана, расположенного в сотне ли от города, в большой центральной долине. Этот товарищ, с которым они были знакомы ещё с Пекина, слышал, что Бао посетил их края, и решил поинтересоваться, не хочет ли он приехать и преподавать у них, допустим, историю китайской революции, или международные отношения, работу лиги — всё, что ему по душе. К тому же из-за его знакомства с Куном студенты будут смотреть на него как на живой кусок мировой истории.

— Или живое ископаемое, — фыркнул он.

Как та рыба, которую недавно поймали в сети у Мадагаскара. Ей было четыреста миллионов лет.

Старая рыба-дракон. Бао написал ответ своему товарищу, приняв приглашение, затем написал в Пинькайинг и попросил о продлении отпуска.

4. Красное яйцо

Сельскохозяйственная пристройка к колледжу, ставшая теперь самостоятельным маленьким колледжем, располагалась на западной окраине городка Путатой, западнее реки Северный Лунг, на берегу бурного ручья Пута-Крик, вытекающего из прибрежной гряды и образующего галерею дубов и кустарников на песчаной насыпи всего на несколько ладоней выше долины. Остальную часть выделили под выращивание риса; большие реки, текущие с гор по обеим сторонам долины, превратились в сложную ирригационную систему, а и без того ровную долину сделали ещё ровнее, разбив на ней ступенчатую систему широких затопленных террас, каждая из которых была всего на несколько пальцев выше предыдущей. Все дамбы в этой системе загибались, что, видимо, должно было способствовать борьбе против эрозии, и потому ландшафт выглядел почти так же, как в Аннаме, Кампучии или в любой другой точке тропической Азии, только там, где земля не была затоплена, она оставалась невероятно сухой. Соломенного цвета холмы поднимались на западе, на первом из прибрежных хребтов между

долиной и заливом; на востоке возвышались величественные заснеженные вершины Золотых гор, похожие на далёкие Гималаи.

Путатой прятался в гнезде деревьев на этом широком зелёно-золотом пространстве. Деревня была построена в японском стиле, с давками и квартирами вдоль ручья, и небольшими группами коттеджей, окружавших центр города к северу от него. После Пинькайинга он казался крошечным, неряшливым, сонным, зелёным и тусклым. Бао нравилось.

Студенты колледжа приезжали в основном с ферм из долины, и почти все они учились на рисоводов или управляющих фруктовыми садами. Вопросы на уроках китайской истории, которую вёл Бао, они задавали на удивление глупые, зато молодые люди были веселы и свежи лицом, им было абсолютно плевать, кто такой Бао и что он делал в какой-то там послевоенный период. Это ему тоже нравилось.

На его небольшой семинар приходили и ученики старших курсов, изучавшие конкретно историю, и они были куда как более заинтригованы его присутствием в их деревне. Разумеется, они расспрашивали его о Чжу Исао, и даже о Куне Цзяньго, и о китайской революции. Бао отвечал

так, будто речь шла об историческом периоде, который он тщательно изучал и, возможно, даже написал о нём пару монографий. Он не углублялся в личные воспоминания и большую часть времени боялся, что ему нечего им предложить. Когда он говорил, они внимательно наблюдали за ним.

— Вы должны понимать, — сказал он им, — что Долгую Войну не выиграл никто. Все проиграли, и мы до сих пор не оправились от потерь. Вспомните, чему вас учили. Война длилась шестьдесят семь лет, две трети века, и уже подсчитано, что в ней погиб почти миллиард человек. Взгляните на это с такой стороны: я здесь разговаривал с биологом, который занимается проблемой популяции, и он попытался примерно подсчитать, сколько людей жило на Земле за всю историю, от зарождения вида до сегодняшнего дня.

Кто-то в классе посмеялся над такой идеей.

— А вы не слышали? Так вот, он подсчитал, что с момента возникновения человечества на Земле жило около сорока миллиардов человек — хотя мы не выбирали какой-то отправной точки, так что относитесь к этому, как к игре. Но это значит, что если на планете за всю мировую историю существовало сорок миллиардов человек, то один

из сорока всех когда-либо живших людей погиб в Долгой Войне. Это очень много!

Итак. Весь мир в смятении, и мы уже так долго живём в тени войны, что забываем, как выглядит солнечный свет. Наука продолжает идти вперёд, но многое отражается на нас не лучшим образом. Природа отравлена многочисленным населением и нашей суровой промышленностью. И если между нами вспыхнет новая ссора, всё может быть окончательно потеряно. Вы должны знать, как знают все правительства, что учёные способны легко снабдить их чрезвычайно мощными бомбами (как говорят, одной бомбы хватит на большой город). Над нами нависла очередная угроза. Если какая-то страна попытается создать такую бомбу, её примеру последуют остальные.

Все эти опасности вдохновили учредить Лигу всех народов в надежде создать глобальную систему, которая могла бы справиться с нашими глобальными проблемами. Это произошло вслед за проектом «Год первый», унифицировавшим систему мер и весов и прочего, чтобы заложить фундамент для так называемого «онаучивания» мира, модернизации, программы ходеносауни, называйте как хотите. Речь, по сути, идёт о нашей современности.

— Мусульманам это не нравится, — заметил один студент.

— Да, им непросто пришлось согласовать свои верования с научным движением. Но мы видели, как перемены в Нсаре распространились на большую часть Фиранджи, и объединение Фиранджи предполагает, что они договорились — добропорядочным мусульманином можно быть по-разному. Если ваш ислам — это форма суфизма, которая буддистична во всём, кроме названия, и вы говорите, что так и надо, то трудно осуждать буддистов в соседней долине. И так происходит во многих местах. Все нити начинают сплетаться вместе. Нам было необходимо это сделать, чтобы выжить.

По окончании первого курса лекций учителя истории пригласили Бао остаться и преподавать уже на постоянной основе; после недолгого раздумья он принял предложение. Ему нравились люди и работа, которой они здесь занимались. Основная часть усилий колледжа была направлена на выращивание большего количества продуктов при органичном приспособлении людей к естественным методам земледелия. История входила в этот процесс, и учителя были к нему расположены. А одинокая преподавательница

лингвистики, его ровесница, проявила к нему особенное расположение за время его пребывания здесь. Они неоднократно обедали вместе, и у них вошло в привычку встречаться в обеденный перерыв. Её звали Гао Циннянь.

Бао переехал в небольшой коттеджный посёлок, где жила Гао, и снял дом по соседству с ней, вовремя оказавшийся свободным. Коттеджи, построенные в японском стиле, с тонкими стенами и большими окнами, окружали общий сад. Это было милейшее место.

По утрам Бао копал грядки и сажал овощи на одном из пятачков центрального сада. Сквозь щель между домами виднелись огромные дубы в галерее вдоль берега ручья; за ними — зелёные рисовые поля и одинокий пик горы Мивок, более чем в сотне ли к югу от великой дельты. К востоку и северу — тоже рисовые поля, зелёными изгибами на зелёном фоне. Прибрежный хребет лежал на западе, Золотые горы — на востоке. Бао приезжал на занятия в колледж на старом велосипеде и проводил небольшие семинары за столиками для пикника на берегу ручья, под громадными долинными дубами. Время от времени он брал напрокат маленькую воздушную лодку с аэродрома к западу от города и летел на ней вниз по

дельте до Фанчжана, чтобы навестить Аньцзы и её семью. Хотя Бао и Аньцзы по-прежнему держались друг с другом прохладно и резко, регулярные визиты в конце концов стали привычным, приятным во многих отношениях ритуалом. Они больше не были связаны с воспоминаниями о прошлом, оставаясь чем-то самостоятельным.

— Ну что ж, — говорил он Гао, — слетаю-ка я в Фанчжан, поссорюсь с дочерью.

— Развлекайся, — отвечала Гао.

Больше всего времени он проводил в Путатое и преподавал. Ему нравилась молодёжь и их юные лица. Ему нравились люди, жившие в коттеджах вокруг сада. В основном они работали либо на фермах, либо в агролабораториях колледжа и на экспериментальных полях, либо непосредственно в полях и фруктовых садах. Вот чем жили люди в этой долине. Соседи давали ему советы, как возделывать его маленький огород, нередко противоречивые советы, что совсем не обнадёживало, учитывая, что они были передовыми экспертами в этой области, а в мире могло быть больше людей, чем еды, чтобы их прокормить. Но и в этом он находил для себя урок, пусть и тревожный, хотя над собой он мог посмеяться. Ему нравилось работать руками, возиться в грязи,

пропалывать сорняки и наблюдать, как растут овощи. Смотреть за рисовыми террасами на гору Мивок. Иногда он нянчил детей молодых пар из посёлка, беседовал с ними о событиях в городе, коротал вечера, играя на лужайке в боулинг с компанией единомышленников.

Вскоре ему стало казаться, что кроме этой монотонной жизни он и не знал никакой другой. Однажды утром он нянчил чужую дочку, которая подхватила ветрянку, сидел рядом с девочкой, которая вяло лежала в тёплой овсяной ванночке, храбро водя пальцем по воде, и время от времени постанывала, как маленький зверёк, и он испытал внезапный прилив необузданного счастья просто потому, что его, старого вдовца, соседи использовали как няню. Старая рыба-дракон. Точно такой человек жил давным-давно в Пекине, в дыре за стеной у Больших красных ворот, чинил обувь и наблюдал за детьми на улице.

Глубокое чувство одиночества, терзавшее Бао с тех пор, как умерла Пань, начало отступать. Хотя среди людей, с которыми он жил теперь, не было ни Куна, ни Пань, ни Чжу Исао, спутников его судьбы, а были просто люди, с которыми он случайно сошёлся, они тем не менее теперь стали его общиной. Может, только так всегда

и происходит и нет никакой судьбы: ты просто сливаешься с людьми вокруг тебя, что бы ни происходило в истории и во внешнем мире, ведь для отдельно взятого человека мир — это всегда ближний круг (деревня, взвод, рабочее подразделение, монастырь, медресе, завия, ферма, дом, корабль, квартал), и всё это составляет истинную окружность его мира, порядка двадцати персонажей, со словами, как у актёров в одной пьесе. И каждый актерский состав наверняка включал одни и те же типажи хоть в драме, хоть в кукольной сценке. Он вот теперь был старым вдовцом, нянькой, сломленным старым чиновником и поэтом, который пьёт вино у ручья, ностальгически поёт под луной да скребёт тяпкой в своём бесплодном огороде. Это вызвало у него улыбку, доставило радость. Ему нравилось иметь соседей, нравилась его роль среди них.

Время шло. Он продолжал преподавать у нескольких классов, проводя семинары под открытым небом у долинных дубов.

— История! — говорил он ученикам. — К ней сложно подступиться. Нет простого способа вообразить её. Земля вращается вокруг Солнца триста шестьдесят пять с четвертью дней в году, год за годом. Тысячи таких лет прошли. А какие-то обе-

зьяны мастерили всё больше и больше орудий, увеличиваясь в числе, захватывая планету посредством денег. В итоге почти всё материальное и живое на планете оказалось в их пользовании, и тогда они задумались, чего хотят добиться помимо того, что просто сохранить жизнь, и стали рассказывать друг другу истории о том, как они здесь оказались, что с ними случилось и что всё это значит.

Бао вздохнул. Студенты наблюдали за ним.

— Как говорил Чжу, история — это трагедия отдельного человека, но комедия для общества. Пройдёт большой отрезок истории, и примирение может быть достигнуто, в этом комедия, но каждого человека ждёт трагический конец. Здесь нужно признать: что бы мы тут ни говорили, смерть для человека всегда является концом и катастрофой.

Его студенты внимательно смотрели на него, готовые с ним согласиться, потому что им было по двадцать пять, а ему около семидесяти и они чувствовали себя совершенно бессмертными. Возможно, в этом и заключается эволюционная полезность пожилых людей, заключил Бао: они дают молодым некий психологический щит, ограждающий их от реальности, вводящий в со-

стояние, позволяющее им игнорировать тот факт, что возраст и смерть придут и к ним, и произойти это может слишком рано. Очень полезная функция! А стариков это просто забавляло, и к тому же чуть-чуть отвлекало от собственной смертности, напоминая им ценить жизнь.

Поэтому он улыбнулся их необоснованному спокойствию и сказал:

— Ну, хорошо, мы признаём эту катастрофу, и люди, которые остаются, продолжают жить. Продолжают! Они связывают нити, как только умеют. И, как говорил Чжу Исао, как говорил мой давний товарищ Кун Цзяньго, каждый раз, когда люди сплачиваются и восстают против установленного порядка вещей в попытке восстановить справедливость, в некоторых отношениях они обречены на неудачу, но в других — на успех; и в любом случае они что-то оставят потомкам, даже если это всего лишь знание о том, как тяжела борьба, что в ретроспекции делает попытку отчасти успешной — и люди продолжают жить.

Молодая девушка, Аочжани, приехавшая сюда, как и многие другие иностранцы, изучать старую школу сельского хозяйства, спросила:

— Но если мы всё равно перевоплощаемся после смерти, разве смерть такая уж катастрофа?

У Бао вырвался глубокий вздох. Как и большинство людей с научным складом ума, он не верил в реинкарнацию. Очевидно, истории о реинкарнациях были просто историями, пережитком древних религий, но всё же… Как объяснить это чувство космического одиночества, как будто он растерял всех своих вечных спутников? Как объяснить тот случай у Золотых ворот, когда он поднял свою внучку на руки?

Он так крепко задумался об этом, что ученики начали переглядываться. Потом он осторожно ответил девушке:

— Давайте с вами кое-что попробуем. Представьте, что бардо не существует. Ни небес, ни ада — вообще никакой загробной жизни. Ваше сознание и ваша душа никак не продолжаются. Представьте, что всё, чем вы являетесь, сосредоточено в вашем теле и когда оно, наконец поддавшись какой-то слабости, умирает, вы исчезаете насовсем. Окончательно.

Девушка и все остальные уставились на него. Он кивнул.

— Пожалуй, вам стоит ещё раз задуматься, что же такое реинкарнация. Потому что она нужна нам. Всем нам. И возможно, есть способ переосмыслить её, чтобы она не теряла своего смысла,

даже если признать, что смерть «я» реальна.

— Но как? — спросила девушка.

— Ну, во-первых, конечно же, дети. Мы буквально перевоплощаемся в новых существ, хотя они и являются смесью двух предшествующих — двух существ, которые продолжат жить и дальше в этих извилистых лесенках, которые расщепляются, перестраиваются и передаются новым поколениям.

— Но это не наше сознание.

— Нет. Сознание перевоплощается иначе. Оно перевоплощается, когда люди будущего вспоминают нас, говорят на нашем языке и неосознанно берут с нас пример, воспроизводя в своей жизни некую рекомбинацию наших ценностей и привычек. Мы живём в том, как думают и говорят люди будущего. Даже если что-то меняется так сильно, что неизменными остаются лишь биологические привычки, они тоже реальны — даже более реальны, чем сознание, плотнее сцеплены с реальностью. Помните, что реинкарнация означает «возвращение в новое тело».

— Часть наших атомов может сделать это буквально, — предположил юноша.

— Совершенно верно. В бескрайней бесконечности атомы, бывшие частью наших тел лишь

в течение короткого времени, будут двигаться дальше и войдут в состав новой жизни на земле или, возможно, на других планетах, в других галактиках. И мы рассеянно перевоплощаемся во вселенной.

— Но это не наше сознание, — упрямо возразила девушка.

— Не сознание и не самость. Эго, наши мысли, поток сознания, который никогда не удавалось передать ни тексту, ни образу, — нет.

— Но я не хочу, чтобы всё заканчивалось, — сказала она.

— Понимаю. Но ничего не поделать. Такова реальность, в которой мы родились. Наше нежелание её не изменит.

Юноша сказал:

— Будда говорит, что мы должны отказаться от наших желаний.

— Но это тоже желание! — воскликнула девушка.

— Мы никогда не отказываемся от них окончательно, — согласился Бао. — То, что предлагал Будда, невозможно. Желание — это жизнь, стремящаяся остаться жизнью. Все живые существа желают, бактерии чувствуют желание. Жизнь — это желание.

Молодые студенты задумались. Есть возраст, подумал Бао, вспоминая, есть такое время в твоей жизни, когда ты молод, всё кажется возможным и ты хочешь всего и сразу; ты просто разрываешься от желания. Ты занимаешься любовью всю ночь напролёт, потому что так сильно чего-то желаешь. Он сказал:

— Ещё один способ оживить идею реинкарнации — думать о виде как о едином организме. Организм выживает, и у него есть коллективное сознание самого себя — история, или язык, или извилистая лесенка, структурирующая наш мозг, — и тогда не имеет значения, что произойдёт с любой клеткой этого тела. На самом деле смерть клеток необходима, чтобы тело оставалось здоровым и продолжало жить, клетка должна освободить место для новых клеток. И если смотреть на это под таким углом, это может только усилить чувство солидарности и долга перед ближним. Становится ясно, что, если есть часть тела и она страдает, и в то же самое время другая часть командует рту смеяться и восклицать, что всё прекрасно, и танцует джигу, как потерянные христиане, когда с них слезала кожа, — этот человек-вид или вид «человек» безумен и не может бороться со своей собствен-

ной болезнью — смертью. В этом смысле больше людей может понять, что организм должен стараться поддерживать здоровье во всём теле.

Молодая женщина покачала головой.

— Но это тоже не реинкарнация. Это всё другое.

Бао пожал плечами и сдался.

— Знаю. Я знаю, что ты имеешь в виду; действительно, кажется, в нас должно быть что-то, что переживает нас. Я и сам что-то такое чувствовал. Однажды, у Золотых ворот… — он покачал головой. — Но узнать это невозможно. Реинкарнация — это история, которую мы рассказываем, пока, в конце концов, сама история не становится реинкарнацией.

Со временем Бао пришёл к пониманию того, что преподавание тоже было своего рода реинкарнацией, потому что шли годы, приходили и уходили ученики, вечно новые и вечно молодые, которые посещали одни и те же занятия; семинары под дубами реинкарнировали. Бао начал получать от этого удовольствие. Он начинал первый урок со слов: «Глядите-ка, мы снова здесь». Они никогда не понимали, что он имеет в виду; каждый раз одна и та же реакция.

Он узнал, например, что преподавание бы-

ло наиболее скрупулёзной формой обучения. Бао стал учиться у своих учеников в большей степени, чем они у него; как это часто бывает, учёба оказалась прямо противоположна тому, чем она казалась, и колледжи существовали для того, чтобы объединять группы молодых людей, обучать избранных тому, что они уже знали о жизни, а старые учителя вот-вот могли позабыть. И Бао любил своих учеников и прилежно за ними наблюдал. Большинство из них, как выяснилось, верили в реинкарнацию: это им прививали в семьях, даже когда за этим не стояло чёткой религиозной подоплёки. Это была часть культуры, идея, к которой они постоянно возвращались. Они вновь подняли эту тему, и Бао говорил с ними о реинкарнации в диалоге, который повторялся многократно. Ученики постепенно пополняли его внутренний список реальных путей реинкарнации: ты можешь вернуться новой жизнью, разные периоды твоей жизни уже были кармическими перевоплощениями, каждое утро ты заново приходишь в сознание и, таким образом, каждый день перевоплощаешься в новую жизнь.

Бао это всё нравилось. Последнее он старался исповедовать в своей повседневной жизни:

любоваться садом по утрам, как будто видел его впервые в жизни, удивляясь необычности и красоте. На занятиях старался говорить об истории каждый раз по-новому, заново всё осмысливая, не позволяя себе говорить то, что уже когда-либо говорил ранее; было трудно, но интересно. Однажды в одной из обычных классных комнат (была зима, шёл дождь) он сказал:

— Труднее всего уловить повседневность. То, что редко попадает в летописи или даже запоминается теми, кто её создаёт, — что вы делали в те дни, когда занимались обычными делами, что чувствовали в процессе, пусть с вариациями, снова и снова, пока не прошли годы? История повторений, или почти повторений. Другими словами, не то, что можно запросто зашифровать в сюжетном механизме, не дхарма и не хаос, и даже не трагедия и не комедия. Просто… привычка.

Один серьёзный молодой человек с густыми чёрными бровями ответил, как бы противореча ему:

— Всё случается лишь однажды!

И это тоже он должен был помнить. Не было никаких сомнений, что это правда. Всё случается лишь однажды!

И вот однажды настал особенный день: первый день весны, первый день 87 года, день праздника, первое утро этой жизни, первый год этого мира; и они с Гао встали рано, и Бао пошёл с другими прятать крашеные яйца и завёрнутые конфеты в траве на лужайке, на поляне и на берегу ручья. Таков был ритуал в их посёлке: каждый Новый год взрослые выходили на улицу и прятали яйца, покрашенные накануне, и конфеты, завёрнутые в яркую обёртку из фольги, и в назначенный утренний час все соседские дети выходили на поиски с корзинами в руках, старшие бежали вперёд, набрасываясь на находки и складывая их в корзины, а младшие мечтательно бродили от одного великого открытия к другому. Бао научился любить утро, особенно прогулки вниз по течению ручья к месту встречи с учениками, после того как все яйца и конфеты были спрятаны: он прогуливался по высокой мокрой траве, иногда снимая очки, так что настоящие цветы и их чистые цвета смешивались с искусственными цветами яиц и конфетных обёрток: и луг, и берег становились похожими на рисунок или сон, галлюцинацию луга и берега, такую красочную и такую диковинную, что никакая природа на такое не способна, и все эти краски пестрели в

повсеместной буйной зелени.

И вот он снова пошёл по тропинке, какой ходил уже много лет, и небо над ним было совершенно голубым, как ещё одно раскрашенное яйцо. В воздухе витала прохлада, на траве лежала тяжёлая роса. Ноги у него промокли. Мелькнувшие обёртки от конфет вспыхнули на периферии зрения, цианновые и фуксиевые, лимонные и медные; даже более блестящие, чем в предыдущие годы, подумал он. Высоко бежал Пута-Крик, обрушиваясь на лососёвые плотины. Лань и оленёнок замерли рядышком, как статуи, и смотрели, как он проходит мимо.

Он подошёл к месту сбора и сел, чтобы посмотреть, как дети носятся с яйцами, крича и визжа. Он подумал: если все дети вокруг счастливы, тогда, может, всё будет хорошо.

В любом случае это час потехи. Взрослые стояли вокруг, пили зелёный чай и кофе, ели пирожные и яйца, сваренные вкрутую, пожимали друг другу руки или обнимались: «С Новым годом! С Новым годом!» Бао сел на низкий стул и стал наблюдать за их лицами.

Одна из девочек, трёх лет, с которой он иногда нянчился, прошла мимо, отвлёкшись на содержимое плетёной корзинки.

— Смотри! — сказала она, когда увидела его. — Яйцо!

Она вытащила из корзинки красное яйцо и сунула ему в лицо. Он настороженно откинул голову назад; как и многие соседские дети, эта явилась на свет в образе сущего дьяволёнка, и было бы весьма в её духе шмякнуть яйцом по лбу, просто чтобы посмотреть, что произойдёт.

Но сегодня утром она была безмятежна; она просто держала яйцо между ними для их взаимного осмотра, и оба были увлечены его созерцанием. Яйцо, прежде погружённое в уксусно-водный раствор, было таким же ярко-красным, как небо — голубым. Красная кривая в синей кривой, красная и синяя рядом…

— Очень красиво, — сказал Бао, откидывая голову назад, чтобы лучше видеть. — Красное яйцо означает счастье.

— Яйцо!

— Да, и это тоже. Красное яйцо!

— Можешь взять его себе, — сказала она и вложила яйцо ему в руку.

— Спасибо тебе!

Она побрела дальше. Бао посмотрел на яйцо; оно было краснее, чем, как он помнил, бывают краски, рябое, с крашеной, как обычно, яичной

скорлупой, но везде ярко-красное.

Завтрак подходил к концу, дети сидели вокруг, деловито пережёвывая свои сокровища, взрослые уносили бумажные тарелки внутрь. Везде покой. Бао на секунду пожалел, что Кун не дожил до этой сцены. Он сражался за что-то вроде этого маленького мирного века, сражался, кипя гневом и задором; было бы справедливо, чтобы и он это увидел. Но справедливо… Нет. Нет, когда-нибудь в деревне появится ещё один Кун, возможно, та маленькая девочка, которая вдруг стала такой сосредоточенной и серьёзной. Да, все они повторялись снова и снова, весь состав пьесы: в каждой труппе Ка и Ба, как в антологии старца Красное Чернило, и Ка всегда жаловался с карканьем вороны, кашлем кошки, криком койота, «кау», «кау», таким фундаментальным протестом; и Ба, который всегда Ба, наивным «баа» водяного буйвола, звуком плуга, вспахивающего землю, блеянием надежды и страха, костью внутри. Ба, который скучал по Ка так остро, хотя и с перерывами, ощущал потерю, отвлекаясь на жизнь, — но также и тот, кто должен был делать всё возможное, чтобы сохранить жизнь в его отсутствие. Продолжать! Мир меняют Куны, но Бао должны попытаться не дать ему развалиться, продолжая общее дело.

Все вместе они играют свои роли, выполняя свои задачи в какой-то дхарме, которую никогда до конца не понимали.

Сейчас его задачей было учить. Третья встреча с классом, урок, когда они начинали углубляться в вопрос. Он с нетерпением ждал этого момента.

Он взял красное яйцо с собой в коттедж и положил его на стол. Он положил бумаги в сумку, попрощался с Гао, сел на свой старый велосипед и поехал по дорожке к колледжу. Велосипедная дорожка шла вдоль ручья, а свежие листья на деревьях затеняли тропинку, так что асфальт был ещё мокрым от росы. Цветы в траве были похожи на разноцветные яйца и обёртки от конфет, всё было наполнено своим собственным цветом, небо над головой было необычно ясным и тёмным для долины, почти кобальтовым. Мутная вода в ручье была цвета яблочного нефрита. Долинные дубы величиной с деревню нависали над её берегами.

Он пристроил велосипед и, увидев на дереве над головой стаю снежных обезьян, привязал его к стойке. Эти обезьяны любили утаскивать велосипеды и скатывать вниз по берегу в поток, по два или три пуская их вертикально под откос. С велосипедом Бао такое случалось не раз, пока

он не купил замок и цепь.

Он пошёл дальше, вниз по течению, к круглому столу для пикника, где всегда проводил весенние уроки. Никогда ещё зелень травы и листьев не была такой зелёной, отчего он слегка пошатывался на ногах. Он вспомнил маленькую девочку и её яйцо, безмятежный маленький праздник, когда все делали то, что всегда делали в этот первый день года. Его урок будет таким же. Всё всегда сводилось к малому. Его ученики сидели под гигантским дубом вокруг круглого стола, а он садился рядом с ними и рассказывал им то, что мог, стараясь донести до них то немногое, что ему удалось узнать. Он скажет им: «Проходите, садитесь, я расскажу вам несколько историй о том, как живут люди».

Но он тоже приходил туда, чтобы учиться. И на этот раз под нефритовыми и изумрудными листьями он увидел, что к ним присоединилась поразительная молодая женщина, траванкорская студентка, которую он никогда раньше не видел, темнокожая, черноволосая, с густыми бровями, сверкающими глазами, мельком взглянувшая на него через стол для пикника. Острый взгляд, полный глубокого скептицизма; по одному этому взгляду он мог сказать, что она не верит учителям,

не доверяет им, что она не готова поверить ни единому его слову. Он многому у неё научится.

Он улыбнулся и сел, ожидая, пока все угомонятся.

— Я вижу, к нам присоединился новый человек, — сказал он, кивнув девушке. Остальные ученики с любопытством посмотрели на неё. — Не хотите представиться?

— Здравствуйте, — сказала молодая женщина. — Меня зовут Кали.